М. Л. МИХАЙЛОВ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

М. Л. МИХАЙЛОВ

СОЧИНЕНИЯ

В ТРЕХ ТОМАХ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва — 1958

М. Л. МИХАЙЛОВ

СОЧИНЕНИЯ

ТОМ ТРЕТИЙ

КРИТИКА
И
БИБЛИОГРАФИЯ

<ЗАПИСКИ>

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва — 1958

Под общей редакцией
Б. П. КОЗЬМИНА

Подготовка текста и примечания
Э. С. ВИЛЕНСКОЙ, М. И. ДИКМАН,
Ю. Д. ЛЕВИНА, П. С. РЕЙФМАНА

Подготовка текста «Записок»
Г. Ф. КОГАН

КРИТИКА
и
БИБЛИОГРАФИЯ

СТАРЫЕ КНИГИ.

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СТАРОЙ РУССКОЙ БИБЛИОТЕКЕ

Après le plaisir de posséder des livres, il n'y en a guère de plus doux que celui d'en parler, et de communiquer au public ces innocentes richesses de la pensée qu'on acquiert dans la culture des lettres.

Charles Nodier.

СТАТЬЯ ПЕРВАЯ

Охотники до чужих книг. —Книжные враги.— Зачитыванье книг.— Библиотаф, описанный ла-Брюйером.— Библиоманы: граф д'Этре и Булар.— О назначении библиотек.— Частные и общественные библиотеки.— Старая русская библиотека.—Романы старые и романы новые.— Анекдот о Суворове.— О значении библиографии.— Кто истинный библиограф?—Библиомания.— Коллекторы и библиоманы.— Переплеты.— Собиратель драматических пьес.— О происхождении библиомании.— Первые строки о книжном деле на русском языке.—VIII книг о изобретателях вещей.—Старая орфография.— Опечатки и история их.— Старый шрифт и мнение о нем Тредиаковского.— Кто такой был Полидор Виргилий? — Содержание его сочинения.— Новый перевод, изданный Новиковым.

Если у вас есть какая-нибудь, хотя маленькая, библиотека, или если даже вы обладаете таким незначительным количеством томов, что их и библиотекой назвать нельзя, то вы, конечно, очень хорошо знаете, сколько на белом свете охотников до чужих книг. Сердце не камень — и вы ссужаете приятелю просимую им книгу. Уже не в том виде, в каком вышла от вас, возвращается она домой: переплет и цел, но на нем пятно; листы и все, да у некоторых распустились нитки, связывающие их; а сколько загнутых угол-

ков, сколько отметок ногтем на полях! Дайте эту книгу другому, третьему приятелю — то ли еще будет? Каждый прочтет ее — и вместе с тем попортит, хоть, может быть, и невольно. Кроме того, очень может случиться, что и у этих господ есть приятели, постоянно пользующиеся чужими книгами; опять-таки сердце не камень — и книга ваша попала в четвертые, в пятые руки. Понятно, какова будет она, когда явится под сень вашего книжного шкафа. Переплет уже отстал; листы плохо держатся, а некоторых, смотришь, и вовсе нет; бо́льшая часть уголков, столько раз загибавшихся, отвалилась; поля были прежде исчерчены только ногтями, теперь они украшены заметками карандашом и даже (о, ужас!) пером; один листок прожжен сигарой, на другом следы кофе. Книга никуда не годится. Недаром известный французский библиограф Пеньйо к числу книжных врагов, вместе с крысами, червями и пылью, относит и людей, продовольствующих себя чужими книгами.

И хорошо еще, если ссуженная вами книга дойдет снова до вас, хоть и в сильно растрепанном виде; а то ведь очень легко может статься, что ее совсем *зачитают*. Гривенник, который у вас заняли, постараются вам при первом случае отдать; книгу же... ведь книга не деньги, хоть и стоит их. «NN не платит мне долга»— нехорошо. «NN зачитал мою книгу» — ничего. Впрочем, надо и то сказать: часто у зачитанной книги и концы в воде. Вы отдали ее А., А. отдал Б., тот В., потом попала она к Г. или к Д.— уж и сам В. хорошенько не помнит... Ищите тут ее! И кто зачитал — неизвестно; просто зачитали. Ни на одном языке нет слова, которое выражало бы так грациозно понятие, заключающееся в слове *зачитать*; это свидетельствует как нельзя лучше о гибкости русского языка.

На все это могут мне возразить: «Так вы хотите, чтобы книги стояли у вас неприкосновенно на полке, чтобы никто ими не пользовался? Чем же вы лучше Плюшкина, которому, верно, не станете писать панегирика?» Нет, я очень хорошо помню басню о собаке, лежащей на сене, которого она не ест сама и не даст есть подходящей к нему корове; я терпеть не могу Плюшкиных, на которых метит эта басня; я не библиотаф, не погребатель книг... Если моими книгами не пользуется *всякий*, из этого, смею думать, вовсе нельзя заключить, чтобы ими не пользовался *никто*.

«Вот господин (говорит ла-Брюйер в своих знаменитых «Характерах»), который осуждает людей, пускающихся от

скуки или из любопытства в дальние странствия, не ведущих ни дневника, ни записок, не имеющих при себе и записной книжки: они едут посмотреть свет и ничего не видят или забывают, что видели; они хотят узнать только, какие где новые башни, новые колокольни, да переправиться через реки, которые называются не Сеной, не Лоарой; они оставляют отечество ради удовольствия возвратиться домой, желают быть в отсутствии, чтобы в один прекрасный день о них говорили как о приезжих издалека. Сатирик этот рассуждает справедливо, и его охотно слушаешь.

Но когда он присовокупляет, что книги научают лучше всяких путешествий, и словами своими дает мне понять, что у него есть библиотека, то мне хочется взглянуть на эту библиотеку. Я отправляюсь к нему в дом; он встречает меня на лестнице, и я тут еще начинаю чувствовать упадок сил от запаха черного сафьяна, которым облечены все его книги; тщетно трубит он мне в уши, желая оживить меня, что книги его все с золотым обрезом, все вытиснены золотом и издания все хорошие; тщетно именует он лучшие одну за другой, тщетно говорит, что галерея его полна, кроме двух, трех мест, расписанных, впрочем, с таким искусством, что зрение обманывается и принимает эту живопись за настоящие книги, расставленные на полках; тщетно прибавляет он, что сам никогда не читает, что даже нога его не бывает в этой галерее, что он пойдет туда в угождение мне: я благодарю его за любезность и, так же как и он сам, вовсе не имею желания посещать его кожевню, которую он называет библиотекой».

Если бы все частные библиотеки составлялись так и имели такое назначение, то, конечно, зачитыванье можно было бы вменить в обязанность всем читателям; но, говоря о библиотеках как источниках знания, можно ли брать в расчет невежд или мономанов?

А нельзя между тем не сознаться, что книжное сумасшествие, или библиомания[1], со времен описанного ла-Брюйером чудака сделала большие успехи.

Граф д'Этре, о котором рассказывает Сен-Симон в своих «Записках», не единственный экземпляр библиомана, не только никогда не развертывающего покупаемых им книг,

---

[1] *Библиомания* — слово довольно новое: оно составлено из греческих слов: βίβλος — *книга*, и μανία — *помешательство*. (*Прим. М. Л. Михайлова.*)

но даже оставляющего их в связках — так, как они привозились или приносились от книгопродавцев: граф сваливал тюки приобретаемых им книг в помещении, отведенном для этого сестрою его в отели Лувоа,— и, как вы думаете, сколько томов было таким образом брошено без всякого употребления, без всякой пользы?.. Шутка сказать — пятьдесят две тысячи томов!

Хорош был также некто Булар (Boulard), который загромоздил целый дом —целый дом, от чердака до погреба— несколькими сотнями тысяч томов... И у этого милого человека многое множество книг оставалось в тюках. Когда он наконец расстался со своими книгами, в которых не имел ни малейшей нужды, то есть когда умер, каталог библиотеки его составил пять томов в осьмушку и в нем 25 000 нумеров; а еще какое множество дублетов не вошло в этот каталог. Одного полного собрания сочинений Расина было в библиотеке Булара до двадцати изданий.

Говоря о неприятности ссужать книги, я имел в виду не Буларов и не графов д'Этре, а небольшие библиотеки частных лиц — преимущественно ученых и литераторов. Такие библиотеки заводятся обыкновенно сообразно с родом занятий их владельцев, и в них разве как роскошь допускаются книги, не имеющие прямого отношения к главному предмету. В библиотеке историка вы, конечно, не найдете сочинений Дюма и Сю, хотя он, может быть, и читал их; филолог не станет покупать трактатов об астрономии, хоть и не чужда ему «звездная книга»; Бальзакова «Человеческая комедия» или многотомный Диккенс, открытые вами на полке математика, рядом с диссертациею о теории вероятностей или об исчезании тригонометрических строк, может быть несколько удивили бы вас, хотя математик, не знающий о Бальзаке и Диккенсе, тоже удивителен; отсутствие же этих двух писателей в ряду книг романиста было бы так же странно, как присутствие в числе их таблиц логарифмов. Не всякий, разумеется, имеет средства приобретать все книги по предмету своих занятий; но всякий более или менее старается иметь хотя главные пособия, а без некоторых справочных книг нет никакой возможности обходиться.

Как, например, человеку, посвятившему себя изучению русской истории, не иметь постоянно на столе своем Карамзина, или русскому библиографу —Сопикова?.. И вдруг у вас зачитали шестой том «Истории государства рос-

сийского», зачитали третью часть «Опыта российской библиографии». Положим даже, что и не зачитали; но этих книг нет у вас именно в ту минуту, когда они нужны вам (а нужны они во время занятия чуть ли не каждую минуту): вы должны бросить работу и ждать, как у моря погоды, возвращения книг.

Мне опять могут возразить, что для людей, которым нужна «История государства российского» или «Опыт» Сопикова и которые не в состоянии приобресть эти книги, существует Императорская публичная библиотека, так гостеприимно открывающая свои залы всем желающим; существует библиотека Академии наук, тоже ежедневно открытая и всем доступная.

Впрочем, бóльшая часть класса любителей чтения чужих книг мало интересуется учеными сочинениями и накидывается преимущественно на произведения изящной словесности и беллетристики. Но ведь и для жаждущих такого чтения тоже есть прямые источники: это частные библиотеки для чтения. Плата за чтение в этих библиотеках так незначительна, что, вероятно, ни одному записному читальщику не может показаться обременительною; а кому тяжело заплатить десять рублей в год, у того верно никогда не выдается свободного времени для чтения. И если б еще только те, кому карман не позволяет покупать книги или абонироваться в библиотеке для чтения, пользовался вашею библиотекой! Нет; часто именно те люди, которым ничего не значит бросить пятьдесят рублей за ложу на представление Рашель, сто рублей на обед для приятелей у какого-нибудь Донона или Дюссо, увидев на столе вашем книгу, попросят ее прочитать. Не думайте, что для таких господ чтение не составляет потребности, что они читают только потому, что ведь все же почти читают, или для скорейшего усыпления; правда, в чтении они не разборчивы и не держатся никакой системы, но оно доставляет им удовольствие, и книга необходима для них каждый день. Таким образом книг они прочтут немало, но из всех прочитанных ими томов едва ли и один куплен ими.

Beatus ille.— счастлив тот, кто сумел оградить свои книги от нашествий знакомых и приятелей; кто, кротко отказывая их просьбам, благоразумно внушал им настоящие понятия о назначении библиотек вообще и библиотек частных в особенности; мир кабинета его невозмутим, досада не прерывает его любимого труда, и благословляет он судьбу.

Если б я был Горацием, то именно такую долю восхвалил бы в оде на неразрозненную библиотеку, которая, то есть ода, начиналась бы, подобно Горациевой оде на сельскую жизнь, словами «Beatus ille...» Зачем я не Гора́ций?

Впрочем, если б я был даже и Горацием и сочинил такую оду — увы! не себя воспел бы я в ней...

В русской библиотеке, которая находится в моем распоряжении, уже очень многие места опустели от несчастной слабости характера библиотекаря. В награду за доброту ему остается только то утешение, что места эти восполнимы и большую часть исчезших с полок книг еще можно без больших затруднений найти в продаже.

Странное дело! Те именно книги, которыми я наиболее дорожу, все целы, хотя по вышеупомянутой слабости характера я не смог бы отказать желающему и в них.

Дело в том, что желающих-то вовсе не находится: суровый вид старинных кожаных переплетов всех пугает. А между тем в этих опальных книгах, право, чрезвычайно много интересного. Если б я не боялся обвинения в пристрастии, я сказал бы даже, что в этой библиотеке пренебреженных русских книг прошлого столетия больше любопытного, чем во многих книгах новейших, которыми не пренебрегают. За такую дерзкую мысль на меня, пожалуй, восстала бы вся новая литература и не дала бы мне в себе даже крошечного местечка. Итак, в сторону эту мысль!

Довольно и того, если мне поверят, что действительно в русской библиотеке прошедшего века найдется очень много любопытного и занимательного,— поверят и станут читать мое путешествие по ее по́лкам.

К сожалению, для многих старая русская литература представляется чем-то вроде безотрадной пустыни, и в нее боятся заглянуть. Так например, напрасно употреблял я все свое красноречие, чтобы заставить одного охотника до произведений отечественной беллетристики прочитать хоть один из русских романов прошлого столетия, которые не раз доставляли мне большое удовольствие. Он, прочитавший «Юрия Милославского» по крайней мере по разу в каждом издании (а всех изданий было *девять*!); он, дважды одолевший непроходимую дебрь «Семейства Холмских», не хотел и в руки взять, уж не говорю — читать «Непостоянную фортуну, или Похождения Мирамонда», описанные Федором Эминым; «Несчастного Никанора, или Приключение

жизни российского дворянина Н.»; повесть русскую «Евгений, или Пагубные следствия дурного воспитания и сообщества», сочиненную Александром Измайловым, и повесть халдейскую «Арфаксад», сочиненную Петром Захарьиным. Тщетно рекомендовал я ему игривое произведение Михаила Чулкова «Пригожая повариха»; тщетно рассказывал ему, как однажды граф Федор Васильевич Ростопчин, желая узнать мнение Суворова о знаменитых воинах и о военных книгах, перечислял ему по именам всех известных полководцев и писателей, как при всяком названии Суворов делал отрицательный знак и как наконец сказал на ухо будущему автору знаменитых «Юлий Кесарь, Ганнибал и Бонапарт; «Домашний лечебник» и «Пригожая повариха». И авторитет рымникского героя не подействовал на моего упрямого приятеля. Скольких наслаждений лишил себя этот человек! Я осмеливаюсь думать, что он нашел хладную замену им в «Таинственном монахе» г. Рафаила Зотова.

«После удовольствия иметь библиотеку нет ничего приятнее, как говорить о ней и делиться с другими невинными богатствами мысли, приобретаемыми в занятиях словесностью». Эти слова беллетриста и библиографа Шарля Нодье, служащие эпиграфом к предлагаемому труду, как нельзя лучше объясняют мое желание познакомить читателя с библиотекою старинных русских книг, которая у меня под руками.

Я мог бы сейчас же отпереть этот небольшой шкаф, в котором заключаются все книги, напечатанные русскими гражданскими буквами по повелению Великого Петра, и начать с этого шкафа мое библиографическое странствие; но считаю вовсе не лишним подождать немного и сказать сперва несколько слов о библиографии как науке, значение которой еще очень неясно понимается большинством и которая нередко смешивается с библиоманией, имеющей с нею очень мало общего.

Если б сущность библиографии состояла единственно из того, что выражается ее названием[1], то она представляла бы мало общего интереса и справедливо могла бы считаться наукою книгопродавцев; поэтому-то все знакомые с библиографиею только по имени считают ее предметом в высшей степени сухим и незанимательным. Вначале она точно

---

[1] *Библиография* — описание книг, от греческих слов: βίβλος — *книга*, и γράφω — *пишу, описываю*. (*Прим. М. Л. Михайлова.*)

была такою; но изобретение книгопечатания, рассеявшее по земле бесчисленное множество книг, должно было расширить границы библиографии: в этих грудах книг и печатных листов библиография обязана указать нам, какое произведение заслуживает нашего внимания, какое не стоит его. Кроме того, и хорошее произведение может быть издано дурно и небрежно; библиография же укажет вам на издание лучшее, объяснив, почему именно оно лучше других. Некоторые сочинения или издания становятся вследствие различных причин редкими; библиография не только отметит их существование, но и познакомит с содержанием их, если оно не лишено для нас интереса. Наконец, многочисленность книг, загромождающих нынче общественные библиотеки, вызвала необходимость уметь из числа десяти полезных книг выбрать книгу полезнейшую — и наука, руководствующая в этом выборе, есть та же библиография.

Итак, библиография не есть искусство составления каталогов, как думают некоторые, а наука, занимающая почетное место в ряду человеческих знаний.

«Названия библиографа (говорит Барбье) достоин только тот, кто, предпочитая хорошие произведения книгам замечательным по одной их редкости или странности, почерпнул истинные познания из лучших писателей древних и новых и способен сообщать лицам, обращающимся к нему за советом, необходимейшие сведения, которые могли бы служить им руководством в избранной отрасли познаний. Разнородные изыскания, которыми постоянно занимается библиограф, дают ему, кроме того, возможность без труда указывать каждому сочинению приличное ему место или отыскивать это сочинение в собрании книг, как бы ни было собрание многочисленно, если только книги расположены в систематическом порядке. Эта способность редко оценивается по достоинству, хотя она бывает плодом только огромной начитанности и глубоких размышлений. Книги в наше время не так же ли почти многочисленны, как и произведения природы? Если же мы припомним, что ум человеческий, не могущий выходить из известных границ, не может в разработке избираемых им предметов проявлять той последовательности и стройности, которым мы удивляемся в различных явлениях природы, то нам придется согласиться, что библиографу, при классификации произведений ума человеческого, предстоит трудностей несра-

вненно более, нежели натуралисту, классифицирующему произведения природы».

Совсем другое дело библиомания; это болезнь, первые проявления которой мы находим в Голландии в конце шестнадцатого столетия, главное местопребывание которой теперь — Англия, хотя и во Франции и Италии много библиоманов[1].

Библиоман не соображается с своими потребностями и собирает книги в бо́льшем количестве, нежели сколько нужно ему их для собственного употребления. В этом случае он совершенно сходен с собирателями медалей, раковин, насекомых и даже картин; предметы, которыми он наполняет свою коллекцию, дороги ему не потому, что он ими пользуется, а потому, что они — его собственность, хотя и бесполезная.

Так же, как другие коллекторы, старающиеся приобретать редкие вещи для возвышения ценности своих коллекций, и библиоман отыскивает преимущественно библиографические редкости, красивые переплеты, мало распространенные издания, типографические странности. Он так постоянно занят приобретением драгоценных для него книг, что читает очень мало, а иногда и вовсе не читает, как например граф д'Этре, о котором я говорил выше. Эта сторона тоже общая у библиомана с другими собирателями, обыкновенно не имеющими никакого понятия о науке, которая занимается исследованием собираемых ими предметов.

Красивые переплеты (у некоторых любителей роскошь в них доходит до смешного) много возвышают цену книг. Знаменитый английский библиоман Аскью (Askew) дошел в своей мании к переплетам до того, что велел переплесть себе одну книгу в человеческую кожу, чтобы только иметь в своей библиотеке переплет, какого не найдется нигде.

Библиомания вообще все более и более клонится к материальной стороне книг: на аукционах покупаются за непомерные суммы роскошные издания, украшенные гравюрами avant la lettre[2], оттиски на веленевой бумаге и на цветной— розовой или голубой, зеленой или желтой, на бумаге большого формата или с золотыми литерами, с рамками. Книги, принадлежавшие знаменитым лицам, в особенности те, на

---

[1] В Германии библиоманы редки; там книги ценятся более по содержанию. *(Прим. М. Л. Михайлова.)*

[2] перед текстом *(франц.)*.

которых есть автографические заметки этих лиц, имеют огромную ценность в глазах некоторых любителей.

В pendant[1] к двум чудакам, помешанным на книгах, о которых сказано в начале этой статьи, стоит припомнить еще одного — некоего Солена (Soleinnes). Этому библиоману вздумалось иметь у себя в библиотеке собрание всех театральных пьес, какие когда-либо были изданы на поверхности земного шара! Он, конечно, никогда не мог достаточно приблизиться к своей цели, и его постоянно мучила мысль, что на земле беспрестанно играются пьесы, о которых он даже и не знает. Многие из собранных им пьес были написаны на языках, о которых он не имел понятия; но что за дело! он знал, что пьесы эти есть у него в коллекции — и этого было ему довольно.

Вот несколько мыслей о библиомании одного умного французского писателя:

«Библиомания часто сходна со скупостью; библиоман не пользуется своими книгами, но не ссужает их и другим, а часто даже и не показывает. Он страшится воров, того разряда библиоманов, обыкновенно мало разборчивых в способах увеличивать свои собрания; не зная часто сам, что у него есть, он подвергается неприятности быть обокраденным, не имея потом возможности сказать, что именно у него украли. Даламберт рассказывает в «Энциклопедии» о человеке, который был одержим страстью к собиранию астрономических книг, хотя не знал ни иоты из этой науки; он покупал их по бешеным ценам, бережливо запирал в ящик, даже не развертывая их, и ни за что в мире не ссудил бы он книг своих лучшим астрономам того времени. Библиоман боится, чтобы его книг не попортили; часто (нам самим случалось видать это) он не притрогивается к ним и сам, чтобы не помять переплет, не запачкать золотой обрез, бумагу. Таким образом, он совершенно похож на скупца, который не пользуется своим богатством и находит единственное наслаждение в обладании — и только.

Библиомания есть странность, заблуждение; но заблуждение это тем не менее естественно: это аномалия, развивающаяся, как все физиологические аномалии, по естественным законам, хотя она и противоречит общему порядку. Галль назначил в своей френологической системе особую шишку мании к коллекциям. Указание немецкого врача

---

[1] В дополнение *(франц.)*.

так же сомнительно, как и вся его система; но мы видим здесь желание отыскать в человеческом инстинкте причины этой странной мании. Наклонность эта развивается инстинктивно, то есть без помощи размышления и рассудка. Многие с детства начинают чувствовать страсть к собиранию чего-нибудь; она в них кажется врожденною и наводит на мысль, что причин ее следует искать в самой организации.

Это чувствуемое человеком желание копить, иметь что-либо в своем владении, хотя бы и без всякого употребления; эта врожденная страсть к личной собственности; это довольство, рождающееся у многих от одной мысли, что у них есть собственность — пусть она не приносит никакой пользы,— все это ясно доказывает, что чувство собственности выходит из самых глубоких инстинктов нашей организации».

Теперь мы можем, пожалуй, отворить маленький шкаф с самыми старыми из русских книг, напечатанных гражданскими буквами, и начать путешествие.

А не любопытно ли было бы вам, читатель, после нашего рассуждения о библиографии узнать, какая первая русская книга сообщает некоторые сведения о библиографии вообще, или, лучше сказать, о книжном деле?

Вот эта книга.

Полное заглавие ее гласит тако: «Полидора Виргилиа Урбинскаго осмь книг о изобретателех вещеи Преведены с латинскаго на славеноросииские язык в москве, и напечатаны. повелением Великаго Государя Царя, и Великаго Князя. Петра Перваго Всероссийскаго императора. в лето господне 1720, маиа в 5 день»[1].

Да не смущается душа читателя, не нюхавшего никогда пыли старых книг, орфографиею этого заглавия. Тот читатель, для которого печаталась эта книга сто тридцать лет тому назад, вероятно и не заметил, что где следовало бы поставить точку, там точки нет, а где ее никто не просит, там-то она и села черненьким пятнышком; что где бы надо быть прописной букве, там буква строчная, и прочее. И вся ведь книга так же напечатана: ни грамматика, ни корректорское дело еще не процветали в России, и можно еще было печатать на одной и той же странице *египтян*, например,

---

[1] В лист страниц: 4 без озн. (заглавие и предисловие), 6 (оглавление), 412 и 2 (опечатки). *(Прим. М. Л. Михайлова.)*

с большою буквою в начале, а *французов* с маленькой, хотя, кажется, чем бы француз хуже египтянина... Впрочем, виноват — того и гляди, что на той же или на следующей странице увидишь *французов* предпочтенными (посредством прописной буквы) *египтянам*. Подчас (бедовое, право, дело эти прописные буквы!) *Орудие*, например, окажется именем собственным, а *орфей* — именем нарицательным; да и как тут разобрать — сами посудите: ведь и то слово и это — оба начинаются с одинаковой буквы, именно с буквы *о*? Что касается полугласной *й*, ее в книге вовсе нет — и ничего: никто еще к ней и не привыкал.

Можно даже быть вполне убежденным, что редкий из той публики, для которой были изданы «Осмь книг о изобретателех вещей», находил нужным приложенный к ним «Реестр погрешностям типографским», который все-таки доказывает, что о корректуре книги старались и не желали вовсе, чтобы вместо слова *пиет* было напечатано *пишет* и вместо *зримо* — *еримо*.

Кстати о погрешностях. История их (у всего есть история и даже историки) не лишена интереса. Кажется, что за важное дело одна какая-нибудь буква, перескочившая со своего места на чужое или совсем выпавшая из набора; а между тем... Но я думаю, что, путешествуя по книжным полкам моей библиотеки без всякого заранее составленного маршрута, мы можем на несколько минут отложить в сторону Виргилия Урбинского и поговорить о погрешностях и опечатках [1].

До изобретения книгопечатания списков погрешностей не существовало. Оно и понятно. Описался — можно ошибки поправить, не назначая для исчисления их особого листа. Так и делалось обыкновенно. Если копист замечал, что сделал ошибку,— пока чернила еще не высохли, он вооружался губкой, и ошибка исчезала; если же стереть чернила было уже невозможно, он зачеркивал лишнюю букву или лишнее слово или же просто ставил точки под буквами, которые следовало уничтожить. Кроме того, рукописи по окончании их пересматривались и исправлялись особым лицом, как нынче корректурные листы в типографиях.

Так как замеченную ошибку можно было немедленно исправить, то рукописи могли с течением времени достигать

---

[1] Техническое название списка типографских погрешностей — errata. (*Прим. М. Л. Михайлова.*)

высокой степени исправности. Вот, например, что рассказывает Авл Геллий в своих «Аттических ночах»: «Сидя однажды в книжной лавке с Юлием Павлом, мы видели продававшийся там экземпляр «Летописи» Фабия Пиктора, драгоценный по древности и по чистоте текста. Книгопродавец уверял, что невозможно найти в рукописи ни одной ошибки. Один известный грамматик, пришедший с покупщиком взглянуть на книги, сказал, что нашел в ней одну ошибку. Книгопродавец, с своей стороны, готов был все прозакладывать, что в его экземпляре нет даже буквы неправильной». И он оказался правым.

При первых напечатанных книгах не было указаний опечаток: во всех экземплярах ошибки поправлялись пером. Скоро, однако ж, пришлось отказаться от этого способа, потому что в небрежных изданиях подобные исправления стоили чрезвычайно дорого, не говоря уже о том, что экземпляры оказывались совершенно испорченными. Желание исправить книгу, не портя ее листов, было поводом к составлению списков погрешностей, которые и прилагались в конце томов. «Самый древний список опечаток (говорит Шевилье) приложен к «Сатирам» Ювенала с примечаниями Мерулы, напечатанным в Венеции в четвертку в 1478 году. Он помещен на двух страницах, и типографщик извиняется в нем следующими словами: «Lector, ne te offendant *errata* quae operariorum indiligentia fecit, neque enim omnibus horis diligentes esse possumus. Recognito volumine ea corrigere placuit». То есть: «Читатель, да не оскорбят тебя опечатки, сделанные неосмотрительными наборщиками; нельзя же быть внимательным во всякое время. Только перечитавши этот том, можно было их исправить».

Михаил Фернус, издавший в Риме в 1495 году рукопись Антония Кампануса, епископа терамоского, увидев множество опечаток, обезобразивших, несмотря на все старания его, это издание, сделал следующее заглавие к списку погрешностей, занимающему четыре страницы: «Vis ex stulto demens, idemque ex demente insanus fieri? Libros Romae primus imprime. Corruptorum recognitio». То есть: «Хочешь ли из дурака сделаться сумасшедшим, или, что то же, из сумасшедшего дураком? Примись первый печатать книги в Риме. Список опечаток».

Первое издание сочинений Пика де-ла-Мирандолы, вышедшее в Страсбурге в 1507 году в лист, имеет при себе

список опечаток в пятнадцать страниц. «Мне не случалось (говорит Шевилье) видеть столь большого списка опечаток сравнительно с объемом книги».

Кардинал Беллармино, видя, что его «Прения» печатаются в разных местах и самым небрежным образом, велел снять с них рукописную копию и отдал ее одному венецианскому типографщику, чтобы сделать наконец издание исправное; но эти предосторожности оказались бесполезными, и автор был вынужден издать книгу под заглавием: «Recognitio librorum omnium Roberti Bellarmini»[1] (Ингольштадт, 1608), в которой исправил все ошибки, вкравшиеся в его собственное издание. Один перечень опечаток занимает восемьдесят восемь страниц. Автор жалуется в предисловии, что типографщик заставил его более нежели в сорока местах говорить *да* вместо *нет* и *нет* вместо *да*.

Доминиканец Ф. Гарция заставил напечатать в 1578 году в четвертку список ошибок, вкравшихся в его сочинение: список занял сто одиннадцать страниц.

Трактат Лэ (Leigh) «О религии и ее науке», напечатанный в 1656 году, сопровождается перечнем опечаток на двух страницах в лист.

Альд Мануций в прошении своем, поданном к папе Леону X, говорит, что он так скорбит, когда находит ошибки в своих изданиях, что готов бы выкупать каждую ценою червонца.

В списке погрешностей к «Комментариям» Стефана Долета указано только восемь ошибок, хотя сочинение это в двух томах in-folio[2].

Если верить «Скалигериане», в трактате Кардана «De Subtilitate»[3], изданном Васкосаном в 1557 году в четвертую долю листа, нет ни одной опечатки; а в списке погрешностей при трактате Будея «De asse»[4], напечатанном в той же типографии, их только три.

«У испанцев (говорит Шевилье) давно существует учреждение для исправления книг; этим правительство хотело обязать типографщиков иметь более тщания о исправности их изданий. До выпуска в продажу книга посылается к чиновнику, который сравнивает напечатанное с

---

[1] «Обзор сочинений Роберто Беллармино» (*лат.*).
[2] в лист (*лат.*).
[3] «О тонкости» (*лат.*).
[4] «Об ассе» (*лат.*).

рукописью и отмечает все опечатки; при первом листе припечатывают сделанный им список, и он подписывает под ним, что книга, за исключением замеченных ошибок, напечатана верно».

Засвидетельствования подобного рода есть и при некоторых французских изданиях; в других поименованы корректоры.

В течение первой половины семнадцатого столетия сочинения, издававшиеся в Париже, печатались так неисправно, что устав для книгопродавцев, изданный в 1649 году, заключает в себе много жалоб по этому предмету. «В Париже печатается так мало хороших книг (говорится в этом уставе), и то, что печатается, является в свет в таком небрежном виде, на такой дурной бумаге и с такими неисправностями в тексте, что мы вынуждены поставить на вид, какой стыд и какое великое зло для нашего государства производят подобные издания. И преимущественно те из наших подданных, кои принадлежат к литературному сословию, терпят от того немало, ибо им приходится отыскивать старинные издания, употребляя на то значительные издержки».

Если справедливо предание, то французский лирик Малерб обязан опечатке одним из лучших стихов своих. В своем известном послании к дю-Перрье, дочь которого звали Розеттой, он написал сначала:

Et Rosette a vécu ce que vivent les roses [1].

Но в типографии плохо разобрали рукопись и поставили *Roselle* вместо *Rosette*. Малерб, читая вслух корректуру, был поражен этою переменой и изменил таким образом к лучшему свой стих:

Et rose elle a vécu ce que vivent les roses [2].

Точно так же стих Пушкина в его «Песни о вещем Олеге»:

И внем*лют* ответу: на холме крутом
и пр.

был сначала написан так:

И внем*лет* ответу: на холме крутом
и пр.

[1] И Розетта прожила столько, сколько обычно живут розы (*франц.*).
[2] И так как она была розой, она прожила столько, сколько обычно живут розы (*франц.*).

В альманахе, где была впервые напечатана эта баллада, стих, напечатанный так, как печатается он до сих пор во всех изданиях сочинений Пушкина, был исправлен в списке опечаток; но Пушкин, найдя, что с опечаткою он и сильнее и выразительнее, оставил его без поправки, или, лучше сказать, с поправкою наборщика.

Можно было бы занять несколько страниц исчислением опечаток, заставлявших конфисковать и уничтожать некоторые издания библии на европейских языках. Множество изданий, на которые имел право каждый, были этому виною: в течение восьмидесяти лет, с 1715 по 1795 год, в одной Германии вышло из-под типографских станков 1 670 333 экземпляра полной библии и 863 890 экземпляров нового завета отдельно.

Людовик Лаланн, у которого заимствована большая часть этих фактов, заключает такими словами свою историю опечаток: «Упреки Шевилье некоторым типографщикам его времени могут относиться ко многим типографщикам и нашего века. «Некоторые современные печатники (говорит он) нашли легкий способ достигать своей цели без излишних церемоний. Они или совсем не печатают списков погрешностей, или печатают такие, в которых указана только половина ошибок. Этою уловкой они скрывают искажение печатаемых ими сочинений, которое могло бы покрыть их стыдом в глазах публики; кроме того, тут есть и расчет коммерческий: полный список погрешностей вышел бы так объемист, что издержки по изданию увеличились бы значительно, а жалкого издания никто бы и не купил. Васкосан в одном из своих изданий почел нужным просить извинения у читателей, что не приложил к нему списка опечаток; он говорит, что у него не хватило на это бумаги. Неисправно напечатанная книга (прибавляет Шевилье) полна темноты: это ночь, в которой страшно сделать шаг вперед; тщательная корректура — это светильник, который придает уверенность шагу. Самые страшные враги книгопечатания — ошибки; но тем более опасны они, что возрождаются из своего собственного пепла. Часто их вырастает более, нежели сколько было уничтожено. Типографщик — Геркулес, которому беспрестанно приходится сражаться с чудовищами».

Но не пора ли нам перейти к Полидору Виргилию, серые листы которого навели нас на беседу об опечатках?

Мы можем легко простить московской типографии, в

которой напечатано сочинение «О изобретателех вещей», все вкравшиеся в книгу погрешности, если только вспомним, что шрифту, которым она напечатана, было в 1720 году всего шестнадцать лет и что, вероятно, наборщики не успели еще как следует примениться к нему. Буквы нашей гражданской печати были изобретены Петром Великим в 1704 году и в следующем же году, по рисунку его, отлиты в Амстердаме. Для своего времени шрифт недурен, хотя, конечно, сравнивая его с теперешними красивыми шрифтами, мы не можем уже повторить слов Тредиаковского: «Прекрасная была сия самая первая печать: кругла, мерна, чиста. Словом, совершенно уподоблена такой, какова во французских и голландских типографиях употребляется». Впрочем, и Тредиаковский восхищался не безусловно; к похвале своей он прибавляет, что «уподобление сие было несколько и чрезмерно». Вот что говорит автор «Тилемахиды» далее о новоизобретенном шрифте: «Всяк любопытный увидит здесь иѕ приложеннаго алфавита, как число букв перваго того алфавита, так и форму, а по ней и оное уподобление. а. б. в. г. д. е. ж. з. і. к. л. м. н. о. п. р. с. т. у. ф. х. ц. ч. ш. щ. ъ. ы. ь. ѣ. э. ю. я. ѵ. ѳ. Ясно, что буквы д. п. т. точно зделаны латинские g. n. m. Сие очам российским сперва было дико и делало некоторое ѕатруднение в чтении, особливо ж таким, которыи и старую московскую с превеликою запинкою читают. Новый сей друк употребляем был, беѕ всякия перемены, до 1716 года; а с 1716 года введена в него буква (и) также (і), с двемя точечками на верьху, и напечатаны сими буквами Ераѕмовы раѕговоры в Санктпетербурге. Однако пропорция в буквах оная ж голландская сохранена. В 1718. годе, Федор Поликарпов иѕдал, по указу, в Москве Варениеву генеральную географию, которую он перевел с латинскаго; а чтоб отечество свое в предисловии написать правильно нашими буквами, то есть, чтоб сходно с греческою ортографиею, ввел в сию печать і (ѵ). Однако, также голландская оная пропорция в буквах і от него не повреждена. Пребывала сия печать в сем состоянии до 1733 года». Нельзя не согласиться, что шрифт, которым напечатан «Разговор между чужестранным человеком и российским об ортографии старинной и новой и о всем что принадлежит к сей материи» Василия Тредиаковского, несколько красивее шрифта, употребленного в дело при печатании книги «О изобретателех вещей»; но нельзя в то же время не сказать, что, невзирая на отсутствие всякой орфогра-

фии в этой книге, она вовсе не читается с такою «превеликою запинкою», как пресловутый «Разговор», испещренный нововведениями, не имевшими и тени успеха.

Сочинение Полидора Виргилия переведено и издано по повелению Петра Великого; это ясно показывает, что он видел в нем пользу для русских читателей. И точно, книга Полидора была для своего времени книга полезная. Она имела большой успех за границей и составила славу своего автора.

Полидор Вергилий (а не Виргилий, как неправильно называют его некоторые) был ученый теолог первой половины шестнадцатого столетия. Он родился в Урбино; потом, окончив учение свое в Болонье, где, занимаясь словесностью, посвящал часть своего времени также изучению истории, древностей и физики, был он в Риме папским камерарием. Будучи послан папою в Англию, Полидор снискал особую милость короля Генриха VIII, который определил его архидиаконом в Вельс. На старости отправился он снова в Урбино, где и умер в 1555 году. Первое издание его истории изобретений, которая в подлиннике называется: «De rerum iventoribus libri VIII», вышло в Риме в 1499 году. Позднее он прибавил к сочинению своему еще три книги «О чудесах» («De prodigiis»), которые не переведены на русский как не составляющие существенной части сочинения. Это прибавление явилось впервые при лейденском издании 1644 года. Книга Вергилия была напечатана много раз, и не одно столетие прибегало к ней как к авторитету при некоторых неразрешенных или сомнительных вопросах. Менее успеха имела его «История Англии» («Historia Anglicana») в 26 книгах. По незнанию автором английского языка в нее вкрались многие неверности, и, кроме того, она написана пристрастно. Овен сочинил по этому поводу следующую эпиграмму:

Virgilii duo sunt: alter Maro, tu Polydore
Alter. Tu mendax, ille Poeta fuit.

То есть: «Виргилиев два: Марон и ты, Полидор; ты лжец, а тот был поэт».

Собственно говоря, историею изобретений в сочинении Полидора могут назваться только первые три книги ее, как и сам он говорит в предисловии; остальные же пять имеют характер почти исключительно теологический: в них

излагаются, по словам Полидора в русском переводе, «вся нашея (то есть католическия) веры чины, и сих начала». Посвящая книгу брату своему, Полидор говорит, что эти пять книг прибавлены им впоследствии «к трем оным, о изобретателех вещеи, книжицам отселе за осмьнадесять лет, от меня и летами и учением младаго сочиненным». Несмотря на гораздо меньший объем этой первой части сочинения, мы думаем, что именно она-то и обратила на книгу внимание великого просветителя России. Тут находятся почти все необходимые энциклопедические сведения из области каждой науки, как читатель увидит из следующего перечня ее содержания.

Книга первая трактует: о начале вещей; о первобытии человеков; о начале разных языков; о первом разделении народов; о начале сопряжения (брака) и разном у язык употреблении; о роспустном начале (разводе), и каковы в женитве древних обычаи; о начале веры, и которые почитаемых поганских (языческих) богов первие изобретателие быша, и богу истинному жертвы приносили; кто первый писмена обрете, и о числе оных приумноженном, о разности, силе и гласе; о начале грамматики; о начале учения пиитическаго; о начале меры стихов; многия ли суть роды меры; о началех трагедии и комедии; о начале сатирския и новыя комедии; кто первее историю сложи; кто витийскую орацию изобрете; о регуле к сочинению истории; о начале риторики, и которыми вещми ея существо содержится; кто первый мусикию (музыку) изобрете; которые в первых (музыкальные) орудия всякаго рода изобрели; что есть орган; о древнем употреблении труб и цевниц на бранех; о начале философии; кто первый изобрете ифику (сиречь науку о добрых нравех) и диалектику, и диалоги, сиесть разговоры введе; которые первые астрологию изобретоша, и некоторых звезд и планет течения, и сферу, и ветров вину, и колицы они суть, и примечание или знаки звезд, к плаванию морскому надлежащии; кто первый геометрию и арифметику изобрете; кто первый обрете весы и меру и числа; о различном у народов числительных лет образе; кто первый медицину, сиесть лекарственное лечение, обрете, и на колико частей разделена; о снискателех зелейнаго, аптекарскаго и сладкаго лекарскаго учения; которым людие от зверей лекарствам научишася; кто первый волшебную хитрость сниска, и от которых почитаема бе; кто образ изгнания демонов, или заклинания издаде, ими же немощи утоляются; о начале не-

кромансии, пиромансии, аеромансии, гидромансии, сиесть о волшебствах всяких различных; о двоих прорицания родех; о начале ятроволшебническаго учения; о жребиях провещающих, и кто гаданиям снов учаше.

В книге второй находятся сведения: о начале суда и уставов, и которые первые в народе закон уставили, и какия ради вины от начала уставили закон; которые царственный град от начала создаша, и диадиму и власть над подданными обретоша, и кто из ареопагитов магистрат постави о трояком управительстве римскаго гражданства; о начале гербов царских; кто первый кинсон или оброк и исчисление людем уставил; о сенаторском и о всадническом кинсовании или оброце; кто темницу созда; что есть люструм; о наложении дани; которые первые уставили год и яко разный; которые обрели сей год, его же мы употребляем; кто часовыя времена уставил, и кто часы разнаго рода изобрете; како от начала иннии инако дни рассуждали и нощи разделяли; которые первии книги издаша; о первой библиотеке; от кого употребление литер или писмен к печати обретеся; о первом употреблении писания у древних; когда во-первых изобретена есть хартия и кожа к писанию; кто первый память утверждати хитрость показа, и которые тоя чести доступиша; откуду воинское учение обретено, и превышшает ли учение писаний; о первом ратоборства образе; о первом оружия и медных пушек употреблении; кто первый хитрости на конях ездити научил, и коней усмиряти, и тех копыта железными подковами ковати, и украшения их обрете; кто двойки и четверню впряже, и колесницу с четырьмя колесами обрете; кто с коня битися в первых повеле; кто первый устави у Греков олимпийский подвиг, и инныя сим подобныя игры, и пиррическое ристание, и школу бомб; от коих обретена игра мяча, шахмат, тавлеи и прочих; о начале некоторых игр у Латин; кто первый обрете индуции, сиесть договор временный в брани и миротворение, и о разном тех творения обычаи, и колико есть их родов; от кого обычай торжествования взятся; кто первый у Римлян торжествоваше или радость восклицаше, и которым торжествовати или радость чрез письма восклицати вольно бе; обычаи, где полагати трофеум, сиесть знамение торжества; кто первее венцы изобрел, и о разных тех родех; от кого граждан венчати обыкновение произошло; о употреблении на пирах и на всяком месте, о древнем употреблении мастей; о злате, сребре, железе, свинце, меди, орудиях художнических, и

огнь первее, потом из кремня или из древес, и мехи, и фанаря употребление; от которых первее пенязь златый изобретен; кто сребро и медь печатал, и зерцало сребряное сделал; о начале перстней; о первом жемчуга употреблении; о начале стекла и янтаря; кто первый изобрете кинаварь; о хрустале; о начале образов и кто первый оныя сделал; о вжигании фимиама и свещ восковых пред образы; кто первый нача продавати фимиам; о начале живописания; кто первый краски обрете; кто кистию нача писати; о первых скуделнаго изображения обретателех; кто первый ганчарское художество обрете.

Книга третья рассказывает любознательному (или, пожалуй, благоразумному, как называет его русский переводчик Полидора) читателю: от которых первее обретеся земледелие и коликими оное изобилует благами; кто первый людем молотбу и гноение земли, и пещи хлебы показа, и волов в рало впряже, и различная делания селская, и решота разная изобрете; кто первее виноградная древеса насади и сих сеянию научи и употребление вина изобрете; которые первые винопродавцы; кто оливное древо, и употребление оливы и мед изобрете; кто ячменное пиво сотвори и млеко сгусти; кто первый животным и иным вещем даде имена; о первом уставлении закалания животных; о ястии мяса и употреблении брашна сладкаго; о употреблении звероловства и рыболовства, и изобретении соли; кто первый изобрел лен, сети, прядения и ткания образец, художество белилное и мыло; кто волну изобрел и зачал прядение волны; о одежд разных и кож употреблении; о запалах стенных, сапожничестве, шелке, и когда его множество во Европе нача быти; о шелковом одеянии и порфире; о начале архитектуры; которые перво из брения или кирпича домы состроиша и черепицу и каменосечство изобретоша; о первом столпов начале; кто первее созда град, стены, башни, обиталища, капища, и кто прежде богу вседержителю храм содела; кто кладязи ископа; о первых лябиринтов и пирамид, сиесть островерхих столпов, изобретателях; о устроении мавзолиева гроба; о различнем древле во языцех погребания употреблении; откуда обыкоша Римляне сожигати трупы и посвящати кесарей по смерти; о начале погребательныя орации; кто первый обелиски, сиречь столпы, сотвори; какова бяху египетская писмена; кто первый азил или капище милосердия уставил; о начале феатра и на нем действуемых комедий и трагедий; кто первее в Риме феатр,

амфифеатр и циркуль (цирк) постави; о частом умовении, древними употребляемом; о начале теплиц; кто первый изобрел древоделания хитрость, и в ней пилу, оскорд, правило, бурав или свердло, клейстер, долото, гвоздь, циркель, секиру, бочки и сосуды древяныя и от ветвей плетеныя; кто первый обладал морем и первее нача морем плавати; кто первее изобрел науку мореплавания, суды различнаго рода, весло, парусы, якорь, правление (руль) и брань корабельную на мори (морское сражение); которые первые купечество изобрели, и о первых купцах; кто первый устави бакханалия; кто изобрете помазание власов и употребление стрижения. Эта книга заключается главою, которая надписана так: «Многая тако древняя, яко и новая изобретена суть, ихже изобретатели неизвестны». Здесь автор извиняет себя перед читателем в том, что сочинение его может оказаться в некоторых отношениях не полным; неполноту эту старается он оправдать следующими словами: «Аще к древним некиим обретеным или новым менше коснулся, сие истинно виною бысть, занеже хотел бы меншими словесы совершенная предати, неже многими несовершенная достизати».

Из этого подробного исчисления предметов первых трех книг, переданного словами старого перевода, видно, что сочинение Полидора могло служить домашнею энциклопедией или справочною книгой для русских читателей старого времени; оно, вероятно, имело бы несравненно больший успех, если б описанные в нем предметы были расположены в алфавитном порядке, для большей легкости справок. Но и в настоящем виде своем книга Полидора долго находила на Руси усердных читателей, и Новиков нашел небесполезным напечатать новый перевод ее через шестьдесят лет после появления первого перевода [1]. Любопытно сравнить эти два перевода; в шестьдесят лет, разделяющие их, язык сделал огромные успехи. Новиковского Полидора можно еще без особого усилия читать и теперь, тогда как первый перевод уже почти вовсе неудобочитаем.

Пятая, шестая, седьмая и осьмая книги Полидора посвящены, как сказано выше, теологическим предметам:

---

[1] «Полидора Виргилия Урбинскаго, о первых изобретателех всех вещеи». Две части. Иждивением Н. Новикова и компании. В Москве, в университетской типографии, у Н. Новикова. 1782 года. В 8-ю д. л. *(Прим. М. Л. Михайлова.)*

тут находим мы историю христианства и христианской церкви, описание происхождения и исполнения священных таинств, церковных обрядов и богослужения. Подробности, с какими говорится здесь о католицизме, вызвали следующее примечание русского переводчика к предисловию автора:

«Отсюду (то есть из слов Полидора) явно есть благоразумному читателю познати, яко сеи муж живяше убо во англии: писаше же к брату своему во италию, изследуя римския церкве чины, купно же и церемонии или обряды их, откуду что произыде, и хотяше доказати, яко многая римския церкве деиства чины и церемонии произрастоша и от древних еллинских языческих обрядов и обычаев.

Того ради любезныи восточныя церкве читателю, читая сию книгу, аще где-либо обрящеши что твоеи мысли и содержанию аки бы несогласное, и подзорное, да не смущается твое сердце, яко издадеся сие аки бы противно твоему благочестию. Вемы бо, яко от сиона изыде закон, и слово господне из иерусалима. Но на высоком здраваго твоего разсуждения амфитеатре став, разсмотряи силу предприятаго дела, и причину сего авторова трудоположения, чего ради сие, и кому, и о ком писал, и коея церкве началов изыскивал. Ибо читаем книги различны не токмо сих именем христианским красящихся, но и древних еллинов, и египтян, и персов, и прочих истории, не да веруем им, но да ведаем творимая у них: и да явимся искусни во обхождениах их. Убо буди подобен трудолюбивеи пчеле, не токмо благоуханныя цветы и древеса, но и мертвая телеса облетающеи, и от всех дивныи пчелник, и сладкии мед сочиняющеи. И тако здрав и прав будеши и умудришися».

Строки, заставившие нас взяться за сочинение Полидора, находятся на страницах 88—90, в седьмой главе второй книги, которая именуется: «Которые первии книги издаша и о первой библиотеке и от кого употребление литер к печати обретеся». Мы не считаем лишним привести здесь эти строки как первые, в которых находим на русском языке общие библиографические сведения.

«Понеже от дне до дне более человеческия умы единым токмо книг множеством живут, и ко восприятию учении волных хитрости удобнее всех народов процветают. согрешил бы воистину, аще сицево обретение молчанием оставил бы, котораго мы такожде яко в малыи понесет разум, умно-

жения ради, сию то есть работу восприяхом, наипаче егда сицеваго образа списателеи книги разумов изображеные знамения суть. От всех убо первеишии анаксагор (свидетелствующу лиерцию в книзе 2) книгу к нему написанную издаде, геллии же в книзе 6 пишет, что пизистрат тиран от всех первеишии книги народне читати предаде. Но воистинну кто не видит, яко насилно грецы (иже своея похвалы человецы суть зело желателны) сию себе похвалу причитают; Иже (якоже иосиф, противу аппиона явственно показует), юни суть. Откуду безсумнения далече прежде греков, древнеишии от в ереов, иже божественную историю написаша, и египетские жерцы или халдеи книги издаша, и тако равне есть верити, что Анаксагор и пизистрат у греков токмо первые в мир предати книги имеша попечение, потом же (яко тои же геллии свидетелствует), самые афиняне число книг искуснее и прилежняе умножиша, но все оное последи книг умножение ксеркс Афины подбивши отнесе, и занесе в персы. И сия книги все по многих летех селевк македонскии царь, которыи никанор нарицашеся, принести в афины потщася, безмерное последи число книг во египте от Птоломеев цареи сотворися, едва не до седми сот тысящеи, но сия вся в первую брань александриискую сожжены. прочее страбо в книзе 13 географии пишет, яко аристотель от всех первую библиотеку устави, повествует бо, яко в сцепсии быша философы сократовы, эраст и корикс, и нереи кориксов сын, которыи аристотеля и феофраста послуша, и наследник книгохранителницы Феофрастовои, в которои аристотелская бяше, ибо аристотель и книгохранителницу и школу остави феофрасту, и первыи всех, которых ведаем, книги собра, и египетских царей книгохранителницы чину научи. феофраст же тую предаде, сия он: бе и пергамова книгохранителница преславная. творец плинии в книзе 35, при начале свидетелствует, или первии начаша александрии, и пергама царие, которые книгохранителницу великим иждивением сочинили.

Римскую книгохранителницу, асинии и поллии первии сотвориша, свидетелствует тои же в преждеобъявленнои книзе глаголющь: Не подобает оставити и изобретения новаго, понеже не токмо из злата, или сребра, или меди, в книгохранителницах возъименуются онии, которых безсмертныя души в техже местах глаголют, тамо еще и яже не суть, умышляются, и раждают желание непреданнаго лица, якоже в гомере случилося, чем вящше (якоже мню)

ниедино такое есть щастия знамение, яко всегда все желание имети знания, каков бы кто был, асиния и поллиона сие в риме снискание, которыи первыи, книгохранителницу приписующь от разумов человеческих аки некую речь посполитую сотвори: Суть же многия ныне в италии книгохранителницы, но оная в начале всех судом зело преизбранная, которую Федерик Фелтрии, вождь урбинскии состави, которую после гвидо князь, его сын, всего учения красота, и премудрых людеи оборона, якоже златом и сребром, тако и множеством книг умножи и украси».

Дальнейшие строки этого отрывка мы помещаем рядом с отрывком того же места из перевода, изданного Новиковым, чтобы читатель имел возможность проверить вышесказанные нами слова об успехе, сделанном русским языком в промежуток времени между двумя переводами:

ПЕРЕВОД 1720 г.

Бе убо то конечно людем великии дар, не уравняемыи сим, егоже в наша времена сподобихомся, изобретше новыи писания образ, толико бо единым днем, от единаго человека писмен печатается, елико едва целым годом от многих могло бы написатися, откуду толикое всех учении книжное множество до нас притече, яко никакому более остатися делу, которое бы от человека аще и убогаго пожелатися могло.

И сие еще приложил, что авторов премногих тако греческих, якоже и латинских, от всякия весма погибелнои беды свободил, чесо ради таковыя вещи творец недолжен быти своеи славы лишен, наипаче да последородннн знают, кому

ПЕРЕВОД 1782 г.

И так безспорно великое было оное смертным дарование, котораго однако с нашим сравнить никак не можно, которое мы в наши времена получили по изобретении новаго рода письма: ибо столько в один день написываемо бывает, сколько едва в целой год многочисленные написать в состоянии. Почему всех наук толикое множество книг у нас появилось, что не будет со временем никакой нужды и самому скудному жаловаться на недостаток книг. Сверьх сего прибавить должно, что сим способом, как Греческие, так и Латинские писатели от утраты избавлены и сбережены. Почему не должно лишить должной хвалы толь полезной вещи изобретателя,

бы божие благодеяние взятое воздавати должно было, яко Иоан кутенберг, родом тевтоник, муж баронския чести, якоже от его граждан взяхом. Первыи всех во граде немецком, которыи могунциею нарицается, сию печатаемых Литер хитрость выдумал, и во первых тамо оную творити нача. Не меншею остротою обретеся от тогоже, (яко же глаголют) автора, новыи чернил род, котораго ныне писмен печатаницы токмо употребляют.

Таже шестагонадесять года, которыи бе мироспасителныи год 1458. Некоторыи именем конрад, такожде немец, в Рим во первых в Италию принесе. Тую же хитрость последи николаи Иенсон Француз первыи на удивление изъяснил, яже везде сих неспокоиных времен, едва не во всеи вселеннеи процветает, о котории множае да возглаголю, трудам присижу.

А яко оныя изобретателя, купно же, и откуду до нас принесено бысть, изъявих, мню немалую вещь от мене сотворенну быти. егда оная всем весма знатнеишая будет, которая того ради, яко от начала не с малым цены снисканием, тако человеческим удивлением началася и тако помалу, якоже предглаголю, дешевле будет.

особливо дабы потомки знали, кому они за божественное сие благодеяние обязаны благодарностию. И так Иоанн Гутенберг уроженец Тевтонский, достоинством ковалер, как граждане его сказывают, первый из всех, в городе Германском Могунциею называемом, сие искусство для печатания книг изобрел, и в первые делом производить печатание начал, по изобретении им же с неменьшим тщанием новаго рода чернил, которых ныне типографщики одни употребляют. Потом шестнадцать лет спустя некто именем Конрад родом также из Германии, в лето от воплощения Христова 1458 в Рим в первые в Италию сие искусство принес, которое наконец Николай Иенсон Француз удивительным образом изъяснил, которое везде в нынешнее время во всем свете процветает, о котором больше говорить я жалею труда, особливо когда всем оное известно, довольствуясь тем, (хотя и то самое малое есть дело) что показал изобретателя онаго, также и то, от куда сие художество к нам прешло: которое как сперва с великими имения издержками, и не малым человеческим удивлением заведено, так уповательно со временем дешевле будет.

Если вам наскучило читать эти строки, написанные языком, каким уже больше никто не пишет, то я могу обещать вам, что, идя далее по моей библиотеке и по страницам книг, вмещаемых ее полками, вы скоро не будете уже спотыкаться на старом русском слоге и сумеете найти любопытное, занимательное и даже изящное в русской книжной старине.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА В ПЕТЕРБУРГЕ

Май и июнь 1859 года

Время, когда литературная критика ограничивалась важными рассуждениями о слоге и грамматической правильности языка разбираемых произведений, не обращая большого внимания на их внутренний смысл, давно миновало. Красота стиля, благозвучные фразы, стройное согласование слов и проч. и проч. — могли, разумеется, дорого цениться в такую пору, когда язык не был еще достаточно выработан для принятия в себя серьезного содержания. Тогда, конечно, могло иметь значение большее или меньшее уменье покорять своей мысли этот еще грубый и неподатливый материал. Но это время даже для русской литературы — время давно прошедшее. Теперь никто не способен повторять с восторгом, как музыку какую-нибудь, фразы вроде: «Раздался звук вечевого колокола, и дрогнули сердца в Новегороде», или восхищаться звукоподражательною красотой стишков вроде: «От топота копыт пыль по полю летит». Мало того, никого не удивит в поэме звучность стиха и богатство рифмы, в комедии или романе — меткость языка действующих лиц. Заставить говорить в повести крестьянина крестьянским языком, мещанина — мещанским, и т. д., не составляет уже ровно никакой заслуги в наше время. Ведь я не стану изображать лиц, которых никогда не видал и не слыхал. А если я их видел и слышал да у меня есть хоть малая доля художественного такта, то что же тут такого особенного, что я крестьянскую девушку не заставляю выражаться языком «Бедной Лизы» и что какой-нибудь староста Ефим у меня просто-напросто староста Ефим, а не добродетельный Фрол Силин. Надеюсь, что никто не

станет осыпать меня за это похвалами. Все это еще не достоинства при известной степени развития литературы. Предположим, что я до тонкости изучил, знаю всю обстановку изображаемых мною лиц, что они говорят у меня точь-в-точь так, как в действительности, что самый строгий судья отдаст мне в этом полную справедливость; но если я в этой обстановке, в этом языке видел только предмет для своей копировки и не вдумался в самую жизнь, проявившуюся и в том и в другом, всякий назовет мертвечиной мое изображение и скажет мне: «Уж лучше бы вы не так все подробно рассказывали, а дали мне всего две-три, да самые яркие подробности; лучше бы вы не так рабски верно передавали эти фразы и выражения, да я бы узнал из них что-нибудь побольше того, что в Усть-Сысольске, Царевококшайске или где там хотите говорят *гоже* вместо *хорошо*, *надысь* вместо *на днях* и т. п.». Изображение русского быта «Казака Луганского» может быть вернее в мелких подробностях изображений того же быта Тургенева; но за всю кипу сочинений г. Даля нельзя отдать одного рассказа из «Записок охотника». Скажут: все зависит от таланта. Разумеется, талант великое дело; но и развитие в уровень с требованиями времени и понимание явлений жизни, а не мелочная их копировка,— что-нибудь да значат. Или это пустяки?

К пластическим искусствам критика нашего времени может и должна быть еще строже, чем к литературе. Русской живописи, например, нечего трудиться над своею материальной стороной так, как трудилась русская литература над языком. В этом отношении все народы — земляки, и что сделано по этой части итальянцами, фламандцами, французами, того нам делать сызнова нечего. Нам надо продолжать пройденный европейским искусством путь, а не повторять его. Само собою разумеется, характер нашего искусства должен быть иной, как иная у нас национальность, иная история, иные географические условия. Космополитизм невозможен пока еще и в живописи. Зурбаран мог явиться только в монашеской Испании; Жерар Доу и Метсу не нашли бы в Италии пищи своему тихому вдохновению. Каков будет характер русской живописи, судить еще нельзя; но что мы не ограничимся только повторением сделанного до нас, в этом нам порукой картина Иванова, за которою осталось первое место на выставке, как во всем, что до сих пор произвела русская живопись.

Странное чувство овладело нами, когда от «Явления Мессии» Иванова мы пошли по остальным залам академии. От произведения, которое представляет последний шаг современного искусства и открывает ему новые пути, мы, казалось, перешли к коллекции каких-то инкунабул. О картине Иванова уже много было у нас писано, хотя сказано еще далеко не все, что бы следовало. Речь о ней завела бы нас слишком вдаль и заставила бы забыть о намерении высказать несколько замечаний по поводу печальной выставки нынешнего года, которой она так же чужда, как искусство чуждо ремеслу.

Из числа выставленных «художественных» произведений мы будем иметь в виду только живопись (так как она занимает главное место на выставке) и притом только картины русских художников. Иностранных присылок немного; замечательного между ними решительно ничего нет; самое появление их на русской выставке — случайно; стало быть, можно оставить их в стороне. Предоставляем также специалистам оценить достоинство архитектурных проектов. Заметим только, что *одиннадцать* художников посвятили свои труды на составление проектов «торгового дома для женских нарядов» и *четверо* занялись сочинением проектов «*роскошных* торговых бань». Из последнего нумера тегеранского «Монитёра» мы узнали, что нашему искусству грозит сильное соперничество со стороны Персии: там не четверо, а сорок художников погружены в творческие думы о возведении не просто роскошных, а роскошнейших торговых бань. По национальной гордости позволяем себе думать, что все-таки наша возьмет и что на следующей выставке мы увидим недостающие для полного комплекта тридцать шесть проектов.

Обратимся к живописи. Первое, что вас поражает, это совершенная невозможность приложить к массе выставленных произведений мерку современной критики. Этой критике до всех этих с лишком двух сотен картин не может быть никакого дела. Другая статья, если начать рассуждать (как некогда рассуждали о реторических и грамматических тонкостях) о том, как следует держать кисть, какую краску смешивать с какою, чтобы вышла такая-то, что значит первый план и что второй, и т. д. и т. д. Затем можно, пожалуй, поговорить о выражении в живописи страстей, о высоком, среднем и низком, или подлом, стиле. К первому следует, разумеется, отнести две прелестнейшие по мысли и преиму-

щественно по выполнению картины г. Тютрюмова: «Зарему» с синими белками, с синим кинжалом в руке, с синим небом над головой и чуть ли не синими же от кипенья страсти губами (какая гармония внешнего мира с внутренним!) и «Офелию», у которой глаза, может быть, уже совсем выскочили с тех пор, как мы ушли с выставки. Выше этого стиля уж и быть ничего не может, и перед двумя этими перлами должны побледнеть и «Раскаяние итальянского разбойника», г. академика П. Орлова, и «Любопытство пажа», г. академика Бутковского (уж одни сюжеты чего стоят!), и «Молодой ваятель» г. Невзорова, которого (т. е. ваятеля, а не г. Невзорова) стоило бы признать академиком за удивительную чистоту и опрятность при занятии ваянием: бьет молотком и резцом и хоть бы соринку уронил; и сам такой чистенький, как будто только что из бани; воротничок беленький; и какая ловкость! какое искусство! На лице написано, что, несмотря на молодые лета, произвести какую угодно статую ему все равно что выпить стакан воды; тяп-ляп и — Венера Милосская! К среднему стилю можем отнести... Но мы предоставляем это критикам, которые сильнее нас в классификации.

Сколько ни старались мы хоть в чем-нибудь из всей массы выставленных картин найти органическую связь с общим ходом и развитием искусства, связи этой мы нигде не видали. Казалось, они создались как-то особняком, совершенно отдельно от всего, что было до них; ничто не приурочивает их ни к нашему времени, ни к нашему обществу; это какие-то случайные явления, не вызванные никакою потребностью. Везде работа руки, нигде работы мысли. Порой вы наталкиваетесь на какие-то смутные воспоминания. Так — чтобы не перебирать многого — в картине г. Хлебовского «Императрица Екатерина II принимает депутацию запорожских козаков в Царскосельском дворце» придворные дамы налево (лучшие фигуры во всей картине) напоминают вам маркиз Ваттó и чуть ли даже не картинки на финифтяных табакерках; «Римский пастух» г. Худякова (вещь, впрочем, очень милая)— как будто тоже ваш старый знакомый, хотя вы и не можете в точности определить, где вы его видели,— знаете только, что видели много раз. Мы уже не говорим о двух истинно замечательных по бездарности и по беззастенчивому эклектизму картинах г. пенсионера Сверчкова: «Чтение письма у камина» и «Внутренний (а нам кажется, наружный) вид лестницы средних веков». Это, видите ли,

нечто в нидерландском вкусе, а потому, например, женская фигура в атласном платье в первой картине настолько же принадлежит г. Сверчкову, насколько Миериксу или Каспару Нечеру.

Кстати об атласе. На каждом шагу вас поражают видимые и часто очень успешные старания нарисовать атлас, сукно, бархат, мех так, чтобы купец, подойдя к картине, без ошибки мог сказать, что атлас, сукно или бархат, изображенные на ней, стоят столько-то рублей аршин и даже изготовлены на такой-то фабрике. Это качество, пожалуй, не было бы совершенно лишним, если б на него художники смотрели только как на средство к произведению большего эффекта целым картины; но в том-то и беда, что оно, по-видимому, служит часто целью, и при чрезвычайной живости костюма вы не находите никакой жизни в самых лицах. Страннее всего видеть это на портретах, где, кажется, все внимание художника должно бы быть обращено на лицо оригинала. Особенной славой по части портретной живописи пользуется у нас г. Зарянко. Мы никогда не считали портреты его произведениями, которые останутся украшением музеев после того, как перестанут быть домашнею драгоценностью их оригиналов, и новый портрет г. Зарянко, выставленный нынче, не поколебал нашего мнения. Опять та же отделка аксессуаров, опять та же тщательность и верность в копировке каждой черты лица подлинника, и опять та же безжизненность. В лицах г. Зарянко есть что-то очень схожее с лицами хороших восковых фигур. То же можно сказать и о г. Маляренке, который довел почти до комического совершенства недостатки г. Зарянко, недостатки, которые, к несчастию, многие еще до сих пор считают чуть не первоклассными достоинствами. Выставленный г. Маляренко портрет кажется нам решительной пародией на манеру писать сюртуки и шубы вместо лиц.

Портретов на выставке вообще очень много; но почти все они относятся гораздо больше к ремеслу, чем к искусству. Им место скорее на окнах портретного живописца, чем на художественной выставке. Исключениями кажутся нам только — женский портрет (г-жи Аладьиной), князя Черкасского, не лишенный жизни и выражения, и в особенности портрет генерала Ермолова, написанный г. Дмитриевым-Мамоновым. Не говоря уже о том, что мы видим в последних полное отсутствие рутины, совершенное пренебрежение всякими аксессуарами, смелость и силу рисовки, перед

нами, кроме того,— живое, почти говорящее лицо, живое и говорящее именно потому, что художник не вырисовывал каждого волоска и каждой морщинки с тщательностью мелкого ремесленника, отделывающего орнаменты к вещи, назначения которой он совсем не понимает. Эта пунктуальность, эта мелочная верность — не то же ли самое и в живописи, как в литературе? Напоминаем читателю то, что мы сказали в начале нашей статьи. Предаваясь такой тщательной копировке, художник мало-помалу перестает быть художником. Деятельность его превращается в какое-то машинное производство. Конечно, машинные кружева ровнее и глаже ручных, да лучше ли они от этого и дороже ли ценятся? Упомянув об одном портрете г. Дмитриева-Мамонова, мы скажем два слова и о другом. Нам было неприятно видеть в нем большую претензию на эффект; одно лицо без всей поэтической обстановки à la Чайльд-Гарольд или à la Печорин говорило бы нам гораздо больше. Зачем эти осенние деревья, эта енотовая шуба, когда человек стоит без шапки? Претензия испортила портрет; без нее мы имели бы очень хорошую вещь[1].

Из числа жанров, к которым преимущественно применяется сказанное нами выше о копировке подробностей без вникания во внутренний смысл, можно исключить только два: «Внутренность харчевни» г. Попова, за которую объявлена ему похвала, и «Пряху» г. Мясоедова, за которую даже и похвалы не объявлено. В первой картине видна замечательная наблюдательность и старание передать не одни мелочи обстановки, но и самый характер явлений. Старания эти до известной степени увенчались успехом. Вторая картина полна меланхолической поэзии нашей деревенской жизни. Хорошенькая девочка, припавшая к плечу бабушки, стоила бы золотой медали, если только художник нуждается в этой медали и еще не имеет ее. Мерилом художественных достоинств до сих пор, кажется, считается опять-таки уменье копировать подробности, а что касается до внутреннего смысла, его может и не быть вовсе. Только в таком случае

[1] На выставке есть портрет Иванова, автора «Явления Мессии», написанный г-жою Хвощинской на память после его смерти, так как при жизни Иванов не позволял снимать с себя портрета. К сожалению, мы не нашли в этом портрете никакого сходства с покойным художником. Полное игры и жизни лицо его вышло неподвижно и мертвенно. Самые черты нисколько не напоминают оригинал, особенно мутные глаза без всякого выражения. *(Прим. М. Л. Михайлова.)*

понятны появления на выставке жалких, достойных покойного «Весельчака» (и то в последние дни его существования) картин, как «Консультация» г. Пржецеславского или «Ростовщик» г. Шильдера. Что и говорить,— шаль и платье на даме в последней картине, халат на жиде в ней же и сюртук и халат в первой — сделали бы честь любой вывеске модного магазина; но... одним словом, мы чуть не начали повторять в десятый раз того, что уже сказали. Достоинства, какие мы видим с этой точки зрения в произведениях гг. Пржецеславского и Шильдера, являются не в меньшей, если не в большей, степени в картине г. Якоби «Казанские татары, продавцы халатов». К безукоризненной отделке аксессуаров здесь присоединяется и типичность самых лиц торгашей, и не будь в картине вовсе ненужной, сухой фигуры покупщика, мы бы, не обинуясь, назвали ее одною из талантливейших картин нынешней выставки. Но, должно быть, для рутинерского взгляда свидетельство в безвкусии, подобное помянутой «Консультации», равняется этюду г. Якоби, а безвкусие, соединенное с претензиями, именующееся «Ростовщиком», ставится выше его.

Удачные фигуры заметили мы еще в некоторых картинах, но отдельная фигура, как бы хороша она ни была, не украсит целого, лишенного стройности; поэтому мы ничего не скажем о картинах, выставленных во второй античной галерее, из которых большая часть явились вследствие программ. Признаемся в своей глупости: мы никак не можем понять, чтобы художник, даже с большим талантом, был способен высказать что-нибудь, кроме своих внешних, технических сторон, в работе по заказу. К несчастию, даже в незаказанных работах заметно по большей части что-то непроизвольное. Остановясь перед иною исторической картиной, ясно видишь, что мысль написать ее пришла художнику не вследствие изучения истории, где воображение его затронули какие-нибудь яркие черты времени или быта,— вовсе нет: это тоже своего рода заданная тема; разница только в том, что эту тему задали ему не другие, а он сам. Делается это обыкновенно так. Художник говорит себе: «Надо бы сочинить что-нибудь историческое. Взять что-нибудь поэффектнее. Побольше лиц, побольше движения. И драма чтоб была, да и костюмы чтоб были яркие!» И с этой задачей в уме пересматриваются тощие томы учебников, где не без труда приискивается избитый сюжет. Если это и не так в действительности, то не мы виноваты в нашем

предположении: что делать, если такие предположения невольно являются в голове перед нашими историческими картинами? Мы уже не говорим о совершенном незнакомстве с поэзией, которая представляет такой богатый источник вдохновения для художников европейских. Вспомним хоть Ари Шеффера с его чудными картинами, можно сказать дополняющими для нас «Фауста» Гете, не говоря уж о Корнелиусе и Каульбахе. Нам скажут, пожалуй, что мы несправедливы, что ведь г. Тютрюмов вдохновился же Пушкиным и Шекспиром, что есть же на выставке и еще две картины, навеянные чтением Пушкина, а именно: «Отец Пимен и Лжедимитрий в келье Чудова монастыря» г. Зотова и «Домик в Коломне» г. Пескова. Для тех, кто видел три помянутые картины, ответа на это замечание не нужно. Заметим только, что надо иметь очень мало художественного чутья, чтоб вдохновиться «Бахчисарайским фонтаном» и выбрать в сюжеты анекдот о переодетом в платье кухарки мужчине. Что касается до Офелии и до летописца, по нашему мнению надо вовсе не иметь не только фантазии, но и соображения, чтобы так странно представить себе и ту и другого. Опять-таки случайность, недостаток серьезного изучения, серьезного взгляда на искусство.

Нужно ли также повторять, что старинное схоластическое определение «искусство есть украшенное воспроизведение природы» давно признано годным разве для китайцев. Где-то на вывеске французского парикмахера в Петербурге, не то на Невском, не то на Морской, крупно написано золотом по темному фону: «L'art embellit la nature» [1]. Вот куда пошла эта эстетика, и никто не находит ее неуместной в девизе какого-нибудь мосьё Жоржа или Эмиля. И между тем перед многими из выставленных картин пришлось нам вспомнить об этом куафёрском лозунге. Савояры в лентах и шелку, крестьянские дети, чистотою и щеголеватостью похожие на тех кукол, которых водят гулять в шелковых рубашках и бархатных поддевках по Летнему саду — все это так и мечется в глаза своей яркой несообразностью. И опять-таки не столько виноват недостаток наблюдательности или наглядного знакомства с жизнью, сколько недостаток серьезного художественного образования. Только оно (разумеется, при общем развитии) направит наблюдательность на до-

---

[1] «Искусство украшает природу» *(франц.)*.

стойные предметы и укажет в окружающей художника жизни яркое не одним атласом и бархатом...

До сих пор не редкость увидать изумленное лицо у художника, когда ему говорят, что в его картине нет мысли. Иной готов спросить, какая же может быть мысль, например, хоть в грязных уличных мальчиках Мурильо? Ясно, что он разумеет под мыслью в художественном произведении не жизненную правду его, а какой-то дидактизм, вообще несвойственный искусству. Так, когда мы заметили одному художнику, что выставка нынешнего года страждет больше всего отсутствием мысли, он возразил: «Разумеется, выставка бедна; но есть и на ней вещи, отмеченные печатью мысли». И в подтверждение своих слов художник указал нам на небольшую, довольно тщательно отделанную картину барона М. Клодта «Больной муж»; «над нею, видите ли, можно задуматься». На картине изображена печальная женщина у постели больного. Выражение лица у нее, точно, недурно схвачено; но этому выражению как-то странно противоречит щеголеватость ее одежды, хотя художник и оказался настолько проницателен, что расстегнул у ней лиф. Все остальное в картине ниже всякой посредственности, даже по отделке, не говоря уже о том, что комната по стенам нищенская, а по занавескам барская, что больной муж лежит бог знает на какой постели, а жена сидит рядом чуть не в шелку. Насмотревшись на картину, мы не могли не вспомнить, по поводу замечания нашего знакомого художника, обломовского Захара. Не похоже ли это «можно задуматься» на захаровское «опять жалкие слова говорит»?

Мы хотели уже перейти к пейзажной живописи, да вспомнили, что нас могут обвинить в ужасном невнимании. В числе исторических картин есть произведение г. профессора Дузи, которому отдают пальму первенства на нынешней выставке. Если взять в соображение художественные ее богатства, так нельзя не признаться, что пальма эта не особенно лестна. Что касается лично до нас, мы не находим картину г. Дузи ни лучшею на выставке, ни вообще сколько-нибудь замечательною. В этом случае уж сами мы играем роль обломовского Захара. Любоваться сочиненным в последней половине XIX века и притом в русском городе Петербурге «Собранием у живописца Тинторета XVI века» для нас так же трудно, как было трудно Захару не плакать от «жалких слов» Ильи Ильича. «Но посмотрите, какая группировка! какое разнообразие лиц и костюмов! какие

подробности!» Боже мой! опять подробности, опять костюмы! Да ведь мы все это видели уже тысячу раз, не только эти подробности и эти костюмы, но и эти группы и эти лица! Все это подергано из старых воспоминаний о чужих картинах и наставлено рядом, как ставятся куклы детьми в подражание большим и их гостям. И почему так интересен вечер именно у Тинторета? Какое нам дело до Тинторета? Кому нужен Тинторет? Даже смешно становится.

Г-н Моллер, автор знаменитого «Поцелуя», выставил небольшую картинку, обозначенную в каталоге как «Портрет сына художника». Мы думали, что это Иоанн-Креститель младенцем. Он обнимает голыми ручонками барашка. Для начинающего картинка была бы недурна, для г. Моллера она, несмотря на объяснение каталога, сбивается на рутину.

Заметим кстати, что это единственная на выставке вещь с голой фигурой. Вероятно, прогресс заключается для наших художников в том, что они перестали заниматься рисовкою человеческого тела. Оно и легче и современнее: бобровые бекеши и атласные платья давно сменили нагую грацию древних Антиноев и Венер.

Два слова о пейзажах. Их много, и большая часть очень недурны, как например швейцарские виды г. Богомолова и нормандские г. Лагорио. Успехи пейзажной живописи в Европе не прошли без следа и у нас, и об этом роде мы не скажем того, что сказали про жанр, про портреты и про историческую живопись. Особенно хороши два пейзажа г. Мещерского: «Вид части озера четырех кантонов» и «Льды в Ландеке», в Швейцарии. Г-н Мещерский — ученик Калама, и картины его полны романтической поэзии его учителя.

Вот и все, что мы нашли сказать о выставке нынешнего года. Выслушав наши придирчивые суждения, нас, вероятно, спросят: чего мы хотим?

Мы ничего не хотим, потому что не имеем притязания быть законодателями; но желали бы, чтобы наши художники не пренебрегали строгим изучением истории своего искусства и не возвращались в своих произведениях из XIX века в XII; чтобы, кроме того, современное состояние просвещения не было для них делом посторонним; чтобы они были гражданами своей страны и своего времени, а не какими-то идеальными космополитами без роду и племени; чтобы предметом их искусства был человек, а не халаты, которые он носит; чтобы их вдохновляли история и движе-

ние современного общества, а не отживший сентиментализм, жизнь, а не сказочный мир; чтобы они оставили битую колею рутины и вышли на простор, где шаги их будут тверже и кругозор шире; чтобы — одним словом — они были прежде всего современными людьми, если хотят быть современными художниками!

Странно высказывать эти желания по поводу выставки, на которой находится картина Иванова; но как быть? Нигде не видно и следа ее влияния, от которого мы ожидаем так много! А скоро ли еще дождемся?

ШИЛЛЕР В ПЕРЕВОДЕ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ,

изданный под редакциею Н. В. Гербеля, т. I—VI, СПБ 1859 г.

Давно собирались мы поговорить с читателями «Русского слова» о полезном и добросовестном предприятии г. Гербеля. Пользуемся недавним выходом шестого тома этого издания, чтобы сказать о нем свое мнение.

Польза и важное значение переводов великих чужеземных писателей всеми сознается. Сознается, вероятно, и нашею публикой, которая приняла с таким сочувствием предприятие г. Гербеля. Это сочувствие свидетельствует о развитии художественных потребностей наших читателей в последнее время. Лет десять — пятнадцать тому назад полный перевод Шиллера едва ли бы имел успех. Два-три предприятия в этом роде, рассчитанные на эстетическую восприимчивость русской публики, не нашли оправдания своим расчетам и должны были прекратиться в самом начале. Так, прекрасное издание романов Вальтер Скотта остановилось на первых томах, перевод Тимковского лучших произведений испанского театра — на первых выпусках. Ясно было, что в Вальтер Скотте русские читатели ценили больше всего внешний интерес, и им довольно было старых дрянных переводов автора Ваверлея, сделанных еще притом большею частию не с подлинника, а с французского перевода, для знакомства с великим романистом. Что касается Кальдеронов, Лопе и Тирзо, русский читатель о них и знать не хотел. Мы упоминаем лишь о действительно дельных и добросовестных предприятиях, не имевших успеха. Было, например, у нас затеяно и издание в русском переводе всех сочинений Гете; но в этом случае публика была права, что встретила его полным равнодушием. Издание было начато без

всякого плана, без всякого разбора; первые выпуски словно на смех заключали в себе именно те произведения Гете, которые следовало перевести разве после всего, если только следовало переводить их вообще. Впрочем, едва ли равнодушие читателей к этому плохому переводу Гете происходило от их критического такта. Вернее, что плохой перевод не имел успеха потому же, почему не имели успеха и очень хорошие переводы. Единственное исключение из этих неудавшихся попыток составляет перевод драматических сочинений Шекспира, предпринятый г. Кетчером. Несмотря на сравнительно очень высокую цену, он совершенно исчез из книжной торговли; но, сколько нам известно, его печаталось очень ограниченное число экземпляров, и это число разошлось в несколько лет, тогда как во всякой другой литературе через несколько месяцев понадобилось бы новое издание такого прекрасного труда.

Видя такое равнодушие русской публики к великим писателям просвещенного мира, читаемым и перечитываемым постоянно на всех европейских языках в сотнях переводов, надо было вооружиться большим самоотвержением для новой попытки. В таком самоотвержении никто не откажет г. Гербелю. Принимаясь за издание всего Шиллера в русском переводе, г. Гербель не мог рассчитывать не только на большой, но и на посредственный успех. Правда, первые томы не вдруг встретили сочувствие, но по мере того как издание подвигалось, все больше и больше обращалась к нему публика, и первые томы Шиллера почти совсем уже исчезли из продажи. Настойчивость и добросовестные старания издателя значили в этом случае очень много; но нельзя не признать, наконец, и бóльшую степень зрелости в русской публике. Издание г. Гербеля и его успех доказывают, что и у нас начинают ценить великих иностранных писателей, знакомых в Европе каждому грамотному человеку, и что сочувствие большинства наших читателей обращается уже не исключительно к фабричным изданиям французской беллетристики.

Предпринимая свое издание, г. Гербель не имел, да и не мог иметь в виду дать русской литературе перевод Шиллера, после которого ничего уже не остается для знакомства нашего с величайшим по гуманности поэтом последнего времени. Такие поэты, как Шиллер, будут постоянно переводиться, и каждый новый перевод будет более и более давать чувствовать красоты подлинника. Истинно классический,

превосходный перевод Шекспира, сделанный Шлегелем и Тиком, составил эпоху в немецкой литературе, признан и английскою критикой скорее соперничеством, чем переводом поэта Ромео и Макбета; но не исключил дальнейших работ над Шекспиром в Германии. Каждый век откроет в Шекспире что-нибудь новое, что не поддавалось или ускользало от понимания предшествовавшего века, и каждый век будет с новою энергией, с новой любовью обращаться к изучению Шекспира, и иностранные литературы будут нескончаемо обогащаться новыми его переводами. После плохого, но для своего времени очень важного перевода «Гамлета» Полевого явилось на русском языке два добросовестных и верных перевода Вронченки и Кронеберга. Критика оценила их по достоинству, и за ними все знатоки английской литературы и великого британского поэта признали и прекрасное понимание и прекрасную передачу подлинника. Но следует ли считать поконченным наше знакомство с Гамлетом? Если переводчики наши еще не возвратились к нему и не представили еще нового перевода, то только потому, вероятно, что некоторых драм Шекспира в русском переводе до сих пор вовсе нет, а потому они и привлекают на себя преимущественное внимание людей, трудящихся над переводами. Переводы Вронченки и Кронеберга, при всем их высоком достоинстве, уж не вполне удовлетворяют нас. Стих русский выработался с тех пор до большой степени гибкости и изящества, самый язык двинулся вперед; буквальная верность не исключает возможности поэтической верности, а вот именно последнее-то качество и находится лишь в слабой степени у обоих переводчиков «Гамлета»; в первом переводе, впрочем, больше внутренней верности, нежели внешней, которою отличается второй перевод: Вронченко был гораздо больше поэт, чем старательный Кронеберг. Нас никто не обвинит в преувеличении, если мы скажем, что в течение будущих пятидесяти лет вероятно явится не менее десяти новых переводов «Гамлета», а не «Гамлета», так той или другой из остальных трагедий Шекспира. Но и этим дело не кончится: работать над Шекспиром будут и позднейшие наши потомки.

То же, хотя в несколько меньшей степени, можно сказать и о Шиллере. Некоторое охлаждение к нему германской критики в последнее время было лишь следствием фальшивого и антипоэтического направления, ненадолго овладевшего умами от чисто внешних, посторонних искусству, а

стало быть и жизни, теорий. Это охлаждение скоро сменилось тем глубоким уважением, которым мы обязаны благороднейшему, чистейшему поэту нашего времени, одному из тех немногих вечных наставников и руководителей человечества, с которых начинаются новые периоды его развития. Близость к нам Шиллера и Гете во многом стесняет еще наш взгляд. По мере того, как мы будем удаляться от них, все величавее и полнее будет являться нам их высокое значение.

Великая заслуга — дать чужому народу полный перевод такого писателя, по возможности удовлетворяющий современным требованиям. Такую заслугу оказал русской литературе г. Гербель, и ему должны быть глубоко благодарны все, кому дороги успехи этой литературы. Близкое знакомство с классическими писателями других народов расширяет умственный кругозор нации, вносит свежие элементы и в язык и в сферу мысли. Это международное общение есть один из самых действительных двигателей человечества по пути прогресса. Нам скажут, что заслуга г. Гербеля чисто внешняя, что доля его участия в переводе великого немецкого поэта — незначительна. С первого раза действительно может показаться так; но далеко не так выходит по серьезном рассмотрении дела. Без инициативы с его стороны, без твердого и непреклонного желания усвоить русской литературе всего Шиллера во всей полноте, во всем разнообразии мы, может быть, долго еще не видали бы в русском переводе многих лучших творений автора «Вильгельма Телля». Этому же благородному желанию обязаны мы громадным трудом пересмотра всего, что только когда-либо являлось на русском языке из сочинений Шиллера, сравнения и выбора, трудом, который с такою добросовестностью исполнен г. Гербелем. Пересмотреть тысячи томов даже только по одним оглавлениям — уже работа нелегкая; но за нею следовала другая, еще более тяжелая работа. Надо было сверить каждый перевод с подлинником, выбрать лучшие, войти в сношения с живыми переводчиками для поправок и изменений, наконец озаботиться переводом произведений, до сих пор не переведенных. Как хотите, эти старания, свидетельствующие о глубоком уважении г. Гербеля к Шиллеру и о бескорыстной любви к русской литературе, достойны полнейшего сочувствия всякого здравомыслящего человека.

До издания г. Гербеля мы знали Шиллера лишь по переводам Жуковского. Эти переводы составляют и теперь

украшение первых двух томов, в которых собраны лирические стихотворения Шиллера. Но к переводам Жуковского присоединились переводы других поэтов, уже напечатанные прежде, но затерянные в давно забытых повременных изданиях, и из них многие оказались достойны стать вслед за превосходными переложениями автора «Ундины». Таковы, например, «Семела» в переводе г. Фета, «Идеалы» г. К. Аксакова, «Жалоба девушки» г. Лялина, «Друзьям» г. Струговщикова, «Водолаз» П. Алексеева, «Песня рыбака» (из «Вильгельма Телля») и «Поминки» г. Тютчева и «Жалоба Цереры» г. Миллера. Переводы эти, рассеянные по разным изданиям, так же как несколько безукоризненно прекрасных переводов антологических пьес, сделанных гг. М. Дмитриевым и Миллером и г-жою А. Глинкой, будучи поставлены на принадлежащее им место в ряду русских переводов из Шиллера, теперь уже не забудутся. Но не в этом извлечении из забвения старых прекрасных переводов заключается главный результат стараний издателя. Его предприятие воодушевило наших поэтов на несколько истинно классических переложений из Шиллера. Так мы смело можем сказать, что ни в одной из европейских литератур нет столь высокопоэтического и притом столь верного воссоздания «Песни о колоколе», какое совершено по вызову г. Гербеля г. Мином, русским истолкователем Данта. Не только весь характер этого чудного лирического эпоса, но и малейшие оттенки, и общий строй, и все разнообразные мелкие мотивы — все явилось в соответственной полноте и красоте в русском переводе. Не можем, при имени г. Мина, не пожалеть, что деятельность его не исключительно обращена на переводы классических произведений иностранных писателей. По силе стиха, по мастерству, с каким владеет он языком, по глубокому такту, позволяющему ему уловлять и передавать главный характер подлинника, нашего переводчика Данта, Крабба и «Песни о колоколе» мы не обинуясь назовем первым после Жуковского переводчиком. В издании г. Гербеля есть еще три пиесы, переведенные г. Мином: это «Группа из Тартара», «Индийская похоронная песня» и «Художники». Все три они только подтверждают высказанное нами мнение. Последнее стихотворение представляло особенные трудности, и мы готовы были до перевода г. Мина считать его решительно невозможным. Дидактический лиризм «Художников» должен был, как нам казалось, превратиться в переводе в холодный и вялый реторизм, но этого

не случилось, и перевод г. Мина почти равносилен подлиннику по производимому им впечатлению.

Далеко не так посчастливилось другому дидактическому стихотворению Шиллера «Прогулка» в переводе на русский язык. Вместе с «Песнью о колоколе» мы считаем его одною из характернейших пиес в цикле лирических произведений автора «Идеалов». Г-ну Гербелю не из чего было выбирать: «Прогулка» была переведена лишь единожды, именно покойным Крешевым [1]. Перевод, если хотите, верен буквально, но гармонии и чрезвычайной пластической красоты оригинала совсем в нем не осталось. Мы думаем, что главною виной неудачи было неуменье русского переводчика совладать с внешнею формой пиесы. «Прогулка» написана древним элегическим размером, гекзаметром, чередующимся с пентаметром. Этот размер может еще употребляться, по нашему мнению, на русском языке в мелких антологических или, правильнее, эпиграмматических вещах; но к большому произведению, переходящему часто в эпические тоны, он как-то нейдет. Пентаметр утомляет слух своею постоянной мужской цезурой и неизменным быстрым падением. Впрочем, это только предположение; может быть, будь перевод сделан и сплошным гекзаметром, он не удовлетворил бы нас. Тайна гекзаметра, каким писал Жуковский, как будто умерла с ним. Кочковатые стихи вроде тех, какими перевел г. Фет «Германа и Доротею» или г. М. Достоевский «Рейнеке Фукса» Гете, способны возбудить сомнение, возможна ли и самая форма эта на русском языке. Но после попыток Жуковского об этом, кажется, не может быть и речи. В «Ундине», в «Нале и Дамаянти», в «Одиссее» и «Овсяном киселе» гекзаметр является нам почти русским народным размером. Вообще сила поэтическая способна усвоять языку самые, по-видимому, чуждые ему формы. Что, кажется, может быть менее русского, чем пятистопный ямб для драм, усвоенный нам тем же Жуковским в «Орлеанской Деве» и окончательно утвержденный «Борисом Годуновым» Пушкина и другими драматическими его отрывками? Но вот что значит твердость руки гения, распоряжающегося

---

[1] Этот бедный журнальный труженик умер в прошлом году в доме умалишенных. У него было несомненное поэтическое дарование, и несколько прекрасных переводов с французского, латинского, английского и немецкого языков стоили бы отдельного издания. Тяжелая нужда заставляла его тратить свои силы на темную, почти поденную журнальную работу. *(Прим. М. Л. Михайлова.)*

языком, как покорным своим орудием... Не представляются ли хоть бы следующие стихи Пушкина из его «Русалки», написанные этим чужеземным размером, отрывком из народной песни?

Веселую мы свадебку сыграли.
Ну, здравствуй, князь с княгиней молодой!
Дай бог вам жить в любови да совете,
А нам у вас почаще пировать.
Что ж, красные девицы, вы примолкли?
Что ж, белые лебедушки, притихли?
Али все песенки вы перепели?
Аль горлышки от пенья пересохли?

Возвратимся, однако ж, к Шиллеру. Независимо от превосходных переводов г. Мина в издании г. Гербеля мы находим и еще несколько новых драгоценных приобретений в числе лирических переводов. Большая часть из них являются тут в первый раз в печати, а некоторые, хоть и были напечатаны, все-таки вызваны предприятием г. Гербеля, сделаны по его приглашению. Таковы, между прочим, «К цветам» г. Фета, «Прощание Гектора», «Руссо», «Пуншевая песня для севера» и «Граф Эдуард Грейнер» г. Мея. Последний перевод можно назвать образцовым по силе и движению. Мы причислили бы к этим пиесам и «Альпийского стрелка», если б г. Мей не испортил его введением слова «бяшка», которого мы нигде и никогда не слыхивали. К слову нельзя не сказать, что г. Мей все чаще и чаще составляет нынче в своих стихах какие-то дикие, никому не понятные и ни в каком лексиконе не находимые слова. Подобные попытки попадались изредка и в прежних стихотворениях г. Мея; нынче это уже не попытки, по-видимому. Г-н Мей, как кажется, à force de forger[1] дикие неологизмы, вполне уверовал в их законность, и они представляются ему уже красотами. В первых двух томах «Шиллера» также очень хороши «Начало нового века» г. Курочкина и «Идеалы» в переводе г. Лялина, очень талантливого переводчика, хотя и мало известного у нас в публике до издания г. Гербеля, которое он украсил, кроме мелких пиес, очень хорошим переводом «Пикколомини», о котором мы еще скажем ниже.

Вообще в первых двух томах мы очень немногие переводы

[1] поскольку он придумывает *(франц.)*.

можем назвать слабыми, и то большею частию переводы слабых и в подлиннике пиес. Из произведений всемирно известных мы остались не совсем довольны только переводами гимна «An die Freude»[1] и элегии «Götter Griechenlands»[2]. Первый помещен в четырех переводах: новом г. Бенедиктова и прежних гг. Тютчева, М. Дмитриева и К. Аксакова. Последние три больше подходят по тону к подлиннику (г. Бенедиктов переполнил свой амплификациями), есть в них и верно переданные подробности и хорошие стихи, но в целом нет того огненного пафоса, каким проникнута пиеса Шиллера, нет той внутренней силы, которая заставляет нас, единожды прочитав, помнить каждый стих подлинника. Перевод «Богов Греции», сделанный тоже г. Бенедиктовым, лучше другого, старого перевода, помещенного в собрании г. Гербеля рядом с ним; но ими можно удовлетвориться только не зная оригинала. Обе пиесы эти ждут еще более соответствующих достоинству подлинника переводов.

Мы говорили до сих пор о лирической части сочинений Шиллера, занимающей два первые тома издания г. Гербеля. Четыре следующие тома заняты драматическими произведениями. И здесь, как в первых томах, издатель не ограничился пересмотренным и исправленным изданием прежних переводов. И здесь большую часть переводов он вызвал своим предприятием. Из всех драм Шиллера наиболее известна русской публике до издания г. Гербеля была «Орлеанская Дева» по переводу Жуковского, который по общему голосу и читателей и критики был признан образцовым. Желая сделать свое издание как можно более соответствующим цели — именно возможно близкому ознакомлению русской публики с великим германским поэтом, г. Гербель не положился на всеми признанный авторитет Жуковского и сверил перевод его с подлинником строка в строку. Из этого сравнения оказалось, что в некоторых местах Жуковский, делая уступку щепетильности и требованиям своего времени, смягчал и перефразировал подлинник. Само собою разумеется, текст Жуковского должен был остаться неприкосновенным, но, печатая его, г. Гербель считал необходимым представить в верном переводе стихи, измененные или опущенные Жуковским. Перевод этих

---

[1] «К Радости» *(нем.)*.
[2] «Боги Греции» *(нем.)*.

стихов сделан слово в слово г. Меем и помещен в выносках под текстом «Орлеанской Девы» [1].

После перевода Жуковского лучшими переводами Шиллеровых драм были опыты Шишкова второго. Эти переводы помещены тоже в издании г. Гербеля; а именно: «Мария Стюарт» и «Смерть Валленштейна», за исключением драмы «Пикколомини», вновь переведенной г. Лялиным. Мы упомянули выше об этом переводе. Нельзя не отдать справедливости чрезвычайной добросовестности, точности и поэтическому смыслу переводчика. У нас в последнее время так начали плодиться стихотворные переводчики, для которых считается нипочем перемахнуть за несколько присестов Шекспирова «Отелло» или «Юлия Цесаря», байроновского «Мазепу» или «Манфреда», не говоря уже о бедном истерзанном Гейне или в клочки изорванном Беранже,— столько расплодилось у нас таких переводчиков, что даже и неизбежные для этого качества, добросовестность и старательность, должны считаться большою заслугой. У г. же Лялина при этих качествах находим мы и поэзию. Как же не ценить такого деятеля? В подтверждение наших слов мы могли бы привести много отрывков; но рецензия наша и без того выходит длинна, а потому ограничимся тем местом из четвертой сцены первого действия «Пикколомини», где Макс говорит отцу о преимуществах мира.

Ты говоришь, я мира не видал!
Нет, мой отец, я миром наслаждался:
Я видел тот счастливый край, куда
Еще война проникнуть не успела.
О! в жизни есть такие наслажденья,
Которых мы изведать не могли!
Вполне прекрасной жизни мы не знали:
Одних ее пустынных берегов
Касались мы. Как племя кочевое
Грабителей на душном корабле
По океану бурному блуждает
И, в отчужденье диком от людей,
В странах больших одни заливы знает,
Притон своих злодейств и грабежей,
Так чужды мы в суровой жизни нашей
Всего, что есть святого на земле.
. . . .
Где цель была тяжелого труда —

---

[1] Том VII, в котором помещен перевод Жуковского, еще не вышел; но мы видели уже его почти вполне отпечатанным, так же как и том VIII. Оба они должны выйти на днях, и, может быть, явятся в одно время с нашею рецензией. (*Прим. М. Л. Михайлова.*)

Того труда, которому на жертву
Я с детских лет был жизнью обречен?
Тот тяжкий труд мне сердца не наполнил;
Душе моей он радостей не дал.
Весь этот шум военный, вся тревога,
И трубный звук, и ржание коней,
И по часам размеренное время,
Одни и те же вечные слова
Команды: здесь для сердца нет отрады!
В пустых занятьях пищи для души
Не может быть! Нет, в жизни существуют
Иные радости, иное счастье!

. . . .

Прекрасный день тот скоро ли настанет,
Когда вернется воин, наконец,
Домой к себе, и снова в мирной жизни,
В кругу семьи войну забудет он?
В последний раз распустятся знамена
И осенят желанный путь в отчизну,
И тихий марш в честь мира зазвучит.
В последний раз похитятся с полей
Цветы, чтоб шлемы воинов украсить.
Сами собой, без пушек, без петард,
Отворятся ворота городские.
Кругом народ толпится на валу...
Вражды нет больше: все друзья и братья!
Звучит веселый гул колоколов
Навстречу дням отрадным и счастливым.
Шумя спешит из сел и деревень
Народ веселый воинам навстречу;
И в нетерпенье радостном войскам
Проходу нет от счастливых сограждан.
Старик отец у сына руку жмет:
Опять он с ним — и теплая молитва
Летит к творцу за чудный этот день!
Как бы чужой, из дальнего похода
Вернется воин в брошенный им дом.
Ему все ново. Юношей он помнит:
Росло тогда у дома деревцо —
Теперь оно могучими ветвями
Его покрыло. С краской на лице
Идет ему красавица навстречу,
А он ее грудным ребенком видел.
О! счастлив тот, кого объятья милой
С любовью тихой кротко обовьют!

Из других прежде напечатанных драм мы находим в издании г. Гербеля, кроме перевода Жуковского и двух переводов Шишкова второго, «Вильгельма Телля» в переводе г. Миллера и «Дон Карлоса» в переводе г. М. Достоевского. Г-ну Гербелю приходилось выбирать из двух переводов последней драмы, г. Лихонина и г. М. Достоевского,

и он выбрал лучший. Но лучший в этом случае не значит еще безотносительно хороший; этим переводом мы наименее довольны из всех драматических переводов в издании г. Гербеля. Всюду блистательный стих Шиллера достигает в некоторых сценах и монологах «Дон Карлоса» высшей степени изящества; пафос и лиризм драмы требовали лирического вдохновения и от переводчика. Но этого-то вдохновения и не хватило у г. Достоевского. Стих его вял, впадает в прозаизмы, в ненужную тривиальность и в наиболее страстных местах лишен силы и движения. Некоторые места, при внешней верности подлиннику, не воспроизводят вовсе его духа, и читатель остается к ним совершенно холоден. Чтобы не говорить бездоказательно, вспомним знаменитую сцену маркиза с королем в третьем акте. «Sehen Sie sich um, — обращается маркиз к королю:

In seiner herrlichen Natur! Auf Freiheit
Ist sie gegründet — und wie reich ist sie
Durch Freiheit! Er, der große Schöpfer, wirft
In einen Tropfen Tau den Wurm, und lässt
Noch in den toten Räumen der Verwesung
Die Willkür sich ergötzen — *Ihre* Schöpfung,
Wie eng und arm! Das Rauschen eines Blattes
Erschreckt den Herrn der Christenheit — Sie müssen
Vor jeder Tugend zittern. Er — der Freiheit
Entzückende Erscheinung nicht zu stören —
Er läßt des Übels grauenvolles Heer
In seinem Weltall lieber toben — ihn,
Den Künstler, wird man nicht gewahr; bescheiden
Verhüllt er sich in ewige Gesetze.
Die sieht der Freigeist, doch nicht *Ihn*. Wozu
Ein Gott? sagt er: die Welt ist sich genug!
Und keines Christen Andacht hat ihn mehr,
Als dieses Freigeists Lästerung, gepriesen».

Что же находим мы вместо этих одушевленных слов в переводе г. Достоевского? Холодные, сухие фразы, сказанные вяло и темно. Вот как выражается по-русски пылкий Поза:

О, оглянитесь
На эту чудную природу! На свободе
Она созиждена — и как богата
Она свободой! Он, великий Зодчий,
Червя в росинке терпит; он дает
И в самых мертвых капищах истленья
Большую волю произволу. Вы же?..
Как бедно, тесно дело ваших рук!
Листка нежданный шорох вас пугает,

Владыку христианства. Трепетать
Пред каждой добродетелью должны вы.
А он? — Из нежеланья повредить
Свободы усладительным явленьям
Он дозволяет лучше бушевать
Всем легионам страшных зол
В своей вселенной — в ней его,
Художника, и не приметишь. Скромно
Себя он скрыл в законах, им созданных.
Их видит вольнодумец, не *его*.
Нет бога, говорит он: в мире все!
И ни один из христиан не может
Ему воздать достойнейших хвалений,
Как это богохульство вольнодумца.

Не говоря уже о разводянении, постигшем в переводе сжатые и оттого вдвое сильнейшие стихи подлинника, мы видим здесь крайнюю неточность выражений и местами даже полное незнание русского языка. Так например, г. Достоевский совершенно не знает слова *истление* и думает, что это все равно, что *тление*. *Raum* [1], по его мнению, можно перевести словом *капище*, хоть и выйдет совершенная бессмыслица. Всякий, знающий даже поверхностно по-немецки, увидит, что слово *терпит*, сказанное о черве, вовсе не передает мысли подлинника, что *дать волю произволу* совсем не похоже на *lassen die Willkür sich ergötzen*[2]. *Willkür* употреблено здесь Шиллером вовсе не в смысле *произвола*; это слово следовало перевести словом *воля*. Так и фраза «В мире все!» не передает смысла выражения: «Die Welt ist sich genug!»[3] Не совсем удовлетворителен и новый перевод «Разбойников» г. М. Достоевского, являющийся впервые в печати в издании г. Гербеля; но как вещь, написанная в прозе, он во многом лучше «Дон Карлоса».

Нельзя не остановиться в числе драм на «Вильгельме Телле» и на «Мессинской невесте» г. Миллера. Первый перевод был уже напечатан прежде в «Москвитянине» и отдельно, второй является в печати в первый раз. Имя Ф. Б. Миллера не пользуется особенною известностью в нашей читающей публике. Виною этому, вероятно, прежнее постоянное участие в «Москвитянине», который никем не читался. Как переводчик г. Миллер заслуживает почетного упоминания в ряду наших литературных деятелей по этой

---

[1] Помещение, пространство *(нем.)*.
[2] Позволить свободной воле тесниться *(нем.)*.
[3] «Мир хорош сам по себе!» *(нем.)*

части. Уважение к переводимому подлиннику, старание передать его во всей полноте и со всеми частностями, наконец уменье обращаться со стихом и словом вообще делают переводы г. Миллера полезным приобретением. Не все они удачны, но ни одному не откажете вы в верности и добросовестности. Главный недостаток г. Миллера — некоторая сухость выражения; кроме того, в таланте его нет совсем, по нашему мнению, лирической струи. Поэтому эпические и драматические переводы г. Миллера далеко оставляют за собой его лирические опыты. Особенно слабы его переводы мелких песен Гейне, тогда как некоторые повествовательные вещи того же поэта г. Миллеру удалось перевесть очень хорошо. Так, многим, вероятно, памятна баллада «Невольничий корабль», напечатанная в «Русском вестнике». Мы решительно не советовали бы г. Миллеру браться за пьесы, принадлежащие к сфере страстной лирики: тут он иногда не только оказывается слабым, но и совершенно пасует.

Такое издание, как собрание всех сочинений Шиллера в русском переводе, не могло обойтись без содействия г. Миллера. В первых двух томах есть несколько очень хороших переводов его, и они еще раз утвердили нас во мнении, что пьесы с эпическим или дидактическим (как в «Sinngedichte»[1]) оттенком более всего удаются г. Миллеру. Выше было упомянуто о «Жалобе Цереры», которая не побледнела и рядом с переложением Жуковского; прибавим к ней балладу «Порука»[2], рассказ «Фридолин». Но еще больше цены и достоинства имеют для нас драматические переводы г. Миллера. Мы не приводим отрывков, только чтобы не растянуть нашего отчета; притом резко выдающихся мест в переводах этих нет. Они отличаются большою ровностью, и это, по нашему мнению, очень важное качество именно для драматических произведений.

Остается упомянуть только о тщательном переводе г. Гербеля трагедии «Заговор Фиеско в Генуе» и о «Прологе» к «Валленштейну» и «Валленштейновом лагере» в переводе г. Мея. «Пролог» вещь неважная, но на «Лагере» нельзя не остановиться. Перевод его наводит нас еще раз на мысль, что г. Мей может превосходно переводить, когда дает себе

---

[1] «Эпиграммах» (*нем.*).

[2] Перевод этой пьесы удался и г. Гербелю. (*Прим. М. Л. Михайлова.*)

труд подумать над подлинником и не вдается в нелепые нововведения и в произвольное хозяйничанье с русским языком, что, к несчастию, случается с ним нынче все реже и реже. Так и в только что названном нами переводе, чрезвычайно удачном и местами безукоризненном, дело не обошлось без неологизмов; но, к счастию, их немного. Трудности подлинника побеждены г. Меем с необыкновенным искусством. В знаменитой речи капуцина он сумел передать почти равносильно игривость и немецкие *вицы* почтенного отца. Вот, например, один отрывок:

...Все христиане во вретище, в пепле,
Еле от слез пролитых не ослепли;
А у солдата карманы полны.
В небе явления, знаменья, дива;
В облацех ризой кровавой войны
Бог потрясает над миром правдиво
И с многозвездной выси голубой
Людям кометой грозит, что лозой.
Свет обратился в юдолю печали;
Церкви ковчег утопает в крови;
Римской *империей* прежде мы звали —
Римской *остерией* нынче зови!
Рейнские волны погибели полны;
Монастыри все теперь — *пустыри*;
Все-то аббатства и *пустыни* ныне
Стали не братства — прямые *пустыни*;
Каждый маститый епископства *склеп*
Преобразился в позорный *вертеп*;
И представляет весь *край* благодатный
Край безобразия...

Кажется, было невозможно передать ближе и ловче пестрых каламбуров капуцина:

...Die ganze Welt ist ein Klagehaus,
Die Arche der Kirche schwimmt in Blute,
Und das römische *Reich* — daß Gott erbarm!
Sollte jetzt heissen römisch *Arm;*
Der *Rheinstrom* ist worden zu einem *Peinstrom*;
Die *Klöster* sind ausgenommene *Nester*,
Die *Bistümer* sind verwandelt in *Wüsttümer*,
Die *Abteien* und die *Stifter*
Sind nun *Raubteien* und *Diebesklüfter*
Und alle die gesegneten deutschen *Länder*
Sind verkehrt worden in *Elender*,
и т. д.

Не совсем удачен по-русски только *склеп*; но трудность перевода извиняет эту маленькую погрешность.

После всего нами сказанного мы не можем не желать такого же успешного продолжения и окончания предприятию г. Гербеля, каким было его начало. При таком широком замысле и неизбежных трудностях исполнения невозможно было требовать совершенства. Но г. Гербель, вероятно, не остановится на нынешней редакции своего издания, и в следующем издании многие из указанных нами недостатков исчезнут. За это ручается нам его любовь к родной литературе и внимание к голосу благонамеренной критики. Кстати, нельзя не заметить, что, к сожалению, о достоинствах и недостатках предприятия г. Гербеля было говорено очень мало в наших журналах. Отзывы ограничивались большею частию общими фразами, и никто, сколько помним, не давал себе труда развернуть вместе и перевод и подлинник, разобрать серьезно и план и частности издания. За такие, подчас даже и строгие, указания и замечания издатель был бы, конечно, вдесятеро более благодарен, чем за голословные похвалы. Ему был бы много облегчен труд второго издания, которое становится уже нужным, по крайней мере для первых томов, да, верно, скоро понадобится и для остальных. Но в том беда, что глумиться над ничтожными стишонками и серобумажными рыночными фабрикациями гораздо легче, чем серьезно рассмотреть серьезное и важное литературное явление, которое во всякой более развитой, чем наша, литературе вызвало бы не одну и не две дельные и серьезные критики.

Предприятие г. Гербеля скоро, как мы уже упомянули выше в выноске, увеличится двумя новыми томами. В них кроме «Орлеанской Девы» будут помещены: «Коварство и любовь» в новом, до сих пор не напечатанном переводе М. Л. Михайлова, так же как и роман «Духовидец», драматический отрывок «Мизантроп», переведенный самим г. Гербелем, и сцены из неконченной трагедии «Дмитрий Самозванец» в новом переводе г. Мея. Исчисляем только главное; в этих томах будут, кроме того, напечатаны несколько прозаических статей Шиллера и несколько стихотворений в дополнение к первым двум частям. Между последними находится несколько неизданных опытов Лермонтова.

ФАУСТ

Трагедия Гете, перевод Н. Грекова, СПБ 1859. В 8-ю д. л. 152 стр.

В беседах своих с Эккерманом Гете говорил: «Я никогда не был неискренен в своей поэзии. Чего я не пережил, что само не просилось у меня под перо, того я и не воспевал, не высказывал». «Фауст» вполне подтверждает эти слова. В драматической поэме своей, которую Гете не совсем точно назвал трагедией, он представляет нам всего себя, всю свою внутреннюю жизнь. Это, так сказать, поэтическая история развития его могучего, неустанно стремившегося вперед духа. Но одним этим нельзя еще ограничить значение «Фауста». Гете был одним из величайших представителей не только своего времени и своей страны, но и всего человечества во всех веках. Понятно, что в символическом изображении своих собственных стремлений и страданий он дал нам картину стремлений и страданий человека вообще. Высокий поэтический такт Гете указал ему на народное лицо Фауста как на героя, которому поэт мог придать всю глубину своей мысли и своей страсти. В средневековой легенде высказалось все тревожное и неутолимое алкание знания, врожденное человеку, и вся скорбь по собственному несовершенству, выраженная лишь в намеке пословицею: ars longa, vita brevis[1]. В своей поэме Гете воспользовался лишь главным характером и некоторыми существенными чертами предания, не обратив внимания на многие мелочи. Да и самые фигуры Фауста и Мефистофеля являются в творении Гете значительно измененными. Поэт сам сознавался, что не только мрачные, неудовлетворимые порывы Фауста, но и насмешка и грубая ирония Мефистофеля взяты им из

[1] искусство долговечно, жизнь коротка (*лат.*).

глубины своего собственного духа. Мы видим главное значение «Фауста» лишь в первой части, и, несмотря на все старания немецких комментаторов, не можем видеть в запутанном символизме второй части того поэтического и философского смысла, который непременно хотят открыть в ней. По нашему мнению, разделяемому и всеми почти иностранными критиками, хотя все еще чуждому критике германской, первая часть «Фауста» заключает в себе такое полное и законченное целое, что продолжения ему и не нужно, и вторая часть представляется каким-то неорганическим, посторонним приростом. Правда, судьба Фауста, как она проектирована в «Прологе в небе» и как можно подозревать ее по сцене договора Фауста с Мефистофелем, не кончается первою частью; но читатель лучше готов остаться при предположениях, пробужденных в нем помянутым прологом и сценою, чем следить за Фаустом в бездне темных, непонятных и, по-видимому, вовсе ненужных сцен до развязки, которую он предчувствовал с первого появления перед ним и с первых слов Фауста. Надо особенное терпение и особенную любовь к поэту «Вертера», чтобы читать со вниманием вторую часть «Фауста» и во множестве лишних и темных страниц отыскивать страницы, отмеченные действительно поэтическим достоинством. Между тем первая часть равно интересует и увлекает как требовательного критика, так и самого простого читателя. На ней же останавливались до сих пор и все русские переводчики «Фауста», Губер, Вронченко, г. Струговщиков и ныне г. Греков. В первой части нам кажется только совершенно излишнею интермедия: «Сон в Вальпургиеву ночь, или Золотая свадьба Оберона и Титании». Современные намеки ее давно устарели и потеряли всякий интерес; к содержанию «Фауста» она не имеет ровно никакого отношения, и мы думаем, что, переводя «Фауста» не целиком, то есть не обе его части, и притом без всяких объяснений, примечаний и комментариев, не следует вовсе браться за перевод «Сна». Особенно удивило нас, что интермедия переведена г. Грековым, а между тем столь существенных для «Фауста» страниц, как «Пролог в театре», мы не находим в его переводе. Нет в переводе г. Грекова также и «Посвящения».

Еще недавно, при разборе «Сочинений Губера», говорили мы о русских переводах «Фауста» и отдали между всеми ими преимущество переводу покойного Вронченки, несмотря на некоторую устарелость и прозаичность языка. При

том же мнении остаемся и теперь, после прочтения нового перевода, изданного г. Грековым. Г-н Греков поэт довольно даровитый; само собою разумеется, в переводе его не может не быть мест удачных; но эти места так редки и так малы, а общий характер и тон так неудовлетворительны, что нечего и говорить о них.

Нам кажется, г. Греков приступил к своему труду без определенного взгляда на задачу переводчика при передаче такого образцового творения, как «Фауст». Он взглянул на это дело слишком легко, без того уважения к великому подлиннику, которого мы вправе требовать от переводчика Гете. Будь «Фауст» нечто вроде драм Гюго, мы признали бы за г. Грековым великие достоинства; он мог бы выбирать для перевода какого-нибудь «Le Roi s'amuse» [1] или «Кромвеля» любые размеры, преимущественно, разумеется, те, которые для него наименее представляют трудностей, с рифмами или без рифм, как ему угодно, и мы не подумали бы даже упрекать его. Но когда он воображает, что так же произвольно можно обращаться с вечными произведениями искусства, как с мимолетными явлениями беллетристики, мы глубоко негодуем, и самые достоинства перевода теряют половину своей цены при таком неуважении переводчика к великому подлиннику.

В художественном произведении форма постоянно обусловливается содержанием, в ней не может быть ничего произвольного. Мы говорим как о форме в обширнейшем смысле, то есть о постройке всего произведения, о согласии между идеей и образом, являющимся для ее воплощения, так и о форме в более тесном, но чрезвычайно важном значении, а именно об языке, о стихе, о метре. Неважным является размер только в художественно слабых произведениях, где содержание не вполне продумано и прочувствовано и потому не нашло себе вполне соответственного выражения. Мы не можем вообразить себе «Евгения Онегина» в александрийских стихах, «Казачьей колыбельной песни» Лермонтова в размере Гейневой «Deutschland»[2]. Так разнообразный, беспрестанно чередующийся размер «Фауста» всюду, так сказать, срастается с содержанием, и эта изменчивость мотивов, беспрестанные переходы из тона в тон могут казаться только человеку, остающемуся холодным к

---

[1] «Король забавляется» *(франц.)*.
[2] «Германия» *(нем.)*.

произведению Гете, произвольными. Напротив, это-то разнообразие составляет в целом полную и величавую гармонию «Фауста». Если песнь архангела не укладывается в переводе на чужой язык в четырехстопный ямб, а песня Гретхен «Es war ein König in Thule»[1] — в трехстопный хорей, это еще не значит, что Гете выбрал для них не тот размер, какой следовало, и что переводчик может распорядиться по-своему. Это доказывает одно: что переводчику подлинник не по силам и что ему не следовало за него браться. Нам могут возразить, что в русском языке нет такой сжатости, как в немецком, и что то, что помещается в одном немецком стихе, часто не может вместиться и в двух русских стихах. Это кажется лишь с первого разу. Поэт, у которого в полном распоряжении язык, сумеет быть и сжатым и не отступить от подлинника. Сотни примеров могли бы мы привести, не говоря уже о Жуковском, и из менее даровитых русских переводчиков. Переводчик, распоряжающийся так произвольно метром подлинника, как г. Греков, похож в наших глазах на музыканта, разыгрывающего скерцо из симфонии Бетховена темпом адажио, а адажио темпом скерцо. Песня нищего, песня солдат, песня поселян в сцене за городскими воротами, шуточные песни в Ауэрбаховом погребке про крысу и про блоху, песня Мефистофеля с гитарой под окном Гретхен — все они переведены размерами, не похожими на размер подлинника. Г-н Греков не пощадил даже песен Маргариты о короле в Фуле и «Meine Ruh' ist hin» [2], которые для всякого любителя «Фауста» так нераздельно сливаются с чудными мелодиями Линдпайнтнера. Остановимся на первой из этих песен. Как та, так и другая — произведения несравненные по поэтической простоте. Баллада «Es war ein König in Thule» не имеет себе равных ни в одной литературе. Только со страхом и трепетом можно приступить к ее переводу. Что же делает г. Греков? Он переводит ее сплеча, словно это стишки какого-нибудь Гейбеля или Редвица. Перечитавши несколько раз перевод этой песни г. Грекова, нельзя не подумать, что он вовсе не понял прелести ее и взглянул на нее, как на весьма неважную вставку в «Фаусте». Напротив, баллада эта написана исключительно для роли Гретхен. Прелестная песня вышла не сразу у Гете так удивительно художественна; он много над нею работал.

---

[1] «Жил-был король в Фуле» (*нем.*).
[2] «Я лишилась покоя» (*нем.*).

Для знатоков немецкого языка мы представляем первую редакцию ее, которой нет ни в одном собрании сочинений Гете, и укажем на позднейшие изменения. В 1781 году она была напечатана так с музыкою Зеккендорфа:

Es war ein König von(in) Thule,
Einen goldnen Becher er hätt'
Empfangen von seiner Buhle
Auf ihrem Todesbett[1].
Den Becher hätter lieber,
Trank draus bei jedem Schmaus;[2]
Die Augen gingen ihm über,
So oft er trank daraus.
Und als er kam zu sterben,
Zählt er sein' (seine) Städt' und (im) Reich',
Gönnt alles seinen (seinem) Erben,
Den Becher nicht zugleich.
Am hohen (Er saß beim) Königsmahle,
Die Ritter um ihn her,
Im alten (Auf hohem) Vätersaale
Auf seinem (Dort auf dem) Schoß am Meer,
Da saß (Dort stand) der alte Zecher,
Trank letzte Lebensglut,
Und warf den heil'gen Becher
Hinunter in die Flut.
Er sah ihn sinken und (stürzen) trinken
Und stürzen (sinken) tief ins Meer,
Die Augen täten ihm sinken,
Trank keinen (nie einen) Tropfen mehr.[3]

---

[1] В позднейших изданиях эти три стиха читаются так:
Gar treu bis an das Grab,
Dem sterbend seine Buhle
Einen goldnen Becher gab.
[Верный до самого гроба,
Которому, умирая, его любовница
Дала золотой кубок.— *Нем.*]
(Прим. М. Л. Михайлова.)

[2] Нынче: Es ging ihm nichts darüber,
Er leert' ihn jeden Schmaus...
[Для него не было ничего дороже,
Он осушал его на каждом пиру... —*Нем.*]
(Прим. М. Л. Михайлова.)

[3] [Жил-был король Фульский (в Фуле),
У него был золотой кубок,
Подаренный ему его любовницей,
Когда она была на смертном одре.—*Нем.*]

Кубок был ему мил,
Он пил из него на каждом пиру,
Глаза его наполнялись слезами,
Всякий раз как он пил из него...

Этот любопытный вариант мы извлекли из популярного объяснения первой части «Фауста», изданного в 1856 году г-м Заупе («Göthe's Faust, erläutert von Ernst Julius Saupe», Leipzig). Если сам Гете работал так много над песней о царе Фулеском, если он изменял и переставлял выражения и слова в каждом почти стихе, чтобы довести ее до того художественного совершенства, в каком она является теперь, то как же не требовать еще большей старательности, еще большего внимания от переводчика при передаче ее на другой язык? Что же сделал г. Греков? На тему Гете он сочинил свое собственное произведение, с гладкими стихами, но без всякого старания сохранить чудно поэтические черты подлинника.

Был в Фуле царь; он до могилы
Был верен пламенной душой.
Предсмертный дар от девы милой,
Хранил он кубок золотой.

Откуда и для чего эта «пламенная душа»? Разумеется, для рифмы, потому что смысла в ней нет. Что это за «милая дева», когда в подлиннике говорится о любовнице, Buhle? Хороша дева! «Предсмертный дар» совершенно изменяет простой, почти простонародный характер пьесы. «Умирая, его любовница дала ему золотой кубок», говорится у Гете.

Мы не станем следить строка за строкой весь перевод этой песни у г. Грекова. Довольно посмотреть еще на две окончательные строфы. «Стоял тут старый бражник, выпил

И вот пришло время ему умереть,
Он счел свои города и царство (города в царстве),
Отдал все своим наследникам (своему наследнику),
Но кубок не достался никому.

На высоком (Он сидел на) королевском пиру,
Окруженный рыцарями,
В старой (В высокой) зале предков
В своем (Там в) замке у моря,

Там сидел (Там стоял) старый бражник,
Выпил последний пыл жизни
И бросил священный кубок
Вниз в волны.

Он видел, как он опускался и (падал) захлебывался
И падал (опускался) глубоко в море,
Глаза у него смежились,
Не пил уже больше ни капли (*нем.*).

последний пыл жизни и бросил священный кубок вниз, в волны». Всякая простота исчезла из этих стихов у г. Грекова. «Старого бражника» нет, вместо «священного кубка» явился «священный металл» (!), и присочинена ни к селу ни к городу, единственно рифмы ради, «невыразимая тоска».

И вот он, выпив *кубок полный*
С последней жизненной струей,
Металл священный бросил в волны
С невыразимою тоской.

Ничего подчеркнутого у нас — в подлиннике не находится. Не лучше и последний куплет:

Когда ж за мутною волною
Он скрылся, бездной поглощен,
Глаза царя *покрылись тьмою,*
И уж ни капли не пил он.

Есть ли тут хоть искра поэзии, хоть искра понимания подлинника? Всякий добросовестный переводчик скорее отказался бы от труда переводить вещь, которая ему не по силам, чем безобразить, искажать подлинник. Будь хоть одно примечание при переводе, хоть одна заметка о том, что такое-то место переводчик не мог передать потому-то и потому-то, а что в подлиннике читается оно так-то, мы еще могли бы примириться с неверностями. Но г. Греков и не думает оговариваться. По-видимому, он вполне доволен своим трудом. Последний куплет особенно прелестен в подлиннике; тут опять та же простота народной песни, как и во всей пьесе. А у г. Грекова натянутость, словечка не сказано в простоте, «мутная волна», «поглощен бездной», «покрылись тьмою» — все это пригодно для перевода Шатобриана и Ламартина, но уж никак не Гете. У Гете говорится: «Он (царь) видел, как он (кубок) падал, захлебывался и пошел глубоко в море; глаза у него смежились; не пил уж больше ни капли».

И у Губера и у Вронченки (о переводе г. Струговщикова нельзя говорить серьезно) песня Гретхен переведена тоже не совсем верно, хотя гораздо вернее, чем у г. Грекова, но зато у того и у другого гораздо более сохранен тон ее и характер.

В предисловии к своему переводу покойный Вронченко чрезвычайно верно определил задачу переводчика такого произведения, как «Фауст». Слова его следовало бы заучить большей части наших поэтов, берущихся как-то бессозна-

тельно за подобные труды. Вот что говорит Вронченко о своем труде: «При переводе обращалось внимание: прежде всего на верность и ясность в передаче мыслей, потом на силу и сжатость выражения, а потом на связность и последовательность речи, так что забота о гладкости стихов была делом не главным, а последним. Разумеется, что это общее правило, принятое переводчиком вследствие внимательного изучения подлинника, не могло остаться без исключений: иногда выражение уместное предпочтено сильному, но не сообразному с характером говорящего лица; иногда бойкости оборота или стиха пожертвовано формою мысли, если, то есть мысль, не изменилась чрез то в своей сущности; иногда, наконец, хотя и редко, верность поэтическая признана важнейшею, нежели близкая передача подробностей. В примечаниях означены как подобного рода отступления, так и места, которые в подлиннике неясны и могут быть поняты иначе, нежели как они выражены в переводе. Во всем, что касается до размера стихов и рифмы, образцом служил подлинник; только встречающийся в нем кое-где старинный немецкий размер (Knittelverse), похожий на наш народно-сказочный, заменен ямбом, да в стихах вольных определение числа стоп предоставлялось случайностям смысла и выражений».

Иной системы при передаче на чужой язык замечательного художественного произведения мы не понимаем; не понимаем, стало быть, и системы г. Грекова, которая во всем составляет совершенную противуположность приемам Вронченки. Г-н Греков не потрудился нам дать (как и г. Струговщиков) ни одного объяснения, как он смотрит на «Фауста» Гете, как приступил к своему труду, что предположил себе целью, в какой мере изучил подлинник и что заставило его исправлять и переделывать Гете. Мы не знаем другого названия отступлениям переводчика от оригинала.

Из каждой строки перевода г. Грекова ясно, что он прежде всего заботился о гладкости стиха; о силе и сжатости выражения нигде нет и помину. Вронченко говорит, что он лишь иногда бойкости оборота или стиха жертвовал *формою* мысли, и притом лишь в таком случае, если мысль не изменялась чрез то в своей сущности. Но и такие места все указаны им в примечаниях. Г-н Греков самые мысли, разумеется, сохраняет; иначе ведь это был бы уж и не «Фауст» вовсе. Но о *форме*, данной мысли Гете, он вовсе не заботится: везде на первом плане у него гладкость, плав-

ность и текучесть своих собственных стихов. Правда, в стихах г. Грекова большею частью нет что называется ни сучка ни задоринки; да толку-то от этого мало. Нас хотят знакомить с Гете, а выставляют вперед свою собственную личность. Это уж даже просто неделикатно.

Приведем несколько примеров.

Возвращаясь в свою ученую келью с прогулки за городом, Фауст говорит у г. Грекова:

Спустилась ночь и мрак свой в небесах
И на земле повсюду расстилает,
И, в душу нам вселяя тайный страх,
Какие-то в ней думы пробуждает.
Заснули все стремления страстей,
Угомонив дневных забот тревогу,
И к ближнему любовь опять сильней
Горит в душе с благоговеньем к богу.

Стихи очень гладки, но ничего похожего на подлинник в них нет.

«Оставил я поля и луга (говорит Фауст у Гете), которые кроет глубокая ночь и вещим священным страхом пробуждает в нас *лучшую душу*. Заснули дикие порывы к буйным делам; пробуждается любовь к ближнему; любовь к богу пробуждается».

Как разводянены эти краткие и определенные слова в длинных и рутинных стихах г. Грекова, кажется, нечего доказывать.

Сами по себе, например, очень хороши стихи в рассказе Гретхен Фаусту (сцена в саду Марты); но это опять-таки Гете, пересказанный на свой лад. Из *двенадцати* стихов подлинника у г. Грекова вышло целых *двадцать один* стих. Вот этот отрывок:

Зато перенесла я много и труда:
Подчас и рук от колыбели
Не отведешь, бывало, прочь.
Бывало, колыбель ее всю ночь
Так и держу я у постели;
Пошевельнется ли она,
Или заплачет, иль случится,
Что так ребенку не поспится,
Или бедняжка голодна,—
Тут поневоле просыпаюсь
И, хоть не хочется, встаю,
То накормлю, то напою,
То положу к себе, то с ней таскаюсь.
А ночь идет, а там стоишь
Ты у корыта на рассвете;

Потом на рынок побежишь,
Хлопочешь в кухне об обеде.
И каждый божий день одно —
Не очень весело оно!
Зато и радости тогда бывали чаще,
И елось и спалось мне слаще!

Повторяем, стихи прекрасные; но, нам кажется, мы были бы довольнее и не столь изящными стихами, если бы они передавали каждое выражение подлинника, а не распространяли их и не заменяли образы Гете своими образами. «Было немало и трудных часов (говорит у Гете Маргарита). Люлька малютки стояла ночью у моей постели; бывало, чуть пошевельнется, я и проснусь; то напой, то с собой положи, а как не стихает, встань с постели да ходи с ней, приплясывая, взад да вперед по горнице...» и т. д.

В переводе г. Грекова и то же, да не то же. Гораздо лучше для нас хоть и не столь плавные стихи Вронченки в начале этого монолога. Он перевел слова Гретхен и почти буквально верно, и в то же время поэтично:

Но и до слез нередко доходило.
Бывало, лягу спать, а возле — колыбель;
Случись дитяти шевельнуться,
И я должна проснуться:
Корми его, клади к себе в постель,
А как расплачется, вставай
Да с ним по комнате гуляй...

Дальнейшие стихи не так удачны, хотя во всяком случае вернее стихов г. Грекова.

Приведем еще один пример амплификации из нового перевода. Для сравнения выпишем это место из перевода г-на Вронченки, так как оно отличается тут почти литеральною верностью.

Фауст говорит в пещере:

Могучий дух! ты дал мне, дал мне все,
О чем просил я — ты ко мне не тщетно
Склонил свой лик во пламени: дал в царство
Весь этот мир прекрасный; дал способность
Природу чувствовать, природой наслаждаться.
Не равнодушно только ей дивиться
Ты позволяешь, но глубоко в грудь ей
Проникнуть взором, как бы в сердце друга.
Ты предо мной ведешь ряды живущих
И научаешь в воздухе, в водах
И тихих рощах находить собратов;
Когда в лесу ревет и свищет буря,
И дуб могучий, падая стремглав,

Дробит стволы и ветви древ соседних,
И звучно вторят их паденью холмы,
Ты шлешь меня в уютную пещеру...
и т. д.

У г. Грекова Фауст декламирует следующим образом, гораздо звучнее и ритмичнее:

Всесильный дух! ты все мне ниспослал,
О чем к тебе *мольбы я воссылал.*
Мне лик свой в пламени явил ты не напрасно;
Природу *дивную* ты отдал в царство мне,
Дал чувствовать ее и *всем, что в ней прекрасно,*
Мне наслаждаться дал *вполне.*
Не ограничил ты *мой разум* позволеньем
Лишь *созерцать ее* — ты дал мне проникать
В глубь *недр* ее *могучим размышленьем,*
И, как в душе у друга, *в ней читать.*
Ты ряд живых существ проводишь предо мною,
Ты учишь *познавать меня душою*
Их свойства в воздухе, *на суше* и в водах.
Когда ж гроза бушует *в небесах,*
И лес *дрожит от бури грозной,*
И *с треском* падают *столетние* в нем сосны,
И эхо вторит ей в горах,—
Ты в *мрак* пещер меня ведешь...
и т. д.

Все, отмеченное курсивом, как можно видеть даже по переводу Вронченки, или вновь сочинено, или переделано г-м Грековым. Он чересчур уж погнался за гладкостью и из симфонии Гете сделал нечто вроде польки Гунгля.

В этом отрывке можно видеть и еще одну интересную замашку г. Грекова. Сцена в пещере начинается у Гете пятистопным ямбом без рифм и, стало быть, представляет более возможности к верному переводу, если оставить тот же метр. Но г. Грекову это показалось уж очень просто. Что за стихи без рифм? Дай лучше перерифмую их и перещеголяю Гете. Видно, он этого сделать не умел. Не утерпел г. Греков, чтобы не починить неправильности Гете и в сцене в соборе. Что это, в самом деле, за стихи:

Grimm faßt dich!
Die Posaune tönt!
Die Gräber beben!
Und dein Herz,
Aus Aschenruh',
Zu Flammenqualen
Wieder aufgeschaffen,
Bebt auf!

Это как будто и не стихи вовсе. Надо их поправить. Непременно поправить!

И г. Греков поправляет:

Гнев божий над тобою!
Ты слышишь: огласилось все трубою!
Жилище мертвых содрогнулось,
И в этот миг проснулась
От мира и покоя
Твоя душа и, как из пепла,
Вся в трепете возникла
Для вечной муки ада!

Прелестно! как жаль, что г. Греков не перерифмовал и последних четырех стихов! Тогда Гете был бы окончательно убит.

Добросовестность — великое дело в переводчике. Она ставит высоко и несильные дарования; тогда как без добросовестности и хорошие стихотворцы падают очень, очень низко.

Верность перевода так много значит, что в грубоватых стихах Врончени вы чувствуете Гете, тогда как в изящных рифмах г. Грекова чуть слышен его дух.

Приведенное место Врончено перевел так:

Настал час кары!
Звучит труба,
Вскрываются гробы,
И ты,
Воссóздана снова
На лютую муку,
Из праха могилы
Стеная встаешь!

С точки зрения г. Грекова это, вероятно, никуда не годится. Следовало бы все это размазать вставками: «жилище мертвых», «и в этот миг» и т. д.

Из всех сделанных нами замечаний мы позволяем себе вывести заключение, что г. Греков не только не уважает подлинника, за перевод которого взялся, но и не понимает его. Мы разумеем, конечно, не буквальное понимание, то есть знание немецкого языка и уменье узнать настоящий смысл фразы и выражения Гете, а то понимание, которым открывается дух и поэзия великих творений. Промахи переводчика происходят не от недостатка таланта, не от неуменья совладеть с русским языком, а от небрежности, от узкого взгляда на труд, требующий прежде всего любви и широкого сочувствия. Неужто мы дожили до такого времени, что

перевод Гете считается таким же пустым делом, как перевод какого-нибудь пустого французского романа? Пожалуй, это можно было бы подумать, глядя на фабричные переводы «Юлиев Цезарей», «Отелло», «Мазеп», «Конрадов Валленродов», которые явились у нас в последние года. Но вспомним, что рядом с этим печальным неуважением к великим писателям идет и серьезное их изучение, которому мы обязаны такими прочными, серьезными и высокодаровитыми трудами, как шекспировские переводы г. Дружинина и переводы Данта, Крабба и Шиллера г. Мина. Жалеем только, что пример их находит себе мало последователей.

Нам хочется сказать еще несколько слов об одной особенности Гетева «Фауста», которую все более и более обегают переводчики, может быть оттого, что первая попытка усвоить ее, сделанная Губером, вышла не совсем удачна. Это Knittelverse, простонародные стихи в некоторых монологах. Действительно, у Губера нельзя похвалить стихов вроде следующих:

И вот источник моих страданий,
О чем я плачу каждый час!
Хоть я и умнее, чем эти пустые
Магистры, судьи и писцы — дурачье,
Хоть в суеверы не гожусь,
Чертей и ада не страшусь...
и т. д.

Но стихи эти плохи по своей неестественности в выражениях, а не по метрическим неправильностям. Это, если хотите, и не совсем Knittelverse, которые Вронченко справедливо находит похожими на наш народно-сказочный размер. Knittelverse — нечто совершенно одинаковое с теми стихами, какими написана у Пушкина «Сказка о купце Кузьме Остолопе».

Стало на сердце у Кузьмы веселее;
Начал он глядеть на Балду посмелее.
Вот он кричит: «Поди-ка сюда,
Верный мой работник Балда!»

Не та же ли это манера, что в стихах Гете:

Damit ihr seht, daß ich eurer Pein
Will förderlich und dienstlich sein,
Wollen wir keinen Augenblick verlieren,
Will euch noch heut' in ihr Zimmer führen. [1]

---

[1] Чтобы вы убедились,
Что я хочу облегчить ваши страдания,
Не теряя времени
Я проведу вас еще сегодня в ее комнату (*нем.*).

Нам кажется, переводчику «Фауста» не следует пренебрегать этим оттенком в подлиннике, тем более что его можно передать совершенно согласно с духом русского языка. В поэме Гете такие стихи являются обыкновенно в простой речи, и оттого лирические места, следующие за ними и написанные правильными стихами, особенно сильно действуют на читателя.

Но даже и в метрических стихах Гете попадаются часто неправильности или, лучше сказать, уклонения от метра, и эти уклонения не только не нарушают их гармонии, но даже представляют особенную прелесть простоты и непринужденности. Что русскому переводчику и в этом случае нечего стесняться, блистательным доказательством может служить перевод г-на Тургенева сцены в тюрьме.

Что может быть неправильнее и в то же время проще и мелодичнее, например, хоть стихов г. Тютчева из Уланда:

О, не кладите меня
В землю сырую:
Скройте, заройте меня
В траву густую.
Пускай дыханье ветерка
Шевелит травою —
Свирель поет издалека,
Светло и тихо облака
Плывут надо мною!

Перевод г. Грекова напечатан в виде приложения к «Отечественным запискам».

ПОСЛЕДНЯЯ КНИГА ВИКТОРА ГЮГО

(La Légende des siècles, par Victor Hugo. 1-re série. Histoire. Les petites épopées. 2 vol. Paris, 1859 [1])

I

Задача, которую предположил себе знаменитый французский поэт в своей последней книге, огромна. Два довольно объемистых тома стихов, изданные им теперь как первый отдел «Легенды веков», составляют, по его собственным словам, лишь начало громадной цепи поэм, долженствующей обнять собою всю историю человечества. Но и этот первый отдел, названный Виктором Гюго «Небольшими эпопеями», не есть отрывок. Он составляет нечто целое, как перистиль здания есть целое, будучи в то же время лишь частью другого, большего целого. Вот как сам поэт определяет свою задачу. «Выразить человечество,— говорит он,— в циклическом произведении; изобразить последовательное развитие его со всех сторон, в истории, в басне, в философии, в религии, в науке, которые сливаются в одном общем и громадном движении вперед, к свету; отразить как бы в зеркале (которое судьба каждого земного труда разобьет, вероятно, прежде, чем оно достигнет предположенных автором размеров) этот великий образ, единый и разнообразный, мрачный и лучезарный, роковой и священный, человека; вот какая мысль, вот какое честолюбие, если хотите, породили «Легенду веков».

---

[1] Виктор Гюго, Легенда веков. Первая серия. История. Маленькие эпопеи. Два тома. Париж, 1859 (*франц.*).

Мы знаем поэмы, в которых весь, как он есть, со всех сторон, со всеми своими грехами и светлыми деяниями, со всеми своими верованиями и скорбями, стремлениями и бедствиями

отразился век
И современный человек,

как он представлялся сыну этого века, поэту; но и таких поэм немного. Такова эпопея Данта, в которой, как в фокусе, отразилась его эпоха; такова рыцарская песня о Нибелунгах. Таковы, наконец, сказания Фердауси о судьбах своей земли, рапсодии Гомера и бесконечные поэмы Индии. Во всех этих поэмах, независимо от современности, отразилась и история; но история национальности, к которой принадлежали поэты. Такого исторического плана, какой начертал Виктор Гюго, не задавал еще себе ни один поэт.

В дополнение к приведенным выше строкам следует прочесть более подробное объяснение задачи двух изданных теперь томов в предисловии Виктора Гюго. «Поэмы, составляющие эти два тома,— объясняет он,— суть не что иное, как последовательные очерки человеческого профиля, из века в век, от Евы, матери людей, до революции, матери народов; очерки эти сняты то с варварства, то с цивилизации, почти всегда с живого облика истории... Для поэта, как и для историка, для археолога, как и для философа, каждый век есть изменение физиономии человечества. В двух этих томах, которые, повторяем, будут продолжены и дополнены, собраны черты некоторых из этих изменений. Читатель найдет тут кое-что из прошедшего, кое-что из настоящего и увидит, так сказать, в неясном мираже будущее. Впрочем, все эти поэмы, различные по содержанию, но внушенные одною мыслью, связаны лишь одною нитью. Нить эта теряется иногда в невидимом будущем, но она никогда не прерывается. Эта великая руководная нить в таинственном лабиринте жизни — прогресс».

Приступая к своей отрывочной эпопее, Виктор Гюго брал из истории и из предания народного лица и события, которые, на его взгляд, выражали более или менее физиономию человечества в известную эпоху. Он не пренебрегал ни легендами, ни сказками; как ни фантастически их образы и краски, от них веет духом времени. Поэт — не историк фактов; эпос — не летопись. Неверно переданный народною легендою случай часто объясняет верования и стремления

эпохи лучше, чем тот же факт, верно и подробно записанный в свой временник сухим летописцем, который

> как дьяк, в приказах поседелый,
> Спокойно зрит на правых и виновных,
> Добру и злу внимая равнодушно,
> Не ведая ни жалости, ни гнева.

Внимание поэта останавливается в истории не всегда на лицах блестящих, гремевших в свое время, занявших многое множество страниц в современных летописях. Иногда личность, вскользь упомянутая в старой хронике, нимало не интересовавшая списателя «правдивых сказаний», двумя-тремя чертами, которым летописец не придавал никакого значения (так были они общи в его время), иногда такая темная личность привлекает к себе полное сочувствие поэта, и по этим двум-трем чертам он создает цельный образ, воплощающий в себе полнее дух своего века, чем иной пресловутый герой этого века. Такими воссозданиями полны трагедии Шекспира, основанные часто на двух-трех беглых заметках старинной хроники, на каком-нибудь мимолетном намеке старой песни, баллады или сказки.

Не с тем, чтобы сравнивать Виктора Гюго с Шекспиром, упомянули мы о великом британском поэте. Сравнение такое было бы смешно и нелепо. Оно показало бы только, какой Виктор Гюго пигмей перед этим титаном новой цивилизации; но это всем известно, как то, что день светел, а ночь темна. Кто не покажется в сравнении с Шекспиром лилипутом? Мы своим замечанием хотели только сказать, что законы вдохновения и творчества одинаковы как для величайших, так и для малых поэтов.

Виктор Гюго, впрочем, вовсе не малый поэт для нашего времени. Его справедливо обвиняют в частом реторизме, в изысканности образов и тонов; но эти недостатки еще не составляют главной его характеристики. В этом случае на Викторе Гюго отразился характер его нации, тщеславной, увлекающейся блеском и придающей такую цену внешности. Но рядом с этими недостатками, положившими такой оттенок фразерства и напыщенности и на всю почти французскую литературу, у Виктора Гюго, как и у других лучших представителей его народа, мы видим тот благородный энтузиазм, способный на бескорыстные жертвы, с каким Франция служила великим интересам человечества, великим целям будущего, забывая в своем горячем воодушевлении о своих собственных, насущных интересах. С точки зрения

экономической этот энтузиазм, пожалуй, тоже должен быть причислен к разряду недостатков, а не достоинств. Но у нас свое убеждение. Мы позволяем себе, вопреки громким фразам героев кредита и торгового баланса (эти практические мужи тоже приходят в пафос, когда дело идет об их милых грошах), мы позволяем себе думать, что именно этот энтузиазм подвигает людей к лучшему будущему, а не бухгалтерские выкладки. С этой спокойной, конторской точки зрения, кажется, чего бы желать в настоящую минуту Франции? Разумеется, представляются некоторые недостатки; но они сами собою сгладятся исподволь, постепенно. Постепенность! это вечный лозунг сих ученых рыцарей рутины. Постепенность в прогрессе, сдержанный, обдуманный ход! Без этого нет прочных приобретений, решительных завоеваний. Другими словами это значит: не трогай моего кармана! не мешай моему эгоистическому спокойствию! Где же это торжество экономической последовательности, разумного расчета? Где эти блага, принесенные им в дар человечеству? История показывает нам, что эта последовательность, этот разумный расчет умели только охранять свой собственный мирный сон да свои собственные интересы. С такою задачей, которой хотели во что бы то ни стало добиться, оставалось пожертвовать выгодами большинства жадности меньшинства. Так и сделали. Ненавистный энтузиазм, этот враг всякого порядка, не поддался, однако ж, усыпительному влиянию разумных строителей всеобщего спокойствия и беспрестанно напоминал о себе своею непоследовательностью. Крупными явлениями этой непоследовательности были реформация, государственный переворот во Франции; а сколько было мелких, не столь решительных! Если нам докажут, что эти явления не были твердыми и прямыми шагами вперед по пути прогресса, что противуположная теория мирного развития и постепенного совершенствования сделала что-нибудь, кроме угнетения масс ради мнимого «порядка», кроме постоянных помех всеобщему развитию, мы поникнем повинною головой и постараемся потушить в себе этот антиобщественный энтузиазм, который в ослеплении своем привыкли считать задатком лучшей судьбы, ожидающей человечество.

Такой энтузиазм мы дорого ценим в Викторе Гюго. Первая книга стихотворений, изданная им с тех пор, как он простился с Францией и поселился в изгнании, особенно полна этою пламенной силой. Несмотря на удачные драматиче-

ские и эпические попытки, Виктор Гюго все-таки поэт по преимуществу лирический. Когда он говорит от своего лица, когда выражает то, что наболело и накипело у него на душе, или делится своею тихою грустью, даже своими кроткими и мирными чувствами, он достигает часто высокой поэзии. Как же скоро в нем слабеет этот живой источник вдохновения, он впадает в рефлексию, в многословие, лишенные силы, и на помощь ему, за недостатком искренних слов, являются холодные фразы. Без таких фраз не обходится ни одного тома стихов Гюго; но зато не было ни одного, где бы мы не встретили истинного и глубокого лиризма.

Сборник «Les Contemplations» [1], вышедший года за три до «Легенды веков», богат прекрасными стихотворениями, и критики неправы, говоря, что Виктор Гюго этою книгой не прибавил ничего к своей славе. К славе — пожалуй; но сколько новых, свежих и прелестных песен прибавлено к пышному поэтическому букету прежних стихотворений, к «Orientales»[2], к «Feuilles d'automne»![3] Некоторых пьес из «Созерцаний» нельзя позабыть, прочитавши их только раз.

Хотя бы, например, эта чудная страница из поэмы любви, заключающая сама в себе целую, полную идиллической прелести поэму... эти слова из мрака кабинета, обращенные любящей женщиной к любимому человеку, наклоненному над озаренной лампой бумагой!

«Она говорила: Да! я неправа, желая лучшего; и так время прошло очень приятно; вы тут; мои глаза не покидают ваших глаз, в которых я вижу, как приходят и уходят ваши мысли.

Видеть вас — счастье; оно не вполне принадлежит мне. Разумеется, и так сколько отрады! Я не сплю, потому что знаю все, что вам не по душе; стерегу, чтобы кто непрошеный не отворил двери;

Я прижимаюсь в уголок около вас; вы — мой лев, я— ваша горлица; я слышу тихий и спокойный шум вашей бумаги; порой поднимаю вам упавшее перо;

Разумеется, вы — мой; конечно, я вас вижу. Мысль, как вино, опьяняет мечтателей,— я это знаю; а все-таки мне хотелось бы, чтобы обо мне подумали. Когда вы погружены так целый вечер в свои книги,

---

[1] «Созерцания» *(франц.)*.
[2] «Восточные мотивы» *(франц.)*.
[3] «Осенние листья» *(франц.)*.

Не поднимаете головы и не говорите мне ни слова, тень лежит во глубине моего сердца, любящего вас; и чтобы я вас вполне видела, надо и вам от времени до времени взглянуть на меня немножко».

Но грации стиха, прелести и простоты выражения нельзя узнать из этого перевода. Надо прочитать стихотворение в подлиннике.

Elle disait: C'est vrai, j'ai tort de vouloir mieux;
Les heures sont ainsi très — doucement passées;
Vous êtes là; mes yeux ne quittent pas vos yeux,
Où je regarde aller et venir vos pensées.

Vous voir est un bonheur; je ne l'ai pas complet.
Sans doute, c'est encor bien charmant de la sorte!
Je veille, car je sais tout ce qui vous déplaît,
A ce que nul fâcheux ne vienne ouvrir la porte;

Je me fais bien petite, en mon coin, près de vous;
Vous êtes mon lion, je suis votre colombe;
J'entends de vos papiers le bruit paisible et doux;
Je ramasse parfois votre plume qui tombe;

Sans doute, je vous ai; sans doute, je vous voi.
La pensée est un vin dont les rêveurs sont ivres,
Je le sais; mais, pourtant, je veux qu'on songe à moi.
Quand vous êtes ainsi tout un soir dans vos livres,

Sans relever la tête et sans me dire un mot,
Une ombre reste au fond de mon coeur qui vous aime;
Et, pour qui je vous voie entièrement, il faut
Me regarder un peu, de temps en temps, vous-même.

Иностранный читатель заметит, может быть, в этой пьесе два изысканных стиха (второй в третьем куплете и второй же в четвертом); но французу они вовсе не покажутся изысканными. Вообще, читая французских поэтов, не надо забывать, что метафоричность составляет одну из существенных черт в самом характере французского языка. Шекспировские метафоры нисколько не покажутся странными даже неприготовленному французскому читателю. Другая черта французского языка, действующая на нас тоже не совсем приятно, это недостаток в нем сжатости. Сила выражения не зависит в нем от краткости. Достаточно развернуть любой из лучших французских переводов какого-нибудь римского или греческого классика и сравнить его с подлинником, чтобы увидать, как много нужно французу слов для передачи самой сжатой латинской или греческой фразы.

Правда, древние языки особенно отличаются своею точностью и краткостью; но таково же отношение французского языка и к английскому, и к немецкому, и к русскому.

В «Созерцаниях» нельзя не удивляться юношеской свежести многих стихотворений, зная возраст Виктора Гюго; но цифры годов, выставленные под большею их частью, объясняют это качество. Не все пьесы в книге написаны одновременно, именно в последние годы; многие относятся к поре цвета и первой возмужалости поэта. «Двадцать пять лет заключены в этих двух томах,— говорит Гюго в предисловии.— Grande mortalis aevi spatium[1]. Книга эта, можно сказать, сама собою сложилась в авторе. Жизнь, просачиваясь капля за каплей посреди событий и страданий, оставила ее как осадок в его сердце». — «Тут все впечатления,— продолжает Гюго несколько дальше,— все воспоминания, все действительные явления, все смутные, светлые и мрачные призраки, какие могут вместиться в душе; они созваны тут луч за лучом, вздох за вздохом и сливаются в одно густое облако. Это жизнь человеческая, начинающаяся загадкой колыбели и кончающаяся загадкою гроба; это дух, идущий от света к свету, оставляющий за собою молодость, любовь, заблуждения, борьбу, отчаяние и останавливающийся *на грани бесконечного*. Сначала улыбка, потом стон, а в конце вопль из бездны.— В этой книге день за днем записана целая судьба. — Значит, это жизнь одного человека? Да, но и жизнь других людей. Никто из нас не имеет счастия жить только собою. Моя жизнь — ваша, ваша жизнь — моя, вы переживаете то же, что я; судьба у нас одна. Так возьмите же это зеркало и поглядитесь в него. Часто слышатся жалобы на писателей, что они говорят о себе. Говорите нам об нас! просят их. Увы! когда я говорю вам о себе, я говорю вам о вас. Как вы этого не чувствуете?.. В этой книге, повторяю, отражается столько же читатель, сколько и автор. *Homo sum*[2]. Быть в тревоге, в шуме забот, мечтать, бороться, наслаждаться, трудиться, страдать, молчать; отдыхать после жертвы и созерцать бога; начать жизнь в толпе, кончить ее в уединении; разве это не история каждого, с более или менее частными оттенками?»

В этих немногих строках Виктор Гюго определил очень верно задачу, или, лучше сказать, значение лирического

---

[1] Большой отрезок жизни смертного (*лат.*).
[2] Я человек (*лат.*).

поэта. Надо только, чтобы поэт черпал содержание своих произведений из глубины своей собственной жизни, своего собственного опыта. Только неумытная правда сделает их художественным достоянием каждого; только при полной искренности поэта узнает читатель в его страданиях свои собственные страдания, в его радостях — свои собственные радости и переживет с ним свою собственную жизнь. Стоит воображению поэта бросить немножко неверный свет на чувства, волнующие его сердце, и выражение их незаметным образом утрачивает свою правдивость, а с нею и влияние на читателя.

Общий характер «Созерцаний» составляет именно эта правда, о которой мы говорим. В них, конечно, есть много страниц вялых и холодных; но редкая страница не искренна. Повторяя в стихотворном рассказе жизнь поэта от первых радостей его до последних разочарований, вы переживаете многое из своей собственной жизни, как этого хотел он.

На всех почти стихотворениях лежит печать кроткой и мечтательной меланхолии, невольно сообщающейся и читателю. Даже в словах ясной первой любви звучит для чуткого слуха струна тайной грусти.

Mes vers fuiraient, doux et frêles,
Vers votre jardin si beau,
Si mes vers avaient des ailes,
Des ailes comme l'oiseau.

Ils voleraient, étincelles,
Vers votre foyer qui rit,
Si mes vers avaient des ailes,
Des ailes comme l'esprit.

Près de vous, purs et fidèles,
Ils accourraient nuit et jour,
Si mes vers avaient des ailes,
Des ailes comme l'amour.

То есть: «Стихи мои, нежные и робкие, понеслись бы в твой пышный сад, если б были у стихов моих крылья — крылья, как у птицы.

Они порхнули бы искорками к твоему веселому очагу, если б были у стихов моих крылья — крылья, как у духа.

К тебе, чистые и верные, доносились бы они днем и ночью, если б были у стихов моих крылья—крылья, как у любви».

Надо быть слишком глухим, чтобы не подметить в этой почти игривой по мотиву песенке следа все той же потаенной отравы, которою поражено сердце каждого человека на-

шего времени. Мы не умеем петь и о любви таких веселых, светлых песен, какие пел Анакреон. Поэзия наша — красавица, улыбающаяся сквозь слезы. Есть, правда, веселые песни у Беранже; но эти-то именно песни у него и чужие поэзии. Надо исключительное настроение, чтобы найти в них красоту. Да и есть ли какая-нибудь красота в «Frétillon»[1], в «La Mère aveugle»[2] и т. под. пьесах, и знал ли бы кто имя Беранже, кроме французских студентов, если б у него не было меланхолических песен вроде «Les Etoiles qui filent»?[3]

Другой источник вдохновения современного поэта — это негодование на дикие судьбы нашего общества, сменяющее подчас грусть, порожденную тем же печальным хаосом, окружающим нас. Негодование Виктора Гюго прорывалось порой сквозь грустные звуки и в его «Contemplations», но высшего выражения своего достигло оно в книге «Châtiments»[4], которую по бичующей силе негодования мы ставим наравне с сатирами Ювенала. Вместе с гневом, который разделяют с Виктором Гюго все благородные сердца нашего века, книга его полна и тех смутных чаяний лучшего будущего, которыми живут эти сердца, но которым еще не нашлось определенной формулы.

Судьба лучших людей нашего печального переходного времени темна и безрадостна. Разочарованные в прочности настоящего порядка вещей, пылко желающие иного строя для общества, они в то же время теряются в догадках, в предположениях, как создастся новый порядок. Самые гениальные теории будущего находят себе противоречие в сердце; смутные предчувствия идут дальше всех проектов, и едва ли правда не на их стороне. Жизнь сделает свое дело по-своему, какие ни строй ей системы, какое ни старайся дать ей направление. Это смелая и до сих пор, несмотря на все горькие усилия наши обуздать ее, непокорная нам сила. Наши светлые ипотезы, может быть, и оправдает будущее; но как и в какой мере, это недоступно ни нашему знанию, ни нашему чувству. От слов нашей пытливой науки, от воплей нашей вечно рвущейся вдаль поэзии, может быть, и содрогается не рожденное еще будущее; но примет ли оно тот вид, о котором мечтает и наука и поэзия, кто даст на это ответ?

---

[1] «Резвушка» *(франц.)*.
[2] «Слепая мать» *(франц.)*.
[3] «Падающие звезды» *(франц.)*.
[4] «Возмездие» *(франц.)*.

Виктор Гюго поэт вполне современный нам по своим страданиям и стремлениям, по своим верованиям и убеждениям. Он служит тому искусству, про которое сам говорит:

Peuple esclave, il te fait libre,
Peuple libre, il te fait grand!

То есть: «Народ рабский, оно делает тебя свободным; народ свободный, оно делает тебя великим».

Политическая деятельность Виктора Гюго доказывает вполне искренность его поэзии. Мы не станем повторять ее в подробности и заметим только, что напрасно некоторые обвиняют поэта в изменчивости убеждений, вспоминая его монархизм в молодости. Достаточно проследить произведения Гюго в хронологической последовательности, чтобы видеть, как постепенно совершился переворот в образе мыслей автора. Это не изменчивость, а развитие. Только люди, неспособные идти вдаль, неспособные совершенствоваться, останавливаются на одной точке и могут хвалиться своею твердостью и непоколебимостью. Умей твердо стоять, да умей и идти!

В новой книге Виктора Гюго нет, к сожалению, того пламенного негодования, как в «Châtiments»; нет в ней даже и того грустного тона, которым мы характеризовали новую поэзию. О плане и задаче «Легенды веков» читатель уж знает. Проследим теперь ее содержание.

Прежде всего останавливает внимание и сочувствие всякого, развертывающего книгу, посвящение: Sine me, liber, ibis in urbem![1] Не раз, вероятно, повторял эти слова Овидия французский поэт-изгнанник, приготовляя к печати свое новое произведение. Он посвятил его *Франции* следующим прекрасным четверостишием:

Livre, qu'un vent t'emporte
En France où je suis né!
L'arbre déraciné
Donne sa feuille morte!

То есть: «Книга, пусть умчит тебя ветром во Францию, где я родился! Вырванное с корнем дерево шлет свой блеклый лист!»

За этим посвящением следует самая «Легенда», эта soi-disant [2] поэтическая летопись мира, начинающаяся с древ-

[1] Без меня, книга, пойдешь ты в город! *(лат.)*
[2] так сказать *(франц.)*.

него Эдема и с матери Евы и кончающаяся трубою последнего суда.

Вся книга Виктора Гюго разделена на небольшие циклы, из которых каждый обнимает известный момент истории. Первый назван «От Евы до Иисуса», второй относится ко временам падения римской империи, затем следует Ислам, средние века, крестовые походы, Италия, времена Возрождения, инквизиция, наконец семнадцатый век, наше время (этот отдел называется «Maintenant» [1]), наконец, двадцатый век... Но и этим не кончается летопись Гюго; последняя сцена его книги происходит вне времени (hors des temps).

II

Поэзия библии и древних восточных преданий вдохновила Виктора Гюго на несколько небольших картин из первых дней мира и из евангельской истории. При том плане, который предначертал себе поэт, следовало начать «Легенду веков» с первых страниц книги бытия. Так и сделал Виктор Гюго.

Ослепительная заря зажигается над юным, только что созданным миром; все одевается пламенным светом — и тень и мрачный туман; золотым потоком разливаются лучи по сияющей лазури. В блеске такого светозарного дня не могло еще жить вражды: ягненок пасся с волком вместе, рыкание тигра было нежно.

Все эти черты очень общи, и панорама, составленная из них Виктором Гюго, очень бледна. Притом вместо образов мы встречаем часто рефлексию, ничего не говорящую воображению. «О утро утр! любовь!» — «Начало мира! дивный миг!» — «Дерево было благо; цветок был добродетелью». — «Гора была молода, волна девственна». — «Заря была взглядом изумленного солнца». — Эти общие места не выкупаются изредка попадающимися поэтическими стихами вроде следующих:

Les vents et les rayons semaient de tels délires,
Que les forêts vibraient comme de grandes lyres...

То есть: «Ветра и лучи трепетали такою страстью, что леса звучали, как большие лиры».

---

[1] «Теперь» *(франц.)*.

По нашему мнению, главную ошибку Виктора Гюго в этой первой пьесе его книги («Le Sacre de la femme»[1]) составляет не прямое пользование преданием библейским, а воссоздание этого предания чисто на основании своей собственной фантазии. Яркость красок и цветистость слов только убавляют впечатление картин и описаний этого первобытного мира. Одна почти летописная простота могла бы повторить в нас то чувство, какое невольно испытываешь при чтении так кратко, хотя и обстоятельно, записанных преданий народных о первых днях вселенной. В них вы видите те космогонические понятия, в которых воспитывался поэт или летописец вместе со всем своим народом или племенем; в каждом слове его вы видите полную и глубокую веру в то, что он рассказывает. Высокий поэтический такт Мильтона указал ему эту отличительную черту древнейших преданий, и он, рисуя нам рай, с простотой и наивностью народной песни обозначает и географическое положение Эдема и все главные черты самой местности: реки, холмы и проч. Описывая растительность рая, он говорит о розах без шипов, о деревьях, роняющих слезы благовонного бальзама, и т. п. Эти черты, несмотря на простоту свою и видимую обыкновенность, ярко рисуют нам картину первобытного мира, как он представлялся воображению младенчествующих народов, тогда как «цветок, бывший добродетелью» и «девственная волна» не говорят ничего никому. Самые, если можно так назвать, анахронизмы Мильтона придают особенный характер правды его описанию. Так, например, взятые отдельно следующие стихи, с Паном, Грациями и Орами, кажутся совершенно неуместными в христианской эпопее; а между тем эта, если хотите, необдуманность или несообразность сообщает картине именно то достоинство непринужденности и безыскусственности, которым мы так пленяемся в народных сказаниях.

The birds their quire apply; airs, vernal airs,
Breathing the smell of field and grove, attune
The trembling leaves, while universal Pan,
Knit with the Graces and the Hours in dance,
Let on the eternal Spring...

То есть: «Птицы поют хором; воздух, вешний воздух, дыша ароматом полей и лугов, звучит музыкой в трепет-

---

[1] «Освящение женщины» *(франц.)*.

ных листьях, и Пан с хороводом Ор и Граций дарует вечную весну».

Таких несообразностей не найдете вы у Виктора Гюго. Он поэт новый; с общим всем нам страхом быть непоследовательными и прослыть недостаточно знающими, обегает он самые поэтические образы, если они не новы или несогласны с историческою верностью. Но какой же исторической верности искать в изображениях доисторического мира? Повторяем, в подобных изображениях поэт, по нашему мнению, должен руководствоваться как можно более древними преданиями, перенестись, так сказать, в то младенческое время, когда человек в каждом слове, в каждой черте этих преданий видел неопровержимую историческую правду. Никакие старания, никакие усилия нашей современной фантазии не заменят этих наивных представлений, так магически покоряющих наше воображение в эпосе народном. Современная фантазия не может вполне забыть современного состояния знания и поневоле смешает две совершенно несоединимые вещи: первобытную наивность и новое мудрование.

В числе пьес первого отдела книги Гюго есть одно очень характеристическое в этом отношении четверостишие, которое мы и приводим. Оно называется «Храм».

Moïse pour l'autel cherchait un statuaire;
Dieu dit: «il en faut deux»; et dans le sanctuaire
Conduisit Oliab avec Béliséel.
L'un sculptait l'idéal et l'autre le réel.

То есть: «Моисей искал ваятеля для алтаря; бог сказал: «Надо их два»; — и в святилище ввел Элиава и Веселеила. Один ваял идеальное, другой реальное».

Эти четыре стиха лучше всего подтверждают наше мнение, что тогда только поэт нашего времени может воспроизвести верно и художественно эти давние события мира, когда совершенно отрешится от современного и перенесется во времена, известные нам только по преданию.

Кто не знает последних глав второй книги Моисеевой, где с такими чудными подробностями описывается создание скинии и кивота завета? К чтению этого описания Виктор Гюго приступил, вероятно, с заданною себе мыслью найти в нем эстетический вопрос нашего времени; иначе трудно объяснить себе, как в деле Элиава и Веселеила увидал он именно то, чего в нем не было и в помине. В рассказе библей-

ском даже не разграничены строго занятия двух этих богоизбранных зодчих.

С такою произвольною преднамеренностью притязания поэта рисовать нам историю человечества не могут возбудить в нас особенного доверия. То же искусственное отношение к преданию, что заметили мы в первой пьесе, отличает и большую часть исторических поэм Виктора Гюго. Как нарочно, самым простым преданиям, которые так могущественно действуют своею простотой на воображение, Виктор Гюго придает крайнюю изысканность. Слова «стеня и трясыйся будеши на земли!», обращенные к Каину, заставили Гюго сделать целый рассказ о мучениях совести братоубийцы. С первого раза рассказ этот действует на вас своею резкостью; но перечитайте его в другой раз — и вас поразит его мелодраматичность, часто почти граничащая со смешным.

«С детьми своими, покрытыми звериными кожами (рассказывает Виктор Гюго), бледный, косматый, бежал среди бури Каин от гнева Иеговы. Вечерело, когда мрачный странник достиг подошвы горы среди широкой долины; усталая жена его и измученные сыновья сказали ему: «Ляжем на землю и уснем». Каин не спал и все думал у подножья горы. Подняв голову, во глубине грозных небес увидал он глаз, широко раскрытый во мраке. Он пристально искал Каина в тени. «Я еще слишком близко!» — сказал Каин, затрепетав. Он разбудил заснувших сынов своих, утомленную жену и сумрачный отправился дальше. Тридцать дней он шел и тридцать ночей. Он шел нем и бледен и дрожал от каждого шума; он не смел оглянуться назад, не знал ни сна ни покоя. И дошел он до берега морского в стране, именовавшейся потом Ассуровой. «Остановимся тут, — сказал он, — ибо это место безопасно. Останемся здесь. Мы достигли пределов мира». И, садясь, он увидел глаз на том же месте во глубине пасмурного небосклона. И он затрепетал черною (?) дрожью. «Спрячьте меня!» — вскричал он. И, приложив палец к устам, все сыновья его смотрели на трепет мрачного родича. Каин сказал Иовилу, отцу племен, кочующих по широким пустыням в меховых шатрах: «Растяни с этой стороны полотно шатра!» И вот явилась зыбкая стена. Когда же укрепили ее свинцом: «Ты уж ничего не видишь?» — спросила Селлá, белокурое дитя, дочь его сынов, нежная, как денница. И Каин отвечал: «Я все еще вижу этот глаз». Иувал, отец тех, что проходят селеньями, трубя в трубы и стуча в барабаны, вскричал: «Я сумею выстроить загородку». И

сделал он медную стену и посадил за нею Каина. И Каин сказал: «Этот глаз все-таки смотрит на меня», И сказал Енох: «Надо вывести твердыню, чтобы никто не смел приблизиться к ней от страха. Построим город с крепостью; построим город и запремся в нем». Тогда Фовел, праотец ковачей, построил город громадный и сверхчеловеческий (? surhumaine). Пока он работал, братья его гонялись в долине за сыновьями Еноса и за детьми Сифа. И всем прохожим выкалывали они глаза; а вечером пускали стрелы в звезды. Гранит сменил полотняные стены шатра. Камни укрепили железными связями, и город казался адским городом. Тень башен омрачала окрестность; стенам придали толщину гор. На вратах надписали: «Запрещается вход богу». Когда они кончили работы, Каин поместился в самом средоточии города, в каменной башне. Он был мрачен и дик. «Отец мой! исчез ли глаз?»,— спросила с трепетом Селла́. И Каин отвечал: «Нет, он все тут». И сказал потом: «Я хочу поселиться под землею, одиноко, словно в гробнице; ничто меня тогда не увидит, и я ничего не увижу». И сделали яму, и Каин сказал: «Хорошо!» Потом он сошел один под этот темный свод. Когда он сел там в тени и над головою его замкнули свод подземелья, глаз виднелся и в могиле и смотрел на Каина».

Это стихотворение представляется нам переложенною в стихи притчею Круммахера, дидактического немецкого писателя, который точно так же приискивал для своих нравственных идеек лица из библии и из древних преданий и сочинял маленькие рассказцы на темы, вроде взятой Виктором Гюго, и, право, нисколько не хуже его, уж хоть бы и потому, что он писал прозой, а не стихами. Очень может быть, что большинство читателей и не слыхало никогда о Круммахере и его притчах. Уж из того, что по поводу Виктора Гюго мы вспомнили о нем, видно, как много натянутого дидактизма во французском поэте. В приведенной нами пьесе, которая, словно в подтверждение своего искусственно-дидактического происхождения, именуется «Совестью», в этой пьесе на каждом шагу поражают преувеличения, эффекты, напыщенность и старания явиться оригинальным. Но оригинальности-то именно в ней и нет. Она как будто написана учеником реторики и пиитики на тему, заданную учителем.

Такова же другая аллегорическая пьеса в первом отделе, в которой Гюго пересказывает легенду о том, как дух зла из самых красивых членов, взятых порознь у каждого

животного, сумел создать только безобразную стрекозу, а бог из безобразного паука создал солнце. Пересказанная во всей голой простоте своей, легенда имела бы смысл; но в эмфатическом рассказе Гюго она вышла смешна и нелепа.

Вообще нередко поражает у Гюго читателя отсутствие вкуса и художнического такта, хотя в других местах вы видите в нем истинного художника. Главная вина этого недостатка, по нашему мнению, заключается почти всегда в дидактической задаче, положенной в основу произведению, задаче, произвольно избранной, а не непосредственно, можно сказать непроизвольно возникшей в самой натуре поэта. Только исходящий из такого согласия с натурой поэта дидактизм может облечься в художественную форму, а стало быть и действовать.

Wenn ihr 's nicht fühlt, ihr werdet 's nicht erjagen,
Wenn es nicht aus der Seele dringt,
Und mit urkräftigem Behagen
Die Herzen aller Hörer zwingt.

. . . .

Bewund'rung von Kindern und Affen,
Wenn euch darnach der Gaumen steht;
Doch werdet ihr nie Herz zu Herzen schaffen,
Wenn es euch nicht von Herzen geht [1].

Эти слова Фауста Вагнеру не мешало бы постоянно помнить поэтам, чтобы не попадать из области поэзии в область схоластики и педантизма.

То, что мы сказали о некоторых отдельных частях книги Виктора Гюго, можно повторить и о всей книге вообще. Нам кажется, и тут повредила поэту задача, назначенная им себе произвольно и, надо правду сказать, не по силам. Мы бы поняли намерение представить нам поэтическую историю человечества в народных песнях и сказаниях, искусно выбранных, сгруппированных и переведенных, или даже в наиболее характеристических произведениях поэтов всех времен и народов. Но мы не знаем такого поэта, в способности которого не усомнились бы, если б он предъявил нам намерение свое воссоздать художественно все знаменатель-

[1] Чего не чувствуешь, того не добудешь; только то, что рвется у тебя из души, может могучею властью покорить сердца всех слушателей.

. . . .

Ты дождешься удивления от детей и обезьян, если тебе этого хочется; но никогда не покорить тебе сердцем сердца, если слово твое не от сердца (*нем.*; *прим. М. Л. Михайлова*).

ные, наиболее яркие явления всемирной истории. Тем более усомнились мы в способности на такой подвиг Виктора Гюго, поэта бесспорно очень даровитого, но по преимуществу, как мы сказали выше, лирического, достигавшего художественной высоты почти исключительно в чисто субъективных своих произведениях.

В предисловии своем Виктор Гюго говорит, что книга его, несмотря на видимую отрывочность, представляет нечто целое. Признаемся, этой целости мы в ней не видим. Выбор фактов из истории так произволен и они так мало друг с другом гармонируют, что цель автора, высказанная им в предисловии, вовсе не достигается. Перед читателем ряд рассказов, более или менее неудачных, заимствованных из более или менее верных и живых источников, — и только: чтобы проследить в этих рассказах связующую их нить, надо такое же напряженное воображение, как для того, чтобы открыть связь между новыми эстетическими теориями и работою Элиава и Веселеила.

В первом отделе за созданием Евы, за Каином, за легендою о стрекозе и пауке следует история Даниила во рву со львами, в которой львы говорят очень звучные монологи о красотах природы; потом четверостишие о зодчих Моисея, потом сцена из книги Руфь, видение Валаама и наконец воскресение Лазаря. Никто, разумеется, не назовет черты, взятые Гюго из библейской истории, наиболее характеристическими ее чертами. Прием и во всех остальных пьесах тот же, что в приведенных нами. Только в «Воскресении Лазаря» («Première rencontre du Christ avec le tombeau»[1]) менее изысканности и заметно старание сохранить простоту евангельского рассказа.

От библейских времен Виктор Гюго переходит прямо ко времени упадка Рима; но тут ограничивается только одною пьесой, скучной и вялой (именно об Андрокловом льве), которая вся как будто написана только для реторической фигуры в конце:

Et l'homme étant le monstre, ô lion, tu fus l'homme.

То есть: «И в то время, как человек был чудовищем, ты, лев, был человеком».

Фигура эта, как видит читатель, вовсе не так драгоценна, чтоб из-за нее примириться с целою пьесой. Правда, она

[1] «Первая встреча Христа с могилой» (*франц.*).

заняла бы почетное место в реторике, в числе примеров антитеза и, может быть, помрачила бы даже отчасти виргилиевское «flectere si nequeo superos acheronta movebo!»[1] Но ведь в наше время уж не пишут новых реторик и антитезис Гюго пропадет даром.

Так же слаб и полон витийства отдел «Ислам». Чем далее идете вы в книге Гюго, тем более и более утомляет вас однообразие тона. Лучшими местами книги нам кажутся переделки из песни о Роланде, хотя и здесь приятнее было бы видеть бо́льшую близость к знаменитому тексту. По поводу того, как следует воссоздавать старые предания поэту нашего времени, нельзя не вспомнить прелестной легенды Теннисона о графине Годиве, легенды, которая считается классическим произведением в английской литературе. В ней такое полное отсутствие всяких искусственных приемов, такая естественная последовательность рассказа, что и переведенная в прозе она почти не утрачивает своей удивительной красоты и грации. Это большая похвала; потому что только произведения народной поэзии выдерживают такое испытание. Прозаический перевод таких произведений указывает обыкновенно на все лучшие черты, на все удачнейшие мотивы подлинника; тогда как попробуйте перевести в прозу стихи искусственные, вы в переводе увидите только недостатки подлинника, и самые достоинства его побледнеют среди недостатков. Значит, только музыкальность языка, рифма, размер спасают еще их от совершенного невнимания.

Такое именно чувство недовольства испытываешь, стараясь передать в прозе стихи Виктора Гюго. На каждом шагу встречаете вы лишние вставки, ненужные распространения, бесполезные, потому что неопределенные или уж чересчур преувеличенные эпитеты. Даже лучшие стихотворения в «Легенде веков» страждут этими недостатками; хоть бы даже и помянутые рассказы из Роллandовой песни «Le Mariage de Roland» и «Aymerillot»[2]. Переведите слово в слово испанское романсеро, сербские песни и самое подлинную песню о Роланде,—читатель, совершенно незнакомый с подлинником, почувствует желание познакомиться с самою внешней его формой. Совсем иное дело такие поэмы, как у Виктора Гюго. В прозаическом переводе они являются как

[1] «Если я не сумею смягчить вышних богов, я всколыхну преисподнюю!» *(лат.)*

[2] «Женитьба Роланда» и «Эмерийо» *(франц.)*.

бы отрывком из посредственного романа и подчас даже просто из бойкого фельетона, и нет никакой охоты знакомиться с подлинником; заранее уже знаешь, что нового в нем ничего не найдешь, кроме гладких и певучих стихов да богатых, звучных рифм. Примера, кажется, нечего уже приводить после помещенного выше перевода рассказа о Каине. Повторяем, именно таков, в большей или меньшей степени, характер всего сборника Гюго.

Мы уже сказали, что выбор фактов из истории не всегда характеристичен и большею частью произволен. К этому надо прибавить, что нет никакой соразмерности и в частях. Посвятив древнему миру одно небольшое стихотворение, Гюго занимает чуть не половину первого тома длинными и скучными историями «Le Petit Roi de Galice» и «Eviradnus»[1]. В первой страницах на сорока повествуется, как десять астурийских инфантов увезли тайком маленького короля из Компостеллы, чтобы лишить его престола, и в то время, как они рассуждали, убить ли его, или заключить в монастырь, явился могучий Роланд, дал своего коня королю, и он ускакал обратно в свою столицу, а странствующий рыцарь разделался тем временем с злоумышленниками; расправа у него была коротка: он перебил и инфантов и бывший с ними отряд во сто с лишком человек, кроме одного труса, бежавшего во время свалки. Кажется, из всего этого трудно создать что-нибудь, кроме небольшой баллады во вкусе баллад Уланда; но Виктору Гюго сюжет показался достойным более широкого развития. Читателю от этого, разумеется, не легче. Может быть, оттого, что трудно в подобном сюжете чем-нибудь воодушевиться, поэт рассказывает вяло, с сухими, непоэтическими подробностями, и наводит то зевоту, до досаду. Кажется, будто он назло вам старается сделать из одной строки двадцать строк, из одной страницы двадцать страниц. Вы готовы даже заподозрить автора, что поэма вышла так длинна вследствие тех нелитературных соображений, которые превращают в руках у книгопродавцев один том в два и три тома. Это книгопродавческое искусство—из короткого делать длинное — усвоено многими французскими писателями (англичане очень метко называют это book-making, книгоделие); но, признаемся, нам очень грустно видеть даже и тень этого искусства у такого уважаемого нами писателя, как Виктор Гюго. Не больше как на коротенькую балладу

---

[1] «Маленький король Галисии» и «Эвирадн» *(франц.)*.

содержания и в «Эвирадне», второй поэме из цикла «Странствующие рыцари». Это история, напоминающая отчасти Ратклиф. Дело в том, что император Сигизмунд и король Владислав хотят погубить маркграфиню лаузицкую Матильду, для этого переодеваются, едут с нею в загородный замок, там ужинают в зале, где вокруг расставлены лошади и на них брони покойных предков маркграфини, и для лучшего исполнения своего намерения дают ей каких-то сонных капель. Матильда засыпает, и собеседники несут ее к подземелью, чтоб бросить ее на глубокое дно пропасти, где она может разбиться вдребезги. Но в эту минуту одна из броней оживляется, сходит с коня, подходит к злодеям и вместо маркграфини бросает их самих в пропасть, убив предварительно Владислава и пофехтовав им как легкою саблей с Сигизмундом. Объяснение этого сверхъестественного явления очень просто; оно нисколько не таинственнее «Таинств Удольфского замка». Эвирадн, один из странствующих рыцарей, этих, по выражению Гюго, могучих друзей угнетенных, слабых, узнав об умысле на Матильду, забрался в замок, снял с одной из лошадей старую броню и сел на лошадь сам... Вот и все. И это рассказывается даже не на сорока, а уж на шестидесяти страницах. Нигде не мелькает во всех этих монотонных александрийских стихах и искры поэзии. Только раз прорвалось в двух-трех строках то благородное негодование, которое заставляет нас так высоко ценить «Les Châtiments»; но тотчас же и погасло.

Мы решительно не понимаем, что в этих двух длинных пьесах есть характеристического, чтобы дать им место в проектированной Виктором Гюго поэтической истории человечества. Гюго, кажется, смутно чувствовал это сам, так же как непомерную длину этих рассказов, и постарался пояснить их значение в предисловии, а также и извиниться в их слишком широких размерах. Он говорит, что, когда будут изданы все части его громадной эпопеи, эти эпизоды не будут в них казаться чересчур длинными. Самое значение их объясняет он так: «Похищения власти играют такую роль в создании королевств в средние века, и вступление на престол связывалось со столькими преступлениями, что автору казалось необходимым представить их в главных трех видах в трех драмах». Из этих трех драм о двух мы уже сказали; третья («La Confiance du marquis Fabrice»[1]) относится к цик-

---

[1] «Доверчивость маркиза Фабриция» *(франц.)*.

лу «Италия» и ничем не лучше историй Эвирадна и маленького галисийского короля. Неужто для таких, к несчастию, столь обычных происшествий нужно было изобретать такую сказочную, такую фантастическую обстановку? Любая средневековая хроника могла бы дать поэту и более реальные черты и более поэтические картины.

Стихотворения под рубрикой «Восточные троны», которыми оканчивается первый том, представляют в высшей степени жалкое и ничтожное явление. В них заметно какое-то детство как в изобретении, так и в самой форме. Судите сами. В одной пьесе десять сфинксов, поддерживающих трон египетского царя Зим-Зизими, его же чаша и светильник произносят поочередно по монологу, напоминая счастливому владыке, что, несмотря на его счастье, он будет жить не вечно и непременно умрет, как все смертные. Все эти монологи, часто занимающие целую страницу, развивают свою тему так: «Царица Никотриса жила, казалась богиней, а умерла! Кир или Камбиз жили, казались богами, а умерли!» — в более или менее цветистых, в более или менее длинных стихах, с реторикой ужасной. Последний монолог произносит подсвечник (у Виктора Гюго вообще страсть заставлять говорить в своих поэмах, как в баснях, всякую всячину); Зим-Зизими, рассердившись, сшибает светильник.

La lampe s'éteignit. Alors la Nuit entra;
Et Zim se trouva seul avec elle; la salle,
Comme en une fumée obscure et colossale,
S'effaça; Zim tremblait, sans gardes, sans soutiens;
La Nuit lui prit la main dans l'ombre, et lui dit: «Viens».

То есть: «Лампа погасла. Тогда вошла Ночь; и Зим остался с нею наедине; чертог померк, словно в мрачном и колоссальном(?) дыму; Зим трепетал, без стражи, без помощи; Ночь взяла его во тьме за руку и сказала ему: «Пойдем!»

Другая пьеса, столь же напыщенная, еще страннее по содержанию. Она называется «Султан Мурад» и рассказывает сначала бесчисленные злодейства этого тирана, а потом единственный пример его милосердия: что он отогнал мух от раны недорезанного поросенка около лавки мясника. До сих пор дело идет еще туда-сюда; но вот что умилительнее всего. Являются весы правосудия, и перед ними дела Мурада. Вся земля, обагренная кровью, заваленная трупами, свидетельствует о его злодействах, и только один голос раз-

дается в его защиту — голос поросенка. В одной чаше весов поместили мир, в другой поросенка, и поросенок перетянул.

Dans un plateau le monde et le pourceau dans l'autre.
Du côté du pourceau la balance pencha.

И все это повествуется наисерьезнейшим тоном; тем смешнее, разумеется, читателю, и нам оставалось бы похвалить автора, если б он имел в виду сочинить шуточную песню или пародию для какого-нибудь веселого журнальчика вроде «Figaro», «Charivari» и т. п. Но задача у Виктора Гюго была, как вы знаете, не такая ничтожная. Он взялся за то, на что не хватило бы Гомера.

Утомительно было бы следить за Виктором Гюго до конца по всем поэмам, аллегориям и фантазиям его книги. Мы рассмотрели довольно подробно содержание первого тома и на нем остановим свое изложение. Нам пришлось бы рассказать только сюжеты двух-трех столь же изысканных повестей, как и те, о коих говорилось выше в нашей статье; но ничего нового не нашлось бы у нас сказать об общем впечатлении, разве только, что дальнейшие повествования еще менее характеристичны для заданной себе автором цели, чем те, о которых уже говорено.

С некоторой надеждой останавливаешься на отделе, посвященном нашему времени («Maintenant»); но и тут надежда эта обманута. Что скажет нам о нашем времени рассказ или, лучше сказать, басня о том, как дети безжалостно тиранили жабу, а осел, проходя мимо, обошел ее, чтобы не наступить на нее и не раздавить? Картин революции, обещанных в предисловии, в самой книге нет; движение к реформе общественных, а с ними и семейных отношений, которому так сочувствует поэт-изгнанник, также не нашло отголоска в «Легенде веков». Аллегорическое изображение гибели старого мира в виде парохода Левиафана и возникновение нового в виде аэростата холодно и ни в одной строке не проникнуто одушевлением, с которым мы привыкли встречаться у Виктора Гюго, когда он строит свои отдаленные благородные утопии.

Вообще вся книга, как уже видел читатель из нашего беглого обзора, кажется нам совершенно неудачной — неудачной по выбору предмета, неудачной и по исполнению. Виктор Гюго взялся, во-первых, не за свое дело: он решительно не эпический поэт, по крайней мере в стихах. Обработай он в прозе такие сюжеты, как «Эвирадн», как «Маркиз Фабри-

ций», мы имели бы, может быть, нестройные в целом, но прекрасные в частностях и рисующие век произведения вроде «Notre Dame de Paris»;[1] но в стихотворной форме эпическое содержание всегда расплывается и подчас, можно сказать, улетучивается у Виктора Гюго. Во-вторых, как было уж сказано, он взялся за дело не по силам ему и вообще как поэту.

Мы не приписываем неудачи последней книги Гюго упадку в нем таланта; нет, мы думаем, что он еще не совсем, как говорит сам в посвящении, вырванное с корнем дерево, от которого нечего ждать, кроме мертвых листьев. В нем течет еще живая струя любви к родине, и стоит ему начать высказывать эту любовь без всяких мировых затей, он превратится опять в истинного, благородного и высокого поэта и подарит нас свежими и юными песнями. Таких именно песен ждем мы от него и сожалеем, что он тратит свои еще бодрые силы на продолжение такого странного, неудачного и, скажем даже, несовременного труда, как «Легенда веков», к которой в pendant [2] должны явиться еще две такие же части с громкими, но именно оттого и мало обещающими названиями: «La Fin de Satan» и «Dieu» [3].

---

[1] «Собор парижской богоматери» *(франц.)*
[2] в дополнение *(франц.)*.
[3] «Конец Сатаны» и «Бог» *(франц.)*.

ГОРЬКАЯ СУДЬБИНА

Драма в четырех действиях *А. Писемского*. Издание Д. Е. Кожанчикова. СПБ 1860. В 8-ю д., 132 стр.

Повести и романы с так называемым обличительным направлением, так обильно плодившиеся в последнее время с легкой руки Щедрина, породили в журналистике нашей множество разноречивейших толков об искусстве, хотя искусству до большей части этих произведений так же мало дела, как и до газетных фельетонов. Одни стояли за дидактизм, другие пошли так далеко в противоречии дидактикам, что требовали от литературы полного отсутствия живой мысли, прикрывая, разумеется, это требование очень ловкими, хотя и несколько темными фразами. Разумная середина между этими крайними направлениями едва давала себя чувствовать. Голосистее всех были поклонники обличительной литературы; неловкое выражение «искусство для искусства» стало общею потехой, и неразборчивая публика, увлекшись новинкой, чуть ли не была готова применять это выражение ко всякому произведению, где не являлись становые, чиновники особых поручений, городничие etc. [1] Повесть хороша была лишь тогда, если заключала в себе рассказ о каком-нибудь гражданском или уголовном следствии; стихи читались только, если в них говорилось о благодетельной силе гласности и обвинялись во взяточничестве опять те же становые, чиновники особых поручений и т. д. и т. д. Прошедшее для этого quasi-практического [2] направления наступило очень скоро. Охлаждение, или, лучше сказать, шаткое

---

[1] и т. д. *(франц.)*

[2] мнимо практического *(лат.)*.

равнодушие к произведениям истинного искусства, сказавшееся одно время в публике и так огорчавшее всех, кто смотрит подальше преходящих насущных потребностей, не могло быть прочно. Общество, воспитанное на Пушкине и Гоголе, не могло забыть своих великих воспитателей. Отдавая полную справедливость честности обличительного направления, оно должно же было наконец понять, что только невозможность высказывать прямо то, что нужно, могла заставить выбрать для обличений такую несвойственную форму, как повесть, как поэма. Глава и родоначальник обличительного направления, Щедрин, один останется в истории литературы; он будет и читаться долго. Но достоинства его заключаются не в направлении собственно; оно было очень кстати после долгого молчания литературы о том, о чем хотелось говорить, и вот в чем причина его огромного успеха. Теперь обличениями взяточников никого не займешь; но мы сказали, что Щедрина все-таки будут читать. Да, он будет интересовать не только с исторической стороны как писатель, внесший на время новую струю в литературу. У него есть и достоинства более прочные. Щедрин не художник в строгом смысле; но никто не откажет его очеркам во многих художественных сторонах. Меткая наблюдательность, юмор, иногда даже искры поэзии, эти качества сделали бы его всегда писателем замечательным.

Для реакции обличительному направлению не явилось в литературе ни одного нового сильного таланта. Наши старые любимцы, продолжая неуклонно свой прямой художественный путь, явились с новыми художественными произведениями, и эти произведения разом пробудили заснувшее на время эстетическое чувство публики. Имена гг. Тургенева, Писемского, Островского и Гончарова опять стали на первом плане; имена Щедрина и Печерского, так недавно еще электризовавшие публику, отодвинулись на второй план. В настоящую минуту новое произведение автора «Губернских очерков» не возбудит ни прежнего внимания, ни прежних толков в публике. Его будут читать как очень умную, очень талантливую вещь; но той симпатии, того глубокого интереса, какой возбуждают новые произведения названных четырех писателей, оно не возбудит. Причину мы объяснили.

Дело искусства не обличать, а анализировать и воспроизводить в художественно верной картине факты действительности. Суд художника над общественными явлениями

заключается в самом изображении их. С заданною себе целью изыскивать в обществе наиболее заметные в данную минуту недостатки и карать их искусство теряет свою живучесть, свое широкое влияние, не ограничиваемое кратким периодом времени. При желании действовать непосредственно и мгновенно на уродливые явления, встречаемые в известную эпоху в обществе, художнику следует оставить стеснительные в этом случае рамки романа, драмы, поэмы; пусть он превратится тогда в публициста и высказывает ясно и прямо, без всяких околичностей то, для чего в произведении фантазии ему поневоле придется насиловать факты, нарушать гармонию действия, придавать характерам лишние черты и проч. Сатиры вроде ювеналовских возможны в наше время только в такой форме. Мы знаем публицистов с могучим художественным талантом; этот талант сохранит надолго их произведения, часто по существу своему приуроченные только к известному времени. Но вздумай они, вместо чисто публицистской деятельности, избрать этот промежуточный род, называемый обличительными повестями, значение их много бы убавилось. Разумеется, художник скажется всюду, не только в обличительной повести, но даже и в фельетоне, да того целого, стройного, ясного воссоздания действительности, которое мы находим в романистах без так называемых «задач», в подобном произведении уж никак не будет. Правда, в наш век, когда каждый норовит встать под знамя какой-нибудь партии, такие цельные, непосредственные художнические натуры становятся редки. Но тем драгоценнее они для нас и тем выше наслаждение, доставляемое нам их произведениями.

К числу такого рода редких в наше время художников следует присоединить г. Писемского. Читая любое из его произведений, вы видите, что автор человек мыслящий, человек, глубоко понимающий смысл жизни и ее явлений; но нигде не проглянет его желание навязать вам свою мысль, свой взгляд на лица и события, которые проходят перед вашими глазами в его произведениях. В этом великое и важное сходство искусства и жизни. Как в том, так и в другой не моралисты нас учат, а ход и развитие событий. Как моралист, объясняя явления жизни, выводит из них законы нравственности, так дело критика уяснить смысл художественного произведения. Сам художник, взявшись за эту роль, непременно убавит жизненности в созданных им лицах; заставляя их действовать для проведения какой-нибудь заданной

мысли, он, независимо от воли своей, придаст им или чересчур идеальный, или чересчур мрачный колорит, смотря по большему или меньшему сочувствию его к тем или другим лицам. Надо, чтобы мысль жила в художнике, была в нем плотью и кровью, и тогда из явлений жизни поразят его и будут им воспроизведены в художественном изображении именно те, которые совпадают с его взглядом на мир или противоречат ему. Яркость красок, определенность и жизненность типов находятся в прямой зависимости от сочувствия к правильному ходу жизни, от скорбного чувства при нарушении ее гармонии, одушевляющих художника. Глубина его мысли, глубина его сердечного понимания скажутся в образах, которые обманут вас полнотою жизни, кипящей в них, так что вы готовы будете принять их за самое жизнь. Слово «обманут» в этом случае, впрочем, непригодно. Искусство, повторим, та же жизнь; мы не поставим его выше жизни, как это делают некоторые крайние эстетики, но должны признать, что действие его на личное совершенствование человека, как и действие науки, глубже и полнее, чем действие непосредственного соприкосновения с жизнью. Жизнь оставалась бы роковым хаотическим омутом, если б ею не правили святые, присущие душе человека силы, проявлением которых служат наука и искусство. Представляя нам яркую картину наших темных и полудиких страстей, наших тупых и неразумных общественных антагонизмов, не дает ли искусство светлых упований сердцу, не раскрывает ли нам широкого горизонта на иную гармонию жизни, к которой, сбиваясь с пути, падая, ошибаясь, но все-таки подвигается человечество? Английский поэт Тениссон в одной пьесе своей, сравнивая бессознательную песню птицы с песнью человека, говорит, что песня человека оттого так бодра, что он поет о том, чем будет мир, когда над ним пройдут годы...

For he sings of what the world will be
When the years have died away!

От этих общих соображений нетрудно перейти к драме г. Писемского «Горькая судьбина». Ведь она-то и навела нас на них, как произведение того высокого, чистого искусства, которое мы ценим столь высоко, видя в нем руководящую и зиждущую силу.

Дело критики, сказали мы, уяснять смысл художественных произведений. Это определение слишком обще и вследствие этого слишком неопределенно. Скажем яснее: жизнь,

воспроизведенная художником в его создании, должна стать предметом строгого суда критики. Само собою разумеется, прежде чем произнести суд, следует определить, в какой мере верно действительности воспроизведена жизнь художником. Последняя задача составляет так называемую эстетическую сторону критики; она имеет значение преимущественно для автора. Первая задача, то есть суд над художественным произведением как над явлением жизни, дает критике значение общественное. Соединение в одном лице качеств, нужных для правильного решения той и другой задачи, представляет для нас идеал критического дарования. Таких высоких критиков немного во всех литературах. В нашей только у Белинского критика вместе с эстетическим характером принимала и характер общественный. Смерть унесла его в пору зрелости и силы мысли, именно в то время, как эти две стороны начали приходить в нем в равновесие. Нечего рассказывать, какая путаница в критике нашей пошла с его смерти, хотя самые разногласные теории ведут свое начало от него же. Эстетики ухватились за эстетические теории Белинского, дидактики принялись развивать его же положения об общественном значении искусства, и те и другие развили эти стороны до безобразных и смешных крайностей.

Не для того, чтобы применить к новому произведению г. Писемского выраженные нами требования от критики, упомянули мы о них. Такая задача выше наших сил. Мы хотели только сказать, что у редкого художника найдешь такое поразительно верное воспроизведение жизни и такое глубокое понимание путающих жизнь ненормальных и темных отношений, какое представляет драма г. Писемского. Мы хотели только сделать несколько намеков на те данные, которые составят в ней предмет особого и глубокого изучения той идеальной критики, о которой сказано выше.

Содержание драмы известно всем, и пересказывать его нечего. Лица, действующие в ней, стоят перед нами живее наших старых и близких знакомых, и, сколько ни делай мелких придирок, Ананий Яковлев, помещик Чеглов-Соковин, чиновник Шпрингель стали для нас членами кипящей вкруг нас действительности.

«Есть общества и в наше время (сказал кто-то), на которых тяготеет еще древний рок». Эта мысль, может быть невольно, высказалась в самом заглавии драмы г. Писемского. Что, как не тот тупой, слепой, бессмысленный и жестокий

рок, которому верили древние, не имея сил сладить с бурно клубящимся водоворотом жизни, что, как не этот рок спутывает все человеческие отношения, отуманивает и сбивает с пути ум, извращает сердце в этих людях, так близко, так неразрывно между собою связанных и так глубоко проникнутых сознательным и бессознательным взаимным антагонизмом? Что, как не рок, или, пожалуй, что, как не горькая судьбина тяготеет со всею своей бесправной и бессмысленной силой над этим обществом?

Под грубой внешностью Анания Яковлева и под изнеженной оболочкой Чеглова бьются человечные сердца; но рок поставил между ними непроницаемую стену, и они не понимают лучших сердечных движений друг в друге. И в том и в другом проглядывает сознание человеческих прав, независимо от прав, наложенных на них вековым предрассудком; но сознание это нейдет наружу или проявляется лишь ожесточением с обеих сторон, не допускающим в отношения их участия здравой, примирительной мысли. Чеглов становится жестоким врагом для Анания Яковлева не потому только, что он соперник его в любви. Нет, не только по любви Анания к жене, но даже по словам его, настолько рассудительным, насколько это возможно при вкорененных в нем предрассудках, можно заключать о возможности если не примирения, то прощения с его стороны. Но все гуманные отношения его к своему сопернику заранее убиты в нем доставшеюся ему «горькой судьбиной». В человеке, исключающем в нем возможность всякой самостоятельности, всякое право, он не верит ничему. На его ожесточенный взгляд, этот человек не может ни любить, ни вообще чувствовать. В Анании даже мелькает что-то вроде злобной радости своему собственному горю, потому что это горе дает ему возможность вступить в открытую борьбу со своим соперником. Есть же право, которого не смеет нарушить этот соперник, и Ананий хватается за это право с энергиею утопающего, у которого отнимают последнюю доску спасения. Он уже не разбирает никаких нравственных побуждений у своего врага; мало того — он и слышать их не хочет. Ему довольно, что он нашел пятку у этого Ахиллеса, и вся сила его направлена на то, чтобы врезать в эту пятку железо годы копившейся, годы бесплодно кипевшей мести.

Но рок (будем уж называть так общественные условия, в которых живут действующие лица драмы), рок не даст Ананию в руки оружия, чтобы нанести смертельный удар

своему злодею. Над средою, к которой принадлежит Ананий, недаром висела нерасступающеюся черною тучей эта «горькая судьбина». Удушаемое в зародыше чувство человеческого достоинства превратилось в апатическую безразличность или в какую-то шаткость и понятий и чувств. Вечный страх, вечная гроза беззакония сковали даже порывы страсти. И вот свои выдают своего. Ананий, возмущенный бесчувствием, бессознательностию ближайших к нему по судьбе, по редким радостям и частым страданиям людей, связанный ими по рукам и по ногам и отодвинутый от предмета своей ярой ненависти, ищет уже только исхода своей страсти, и удар его падает на неповинное существо.

А что же враг его? И над ним тяготеет та же «горькая судьбина». И чувства и понятия его так же извращены, как понятия и чувства подчиненного ему мира. С колыбели пользуясь своим нечеловеческим правом, он тоже потерял инстинкт справедливости. За минутами гуманных движений сердца у него следуют животные порывы жадного, хотя и бессильного зверя. И он падает в борьбе со своею судьбой; но в то время, как соперник его, падая в изнеможении, вырывает у нас, несмотря на совершенное им преступление, слезы жалости, Чеглов возбуждает, при всех проблесках своего добросердечия, одно глубокое презрение своим бессилием. Единственное обстоятельство, облегчающее в глазах наших его пассивную виновность, это его собственное неверие в прочность его неправого права. Но и это неверие пассивно, бессознательно. Без редкого, но меткого протеста таких людей, как Ананий, и оно, может быть, заснуло бы и из-под бархатной лапы выглянул бы вострый и цепкий коготь.

Одного даже беглого разбора пружин, управляющих ходом драмы г. Писемского, хватило бы на большой том серьезных размышлений о русской жизни — так глубоко, в самом источнике зачерпнуто им содержание этого произведения. А сколько психологических задач представляет каждое лицо, начиная с двух главных героев драмы и кончая хоть бы на минуту появляющимися в избе Анания мужиками!

Мы не знаем произведения, в котором с такою глубокой жизненной правдой были бы воспроизведены существеннейшие стороны русского общественного положения. Представить такую поражающую своей наглядной действительностью картину горьких явлений нашего быта мог только художник, весь проникнутый народною силой и сознанием этой силы.

Когда взгляд художника на окружающую его сферу достигает такой ясности, такого высокого беспристрастия, какое проявил в последнем произведении своем г. Писемский, сердце невольно сильнее бьется надеждою, что недалека пора, когда эта «горькая судьбина» нашего общества сменится «сознательною разумною силой». По темным краскам картины г. Писемского как будто скользнул уже луч той зари, которая оденет наш народ...

When the years have died away!

Но кроме этих шатающихся уже роковых отношений, нет ли еще каких препятствий выйти обществу на ту светлую дорогу, которая грезится нам среди мрака «горькой судьбины»? В ответ на это сомнение является в конце драмы г. Писемского знаменательное лицо. Это член суда, производящего следствие над Ананием Яковлевым.

Кто он такой? Шпрингель. Значит, немец. Зачем же является он судьею в обществе, с которым не связан кровными узами? Но что значит имя? что значит кровь? Может быть, явления русской жизни ему столь же близки, сколько и нам? Может быть, понимание русского народа соединило его сердце с народными судьбами? Может быть, народ нашел в нем отголосок своим нуждам и скорбям и доверился ему своим сердцем?

Нет, нет и нет. Он чужой этой среде, в которую явился судьей, чужой мыслью, чужой чувством! Он не понимает даже и головой возможности нравственного общения с этим миром, в котором хочет играть роль посредника. Он как будто служит какой-то идее; но идея эта, если она и есть, не только чужда, даже враждебна интересам народа, в которые он сует свою себялюбивую, черствую личность. После внимательного взгляда окажется, пожалуй, что и все служение его ограничивается служением своей мизерной личности. Сердце у него высушено и тупым педантским воспитанием и с пеленок привитым ему презрением к сфере, по его мнению, низшей. И это бессердечное существо хочет действовать на народ, который понять, которому сказаться можно только сердцем? И в чем, зачем его действия? Не то же ли это развращающее, гнетущее влияние, которое чахнет в лице Чеглова, харкающего кровью?

Вместе с Чегловым не мешало бы нам похоронить и Шпрингеля. Впрочем, как узнать, кто Шпрингель, кто нет? Не у всех Шпрингелей немецкое имя.

КОБЗАРЬ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Коштом Платона Семеренка. СПБ 1860 года. В 8 д. л. 244 стр. (С портретом Шевченка.)

Недавно, в предисловии к малороссийскому альманаху «Хата», мы нашли следующее сопоставление имен: Шекспир, Вальтер Скотт, Шиллер, Мицкевич, Пушкин, Гоголь, Квитка, Шевченко. Издатель альманаха и автор этого предисловия, г. Кулиш, не раз уже высказывал свое чрезмерно высокое мнение о слабых попытках малороссиян создать особую от русской, собственную народную литературу; но, кажется, еще в первый раз ставит он в число мировых поэтов, наравне с Шекспиром и Шиллером, Квитку и Шевченка.

Мы вполне сочувствуем г. Кулишу в его любви к родине, в его желании блага и счастья ей, богатства и развития родному его слову; но полагаем, что своими необдуманно-преувеличенными возгласами о величии и гениальности украинской письменности (и литературой-то этих попыток назвать нельзя) он только подрывает авторитет писателей, которых хвалит. Всего-то писало по-малороссийски два-три человека, и эти два-три человека оказываются всемирными гениями. Каково богатство народного духа! Если, как того желает г. Кулиш, на малорусском наречии возникнет целая широкая литература, эта литература, судя по началу, представит неслыханное и невиданное изобилие «Скоттов, Шекспиров и Дантов». Г-н Кулиш делает, правда, в помянутом предисловии небольшую уступку людям, не столь легко приходящим в восторг, как он: в число гениев он не допускает еще Марка Вовчка; но едва ли не скрепя сердце решается он на эту уступку. «Гоголь в «Вечерах на хуторе» стоял наравне с Марком Вовчком; а потом перерос его неизме-

римо», — говорит г. Кулиш. И так станем ждать от автора «Украинских рассказов» новых «Мертвых душ», нового «Ревизора». «Шевченко (продолжает г. Кулиш) в первых балладах не выше, чем Марко Вовчок в своей «Сестре»; в «Катерине» же он поднялся до Пушкина как художник, а в 1846 году — и до Мицкевича как поэт всеславянский». До Шекспира как поэта всенародного остается, значит, всего один шаг. Возгласы г. Кулиша, трудящегося в поте лица над созданием украинской литературы, были бы только смешны — и больше ничего, если б не касались писателя действительно высоко даровитого, как Шевченко. Сравнить с Шекспиром Квитку, посредственного автора посредственных повестей, сказать, что перед жалкими побасенками рутинного борзописца Гребенки — дрянь басни Крылова (смотри ту же «Хату»), это черты высокого комизма, вроде рассказа Хлестакова о том, как у них там «и вист свой составился: министр иностранных дел, французский посланник, немецкий посланник и я». Вы от души хохочете над этой уморительной выходкой, но смех ваш переходит немедленно в досаду, как скоро к именам Квитки и Гребенки примешивают имя Шевченка. Этот оптимизм, для которого все то хорошо, что написано по-малороссийски, достигает совсем не той цели, какая у него в виду. Если г. Кулишу действительно дороги успехи его родного слова, то содействовать им можно лишь серьезною и строгою критикой. Всякие похвалы останавливают совершенствование. Скажите, каких еще благ ждать литературе, у которой есть два таких писателя, как Шекспир? Квитка и Шевченко — прозаик и поэт — чего ж больше? Чтобы делать такие легкомысленные сравнения, надо или быть самодовольну до слепоты, или иметь слишком узкое понятие о судьбах народности малороссийской.

Как ни глубоко уважаем мы наших лучших писателей — Гоголя и Пушкина, мы никак не можем предположить, чтобы и они имели такое всемирное значение для будущих веков, какое имеет и будет иметь Шекспир. Если б мы думали, что на все вопросы даже ближайшего будущего России найдется ответ у этих писателей, мы ограничили бы свой ход вперед немногими шагами; если б мы верили, что иных, более совершенных идеалов уже не создать искусству, мы не признавали бы совершенствования в жизни и в мысли человечества.

Нам кажется, мы окажем больше уважения к таланту г. Шевченка, если сравним его не с Шекспиром, а с такими

замечательными народными поэтами, как наш Кольцов или шотландский Бернс. Силой поэтического чувства, глубоким, сердечным пониманием лишений и нужд, печалей и радостей народных, безыскусственным, прямым и ясным складом мысли и речи он не уступает ни тому, ни другому. От этой родственности с народом, из самой среды которого вышел г. Шевченко, думы и песни его глубоко западают в сердце и переходят из уст в уста на его родине. Ему нечего было просить ее, чтобы она встретила их дружным и ласковым приветом...

Привітай же, моя ненько,
Моя Україно,
Моїх діток нерозумних,
Як свою дитину.

Родные сердца и без просьб отвечали дома горячим биеньем приносившимся издали песням своего кобзаря, рожденным горем, политым слезами.

Думи мої, думи мої, —

плачется он на чужбине:

Лихо мині з вами!
На що стали на папері
Сумними рядами?
Чом вас вітер не розвіяв
В степу, як пилину?
Чом вас лихо не приспало,
Як свою дитину?

Эта горькая жалоба вырвалась из наболевшего сердца, как и все почти стихи Шевченки. В этом заключается тайна того могущественного влияния, какое они оказывают на каждую впечатлительную душу. Глубокая искренность всякого стиха, всякого слова в стихотворениях Шевченки сказывается невольно сама собою; но едва ли не еще задушевнее, не еще горячее льются в сердце его песни, когда знаешь всю унылую судьбу поэта.

Земляки г. Шевченка знают ее более или менее близко из устных преданий и рассказов; но русская публика почти не знакома с биографиею украинского певца. Поэтому нас очень обрадовало появление в последней (второй нынешнего года) книжке «Народного чтения» письма г. Шевченка к редактору этого полезного и добросовестного издания, г. Оболонскому, с некоторыми сведениями о происхождении и первых годах жизни поэта. «Я бы желал (говорит г. Шевченко)

изложить их в такой полноте, в какой покойный С. Т. Аксаков представил свои детские и юношеские годы, — тем более, что история моей жизни составляет часть истории моей родины. Но я не имею духу входить во все ее подробности. Это мог бы сделать человек, успокоившийся внутренно и успокоенный насчет себе подобных внешними обстоятельствами». Но этого спокойствия, к сожалению, нет еще у г. Шевченка, и он ограничивается лишь кратким очерком внешних фактов своей жизни — до 1844 года.

Тарасу Григорьевичу Шевченку теперь сорок шесть лет. Он родился 25-го февраля 1814 года в Звенигородском уезде Киевской губернии, в господском селе Кириловке, в крепостном состоянии. «Лишившись отца и матери на осьмом году жизни (рассказывает г. Шевченко), приютился я в школе у приходского дьячка, в виде школяра-*попихача*. Эти школяры в отношении к дьячкам то же самое, что мальчики, отданные родителями или иною властью на выучку к ремесленникам. Права над ними мастера не имеют никаких определенных границ: они — полные рабы его. Все домашние работы и выполнение всевозможных прихотей самого хозяина и его домашних лежат на них безусловно. Предоставляю вашему воображению представить, чего мог требовать от меня дьячок, — заметьте, горький пьяница — и что я должен был исполнять с рабской покорностию, не имея ни единого существа в мире, которое заботилось бы или могло заботиться о моем положении. Как бы то ни было, только в течение двухлетней тяжкой жизни в так называемой школе прошел я *грамàтку*, *часлòвец* и наконец псалтырь. Под конец моего школьного курса дьячок посылал меня читать вместо себя псалтырь по усопших крепостных душах и благоволил платить мне за то десятую копейку в виде поощрения. Моя помощь доставляла суровому моему учителю возможность предаваться больше прежнего любимому своему занятию вместе с своим другом Ионою Лимарем, так что по возвращении от молитвословного подвига я почти всегда находил их обоих мертвецки пьяными. Дьячок мой обходился жестоко не со мною одним, но и с другими школярами, и мы все глубоко его ненавидели. Бестолковая его придирчивость сделала нас в отношении к нему лукавыми и мстительными. Мы надували его при всяком удобном случае и делали ему всевозможные пакости. Этот первый деспот, на которого я наткнулся в моей жизни, поселил во мне на всю жизнь глубокое отвращение и презрение ко всякому на-

силию одного человека над другим. Мое детское сердце было оскорблено этим исчадием деспотических семинарий миллион раз, и я кончил с ним так, как вообще оканчивают выведенные из терпения беззащитные люди — местью и бегством. Найдя его однажды бесчувственно пьяным, я употребил против него собственное его оружие — розги, и насколько хватило детских сил, отплатил ему за все его жестокости. Из всех пожитков пьяницы дьячка драгоценнейшею вещью казалась мне всегда какая-то книжечка с *кунштиками*, то есть гравированными картинками, вероятно самой плохой работы. Я не счел грехом или не устоял против искушения— похитить эту драгоценность — и ночью бежал в местечко Лысянку».

Недолго пробыл мальчик у нового учителя, дьякона, всего три дня; на четвертый у него не хватило уже терпения таскать воду ведрами из речки на гору и растирать для учителя на железном листе краску медянку. Учитель этот был художник, а именно маляр. Такой же художник был и третий учитель, дьячок, к которому бежал в ближнее село Тарасовку молодой Шевченко; но этот учитель признал мальчика негодным, вероятно, даже и для растирания красок и ношения воды, ибо наотрез отказался взять его в учение. А между тем страсть к живописи все больше и больше развивалась в будущем поэте и художнике.

«Потеряв всякую надежду сделаться когда-нибудь хоть посредственным маляром (продолжает рассказ свой г. Шевченко), с сокрушенным сердцем возвратился я в родное село. У меня была в виду скромная участь, которой мое воображение придавало, однако ж, какую-то простодушную прелесть: я хотел сделаться, как выражается Гомер, «пастырем стад непорочным», с тем, чтобы, ходя за громадскою *ватагою*, читать свою любимую краденую книжку с кунштиками. Но и это не удалось мне. Помещику, только что наследовавшему достояние отца своего, понадобился расторопный мальчик, и оборванный школяр-бродяга попал прямо в тиковую куртку, в такие же шаровары и наконец — в комнатные казачки».

Замечание г. Шевченка о новой его должности в барском доме очень метко и характеристично, и мы приведем его целиком. «Изобретение комнатных казачков (говорится в письме) принадлежит цивилизаторам заднепровской Украины, полякам; помещики иных национальностей перенимали и перенимают у них казачков как выдумку неоспоримо умную.

В краю некогда козацком сделать козака ручным с самого детства — это то же самое, что в Лапландии покорить произволу человека быстроногого оленя... Польские помещики былого времени содержали козачков, кроме лакейства, еще в качестве музыкантов и танцоров. Козачки играли для панской потехи веселые двусмысленные песенки, сочиненные народною музою с горя под пьяную руку, и пускались перед панами, как говорят поляки, *сюды, туды, навприсюды*. Новейшие представители вельможной шляхты с чувством просвещенной гордости называют это покровительством украинской народности, которым-де всегда отличались их предки.

Мой помещик (рассказывает наш поэт про себя), в качестве русского немца, смотрел на козачка более практическим взглядом и, покровительствуя моей народности на свой манер, вменил мне в обязанность только молчание и неподвижность в уголку передней, пока не раздастся его голос, повелевающий подать стоящую тут же возле него трубку или налить у него перед носом стакан воды. По врожденной мне предерзости характера я нарушал барский наказ, напевая чуть слышным голосом гайдамацкие унылые песни и срисовывая украдкою картины суздальской школы, украшавшие панские покои. Рисовал я карандашом, который — признаюсь в этом без всякой совести — украл у конторщика».

Любовь к живописи была преобладающею страстью в г. Шевченке в эту пору его жизни. Он старался, где только можно, стащить картинку и срисовать ее с должной верностью. Таким образом у него составилась целая драгоценная коллекция произведений смелой суздальской кисти. Ограничиваться и довольствоваться ими даровитый мальчик, разумеется, никак не мог, и когда ему исполнилось восемнадцать лет, стал проситься у барина в ученье живописи. «Так как надежды моего помещика (говорит г. Шевченко) на мою лакейскую расторопность не оправдались, то он, вняв неотступной моей просьбе, законтрактовал меня на четыре года разных живописных дел цеховому мастеру, некоему Ширяеву, в С.-Петербурге». Здесь лубочные картины сменились для молодого художника статуями Летнего сада, куда он ходил копировать с них в светлые весенние ночи петербургские, когда

> Одна заря сменить другую
> Спешит, дав ночи полчаса.

Приведем окончание рассказа г. Шевченка. «В один из таких сеансов (говорит он) познакомился я с художником Иваном Максимовичем Сошенком, с которым и до сих пор нахожусь в самых искренних, братских отношениях. По совету Сошенка я начал пробовать акварелью портреты с натуры. Для многочисленных грязных проб терпеливо служил мне моделью другой мой земляк и друг, козак Иван Ничипоренко, дворовый человек нашего помещика. Однажды помещик увидел у Ничипоренко мою работу, и она ему до того понравилась, что он начал употреблять меня для снятия портретов с любимых своих любовниц, за которые иногда награждал меня целым рублем серебра. В 1837 году Сошенко представил меня конференц-секретарю академии художеств В. И. Григоровичу с просьбой освободить меня от моей жалкой участи. Григорович передал его просьбу В. А. Жуковскому. Тот сторговался предварительно с моим помещиком и просил К. П. Брюллова написать с него, Жуковского, портрет с целью разыграть его в частной лотерее. Великий Брюллов тотчас согласился, и вскоре портрет Жуковского был у него готов. Жуковский, с помощью графа М. Ю. Вьельгорского, устроил лотерею в 2500 рублей ассигнациями, и этою ценою куплена была моя свобода, в 1838 году апреля 22. С того же дня начал я посещать классы академии художеств и вскоре сделался одним из любимых учеников-товарищей Брюллова. В 1844 году удостоился я звания свободного художника.

О первых литературных моих опытах (заключает г. Шевченко свое письмо) скажу только, что они начались в том же Летнем саду, в светлые безлунные ночи. Украинская строгая муза долго чуждалась моего вкуса, извращенного жизнию в школе, в помещичьей передней, на постоялых дворах и в городских квартирах; но когда дыхание свободы возвратило моим чувствам чистоту первых лет детства, проведенных под убогою батьковскою стрехою, она, спасибо ей, обняла и приласкала меня на чужой стороне. Из первых, слабых моих опытов, написанных в Летнем саду, напечатана только одна баллада «Причинна» [1]. Как и когда писались последовавшие за нею стихотворения, об этом теперь я не чувствую охоты распространяться. Краткая история моей жизни, набросанная мною в этом нестройном рассказе в угождение вам, сказать правду, обошлась мне дороже, чем

[1] «Порченая» (*укр.*).

я думал. Сколько лет потерянных! сколько цветов увядших! И что же я купил у судьбы своими усилиями — не погибнуть? Едва ли не одно страшное уразумение своего прошедшего. Оно ужасно, оно тем более для меня ужасно, что мои родные братья и сестра, о которых мне тяжко было вспоминать в своем рассказе, до сих пор — крепостные. Да, милостивый государь, они крепостные до сих пор!»[1]

И собственная судьба и судьба ближайших к нему людей сообщили произведениям г. Шевченки глубоко-грустный тон, так сильно действующий на сердце. Тесная связь певца с народом, связь и кровная и нравственная, одинаковые радости, одинаковые страдания дали характер чисто народный его песням. Зато про г. Шевченку можно сказать, как он говорит про кобзаря Перебендю:

Хто ëго не знае?

Нет, вероятно, ни одного теплого сердца на его родине, в котором не жили бы его думы.

В «Перебенде» г. Шевченко представил прекрасный поэтический образ малороссийского кобзаря, и, говоря о г. Шевченке, нельзя не остановиться на этом стихотворении, как, говоря о Пушкине или Лермонтове, нельзя прейти молчанием пьес, в которых выражался взгляд их на значение и призвание поэта.

Кто не знает старого слепого Перебендю? Везде он ходит да играет на кобзе. А кто играет, того люди знают и любят. Он разгоняет их горе, хоть и самому тяжко жить на свете. Про всякого есть у него своя песня, кому какая больше под стать. Запоет иной раз про «Чалого», свернет на «Горлицу»; девкам на лугу одно поет, парням в шинке другое, женатым опять третье; на базаре затягивает песню про Лазаря.

Або, щоб те знали,
Тяжко-важко заспiвае,
Як Сiч руйновали.

Эта погибель Сечи, к которой обращается с таким упрямым постоянством память народная в народных песнях, внушила немало унылых дум и г. Шевченку. И он, как изображенный им «химерный» кобзарь, запоет, засмеется, а свернет на слезы.

[1] Неужто в русском обществе не найдется сочувствующих людей, которые общими силами выкупили бы из крепостного состояния ближайших родных г. Шевченка? *(Прим. М. Л. Михайлова.)*

Веет ветер, гуляет по полю; кобзарь сидит на могиле и играет на кобзе. Вокруг него далеко синеет, как море, степь, и все-то за могилою могила. Ветер развевает «сивый ус, старую чуприну» певца; или притихнет да послушает, как поет кобзарь, как смеется его сердце, как плачут его слепые очи...

Нарочно ушел певец в степь и сел на могилу, чтобы никто его не видал, чтобы люди не слыхали; ведь то божье слово, ведь то на свободе сердце беседует с богом, поет славу господню: а дума несется на край света сизокрылым орлом и пытает у солнца, где ночует оно и как встает? и слушает, что говорит море, и у чорной горы спрашивает: отчего ты немая? и опять мчится в небо, потому что на земле горе; нет на ней, на широкой, уголка тому, кто все знает, все слышит: и что море говорит и где солнце ночует. Никто-то не примет его на свете.

Хорошо ты, мой кобзарь, хорошо ты, родной, делаешь, что петь и беседовать ходишь на могилу...

Добре еси, мій кобзарю,
Добре, батьку, робиш,
Що співати, розмовляти
На могилу ходиш!
Ходи собі, мій голубе,
Поки не заснуло
Твое серце, та виспівуй,
Щоб люде не чули.
А щоб тебе не цурались,
Потурай їм, брате!
Скачи, враже, як пан каже:
На те він богатий.

Первые произведения г. Шевченка были преимущественно посвящены воспоминаниям о старом быте Украины, который многим малороссиянам представляется идеалом и для будущего. Таковы поэмы «Гайдамаки», «Гамалія», стихотворения «До Основьяненка», «Иван Підкова», «Тарасова ніч».

Особенно полно гайдамацкой грусти и силы послание к Основьяненке; могучие стихи этой пьесы сразу западают в память и уже не забываются. В звуках этих стихов есть что-то родное и стону ветра, рыскающего по казачьей степи, и ропоту днепровских порогов, и заунывному воплю чайки...

Бьють пороги; місяц сходить,
Як и перше сходив...
Нема Січи, пропâв и той,
Хто всім верховодив!

Нема Січи; очерети
У Дніпра питають:
«Де-то наши діти ділись,
Де вони гуляють?»
Чайка скіглить літаючи,
Мов за дітьми плаче;
Сонце гріе, вітер віе
На степу козачім.
На тім степу скрізь могили
Стоять та сумують;
Питаютця у буйного:
Де наши панують?..

Много могил чернеет в поле; много в них схоронено. Но не умерла слава; не умерла и расскажет, что деялось тут когда-то:

Чия правда, чия кривда
И чиї ми діти.
Наша дума, наша пісня
Не вмре, не загине...
От де, люде, наша слава,
Слава Украіни! [1]

Послание г. Шевченка отправлено на родину с чужой стороны, и заключение его полно глубокой, слезной тоски по родине. «Тебя люди любят, — говорит поэт остающемуся дома другу, — у тебя хороший голос. Пой им, мой голубь, про Сечь, про могилы, когда которую насыпали, кого положили. Пой про старое время, про то, что было да миновало... Пой, родной, чтоб поневоле весь свет услышал и узнал, что делалось на Украйне — за что она погибала, за что слава козацкая по всему свету прошла. Пой, родимый, орел сизый! Пусть и я поплачу, пусть и я свою Украйну еще раз увижу, пусть еще раз послушаю, как море играет, как девица под вербою распевает песню, пусть еще раз улыбнется сердце на чужбине, пока не легло в чужую землю, в чужом гробу».

Довольно большая поэма «Гайдамаки» и баллада «Гамалія» воспевают именно эту «славу козацкую», о которой г. Шевченко говорит в послании к Квитке; но ни в той, ни в другой не находим мы того пыла и одушевления, какими проникнуто его воззвание к земляку и другу. И в поэме, и в балладе слишком редко встречаемся мы с теми простыми и сильными тонами, в которые переходит украинская народная песня, заводя речь о борьбе с ляхами, как в «Гайдама-

---

[1] См. перевод М. Л. Михайлова в т. 1 наст. изд.

ках», или с турками, как в «Гамалiи». Постройка обеих пьес слишком искусственна; нет той порою однообразно льющейся, но живой и непринужденной речи, какою отличаются стихи Шевченка, когда он не старается произвести нечто вроде романтической поэмы, а поет, как поется. Конечно, в «Гайдамаках», занимающих почти сто страниц в книге, не могли не сказаться местами и неподдельное чувство и художественная сила, свойственные нашему поэту; но они являются тут далеко не в той степени, как можно бы ожидать. Главная вина неудачи, по нашему мнению, заключается в неловкости самого приема. Вместо простого, исподволь развивающегося рассказа, в поэме г. Шевченка находим какую-то искусственную отрывочность, резкие переходы из тона в тон, плохо скрытые, а подчас даже и явные старания произвести эффект и т. д.

Гораздо меньше подобных стараний в двух пьесах с таким же историческим характером — в «Иване Пiдкове» и в «Тарасовой нiчи»; но зато они и производят гораздо больше впечатления на читателя. Нельзя, однако ж, не заметить большого однообразия в чертах, которыми г. Шевченко передает свои исторические воспоминания. Так например, ни одно из этих воспоминаний не обходится без синеющей, как море, широкой степи, без рядов могил, где спит козацкая слава.

Де лягло спочити
Козацькее бiле тiло,
В китайку повите [1].

Нам скажут, что эти черты просты и прекрасны, как черты народной поэзии; согласны, но они много теряют, повторяясь слишком часто.

Вообще в числе произведений г. Шевченка мы с бо́льшим сочувствием останавливаемся на тех, в которых он не касается истории, а описывает домашние радости и печали своего народа. Особенным и вполне заслуженным успехом пользуются две его поэмы: «Катерина», посвященная В. А. Жуковскому на память 22 апреля 1838 года, то есть дня выкупа г. Шевченка из крепостного состояния, и «Наймичка».

В «Катерине» пленительны многие частности, хотя самый вымысел ее, можно сказать, детски слаб. «Любите, чернобровые, только не москалей; москали — чужие люди, насмехаются над вами. Москаль любит шутя — шутя и бросит.

---

[1] См. перевод М. Л. Михайлова ниже в данной статье.

Уйдет к себе в Московщину, а девушка пропадай». Вот на какой узкой и жалкой мысли основана поэма.

Не слушала Катерина ни отца ни матери и полюбила москаля. Полюбила молодого, в садочек ходила, пока не загубила себя и свою долю. Мать зовет ужинать, а дочь не слышит. Где гуляет с москаликом, там и заночует. Не ночь, не две целовала она карие очи. По всему селу пошла недобрая слава. А пусть себе злые люди говорят, что хотят! Катерина любит и не чует, что близко горе. Пришли недобрые вести — затрубили в поход; москаль ушел в Туречину... А Катю *накрыли* (общественная казнь девушкам, уличенным в связи). А ей и горя мало, что коса покрыта. За милого и потужить все равно, что песню спеть. Обещался чернобровый, если не пропадет, воротиться... Тогда Катерина будет московкой, забудет горе. А покамест пусть толкуют люди, что хотят!

Прошло полгода, и у Катерины стало тяжело под сердцем... А скоро пришлось ей и детскую люльку за печкой качать.

Катерино, серце мое!
Лишенько с тобою!
Де ти в світі подінесся
З малим сиротою?
Хто спитае, привітае,
Без милого в світі?
Батько, мати — чужі люде,
Тяжко з ними жити.

Оправилась Катерина. Отворит оконце, поглядывает на улицу; качает дитя да поглядывает... Все нет да нет... Неужто и не будет? Пошла бы в сад поплакать, да люди увидят. Зайдет солнце — Катерина ходит по садику, носит на руках сына... «Вот тут я его поджидала; вот тут с ним говорила... А тут... а тут... Ах, сыночек ты мой, сыночек!» — И досказать силы нету.

Зеленеют в садике черешни и вишни. Как и прежде выходила, Катерина вышла. Вышла, но уж не поет, как прежде пела, когда москаля молодого под вишнею поджидала. А тем временем злые люди тешут свою волю — говорят недобрые речи. Что станешь делать? Будь с ней милый чернобровый, умел бы справиться. Но далеко он — не слышит, не знает, как смеются злые люди над его Катериной, как Катерина плачет. Может быть, и убит чернобровый за тихим Дунаем; а может быть, в Московщине своей любит другую.

Нет, не убит он; жив он и здоров. Да где ж найдет он такие глаза, такие черные брови? Нет в Московщине, хоть из края в край ее пройди, нет нигде другой Катерины... А досталось горе на долю!.. Умела мать черные брови дать, карие очи; да не умела дать счастья. А без счастья лицо белое — словно цветик в поле; печет его солнце, треплет его ветер, всякий захотел — и сорвал. Умывай же белое лицо свое частыми слезами. Воротились москалики, да другою дорогой.

В этом прозаическом, хотя местами почти буквальном пересказе исчезла музыкальная прелесть языка, стиха и рифмы; но и по нем, кажется, можно получить некоторое понятие о поэтической свежести описаний, картин, рассказов г. Шевченки. Отрывок от стиха «Катерино, серце мое!» до стихов:

Бо вернулись москалики
Иншими шляхами,—

изложенный нами, кажется отрывком из чудной народной песни.

И таких мест немало в поэме.

Не меньше прелести, по нашему мнению, и в начале второй главы, где отец и мать журят Катерину.

Сидит отец в конце стола, на руки склонился; не смотрит на свет божий: тяжко пригорюнился. Около него старая мать сидит на скамье и сквозь слезы через силу выговаривает дочери: «Что же свадьба, дочка моя? Где же твой жених? Где же сваты и дружки, гости и поезжане? В Московщине, дочка моя! Ступай, ищи их! Только не сказывай добрым людям, что есть у тебя мать. В проклятый час ты родилася. Кабы знала, утопила бы тебя в тот же день. Досталась бы ты гадине, только б не москалю. Дочка моя, дочка моя, цветик ты мой румяный! Как ягодку, как пташечку любила я тебя, растила — на горе... Ах, дочка моя! что ты наделала?.. Иди ж теперь, ищи себе матери в Москве; моих речей не слушала, так ее послушай. Иди, дочка, найди ее; найди ее, приласкайся. Будь счастлива в чужих людях; к нам не ворочайся! Не ворочайся, дитя мое, из дальнего краю... А кто ж мою головушку без тебя схоронит? Кто заплачет надо мною, как дитя родное? Кто посадит на могиле красную калину? Кто без тебя душу грешную поминать будет? Дочка моя, дочка моя! дитя мое милое! иди от нас!»

Благословила, да и упала замертво. Отец тоже говорит: «Что ж стоишь, несчастная?» Зарыдала Катерина и бух ему в ноги:

«Прости мині, мій батечку,
Що я наробила!
Прости мині, мій голубе,
Мій соколе милий!» —
«Нехай тебе бог прощае
Та добриі люде;
Молись богу та йди собі —
Мині легше буде».

Через силу встала Катерина, поклонилась, вышла молча из хаты; и остались сиротами старый отец и мать. Пошла она в садик вишневый, богу помолилась, взяла земли под вишнею, на крест навязала; промолвила: «Не вернусь! В далеком краю, в чужую землю чужие люди меня схоронят; а своей земли щепотка надо мною ляжет и расскажет чужим людям про горе мое да про бездолье».

Вышла Катерина из села. Словно тополь, стала в поле у битой дороги; как роса перед рассветом, закапали слезы. За слезами за горькими и света не видит; только сына обнимает, целует да плачет. А он-то, как ангельчик, ничего не знает, крохотными ручонками ищет родной груди. Село солнце, за дубравой небо покраснело. Утерлась она, пошла дальше... вот и из глаз пропала. В селе долго говорили много всякого зла про Катерину; но не слыхали уж тех речей ни отец, ни мать.

Так-то на свете делают люди с людьми! Того вяжут, того режут, а тот сам себя губит... А за что? Бог знает. Свет и широк, кажись, а нету в нем и уголка одинокому. Тому судьба дала простору, что краю не видно, а другому оставила лишь местечко, куда схоронить. Где же те люди, где же те добрые, что сердце собиралось жить с ними, любить их? Пропали, пропали!

Глава эта заключается следующими удивительными стихами, которым, вероятно, суждено стать любимою народною песней. Приводим их в подлиннике, так как никакой перевод не может дать о них приблизительного понятия.

Есть на світі доля,
А хто іі знае?
Есть на світі воля,
А хто іі мае?
Есть люде на світі —
Сріблом-злотом ссяють,

Здаетця, панують,
А долі не знають,—
Ні долі, ні волі!
З нудьгою та з горем
Жупан надівають,
А плакати — сором.
Возьміть срібло-злото
Та будьте багаті,
А я візьму слёзи —
Лихо виливати;
Затоплю недолю
Дрібними слёзами,
Затопчу неволю
Босими ногами!
Тоді я веселий,
Тоді я багатий,
Як буде серденько
По волі гуляти!

Мы не станем продолжать подробного изложения всей поэмы г. Шевченка. Нам хотелось указать в ней лучшие места; но они в ней так часты, что пришлось бы большую часть поэмы привести целиком. Гораздо легче указать недостатки. Собственно в рассказе, впрочем, и их очень немного. Редко-редко мелькнет неловкий или лишний стих, попадется неточное выражение. Если б не изысканный, рутинный конец, к которому, впрочем, и не трудно было прийти, задавшись таким содержанием, поэма г. Шевченка была бы безукоризненна.

Но и по беглому рассказу следующих за уходом Катерины из дому событий можно судить, как неловко составлен план поэмы и сколько в нем допущено избитых и неестественных положений.

Вот в чем заключается дальнейшая судьба Катерины. Она идет с сыном в Московщину, останавливается на ночлег и узнает, что идут из похода москали. Она бросается к ним; спрашивает, где старшо́й; узнает своего милого; просит и молит взять ее с собой; тот не хочет знать ее; она бежит за сыном в хату, чтобы хоть этим разжалобить изменника; но пока она ходит, отец уезжает. Дело кончается тем, что с горя Катерина кидается в прорубь, а малютка ее попадает в руки к кобзарю, с которым ходит, питаясь людским подаянием. Еще изысканнее, чем случайная встреча Катерины с москалями, встреча ее сироты с отцом. Он шел с кобзарем в Киев, и навстречу им попался барский экипаж шестернею. В экипаже сидел барин с барыней. Мальчик подбежал, прося милостыни. Барыня дала ему грош.

А пан глянув... одвернувся...
Пізнав препоганий,
Пізнав тіі карі очи,
Чорні бровенята...
Пізнав батько свого сина,
Та не хоче взяти.

Затем экипаж уезжает, покрывая пылью и кобзаря и мальчика.

Без многих рассуждений ясно, какими живыми нитками сшито содержание «Катерины», и, восхищаясь чудно-поэтическими красотами отдельных сцен и мотивов ее, вдвое негодуешь на странную и нехудожественную постройку целого.

Зато следующая поэма г. Шевченка, «Наймичка», есть по нашему мнению, высоко художественное, стройное и прекрасное произведение как в целом, так и в частях. Достаточно одного такого произведения, чтобы оставить по себе надолго неувядающую память.

Вот в чем содержание «Наймички».

«Був соби дид да баба», — начинает г. Шевченко свою повесть, как начинаются почти все украинские сказки. У них не было детей, и они очень горевали, что не на кого им порадоваться в доме под старость.

Тяжко дітей годувати,
У безверхій хаті,
А ще гірше старітися
У білих палатах, —
Старітися, уміратн,
Добро покидати
Чужим людям, чужим дітям
На сміх, на рострату!

Случай неожиданно утешил их. Им подкинули младенца. Настасья и Трофим обрадовались несказанно, окрестили сироту и назвали Марком. Не могут на него натешиться старики — не знают, куда его деть, где положить, куда посадить и что с ним делать.

Прошел год, и пришла на хутор наниматься в работницы чернобровая, белолицая молодица. «А что! возьмем, Настя!» — говорит Трофим. «Возьмем, Трофим! — говорит жена. — Хоть и подросло дитя, а все за ним уходу много».

Сторговались. Молодица рада-радехонька, словно с паном повенчалась. Хлопочет и суетится она и в хате и на дворе, а пуще всего около дитяти. Холит его, тешит его;

поет ему, играет с ним и с рук не пускает. Старики не нахвалятся ею. Только каждый вечер она, бедная, проклинает свою долю и горько-горько плачет. Но никто того не знает, никто не видит, кроме маленького Марка. И он не знает, отчего нянька умывает его слезами; не знает Марко, отчего она так его целует; сама не съест и не допьет, а его накормит; не знает Марко, что как случится ему подчас шевельнуться ночью в колыбельке, она сейчас и вскочит, и перекрестит его, и тихо укачает. Как проснется Марко, тянется ручонками к Ганне и называет ее мамою. И растет дитя и вырастает.

Прошло немало лет, немало воды утекло. Старик Трофим овдовел и сам чуть не умер с горя. А Марко уже чумакует; пора ему и жениться. Высватали ему невесту. Трофим только о том и горевал, что не дожила до этого семейного праздника его Настя.

«Хто в нас буде мати?»
. . . .
Та й заливсь слезами.
А наймичка, у порогу,
Вхопилась руками
За одвірок, та й зомліла.
Тихо стало в хаті;
Тілько наймичка шептала:
«Мати... мати... мати!»

Стали свадьбу готовить. Марко стал было просить Ганну быть ему посаженой матерью; но она наотрез отказалась: «Вы де люди богатые, а я наймичка — все смеяться будут. Пойду лучше помолюсь всем святым в Киеве, а потом опять вернусь к вам в хату, если примете. Пока есть силы, потружусь...» Благословила она своего Марка, заплакала и вышла из ворот.

Без нее сыграли свадьбу, и, как воротилась она, встретили и приняли ее молодые, как мать родную. «За что они меня любят? за что уважают? Боже ты мой милосердый! Может, они знают. Может, они догадались. Нет, не догадались; добры они...» И наймичка горько зарыдала.

Уж у Трофима и внучки есть... Ганна все живет в хате и все-то ходит в Киев богу молиться. Когда уходит она, жена Марка, провожая ее, просит, чтобы скорее она возвращалась, что без нее грустно в хате, словно мать из хаты ушла.

Раз пришла Ганна с богомолья совсем больная и слегла в постелю. Марка в ту пору дома не было. Уехал он куда-то далеко с обозом. Все больше и больше разнемогалась наймичка и только и молила бога, чтоб дождаться ей возврата домой Марка, чтобы еще раз увидаться с ним.

Идет Марко с чумаками, идет, распевает и не торопится. Всем везет он много подарков; а того не знает, что делается дома.

Пришел он, поздоровался со всеми, спрашивает, где Ганна, и жена ведет его к больной.

Вошел Марко в горницу, и пролепетала больная: «Слава... слава богу! Подойди ко мне... А ты, Катя, выйди. Надо мне его кой о чем расспросить, надо ему кой-что рассказать».

Вышла Катерина, а Марко наклонился к изголовью наймички. «Марко! посмотри, посмотри ты на меня: что со мною сталося? Я ведь не Ганна, не наймичка; я...» Да и смолкла. Марко плачет и дивится. Опять она открыла глаза, и покатились у нее слезы.

«Прости мене! Я каралась
Весь вік в чужій хаті...
Прости мене, мій синочку!
Я... я твоя мати».
Та й замовкла...
Зомлів Марко,
Й земля задрижала.
Прокинувся... до матери —
А мати вже спала!

Эта полная чувства и поэзии простота, которою от первой строки до последней проникнута «Наймичка», свидетельствует о высокой художественной зрелости поэта. С такою же простотой встречались мы и во многих прелестных мелких стихотворениях г. Шевченка, написанных им в последнее время. Не знаем, почему в «Кобзаре» не нашли мы их. Впрочем, полный их сборник составил бы книжечку не меньше той, которая издана теперь, и нас, может быть, ждет еще наслаждение вскоре опять читать новое собрание стихотворений украинского поэта.

Мы слышали, что предпринимается издание стихотворений г. Шевченка в переводах русских поэтов. Сколько помним, г. Шевченка переводили гг. Мей, Гербель, Плещеев, Берг. Вот, кстати, ненапечатанный перевод одной из баллад:

ИВАН ПОДКОВА

I

Было время — по Украйне
    Пушки грохотали.
Было время — запорожцы
    Жили-пировали.
Пировали, добывали
    Себе славы, воли.
Все-то минуло — остались
    Лишь могилы в поле,
Те высокие могилы,
    Где лежит зарыто
Тело белое казачье,
    Китайкой повито.
Те высокие могилы
    Чернеют, как горы,
Да про волю с ветром в поле
    Ведут разговоры.
Славу дедовскую ветер
    По полю разносит...
Внук услышит — песню сложит
    И с той песней косит.
Было время — на Украйне
    В пляску шло и горе:
Как вина да меду вдоволь —
    По колена море!
Да, жилось когда-то славно
    У нас на Украйне!
Даже вспомнить-то, так сердцу
    Словно легче станет.

II

Встала туча над Лиманом,
    Солнце заслоняет;
Лютым зверем сине море
    Стонет, завывает.
Днепр надулся. «Что ж, ребята,
    Время мы теряем?
В лодки! море расходилось...
    То-то погуляем».
Высыпали запорожцы.
    Весь Лиман покрыли
Их ладьи. «Играй же, море!»
    Волны заходили
Вкруг, что горы, и не видно
    Ни земли, ни неба.
Сердце ноет; казакам же

То-то и потеха.
Плывут себе, распевают...
Чайка вкруг порхает...
Атаман в передней лодке —
Ведет, куда знает.
Ходит вдоль по лодке; трубка
В зубах догорела;
Сам туда-сюда все смотрит:
«Где-то будет дело?»
Черный ус свой закрутил он,
За ухо чуприну;
Поднял шапку — лодки стали...
«Сгинь ты, вражья сила!
Поплывемте не к Синопу,
Братцы атаманы,
А в Царьград поедем — в гости
К самому султану».
«Ладно, батка!» — загремело.
«Ну, спасибо, братцы!»
И накрылся. Вновь горами
Волны громоздятся...
И опять он вдоль по лодке
Ходит, не садится;
Только молча, исподлобья
На волну косится.

К новому изданию «Кобзаря» приложен прекрасно нарисованный г. Микешиным и прекрасно вырезанный г. Гогенфельденом очень похожий портрет г. Шевченка.

Г-н ГЕННАДИ, ИСПРАВЛЯЮЩИЙ ПУШКИНА

(Письмо из провинции)

Милостивые государи, издатели «Свистка»!

Будучи со времен детства и до лет, ныне преклонных, глубоким чтителем поэзии и преимущественно нашего родного русского слова (не того, которое издается его сиятельством графом Григорием Александровичем Кушелевым-Безбородко, а вообще), я не смущаюсь толками о значении Пушкина, которыми занимались в последнее время в наших журналах разные критики, как-то: гг. Дудышкин, Де-Пуле, Аполлон Григорьев, Милюков и другие,— не смущаюсь и продолжаю читать произведения Пушкина и наслаждаться ими. В свое время было у меня издание на толстой серой бумаге, которым подарила русскую публику компания друзей покойного поэта. Когда даже эта толстая серая, истинно монументальная бумага износилась от частого употребления мною книги, я приобрел издание «Сочинений Пушкина», вышедшее под редакциею почтенного критика и эстетика нашего П. В. Анненкова. Вид экземпляра этого издания, которое я почти не выпускаю из рук, стал ныне тоже весьма плачевен. На многих страницах частью слезы чувствительности моей, частью табак (который нюхаю от слабости зрения) сделали уже нечеткими некоторые драгоценные стихи и строки; многие страницы — ибо бумага слишком тонка — истерлись и изорвались, и я подумывал уже о приобретении другого экземпляра; но меня останавливала высокая цена. Понятно поэтому, с каким удовольствием я узнал, что выходит новое дешевое издание сочинений моего любимого поэта, и притом под редакциею *известного*, как было, помнится, сказано в «Санктпетербургских ведомостях»,

библиографа и библиофила нашего Геннади. Человек я не ученый, а только, как уже сказано выше, поклонник поэзии, которою услаждаю свое сельское уединение, а потому и не могу судить, чем прославился известный библиограф и библиофил *наш* Геннади. Думаю, впрочем, что чем-нибудь важным, если так отзываются о нем «Санктпетербургские ведомости». Говорили мне, что главная заслуга г. Геннади заключается в том, что он издал редкое ныне описание жизни российского Картуша Ваньки Каина и сборник эротических стихотворений под заманчивым заглавием «Любовь»; но, выписав эти книги, я увидал, что в полученном мною сведении заключалась грубая ошибка. Во-первых, книги эти изданы каким-то Григорием Книжником, а не г. Геннади; во-вторых, обличают они достойное толкучего рынка безобразие в эстетическом отношении. Конечно, известный библиограф и библиофил наш не мог бы поставить наряду с превосходным стихотворением Пушкина «Для берегов отчизны дальней» площадную песню «Ванька Таньку полюбил» или что-то еще хуже, как это сделано в сборнике эротических стихотворений. Его у меня зачитал один забулдыга; а то я доказал бы по пунктам, что такой книги никак не мог издать известный наш библиофил и библиограф. Один приятель мой, которому я поручил приобресть для меня новое издание сочинений Пушкина, извещал меня из Петербурга, будто там кто-то пустил в ход такой стишок об этом новом издании:

О жертва бедная двух адовых исчадий:
Тебя убил Дантес и издает Геннади.

Но это меня не смутило; ибо я знаю (преимущественно из «Санктпетербургских ведомостей»), что у вас в Петербурге множество разных литературных партий и литераторы не только пишут друг на друга эпиграммы, но и дерутся [1]. Я издание все-таки выписал. Многое было для меня в нем ново; но многого знакомого прежде я не узнал. Последнее обстоятельство было для меня крайне грустно; но я думаю, что отстал от современных требований науки, столь дружно подвигаемой в наше время совокупными усилиями русских

---

[1] См. статью г. Воскобойникова «Перестаньте бить и драться, гг. литераторы!» в «Санктпетербургских ведомостях», 1860, № 261. *(Прим. М. Л. Михайлова.)*

ученых библиографов и библиофилов гг. Михаила Семевского, Полторацкого, Тихменева и других. Если б не моя отсталость, я, вероятно, встретил бы уже где-нибудь в повременных изданиях разрешение моего недоумения. Но, по-видимому, все находят издание известного библиографа и проч. вполне соответствующим условиям современной науки, ибо никто и не заикнулся, что г. Геннади исполнил задачу свою не совсем удовлетворительно. Я, признаюсь, как простой читатель, был крайне огорчен, что, например, в стихотворении «Роняет лес багряный свой убор» явилось несколько куплетов, которые совсем испортили для меня эту пьесу, очень мною любимую. Сначала я думал, уж не сам ли известный и проч. сочинил их; но оказалось, что он взял их из рукописи самого Пушкина и только вставил их в тех местах, где Пушкин их зачеркнул, разумеется как плохие и нарушающие общую стройность пьесы. Но не надо забывать, что Пушкин писал все для таких читателей, как я, которые хотят наслаждаться и потому находят неприятными разные помарки в книге. Вероятно, в этом смысле он и говорил в своем известном стихотворении, что не умрет «весь». Г-н Геннади, становясь теперь в уровень с требованиями своей глубокомысленной науки, хочет, чтобы не умерло не только ни одно слово, но даже ни одно чернильное пятно, которое он встретит в рукописях великого поэта. Петербургский приятель мой, купивший для меня новое издание, сообщает мне вдобавок, что истинно просвещенные библиографы недовольны изданием г. Геннади. Они находят, что он недостаточно уважает деятельность великого поэта, ибо спас далеко не все из черновых тетрадей, что бы следовало спасти. Прошу вас сообщить мне, справедливо ли известие, будто готовится еще издание сочинений Пушкина, уже вполне удовлетворяющее требованиям библиографической науки, издание, как пишут мне, драгоценное для людей ученых; но которого я не куплю, ибо в нем, слышно, будут все стихотворения Пушкина напечатаны следующим образом:

Пора! трубят уже рога —
Пора, пора! уж рог трубит —
Пора, пора! рога (звучат) трубят,
Давно (чернильное пятно)
Давно — — — — —
В охотничьем псари уборе.
Псари в охотнич. уб-х
Чем св. уж на к(смазано)
Борзые пр. на сворах.

(Тут капля коричневого цвета).
И барин — — — — —
Выходит барин на крыльцо...
и т. д.

Унылое чувство сознания старости и увядания овладевает невольно человеком, когда подумаешь, что становишься уже не способен понимать те высокие стремления, которыми одушевляются люди, занимающиеся наукой, прославившей имя г. Геннади.

Недоумения, вопросы и грустные размышления о своей собственной отсталости, изложенные в этом письме, я хотел напечатать в таком журнале, где имя г. Геннади хоть раз встречалось без объяснительных слов «наш известный библиограф и библиофил»; но таких журналов оказалось только два: «Коммерческая газета» да «Свисток». Думаю, что в «Коммерческой газете» письма моего не поместят, и потому посылаю его к вам.

Григорий Сычовкин.

P. S. В письме моем оказывается ошибка. Я узнал, что г. Геннади составил указатель ученых статей «Коммерческой газеты» за все года и был поэтому назван там «нашим известным библиографом и библиофилом...» Не составляет ли он указателя и к «Свистку»? Тогда письмо мое будет как раз кстати.

ЮМОР И ПОЭЗИЯ В АНГЛИИ. ТОМАС ГУД

He sang The Song of the shirt.
(Он пропел Песню о рубашке)
Надпись на памятнике Гуда.

Писатель, биографии и характеристике которого посвящен предлагаемый этюд, едва известен у нас по имени. Кроме упоминаний вскользь и мельком, на русском языке нельзя найти никаких сведений о его жизни или сочинениях. В то время как не только второстепенные, но часто и совершенно ничтожные иностранные писатели находят себе переводчиков, никто не брал еще на себя труда познакомить русскую публику с произведениями одного из самых блестящих английских юмористов, одного из самых благороднейших поэтов последнего времени. Опыт перевода «Песни о рубашке», напечатанный в прошлом году в «Современнике», кажется единственное исключение.

Впрочем,— следует оговориться — к имени Гуда можно бы прибавить сотню не менее дорогих и благородных имен европейской литературы, неизвестных у нас и по слуху, и, напротив, насчитать сотни других имен, не стоящих серьезного внимания, которые по какой-то странной случайности приобрели у нас некоторую известность.

Предположив написать для русских читателей очерк жизни и литературной деятельности Гуда, мы, разумеется, должны были воспользоваться всем, что сделано для объяснения той и другой английскими критиками и биографами; но, к сожалению, бедность наших библиотек английскими книгами и затруднительность и медленность сношений с Лондоном (о чем, кажется, должно бы быть смешно говорить в

наше время) лишили нашу монографию той полноты, которую мы хотели ей придать. Двух-трех из менее известных сочинений Гуда, исчезших из книжной торговли в самой Англии, нельзя было достать, и пришлось в отношении их полагаться на чужие отзывы; двух-трех журналов за прежние года, где встретились бы кой-какие не лишенные интереса факты, тоже невозможно было найти здесь.

Мы не стали бы много жалеть о неимении под руками этих не особенно важных источников, если б на английском языке существовала подробная биография Гуда, основанная на обстоятельном разборе всех обнародованных до сих пор сведений о поэте и современного ему литературного движения, насколько он участвовал в нем. Но такой биографии еще нет. Только в прошлом году изданы важные, хотя всё еще неполные для нее материалы сыном и дочерью Томаса Гуда [1]; но обработкою их, сколько известно, еще никто не занялся. Эти два тома переписки, связанной краткими указаниями и объяснениями, служили главным основанием настоящей статьи. Мы обильно воспользовались также «Литературными воспоминаниями» самого Гуда, которые он написал по вызову издателя его сатирических статей, в объяснение приложенного к ним портрета автора. Независимо от биографического интереса, «Воспоминания» дают верное понятие о характере юмора и комизма Гуда, и потому-то привели мы из них такие значительные отрывки, которых не заменили бы никакие критические и эстетические разглагольствия. Журнальных статей, беглых биографических заметок о Гуде в сочинениях, касающихся не исключительно его, и тому подобных второстепенных источников нашей статьи не перечисляем, потому что будем указывать их в своем месте.

Для желающих познакомиться в подлиннике с произведениями Томаса Гуда рекомендуем в особенности лондонские издания книгопродавца Моксона [2]. В них собрано всё, что составляет истинную славу его как юмориста и как

[1] «Memorials of Thomas Hood, collected, arranged, and edited by his daughter, with a preface and notes by his son». 2 vols, London, E. Moxon, 1860. [«Материалы для биографии Томаса Гуда, собраны, составлены и изданы его дочерью, с предисловием и примечаниями его сына». 2 тома, Лондон, Э. Моксон, 1860. *Англ.*]

(Прим. М. Л. Михайлова.)

[2] «Poems by Thomas Hood». 10-th edit., 1857. «Whims and oddities, in prose and verse». A new edit., 1854. (С 87 рисунк.) «Hood's own, or

поэта. Сюда не вошли только сочинения, не пользовавшиеся популярностью и не особенно замечательные. Впрочем, мы недавно читали в английских газетах, что сын Гуда предпринимает издание полного собрания сочинений своего отца. У нас было в руках еще нью-йоркское издание его сочинений, сделанное под редакциею Ипса Саржента [1]. Издатель хвалится особенною его полнотой; но оно, по нашему мнению, очень неудовлетворительно. Не говоря о произвольном систематическом распределении статей, мы не находим в нем ни одного из рисунков, которыми Гуд оживлял чуть не каждую страницу своих комических произведений. С высоким литературным дарованием в нем соединялся блестящий талант юмористического рисовальщика.

I

В одном из самых людных и шумных мест лондонского Сити, по соседству с сердцем его — банком и биржей, в улице Польтри, или, пожалуй, в Птичьей улице, существовала в конце прошлого и в начале нынешнего столетия фирма книгопродавцев Вернора и Гуда. До водворения своего в Польтри (где к ним присоединился новый компаньон — Шарп) Вернор и Гуд торговали где-то в другом месте Лондона и уже пользовались некоторою известностью в книжном мире.

Мистер Гуд, по имени Томас, родился в Шотландии и в молодых летах приехал искать дела и счастья в Лондон, где ему пришлось первые четыре-пять лет оставаться в очень скромном положении. Он был, как видно из кратких известий о нем, дошедших до нас, человек очень дельный и довольно образованный. Он любил литературу независимо от

Laughter from year to year». A new edit., 1859. (С 350 рисунк.) «Poems of wit and humour». 7-th edit., 1858. [«Стихи Томаса Гуда». 10-е изд., 1857. «Странности и причуды в прозе и стихах». Новое изд., 1854. «Сочинения Гуда, или Смех из года в год». Новое изд., 1859. «Шуточные и юмористические стихи». 7-е изд., 1858. *Англ.*]

(Прим. М. Л. Михайлова.)

[1] «The works of Th. Hood». Edited by Epes Sargent, 6 vols, New-York, Derby and Jackson, 1860. [«Сочинения Томаса Гуда.» Под редакцией Ипса Саржента. Нью-Йорк, Дерби и Джексон. 1860. *Англ.*] (В начале первого тома помещена небольшая биография.)

(Прим. М. Л. Михайлова.)

связи ее со своею торговой профессией и даже написал два романа (или две повести), в свое время читавшиеся, но теперь неизвестные и по заглавиям. Он женился на мисс Сандс, сестре одного гравера, и был хорошим pater familias [1]. Семейство у него было большое. Оно состояло из четырех дочерей: Елизаветы, Анны, Джесси и Катерины, и двух сыновей: Джемса и Томаса.

Джемс был старший. На него смотрели в семье как на более всех обещающего в будущем. Он выказывал склонность к литературе, хорошо знал языки, что было тогда не таким обыкновенным качеством, как теперь, и прекрасно рисовал пером и водяными красками. Одна или две сестры его тоже хорошо рисовали; а Елизавета, старшая из них, если не ошибаемся, писала стихи. Без сомнения, развитый вкус отца, его литературные наклонности и постоянные, по профессии, отношения к литературе имели не малое влияние на склонности и занятия детей, и вообще семейство Гудов должно было по тогдашнему времени считаться очень образованным семейством.

Надеждам, которые возлагались на Джемса Гуда, не суждено было оправдаться: он умер еще юношей от чахотки, которая впоследствии свела в могилу его мать и двух сестер.

Другой сын мистера Гуда, Томас, будущий знаменитый писатель, родился в Польтри 23 мая 1799 года.

Рассказы и отзывы о детстве знаменитых людей обыкновенно бывают очень сходны. Разве некоторые особенно резкие черты и выходящие из ряду вон события сберегаются в памяти других и передаются потом в биографиях; но не у всякого бывают такие черты, и не всякий бывает свидетелем или участником таких событий. Большею частью биографы, если им не помогают личные воспоминания самого предмета биографии, ограничиваются общими фразами о блестящих способностях, которые проявлял, о великих надеждах, которые подавал в детстве описываемый ими замечательный человек. Немногим отличаются от подобных казенных отзывов и известия о детстве Томаса Гуда, сообщаемые лицами, которые видали его ребенком. Им, разумеется, не приходило в голову будущее его значение, и они не имели никакого повода наблюдать его внимательнее и следить за ним ближе. Очень вероятно, что известия их вполне точно передают впечатление, которое производил маленький

---

[1] отцом семейства (*лат.*).

Томас на встречавших его; но они все-таки остаются похожими на общие места. Так, один знакомый Гуда-отца, дружный с ним и часто бывавший у него в доме, сообщает только, что Томас был, сколько ему помнится, странный ребенок, молчаливый и затаенный в себе, очень смирного нрава и, по-видимому, довольно слабого сложения. Известная романистка мистрис Голль, основываясь, вероятно, на рассказах лиц, тоже близких к семейству Гудов, говорит, напротив, что маленький Томас отличался большою живостью и удивлял дома гостей своего отца, а потом в школе своих товарищей остроумными и блестящими замечаниями своими о предметах, о которых, как думали, он не имел никакого понятия.

Томас Гуд написал сам несколько живых страниц о своих детских годах. Несмотря на то, что в страницах этих к истинным фактам примешивается немало произвольных украшений фантазии, они представляют гораздо яснее первую пору жизни Гуда, чем приведенные выше бледные заметки,— и потому мы обратимся к его «Литературным воспоминаниям».

«Commençons par le commencement [1], — говорит он и начинает так:

Самым ранним литературным воспоминанием должно быть у каждого знакомство с азбукой; в познании же «первых начатков» наук я был поставлен в уровень с ученым поросенком двумя девственными леди, которые именовались Гогсфлеш [2]. Едва ли стоило бы и упоминать об этом обстоятельстве, если б я, будучи дневным пансионером и обедая за семейным столом, не познакомился с одним «братом о Бэконе», которого никогда иначе не звали, как первою буквой его имени, и который был, вероятно, прототипом чувствительного мистера Г. в злополучном фарсе Лэмба [3].

---

[1] «Начнем с начала» *(франц.)*.

[2] «Hogsflesh» значит «свиное мясо». Это имя выдуманное, как и многие другие в «Литературных воспоминаниях». Мы заранее оговариваемся, что не везде могли передать остроты и каламбуры, которыми переполнены юмористические статьи Гуда. Так несколько далее, упоминая Бэкона, Гуд не забывает английского значения этого имени (ветчина). *(Прим. М. Л. Михайлова.)*

[3] Поэт и эссеист Чарльз Лэмб, об отношениях которого к Томасу Гуду говорится далее, написал драматический фарс: «Mr. H.», явившийся в 1804 году всего раз на сцене Друри-Лэнского театра и потерпевший полнейшее фиаско. Автор любил сам посмеяться с приятелями над своею сценической неудачей. *(Прим. М. Л. Михайлова.)*

Помянутая школа находилась в Токенгаус-Ярде, стало быть в приличном расстоянии для уроженца Польтри или Берчин-Лэна; я уж не упомню, где именно я родился, и, сказать по правде, не особенно беспокоюсь тем, что не знаю точнее своего прихода. Как бы то ни было, это приход столичный, и я упоминаю об этом без малейшего неудовольствия: во-первых потому, что на практике мне не было возможности выбирать, и, во-вторых потому, что в теории для меня все равно, где бы ни родиться, в Лондоне, или в Сток-Погисе [1], или в Малом Педлингтоне. Если б подобные местные предубеждения заслуживали какого-нибудь внимания, предпочтение следовало бы отдать столице. Дракон Боуской церкви или стрекоза Грешемской башни столь же благоприятные аспекты для новорожденного, как и презренный петух деревенской колокольни. После удовольствия быть гражданином мира приятнее всего должно быть — родиться гражданином величайшего города в мире. Для того, кто любит свое племя, должно быть приятно определение судьбы, избравшее ему местом рождения многочисленнейший сборный пункт существ его племени; но больше всего должен ликовать литератор, что ему суждено было впервые увидать свет — а может быть и туман — в той самой столице, где увидали его Мильтон, Грей, Де-Фо, Поп, Байрон, Лэмб и другие столично-урожденные авторы, слава которых тем не менее восторжествовала над таблицами смертности...

Упомянув о первых шагах своих на лестнице учения, я считаю не лишним исправить сведение, помещенное в биографии моей в одном альманахе («The Book of gems»), где говорится, что я окончил свое воспитание в одном подгородном училище. В сем невежественном мире, где, по пословице век живи, век учись, мы действительно выходим из училища, но воспитание наше оканчивается только с самою жизнью. Впрочем, и в более ограниченном смысле, сколько помню, воспитание мое не только не было окончено, но и вообще слабо подвигалось к столь желанному концу в каком-либо подобном училище, хотя немало драго-

[1] Как это, так и многие другие имена в приводимых нами отрывках взяты из комических очерков Томаса Гуда, большею частью явившихся в том же издании, в котором напечатаны в первый раз и «Литературные воспоминания». Объяснение всех такого рода намеков завело бы нас слишком далеко, а потому ограничиваемся этим общим замечанием. *(Прим. М. Л. Михайлова.)*

ценного времени провел я в некоторых из тех заведений, где юные джентльмены получают пищу, помещение и *попечение*. Самый первый опыт выдержал я в одном из тех мест, которые очень неточно называются *семи*-нариями, так как в них и наполовину ничему не учат; ибо начальники, вероятно, знают, что маленькие мальчики отправляются к ним не столько для чего-либо иного, как для того, чтобы не «торчать вечно на дороге у матери». Итак, память моя лишь весьма смутно представляет мне образ педагогической напудренной головы посреди более живой группы особ женского пола, составлявших сложную администрацию — частью нянек, частью служанок, частью гувернанток, с величественной фигурой на заднем плане, аллегорически представлявшей, как говорит Мильтон, «нашу всеобщую мать». Впрочем, у нее не было ничего общего с Минервой. От этой отрадной поры детских школьных дней, о которых столько было говорено и пето, у меня осталось немного воспоминаний, кроме разве кой-каких забав, которыми будто из милости я мог пользоваться дома, не получая зато в виде возмездия разного рода ударов, апоплектических, паралитических и периодически-физических и других не особенно приятных экстренностей. Непобедимое отвращение мое к раннему вставанью едва ли не следует приписать тому, что нас будили зимой чуть свет и из теплой постели мы прямо попадали в мрачную и сырую классную комнату — заниматься на пустой желудок набиваньем своих голов; может быть, я обязан и своей решительной склонностью к сидячей жизни тому отвращению, которое возбуждали наши монотонные прогулки, или, лучше сказать, процессии, или, может быть, тем страданиям, какие приходилось нам испытывать в более дальних экскурсиях вместе с большими, когда мы должны были шагать около старших и поспевать за ними, как циркуль за печными щипцами. Тем не менее — с изумлением припоминаю я это теперь — взрослые воспитанники, вышедшие из нашего заведения, являлись по временам с визитом в свою старую школу и расплывались в благодарности и чувствительности при виде мест, где их кормили колотушками и тумаками, пороли розгами, мучили, ругали на все корки, морили холодом и голодом и штрафовали,— где они схватывали корь и заушницу и потом обременялись уроками и догоняли товарищей с особой помощью учителя. И вот при новом свидании, слово за слово, они сентиментально подносят своему достопочтенному наставнику в виде пре-

зента красивую табакерку,— из десяти девять обыкновенно с тарабарской латинской надписью по краям.

Что касается до меня, случись мне посетить вновь такое пристанище моей юности, я был бы в высочайшей степени рад, единственно из желания блага возрастающему поколению, если б здание школы оказалось превращенным в какую-нибудь фабрику, а места наших рекреаций в сушильный или тому подобный двор. О табакерке, разумеется, не может быть и речи. Путем учения я не приобрел взамен моей ложки и ножа с вилкой [1] ничего, кроме награды за латинский язык, которого не знал, да уверенности, впоследствии разрушенной, что бритвой можно разрезать пополам кусок мрамора...

Из приуготовительной школы меня в должное время пересадили в так называемое — из вежливости — окончательное училище, где меня немедленно засадили начинать все сначала. Так как мне для того, чтобы идти вперед, приходилось пятиться назад, то плохая была надежда, что я сделаюсь, по выражению мистрис Маль-Апроп, «отраслью науки»; действительно, воспитание мое продолжалось очень сходно с планом, начертанным сим женским авторитетом. Я не вдавался ни в еврейский язык,ни в алгебру, ни во флюкции, ни в парадоксы и тому подобные воспалительные ветви ведения; но зато приобрел высокие познания в счетоводстве и отчасти в геометрии. Кроме того, я довольно бойко начал объясняться на каком-то неведомом языке, долженствовавшем служить вместо французского, и был почти как дома (во время вакаций) в хитростях английской грамматики, так что мог изумлять своих родителей, родственников и их друзей и знакомых педантическими рассуждениями. Таковы были в итоге мои приобретения; вероятно, точь-в-точь то же приобрел бы я в человеколюбивой школе, за исключением приходского совершенства в громогласии и пении антифонов.

Я вошел в эти личные подробности, хотя и принадлежащие скорее к безграмотным, чем к «литературным» воспоминаниям, частью потому, что великий вопрос воспитания стал теперь предметом особенного интереса, и частью, чтобы заметить, как часто в шутках писателя может быть серьезный смысл. По крайней мере один из читателей моих поверил серьезности моих намерений. Один содержатель школы, от-

---

[1] Приносимых учениками в пансион и оставляемых в полное владение содержателю его. *(Прим. М. Л. Михайлова.)*

правив во время вакаций повестку к отцу одного из своих учеников, в ответ на известие свое о возобновлении уроков в своем училище получил уведомление, что юный джентльмен уже не вернется в его заведение. Достойный родитель объявил, что он прочитал «Корреспонденцию Карнеби» в «Комическом альманахе» [1] и изменил свой образ мыслей. «Но, дорогой мой сэр, — возражал педагог,— не может быть, чтобы вы говорили серьезно; ведь Комический альманах не что иное, как сборник разного смехотворства» — «Да, да,— отвечал отец,— но он объяснил мне некоторые из ваших штук; я верю мистеру Гуду. Джемс уж не будет у вас».

Меня могут по справедливости спросить, где же я выучился чему-нибудь, как не в этих заведениях, которые обещают универсальное образование — с разными extra включительно — и все-таки против всякого чаяния производят так мало «удивительных Кричтонов»?[2] Мне, конечно, могут возразить, что сам я не пользовался достодолжно такими обильными случаями погрузиться, окунуться, нырнуть и захлебнуться в пиерийском источнике; что я был Трутень, Зевака, Болтун, Шатун, Зритель[3], все, что хотите, только не приличный ученик. На это я должен ответить, во-первых, что строжайшее наказание, когда-либо постигавшее мою спину, досталось мне за ученую, так сказать, вину, а именно за то, что я «любил свою книгу» (только книга эта была «Робинзон Крузо»), — и, во-вторых, что я очертя голову перешел в другого, по-видимому, сорта академию, соименность с которою не могла быть особенно лестною для тех домов, кои считают своими крестными родителями и патронами Сократа, Аристотеля, Альфреда и других достославных ученых мужей. Школа, в которой я действительно учился, была сравнительно очень скромного разбора — без вывески, без устава, без учителей, без обширного и удобного помещения, одним словом без претензий, а следовательно почти и без воспитанников.

---

[1] Статьями в этом ежегодном сборнике Гуд составил себе блестящую репутацию комического писателя. *(Прим. М. Л. Михайлова.)*

[2] «Несмотря на сотни товарищей, мне не случалось встретить в числе столь многих достойных имен в науке и в литературе *ни одного* из моих школьных соучеников». Примечание самого Томаса Гуда. *(Прим. М. Л. Михайлова.)*

[3] Это все названия разных сатирических журналов, из которых иные, как например «Болтун» и «Зритель» Стиля и Аддисона, пользуются в Англии классическою известностью. *(Прим. М. Л. Михайлова.)*

Осень 1811 года, памятная своею в высшей степени зловещей кометой, «грозившей переменами в грядущем», произвела — увы! — печальный переворот в моем положении и в моих планах. Отца моего постигла безвременная кончина, за ним вскоре последовал в могилу мой старший брат. Пораженной горем матери моей, разумеется, хотелось собрать ближе около себя обломки семьи, и с этого времени самою кровной заботой ее было, чтобы ее «единственный сынок», то есть я, оставался «при ней». Тем не менее она не пренебрегала интересами моей будущности и не думала в ослеплении материнского самолюбия, что двенадцатилетний мальчик успел уже удовлетворительно кончить свое образование; вследствие этого я следующею же весной очутился в училище, которое могло бы в буквальном смысле назваться «высшим», во внимание к его расстоянию от земли.

В доме, бывшем перед тем загородным жилищем несчастного графа Эссекса, над мелочною лавкой, двумя этажами выше, была поистине избранная школа для приходящих, которую содержал один престарелый «домине», как именовали бы его в родной его земле [1]. В лучшие дни свои, когда брат мой был его учеником, он содержал одно из тех оптовых заведений, какими многие невежды нажили состояние, с помощью дорогих цен за обучение, дешевых учителей, простофиль-родителей и обрекаемых в жертву детей. Так как достойный наш «домине», напротив, не успел нажить ничего, то из этого можно вывести логическое заключение, что он заботился более о своих учениках, чем о самом себе,— и я сам мог на опыте убедиться, что он наблюдал интересы своих воспитанников, пренебрегая своими собственными выгодами. В самом деле, он вовсе не походил, даже наружно, на современных светских спекулянтов, содержателей школ, а напоминал скорее добрых, честных и серьезных педагогов старого времени. Он был, пожалуй, и педант, но все-таки человек знающий, и ученье с ним было «приятным трудом». Он хорошо понимал достоинство и важность своего призвания и был рад видеть главную долю вознаграждения за свои труды в действительных успехах своих учеников. Как ни мало было наше училище, глава его умел поддержать свое достоинство и ходил в ученом хитоне и в шапочке. Шапочка

---

[1] В Шотландии название *dominie* прилагается к школьным педагогам. *(Прим. М. Л. Михайлова.)*

была из полинявшего бархата — не то черного, не то синего, не то красного, не то темно-зеленого, не то, как иногда казалось, всех этих цветов вместе, с бурым оттенком. Ученая роба его была из малиновой камки, подбитой национальным тартаном. Изящное резное кресло с высокой спинкой и с ручками, как будто эмигрировавшее из меблировки барской гостиной de l'ancien régime [1], было его профессорскою кафедрой и помещалось, как и следует, с пюпитром, на помосте, возвышенном на несколько дюймов от обыкновенного пола. С этой нравственной и вещественной высоты обращал он на десяток — другой юношей свое бдительное, но благосклонное око; ибо несчастие, усугубляемое привычкою к господству, не ожесточило его и не примешало ни единой капельки желчи в яркий румянец его лица, столь свойственный здоровым уроженцам севера. У меня остался в памяти лишь один случай, когда он серьезно и оригинально рассердился, и именно на свою дочь, которую обвинил в «забвении всякого уважения к общепринятым приличиям»; дело в том, что она, забывая, что он не только родитель ее, но и «домине», необдуманно назвала его в обществе «отцом», а не «папа». Действительно досадное упорство тупых голов никогда не возбуждало его злобы, а скорее усугубляло его старательность. Он любил ученье ради ученья и смотрел на свое дело не как на средство существования, а как на удовольствие: нет сомнения, случись ему повстречаться с мальчиком без гроша в кармане на пути к просвещению, он призрел бы его, как призрел сострадательный извозчик Дика Виттингтона — из любви. Я с удовольствием припоминаю ту беззаботную ясность, с какою я обыкновенно выступал вперед — отвечать свой урок, причем постоянно слышал предостережение (у каждого истинного педагога есть своя стереотипная шуточка) «не ударить в грязь лицом». Нельзя было без интереса учить то, что, казалось, было ему так приятно преподавать, и в два-три месяца воспитание мое подвинулось несравненно далее, чем в столько же предшествовавших лет под нерадивым наблюдением разных баккалавров и докторов прав с их помощниками. Я познакомился *немножко* с латынью, сносно знал английскую грамматику и так преуспел во французском языке, что заработал несколько гиней корректурой нового издания «Поля и Виргинии». Это было мое первое литературное вознаграждение.

---

[1] старого режима (*франц.*).

Сверх того как счетчик я мог производить summum bonum,— то есть хорошую сумму.

Между тем (так-то несчастливо обыкновенно бывает ухаживанье этого застенчивого, тихого жениха — Скромного Достоинства, за громкой, по-мужски развязной, богатой светской невестой — Удачей), между тем училище не процветало. Число учеников не увеличивалось, даже едва ли не уменьшалось. По крайней мере новых мальчиков не поступало; но в одно прекрасное утро, около девяти часов, явилась совершенно неожиданно с мешком и книгами большая девушка, лет пятнадцати или шестнадцати, но такого замечательно высокого роста, что любой из нас мог бы назвать ее своей маменькой. Впечатления, произведенного ею, невозможно изобразить! Появление гувернантки, с провозглашением гинекократии, не могло бы поразить нас большим изумлением! Дело в том, что sub rosa [1] составлен был план переместить нас и неудачную школу для мальчиков превратить в академию для юных леди; начальствовать ею должна была старшая дочь «домине». Но прежде чем разделаться со старым составом школы, было благоразумно решено упрочить новый состав ее.

В скором времени без особой приятности для нас явились еще три женские ученицы в школу — три сестрицы, олицетворявшие собою степени сравнения: большая, побольше и большущая — и грозили согнать нас с наших скамей. Разумеется, их встретили всевозможными неприятными штуками, какие только могла изобресть детская хитрость и досада. Забавно и вместе прискорбно вспомнить, какие нападки приходилось выдерживать прекрасному полу от тех, которые впоследствии должны были благоговеть перед тенью завязок его башмака,— стонать, рыдать, вздыхать и чахнуть, чая его улыбки,— и становиться поэтичными, прозаичными, нелепо-комичными, выспренно-меланхоличными и даже, может быть, мелодраматичными его ради. Бесчисленны были толчки в стол, брызги чернил, полеты книг, грады гороху и иные необычайные феномены, уподоблявшие классы этих четырех несчастных девиц «гоньбе с препятствиями за учением»,— и я радуюсь, вспоминая, что принадлежал к весьма слабому меньшинству, составлявшему оппозицию преследованиям; я уже начал тогда читать стихи и даже сам писал строчки, казавшиеся мне стихами.

[1] Здесь—тайком (*лат.*).

Окончательный результат борьбы в нашем академическом гнезде мне неизвестен; я не знаю, кто кого выжил, залетные ли кукушки, или старые воробьи. Как раз в это время я удалился со сцены раздора и вступил в ту всеобщую школу, где, как и в приготовительных, очень не поровну распределяются удары, толчки, труды, срочные уроки и карманные деньги; но так же ожидаются вакации, и та же надежда впереди — на целую вечность счастливых праздников после большого роспуска».

Из этого юмористического рассказа нельзя узнать в точности, кто были первые учители Томаса Гуда и где именно находились школы, в которых он «питался науками». Сын его помнит только, что где-то в окрестностях Лондона — не то в Клепгеме, не то в Камбервелле — отец указывал ему, когда он был еще ребенком, дом, где помещалась прежде одна из этих школ, в то время уже уступившая место морскому училищу.

От школьной жизни в памяти Томаса Гуда оставалось много смешных и оригинальных сцен и картин, и в комических стихотворениях его и в рассказах в прозе есть немало частью забавных, частью грустных подробностей о разных академиях и пансионах, об ученых «домине» и педагогах в чепцах и юбках. Гуд любил посмешить и своих детей рассказами о школьных проделках и шалостях, в которых участвовал или которых был свидетелем, и сын его говорит, что анекдоты, слышанные им от отца об его школьной жизни, могли бы служить, как exempla minora [1], доказательством справедливости поговорки: «The child is father to the man» [2]. Действительно, Томас Гуд умел сохранить в характере своем много наивно-детского, много школьно-беззаботного, при всех неприятностях и лишениях, при всех подчас очень тяжелых лишениях и испытаниях, которыми не была скупа для него жизнь.

Смерть отца его случилась совершенно неожиданно. Он умер в августе 1811 года в Ислингтоне от жестокой горячки, которую получил от простуды во время поездки холодной ночью. Вдова и дети остались с очень скудными средствами. По выходе из училища Томас не хотел быть лишним отягощением для семейства и стал подумывать о том, как бы ему достичь возможности существовать без домашней помощи.

---

[1] малые примеры (*лат.*).
[2] «Ребенок — будущий мужчина» (*англ.*).

В «Литературных воспоминаниях» своих он рассказывает, что один друг дома предложил ему посвятить его в выгодные таинства коммерции и что вследствие этого предложения он поступил писцом в одну купеческую контору.

II

«Было время,— говорит Томас Гуд в шуточном сонете,— когда я восседал на высоком стуле, за высокою конторкой, с пером в руке, и каждое утро, как только пробьет десять часов, принимался писать в коммерческой школе Белля и комп. в Варнфорд-Корте, в темноватом и холодноватом углу, любимом убежище торговых людей. А все же и тогда перо мое сбивалось с пути и урывками обмакивалось в Кастальский источник. Двойная бухгалтерия чередовалась с цветистыми реторическими фигурами; к коммерческому воску примешивался поэтический мед,— и шли вперебивку: Блогг, братья — Мильтон — Грот и Прескотт — Поп — щетина— Гогг — Глин-Мильз и Галифакс — Роджерс — пакля — пенька — певец Надежды — поташ — Байрон — сало — Борнс — лен» [1].

Этого сонета, по словам Гуда, вполне достаточно, чтобы почтить память его краткой коммерческой карьеры. Не долго пришлось ему сидеть на высоком треножном конторском стуле, который превращался под ним порой в Пегаса; но виною того, что ему так скоро довелось проститься со счетными книгами, были не музы. «Разумеется,— говорит Гуд,— по кодексу купеческих контор сочинять стихи — преступление, почти равняющееся подделке монеты, и ода или песня с отметкой, что она написана в Коптголь-Корте, возбудила бы, конечно, такое же внимание и преследование, как фальшивый счет. Мне рассказывали даже, как один несчастный конторский писец потерял место за то, что, увлекшись созвучием, решился подписать под одним счетом:

Подвел итог
Джон Могг.

После этой выходки хозяин немедленно объявил ему, что поэзия и пенька не могут уживаться в одной голове.

---

[1] Это перечисление в подлиннике представляет, кроме того, забавную игру слов. *(Прим. М. Л. Михайлова.)*

Глава *нашей* фирмы, напротив, имел некоторую склонность к изящной словесности и смотрел бы благосклонным оком на стихи, только бы они не замешивались в фактуры да не впутывались в цифры большой счетной книги. Настоящая причина удаления моего от коммерческих дел гораздо прозаичнее. Здоровье мое, и без того далеко не цветущее, начало заметно расстраиваться: у меня не стало аппетита, и главный кредитор его, желудок, получал лишь унцию за фунт. Расположение духа становилось с каждым днем немного хуже, тело стало сбывать; одним словом, я показывал расположение к чахотке. Приглашенные на совет доктора решительно объявили, что меркантильная жизнь будет для меня смертью».

Гуду советовали оставить контору, в которой требовалось сидеть целые дни за цифрами и счетами, и променять ее тяжелую атмосферу на более свежий и свободный воздух, поехать, например, куда-нибудь на север.

Сын Томаса Гуда сомневается, действительно ли отец его был писцом в какой-нибудь купеческой конторе, и предполагает, что этот факт изобретен только ради двух-трех остроумных страниц в «Воспоминаниях». По одним известиям, Томас Гуд поступил тотчас по выходе из училища в ученье к дяде своему по матери, Роберту Сандсу, граверу; по другим и по словам самого Гуда, это было несколькими годами позже. Факт этот не особенно важен, и потому в нашем рассказе мы примем за основание «Литературные воспоминания».

Для поправления здоровья Томас Гуд отправился в Шотландию, к родным своего отца, жившим в городе Донди. Но родные, как он рассказывает, приняли его очень неродственно, и он поселился нахлебником у одной шотландки, жены без вести пропавшего моряка, которая держала так называемый «boarding-house», или пансион для жильцов. Первый день житья у этой особы, замечательной преимущественно своим особенно красным носом да черным бархатным капором, был в то же время первым днем нового года,— и новый жилец едва успел встать с постели и показать свой нос из спальни, квартирная хозяйка предстала ему с большой бутылкой туземной водки «виски» в одной руке и со стаканом в другой и заставила Томаса выпить стаканчик в честь нового года, отчего у бедного мальчика, разумеется, перехватило горло и глаза ушли под лоб. Таково было первое знакомство юного Гуда с нравами страны Сладких Пирогов, где пришлось ему остаться без малого два года.

Пятнадцатилетний мальчик был здесь предоставлен вполне собственному своему произволу. Весь контроль над ним ограничивался намеками ближайшего к нему общества, что не следует во время воскресной обедни гулять и что Аддисонов «Зритель», который бывал у него в руках в воскресенье, никак не может заменить библии. Обычай чтить воскресенье, так резко отделяющий в Англии этот день от остальных дней недели, еще строже наблюдается или по крайней мере наблюдался в описываемое нами время в богомольной отчизне Борнса и Вальтера Скотта. «Мне случилось однажды,—рассказывает Томас Гуд,—быть свидетелем следующей сцены, достойной старых времен. Раз вечером отправилась на пикник партия большею частью молодых и светских людей. Вдруг, подобно анахронизму, спутывающему старое время с новым, откуда-то из-за угла явилась к ним античная фигура в синей одежде странного покроя и в треуголке, нечто вроде очень старого пансионера гринвичской богадельни; эта фигура стала перед компаниею молодых людей и принялась читать благословленную молитву страшной длины над бутербродами, сладкими пирогами, конфектами и чаем». Странно, что в то же время эта старая богомольная Шотландия, столь славная своими многословными проповедями и бесконечными псалмопениями, завещала потомству обильную коллекцию таких песен, касающихся возвышенных предметов, что их можно петь, по выражению Аллена Коннингэма, «разве только когда пуншевая миса сделает свое дело и разгуляется самое дикое остроумие».

Томас Гуд сравнивает житье свое в Шотландии с положением Телемака, покинутого Ментором в соседстве с опасною Калипсой и ее очарованиями. От компании пяти-шести молодых холостяков, с которыми он сходился в своем пансионе, нечего было ждать чего-либо особенно хорошего для его нравственного развития. Но в самой натуре заброшенного между чужих людей мальчика лежали наклонности, которые должны были оградить его от многих дурных влияний. Сильная любознательность пристрастила его к чтению, и он с жадностью читал все, что попадалось ему под руки; а попадались ему книги всякого сорта, и хорошие, и посредственные, и положительно дурные. Несмотря на это безразличие, чтение было очень полезно Гуду: впечатления, вынесенные им из него, склонили сердце мальчика «в пользу,— как он выразился впоследствии,— той аллегорической леди,

которую так мудро предпочел Геркулес, когда ему представилось выбирать между Добродетелью и Пороком».

Слабость здоровья, поневоле обрекавшая Томаса на сидячую жизнь, разумеется, способствовала много развитию в нем и без того сильной наклонности к занятиям литературой. Попытки писать стихи, сделанные в купеческой конторе, были возобновлены; от книг Гуд переходил к перу и бумаге,— и скоро прослыл в своем «boarding-house» и между знакомыми своих сожителей, пансионеров краснолицей вдовы от живого, может быть, мужа, чуть не великим ученым. Во многих и часто очень деликатных случаях стали прибегать к помощи пера юного грамотея. Так для одного жениха, лишенного дара стихотворства, Томас сочинил послание в стихах к его возлюбленной; за другого господина, не сильного в грамоте, он вел целую переписку, касавшуюся дел табачной фабрики, в которой этот господин был компаньоном. Раз случилось ему даже написать, по просьбе одного храбреца, вызов на дуэль.

Вот как рассказывает он сам об этом случае:

«Один запальчивый артиллерийский офицер вследствие какой-то ссоры с начальством принужден был выйти сам из полка или, оставшись, подвергнуться исключению. Вследствие такой дилеммы он приехал в Донди занять место в таможне, которое выхлопотали ему его друзья. К чрезвычайному негодованию его, оказалось, впрочем, что вместо того чтоб дать ему выгодную должность надзирателя, его определили просто береговым стражем! Надо было видеть, как он бесился, топал и рвал и метал, когда ему пришлось заносить в небольшую поденную книжку тюк за тюком счет груза «поганой пеньки». К несчастию, в самый день этой горькой для него новости в местном банке случилась покража, и полицейские, с свойственною им проницательностью, нашли весьма ловким арестовать нашего несчастного экс-капитана по той простой причине, что он был последний из приезжих в городе. Эта вторая обида совсем вывела его из себя, и единственным лекарством от обуявшей его ярости казалось ему — вызвать кого-нибудь на дуэль. Выбор его сразу пал на кассира пострадавшего банка. Так как состояние нерв не позволяло ему писать самому, то он обратился ко мне с убедительною просьбой написать вызов, что́ я и исполнил в страшной агонии от стараний удержать смех при одной мысли о том, какой эффект произведет подобное послание на почтенного дельца, старого, лысого мирного

человечка, которого столь же трудно «вызвать», как корову с полосы клевера. Я не помню, что именно из этого вышло; но дуэли наверное не было».

Мало-помалу здоровье Томаса Гуда начало поправляться, хотя, разумеется, он не мог соперничать в этом отношении с местными жителями, которые по своей физической крепости принадлежали, казалось, к временам значительно отдаленным от нашего времени. Зрелые девы, пожилые холостяки, многодетные матери и испытанные отцы, которых пятнадцатилетнему Томасу казалось невозможным называть иначе, как дядями и тетками, называли себя его двоюродными братцами и сестрицами; достопочтенные особы, бывшие, по-видимому, дедушками и бабушками, оказывались просто-напросто дядями и тетками Тома; наконец он имел удовольствие видеть редчайший экземпляр родни, именно прапрабабушку,— и эта прапрабабушка была молодец-молодцом, то есть очень еще сносно держалась на ногах.

Очутившись в среде таких атлетических лиц, не знавшихся никогда с докторами и вместо всяких микстур потягивавших родимое «виски», Том почувствовал какой-то инстинктивный страх перед леченьем и не отправился с врученным ему рекомендательным письмом к доктору, который должен был принять его под свое пропахшее аптекой крылышко. Гуд говорит, что он поступил точь-в-точь как тот больной, что, отправляясь вместо лазарета в пивную лавочку, рассуждал: «Пусть действует сама натура!»

Поэтому, как скоро позволяла погода, что случалось обыкновенно, когда у Томаса не было никакой новой книги, он отправлялся бродить по отмелям и отлогим берегам залива или шел к ручьям, в которых водились форели, и очень неудачно старался ловить их щипком. В прогулках этих было много отрадного, и Гуд с удовольствием вспоминал впоследствии эти минуты ясного созерцательного спокойствия посреди живописных местностей, на чистом и здоровом деревенском воздухе, и приятные отдыхи с нероскошным завтраком или ужином где-нибудь на мельнице или на ферме.

«Иногда,— говорит Гуд,— я ходил один, но часто нас бывала целая компания, и тогда нас сопровождал один поденщик с табачной фабрики, оригинал и притом любитель литературы: у него был в голове запас стихов Аллена Рамсея, Битти и Борнса, которые он произносил при случае.

Я как теперь слышу, как, возвращаясь в сумерках домой пешком, он декламирует приличное случаю стихотворение, начинающееся словами:

Как окончился день и затихло село...

Он произносил эти стихи с восторгом, понятным, может быть, только поденному ремесленнику, который «живет для себя» только вечерами. Я и теперь сочувствую удовольствию, с каким он останавливался на пасторальных образах и мечтах, столь редко сбывчивых, когда случайный праздник позволял ему подышать свежим благоуханием живого цветка вместо затхлого и гадкого запаха сухой индийской травы,— и мне вполне понятно, почему эти стихи, полные высоких порывов и тонкого чувства, звучали как-то особенно приятно в устах бедного работника. Много горького и унизительного для человечества в этом нравственном отупении, которое слишком часто сопровождает жалкие условия существования рабочих классов,— и потому-то так отрадно и утешительно видеть, когда дух бедного человека возвышается над его положением и ищет в нравственном наслаждении забвения физическим скорбям и лишениям, неразлучным с его темною чредой. Что бы ни возвышало его над уровнем труженика-вола или упряжной деревенской лошади, родственные существа, именующие его братом, должны радоваться этому хоть из самолюбия, если не из любви. Но нашим властям не по нраву и музыка и пляска бедняка; им, кажется, хотелось бы, чтобы в хатах меньшей братии не бывало иной пляски, кроме пляски святого Вита, не раздавалось иной музыки, кроме плача больных детей».

Сближение молодого Гуда с народом, который принято горделиво называть простым, который и сам смиренно называет себя темным, не могло не оставить глубоких и живучих впечатлений в сердце будущего поэта скорбей и несчастий бедной братии. Может быть, здесь, на берегах Тея, впервые запало в его душу то сочувствие к рабочему классу, которое выразилось впоследствии горячим заступничеством за него в потрясающих своею горькою правдой песнях. Мало было любить, нужно было, кроме того, знать темную среду труда и нищеты, чтобы создать «Песню поденщика», «Песню о рубашке», «Фабричные часы» и др.

К описанным загородным прогулкам Томаса прибавилось потом новое удовольствие — плаванье в лодке по широкой и величавой реке, которую морское течение поднимало подчас

высокими волнами у самого города Донди. Томас познакомился с береговыми рыбаками и лодочниками и скоро стал ловко владеть веслом и управлять лодкой, умея не уйти слишком далеко от берега и не попасть под неблагоприятный ветер. Не без ребячьей гордости сидел он в спокойную погоду у руля почтовой лодки, где работали веслами старые отставные служивые. Знакомство с отважным, находчивым, испытанным морскими непогодами людом развило в Гуде почти страстную любовь к морю. Эта любовь не раз сказывается и в литературных произведениях его и в частных письмах.

Ко времени пребывания Томаса Гуда в Шотландии относится и первое появление его в печати. Прежде чем перейти к этому достопамятному в жизни каждого писателя событию, мы приведем здесь одно из самых милых и самых известных стихотворений Гуда, в котором он говорит о своем детстве [1]. Эта пьеса, написанная им в зрелую пору его литературной деятельности, будет лучшим заключением нашего рассказа о детских годах поэта.

Вот она:

«Помню я, помню — дом, где я родился, — маленькое окно, куда солнце — украдкой заглядывало поутру. — Никогда не являлось оно слишком рано,— никогда не приносило слишком длинного дня;— а теперь мне часто желается, чтобы ночь — унесла с собою и жизнь мою!

Помню я, помню — розы, красные и белые,— фиалки и чашечки лилий — этих цветов, сотканных из света! — кусты сирени, где вила гнездо краснозобая птичка — и где брат мой посадил — куст ракиты в день своего рождения.— Дерево живо и до сей поры.

Помню я, помню,— как я качался на качелях — и думал: «Так же свежо веет ветер — под крылья ласточкам!» — Как оперенная, высоко взлетала моя душа,— теперь так тяжко придавленная,— и летние ручьи ненадолго освежали — мой пылающий лоб.

Помню я, помню — темные и высокие ели;— я думал: их тонкие вершины — вплоть поднимаются к небу.— Это было детское неведение;— но мало мне теперь радости — знать, что я дальше от неба,— нежели как был ребенком!»

---

[1] Мы предпочли представлять читателям подстрочные переводы в прозе стихов Гуда. Если они не дадут понятия о той мелодии, какою отличается подлинник, то по крайней мере сохранят все черты его образов. Только одну пьесу поместили мы далее в стихотворном переводе, так как он был уже сделан прежде. *(Прим. М. Л. Михайлова.)*

III

В числе временных жильцов пансиона, приютившего в своих стенах молодого Гуда, был присланный из Эдинбурга какой-то законоискусник и антикварий, которому было поручено сделать какие-то разыскания в местных архивах.

«Я был того мнения,— говорит Томас Гуд,— что как в домашней, так и в государственной экономии гораздо полезнее подметать сор в настоящем, чем стирать пыль с прошедшего; вследствие этого я рекомендовал приобрести несколько новых щеток для городского управления и послал с таким предложением шуточное письмо к издателю не то «Вестника», не то «Хроники», выходившей в Донди. Письмо удостоилось чести явиться на самом видном месте в столбцах газеты. «Отрадно нам себя в печати видеть»,— пел лорд Байрон, и — согласно общепринятому мнению — я был бы должен быть на верху гордости и счастья, видя себя в первый раз в печати. Между тем, сколько мне помнится, радость моя была довольно умеренна, а затем и совсем погасла при виде исступленного восторга, в который впал один мой сообщник в этом подвиге. Я как теперь вижу, как он мчался из типографии с мокрым листом в руке, от которого шел пар, вдоль по всей Высокой улице и, задыхаясь, возвестил, что «мы *тут*!» Но Г. был плохой грамотей и оттого-то придавал такую великую важность этой литературной выходке».

«Принятие письма моего в газету,— продолжает Гуд несколько далее,— окрылило меня, и я поспешил отправить кое-что и в ежемесячный журнал (magazine), издававшийся в Донди. Издатель был так милостив, что принял мою дичь под свой покров, не поставив ничего в счет за ее помещение. Такой успех любого юного автора способен был превратить в усердного бумагомарателя и заставить его продать себя, душою и телом, по немецкой моде, этому меньшему Мефистофелю, Печатному Бесу! Тем не менее только спустя несколько лет, именно столько, сколько требуется обыкновенно на выучку, помянутый бес стал действительно моим домашним духом. Между тем я продолжал сочинять время от времени, и, подобно литературным произведениям мистера Веллера-старшего, элукубрации мои предавались бумаге не так называемою скорописью, а прямыми и отдельно стоящими буквами в подражание печатным».

Юный автор усвоил эту манеру писанья, имея в виду облегчить чтение для своих будущих издателей, которых

он отыскивал уже воображением в узкой улице Патерностер-Роу, где что ни дом, что ни дверь, что ни окно, то книжная лавка; притом Гуду хотелось заранее видеть, какой эффект будут производить его скромные попытки, четко отпечатанные на безукоризненно белой бумаге. «Судить о достоинстве сочинения в рукописи,— замечает он,— гораздо труднее, чем можно предполагать, особенно если рукопись представляет лишь слитные ряды плохо написанных букв, которые приходится внимательно рассматривать и разбирать, прежде чем вникать в самый смысл написанного. Кольридж говаривал, что печать определяет качества сочинения,— и я должен откровенно признаться, что мне приходилось не раз отказываться от суждения, составленного по рукописи, или значительно изменять его, когда ко мне попадала в руки та же рукопись в печатных корректурных листах. Издатели слишком хорошо знают, как почти невозможно наслаждаться звучностью стихов или следить за последовательностью мыслей автора, когда внимание принуждено цепляться, как за терния и репейник, за загадочные каракули. Красоты пьесы, разумеется, при подобном посредстве явятся в таком же дурном свете, как черты хорошенькой женщины, отраженные в косом и кривом зеркале; и, нет сомнения, много очень изрядных статей отправлено было в особый ящик, в число забракованного хламу, только потому, что они были некрасиво и нечетко написаны».

Несмотря, однако ж, на свою страсть к литературе и на порывы к литературной славе, Томас Гуд не ринулся рано в неусыпно клубящийся и шумящий водоворот журналистики, в котором сокрушается и гибнет столько неокрепших дарований, столько еще не вполне развившихся сил. Как ни тяжела была литературная жизнь Томаса Гуда, с ее почти поденной и скудно вознаграждаемой работой, он был по крайней мере избавлен от горького и позднего раскаяния, что первые и лучшие силы его пропали без всякого плода для его развития и без всякого следа в литературе, а стало быть, и в жизни родного ему общества. Такие поздние и, к несчастию, бесполезные угрызения — одно из самых тяжелых страданий в судьбе людей, с ранних лет, когда еще не ясно сознавались смысл и обязанности жизни, посвятивших себя исключительно периодической литературной деятельности.

«Как ни слабо было мое телесное сложение,— читаем мы в «Литературных воспоминаниях» Гуда,— у меня было

настолько силы в уме, что я не поддался авторской горячке, которая мучит стольких писак, заставляя их рваться в печать. Может быть, меня предохранило от нее приводящее в содрогание чтение печальных рассказов о несчастных, которые очертя голову принимались писать из-за куска хлеба и отравляли себя, как Чаттертон, за недостатком этого куска, или, как Отвей, давились этим куском [1]. Может также быть, что, привыкнув не думать о себе слишком высоко (ничто не смиряет так человека, как ранние недуги и горести), я не увлекался тщеславием и не думал наравне со многими юношами, что у меня «призвание» продолжать печатать для поучения человечества. Может быть и то, что глубочайшее уважение, возбужденное во мне чтением, к нашим певцам и мудрецам, удерживало меня от стремления попасть в компанию к существам, которые казались мне разве немногим ниже ангелов. Как бы то ни было, но,— назло очень обыкновенному извинению в издании чего бы то ни было, именно «совету друга», который настаивал, чтобы я подверг свои рукописи критике какого-нибудь литературного авторитета, с целью получить от него одобрение к напечатанию их,— я не продолжал моего легкого знакомства с печатью. Напротив, я избрал себе специальностью одну из отраслей изящных художеств».

Гуд говорит здесь о поступлении своем в мастерскую дяди своего, гравера. Это случилось по возвращении его из Шотландии, где он пробыл около двух лет, домой, в Лондон. Томас с детства проявлял замечательную способность к рисованью, и эта способность, по всему вероятию, определила выбор занятия. От дяди своего, Роберта Сандса, он перешел потом к другому граверу, Ле-Кё. Тем не менее, и работая in aqua forti [2], Томас Гуд не оставлял стихов. «Все обезьяны,— замечает он,— подражательницы; а все молодые авторы — обезьяны». И вот наш молодой автор в часы досуга, остающиеся ему от занятий гравировальным искусством, сочиняет поэму «Бандит» по образу и подобию байроновского «Корсара» или творит эпопею в восточном

[1] Один из биографов Отвея рассказывает, что он от голоду, который уже давно мучил его, с такою жадностью стал есть хлеб, поданный ему из милости, что подавился им и оттого умер. Отвей принадлежит к числу замечательнейших драматических поэтов Англии. Он родился в 1651 году и прожил всего тридцать четыре года. *(Прим. М. Л. Михайлова.)*

[2] кислотой *(лат.)*, т. е. над офортом.

вкусе, какую-нибудь «Лалла-Кро», долженствующую служить чем-то вроде pendant[1] к «Лалла-Рук» Томаса Мура.

Кажется, в этот промежуток времени от возврата Гуда из Донди до решительного выступления его на литературное поприще, умерла его мать. Дочь его, которой мы обязаны изданием его переписки, говорит, что Томас был самым нежным и заботливым сыном; любовь его и преданность много облегчали мистрис Гуд горе вдовства и заставляли менее чувствовать непривычные лишения. Смерть ее, как он сам часто говорил, была для него тяжелым ударом. Сестра его Анна немногим пережила ее. Тогда-то, именно вскоре после смерти сестры, написал Гуд стихотворение «У смертного одра», которое пользуется в Англии самою обширною известностию. «Всю ночь,— говорит он в этой пьесе,—

Всю ночь стерегли мы дыханье у ней...
Недвижно лежала она;
В груди колебалась слабей и слабей
Последняя жизни волна.

Старались чуть внятно мы все говорить,
Едва шевелились вокруг,
Как будто часть жизни своей уделить
Хотели, чтоб ожил наш друг.

То страхом надежда убита была,
То страх был надеждой убит;
Уснула— и кажется нам: умерла;
Скончалась — мы думали: спит.

Туманное утро настало для нас,
Сырая чуть дрогнула тень;
А очи усопшего друга, смежась,
Сияющий видели день».

IV

Поводом к сближению Томаса Гуда с литературным кругом и к решительному переходу от занятий резцом к перу было печальное происшествие, которое произвело сильное впечатление в Лондоне в начале 1821 года. Вследствие какой-то чернильной ссоры издатель одного из лучших английских журналов того времени, именно «Лондон-

[1] дополнения (*франц.*).

ского магазина», Джон Скотт принужден был выйти на дуэль. Она кончилась для него дурно: он вскоре умер. Издание перешло в руки двух друзей Гуда, мистеров Тэлора и Гессея, и они пригласили его к себе в помощники. Обязанностью его было на первое время просматривать корректуры и читать присылаемые в редакцию журнала статьи.

Несколько лет, проведенных в мастерской гравера, пропали не совсем даром для Томаса Гуда. Навык к рисованью оказывал ему впоследствии существенную помощь при иллюстрации юмористических статей и стихотворений. Большая часть этих беглых очерков и шаржей служат необходимым дополнением текста и подчас спорят с ним в бойкости, меткости и остроумии.

«Я был бы несправедлив,— говорит Томас Гуд,— если б стал уверять, что оставил занятия гравированьем с сожалением. В этом искусстве всегда берет перевес механическая сторона,— да притом и нездорово и утомительно сидеть как прикованному у стола с выемкой для удобства живота (если есть живот) и тщательно чертить, чертить и чертить линии прямые или извилистые, по нескольку сотен на квадратный дюйм, при постоянном старании, чтобы не двоилось в глазах. Итак, прощайте, Вуллет! Стрэндж! Барталоцци! Я говорил, что тщеславие не заставило меня кинуться очертя голову в авторство; но едва открылась мне законная лазейка — я скакнул, à la Гримальди, головою вперед, и мигом очутился за кулисами.

Глядя на мое усердие в новой сфере и на радость, которую я обличал, можно было подумать, что шар попал наконец в свою колею. Мало того, что я принимал или отвергал статьи, мне снились статьи, я думал о статьях, я писал статьи. Самая скучная часть литературного труда, как например чтение корректур, была для меня приятным занятием. Получая сводный лист, я видел в нем как бы свидетельство уважения ко мне и прощал все опечатки и действительно думал, что типографский черт вовсе не так черен, как его малюют. Но верхом гордости моей были «наши сотрудники». Как любовно следил я за Элией [1], за Газлиттом, за Эдуардом Гербертом, за Алленом Коннингэмом! В это время у «Лондонского магазина» был блестящий список участников— истинно избранная компания. «Магазин» теперь уже скон-

[1] Псевдоним Чарльза Лэмба, под которым являлись в печати лучшие юмористические очерки его. *(Прим. М. Л. Михайлова.)*

чался, и, может быть, ни к одному из погибших журналов нельзя так кстати обратиться с ирландским похоронным причитаньем: «Ах, сердечный, зачем ты умер?» Разве не было у тебя издателя, и отличных писателей в прозе, и превосходных поэтов, и лихих молодцов для критики, и остроумных юмористов? Элиа, Кэри, Проктер, Коннингэм, Бауринг, Бартон, Газлитт, Эльтон, Гартлей Кольридж, Тальфорд, Сон, Горас Смит, Рейнольдс, Пуль, Клэр и Томас Бинейон и бездна других! Разве не было в тебе таких творений, как «Потребитель опиума», как «Карлик», как «Гигант», как «Ученый ягненок», как «Зеленый человек»? Разве не было у тебя постоянного обозрения театров, и отчетов о музыке, и отчетов о земледелии, и некролога, и прейскуранта, и цены всего полкроны? Ах, сердечный, зачем ты умер?»

Первою работой Томаса Гуда в «Лондонском магазине» были комические ответы на письма, получаемые редакциею, письма, большая часть которых существовала только в воображении начинающего юмориста. Юмористическое направление, которое почти исключительно, за редкими уклонениями, принял вскоре талант Гуда, не проглядывало еще в нем так сильно во время его участия в этом журнале. На несколько чрезвычайно игривых и остроумных комических пьес в стихах и прозе, помещенных Гудом в «Лондонском магазине», приходится чуть ли не вдвое большее число стихотворений, как называют их англичане, «серьезных». Гуд в это время действительно очень серьезно писал и сонеты, и гимны к солнцу, и оды к осени, и отрывки из поэм, описывающие «Озеро смерти», и романсы к «холодной красавице», и даже целые поэмы мифологического содержания.

Такова длинная и довольно скучная пьеса «Центавр Лик», впрочем не бедная и поэтическими местами; содержание этой поэмы, как объясняется вкратце в «argumentum» [1], приложенном на старинный лад в начале, заключается в следующем: Лик, удерживаемый Цирцеей в ее волшебной власти, внушил страстную любовь одной водяной нимфе. Нимфа эта, желая сделать его бессмертным, прибегает к чарам волшебницы. Цирцея научает ее произнести заклятие, которое превратит Лика в коня; но, испуганная действием чар, нимфа останавливается на половине заклятия, и Лик пре-

[1] Здесь — краткое изложение содержания (*лат.*).

вращается в коня только наполовину, то есть делается центавром.

Из самого содержания этой античной поэмы видно, как далеко еще была в это время поэзия Гуда от той действительной сферы, которая внушила ему впоследствии лучшие его стихотворения. Отличительный характер последующих произведений Гуда, столь родственно-близких к самым насущным интересам жизни, лучше всего можно предугадывать по юмористическим пьесам и статейкам его, являвшимся в «Лондонском магазине». Многое в них было уже, по выражению одного критика, «живым, поучительным свидетельством, как близко один к другому лежат в натуре человека источники смеха и слез».

Античную поэму свою, в которой видели тогда задатки высокого поэтического таланта, Томас Гуд посвятил несколько позже, при отдельном ее издании, Джону Гамильтону Рейнольдсу, одному из самых близких своих друзей в течение всей жизни. Рейнольдс, впоследствии оставивший литературное поприще, был в цветущую пору «Лондонского магазина» одним из постоянных участников этого журнала под псевдонимом Эдуарда Герберта. Он издал также небольшую книжку недурных стихов.

Отец Рейнольдса был одним из преподавателей в школе Christ's Hospital[1] и жил с семейством в этой настоящей «Малой Британии», так увлекательно и живо описанной Вашингтоном Ирвингом в его знаменитой «Книге очерков». В доме Рейнольдсов собиралось приятное общество; из литературных друзей семейства стоит назвать Джона Китса, Эдуарда Рейса, мистера Бэли.

Гуд скоро стал здесь тоже своим человеком, и около этого времени завязалась тесная и постоянная дружба его с мистером Чарльзом Вентвортом Дёльком, впоследствии издателем английского «Атенея».

Но что главным образом привлекало молодого поэта к семье Рейнольдсов, это зародившееся в сердце его сильное чувство любви к мисс Рейнольдс, сестре друга его Джона. Памятью первой поры этого чувства, так свято и неизменно сохранявшегося всю жизнь, осталось между прочим одно прекрасное стихотворение, которое мы не решаемся передавать прозой, из боязни, что свежий и ароматный цветок под-

---

[1] Здесь — благотворительная школа Христа *(англ.)*.

линника окажется в нашем переложении «засохшей, безуханной» травой из гербария [1].

Года через три после первого участия своего в издании «Лондонского магазина», именно в начале мая 1824 года, Томас Гуд женился на мисс Рейнольдс. Неопределенное положение его, или, лучше сказать, неверное обеспечение от нужды, которое представляло литературное поприще, заставляло колебаться семейство Рейнольдсов в согласии на этот брак; но привязанность с обеих сторон была так сильна, что колебания эти должны были уступить ей. Несмотря на много тяжелых и горьких дней, которые довелось провести вместе Гуду и его жене, союз их был счастлив.

«Матушка моя,— рассказывает дочь Томаса Гуда,— была женщина с развитым умом и литературным образованием и как нельзя более подходила к мужу характером и наклонностями. Он так доверял ее суждениям, что все, что ни писал, читал, перечитывал и исправлял с нею. Многие из его статей были писаны ею под его диктовку, и ее хорошая память часто помогала ему при ссылках и цитатах. Он очень часто диктовал сначала вчерне свои статьи, хотя потом они обыкновенно являлись переписанными набело его рукой, так ясно, красиво и четко, что типографщики не раз просили у него рукописи для первых уроков в чтении наборщичьим ученикам!»

---

[1] Это стихотворение начинается словами: «Я люблю тебя! я люблю тебя!» Вот первая его строфа по-английски:

I love thee — I love thee!
'Tis all that I can say;
It is my vision in the night,
My dreaming in the day;
The very echo of my heart,
The blessing when I pray:
I love thee — I love thee!
Is all that I can say.

[Я люблю тебя! я люблю тебя!
Вот все, что я могу сказать.
Это мое ночное видение,
Мои грезы днем.
Отзвук моего сердца,
Благословение моей молитвы:
Я люблю тебя! я люблю тебя! —
Это все, что я могу сказать [*Англ.*]

(Прим. М. Л. Михайлова.)

Но мы еще будем иметь повод говорить далее о семейной и домашней жизни Гуда; а теперь нам остается дополнить рассказ наш о начале его литературной деятельности и о знакомстве с литературным кругом. Для этого лучше всего опять-таки развернуть «Литературные воспоминания».

«С чувством гордости, удовольствия и грусти,— говорит он,— обращаюсь я к этой старой поре, когда писатели, которых я давно знал и так глубоко уважал заочно, были со мною лицом к лицу,— когда я мог наслаждаться их остроумием и мудростью из их собственных уст, и смотреть в их глаза, и жать их правую руку. Родные лица восстают передо мной, знакомые голоса звучат в моих ушах; но — увы! между ними есть лица, которых мне уже никогда не видать, звуки, которых мне уже никогда не слыхать вновь. Перед отъездом моим из Англии [1] я был одним из немногих, видевших, как закрывалась могила над останками человека, которого знать как друга — значило любить как родного. Никогда душа лучшая не переходила в мир лучший! Никогда, может быть (в опровержение обычного обвинения нашей братии в зависти, злобе и ненависти друг к другу), никогда писатель не уходил — выражаясь словами его любимца, сэра Т. Броуна — в «страну крота и муравья», сопровождаемый таким добрым мнением, таким уважением и сожалением, такими искренними похвалами и элегиями своих современников. К нему, первому из них, чаще всего обращаются мои воспоминания, потому что я утратил в нем не только дорогого и доброго друга, но и неоцененного критика; человека, которого — будь теперь в нравах подобные литературные усыновления — я назвал бы, как называл Коттон Вальтона, «отцом»...

Однажды утром,— продолжает Томас Гуд несколькими строками далее,— я сидел около нашего издателя, тщательно правя корректуру, когда ему доложили о приходе какого-то гостя; имя было произнесено глухим и невнятным голосом, и я его не расслышал хорошенько. Дверь затем отворилась, и в нее вошел гость,— наружность его невольно обращала на себя внимание: умный взгляд, красивая голова на небольшом худощавом туловище и тонкие, почти невещественные ноги. Он был одет в черном, старомодно, но в нем или чего-то недоставало, или было что-нибудь лишнее, что

---

[1] «Литературные воспоминания» были написаны Томасом Гудом в Германии. *(Прим. М. Л. Михайлова.)*

его нельзя было принять ни за духовную особу, ни за доктора, ни за школьного учителя: по особому опрятству и чистоте в одежде и по степенным манерам можно бы, если б не костюм, подумать, что он квакер. Он казался скорее (чем и был на самом деле) современно-античным литератором, ново-старинным автором, живым анахронизмом, современником в одно и то же время и с Бортоном-старшим и с Кольменом-младшим. Он между тем подошел особенной, оригинальной походкой, ступая всею подошвой, и с веселым «здравствуйте!» и с одною из милейших и добрейших улыбок, когда-либо озарявших человеческое лицо, протянул два пальца издателю. Два джентльмена тотчас вступили в разговор; и в то время как они разговаривали, я пустился в лафатеровские соображения по поводу интересного субъекта, представившегося мне. Это было поразительно умное и характеристичное лицо. В бровях у него было много серьезности, в ясных карих глазах много задумчивости, несмотря на живость их взгляда; нос довольно большой, но не такой, какие встречаются на каждом шагу; в губах очень приятное выражение и в то же время что-то как будто болезненное. Вообще это было лицо не из разряда обыкновенных лиц — не из числа тех казенных физиономий, которые отливаются природою тысячами в одну форму. Видевши его только раз, нельзя было потом не узнать его. Оно не могло бы никак служить поводом к недоразумению в какой-нибудь Комедии ошибок. Одним словом, лицо его было так же оригинально, как и фигура; фигура так же оригинальна, как характер; характер так же оригинален, как сочинения; а сочинения — самое оригинальное изо всего, что было писано в наше время. Переговорив о литературных делах, издатель пригласил своего сотрудника обедать, прибавив: «У нас будет заяц...»

«И-и-и много друзей!»

Запинка в речи и находчивость в ответе были тоже характеристическими чертами этого лица, в котором люди, знакомые с ним, может быть уже узнали увлекательного эссеиста, глубокого критика, блестящего юмориста, человека с тонким умом и любящим сердцем, Чарльза Лэмба! [1]

---

[1] Несомненные литературные достоинства знаменитого *Элии*, по нашему мнению, несколько преувеличены Томасом Гудом; впрочем, это увлечение вполне понятно в человеке, близко знакомом с благородной и прекрасной личностью Лэмба. *(Прим. М. Л. Михайлова.)*

Он был, как и я, несколько дик с людьми незнакомыми, и потому, несмотря на мое горячее желание сблизиться с ним, наша первая встреча ограничилась только тем, что нас отрекомендовали друг другу. Оба мы присутствовали за обедом с зайцем и друзьями, но знакомство наше так и не подвигалось дальше, назло моим отчаянным стараниям обратить на себя его внимание.

Другой случай представила мне одна пьеса его, в которой он с большим сочувствием заступался за нищих: я написал к нему на грубой серой бумаге и безграмотным английским языком благодарственное письмо, как будто от одного из его нищенствующих клиентов; но письмо не произвело эффекта. Я потерял уже всякую надежду на сближение с Лэмбом, как однажды вечером, когда я сидел в своей спальне, больной, скучный и мучимый ревматизмом, дверь вдруг отворилась, и без всяких церемоний вошла ко мне знакомая милая фигурка и с веселым приветствием: «Ну что, как вы, мой милый?» и с светлой и ласковой улыбкой протянула мне два пальца. Разумеется, я горячо пожал их, и с этой минуты мы стали задушевными друзьями.

Так-то характеристично началась моя близость с Чарльзом Лэмбом».

Далее в «Воспоминаниях» следует несколько живых очерков литературных личностей, с которыми Томас Гуд встречался у Лэмба на вечерах и на обедах. Тут бывал самородный поэт из крестьянского сословия, Джон Клэр, в светло-зеленом сюртуке и желтом жилете; шотландский поэт, критик и биограф Борнса, Аллен Коннингэм, этот, как называет его Гуд, «физический колосс литературы, гренадер нашего корпуса»; Проктер, известный в мире читателей своими поэмами и в особенности своими драматическими очерками под именем Барри Корнволя; поэт и философ Самюэль Тэлор Кольридж, имя которого англичане сплошь упоминают с эпитетом «великий», один из увлекательнейших собеседников; английский переводчик Данта, скромный и ученый Кэри, и другие.

Еще до женитьбы своей Гуд с братом будущей жены своей, Джоном Рейнольдсом, сочинили и напечатали книжечку смехотворных «Од и посланий к великим людям». Веселость и остроумие, которыми отличалась эта книжка, изданная анонимно, заставила некоторых, и в том числе Кольриджа, думать, что автор ее — «несравненный Элиа». Издание было скоро раскуплено и уже обещало Гуду ту

популярность, которую вскоре приобрели его комические произведения.

Кроме страниц «Литературных воспоминаний», которыми мы воспользовались, не осталось, к сожалению, почти никаких известий об этой поре жизни Гуда, и нам приходится ограничиться лишь следующею заметкой.

Два-три первые года супружества были едва ли не самыми светлыми годами во всей жизни Гуда. Молодая чета жила в самом Лондоне, и здесь родился первый ребенок их, который умер вскоре после рождения.

Памятью этого события, очень опечалившего и отца и мать, осталось только милое стихотворение Лэмба: «На смерть новорожденного дитяти»; да дочь Томаса Гуда, перебирая бумаги отца, нашла между ними пожелтевшую бумажку, в которой была завернута тоненькая прядь золотистых детских волос. На бумажке рукою самого Гуда были написаны следующие пять стихов:

«Маленькие глазки, которые едва взглянули на свет,— маленькие губки, ни разу не улыбнувшиеся! — Ах, милое мое, дорогое умершее дитя! — смерть твой отец, а не я — я только поцеловал тебя раньше ее».

V

Возвращаясь к литературным трудам Томаса Гуда, мы должны сказать, что время процветания «Лондонского магазина» было непродолжительно. В 1824 году, после трехлетнего участия в нем Гуда, этот журнал перешел в руки нового издателя, и кружок даровитых людей, поддерживавших издание, разбрелся в разные стороны. Гуд не помещал в нем тоже ни строки при новом управлении.

Через два года после того, как перестал участвовать в «Лондонском магазине», он выбрал из него свои сатирические статейки и шуточные стихотворения, прибавил к ним новые пьесы в этом роде, которых накопилось у него достаточно, и издал их отдельною книжкой, под заглавием: «Странности и причуды в стихах и прозе». Книжка была украшена многими забавными картинками и карикатурами, которые так же легко давались перу Гуда, как и уморительнейшие остроты, неожиданнейшие каламбуры и всевозможные комические выходки. Предметом этого непрерывного и как бы невольного потока остроумия были разные дикости в английском

обществе; но — надо признаться — Томас Гуд обращался еще преимущественно к внешней стороне предметов; он осмеивал то, что казалось ему смешно, но как будто еще не доискивался глубоко затаенных поводов к этим диким и смешным явлениям, которые возбуждали в нем неугомонный смех. Тот горький юмор, каким проникнуты последние и лучшие произведения Гуда, проглядывает лишь изредка в его «Странностях и причудах», и то лишь как намек. Читая эту веселую книжку, никак не подумаешь, что от ее шутливого автора можно будет услыхать такие глубоко грустные звуки, какие впоследствии послышались от него в «Песне о рубашке», в «Мосте вздохов» и других стихотворениях.

«Странности и причуды» так понравились публике, что вскоре понадобилось второе их издание; а немного спустя, именно в 1827 году, Гуд приготовил еще столько же мелких очерков и стихов и напечатал их как второй выпуск «Странностей и причуд», с посвящением Вальтеру Скотту, который отвечал на него любезным письмом, помещенным в «Литературных воспоминаниях».

Литературный труд сделался уже исключительным занятием Томаса Гуда, и около этого же времени он попробовал свои силы в серьезном повествовательном роде. Проба была не совсем удачна, и два тома «Национальных повестей», изданных в 1827 году, теперь совершенно позабыты. Это ряд небольших рассказов во вкусе новелл Боккачио и других итальянских новеллистов.

Еще меньший успех ожидал фантастическую поэму Гуда «Чары летней ночи», и, несмотря на поразительную красоту многих мест, на художественность и поэзию многих подробностей, мы не можем согласиться с мнением Томаса Гуда-сына, что эта поэма не оценена еще по достоинству. В целом это все-таки произведение слишком искусственное, и едва ли английская публика была не вполне права, что приняла его так холодно. Немало экземпляров осталось в книжной кладовой издателя, и Томас Гуд сам скупил впоследствии весь остаток своей книги, чтобы спасти ее, как он говорил, от участи попасть в мелочные лавки и служить там на обертку разной дряни.

В следующем, 1829 году Томас Гуд был издателем альманаха «The Gem», в котором поместил одно из замечательнейших произведений своих, небольшую поэму «Сон Евгения Арама». Одно это стихотворение могло бы оставить надолго памятным имя Гуда. «Оно, — скажем словами Аллена Кон-

нингэма,— дает ему высокое место в ряду поэтов, которые касаются темной и страшной стороны человеческой природы и не столько ясным выражением, сколько намеком говорят о преступлениях, имя которых приводит людей в содрогание».

Содержание поэмы Томаса Гуда основано на действительном факте.

В половине прошлого столетия в одной школе города Линн в графстве Норфольк был учителем некто Арам. Он отдалялся от общества, держал себя скромно и смотрел угрюмо; вообще на нем была печать какой-то таинственности. Как учитель, он был чрезвычайно старателен и, кроме того, с неутомимым усердием занимался геральдикой, ботаникой и филологией[1]. По праздникам, когда в школе не было уроков, и в другие свободные от занятий дни его видали мрачно и одиноко бродящим за городом, по плоским и неприветным берегам реки Ауза.

В 1758 году Арама вдруг арестовала полиция по подозрению в убийстве, совершенном четырнадцать лет тому назад. Его обвиняли в смерти одного башмачника, Даниэля Кларка.

Близ Нерсборо был вырыт из земли человеческий скелет, и это открытие послужило поводом к следствию, которое вызвало арест Арама. Вдова Кларка не раз намекала, что в пропаже без вести ее мужа виноват линнский учитель и еще некто Гаусман. Гаусман засвидетельствовал перед судом, что убийцы Кларка — Евгений Арам и еще один человек, именем Ферри, и что, убив башмачника, они зарыли тело его в таком-то месте близ Нерсборо. Тут именно и был найден скелет. Улики против Евгения Арама были так очевидны, что суд находил справедливым признать его виновником преступления. Арам вел свою защиту с большою твердостью и самообладанием. После осуждения он признался на исповеди духовнику в своем преступлении, но объявил в то же время, что доля участия Гаусмана в убийстве Кларка была значительнее, нежели можно заключить из его слов. Таково было и впечатление, произведенное процессом на публику. Предполагали, что поводом к убийству были корыстные побуждения; но Арам объявил, что его побудило

[1] После него остался неконченый сравнительный словарь языков: кельтского, английского, еврейского, греческого и латинского. (*Прим. М. Л. Михайлова.*)

единственно чувство ревности и подозрение, что Кларк был в любовной связи с его женой. Арама приговорили к смертной казни, которая и была совершена над ним 6 августа 1759 года в Йорке. В ночь перед казнью он сам хотел наложить на себя руки, но попытка эта ему не удалась. Ему было пятьдесят четыре года от роду.

Вот происшествие, послужившее Томасу Гуду содержанием для его небольшой поэмы. Бульвер сделал тоже Евгения Арама героем одного из самых популярных своих романов; но все это длинное и исполненное всевозможных эффектов произведение не стоит и одной страницы превосходного стихотворения Гуда.

Первая мысль описать в стихах судьбу Арама пришла в голову Томаса Гуда, вероятно, в доме Чарльза Лэмба. Тальфорд, описывая общество, собиравшееся под гостеприимною кровлей Элии, говорит: «В старое доброе время мы видали здесь покойного адмирала Борнея, прямодушного странствователя, совершившего кругосветное путешествие с капитаном Куком. Он как будто соединял наше общество с тем кружком, в котором царствовал когда-то доктор Джонсон. Он рассказывал обыкновенно о своих школьных годах и о школе в Линне, где был его учителем Евгений Арам. Адмирал припоминал, как кроткий наставник во время прогулки шел рука об руку с одним из старших воспитанников и, желая, вероятно, облегчить свою совесть от бремени, которого никто и не подозревал, рассказывал о разных страшных убийцах. Борней припоминал также, какой страх обуял его, тогда еще ребенка, когда он увидал своего учителя с цепями на руках, посаженного под стражей в карету».

Некоторые подробности поэмы Гуда утверждают предположение, что ему внушили мысль написать ее именно рассказы старого адмирала.

Поэма начинается описанием роспуска учеников из школы летним, ясным и свежим вечером. Посреди веселой толпы детей, прыгающих и резвящихся на загородной поляне, особенно рельефно выдается задумчивая, меланхолическая фигура учителя. Не принимая никакого участия в беспечной веселости, он сидел в стороне с книгою на коленях.

«Он перевертывал лист за листом — и ни на минуту не поднимал взгляда; — для успокоения души своей читал он эту книгу — в золотом сиянии вечера. — От многих уче-

ных трудов он стал очень сгорблен — и бледен, и глаза его потускнели.

Наконец он закрыл тяжеловесную книгу,— крепко и с сердцем захлопнул он темный переплет — и придавил медной застежкой.— «Боже мой! если б можно так же закрыть мне мою мысль — и так же запереть ее!»

Он встал и начал тревожно ходить по поляне. Один из учеников внимательно читал какую-то книгу, и учитель подошел к нему и спросил: «Что это за книга?» — «Смерть Авеля»,— отвечал ученик.

Наставник отошел от него с тревогой на лице, потом опять вернулся, и сел около мальчика, и заговорил с ним о Каине,— потом о других убийцах, долго спустя после него, и об убийствах, сохраненных памятью предания.

«Он говорил о людях, зарезанных без свидетелей — и наскоро зарытых в землю,— о страшных ранах, нанесенных в лесной глуши,— об убийствах, совершенных в подземельях;

О том, как души сгубленных людей — стонут под землей — и как призрачная рука указывает — места кровавых похорон — и как неведомые злодеяния — обличаются в снах, посылаемых от бога.

Он говорил, как ходят по земле убийцы — с проклятьем Каина на челе,— с багровым туманом в глазах, — с пламенем в мозгу,— ибо кровь оставила на их душе — свои несмываемые пятна».

И, сказав, как должны быть ужасны угрызения и муки грешной совести, учитель говорит, что ему снился страшный сон: ему пригрезилось, что он сам совершил убийство — над человеком, который не сделал ему ничего дурного, над слабым и старым человеком.

«Я повел его в отдаленное поле;— месяц светил ясно и холодно. —«Здесь,— подумал я,— умрет этот человек,— и я возьму его золото!»

Два внезапных удара сучковатою палкой,— да удар тяжелым камнем,— да рана торопливым ножом,— и дело было сделано,— и у ног моих лежал — лишь безжизненный труп!

Лишь безжизненный труп,— который не мог сделать мне зла;— а все же я тем больше боялся его,— что он лежал

так смирно;— было что-то в глазах у него,— чего я не мог убить.

И вот весь воздух вокруг, казалось, охватило какое-то грозное пламя; тысячи тысяч страшных глаз с укоризной глядели на меня; я взял мертвого за руку — и кликнул его по имени.

О боже! как я дрогнул, взглянув на убитого! — Когда я притронулся к бездыханному телу, ручьем хлынула из него кровь,— и на каждую рану его приходилось по жгучей язве у меня в мозгу.

Голова моя пылала,— сердце застыло как льдина; окаянная, проклятая душа моя — я это знал — принадлежала дьяволу. — Раз десять простонал я; а убитый простонал всего два раза!

И с далеких гневных небес, из самой их глубины, послышался голос — грозный голос мстящего духа: «Преступник! возьми мертвого — и скрой его от моих глаз!»

Я поднял бездушное тело — и бросил его в пруд. — Сонные воды были черны, как чернила,— глубь была страшная!— Помни, мой милый друг, что это все снилось мне.

С глухим плеском пошел труп ко дну — и пропал из глаз.— Тут я вымыл свои кровавые руки, освежил холодной водой свою голову — и сидел в этот вечер с детьми, в школе.

Боже мой! знать, как чисты их души и как черна и гнусна моя душа! — Я не мог повторять с ними их детской молитвы,— не мог петь с ними вечернего гимна! — Я был словно могильный дьявол между светлыми херувимами.

Мир пошел вслед за каждым из них и постлал им спокойное изголовье; — ужас был моим грозным приспешником: он светил мне в постель; он поднимал в полночь занавеси вокруг нее красными, окровавленными пальцами!

Всю ночь лежал я в агонии, в темной и страшной муке; я не смел сомкнуть воспаленных глаз и с ужасом ждал сна, потому что ему отдал грех ключи от ада.

Всю ночь лежал я в агонии,— от боя до боя часов [1] — с одной постоянной страшной мыслью, которая все время терзала меня,— с неодолимым желаньем, подобным первому лютому побуждению к преступленью.

---

[1] Этот стих («From weary chime to chime») Томас Гуд повторил потом без всякой перемены в своей «Песне о рубашке». *(Прим. М. Л. Михайлова.)*

Одна упорная тиранническая мысль поработила все другие мысли; сильней и сильней билось мое сердце искушеньем, неустанно звавшим меня пойти и посмотреть на мертвого в его могиле!

Я встал с постели, как только просветлело небо, и диким взглядом отыскал черный проклятый пруд и увидал мертвого, потому что ложе предательского пруда высохло.

Весело вспорхнул жаворонок, отряхая капли росы с своих крыльев; но я не замечал его утреннего полета, я не слыхал его песни: я опять согнулся под страшною ношей.

Чуть дыша от поспешности, словно спасаясь от погони, поднял я его и побежал. Не было времени вырыть могилу, пока не наступил день: в глухом лесу схоронил я убитого под ворохом листьев.

И весь этот день читал я в школе; но мысли мои были в ином месте. Только что кончилась моя утренняя служба, я тайком прошел туда. Сильный ветер разметал листья, и труп опять был на виду.

Тут я ударился лицом оземь и впервые начал плакать: узнал я тогда, что тайна моя такова, что земля отказывается сохранить ее — и земля, и море, будь оно бездонной глубины.

Так хочет грозный дух мщения, пока кровь не уплатится кровью! Ах, будь он зарыт в подземелье и завален камнями и пусть годы источат его тело — люди увидят-таки его кости!»

Этот рассказ, утративший в нашем переложении бо́льшую часть своей силы и поразительности, приводит в трепет молодого ученика Арама.

И в ту же ночь — прибавляет поэт,— в то время как глаза учеников смежил мирный сон, из города Линна выходили два человека с суровыми лицами, и между ними шел Евгений Арам с кандалами на руках.

VI

В том же году, как появилась поэма «Сон Евгения Арама», о которой мы подробно говорили, Томас Гуд принялся за составление «Комического альманаха». Это юмористическое издание продолжалось девять лет и постоянно имело

большой круг читателей. Таких комических журналов, какие есть в Англии теперь с «Пончем» во главе, тогда не существовало, и сборник Томаса Гуда был одним из немногих изданий, назначенных для удовлетворения страсти англичан посмеяться. Кроме того, на каждой его странице лежала печать несомненного комического таланта, и многие статейки и стихотворения «Комического альманаха», перепечатанные впоследствии, читаются и до сих пор с большим удовольствием; многие карикатуры и эскизы, набросанные для него Томасом Гудом, возбуждают и до сих пор самый веселый смех.

Тем не менее, однако ж, чтение сподряд всего, что было написано Гудом для его юмористического сборника, довольно утомительно, в особенности для читателя, не знакомого до мельчайших подробностей с английским бытом и английским языком. Английская страсть к каламбурам, которые можно составлять чуть не из каждого английского слова, едва ли где выразилась в такой силе, как в комических статейках Томаса Гуда. Чтобы понимать эти каламбуры и находить их смешными, мало знать английский язык книжно: надо быть, кроме того, знакомым со всеми неисчислимыми оттенками английского произношения, где неуловимая для чужестранного уха разница в звуке часто совсем изменяет смысл слова. Не говоря уж об иностранцах, не все шотландцы, а тем паче ирландцы, способны понимать в тонкости эту неистощимую игру словами, без которой обходится редкая страница комических произведений Гуда. Понятно, что эта особенность, придающая им чересчур местный характер, делает их непереводимыми на другие языки. Даже в наиболее скудных такого рода лингвистическими фокусами «Литературных воспоминаниях», из которых мы привели несколько отрывков, пришлось нам делать беспрестанные опущения, перифразы и часто заменять одно слово целою фразой. Это тем более жаль относительно многих комических пьес Томаса Гуда, что они под своею, по-видимому шутовской и легкой одеждой полны серьезного смысла. Таким образом, известность Томаса Гуда вне Англии будет всегда основана лишь на его произведениях в том роде, к которому принадлежит «Песня о рубашке», произведениях, которые, впрочем, и в английской литературе оставили самую прочную память о Гуде. Соперники Гуду по остроумию найдутся у англичан; но не найдется у них лирического поэта, который сумел бы выразить с таким глубоким тра-

гизмом скорби бедной и страждущей братии. Нельзя не жалеть, что так поздно обратился Томас Гуд к этой лучшей стороне своего таланта. Может быть, недостаточность материальных средств была главною причиной, что он так исключительно посвящал себя работам для юмористических сборников и журналов. При мало-мальски большей свободе в выборе, он, вероятно, не остановился бы так надолго на комических статьях и стихотворениях, которым всегда был легкий сбыт, тогда как произведениями серьезными он едва ли бы мог прокармливать себя и так скудно, как прокармливался своими шутками и каламбурами. Что способность его касаться самых глубоких струн человеческой природы не явилась в нем как результат предшествовавшей жизни и деятельности, что способность эта составляла всегдашнюю принадлежность его натуры, ясно как нельзя более из ранних произведений его, из «Сна Евгения Арама», из пьесы «У смертного одра».

Из того, что мы сказали о серьезной стороне таланта Томаса Гуда, никто, разумеется, не выведет заключения, что другая сторона, комическая, была им насильственно воспитана в себе. Нисколько. Если он и писал свои шутки часто поневоле, без всякого желания, то следов этого принуждения вы никогда не откроете на его комических произведениях. Непринужденность, искренность составляют, напротив, их главный характер,— и если мы пожалели, что Томас Гуд оставил по себе мало таких песен, как «Мост вздохов», как «Песня о рубашке», то из этого вовсе не следует, будто мы жалеем, что после него осталось три или четыре тома легких и веселых статей и стихотворений.

Поэзия Томаса Гуда, как и вся его литературная деятельность, была вполне искренна. Знакомясь с ним как с человеком, мы видим то же гармоническое соединение глубокого, строгого и серьезного чувства, ясного, гуманного и проницательного взгляда на жизнь и почти младенческой беззаботности и веселости, к каким способны только чистые и добрые души. Трудно представить себе личность симпатичнее той, которая предстает нам из всех рассказов о Гуде, из всех его писем, из всех его произведений.

Веселость и ясность духа покидали его лишь в редкие минуты жизни. Их не подточила в нем ни болезнь, почти не выпускавшая его из своих когтей, ни лишения, заставлявшие его работать через силу. Несмотря на свою вечную шутливость и, по-видимому, легкость, он с редкою твер-

достью встречал все житейские невзгоды. Как бы в вознаграждение за эти невзгоды судьба наделила Томаса Гуда кротким семейным счастьем, какого вполне заслуживала его чистая и прекрасная натура. Свет этого счастья теплится в каждой строке переписки Гуда со своею семьей и с ближайшими из его друзей. Несколько биографических черт, сбереженных памятью его дочери, озарены тем же отрадным светом. Нет сомненья, что почти неизменной ясности Гуда в самых тяжелых обстоятельствах способствовало то, что подругой его была женщина, очень родственная ему по характеру и по сердцу. Редкая энергия, если не ослабеет, то по крайней мере не примет оттенка болезненной раздражительности при вечных стонах и жалобах близкого существа, не умеющего бороться с силой обстоятельств, или хоть умеет держаться посреди них с достоинством. Томас Гуд был избавлен в семье от опасности прийти в отчаяние и упасть духом. Его Джен умела всякое горе перенести с таким же мужеством, как и он; она умела так же, как он, смотреть с философскою ясностью на мелкие огорчения и неудачи, которые хуже больших бедствий и несчастий отравляют жизнь. Это были две натуры, в высшей степени симпатические. Мистрис Гуд разделяла все заботы мужа, облегчала его страдания и была, можно сказать, частью его самого. В последнее время своей жизни он почти не мог оставаться без нее и тотчас начинал тосковать; ему неприятно и тяжело было и писать, когда не было ее около него, в той же комнате.

Перепечатывая письма Томаса Гуда, дочь его говорит, что должна была пропускать значительного объема места в тех из писем, которые были адресованы к мистрис Гуд. «Нам казалось святотатством, — говорит мистрис Бродрип (такое имя носит теперь дочь Гуда),— изменять что-либо в этих письмах; но мы в то же время чувствовали себя не вправе обнародовать то, что было писано лишь для нее одной — все эти нежные эпитеты, все эти слова любви, полные такого чувства и такой искренности». Лишь для примера приводит мистрис Бродрип одно из подобных мест в письмах Гуда. Мы тоже переведем его.

«Я был ничто, пока не узнал тебя, моя дорогая,— и только с этого времени я стал и лучше, и счастливее, и все пошло для меня удачнее. Сбереги впрок эту истину, милая моя, и напомни мне ее, когда я буду ослабевать. Я пишу от искреннего и горячего сердца; но и не без уважительной причины.

Во-первых, причина эта — твое последнее, милое-милое письмо,— затем воспоминание о наших милых ребятишках, этом залоге — и каком дорогом!— нашей старой любви,— затем отрадное желание перелить избыток чувств моего сердца в твое, и наконец, кроме того, уверенность, что милые глаза твои будут читать то, что пишет теперь моя рука. Может быть, у меня есть и та задняя мысль, что дорогая подруга моей жизни, что бы ни сталось со мной, будет иметь свидетельство того, как ценил я ее нежность — ее достоинства — ее душевную красоту...»

Любовь Томаса Гуда к жене не исключала, однако ж, разных школьничеств с нею с его стороны. Шутливость, составлявшая такую существенную сторону в его характере, разумеется, скорее и ближе всего могла проявляться в семье. Мы знаем несколько такого рода шуток, сделанных им со своею дорогою Джен.

Так однажды, при переезде из Лондона в одно из предместий его, именно Винчмор, где Гуд нанял квартиру, случилось бедствие со всею фарфоровой и хрустальной посудой, бывшей в хозяйстве. Ящик со всем этим богатством, только что привезенный из города, был помещен временно на полку, плохо прилаженную к стене. Полка сорвалась с гвоздей, ящик полетел на пол, и от большей части фарфора и хрусталя остались одни осколки. Потеря была очень значительна для таких небогатых людей. Но Томас Гуд не моргнул и глазом и немедленно командировал горничную к мистрис Гуд, которой на этот раз не было в комнате, пригласить ее — посмотреть, как посуда теперь вся «в одном месте». Это было сказано таким ловким каламбуром, что мистрис Гуд поспешила полюбоваться хозяйственною распорядительностью мужа. Можно себе представить ее удивление, когда она, ожидая увидеть свою посуду тщательно расставленною в шкафу, нашла одни жалкие остатки ее на полу. Каламбур был так забавен, что нельзя было не расхохотаться, и наши философы только посмеялись вместе своему домашнему несчастью и убытку.

В другой раз Томас Гуд подшутил над женою следующим образом. Надо заметить, что вскоре после брака он серьезно заболел ревматической лихорадкой, и, когда стал оправляться, ему, для окончательного выздоровления посоветовали отправиться в Брайтон. Морской воздух вообще производил благодетельное влияние на его здоровье, и он, в течение нескольких лет, отправлялся обыкновенно в

известное время года на пять, на шесть недель в Брайтон или в Гастингс. Как бы ни был он слаб, ему стоило дохнуть свежим воздухом моря, чтобы вскоре поправиться. Хвалясь своей опытностью в морском деле и во всех связанных с морем промыслах, Томас Гуд однажды уверил наисерьезнейшим образом свою Джен, что он превосходный знаток в рыбном товаре и с одного взгляда умеет отличать хорошую рыбу от дурной. При этом он окончательно убедил жену и в том, что ее постоянно обманывают все рыбные торговки, известные мошенницы, сбывая ей порченую рыбу за свежую. Он советовал ей не слушать никаких клятв и уверений торговок и ни за что не брать — как бы дешево они ни уступали — камбалы, на которой есть хоть едва заметные красные или желтые пятнышки, признак ее несвежести. Мистрис Гуд в невинности души своей этому поверила, и только явилась к их дверям рыбная торговка, она вышла к ней похвастаться своим новоприобретенным знанием. Случилось, что у торговки, кроме камбалы, не было почти другой рыбы, и она, вынимая из своей корзины и повертывая перед глазами покупательницы рыбу за рыбой, рассыпáлась в похвалах их величине и свежести. Но без предательских красных пятен не оказывалось ни одной рыбы. Когда мистрис Гуд выразила свои сомнения в ее свежести, торговка принялась уверять, что рыба не может быть не свежа, потому что в это утро наловлена и только что вынута из воды. Но стоило припомнить, какими темными красками Томас Гуд изображал злонамеренность брайтонских рыбных торговок, чтобы не сомневаться более ни минуты. «Может быть, вы и правду говорите, милая,— заметила мистрис Гуд,— но я ни за что не решусь купить рыбу с этими нехорошими пятнами».— «Да бог с вами, сударыня! разве бывает камбала без этих пятен?» Сдержанный смех за дверями на лестнице обличил шутника, и Джен была поставлена в самое комическое положение перед торговкой, успевшей рассердиться на неопытную хозяйку. В семействе долго сохранялось воспоминание об этом школьничестве Гуда, и анекдот о покупке камбалы в Брайтоне рассказывался при каждом удобном случае.

Иногда, хоть и очень редко, шутки Томаса Гуда заходили уж слишком далеко. Однажды, во время житья его в Вонстидском парке, к Гуду приехали в гости два или три приятеля. Днем они ходили на охоту, а вечером поехали кататься на каком-то старом и ветхом плоту по ближай-

шему озеру. Смех и шутки не умолкали все время, и, приставая обратно к берегу, гости, как видно такие же охотники до школьничеств, как и хозяин, соскочили на берег, а плот, с которого не успел еще сойти Гуд, оттолкнули. Гуд заносил уже ногу, чтобы ступить на берег, и от толчка попал прямо в воду. Хоть тут было и довольно мелко, но он весь вымочился. Он тотчас же начал жаловаться на колотье в боку и спазмы и ушел домой. Приятели были очень сконфужены и принялись в один голос уговаривать его — лечь в постель, что он немедленно и исполнил. Но ему становилось все хуже и хуже; жалобы и стоны его делались сильнее и сильнее. На несколько миль в окрестности нельзя было найти доктора, и гости в страшной тревоге принялись суетиться и изобретать домашние средства, как бы помочь беде. Один бежал с большим чайником за кипятком на кухню, другой приготовлял горчишники, третий тащил на плечах жестяную ванну. Голос Томаса Гуда слабел, предсмертная бледность разлилась по его лицу, глаза потухали, и он коснеющим языком заговорил уже о последней своей воле. Друзья были так перепуганы, что когда мнимому больному стало уж тяжело их морочить и он не мог удержаться от громкого хохота, они в первую минуту вообразили, что с ним сильный припадок горячки с бредом. Мнимо-умирающему стоило не малых усилий успокоить их.

Над детьми своими Томас Гуд тоже нередко подшучивал, и преимущественно над дочерью Фанни, потому что сын был еще слишком мал. Раз он раскрасил красными пятнами любимую куклу Фанни и не мало разогорчил девочку известием, что у куклы ее корь. Потом пришлось куклу обмывать и вместе с красными пятнами смыть частью брови и румянец.

Любовь Томаса Гуда к жене и детям просвечивает почти в каждой странице изданной теперь его переписки, хотя издательница и исключила большую часть тех мест, где он говорит о своих чувствах к Джен. Даже в письмах не к ней, а к разным друзьям своим он не пропускает случая рассказать что-нибудь о своей Фанни, о своем Томе. «Родительская ода к моему сыну», комическая пьеса, без которой не обходится ни одна английская антология, и еще пять-шесть пьес, частью юмористических, частью серьезных, свидетельствуют о нежной любви Гуда к детям своим и независимо от его переписки.

VII

В конце 1834 года постигла Томаса Гуда неудача в каком-то торговом предприятии, о котором мы не нашли точных подробностей. Дочь его говорит только, что он сильно потерпел от банкрутства одной книгопродавческой фирмы, и денежные дела его совершенно расстроились. «В продолжение нескольких месяцев он боролся с враждебными обстоятельствами (рассказывает о себе в третьем лице сам Гуд); но так как за первым штормом следовали новые бедствия, то не оставалось никакой надежды дать кораблю снова верное направление. Если б Гуд вздумал в этом положении послушаться советов большинства, он мог бы разом снять с себя все обязательства тем или другим резким, но верным способом, какие законодательство придумало для всех подобных зол. Но чувство чести возмущалось против таких средств, и, возбужденный славным примером Вальтера Скотта, он решился, пока достанет сил, уплачивать свои долги литературным трудом, а не отказаться от них на основании известных статей закона. Ему уже случилось раз таким образом покрыть годом работы одну недоимку, и это было для него лучшим доказательством, что при удвоенном прилежании и при экономии дела его скоро могут быть приведены в порядок. Все, что было выручено от продажи его имущества, пошло на уплату долгов, и то, что осталось при нем, было, так сказать, займом из будущего заработка. Для удобнейшего приведения в исполнение своих планов Гуд решился сделаться добровольным изгнанником из Англии и простился со своею родной страной». Экономия, которая была теперь так нужна, лучше всего могла быть соблюдаема в Германии, при тамошней, сравнительно с Англиею, дешевизне, и оттого-то Гуд поехал жить между немцами, хотя не знал ни слова по-немецки.

В довершение неприятностей, осадивших Томаса Гуда, жена его в это время очень опасно заболела после рождения своего единственного сына. Заботы о ней доктора Эллиота положили начало прочной дружбы между двумя семействами, и когда мистрис Гуд начала немного оправляться от болезни, Томас Гуд мог не откладывать своего решения ехать за границу, чтобы выбрать там место для житья и устроить все к приезду жены и детей: теперь ему было на кого положиться,— и доктор Эллиот и жена его принимали самое родственное участие в больной Джен.

Гуду хотелось поселиться где-нибудь на Рейне, и он отправился в Германию чрез Роттердам. Жена должна была последовать за ним с детьми, как только поправится настолько, чтобы переносить трудности путешествия. Морской переезд Томаса Гуда был несчастлив. Страшная буря, разбившая у берегов Голландии одиннадцать кораблей, застигла в пути судно «Лорд Мельвиль», на котором отправился Гуд. Она пощадила судно; но нравственное и физическое напряжение, бывшее следствием ежеминутно грозившей опасности, очень истощило силы Гуда, и он большую часть своих страданий приписывал потом буре с 4-го на 5-е марта 1835 года. Вообще с самого переселения его в Германию здоровье его совсем расстроилось, и дни, когда он чувствовал себя хорошо, были только исключениями.

Самым удобным и приятным местом для житья показался ему Кобленц, и он нашел тут скромную квартирку о трех комнатах, с видом на Мозель из окна своего маленького рабочего кабинета. Письма, которыми он звал к себе на новоселье свою Джен, полны нежных забот о ней и проникнуты мирною ясностью духа и надеждами на скорое улучшение настоящего положения. «Я видел тебя сегодня во сне, моя милая,— пишет Томас Гуд в одном из своих писем,— мне снилось, что ты опираешься на мою руку и любуешься вместе со мною на Мозель, на голубые горы и виноградники. Я только и жду, чтобы приняться за работу, когда около меня будешь ты и два наших голубка. Тогда я и не подумаю вздохнуть о прошедшем... Будь тверда; у нас еще есть счастливое будущее. Только бы ты приехала, моя милая, моя дорогая. Нам будет хорошо здесь в нашем скромном и маленьком домике, и верно мы не надолго простились с Англией». В письмах не было никаких жалоб на нездоровье, но мистрис Гуд, приехавши в Кобленц, едва узнала мужа: так он похудел и так болезненно изменился.

С этого времени стали довольно часто повторяться у Гуда сильные спазмы в груди, после которых он обыкновенно был на другой день слаб, как ребенок. Доктора советовали ему отправиться в Эмс и там отдохнуть немного от работы. Но время было дорого Гуду, и не работать значило для него не иметь ни средств к жизни, ни надежды поправить свои дела и возвратиться на родину.

Как ни дешева была кобленцская жизнь, но и здесь приходилось нашему добровольному изгнаннику отказывать себе во многом. Рассказывая о разных неудобствах и лише-

ниях, Джен в письме к лондонским друзьям своим прибавляет: «Не жалейте о нас, впрочем; ведь мы вовсе о себе не жалеем». Вообще как в письмах самого Гуда, так и в письмах его жены, редко встречается хоть какая-нибудь жалоба на свое положение. Беззаботность и веселость, оживляющая эти письма, сообщает читателю особенную симпатию к молодой чете.

В первое же лето своего пребывания в Кобленце Томас Гуд познакомился и вскоре очень близко сошелся с молодым прусским офицером де-Франком, родом англичанином. Они были почти неразлучны: ходили гулять по окрестностям, осматривали все, что стоило посмотреть близ Кобленца, удили рыбу, а по вечерам играли в карты втроем с мистрис Гуд. Де-Франк был важным помощником Гуду в его объяснениях с немцами и спасал его часто от самых комических qui-pro-quo [1]. Немецкий язык совсем не давался Томасу Гуду; да и немецких обычаев не умел он себе усвоить. Немцы вообще очень ему не нравились: он находил большинство их тупым, мало сочувствующим политике и литературе и знающим только одно — есть да пить. Зато окружающую природу Гуд очень ценил и из-за нее готов был примириться даже с немцами.

Между тем здоровье его расстроивалось все больше и больше. Усиленная работа — и притом по вечерам, от чего Гуд никак не мог отвыкнуть — изнуряла его еще более. У него начала идти горлом кровь, и хотя это случалось не часто, надежды на выздоровление было мало. Частью чтобы отдохнуть, частью чтобы собрать кой-какие материалы для сатирических очерков Германии, Гуд принял предложение своего приятеля де-Франка — отправиться с его полком, который шел в Бромберг. К предложению де-Франка присоединились просьбы многих офицеров полка, очень полюбивших Томаса Гуда за его сообщительный и веселый нрав. Гуд с удовольствием согласился ехать. Это было в октябре, на другой год после переселения его за границу.

Томас Гуд купил недорогую верховую лошадь и отправился с полком как волонтер. Жена проводила его до Эйзенаха и оттуда воротилась в Кобленц. Полк должен был идти по пятнадцати или по двадцати английских миль в день, и на каждые три дня марша полагался один день отдыха. Гуд терпеливо сопутствовал своим приятелям офице-

---

[1] недоразумений *(лат.)*.

рам, и путешествие было для него приятным развлечением. Дольше всего пробыл он в Берлине и отсюда возвратился уже не верхом, а в дилижансе, к жене и детям, в Кобленц. Несмотря на переезды, он не забывал о своей срочной работе, и Джен получала от мужа с дороги черновые статьи, переписывала их и пересылала в Лондон.

Кобленц, после трехмесячного отсутствия, показался Гуду вдвое более скучным и мрачным, чем прежде. Отсутствие де-Франка, который остался со своим полком в Бромберге, было слишком заметно. Это был единственный человек, принимавший в Гудах самое родственное, самое сердечное участие. Теперь усиленный литературный труд не сменялся уже для нашего кобленцского эмигранта часами веселого уженья или приятных загородных прогулок. Состояние здоровья было тоже неутешительно. Со времени возврата из Берлина Гуд редкий день чувствовал себя хоть сколько-нибудь бодрым и начинал подумывать, как бы распроститься с Кобленцом.

Тем не менее дело шло своим чередом. Почти каждая почта отвозила в Лондон статьи и рисунки для «Комического альманаха», и, кроме того, Гуд принялся за приведение в порядок своих заметок о Германии и за иллюстрацию их для издания.

«Книга о Германии («Up the Rhine») успешно шла к концу (рассказывает дочь Томаса Гуда), и «Комический альманах» выходил как следует. Я очень живо помню окончание последнего. Отец писал большею частью вечером, когда все было тихо и дневная суета и наш детский шум умолкали. В этот год, помню, я проснулась ночью и слышала, как матушка с отцом разговаривали в соседней комнате, запаковывая и запечатывая рукописи и рисунки для отправки с пароходом в Англию. Услыхав, что я проснулась, матушка вошла в мою спальню, завернула меня в большую шаль и усадила в этом наряде в креслах. Когда посылка была готова к отправлению, мы весело поужинали (хоть было уже почти утро). Оживленный тем, что заботы и хлопоты по изданию кончены, отец сиял удовольствием несмотря на усталость и смеялся и шутил самым беззаботным образом. Каждый год и потом происходили такие же веселые ужины в честь окончания трудов по «Комическому альманаху».

Летом следующего, 1837 года Томас Гуд решился переехать в Остенде. Не говоря уже о скуке, которая особенно

чувствовалась при постоянной хворости, ему были очень неприятны неудобства сношений с Лондоном. Железных дорог тогда еще не было, почта ходила долго и притом неаккуратно; за целость каждой посылки приходилось опасаться и с нетерпением ждать ответа, который обыкновенно приходил поздно и не вовремя. Остенде представлялся Гуду удобным местом в этом отношении; кроме того, он радовался заранее, что будет у моря, и ожидал от этого соседства благотворного влияния на свое здоровье. «Как ни прекрасен Рейн,— писал он по приезде в Остенде,— но я расстался с его берегами без малейшего сожаления. Я был особенно рад покинуть Кобленц, где я только и знал, что хворать, да лечиться, да скучать и вообще мучиться нравственно и физически. Мне не было там жаль никого, так как капитан де-Франк все еще в Бромберге». К тому же жизнь в Кобленце оказалась, по строгим соображениям, не особенно выгодною и в денежном отношении. При некоторых лишениях Томас Гуд прожил бы с семейством и в Англии разве немного больше, чем в своем немецком уединении.

Первое время своего пребывания в Остенде Гуд как будто вздохнул легче; но это было ненадолго. «Работай! работай! работай!» Этот однообразный и меланхолический припев его «Песни о рубашке» применялся вполне к нему самому. Лондонский издатель сочинений Томаса Гуда, видя чрезвычайный успех «Комического альманаха», вздумал перепечатать его вновь; но с прибавлением, больше чем наполовину, новых статей,— и издавать не книжками, как он выходил прежде, а небольшими тетрадками, вроде журнала, под заглавием «Hood's own», что можно перевести по-русски разве словом «Гудовщина», наподобие «обломовщины». С января 1838 года издание началось. Оно стоило немало труда больному и изнуренному Гуду.

В феврале этого года вот что писала Джен в Лондон к жене редактора «Атенеума», мистрис Дёльк:

«Я пишу вам немного, ибо уверена, что вы были глубоко огорчены последними новостями, полученными от меня, и неполучением ничего для «Hood's own». В среду поутру мы послали за доктором Б., в надежде, что он посоветует нам что-нибудь. Весь четверг Гуд был так слаб и изнурен, что принужден был лечь в постель; я не ложилась всю ночь и была готова писать под его диктовку, если б он только был в состоянии диктовать. Но он был в таком изнеможении, что едва мог говорить и вовсе не владел своими мыслями.

Доктор утверждал, что эта слабость есть действие холодной погоды и недостатка воздуха и движения, а также и следствие нравственной тревоги и расстройства нерв. Он предписал ему выпить портвейну; говорил также, что его подкрепила бы, может быть, бутылка бордо; но ничто не помогло, и, чем менее оставалось времени, тем становился он нервичнее и неспособнее писать. Я до сих пор никогда не видала Гуда в таком положении; он был в страшном отчаянии, что почта уйдет, а у него к ней ничего не готово».

Вот в каком печальном состоянии писались большею частью эти веселые статьи, которые заставляли от души смеяться читателей, не подозревавших, как страдает нравственно и физически забавляющий их юморист. Письма его из этого времени уже не так полны прежней беззаботной шутливости, еще так часто оживлявшей его в Кобленце. Срочная работа продолжала изнурять его, а жизнь и в Остенде не представляла никаких особенных развлечений и радостей. Гуд только изредка, в недолгие часы облегчения от своих постоянных страданий, мог предаваться и любимому своему удовольствию — катанью в лодке по морю. Болезнь приковывала его если не к постели, то к комнате. Общества по душе вокруг не было. «Какая досада,— писал он к де-Франку,— что вы не в бельгийской службе. Войска здесь расположены так недалеко, что съездить повидаться было бы просто праздничной прогулкой. Будь я по-прежнему настолько здоров, чтобы путешествовать, я, может быть, приехал бы даже в Бромберг, чрез Гамбург. Но мне уж не бывать здоровым. Друг наш доктор Эллиот уверил Джен, что опасность миновала; но так как я и прежде не был никогда особенно крепок и бодр, то мне нечего ждать молодого здоровья. Я останусь, однако ж, сколь можно дольше, молод духом и сердцем; только бы желчное раздражение не удручало меня по временам».

Небольшое облегчение, которое ненадолго почувствовал Томас Гуд в Остенде, позволило ему побывать в Англии. Он ездил в начале 1839 года в Лондон, пробыл там три недели в кругу лучших своих друзей и больше, чем когда-нибудь, понял, как многого лишен он в своей заграничной жизни. Вскоре по возвращении в Остенде прежние болезненные припадки начали повторяться с новою силой; Гуд чувствовал уже, что при таких страданиях не прожить ему долго, и начал убеждаться, что бельгийский воздух нисколько для него не целебнее германского и что если он

может еще где-нибудь немного отдохнуть и оправиться, так только на родине.

В этом году он привел к концу свою сатирическую книгу о Германии, или лучше сказать, об английских туристах, и она вышла в свет под заглавием: «На Рейне». Несмотря на решительный успех этой книги, первое издание которой разошлось в две недели, Гуд не получил за нее почти ничего от издателя, оказавшегося охотником наживать деньги даром. Неприятности с ним прибавили еще горечи к печальному положению Гуда. Лучшим утешением для него было перебраться наконец совсем в Англию. Действительно, и недуги его как будто угомонились на первое время по переезде чрез Ламанш. Работать продолжал он неутомимо и принял, по приглашению Кольборна, постоянное сотрудничество в «New monthly magazine». Он должен был писать ежемесячно небольшие статьи юмористического содержания в этот журнал. «Ему было приятно видеть,— писала г-жа Гуд к капитану де-Франку,— как радушно приветствовали все журналы его появление здесь (то есть в Англии), и только бы поправилось его здоровье, дела у него пойдут здесь вдвое лучше, чем при житье за границей. Он любит английский комфорт, хотя, надо вам сказать, он еще не пробовал здесь ни пива, ни вина в последние шесть или семь месяцев и вот уже три месяца как не брал в рот мяса».

Во время заграничной жизни Томаса Гуда журналистика и критика обращались к нему с тем же сочувствием, какое встретило его и по возвращении. Особенно любопытна характеристика его, появившаяся в это время в одном из лучших английских журналов, именно в «Вестминстерском обозрении». Вот что говорит о личности Гуда автор статьи:

«Немногие писатели бывали так плохо поняты, как главный сотрудник «Комического альманаха»; немногие были так мало известны в обществе лично. Гуд никогда не думал добиваться мишурной чести — быть львом. Его небольшая и тонкая фигура, с бледным и задумчивым лицом, мелькнув случайно в обществе, вовсе не останавливала на себе внимания. Ни одной из этих пышных великосветских леди, которые так смешны своими натянутыми литературными восторгами и бросают ими такую неприятную тень на своих protégés [1], ни одной из этих леди и в голову не приходило, что этот бледный и худой господин ходит тут взад и вперед, под-

[1] протеже *(франц.)*.

мечая светские глупости и дикости не ради пустых сплетен. Они не подозревали, что сквозь эти очки, так серьезно прикрывающие его глаза, могут проглядывать взгляды не совсем обыкновенной проницательности; что эти, по-видимому, бесстрастные губы способны на неистощимые шутки, не всегда равные сладостью меду, и на ответы, от которых встанет в тупик самый развязный остряк. Но мы знаем Гуда лучше, и теперь, когда нас разделяет с ним море, нам можно высказать о нем, что мы знаем, не опасаясь, что друг наш остановит нас. Мы часто делили с ним досуги. Нам не раз случалось в дружеской беседе у камина слушать его рассказы. Какие фантастические повести извлекал он из своей памяти, украшая их новыми подробностями, или просто импровизировал. Да, редко случается охотникам до вечерних рассказов наслаждаться в XIX веке такими рассказами! Мы слышали от него однажды (без круга внимательных слушателей) такой блестящий, полный жизни, мысли и остроумия комментарий на одно длинное и затейливое путешествие, что братия книгопродавческого квартала не пожалели бы никаких денег, чтобы только записать и напечатать эту удивительную импровизацию. Мы видели, как он раз умел приковать своим рассказом внимание страстных игроков в самую интересную и решительную минуту игры, так что они забыли о своих картах и опустили руки на колени. Мы видели, как его йориковский ум блестел шутками и остротами назло осаждавшему его несчастию, назло разным горьким житейским неудачам. Его занятия гравированием сообщили особенную тонкость его взгляду; от природы получил он неутомимо-деятельную фантазию, находчивое остроумие, редко не попадавшее в цель. Эти качества были так же ярко заметны в его простых беседах с друзьями, как и в более церемонных беседах с публикой. Мы не знаем в сочинениях его более юмористической страницы, чем рассказ, слышанный нами от него изустно по поводу его усиленной срочной работы для «Комического альманаха». Он говорил, что на одиннадцатом часу, как Моцарт над увертюрой «Дон-Жуана», он заснул, продолжая диктовать, — и диктовал еще по малой мере десять минут, пока писавшая под его диктовку не заметила перемены в его дикции и все бо́льшего и бо́льшего замедления слов».

Мистрис Голль оставила тоже несколько воспоминаний о своих встречах с Гудом, относящихся к этой же поре. По ее рассказу, первое впечатление не оправдало ее ожиданий.

Она ждала увидать, судя по «Комическому альманаху», бойкого весельчака и была очень удивлена, встретив вместо того на вечере у живописца Мартина джентльмена с бледным и почти меланхолическим лицом. «В верхней части его лица,— говорит она,— было что-то спокойное, даже что-то чересчур торжественное,— и это выражение лишь изредка смягчалось в обществе красноречивой улыбкой, проходившей по его губам, или мгновенной вспышкой его наблюдательных глаз. Все его знакомые единогласно замечали, что для *света* он слишком тих. В обществе бывает обыкновенно много таких судей, для которых в человеке нет ничего, если он не производит, как барабан, большого шума при малейшем прикосновении. Они чуть не обижаются, что «литератора» нельзя раскрыть, как книгу, и что он говорит не так, как пишет. Такое странное мнение разделяется и так называемым «порядочным» обществом. Мне случалось видеть в обществе романиста Гука и Томаса Гуда. Как охотничья собака делает стойку, найдя в траве перепела или куропатку, сторожили каждое их движение, каждое слово люди, единственный мимолетный блеск которых составляет — повторять, что сказали такие авторитеты. Гуку, может быть, было приятно видеть, как он знаменит; может быть, ему нравилось это сиденье перед ним и устремленный на него выжидающий взгляд, эта львиная охота, столь непохожая на сердечное благоговение, возбуждаемое истинным величием. Гуд, напротив, терпеть этого не мог. Он был слишком впечатлителен, слишком тонко развит, чтобы поддаться такому грубому вниманию. Одна мысль, что на него указывают как на «известного остряка и шутника», отдаляла Томаса Гуда от больших собраний, где, разумеется, всегда было и немало людей, действительно уважавших и ценивших его талант, любивших его за его скромные домашние добродетели. Игривая и затейливая фантазия его распускалась пышным цветом только в тесном кругу его друзей; только тут поддавался он ее влиянию. Будучи самым приятным «застольным» собеседником, он, однако ж, никогда не возбуждал своего остроумия вином; никогда тоже не бывал он так беззаботно весел и остроумно жив, как сидя у домашнего камина со своею любимой и преданной женой. Как ребенок, был он охотник до игры и шуток; столь же чистое, как и ясное, воображение его следовало лишь естественным побуждениям, и он ни для кого не мог насиловать и оскорблять своей природы».

VIII

Переезд в Лондон, где он поселился в окрестности, подействовал благотворно и на литературную деятельность Гуда. С этого времени в его юмористических пьесах содержание становится глубже, и те серьезные струны, которые почти не издавали звука с той поры, как был написан «Сон Евгения Арама», стали звучать все внятнее в его стихах.

К несчастию, материальные лишения не позволили ему вполне отдаться более спокойному и обдуманному труду. Надежда вздохнуть хоть немножко вольнее была в нем довольно сильна перед изданием его германских впечатлений — и ей было основание. Но книга, на которую было потрачено так много труда и которая нашла себе так много читателей, не могла не только обеспечить его на некоторое время: она не дала ему даже средств перевезти свою семью из-за границы. Он должен был для этого продать рукопись, которою, вероятно, был недоволен сам, а именно роман «Тильни-Голль». Этот роман прошел едва замеченным, как, впрочем, и заслуживал того. Итак, в Лондоне ждала Гуда та же более или менее срочная работа и вдобавок процесс с издателем рейнских очерков, конца которого Гуд так и не дождался при жизни. В журнале «New monthly magazine», издававшемся тогда под редакциею Теодора Гука, вместо юмористических статеек и стихов стало ежемесячно являться по отделу юмористической поэмы «Мисс Кильмансегг», блестящей по форме и остроумной по содержанию. Писать поэму из месяца в месяц с непременной обязанностью доставить в известный срок в типографию известное число листов — задача очень тяжелая; поэма — не фельетон. Томас Гуд сумел, однако, и при этом неудобном способе работы написать произведение во многих отношениях замечательное.

Общество для пособия бедным писателям, известное в Англии под именем «Литературного фонда», хотело помочь Гуду и избавить его хотя отчасти от тяжелой необходимости работать на срок при таком расстроенном здоровье. Комитет общества единогласно решил послать ему 50 фунтов стерл., самую большую сумму, какая назначается им в пособие, и сделать это, вопреки уставу, не дожидаясь просьбы нуждающегося. Но Гуд не хотел обязываться и отнимать пособие

у более бедной братии, пока мог работать, хотя бы и через силу: он возвратил деньги.

В августе 1841 года умер Теодор Гук и «Новый ежемесячный магазин» остался без редактора. Искателей этого места было много; но получил его именно тот, кто и не думал искать. Издатель, мистер Кольборн, сам предложил Томасу Гуду из прежних сотрудников «Магазина» сделаться главным его редактором. Кроме прежней платы за статьи по листам, редакторское вознаграждение равнялось 300 фунтам ежегодно. Понятно, как были рады Гуд и его жена такому счастливому обороту дел. После бедности или по крайней мере очень частых недостатков триста фунтов были решительно богатством. В письмах Джен к друзьям сохранились строки почти детского восторга от нового прочного положения, в какое становится ее муж, и от возможности жить без постоянных лишений, без неусыпных забот о завтрашнем дне.

Журнал Кольборна шел под управлением Гуда так же хорошо и успешно, как и при прежнем редакторе; но Гуд не совсем был доволен своими чересчур зависимыми отношениями к издателю и в конце второго года стал подумывать, не лучше ли бы было ему затеять такое же издание самому. Для начала нужны были деньги, и Гуд вскоре нашел партенера, который предложил ему свои услуги в этом отношении. Потом, и очень скоро, оказалось, что у этого капиталиста денег не больше, чем у самого Гуда, и он рассчитывал нажиться чужим трудом. Опять неприятности, опять хлопоты; но дело кой-как уладилось, и «Магазин Гуда» с приложением «Комической смеси» (вроде «Свистка», хотя на нее и не думали напускаться «серьезные» английские журналы, как на оскорбление литературного достоинства) стал выходить настолько аккуратно, насколько позволяло работать издателю его физическое истощение.

Но незадолго перед тем, как Томас Гуд напечатал комическое и веселое объявление о новом журнале, имя его, и прежде уважаемое, было повторено из конца в конец по всей Англии с новым и горячим сочувствием; это заранее ручалось за успех его журнального предприятия. Дело в том, что в нумере недавно основанного «Панча», вышедшем на святках 1844 года, явилась знаменитая «Песня о рубашке». Правда, под нею не было никакой подписи, но многие, и между прочим Диккенс, сразу угадали автора, и Гуд дол-

жен был, в одной из газет, подтвердить эту догадку. Бедственное и безотрадное положение лондонских швей не было нисколько преувеличено в «Песне», и не было журнала, который не поспешил бы перепечатать горячий и справедливый протест Гуда. Сам он был удивлен этим неожиданным успехом, которого не ожидал. По странному стечению обстоятельств он являлся до сих пор в литературе по преимуществу как комический писатель и успел почти убедиться, что легкая сатира — лучшая сторона его таланта. Это было не совсем так, как показали его последние серьезные произведения. Мистрис Гуд, запечатывая рукопись «Песни о рубашке» для отсылки в редакцию, говорила мужу: «Вот увидишь — припомни мои слова — успех будет необыкновенный; ты мало что писал лучше». Слова эти были верным пророчеством. Мало того, что «Песню о рубашке» перепечатывали все газеты, начиная с «Times»'а, что ее тотчас же стали переводить на все языки и, разумеется, пародировать, она явилась даже отпечатанною на бумажных носовых платках. Но что глубоко и более всего трогало Гуда, это то, что бедные создания, скорби и лишения которых он выразил так полно и красноречиво, усвоили слова его песни, прибрали к ней заунывный и несколько дикий мотив, и часто можно было слышать, идя по тесной и глухой улице, где во всех углах гнездится нищета и горе, скорбную жалобу, напеваемую женским голосом:

Работай! работай! работай,
Пока не сожмет головы, как в тисках!
Работай! работай! работай,
Пока не померкнет в глазах!

. . . .

О братья любимых сестер!
Опора любимых супруг, матерей!
Не холст на рубашках вы носите; нет!
А жизнь безотрадную швей!

. . . .

Ах, что мне до смерти? Ее не боюсь,
И сердце не дрогнет мое,
Хоть тотчас костлявая гостья приди!
Я стала похожа сама на нее.
Похожа от голоду я на нее...
Здоровье не явится вновь.
О боже! зачем это дорог так хлеб!
Так дешевы тело и кровь!

IX

В издании Гуда, которое началось с января 1844 года, приняли участие лучшие писатели: Барри Корнволь, Диккенс, Бульвер, Роберт Броунинг, Джемс, Монктон-Мильнз и мн. др. «Hood's magazine», как и бо́льшая часть литературных ежемесячных журналов в Англии, не был выражением какой-нибудь политической тенденции; задачей его было доставлять каждый месяц читателям возможно более занимательных повестей, юмористических очерков, хороших стихов и краткое обозрение новостей в литературном и театральном мире. Этим требованиям журнал Гуда удовлетворил как нельзя лучше, и у него сразу явилось довольно читателей. Издатель, казалось, хотел положить в него всего себя. Первый нумер состоял больше чем наполовину из его собственных статей. Но такие усилия были пагубны для Гуда, и не дальше как через полгода, именно в июньском нумере «Магазина», была помещена следующая заметка друзей издателя:

«С чувством глубочайшей горести приходится нам известить наших подписчиков и публику об обстоятельствах, которые в течение прошлого месяца лишили этот журнал неоцененного участия его издателя. Тяжкие припадки давно уже истощающей его болезни, кровотечение из легких, вследствие расширения сердца (которое в свою очередь есть следствие изнурительного возбуждения и беспрерывного и чрезмерного литературного труда), эти припадки в несколько недель произвели в мистере Гуде такое истощение, такой страшный упадок сил, что мы долго опасались, останется ли он жив. Тем не менее до самого четверга 23-го числа (журнал выходил всегда 1-го) он не оставлял надежды, что у него достанет силы приготовить к этому нумеру продолжение повести, начатой в прежних книжках, и даже хотел, чтобы в содержании журнала, посланном заранее для объявления в газетах, было помещено заглавие повести. В тот же вечер, сидя в постели, он пытался набросать несколько комических рисунков для журнала; но даже это усилие так изнурило его, что ночью у него сделался крайний упадок нерв и сильный бред. На следующее утро доктора объявили, что повторение подобных попыток в такой критический период болезни может стоить ему жизни. Мы уверены, что это краткое объявление встретит сочувствие и снисходительность наших подписчиков к мистеру Гуду;

они увидят притом, на каком основании было объявлено в газетах продолжение его повести. Нам приятно сообщить, что теперь силы мистера Гуда понемногу восстанавливаются, и мы имеем повод надеяться, что в ближайшем нумере появятся обещанные им новые главы повести и его рисунки.

Сознавая свою слабость и неверность руки, мистер Гуд бросил карикатурные очерки, о которых мы упомянули, потому что считал их не стоющими печати. Но мы думали, что контраст между их веселым юмором и тем страданием и изнурением, в каком они были набросаны, придаст им особенный интерес, независимо от их других достоинств. Может быть, они напомнят многим, каких тяжких усилий стоит иногда пища беззаботной веселости и как часто удовольствие *многих* покупается горькими страданиями *одного*.

Поэтому, на этот только раз, мы не послушались нашего главного редактора и поместили два из его последних рисунков».

Немного поправившись, Гуд был послан докторами отдохнуть и подышать свежим воздухом в окрестностях Гринвича. Он пробыл там два месяца и воротился настолько окрепшим, что мог опять с прежней энергией приняться за свой журнал. Но это было ненадолго. В октябре мистрис Гуд писала к де-Франку, что он уже не чувствует себя никогда хорошо, что малейшая перемена погоды отражается на нем, что он не может сделать и нескольких шагов не истомившись. К этому известию Гуд сам сделал такую приписку: «Жив я, жив! Уж если три доктора не сумели уходить меня, так верно я еще проживу годик-другой. А действительно я чуть не отправился удить в Лете рыб забвения. Что вы толкуете о моих излишествах! Даже и легкое-то пиво дают мне с водой, и по балам я не разъезжаю».

Еще прежде, когда опасность не была так близка, Томас Гуд подслушал раз спор между своими детьми о себе.

— Папа литератор,— говорила девочка.

— Нет, не литератор,— возражал мальчик. — Я знаю, кто он такой.

— Кто же?

— Он не литератор, он инвалид.

Теперь трудно уже было бы оспоривать маленького Тома.

Около этого же времени в письме к Бульверу Гуд говорил: «Может быть, мне и вредно работать так много, но, не говоря уж о необходимости, я от долгой привычки никак

не могу не работать головой; может быть, эта постоянная работа мозга происходит оттого, что я лишен возможности быть деятельным физически. Я сплю мало, и голова у меня точно какие сени, в которых горит всю ночь лампа. Так будет до самого конца. Я должен умереть в доспехе — как герой, или, пожалуй, в сбруе — как лошадь».

Круг друзей и почитателей Гуда видел очень ясно, что эта лампа прогорит уже недолго. Яркий блеск ее был, может быть, последними вспышками угасающей светильни. Надо было позаботиться если не о том, чтобы спасти жизнь самого Гуда (в этом уже все отчаявались), то по крайней мере о каком-нибудь обеспечении для жены и детей. Зимой Гуд получил полуофициальный запрос, кого из своего семейства желал бы он выбрать для получения пенсии, которую думает назначить ему правительство, видя его тяжкое положение. Томас Гуд назвал свою жену, и ей дали сто фунтов ежегодного пожизненного пособия.

Роберт Пиль написал по этому случаю любезное письмо к Гуду, в котором жалел о ничтожности суммы, назначенной в пенсию, говорил о том, что читал все, написанное Гудом, и принадлежит к числу ревностных его почитателей, и наконец замечал, что пенсия от правительства ни к чему его не обязывает. «Вы можете писать с сознанием полной независимости,— говорил он,— так же свободно и не стесняясь, как если бы между нами не было никаких сношений».

Этого можно было бы и не говорить, потому что Гуда купить было нельзя; но ведь и такого взгляда не всегда дождешься от людей, вознесенных на недоступные высоты величия, где так же холодно и сурово, как на высоких горных вершинах. Спасибо и за то!

X

С замечательным терпением переносил Гуд свои страдания. От него не слышно было ни слова жалобы, и, страдая сам, он посвящал свои последние думы страданью ближних. После «Песни о рубашке» он написал еще несколько стихотворений того же характера, в которых нашли свой голос бедствия бедных классов. Таковы: «Сон леди» (эта пьеса менее всех удалась), «Фабричные часы», где унылой и грозной процессией проходят перед глазами поэта миллионы

голодных и оборванных работников, от ропота которых гул стоит над туманным Лондоном. («Неевшие, идут они по Мясной и Хлебной улице; томящиеся жаждой — по Молочной; полунагие — по Улице портных».) Таковы в особенности пьесы: «Мост вздохов», этот горький плач над бедной утопленницей, убитой нищетой и безумием общественных нравов, и «Песня работника», которая произвела почти такое же впечатление на всех, как и «Песня о рубашке».

Вот она в подстрочном переводе:

«Дайте лопату! грабли! заступ! лом или топор! серп для жнитва, или косу для косьбы, или цеп, или что хотите! Вот вам привычные руки на всякую работу, наученные тяжелыми уроками в суровой школе Труда!

Плетень ли плести, канаву ли рыть, подрезывать ли сучья, рубить ли дрова, удобрить ли засохшее поле, взрыть ли сохой упорную ниву, класть ли сено в стога, ставить ли хлеб в копны — на все я готов,— и не бойтесь, что у меня будет в кармане трут или фитиль.

Мыслям моим никогда не представляются пылающие фермы или житницы; одного огня мне хочется, чтобы разложить его и зажечь в домашней моей печи, где ежатся и жмутся мои дети в долгие и темные зимние дни,— где ежатся и жмутся мои голодные дети и рады бы поглядеть на веселый огонек; румянца мне хочется на их бледных щеках, а не пожарного зарева.

Тот, кто шлет на поля бездождие и иссушает их, кто затопляет тиной луга, кто насылает на хлеб саранчу,— пусть он направит громовую стрелу в ее извилистом пути, и ударит в житницу скряги, и явит свой гнев в красных как кровь небесах!

Дайте лопату! грабли! заступ! лом или топор! серп для жнитва, или косу для косьбы, или цеп, или что хотите! Хлеб ли молотить, забор ли ставить, или чинить загороди и не трогать вашей дичи...

Ах, дайте мне только работу, и вам нечего будет бояться, что я поймаю в силки зайца его милости, или убью оленя его сиятельства, или вломлюсь в дом его светлости, чтобы украсть у него золотое блюдо, или повалю в ров его егеря, как увижу у него кошелек с деньгами.

Куда бы меня ни потребовали, какой бы труд ни задали, я не уклонюсь ни на минуту от самой тяжкой работы, только бы избежать стен рабочего дома, где лютый закон

ворчит, зачем смеет дышать дитя у нищего, и обрекает жену на вдовью жизнь прежде, чем умер ее муж.

Одного я хочу: усильным и черным трудом законно добывать себе хоть какое-нибудь пропитание; был бы только насущный хлеб, да ночлег, да кусок ветчины и глоток пива,— но всё лишь из тех рук, которые правят страной, и ничего из рук попечителя убогих.

Я не хочу приходских денег, приходского хлеба; не хочу билета на нищенство. Сын этой земли, по праву труда требую я себе пропитания. Я не прошу милостыни, дайте мне работы: вот мои руки, ноги; с этой крепостью и силой я хочу работать, а не христарадничать.

Я ведь тоже один из потомков Адама, хотя и обречен случаем рождения одеваться жалко и есть скудно и не знать, каково сладкое; только бы и этот-то скромный обед достать честным трудом; хоть бы кость да корка, да по милости божьей, а не по милосердию людскому.

Дайте лопату! грабли! заступ! лом или топор! серп для жнитва, или косу для косьбы, или цеп, или что хотите! Какая бы ни была работа, вот вам готов работник, крепкий и здоровый,— и горе тому, кто позавидует его плате;

Кто при каждом недельном расчете отжиливает какую-нибудь жалкую копейку у труженика и кладет ее на церковной паперти в кружку для бедных, которых сам же грабит. Тот самый шиллинг, что он надеялся сберечь, найдет меня же, как сломится здоровье и не выдержит честность, в Новой Бастилии, в больнице или в остроге!»

Чувство, высказавшееся в этих стихах, было не пассивно у Гуда. Если б не постоянная борьба с болезнью и трудом, бедные и несчастные имели бы в нем твердого и любящего заступника не только в литературе, но и на деле.

Весною того года, как была напечатана переведенная нами «Песня», Гуд принял серьезное участие в деле одного молодого работника, Гиффорда Вайта. Его призвали к суду за то, что он написал угрожающее письмо к фермерам своего околотка. Молодость подсудимого (ему всего было восемнадцать лет) не смягчила приговора. Его признали виновным и присудили к пожизненной ссылке.

Гуд апеллировал с своей стороны в суд; но, к несчастию, протест его остался без успеха и приговор над Гиффордом Вайтом был исполнен.

Как бы то ни было, но уже одно это старание помочь несчастному говорит красноречиво о сердце и уме Гуда. Не знаем, что удержало издательницу «Записок» напечатать целиком письмо ее отца: думаем, что какие-нибудь английско-пуританские соображения, и очень жалеем, что приходится ограничиться немногими отрывками. Впрочем, и из них достаточно ясен смысл протеста.

«Мне кажется, я слышу (говорит Гуд) слова: «Надо было сделать это для примера». Такой взгляд сопровождается всегда в известной степени жестокостью, если не несправедливостью относительно той стороны, которая избирается для наказания in terrorem [1]. Он сознался в своем поступке; а сознание вообще уменьшает степень вины. Его молодость должна тоже служить одним из обстоятельств, говорящих в его защиту; да, притом, надо же сообразить, что угроза не заключает в себе необходимого замысла, а тем паче исполнения. Сделанное им обращение «к фермерам» вообще показывает, что он руководился не чувством личной злобы. В угрозе нет ничего прямого и положительного. Ясно, что не намерения писавшего породили его угрозы; напротив, он выражает жалобу и взывает (по-моему, в высшей степени трогательно) к разуму, к справедливости, даже к состраданию тех самых людей, которых, по его словам, «стоило бы сжечь ночью в постели». Кто может слышать хладнокровно этот знаменательный вопрос и ответ, сделавшийся кличем тысяч и тысяч способных и готовых трудиться, но умирающих с голоду работников: «Что нам делать, если вы не дадите нам работы? Нам надо что-нибудь делать. Больше мы не можем выдерживать».

Эта апелляция была обращена Гудом к сэру Джемсу Граму (Graham), в то время заведовавшему внутренними делами при министерстве Роберта Пиля. Это был человек самых шатких политических убеждений, сегодня кажущийся либерал, завтра тупой реакционер, а послезавтра, пожалуй, опять друг прогресса. Честолюбивый без такта, необходимого для успеха, холодный и черствый администратор, он едва ли и прочел внимательно записку поэта, стало быть фантазера, плохо понимающего практическую жизнь, и ограничился только официальною распиской в получении. А между тем для него было не трудно облегчить участь осужденного.

---

[1] для острастки (*лат.*).

«В вашей власти, сэр Джемс Грам (писал Гуд), отогнать преследующий меня призрак. Но это еще неважно. Вы можете своим заступлением у земного источника милости превратить эту меланхолическую тень в более счастливую действительность, в человека оправданного. Не отраднее ли будет, если такой образ станет являться нашему воображению и видеться нам в тех снах, которые, как думал Гамлет, могут успокоивать или тревожить нас в могиле? Подумайте, сэр, о бедном Гифforде Вайте, разберите его печальное дело и обратите на него свое человечное чувство, как на брата нашего по человечеству, одаренного бессмертною душой, которая может когда-нибудь встретиться с вами лицом к лицу во образе ангела.

Если мое ходатайство останется небезуспешным, оно будет для меня драгоценнейшим поступком моей жизни. Я не стану раскаяваться, что употребил свое перо на дело для него непривычное; не стану роптать на беспокойство и тревогу, какие причиняли мне роковые посещения этого несчастного призрака. Во всяком случае, с меня ответственность снята. Я облегчил свое сердце, успокоил свою совесть и дал отпущение своей душе».

Можно почти наверное сказать, что дело Гифforда Вайта, затронувшее за живое Гуда, было одним из ближайших поводов к его «Песне работника»: с самого начала года краткое извлечение из этого дела было постоянно на глазах у Томаса Гуда. Оно лежало на самом видном месте его кабинета, на карнизе камина, и поэт был, конечно, почти буквально прав, говоря о являющемся ему призраке. Всякий раз при взгляде на этот лист газеты в воображении его должен был возникать жалкий образ юноши, павшего жертвой общественного неустройства и виновного только в том, что он не умел выносить молчаливо и своих и чужих страданий.

Частный случай, в другое время, может быть, и не возбудивший бы такой грозы со стороны английского правосудия, представлялся судьям теперь особенно важным потому, что в обществе со всех сторон начинали всё сильнее и сильнее раздаваться голоса недовольства. Лига против хлебных законов росла не по дням, а по часам; подавляемый несколько раз чартизм начинал опять волновать массы. Роберт Пиль, этот великий тормоз, и решался и не решался, посреди ожесточенного упорства своей партии, приподнять немного консервативную лапу с общественных колес. На последних

произведениях Томаса Гуда отразилось именно это беспокойство всего общества. Еще ранее общее недовольство народа нашло себе энергического, хотя не столь глубокого и даровитого поэта, как Гуд, в Эбеназаре Эллиоте. Он сам вышел из рабочих классов, своим опытом узнал всю тягость и горечь положения фабричных и земледельцев, и песни его против хлебных законов вошли в народ, пелись всюду и значительно поддерживали тревожное настроение, вместе с шумною пропагандой лиги, основанной Кобденом. «Песня о рубашке», «Песня работника», «Фабричные часы» Томаса Гуда служили тому же делу освобождения и оттого были встречены с таким сочувствием и так скоро выучены наизусть всеми. Разница между двумя поэтами, кроме степени поэтического таланта, заключалась и в том, что в стихотворениях Эллиота больше ожесточения и угрозы, чем призывов к милосердию, как у Томаса Гуда. Это различие будет всего лучше видно из сравнения «Песни работника» с следующим стихотворением «поэта хлебных законов» (cornlaw poet), как прозвали Эллиота:

«Они взяли стол, стулья, кровать,— и ушли. Диким взглядом смотрел он им вслед. Напрасно старалась его удержать его чахлая жена; видно было по наморщенным бровям его, что он собирается в кабак. Ура, хлебная такса и Англия!

Безмолвно сдавила она руками свой беременный живот; потом зарезала ребенка, стоявшего в уголке,— и принялась целовать его и кричать, приговаривая: «Что это мать *меня* не зарезала!» Ура, хлебная такса и Англия!

Она поднялась и слабо дотащилась до чердака. Ах, тут было последнее ложе ее младшего малютки! Не на что было купить ни могилы, ни священника,— и уж не первый месяц лежал тут ребенок в гробу. Ура, хлебная такса и Англия!

А где-то теперь сестра его? Господи! Она умирает там, где не умирают чистые женщины. Умирает обесчещенная, вдали от родных. «Матушка, где ты?» — стонет она в своей горенке. Ура, хлебная такса и Англия!

Вот обезумевшая мать и перед судом, и никто не говорит: «Да ведь она сумасшедшая!» Холодно и тупо теснится толпа на площадь; муж смотрит пьяными глазами, как вешают жену. Ура, хлебная такса и Англия!

Скоро и его поведут в кандалах. А кого, за что убил он, злодей? Бедную вдову, смученную горем,— за то, что

она просила у него платы за нанятый угол. Ура, хлебная такса и Англия!

О торгаши нуждою, кровью и потом ближнего! Пусть выжжется навеки то, что вы делаете! Да уж и выжжено — выжжено оно в отчаянно бьющихся сердцах, глубоко выжжено горючими кровавыми каплями. Ура, хлебная такса и Англия!»

Как ни страшны эти картины, в них не было преувеличения. То же и в таких же темных красках рисовали в своих пламенных речах ораторы лиги, собирая вокруг себя тысячи народу в лондонских театрах Друри-Лэна и Ковент-Гардена. Один из самых горячих заступников рабочего населения Англии, Вильям Джонсон Фокс, говорил вот что в одной из своих речей: «Вы хотите знать, что самого вредного, самого страшного и убийственного произвела наша хлебная пошлина? Мы сейчас бы могли увидать; только стоило бы переменить наших слушателей. (Это говорилось со сцены Ковент-Гарденского театра.) Идите по закоулкам, по черным дворам, по подвальным этажам, по чердакам! Соберите их жалких, чахлых и голодных жильцов! Приведите их сюда, этих несчастных, рассадите по этим ложам, креслам, балконам и галереям! Посмотрите на их недужный и жалкий вид, на их бледные, осунувшиеся щеки, на эти глаза, полные тоски, на это темное горе, врезавшееся в их лица! От этой картины смутится самое упорное сердце; самое жестокое сердце смягчится. Я подвел бы к ней нашего первого министра и сказал: «Взгляни, представитель власти, глава законодателей, страж наших учреждений! взгляни на эту массу скорби и страдания! Может быть, и не ваши законы, не ваша власть породили этот ужас; но вы не умели ни предупредить, ни уничтожить, ни даже смягчить его». Ответ был бы известный. «Что ж! ведь несчастные были всегда в сем мире. Много есть бедствий, в коих законы невиноваты, коих уврачевать они не в силах. Что ни делайте, бедность все-таки останется на земле; такова воля провидения». На это я сказал бы в свою очередь нашему первому министру: «Ханжа! ты не смеешь, не имеешь права прикрываться такими доводами! Сними карантины с промышленности! выплесни отраву монополии из чаши бедняка! отдай труду его святое право! и, если бедствие не кончится, обвиняй тогда провидение!»

Этот едкий упрек относился прямо к сэру Роберту Пилю. С не меньшей горечью обращался к нему Кобден в парламенте в 1843 году, обвиняя его в ужасном зрелище нищеты и беспомощности, какое представляют мануфактурные округи на севере Англии. Но так называемое «достоинство» власти ценилось Пилем выше народных бедствий, и он только спустя три года почувствовал страх перед общественным мнением, и тут сумел-таки одеться в трагическое величие, разрывая связи с партией, представляющею в Англии самую упорную задержку движения. На упрек Кобдена у него достало тогда духу заподозрить этого благородного, прямого и открытого поборника народных интересов в сношении с убийцей своего секретаря Друммонда, в которого попала пуля, направленная в первого министра.

Мы недаром остановились на личности Роберта Пиля. Томас Гуд, получивший, как сказано выше, пенсию на имя жены, был значительно обязан этим консервативному министру. Трудно думать, чтобы последняя деятельность демократического поэта была ему по сердцу. Она была отголоском именно тех общественных стремлений, которым Пиль старался противиться до последней крайности. Как известно, даже в этих крайностях он подавался лишь на слабые уступки. Томас Гуд не мог не чувствовать, что отношения его к первому министру фальшивы; он видел только его полумеры в вопросе об отмене хлебной пошлины и не подозревал, конечно, что совершенная отмена их будет через несколько лет единственным правом Пиля на добрую память в потомстве; Гуд видел в нем теперь только противника тех мер, за которые заступалось его сердце. Желая ли оправдать свое неловкое положение, или поддаваясь довольно общему в Англии мнению о необходимости в государственной жизни элемента, представляемого партиею Роберта Пиля, но Томас Гуд начал, по-видимому, клониться к оправданию действий этого представителя власти. Так по крайней мере можно заключить из письма к первому министру, отправленного Гудом за несколько дней до своей смерти. Мистрис Бродрип, печатая это письмо в своих «Записках», приходит от него в безусловный восторг. Мы не сомневаемся в его искренности; но оно производит на нас более грустное впечатление, и нам хотелось бы объяснить его тем упадком сил, в котором был в это время его автор. Гуд был плохой политик; но честное и доброе сердце его никогда не принимало стороны сильного в его борьбе со слабым. Поэтому письмо

к Пилю кажется каким-то странным диссонансом в его жизни. Чувство благодарности за обеспечение будущей судьбы его семейства не могло заставить его закрыть глаза на ожесточенное противодействие улучшению быта бедных классов, столь дорогих и близких его сердцу. Можно ли было обвинять литературную партию, к которой он принадлежал сам, в излишней резкости и озлоблении, когда ей приходилось бороться с упрямым и жестоким эгоизмом?

Чтобы эти замечания были вполне ясны читателю, переведем самое письмо Томаса Гуда.

«Милостивый государь,— писал он,— мы уже не увидимся в этом мире. Доктора отказались от меня, да и сам я отказался. Жизнь поддерживается во мне только частыми приемами гретого вина. В этом жалком состоянии я окружен, однако, удобствами, за которые не могу не благодарить вас снова со всею искренностью умирающего. Мне хотелось в то же время от души проститься с вами.

Благодаря бога я вполне владею своим сознанием и голова у меня в порядке; но авторское поприще мое кончено. Физическая слабость моя не позволяет уже мне взяться за перо; иначе я написал бы несколько предостерегательных страниц противу зла или опасности от того литературного движения, в котором и я принимал участие. В нем выражается односторонняя гуманность, составляющая контраст всеобъемлющей шекспировской симпатии, которая относится с равным сочувствием и к королю и к крестьянину и умеет оценить настоящим образом земные искушения обеих сторон. Некоторые классы общества слишком разъединены между собою; мы, писатели, должны бы были сближать их кроткими мерами, а не усиливать существующий антагонизм, не расширять бездну, разделяющую бедняка от богатого, разжигая ненависть в одном, страх в другом. Но я слишком слаб для исполнения этой задачи, которую поставил себе в последнее время; смерть, как вы видите, останавливает мое перо, а не пенсия.

Бог да благословит вас и ваши меры ко благу моего дорогого отечества».

Программа Гуда была бы справедлива, если бы здравый смысл и естественные требования от жизни были основным законом человеческих обществ и бедствия известных клас-

сов были только делом случая. Но пока этого нет, литература не может не быть разделена на враждебные партии, как и самое общество, не может не участвовать точно также в борьбе; а какая же борьба без страсти, без ожесточения? Гуд, обвиняя литературную партию, к которой принадлежал сам, в излишней страстности, забывает, что слепое упорство тех, с кем приходилось сражаться, вызывало самым законным образом такую страстную реакцию. Что сделало убеждение Гуда в деле бедного работника, за которого он вступился перед сэром Грамом? Какое кроткое соглашение способно было предотвратить междоусобную войну, которая обливает теперь кровью североамериканскую республику? Мир и спокойствие могли бы быть куплены только постыдными уступками правой стороны. Враждебное столкновение такого же рода интересов разделяло Англию на два лагеря в то время, когда приходилось действовать в литературе Томасу Гуду. Бесстрастие, которого он желает, к несчастию довольно сильно овладело в настоящее время английскою литературою и значительно отодвигает решение самых настоятельных задач общества.

Повторяем, письмо Томаса Гуда к Роберту Пилю, на которое первый министр отвечал благосклонной и в то же время ледяной запиской, было по нашему мнению лишь следствием предсмертного упадка в нем энергии.

XI

Нам остается рассказать только несколько фактов литературной деятельности Гуда после появления в печати «Песни работника». Их уже немного.

Английские литературные журналы прилагают всегда особенное старание к своим декабрьским книжкам, которые выходят к святкам, самому веселому празднику в Англии. Томас Гуд не отступил от этого обычая, и святочный нумер его «Магазина» был полон остроумия и веселости. Сам Гуд написал для него юмористический рассказ «Пуддинг мистрис Пекк» и украсил его самыми комическими иллюстрациями.

«Этот рассказ и его рисунки,— говорит дочь Томаса Гуда,— забавляли на святках много семейств, собравшихся

у камина; но не семью автора. Мы никогда не наслаждались вполне его юмористическими фантазиями, потому что все они соединялись в нашей памяти с болезнью и тревогой. «Комический альманах» Гуда, как он сам замечал с удовольствием, был в каждом доме, читался нарасхват и исчитывался в клочки; но только спустя много лет, когда время успело благотворно смягчить некоторые из горьких воспоминаний, соединенных с «Альманахом», дети Гуда стали находить несмущаемое удовольствие в чтении его. Мне помнится, только одна статья действительно очень позабавила нас в то самое время, как была сочинена. Это рассказ под заглавием: «Мистрис Гарденер». Правда, он был тоже написан в постели; но батюшка не страдал в это время опасными припадками, разрушившими его жизнь, а схватил только легкую простуду. Он был необыкновенно весел и, сидя в постели, диктовал матушке. Мы прерывали его взрывами неугомонного смеха, по мере того, как шутка следовала за шуткой, комическая выходка за выходкой. Он сам почти так же не мог удерживаться от смеха, как и мы. Но это был редкий, чуть ли не единственный случай, потому что обыкновенно батюшка любил писать ночью, когда все угомонится в доме. Семейные удовольствия наши следовали обыкновенно за окончанием его работы; мы так радовались концу этих усилий и срочной поспешности, что нам некогда было думать о самом их результате.

В эту памятную нам зиму,— продолжает г-жа Бродрип,— на рождественских праздниках батюшка, окончив свою усильную работу, слег в постель и покидал ее лишь на несколько минут, чтобы отдохнуть немного в креслах; но и тут был он всегда обложен подушками и закутан в одеяла. В самый день праздника он приплелся — больше для нашего удовольствия, чем для своего собственного — в небольшую гостиную рядом с его спальней и просидел тут два-три часа; но это было печальною насмешкой над удовольствием. Веселый и бодрый дух его, так долго и так храбро боровшийся с тяжкими обстоятельствами и сложными недугами, наконец обессилел,— и он даже и не старался уже казаться веселым. Мне кажется, тут он впервые начал сознавать действительную близость смерти, хотя давно очень хорошо знал, что при его болезни долго прожить нельзя. Теперь он видел, что два-три месяца, а может быть и две-три недели — и его заботы и страдания кончатся вместе с жизнью».

В письме, посланном около этого времени к доктору Эллиоту, г-жа Гуд говорила: «Я боюсь, любезный доктор, что Гуд очень плох; он не может есть; не хочет и вина — от него делается у него кашель. Мне совестно тревожить вас этими опасениями; но вы лучше моего знаете его положение, и он всегда как будто бодрее, когда вы приезжаете. Я буду думать, что ошиблась и бояться нечего, если вы не приедете; и я прошу вас не стесняться моими словами: немудрено, что я преувеличиваю опасность и тревожусь чересчур,— нервы у меня совсем расстроены, потому что я постоянно все одна с ним». К этому письму больной вздумал сделать приписку в своем прежнем шутливом тоне; но это была напрасная и неудачная попытка.

Впрочем, еще раз болезнь дала ему отдохнуть; но и этот краткий последний срок вместо отдыха посвятил он работе. Мысль о выпуске январской книжки «Магазина» не давала ему покоя. Он решился во что бы то ни стало, если не окончить, то хоть еще немного продолжить начатую в печати повесть «Наша семья» и написал-таки в постели несколько глав ее. Кроме того, он набросал пять-шесть рисунков и приготовил несколько мелких статей, между прочим коротенький разбор святочного рассказа Чарльза Диккенса «Колокола».

Около этого же времени Томас Гуд написал несколько кратких писем к друзьям, в которых навсегда прощался с ними. В одном из этих писем (именно к поэту Мойру) он говорил: «Бог да благословит вас и всех ваших, и прощайте! Посылаю вам эти строки, как посылают в бутылке записку с утопающего корабля. Я иду ко дну; чахотка вступила в последний свой период».

Вышел и февральский нумер «Магазина», под редакциею Варда; в нем напечатаны были еще две главы «Нашей семьи» и прекрасные стансы Гуда, написанные им в одну из тех минут, когда болезнь позволяла ему вздохнуть несколько свободнее. Вот эти стансы в переводе:

«Прощай, жизнь! Чувства меня покидают, и мир померкает передо мной; тени густеют и застилают свет, словно ночь наступает; все холодней, холодней и холодней наплывает сырой туман; все слышнее становится запах земли, могилы, и заглушает запах роз!

Здравствуй, жизнь! Дух мой воскресает! возвращается сила и оживают надежды; темный страх и грозные образы

разлетаются, как тени при появлении утра. Земля расцветает, и тяжелая мгла сменяется солнечным светом, холодный туман — теплым ароматом. Запах розы мне слышнее запаха могилы!»

Эти стихи были последние, написанные Томасом Гудом. Радостное приветствие жизни было напрасно: смерть подходила уже к нему быстрыми шагами.

Последние нумера «Гудова магазина» (их вышло еще два, в марте и в апреле) были уже печальными бюллетенями о болезни его основателя. Приложив к мартовской книжке портрет Гуда, Вард извещал уже читателей о безнадежности его положения.

Дружба и сочувствие, окружавшие постель Гуда, не могли отвратить решения судьбы; все старания медицины оставались напрасными. Гуд угасал с каждым днем, но все еще обращался с веселыми словами и ясною улыбкой к многочисленным старым и новым друзьям, которые приходили навестить его и проститься с ним. Сочувствие проявлялось и в людях, знавших Гуда только по его сочинениям: лица, неизвестные никому в доме, справлялись о ходе его болезни, присылали вина, фруктов, дичи, чтобы возбудить его погасающий аппетит. Были даже безымянные письма со вложением денег.

Ближайшие соседи, которые в Лондоне обыкновенно находятся в самых далеких друг к другу отношениях, выражали глубокое участие к умирающему. Один джентльмен ежедневно присылал своего кучера помогать пересаживать больного из постели в кресла; другие стучали в стену, предлагая свою помощь, когда ночью слышалась в доме необычная суета. Одна леди, услыхав, что Томас Гуд любит запах фиалок, присылала букеты этих цветов для столика у его изголовья.

«Присутствие духа было в нем замечательно,— рассказывает мистрис Бродрип,— несмотря на его врожденную нервозность, еще более усиленную болезнью. Раз я сидела ночью одна у его постели; матушка пошла отдохнуть немного, совсем истомленная бессонными ночами. Около полночи у него вдруг пошла горлом кровь. Когда кровотечение прекратилось на время, он потребовал карандаш и бумаги и спросил, не боюсь ли я оставаться с ним. Я слишком уж привыкла к его положению и отвечала: «Нет». Тогда он стал писать на клочке бумаги свои желания относительно буду-

щего устройства семьи и писал с таким спокойствием, как будто дело шло о чем-нибудь постороннем. Он не велел мне будить матушку. Когда приехал доктор и предписал приложить ему льду, батюшка написал на бумажке адрес, где можно ближе достать его, и не забыл велеть приготовить чаю для доктора, потому что ему приходилось ждать. И эти распоряжения делал он как раз во время самых припадков, которыми, как мы были почти убеждены, кончится его жизнь.

Я не нахожу слов, чтобы передать его терпение и покорство посреди жестоких страданий его в последний месяц, когда, как он сам говорил, смерть овладевала им «вершок за вершком». В минуты между страшными агониями, потрясавшими все истощенное существо его, он совершенно спокойно говорил нам о будущих наших планах и объяснял, чего бы он желал относительно нас. По временам мы бывали принуждены уходить от него, чтобы скрыть от него и осилить свою глубокую скорбь. С таким примером перед глазами, нам следовало сдерживать тревожное биение сердца и сохранять ясную улыбку на лицах; это была трудная задача, но дорогой наш страдалец сам же ободрял и утешал нас. Матушка несла свое горе с мужеством и полною преданностью; потом, когда пересиливать себя было уже не для кого, эти усилия отозвались полным истощением на ее слабом организме.

Весна была чудная в этот год, и батюшке отрадно было видеть и чувствовать ее даже и в постели. Казалось, он с большею страстью любовался ясным весенним солнцем и дышал ясным весенним воздухом. Он всегда как дитя любил природу и обладал вполне редкою способностью — беззаветно наслаждаться и светом дня и красотою цветка. У него была одна из тех сочувственных тонко-развитых натур, которые умеют с равною энергиею и страдать и отдаваться наслаждению. Раз он сказал нам: «Хорош этот мир; с тех пор как я лежу в постели, я все думаю это. Он не так дурен, даже с человеческой точки зрения, как хотят его сделать люди. Я прожил в нем несколько очень счастливых дней,— и хотел бы еще немножко пожить. Но — все к лучшему».

К страданиям Томаса Гуда, ежедневно возраставшим, прибавилась в последние дни еще водяная. За днями изнеможения следовали ночи агонии и бессонницы. Он то впа-

дал в беспамятство, то бредил, и в этом бреду можно было разобрать те же слова любви, с какими он обращался к жене и детям, когда владел своими чувствами.

Однажды ночью, думая, конечно, о своей милой Джен, он повторял слабым голосом, как во сне, трогательные слова песни Борнса:

«Ухожу я, Джен,— таю, как снег в поле, Джен! Ухожу я — в страну правды!

Но не плачь, моя Джен,— свет не стоит забот, Джен! Мы опять встретимся, и будет нам хорошо—в стране правды!»[1]

Вечером первого мая, чувствуя приближение смерти, Томас Гуд позвал к своей постели жену, дочь и сына, которому только что исполнилось десять лет. С нежною любовью благословил он их и потом, тихо пожимая руку жены, сказал: «Помни, Джен, что я всем прощаю, как, надеюсь, и мне простят...» Затем он лежал несколько времени спокойно и не шевелясь; дыхание было тихо и трудно. Джен наклонилась к нему. Он едва внятно шептал: «Господи! призови меня!.. Скажи: возьми крест мой — и иди за мною!» Потом он проговорил: «Умираю! умираю!» — и погрузился в забытье. Этот сон длился весь следующий день, а третьего числа, ранним утром, перешел почти незаметно в смерть.

Скромно и без шуму похоронили Томаса Гуда на Кенсаль-Гринском кладбище. Гроб провожали ближайшие друзья покойника и его семья, и к ним присоединилось немало людей, ценивших его как поэта и не знавших как человека.

Верная своей преданной и самоотверженной любви, Джен не долго пережила мужа. Постоянные нравствен-

---

[1] Вот шотландский подлинник:

I'm fading awa', Jean,
Like snow wreaths in thaw, Jean!
I'm fading awa' —
To the land o'the leal!

But weep na, my ain Jean,—
The world's care's in vain, Jean,
We'll meet and aye be fain
In the land o'the leal!

(Прим. М. Л. Михайлова.)

ные тревоги и неустанные заботы о больном изнурили ее и ускорили ее смерть. Она умерла через полтора года и была схоронена рядом со своим Томасом.

В июле 1855 года над могилой Гуда поставили памятник по всеобщей подписке. Это просто большой бронзовый бюст поэта на красивом постаменте из полированного красного гранита. Говоря о своей смерти, Гуд сам желал, чтобы на его могиле были написаны только слова: «Он пропел Песню о рубашке»; и они начертаны на карнизе плиты, поддерживающей бюст. По бокам пьедестала, в двух прекрасных медальонах, изображены две сцены из его же произведений: на одном — утопленница «Моста вздохов», которую выносят на берег; на другом — Евгений Арам, только что захлопнувший книгу и грустно следящий за играми своих маленьких учеников.

Первая мысль воздвигнуть памятник одному из самых народных поэтов Англии принадлежит мисс Элизе Кук, известной во всех классах общества своими прекрасными, симпатическими песнями. На призыв ее, напечатанный в газетах, со всех сторон посыпались приношения, и памятник был готов в два-три года. В подписке участвовали все классы общества, лорды и члены парламента, литераторы и издатели, старые друзья и знакомые и почитатели Томаса Гуда. Бедные тоже не забыли поэта своих скорбей и лишений, и их трудовые шиллинги и пенсы если не усиливали сбора, то свидетельствовали об уважении к памяти Гуда. Из торговых и промышленных городов, Манчестера, Престона, Бейдфорда и Бристоля, были присланы небольшие суммы, составленные в складчину работниками и бедными швеями.

СТИХОТВОРЕНИЯ А. Н. ПЛЕЩЕЕВА

Новое издание, значительно дополненное. Москва, 1861.

Стихи г. Плещеева стали впервые появляться в печати лет пятнадцать или шестнадцать тому назад. Как известно, тогда вдруг ни с того ни с сего редакторы больших и толстых журналов вообразили, что всякая строчка с кадансом и рифмой в конце должна компрометировать их серьезность,— и стихам, каковы бы они ни были, совершенно был загражден вход в важные ежемесячные издания. Начинающим поэтам приходилось печатать свои опыты в жалких газетах, вроде «Литературной» или «Иллюстрации». Конечно, после того как смолкли голоса Лермонтова и Кольцова, трудно было находить отраду во виршах Грекова, Красова, Бернета и тому подобных стихотворцев. Впрочем — виноваты,— это были уж не начинающие поэты; для них был приют в находившейся при последнем издыхании (которое продолжается — увы! и доднесь) «Библиотеке для чтения». Для поэтов получше поименованных открыты были, пожалуй, еще страницы «Москвитянина»; но здесь не особенно лестно было затесаться в соседство с гг. Михаилом Дмитриевым, Федором Глинкой, а иногда и с посмертными творениями какого-нибудь древнего Шатрова. Как бы то ни было, но в последнем журнале был единственный приют для даровитых молодых поэтов, за которыми признавались достоинства и теми журналами, которые отказывались печатать их стихи. Фета, Полонского только и можно было встретить, что в «Москвитянине». Г-н Майков, которому при его первом появлении пророчили, что он чуть ли не будет заменой Пушкина, совсем приуныл на это время и смолк. Сколько помним, ни об одной книжке стихотворений, напечатанных

отдельно, важные петербургские журналы не отзывались иначе как тоном пренебрежения, временем смешанного даже с полным презрением. Иногда в темном закоулке смеси можно было встретить два-три стихотворения с очень известными именами, как например даже гг. Тургенева, Огарева... Но это была уступка, или, как любит выражаться столь ослепительно ученый и столь помрачительно скучный г. Безобразов, компромисса, которая, пожалуй, и могла делаться для людей с некоторой репутацией, но которая была немыслима для поэтов начинающих.

Начинающие смотрят обыкновенно на свои первые стихотворения, как на нечто очень важное, возлагают на них все свои надежды, видят в них чуть не мировое значение и, конечно, почли бы жесточайшей обидой — явиться со своими заветными думами, грезами и песнями в отделе разных известий, внутренних и иностранных обозрений и тому подобного скоро гибнущего журнального балласта. Они обыкновенно, несмотря на великие надежды свои, не обольщают себя ожиданием, что и с таким балластом можно выплыть на поверхность. И действительно! Как поразобрать хорошенько — обидно. Ну, неужто мои поэтические излияния, слезы и песнопения не стоят того, чтобы мне уделить всего-то одну жалкую страничку в книжке журнала, когда в нем находят чуть не сотню страниц красноречивые известия о блистательных дебютах какого-нибудь итальянского певца Мордини в Милане или о том, что где-нибудь в окрестностях Болоньи найден глиняный горшок, по-видимому очень древний и с древней, по-видимому, надписью, которая так стерлась, что и разобрать ничего нельзя, да и самый древний горшок похож больше на новый, или, наконец, о том, что в германском городе Швейнфурте колбасники или сапожники устроили великолепное празднество в средневековом вкусе, ходили по улицам со знаменами в виде амуров с крылышками, зажигали плошки и факелы, произносили речи с демосфеновским пафосом и распевали разные гимны и песни. Иной раз и такой гимн или такая песня представлялись в известии с подстрочным переводом, для утешения читателей, интересующихся успехами поэзии. Ну, как же не обидно! Гимны швейнфуртских сапожников предпочитаются стихотворениям Майкова, Фета, Полонского. Как не обидно! Чем же руководились в этом случае издатели—загадка, разрешение которой ставит совершенно в тупик наши умственные способности. Разумеется,

мелодии г. Фета, воспевающие тихие звездные ночи с трепетным светом луны, или утра́, полные стыда и огня, «как сон новобрачной», или «бурю на небе вечернем, моря сердитого шум; бурю на море и думы, много мучительных дум; бурю на море и думы, хор возрастающих дум; черную тучу за тучей, моря сердитого шум»,— конечно, эти мелодии не представляли никаких указаний, никаких практических применений в сфере интересов русского общества. Ну, а певец Мордини представлял? Конечно, александрийские стихи г. Майкова о том, как

Во дни минувшие, дни радости блаженной,
Лились млеко и мед с божественных холмов
К долинам бархатным Аонии священной...

или о том, как ложится тень прозрачными клубами

На нивы желтые, покрытые скирдами,
На синие леса, на влажный злак лугов,

или гекзаметры о том, как он (г. Майков) срезал себе тростник у прибережья шумного моря, или о том, как он разбил сад под сенью развилистых буков и во мраке прохладном статую воздвиг там Приапу,— конечно, эти александрийские стихи и гекзаметры не имели практического значения для русской жизни; ну, а этот древний глиняный горшок, найденный в окрестностях Болоньи, вероятно имел! Конечно, баллады г. Полонского об индейском факире или о взятии Мемфиса не могли подвинуть нас ни на шаг по пути, так сказать, прогресса. Но ведь и самое слово «прогресс» не употреблялось тогда в печати, даже в прозаических статьях и рассуждениях таких практических ученых (ныне, увы! забытых), как гг. Егунов, Небольсин и другие,— это слово, столь прославившее, по случаю появления своего в стихах, драгоценные истинно гражданскому русскому сердцу имена гг. Бенедиктова, Конрада Лилиеншвагера и Розенгейма, тогда было не на особенно многих устах. Но опять-таки отчего хоть бы, например, пьеса Полонского «Зимний путь» или его же «Затворница» менее для нас, русских, интересны, если не полезны, чем швейнфуртские поминания переодетых амурами колбасников? Между тем русская журналистика этого времени, которое мы невольно вспомнили, вовсе не была проникнута, да и не могла, по известным более или менее всем обстоятельствам, проникнуться особенно положительным, практическим, немедленно

применимым характером. Напротив, она ударялась с заметным пристрастием в туманные области эстетических мудрований, широко и пространно толковала и о таких далеких предметах, как греки и римляне, и насущные вопросы из русской жизни сводились более или менее на какую-нибудь написанную цифирными знаками диссертацию о колебаниях цен на хлеб или на так называемую современную хронику России, представлявшую, для сотрудников журнала, приятный и полезный труд списывания сенатских и других ведомостей. Само собой разумеется, теперь стихи никак не могут, как тогда, быть изгнаны из журналов. Прогресс, о котором мы так гордо восклицаем, в настоящее время очень приятно звучит и в них то в середине, то в конце строчки, то в начале, то в заключении пьесы. Но тогда! удивительно, странно, непостижимо! Повторяем, поэты, успевшие приобресть себе некоторую известность, поэты, о которых говорил с сочувствием и похвалой Белинский, могли выдержать это гонение, притаиться на время совсем или играть в прятки в «Москвитянине»; но каково же было бедным начинающим! Им оставалась в качестве пристанища одна «Иллюстрация», печатавшая без разбору все, что только попадалось к ней в руки: стихи или проза, дичь или действительно что-нибудь порядочное (последнее очень редко). Время было унылое для всех этих юношей, у которых, говоря поэтическим слогом, пламенеют на устах страстные поцелуи музы. Жертвою этого времени пали многие приятные певцы, вроде гг. Вердеревского, фон Лизандера и других. Сердце обливается у нас кровью, когда мы подумаем, какая судьба ждала бы гг. Платона Кускова, Случевского, Захарию Тура и всю эту плеяду, сияющую таким ярким светом на небе новейшего периода русской поэзии, если бы они имели несчастие явиться в то время. Не сдобровать бы им тогда. Едва ли загорелся бы тогда таким чудным метеором и г. Розенгейм. Ведь он не писал бы тогда звучными ямбами, дактилями и амфибрахиями — об общественных вопросах, о старообрядстве, об управлении главного общества железных дорог и проч., а воспевал бы, в невинности души своей, луну и деву, вроде той, о которой говорится в его стихах (очень чувствительно), как у ней билась —

Под капотиком груди волна.

В это-то время появилась небольшая книжка стихотворений г. Плещеева.

Ее постигла та же участь; с таким же пренебрежением отозвались об ней лучшие журналы. Зачем г. Плещеев говорит в ней о любви к человечеству, о его страданиях и будущих идеалах, о светлых надеждах? Зачем переводит стихи Гейне? Это почему-то не понравилось серьезным рецензентам, и они говорили о г. Плещееве чуть ли не с такой же строгой важностью, как о человеке, принесшем решительный вред литературе. Дико вспомнить теперь об этом. Неужто благородные чувства, благородные мысли, которыми веяло от каждой страницы небольшой книжки г. Плещеева, были таким ежедневным явлением в тогдашней русской поэзии, чтобы можно было с пренебрежением отвернуться от них? Да и когда же бывает это можно и позволительно? Если у г. Плещеева не было той поэтической силы, которая невольно покоряет себе чужую мысль и чувства, то нельзя же было видеть в стихах его фразы, справедливости которых не верит он сам. Что все в этих стихотворениях было вполне искренно и сказалось от души,— едва ли кто-нибудь мог усумниться в этом и тогда. Или не понравилось юношеское увлечение поэта, неопределенность его стремлений и надежд? Но была ли возможность выражать эти надежды, эти стремления точнее и определеннее,— об этом никто не хотел вспомнить. Кажется, особенной точности и ясности в выражении желаний не было в то время и нигде в литературе. Разумеется, говорить прямо, высказывать все ясно — не только проще, но и полезнее; но действительно ли все мы так высоко и безукоризненно развиты, что нам не нужно слышать искреннего голоса, заступающегося, хотя бы и в общих чертах, за лучшую сторону нашей природы, до сих пор мало торжествовавшую? «Земля иссушена и уныла,— говорится в эпиграфе к первому стихотворению первой книжки г. Плещеева,— но она вновь позеленеет. Дыхание зла не вечно будет проходить по ней, как дух попаляющий». Конечно, и мысль и выражение этих слов слишком общи, и написать на эту тему несколько стихотворений — не значит сказать что-нибудь новое; но все ли успело не только тогда, но и теперь так устареть для нашего общества, и не нужно ли, и не будет ли долго нужно повторять и толковать простейшие и неоспоримейшие истины и доказывать, что белое бело, а не черно, а черное черно, а не бело? Есть много самых обыкновенных понятий, врожденных человеку чувств, о которых тем не менее надо беспрестанно напоминать, чтобы они не забывались. Это и везде нужно, не говоря уже о

нашем несформировавшемся обществе. Поэты с таким благородным и чистым направлением, как направление г. Плещеева, всегда будут полезными для общественного воспитания и найдут путь к молодым сердцам. Трудно употребить лучше его в дело те поэтические способности, которыми он обладает.

Мы очень рады, что в последнем издании стихотворений г. Плещеева встретились с лучшими пьесами из его первой книжки, которых он не поместил в предпоследнем издании, вероятно, вследствие тех неблагоприятных отзывов, какими приветствовали ее при первом появлении тогдашние журналы. Мы жалеем только, что он не дополнил их некоторыми стихами, которые, сколько нам помнится, были уже раз в печати.

С особенным удовольствием перечитали мы прекрасный гимн, известный нам наизусть,— гимн, который всегда останется прекрасной памятью скромной, но благородной литературной деятельности г. Плещеева:

Вперед! без страха и сомненья
На подвиг доблестный, друзья!
Зарю святого искупленья
Уж в небесах завидел я!

Смелей! дадим друг другу руки
И вместе двинемся вперед.
И пусть, под знаменем науки,
Союз наш крепнет и растет.

Жрецов греха и лжи мы будем
Глаголом истины карать;
И спящих мы от сна разбудим,
И поведем на битву рать!

Не сотворим себе кумира
Ни на земле, ни в небесах;
За все дары и блага мира
Мы не падем пред ним во прах!..

Провозглашать любви ученье
Мы будем нищим, богачам
И за него снесем гоненье,
Простив озлобленным врагам!

Блажен, кто жизнь в борьбе кровавой,
В заботах тяжких истощил;
Как раб ленивый и лукавый,
Талант свой в землю не зарыл!

Пусть нам звездою путеводной
Святая истина горит;
И верьте, голос благородный
Недаром в мире прозвучит!

Внемлите ж, братья, слову брата,
Пока мы полны юных сил:
Вперед, вперед и без возврата, —
Что б рок вдали нам ни сулил!

Сколько помним, прежние рецензенты г. Плещеева были особенно недовольны стихотворением или отрывком из поэмы «Сон», к которому были взяты эпиграфом слова Ламене, приведенные нами выше. В этом отрывке, вероятно от лица героя, который напоминает лермонтовского «Пророка», рассказывается, как он, усталый и истерзанный тоской, прилег отдохнуть под дерево, и ему предстала в видении богиня, избравшая его пророком. И вот что услыхал он от нее:

Страданьем и тоской твоя томится грудь,
А пред тобой лежит еще далекий путь.

Скажу ль я, что тебя в твоей отчизне ждет?
Подымет на тебя каменья твой народ

За то, что обвинишь могучим словом ты
Рабов греха, рабов постыдной суеты!

За то, что возвестишь ты мщенья грозный час
Тому, кто в тине зла и праздности погряз,

Чье сердце не смущал гонимых братьев стон,
Кому законом был — отцов его закон!

Но не страшися их! и знай, что я с тобой,
И камни пролетят над гордой головой.

В цепях ли будешь ты — не унывай и верь,
Я отопру сама темницы смрадной дверь.

И снова ты пойдешь, избранный мной левит,
И в мире голос твой недаром прозвучит.

Зерно любви в сердца глубоко западет;
Придет пора, и даст оно роскошный плод.

И человеку той поры недолго ждать,
Недолго будет он томиться и страдать.

Воскреснет к жизни мир... Смотри, уж правды луч
Прозревшим племенам сверкает из-за туч!

Иди же, веры полн... И на груди моей
Ты скоро отдохнешь от муки и скорбей.

Стихотворение заключается следующими стихами пророка:

Мой падший дух восстал, и утесненным вновь
Я возвещать пошел свободу и любовь.

Мотив этой пьесы точно так же, как и мотив стихотворения «Вперед», проходит более или менее внятно по всем собственно оригинальным стихотворениям г. Плещеева, которые, впрочем, составляют не более одной трети изданного им теперь собрания. Пафос, которым одушевлен выписанный нами юношеский гимн, большею частию переходит в элегическое настроение. Г-н Плещеев с сочувственною грустью останавливается перед темными явлениями жизни и, чувствуя прочность зла и свое бессилие бороться с ним, часто молит бога об одном — чтобы жар его сердца «не засыпало пеплом мертвящее сомнение». Глубокая искренность этих теплых слов, любовь к истине и к благу ближних, вызывавшие эти элегические стихи, не может быть подвергнута ни малейшему сомнению теперь, когда г. Плещеев, после длинного, чуть не десятилетнего перерыва своей деятельности, явился в литературе с тем же настроением, с каким мы видели его на первых порах его поэтической деятельности. Те же стремления, ту же грусть бессилия, столь понятную в устах людей поколения, к которому принадлежит г. Плещеев, увидали мы опять в его стихах:

Дни скорби и тревог, дни горького сомненья,
Тоски болезненной и безотрадных дум,
Когда ж минуете? Иль тщетно возрожденья
Так страстно сердце ждет, так сильно жаждет ум?

Не вижу я вокруг отрадного рассвета!
Повсюду ночь да ночь, куда ни бросишь взор.
Исчезли без следа мои младые лета —
Как в зимних небесах сверкнувший метеор.

Как мало радостей они мне подарили,
Как скоро светлые рассеялись мечты,
Морозы ранние безжалостно побили
Беспечной юности любимые цветы.

И чистых помыслов и жарких упований
На жизненном пути растратил много я:
Но средь неравных битв, средь тяжких испытаний
Что ж обрела взамен всех грез душа моя?

Увы! лишь жалкое в себе разуверенье,
Да убеждение в бесплодности борьбы,
Да мысль, что ни одно правдивое стремленье
Ждать не должно себе пощады от судьбы.

И даже ты моим призывам изменила,
Друзей свободная и шумная семья!
Привета братского живительная сила
Мне не врачует дух в тревогах бытия.

Но пусть ничем душа больная не согрета,
А с жизнью все-таки расстаться было б жаль,
И хоть не вижу я отрадного рассвета,
Еще невольно взор с надеждой смотрит вдаль.

Эта надежда слышится подчас довольно внятно в некоторых последних произведениях г. Плещеева. Справедлива ли такая надежда — бог знает. По временам он обличает сознание, что те слишком обобщенные мысли и чувства, которые он проводит в своих стихах, требуют при новых условиях времени более определенного и прямого смысла для жизни.

За г. Плещеевым осталась одна сила — сила призыва к честному служению обществу и ближним. Смысл лучшей стороны деятельности г. Плещеева яснее всего выражается стихотворением его, напечатанным на 148 стр. нового издания; от большей части его оригинальных пьес веет на читателя тем добрым чувством, тем здравым пониманием обязанностей и цели жизни, которые высказаны в этих стихах:

Перед тобой лежит широкий, новый путь.
Прими же мой привет, не громкий, но сердечный;
Да будет, как была, твоя согрета грудь
Любовью к ближнему, любовью к правде вечной.

Да не утратишь ты в борьбе со злом упорной
Всего, чем ныне так душа твоя полна,
И веры и любви светильник животворный
Да не зальет в тебе житейская волна.

Подъяв чело, иди бестрепетной стопою;
Иди, храня в душе свой чистый идеал,
На слезы страждущих ответствуя слезою
И ободряя тех, в борьбе кто духом пал.

И если в старости, в раздумья час печальный,
Ты скажешь: в мире я оставил добрый след
И встретить я могу спокойно миг прощальный...
Ты будешь счастлив, друг; иного счастья нет!

В нескольких стихотворениях г. Плещеева, в которых он обращается к реализму, от стремления и надежд, выражаемых в общих чертах, переходит к изображениям действительности с ее прозаическими и мелкими подробностями,— в этих пьесах нет ни той силы, ни той глубины чувства, которые мы замечаем в его произведениях. Элегические стихи его не перестраиваются на сатирический лад, у него нет ни негодования, без которого сатира невозможна, ни того наблюдательного взгляда, который умеет подмечать смешные и вредные стороны действительности, ни того изобразительного таланта, который умеет резко и рельефно выставлять такие черты.

Мы уже сказали, что переводы занимают две трети места в его книге и одна из этих третей посвящена переводам из Гейне. И эти переводы, как упомянуто выше, не были, при первом появлении, пощажены критикой. Кажется, и этот труд был причислен к занятиям, представляющим бесполезную трату времени. Положим, г. Плещеев передавал в своих стихах лишь одну сторону немецкого поэта, именно те его произведения, которые не касаются прямо общественных интересов, но мы уже видели, что талант г. Плещеева не представляет некоторых сторон, существенно необходимых для передачи социальных стихотворений Гейне, которые все почти полны чрезвычайного юмора и в выражении и в самых образах. Понятно, что г. Плещеев брался именно за то, что более всего поддавалось его таланту. Нам кажется, что и собственные его стихотворения в юмористическом тоне, о которых мы упомянули без особенной похвалы, вызваны не столько собственно внутренним чувством поэта, сколько общим направлением всей современной русской литературы к реализму.

Самая большая пьеса, переведенная г. Плещеевым из Гейне, это — «Вильям Ратклиф», одно из первых, почти детских произведений автора «Книги песен». Сама по себе эта трагедия или драматическая баллада, как называет ее сам автор, не замечательна; в ней мы видим Гейне еще чистым романтиком со всеми романтическими дикостями. Но в деятельности немецкого поэта на нее нельзя не обратить внимание. На ней заметно сильное влияние «Разбойников» Шиллера, и уже переход к новой, реальной поэзии чувствуется довольно ясно. Гейне говорит, что первый полуромантический период его поэзии завершается этою драмой, что она служит, так сказать, последним словом этого периода

«это слово,— говорит он,— сделалось впоследствии лозунгом, от которого прояснялись черты бедняка и вытягивались жирные физиономии сынов счастия. У очага почтенного Тома, идеального разбойника из класса partageux [1], уже слышится запах этого великого вопроса о супе, за который принялись теперь такое множество дрянных поваров и который со дня на день все больше и больше перекипает. Счастливец поэт! он видит дубовые рощи, таящиеся в оболочке желудя; он ведет разговор с поколениями, которые еще не зарождались в утробе матерей. Эти поколения нашептывают ему свои тайны, и он передает их потом громко среди народной площади. Но голос его глохнет в нуждах дня, и немногие слушают его, и никто не понимает. Фридрих Шлегель назвал историка пророком прошедшего. Едва ли не еще справедливее назвать поэта историком будущего».

Гейне совершенно прав, говоря это о своей драме, почти в самом конце своей деятельности, которая действительно развилась в свою очередь, как дубовая роща из желудя, из этой драмы. Но «Вильям Ратклиф», взятый отдельно, без связи с остальными произведениями поэта, лишается большей части своего интереса, и становится очень понятно, почему он обратил на себя при первом появлении, вместе с другою юношеской драмой Гейне, «Альманзором», так мало внимания.

Перевод г. Плещеева верен и хорош и для русских любителей Гейне будет любопытен как черта из биографии автора «Путевых картин»; он может, пожалуй, быть прочитан и как образец болезненного романтизма, охватывавшего всю немецкую поэзию в то время, когда выступал на литературное поприще Гейне. Но достоинства положительного у этой драмы решительно нет, и — признаемся — мы думаем, что у того же Гейне г. Плещеев мог бы взять что-либо более интересное для перевода.

Из остальных стихотворений, переведенных из этого поэта г. Плещеевым, бóльшая часть взята из «Buch der Lieder» и «Neue Gedichte» [2]. Перевод этот принадлежит к лучшим на русском языке переводам этих прелестных песен. Некоторые из них стали всем известны с первого появления в печать. И действительно, едва ли можно передать лучше, чем передал г. Плещеев, стихотворение «Возьми

---

[1] сторонников уравнительного распределения имущества (*франц.*).
[2] «Книги песен» и «Новых стихотворений» (*нем.*).

барабан и не бойся», «Речная лилия», «Ветер осенний колышет» и др.

Кроме Гейне, г. Плещеев переводил и переводит и других немецких поэтов. В его книжке есть стихотворения и даровитейшего из немецких романтических лириков Эйхендорфа и из бездарнейшего католического романтика Оскара Редвица, отличившегося в последнее время стихотворением на геройство неаполитанской королевы в Гаэте, за что и получил, как писали в газетах, какое-то подаяние не то от баварского, не то от венского двора. Г-н Плещеев переводит и таких действительно замечательных поэтов, как Фрейлиграт и Мориц Гартман, и таких слабых, хотя известных в Германии стихотворцев, как Роберт Пруц и Карл Бек. Надо правду сказать, теперь нетрудно добиться в немецкой поэзии некоторой известности и даже получить авторитет. Кажется, никогда еще немецкая литература не была так бедна поэзией, как в последнее время. Тот самый Роберт Пруц, из которого г. Плещеев перевел несколько пьес, издал недавно исторический очерк изящной немецкой литературы с 1848 года. Поэзия за это время представляет в Германии самое плачевное зрелище. Все, что сколько-нибудь превышает уровень посредственности, принадлежит поэтам уже не нового поколения, поэтам немолодым и оканчивающим свое литературное поприще. Хотя в книге Пруца и есть целая глава, посвященная, как он называет их, поэтическим подросткам, но на эти подростки плохая надежда. Единственным исключением из ныне пишущих немецких поэтов можно назвать Морица Гартмана, и почти все, что перевел из этого поэта г. Плещеев, стоит внимания. Не таковы его переводы из Бека, Пруца и Анастазия Грюна. Переводы из этих поэтов занимают, правда, самое незначительное место в книжке г. Плещеева, но было бы приятнее, если б и этого места не было им уделено и г. Плещеев обратил свое внимание на что-нибудь иное, если не в новой, то в прежней немецкой литературе.

Из прежних поэтов мы находим в его книжке прекрасный перевод одного очень хорошего, хотя и малоизвестного, стихотворения Гете «Молитва» и несколько романтическую песню Рюккерта «Странник». Г-н Плещеев сам немножко романтик и, вероятно, потому взял у Рюккерта только одну эту пьесу. Вообще мы редко можем упрекнуть г. Плещеева в том, чтобы он брался за что-либо несродное его таланту.

Фрейлиграт представляет по таланту и по самому роду своих произведений совершенную противоположность г. Плещееву. Это поэт образов ярких и блестящих; но у Фрейлиграта есть две-три пьесы в том элегическом рефлективном тоне, который так удается нашему поэту, и г. Плещеев взял лучшую из этих пьес и перевел, не увлекаясь роскошью других.

Люби, пока любить ты можешь,
Иль час ударит роковой,
И станешь с поздним сожаленьем
Ты над могилой дорогой!

И сторожи, чтоб сердце свято
Любовь хранило, берегло,—
Пока его другое любит
И неизменно и тепло.

Тем, чья душа тебе открыта,
О дай им больше, больше дай!
Чтоб каждый миг дарил им счастье —
Ни одного не отравляй!

И сторожи, чтоб слов обидных
Порой язык не произнес;
О боже! он сказал без злобы —
А друга взор уж полон слез!

Люби, пока любить ты можешь,
Иль час ударит роковой,
И станешь с поздним сожаленьем
Ты над могилой дорогой!

Вот ты стоишь над ней уныло,
На грудь поникла голова.
Все, что любил,— навек сокрыла
Густая, влажная трава.

Ты говоришь: «Хоть на мгновенье
Взгляни, изныла грудь моя!
Прости язвительное слово,
Его сказал без злобы я!»

Но друг не видит и не слышит,
В твои объятья не спешит,
С улыбкой кроткою, как прежде,
«Прощаю все» не говорит!

Да! ты прощен... но много, много
Твоя язвительная речь
Мгновений другу отравила,
Пока успел он в землю лечь.

Люби, пока любить ты можешь,
Иль час ударит роковой,
И станешь с поздним сожаленьем
Ты над могилой дорогой!

Для чего перевел г. Плещеев пьесу Анастазия Грюна «Старый комедиант», понять довольно трудно. Это все равно, как если бы Фрейлиграт вздумал переводить с русского «Tendenz Gedichte» [1] г. Розенгейма. Грюн ни на волос не лучше. Это холодный, изысканный ритор без всякого поэтического чутья; его стихотворения похожи на рифмованные журнальные статейки и фельетоны, и если он прославился, то только потому, что принадлежал к австрийским поэтам, вроде известного Якова Хама, с таким же милым и богобоязненным направлением. Написать, что не только на всей земле, но даже и в самой Австрии не наступали еще торжества правды и свободы, как это сделал Грюн в своих знаменитых «Прогулках венского поэта», было уже страшнейшим героизмом, неслыханным либерализмом, которого тем паче нельзя было ожидать от титулованного потомка древней имперской фамилии: Грюн, как известно, только псевдоним, а настоящая фамилия поэта — граф фон Ауэрсберг. Смелость его нисколько не превосходит новейших либеральных тенденций гг. Бенедиктова, Розенгейма и других. Если же либеральный немецкий поэт стал известен и вне своего отечества, то этому он обязан только тому, что немецкий язык более распространен, чем тот, на котором призывает человечество к прогрессу г. Розенгейм.

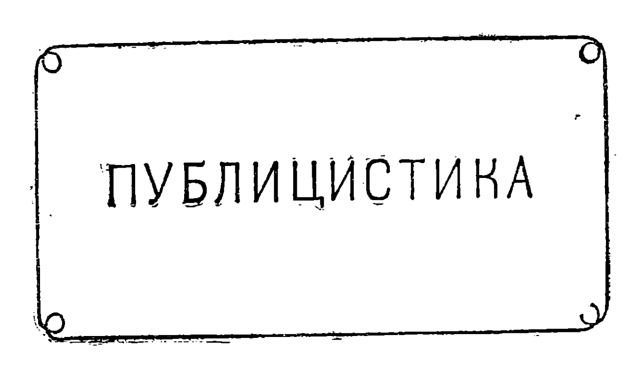
Совсем иное дело Мориц Гартман, хотя и он родился австрийским подданным. Не говоря уже о таланте, которым едва ли равняется с ним кто-нибудь из немецких поэтов нового поколения, самое направление его не может быть и сравниваемо с графскими тенденциями венского поэта. То, что перевел из него г. Плещеев, как мы уже сказали, очень удалось, но только за исключением несколько темной и странной датской баллады про короля Альфреда. У Гартмана вы редко встретите что-нибудь сочиненное, насильно придуманное, как это часто случается даже у лучших поэтов этого направления; напротив, все у него прочувствовано, всюду слышен голос человека, глубоко проникнутого убеждением. Его произведения явились потому, что он не

---

[1] «Стихотворения с тенденцией» *(нем.)*.

мог не высказаться, тогда как у многих других немецких поэтов политической школы вы постоянно замечаете, что им хочется сказать то, что не вошло еще в них органически. Чтобы привести пример, вспомним Пруца. Он считается одним из радикальнейших немецких поэтов последнего времени. Обскуранты гремели и отчасти гремят и теперь против него жестокими проклятиями. Но как вам нравится, например, следующая черта его радикализма! В своем историческом обозрении «Немецкая литература с 1848 года» он обращается с упреком к Морицу Гартману и к Альфреду Мейснеру за то, что они говорят с сочувствием о чехах и выражают свое уважение к этой угнетенной национальности. Такие радикалы только и могут быть, что у немцев.

Г-н Плещеев переводит не одних немецких поэтов. В его книге есть несколько очень хороших переводов с польского и малороссийского. Особенно нравятся нам три так называемые «Сельские песни» (с польского).


ПУБЛИЦИСТИКА

ПАРИЖСКИЕ ПИСЬМА

I

Hôtel Molière.— Французский перевод «Мертвых душ».—Песенник Потье.—Прудон и его противники.— Путь от Петербурга до Парижа.

На Итальянском бульваре, по направлению к Маделене, налево, на углу узенькой улицы, есть небольшая пирожная. Как все парижские магазины, она сияет днем зеркалами, а по вечерам зеркалами и газом. В ней отличные пирожки, особенно так называемые миланские, с макаронами, с вермишелью и еще с чем-то, и очень вкусное мороженое. Но для любителей изящного в пирожной лучше пирожков и мороженого — стройная, вечно улыбающаяся и вечно болтающая блондинка, которая стоит за мраморным прилавком.

Узенькая улица с такой заманчивой приметой находится между улицами Choiseul и Louis le Grand и называется rue de la Michaudière.

В этой улице, в нескольких шагах от Итальянского бульвара, существует гостиница с литературным именем на вывеске — Hôtel Molière.

Здесь-то я поселился.

Несмотря на близость свою к одному из самых бойких, самых мутных, самых блестящих мест в Париже, к Итальянскому бульвару, гостиница Мольера отличается чрезвычайно скромным характером: скромное помещение, скромные цены. Недаром о ней не упоминает Рейхгарт в своем зна-

менитом гиде, который намозолил мне глаза даже в мой быстрый проезд по Германии.

У дома всего шесть небольших окон в ряд на улицу. Правда, эти шесть окон повторены шестью этажами; но для парижской гостиницы все-таки это очень немного.

Из окна нумера седьмого, где я сижу, когда бываю дома (что случается пока очень редко), не видно ничего особенно живописного: такие же узенькие и такие же высокие дома, как мой мольеровский приют.

Насупротив, из окна в окно, в первом этаже, что по нашему третий, помещается модный магазин. Четыре модистки работают и болтают там без устали с раннего утра и до вечера. Куда исчезают они по вечерам в будни, я не знаю; но накануне воскресенья и в самое воскресенье они наверное, подтянув корсеты и нацепив кринолины, отплясывают где-нибудь на чистом воздухе, в Jardin Mobile или в Château d'Asnières.

Я еще не был ни на одном из этих балов; а то, конечно, встретился бы с ними.

Хозяйка веселых девиц, худая, черномазая, очень похожая на цыганку и лицом и постоянно растрепанным костюмом, проводит вечера, по-видимому, тоже приятно — gemütlich, как сказал бы немец.

Только что работа в мастерской кончится и разные начатые токи, шляпки и платья исчезнут в шкафах, а на рабочем столе останется один картонный болван для чепцов и других головных уборов, в магазин является господин средних лет, с черной бородой. Он приносит с собой какие-то книги и бумаги, раскладывает их на столе и занимается как дома. Хозяйка ставит перед ним зажженную лампу и бутылку вина и садится очень близко к нему,— впрочем, тоже с какою-нибудь работой, например с чулком.

Я предполагаю, что это ее муж, который целый день занят делом и видится с женой только по вечерам. Они не успевают надоесть друг другу в течение дня и вечером, верно, чувствуют себя счастливыми.

Отель, приютивший меня, не всегда назывался мольеровским. У него было прежде другое прозвище, которого я не полюбопытствовал узнать от теперешней владетельницы, мадемуазель Максим. Знаю только, что настоящее название дала гостинице она — в память тех лет, когда служила верой

и правдой искусству на сцене Théâtre Français, возникшего, как известно, из основанного Мольером театра.

Мадемуазель Максим была некогда актрисой и играла в классических трагедиях и комедиях. Об успехах или неудачах ее на сцене мне ничего неизвестно, кроме происшествия с Рашелью, о котором когда-то писали парижские журналы, падкие на всякий скандал и на всякую сплетню.

Покойница Рашель, как вы знаете, не отличалась кротостью нрава. Однажды, играя в «Марии Стюарт», она была почему-то не в духе. Взяв за руку Елизавету, она, как кошка, выпустила свои когти, и мадемуазель Максим приехала домой с расцарапанною в кровь рукою.

Теперь мадемуазель Максим может быть оцарапана разве только настоящею кошкой: кошек у нее две, и, вместе с остальным зверинцем, они пользуются самыми нежными заботами хозяйки. Зверинец, кроме двух соперниц Рашели, состоит из пяти собак, двух черепах и штук двадцати разных певчих птиц.

Черепахи, к несчастию, скончались во цвете лет, в день моего приезда.

Вот как это случилось.

В теплое солнечное время кошки, черепахи и собаки мадемуазель Максим гуляют на маленьком дворике гостиницы. Посреди дворика — цветник, окруженный плетнем. Стены дома вокруг покрыты зеленым ковром густого плюща и заставлены пестрыми цветами. Около цветов соломенные стулья, на которых приятно посидеть после обеда с чашкой кофе и с сигарой.

Июль нынче был чрезвычайно жаркий, и черепахи не выходили из цветника. Но в последних числах вечера̀ стали холоднее, и черепахи начали зябнуть.

В один из таких холодных вечеров они заползли погреться в кухню, дверь которой отворяется, вровень с землей, на зеленый дворик. В кухне их никто не заметил, и на ночь их там заперли. Приютившись у теплой плиты, черепахи не только отогрелись, но и задохлись.

Мадемуазель Максим была очень опечалена. Она горько упрекала себя за невнимание к своим бедным питомцам и дала себе слово быть вперед осторожнее и заботливее; черепах она заведет опять.

Мадемуазель Максим была прежде, вероятно, очень хороша собой. Теперь ей уж за сорок; но следы прежней красоты еще заметны. У нее прекрасный, довольно строгий про-

филь, яркие карие глаза и пышные черные волосы. Росту она среднего.

Манеры ее до сих пор напоминают классических героинь французского театра. В одушевленном разговоре она разводит руками и поднимает плечи, как какая-нибудь Андромаха или Роксолана. Самый тон голоса, самый образ выражений сохранили много театрального. Эта театральность сделалась, впрочем, уже натурой у мадемуазель Максим, и мне всякий раз кажется, что именно так, а не иначе нужно ей говорить со своими наперсницами, concièrge[1] Мари и кухаркой, посылая одну спросить паспорт у приезжего и заказывая другой к обеду суп с хлебом и говядину с sauce tomate[2].

Мари отличается неизобразимою добротой; кухарка же иногда ворчит, когда я требую, чтобы мне согрели мой самовар для чая, и не довольствуюсь ее bouillotte[3]. Она никак, по-видимому, не хочет понять, что чай без самовара никуда не годится. В отместку я не справился даже, как ее зовут.

К сожалению, и мадемуазель Максим изъявила сегодня сомнение в пользе и современности самовара. Она прямо сказала, что мы, русские, отстали со своим самоваром на целое столетие от просвещенной Европы. Я позволяю себе не соглашаться с ней в этом.

У мадемуазель Максим очень много хлопот; но хлопоты эти, наверное, приятнее сценических треволнений, как царапины кошки сноснее царапин первой трагической актрисы. К тому же кроткое семейное счастье озаряет так приветно театр хлопот мадемуазель Максим.

За хлопотами она только к вечеру успевает немного пригладить свои густые, лоснящиеся волосы и заменить будничное платье, у которого вечно расстегивается ворот, более щеголеватым костюмом.

Надо сказать правду — француженки вообще отличаются дома неряшеством, и только на улицах у них так стройно обуты ноги, так тщательно убраны волосы, так ловко надеты кринолины.

Приемная комната, или гостиная, мадемуазель Максим выходит дверью под ворота. Спальня ее тоже в нижнем этаже, но совсем отдельно от гостиной, во дворе, и дверь, как у

---

[1] привратницей *(франц.)*.
[2] томатным соусом *(франц.)*.
[3] котелком *(франц.)*.

кухни, вровень с землей. Около этой двери стоят горшки с лучшими цветами из всех, украшающих уютный дворик.

Рядом с спальней кабинет г. Фовети, где за решеткой у окна распевает на разные голоса многочисленная коллекция певчих птиц.

Но я еще ничего не сказал о г. Фовети.

Он, вероятно, немногим старше мадемуазель Максим, небольшого роста, худенький, почти совсем седой, с маленькой бородой, очень красивый, очень живой и остроумный. Они давно сошлись с мадемуазель Максим, вместе основали отель и живут вдвоем. Это один из очень счастливых ménages parisiens [1].

Г-н Фовети — литератор и журналист. Он издает «Revue philosophique et religieuse» [2].

Этот небольшой журнал стоит внимания за свое честное направление и бескорыстные цели. О нем я буду еще иметь случай сказать несколько слов в одном из следующих писем. Не бойтесь его заглавия: если вы не знали о существовании и направлении этого обозрения, то на первый раз я замечу только, что оно гораздо ближе к интересам жизни, чем обещает заглавие.

Г-н Фовети слышал обо мне до моего приезда и на другой же день после моего водворения в гостинице Мольера с французскою любезностью доставил мне литературную новость, только что вышедшую из типографского станка, которая, как он справедливо предполагал, будет мне, как русскому литератору, очень интересна.

Это — французский перевод «Мертвых душ».

Затем он пригласил меня к себе на вечер, где я встретил нескольких сотрудников его журнала.

«Мертвые души» напечатаны в дешевой коллекции романов, путешествий и проч. — Bibliothèque pour tous [3] и продаются по 50 сантимов. Переводчик, Эжен Моро, был, если не ошибаюсь, актером в нашей московской французской труппе. Под предисловием его подписано: «Москва, октябрь 1852».

Это предисловие, против обыкновения французских переводчиков с русского, написано так толково, что я решился прочесть перевод «Мертвых душ» от слова до слова.

Нельзя не отдать справедливости переводчику — он

---

[1] парижских гражданских браков *(франц.)*.
[2] «Философское и религиозное обозрение» *(франц.)*.
[3] Библиотеки для всех *(франц.)*.

исполнил труд свой добросовестно. Дело не обошлось, конечно, без очень и очень многих промахов и неверностей; но их поневоле прощаешь, потому что везде видишь старание передать подлинник как можно ближе.

Г-н Моро говорит в предисловии, что он «переводил поэму Гоголя на месте, в России, с помощью иных источников, чем лексикон и ослабевшие воспоминания, посреди нравов и обычаев, описанных в книге, и тщательно отмечал все, что не могло перейти в другой язык, не утратив своей силы, а иногда и настоящего смысла».

«Мертвые души» — произведение до такой степени оригинальное, до такой степени русское каждою страницей своей и каждою строкой, что от первой попытки перевода нельзя и требовать большего. Мне кажется даже, что г. Моро в некоторых местах уж чересчур близко держался подлинника, и потому многие очень меткие выражения Гоголя, вошедшие у нас в пословицу, вышли по-французски только странны — и больше ничего. Их не должно было переводить слово в слово.

Для примера приведу известную фразу Ноздрева о клубничке из его монолога при встрече с Чичиковым в трактире.

Г-н Моро переводит:

«Il (то есть Кувшинников) appele cela profiter des fraises».

Читатель, не знающий подлинника, ничего не поймет из этих слов, так же как и из следующего примечания, сделанного в выноске переводчиком:

«Выражение это не требует объяснения. Клубника созревает только раз в год. Раз упустивши случай, редко встретишь его опять». (L'expression est assez claire par elle même. Les fraises n'ont qu'un temps. Une occasion perdue se retrouve rarement.)

Вообще в переводе г. Моро лучше те места, где Гоголь говорит от себя, а не заставляет говорить своих действующих лиц. Это и понятно. Типичность языка Чичиковых, Ноздревых и Собакевичей почти непереводима.

Прекрасные переводы г. Вьярдо нескольких повестей Гоголя имели мало успеха во Франции. Едва ли больше посчастливится и «Мертвым душам».

В них нет именно того, чего требует от романа французский читатель — завязки и развязки. Ловкое предприятие Чичикова, которое сразу так затрагивает любопытство нашего читателя, не представляет большого интереса для

людей, незнакомых близко, наглядно с русскими нравами, обычаями и законами. Оригинальные лица, окружающие Чичикова, тоже слишком далеки от французских типов, кроме разве Плюшкина. С Плюшкиным много сходства у большей части французов, копеечников по преимуществу. Г-н Моро в своем предисловии справедливо указывает французскому читателю на это лицо как на самую яркую точку во всем произведении Гоголя.

Г-н Моро перевел только первую часть «Мертвых душ». Жаль, что он не изложил, хотя вкратце, содержания отрывков второй части.

В предисловии он обещает напечатать и переведенный им «Театральный разъезд» Гоголя.

Воспользовавшись приглашением г. Фовети, я попал в самое литературное общество.

Знаменитых, а тем менее известных у нас имен на этом вечере не было; но мне собрание показалось оттого интереснее. О литературных знаменитостях Франции мы чересчур много читали и в книгах и в журналах.

Г-н Александр Дюма (major [1]) считает даже обязанностью доводить до сведения публики о каждом шаге своем посредством еженедельного журнала «Монте-Кристо», который напоминает своим галантерейным тоном и остроумием наши уличные листки. Из «Монте-Кристо» можно узнать не только то, кому г. Дюма дал взаймы денег, но и какой суп он любит.

Г-н Ламартин, оправдываясь печатно в подписке, которую затеял для уплаты своих долгов, рассказывает свои домашние дела, и — надо, к сожалению, прибавить — возбуждает совсем иное чувство, чем какое хотел возбудить. Его жалко не потому, что он нуждается в деньгах, а потому, что он так унижается. Примеры Дюпона (de l'Eure), Лафита, Лафайета и Шатобриана, приводимые им в свое оправдание, говорят мало в его пользу: их сборы, подписки и пенсии ничего не прибавляли к их нравственному достоинству.

Я был очень рад, что попал в общество людей, которые не рассказывают о себе во всеуслышание миру, живут скромным и честным трудом и связаны между собой не так называемою литературной дружбой, которая зависит обыкновенно от большей или меньшей громкости имен, а согласием во взглядах, одинаковостью направления и любовью к родине. Знаменитости, уживающиеся в настоящую минуту

[1] старший *(франц.)*.

в границах Франции, отличаются большим индифферентизмом в последнем отношении.

В числе гостей был даже господин, не напечатавший до сих пор ни строчки. Это песенник Потье, добродушного вида толстяк с тихим и кротким голосом и большими, черными, выразительными глазами. С первого взгляда он не похож на поэта, что не мешает ему в некоторых песнях своих возвышаться до истинной поэзии.

Очень сожалею, что не могу познакомить вас с ними в той степени, как бы желал. Я скажу, впрочем, несколько слов о их содержании.

Содержание их именно таково, каким должно быть содержание французской песни.

Помните стихи Виктора Гюго в его «Châtiments»?[1]

O bonne France invincible!
Chante ta chanson paisible!
Chante et regarde le ciel!
Ta voix douce et profonde
Est l'esperance du monde,
O grand peuple fraternel! [2]

Он оканчивает так:

...Le peuple chante —
Comme le lion rugit! [3]

Таких-то именно песен давно не слышит Франция.

Мне как-то попались недавно вышедшие третьим изданием песни Гюстава Надó. Книги, не имевшие успеха, не доживают до третьего издания; притом я слышал похвалы Надо и потому полюбопытствовал узнать, что это за поэт. Толстая книжка его, несмотря на проблески остроумия и на несколько довольно удачных вещей, произвела на меня очень неприятное впечатление. Большая часть песен Надо полна самого противного эпикуреизма.

---

[1] «Возмездие» *(франц.)*.

[2] О прекрасная непобедимая Франция!
Пой твою мирную песню!
Пой и смотри на небо!
Твой нежный и глубокий голос —
Надежда мира,
О великий братский народ! *(франц.)*

[3] Народ поет —
Как лев рычит! *(франц.)*

В одной пьеске, обращенной к Беранже, он говорит о первом французском поэте нашего столетия почти единственно как о певце вина и женщин. Уж из этого видно, какой глубокий взгляд у Надо.

Не таковы песни Потье. Почти все, что пел он в этот вечер своим слабым, несколько дрожащим голоском, было проникнуто чувством глубокой любви к родному краю. Это чувство проглядывало и сквозь насмешливый тон некоторых песен.

В одной из оставшихся у меня в памяти говорилось о большом доме, сверху донизу наполненном жильцами. Начиная с дорогой квартиры в бельэтаже до мансарды, дом в таком беспорядке, все в нем так плохо и ветхо, что песенник в конце каждого куплета восклицает:

Cette propriété
Croule de vêtusté;
Il faut qu'on la — démolisse! [1]

Я помню также припев другой песни, говорящей о холодной зиме, которая заморозила свободную французскую речь. Вот этот припев:

Quand les paroles dégèleront,
Que nous entendrons de folles!
Quand les paroles dégèleront,
Les oreilles nous tinteront [2].

Но как на меня, так и на все собрание наибольшее впечатление произвела прелестная песня, называющаяся: «Жак и Марианна». Эта песня непременно должна бы войти в народ, потому что ее смело можно поставить наряду с лучшими песнями Беранже и Пьера Дюпона.

Жак остался один, без своей возлюбленной Марианны; он изнывает в тоске по ней, он болен, он измучен, он ждет ее не дождется, в нем начинает даже кипеть злоба...

J'en deviens méchant! [3]

---

[1] Это строение
Рушится от ветхости;
Его нужно сломать! *(франц.)*

[2] Когда слова оттают,
О каких ужасах мы услышим!
Когда слова оттают,
У нас зазвенит в ушах *(франц.)*.

[3] Я начинаю злиться! *(франц.)*

Трудно передать всю тонкую прелесть этого выражения на другой язык, так же как несравненную простоту этого постоянно повторяющегося припева:

Je l'attends, je l'attends, je l'attends...
L'attendrai je encore longtemps? [1]

Этот Жак, как вы узнаёте из первых его слов, не кто иной, как весь народ Франции. Его возлюбленная...

Но я чувствую, что своим рассказом познакомлю вас очень плохо и с песней и с певцом. Скажу только, что мне хотелось после первого раза прослушать эту песню в другой раз и наверное после другого захотелось бы слышать ее и в третий.

Восторга мадемуазель Максим я не берусь описывать. С каким чувством вторила она припеву песни!

При слове «республика» глаза у нее постоянно наполняются слезами.

— Кто этот Потье? — спросил я ее.

— Песни он сочиняет на досуге,— отвечала мадемуазель Максим.— У него есть другая индустрия, которая доставляет ему средства к жизни. Он занимается набивкою рисунка на материи. Ведь стихами нельзя жить. Разве воспевать то, что не стоит песен. Но тогда — прощай поэзия! Я хорошо знала Казимира Делавиня, Казимира Бонжура: они вечно были без денег... Да и вообще литературным трудом жить почти нельзя. Надо иметь какое-нибудь другое, более твердое общественное положение, более верное обеспечение. Знаменитости наши, разумеется, получают много; но и те все нуждаются. Noblesse oblige! [2] Они уж и жить начинают шире, не по средствам. Становится нужна большая квартира, лошади, экипаж; надо кормить друзей обедами, давать им вечера. И потом — дело не обходится без долгов и без каких-нибудь косвенных источников дохода, которые редко можно похвалить. Примеров приводить вам нечего: вы сами знаете. Люди с самой честной репутацией не брезгали такими источниками.

То же самое говорил мне и г. Фовети.

По изданию журнала у него едва сводятся концы с концами, и потому надо было, чтобы сохранить свою лите-

---

[1] Жду ее, жду ее, жду ее...
Долго ли мне еще ждать? *(франц.)*

[2] Благородство обязывает! *(франц.)*

ратурную независимость, найти для себя более верный источник дохода. Вот он и держит с мадемуазель Максим гостиницу. А еще журнал издается самым экономическим образом: сотрудники ничего не получают за свои статьи, кроме выговоров и замечаний, от кого следует.

Разговор в продолжение всего почти вечера был обращен на последнее сочинение Прудона: «De la Justice dans la Révolution et dans l'Eglise» [1].

Вы знаете из газет о судьбе, постигшей эту книгу. Автор вместо парижской тюрьмы, в которой должен был в другой уже раз поселиться на три года, очутился в Бельгии. Где-то он поселился теперь?

Особенный интерес для большинства представляют в книге Прудона главы, посвященные разбору семейных отношений и роли женщины в современном обществе.

Уж и в прежних его сочинениях попадались места, обличавшие странный взгляд на женщину и на ее призвание. Но, как высказанный вскользь, взгляд этот не вызывал особенных возражений. Можно было думать, что суждения Прудона о женщине и ее роли выражены не совсем ясно, потому что он не придавал им особого значения, как вопросу, почти не касавшемуся главного предмета его критики.

Теперь эти беглые заметки разработаны со всею диалектической ловкостью, отличающей автора «Системы экономических противоречий», и возведены тоже в систему. Что прежде казалось просто странным, явилось теперь диким и почти непонятным. С главными основаниями последней книги Прудона нельзя не согласиться; но критика вопроса о браке и любви возмутительна. И друзья и недруги Прудона согласны в своем негодовании на эту часть сочинения.

Две женщины-писательницы, с которыми я познакомился на вечере г. Фовети, госпожа д'Эрикур, очень приятная барыня, хотя чистый синий чулок, и госпожа Л., молодая, хорошенькая блондинка с большими мягкими локонами, готовят к печати каждая по опровержению на обидные суждения Прудона о прекрасном поле. Один американский журнал заранее объявил, что госпожа д'Эрикур разобьет Прудона в пух и прах.

Когда эти опровержения выйдут в свет, я познакомлю вас с ними и поговорю о взгляде Прудона на женщину, который возмутил и меня не менее вышепоименованных дам.

---

[1] «О справедливости в революции и в церкви» *(франц.)*.

На этот раз у меня под руками два другие, только что напечатанные возражения Прудону. В них дело идет, впрочем, не об одном «женском» вопросе.

Ни о той, ни о другой книге не стоило бы распространяться, если б они не были уж чересчур подлы, в придачу к своей тупости. Впрочем, имена авторов заранее предъявляют эти качества, к сожалению слишком нередкие в современной французской литературе. Одну книгу написал г. Эжень де Мирекур, другую — г. Адольф Гюар (Huard). Первый из этих господ известен даже у нас как человек неблагонадежный; второй, как увидите, мог бы не без успеха соперничать с ним.

Г-н де Мирекур, как известно, прославился своими клеветами или гнусными ласкательствами (середины нет), которые он печатает уже несколько лет тоненькими книжечками в 32-ю долю листа, под видом биографий знаменитых современников. С наглостью отъявленного французского хлыща этот биограф обыкновенно толкует, что пишет в некотором роде «современную историю», что этот «труд» сопряжен со многими горькими испытаниями, но что сознание своей правоты и своего бескорыстия заставляет его, биографа, забывать все огорчения и служит ему лучшею наградой.

Два года тому назад в коллекции «Современников» г. де Мирекура, под № 32, явилась и биография Прудона. Половина книжки была наполнена бранью, половина койкакими фактами из жизни Пьера-Жозефа, как бесцеремонно называет парижский Плутарх своего героя, вероятно потому, что при фамилии его нет импонирующей частицы *де*.

Книжка оказалась полезной разве тем, что вызвала объяснение со стороны Прудона.

Одним из источников для биографии знаменитого философа г. де Мирекуру послужило письмо безансонского архиепископа Матьё, или Матвея.

Прудон родился (15 января 1809 года) и воспитывался в Безансоне, гнезде самого фанатического католического духовенства. Куда же было лучше обратиться за справками?

Исполняя просьбу г. де Мирекура и сообщая ему сведения о Прудоне, безансонский прелат, разумеется, не подозревал, что новая книга ненавистного ему философа будет посвящена «à Son Éminence Monseigneur Mathieu,

Cardinal-Archevêque de Besançon»[1] и что, не довольствуясь таким посвящением на заглавном листе, автор будет обращаться к нему беспрестанно и в самом тексте книги. Знай все это почтенный друг или патрон г. де Мирекура, он верно отчурался бы от парижского писаки, как от дьявола.

Странно, что он забыл еще подобную проделку Прудона со своими земляками и воспитателями. Известно, что свой трактат о собственности Прудон посвятил безансонской академии, к великому соблазну всех ее членов.

Теперь он обращается с следующим воззванием к патрону г. де Мирекура:

«...Автор моей мнимой биографии, г. де Мирекур, объявив, по своему обыкновению, что частная жизнь моя безукоризненна, тем не менее заключает и ясно дает понять всякому, имеющему чувствительное сердце, что я злодей (que je suis un scélerat). Сущность сведений, собранных автором, дух, которым проникнута его статейка, интерес, которому она якобы служит, все, на мой взгляд, обличает экклезиастическое происхождение...

В ней находится цитата из письма, адресованного биографу одним *благочестивым архиепископом*, который, впрочем, яснее не обозначен. Так как письмо содержит в себе подробности о моем семействе, о моей молодости, проведенной на родине, то я думал, что оно не могло быть написано никем, кроме вас...

Да что уж! я видел и самое письмо; этот добрый г. де Мирекур был так обязателен, что показал мне его. Благочестивый архиепископ, сообщивший автору «Современников» столь драгоценные сведения, не кто иной, как monseigneur Сезер Матьё, архиепископ безансонский, кардинал...

Боже мой! за какое ремесло вы взялись? Сотрудничать в фабрикации пасквилей! вступать в кумовство с г. де Мирекуром!.. Да знаете ли вы человека, с которым завязали эти письменные сношения? Уж не хотели ли вы поощрить его скандальное предприятие, благословляя это *цыганское* перо (cette plume de bohême), которого не устрашает исправительная полиция?

Однажды вечером г. де Мирекур пришел ко мне и объявил мне свое намерение издать мою биографию. Визит его ко мне был, по словам его, вызван исключительно вежли-

---

[1] «Его преосвященству господину Матье, кардиналу-архиепископу безансонскому» *(франц.)*.

востью: он хотел *спасти человека*; делом его было только оценить в хронологическом порядке мои идеи. Тогда-то показал он мне ваше письмо: это, признаюсь, тронуло меня чрезвычайно. Как пастырь моего родного города, вы и при недостатке снисхождения к моей особе, руководствуясь только чувством компатриотизма, общим всем землякам моим по Франш-Конте, могли удержаться и не предавать злобе памфлетиста члена одной из безансонских фамилий.

Не думайте, впрочем, чтобы меня сколько-нибудь тревожила моя биография и ее автор. Притом же не из числа ли я наиболее пощаженных между «Современниками»? И вы сами — разве не отдали вы мне справедливости? Грустно было мне только встретиться с вами в таком деле; вы являлись мне представителем моей родины, и, видя вашу подпись, я почувствовал, что во мне порвалась одна из тех незримых нитей, которые привязывают каждого человека к месту его рождения...

Тем не менее я ничем не обнаружил своих чувств и ограничился тем, что сказал г. де Мирекуру, что он очень бы обязал меня, если б не беседовал с публикой ни много ни мало о моей особе. «Это невозможно,— ответил он мне: — *я обязался*».

Я совсем не знал г. де Мирекура. Я не читал ни одного из его произведений; да и теперь знаю только книжку, касающуюся меня. Я думал, что после своего *вежливого* визита он, как честный критик, принесет мне сам первый экземпляр своей брошюрки. Без сомнения, он исполнил этот долг в отношении вас, так как вы состоите с ним в переписке. Судите сами о моем удивлении, когда я прочитал эту приправленную сентиментальностью буффонаду, которая пачкает мою частную жизнь и к которой приложил свою руку прелат!

Так вот до чего дошло французское общество под эгидой любви и порядка! Вот нравы, которые стараются привить нам спасители семейства, покровители частной жизни, наставники жизни духовной! Вот что тешит публику, вот что терпит правосудие, эта охрана лиц так же, как и собственности; вот что одобряет и ободряет ваша власть! Эта мнимая биография разошлась в количестве двадцати тысяч экземпляров. Ободренный успехом, г. де Мирекур продолжает свой мартиролог; он дошел теперь до № 80.

Разумеется, я не придаю автору «Современников» более значения, чем придают ему его читатели. Я не думаю даже,

чтобы он, в глубине души, был убежден в каких бы то ни было началах, принадлежал к какому бы то ни было исповеданию. Он об этом и не думает вовсе. А между тем, заметьте, этот человек, в предисловии к № 32 своих биографий выхваляющий *тщательность, с которою он собирает материалы*, но не боящийся, по-видимому, заслуженного возмездия и даже вызывающий его, чувствует, что у него есть поддержка. Он знает, как где действовать; на всякий случай у него есть рассчитанный план. С тех пор как ему угодно было поместить меня в свою карикатурную галерею, я узнал об нем очень многое... Э, полноте, добрые люди, раненные клеветою! молчите! Г-н де Мирекур не один у нас; пускаясь в это ремесло, он именно и рассчитывал на ваши крики; он выше всякой обиды. Я не хочу ничего знать о его жизни. Отвечать на зло, которое он говорит о других, злом, которое мог он сделать сам,— плохое опровержение, не касающееся сущности дела. Надо взглянуть поглубже: пускать стрелы в пасквилянта — напрасный труд. Поищем главных оснований.

Г-н де Мирекур (что мне за дело до его прошедшего и до его псевдонима?) для меня не что иное, как томик в 32-ю долю и 96 страниц. Что это за томик? чего хочет он от меня? какую идею представляет? Во имя какого интереса отыскивает он меня в моем уединении, раскапывает мою жизнь, мое семейство, мои дела и, закутывая меня в католическое san-benito [1], позорит пред лицом света, готового позабыть обо мне?

На эти вопросы, естественно возникающие из дела, мне нечего было долго искать ответа. Будь сказано не в обиду тем, кто думает, что знает автора «Современников», он нечто более, чем литературный авантюрист, на счет знаменитостей эпохи собирающий деньги с любопытства публики. Г-н де Мирекур одно из знамений нашего времени (un signe du temps). Это один из поборников того права, дело которого соединено с системой реакции, преобладающей в настоящую минуту во всей Европе...

---

[1] Может быть, не всем русским читателям известно, что такое san-benito. Это слово испорчено из испанского saco benito (благословенный мешок). Так назывался серый или желтый балахон, который надевали на приговоренных инквизициею к сожжению заживо. На этом балахоне изображался человек, лежащий на горящих головнях и окруженный дьяволами. (*Прим. М. Л. Михайлова.*)

...Вы знаете юридическую аксиому: Is fecit cui prodest [1]. Стало быть, вы согласитесь, что г. де Мирекур тут *человек подставной*. Я не знаю, да и знать не хочу, добровольно или по найму он пошел в застрельщики реакции; но поведения его нельзя объяснить одною безнравственностью и нищетой. Вне среды, которая делает его возможным, порождает его, он не мог бы явиться. Без сношений с вами, то есть со всею безансонской компанией, ему нельзя бы было издать моей биографии; без точки зрения, которою вы снабдили его, он не сумел бы дать ей значения. Самые бравады его, этот оттенок наглости, который он придает себе, чтобы сбить своего противника, ни к чему бы не послужили, если б он не находил себе поддержки в совести сантиментальных реакционеров-читателей».

Все это — горькая правда, и две жалкие книги, явившиеся в опровержение Прудона, только подтверждают его слова.

Г-н де Мирекур всячески хочет уверить публику, что он действовал вследствие глубоких убеждений своих и без всякого постороннего влияния, сочиняя и издавая биографию Прудона. Но кто же поверит, что у г. де Мирекура есть какие-нибудь убеждения?

Безансонский патрон его действует откровеннее. Он скрепил своею подписью творение соперника г. де Мирекура. Вслед за заглавием в книге г. Адольфа Гюара помещено письмо монсиньёра Матьё, одобряющее не только содержание ее, но и глубокий взгляд (supériorité de vues) достойного автора.

Г-н Гюар, г. де Мирекур — не все ли равно?

Новое произведение автора «Современников» называется: «Lettres à monsieur P.-J. Proudhon» [2]. Половина их посвящена оправданиям и обвинениям. Г-н де Мирекур оправдывает свою неподкупность, доказывает, что имел полное право говорить о частной жизни Прудона, и обвиняет своего противника в том, что он вытребовал у него копию с безансонского письма.

На все это есть заранее ответ в книге Прудона, и г. де Мирекуру нечего было, собственно говоря, сочинять довольно толстый том, колотить себя в грудь, восклицая о своей высокой честности, и разражаться проклятиями своему

---

[1] Сделал тот, кому это выгодно (*лат.*).
[2] «Письма к господину П.-Ж. Прудону» (*франц.*).

противнику. Дело не обошлось, разумеется, и без клевет, которых не стоит опровергать, потому что ложь сама мечется в глаза.

Книга очень противна, но в ней есть и очень комическое. Во-первых, г. де Мирекур объявляет, что для опровержения Прудона у него одного не хватило силы и для разбора философской и научной части сочинения «De la Justice» он пригласил какого-то г. Жильбера. Должно быть, тоже милый господин: это видно как из того, что он сотрудник г. Мирекура по его журналу «Vérité pour tous» [1], так и из настоящей полемики.

Тактика употреблена известная: выписаны самые резкие места из книги противника и снабжены вместо всяких возражений восклицательными знаками, воззваниями к нравственному чувству читателя и проч. И все это с растрепанным нахальством грошового фёльетониста и эрудицией школьника из первых классов.

Точно такие же приемы у г. Гюара, с прибавкою бóльшей тупости.

Вторая комическая черта книги г. де Мирекура — это ее посвящение. Автор посвящает свое новое творение «Памяти своей матери, скончавшейся во время его заключения». Он, видите ли, не мог отпроситься у начальства Sainte Pélagie отдать ей последний долг и потому приносит теперь на ее могилу эту кучу грязи. Впрочем —«умысел другой тут был». Г-ну де Мирекуру во что бы то ни стало хочется выставить себя страдальцем за правду и сорвать слезу с ресницы чувствительного читателя. Не сказать же прямо, что попал на съезжую за буйство.

Вероятно, тоже с целью разжалобить читателя и внушить ему доверие к себе, рассказывает г. Гюар, как он сидел в тюрьме до выборов 2 декабря и получил звонкую оплеуху по правой щеке от товарищей по заключению, когда предложил в президенты принца Лудовика-Наполеона.

Повторяю, что не остановился бы на этих отвратительных явлениях здешней прессы, если бы они не кидались в глаза самою этой отвратительностью и не были, по выражению Прудона, знамениями времени. Они стоят не одиноко. В книгопродавческих объявлениях, прибитых на всех углах, вы сплошь видите заглавия вроде, например,

---

[1] «Правда для всех» *(франц.)*.

следующего: «Les philosophes au pilori» [1], и под ним крупными буквами имена самих философов.

Тупой фанатизм напрягает все свои силы, чтобы привязать к позорному столбу лучшие имена Франции, ее честь и славу. И Мишле к позорному столбу! и Беранже к позорному столбу! Vive de Mirecourt! vive Huard! vive de Bussy et consortes! [2]

И так называемая «большая» журналистика молча смотрит на все это: она занята глубокомысленными рассуждениями о великом политическом значении шербурских празднеств.

Или понятия так перемешались, что эти литературные явления, рассчитанные на огромную массу читателей, уже не кажутся никому страшным ядом? Может быть.

— Дайте мне опровержения де Мирекура и Гюара! И книгопродавец подал мне обе книги.

— А самая книга, на которую написаны опровержения, есть у вас?

Почтенный буржуа принял почти обиженный вид.

— Уж если продавать опровержения,— наивно продолжал я,— так надо бы продавать и то, что их вызвало.

— Противоядие можете вы купить, но яду не продают,— отвечал глазом не моргнув книгопродавец.

Ответ был, как видите, очень ловкий; но я невольно вспомнил стихи Гейне:

Das ist ja die verkehrte Welt!
Wir gehen auf den Köpfen;
Die Jäger werden dutzendweis
Erschossen von den Schnepfen[3].

Я начал вам рассказ о моем странствии прямо с Парижа. Позвольте воротиться и рассказать, как я добрался сюда.

Переезд от Кронштадта до Штетина на пароходе «Владимир» был на этот раз не из числа самых благоприятных.

Мы выехали 12 июля (по старому стилю), в субботу, и должны были быть в Штетине во вторник поутру. Вышло

---

[1] «Философы у позорного столба» *(франц.)*.

[2] Да здравствует Мирекур! да здравствует Гюар! да здравствует Бюсси и компания! *(франц.)*

[3] Все в этом мире вверх ногами!
Мы ходим на головах;
Охотников дюжинами
Стреляют вальдшнепы *(нем.)*.

не так: только в среду под вечер сошли мы с парохода.

Первые два дня были еще туда-сюда, хотя дул постоянно противный ветер и дамы начали, как водится, стонать во всех углах. На третий день уж только особенно храбрые выбирались из кают на палубу. Ветер сбивал с ног и хлестал в лицо водой. Ночью сломало бугшприт; в одной из кают растворилось окно, и барынь обдало как из ушата холодной водой. Можете представить, какой крик и визг, какие вопли поднялись!

Одна из барынь стонала, чтобы ее не кидали в море, если она умрет, а довезли бы до Штетина.

Другая, державшая себя с большим достоинством, так забылась, что кричала:

— Messieurs![1] умоляю вас, стащите с Васи штаны!

Десятилетний Вася ее только и говорил в течение суток:

— Мамаша, опять тошно.

Все это происходило в каютах второго класса. То же было, вероятно, и в первом классе: десять рублей не спасают от морской болезни.

Но, как всему бывает конец, наступил конец и качке. Показался Свинемюнде. Пассажиры выползли из кают. Дамы были так нарядны, как будто с ними и не случилось ничего неприятного.

В Свинемюнде мы простояли довольно долго...

Единственным приятным впечатлением этого переезда было для меня знакомство с одним русским семейством, отправлявшимся в Веймар, чтобы поселиться там на несколько лет для воспитания детей. В Веймаре существует превосходное заведение профессора Стоя, для первоначального образования. О нем писал в «Русском вестнике» г. Рачинский, и его-то статья произвела такое прекрасное действие.

Зато на том же «Владимире» ехала барыня с двумя отроками, чтобы усовершенствовать их в настоящем accent parisien[2]. Так по крайней мере она говорила.

Шербурские празднества надоели мне прежде, чем я читал о них в газетах, еще на пароходе. В числе пассажиров находился какой-то французский курьер, в алжирской

---

[1] Господа! *(франц.)*

[2] парижском произношении *(франц.)*.

шапке и с длинной серой бородой клином, как у старого козла. У него, что ни слово, был на языке mon empereur [1]. Он очень сожалел, что приедет поздно; а то, видите ли, у него составлен превосходный план иллюминации и рисунок набросан. Все пушки и лафеты, пушки и лафеты — и из них составлен императорский орел.

— Эффект вышел бы поразительный,— утверждал он.— Вы только вообразите, как бы это было: пушки и лафеты, пушки и лафеты...

«Глазки и лапки, глазки и лапки...»

— Это пестро,— решился я заметить, вспомнив даму, приятную во всех отношениях.

— Ах, не пестро,— отвечал мне курьер, точь-в-точь как дама просто приятная.

— Ах, пестро!

И мне пришлось выслушать в десятый раз, как это будут пушки и лафеты, пушки и лафеты, и как изо всего этого выйдет орел.

Я, вероятно, давно бы забыл об этом спутнике, если бы слово «Cherbourg» [2] до сих пор не раздавалось вокруг меня со всех сторон и не металось мне в глаза в каждом листе газеты и на каждом доме, где только можно прилепить афишу, напечатанное и большими, и среднего размера, и малыми буквами.

Нельзя высунуть носа на Итальянский бульвар, чтобы не наткнуться на человека с тарелкой в руке и с маленькими позолоченными медальками на тарелке.

— Медаль в честь шербурских праздников! — восклицает он резким голосом.— Портреты императора, императрицы, английской королевы и принца Альберта! Четыре портрета за двадцать сантимов!

Но я опять из Штетина разом очутился в Париже.

В месте рождения Екатерины II я остался три часа.

Пообедав в гостинице, где сидело еще за столом после table d'hôt'a [3] несколько прусских офицеров и играло в орлянку, я пошел бродить по городу — и попал от офицеров к солдатам. На парадном плацу, перед мраморной статуей Фридриха-Вильгельма III, происходило ученье солдат.

---

[1] мой император (*франц.*).
[2] «Шербур» (*франц.*).
[3] общего обеда (*франц.*).

Я посмотрел на монумент, на новое здание театра, перед которым он поставлен, на ученье, нашел, что и то, и другое, и третье в порядке, что театр довольно красив, что монумент монументален и, как и следовало, поставлен «признательным городом», что ученье — свет, а неученье — тьма, и пошел дальше.

Дальше — еще монумент, и опять мраморный, и опять Фридрих, но на этот раз уже Великий, работы Шадова.

Одними из двух ворот, украшенных разными воинскими эмблемами и атрибутами, вошел я в крепость и побродил по зеленому парку, полному детьми, няньками и кормилицами. Ворота, воздвигнутые Фридрихом-Вильгельмом I, принадлежат (как уверил меня гид) к числу самых красивых крепостных ворот во всей Германии. Тем не менее они не произвели на меня никакого впечатления.

Зато деревьям и зелени я был очень рад после скучного и утомительного переезда морем.

Но долго гулять было нельзя; я поспешил на станцию железной дороги и поспел как раз за десять минут до отправления поезда в Берлин.

Дорогой я ничего не видал, по двум очень простым причинам: во-первых, потому что становилось уже темно, а во-вторых, потому что и видеть было нечего.

В Берлин мы приехали уже совсем впотьмах.

Полученные мною здесь письма звали меня немедленно в Париж, и я решился отправиться на другой день с первым экстреном, который должен был идти в половине седьмого после обеда. Понятно, что осматривать город было некогда.

Я успел только наскоро обойти картинную галерею старого музея, взглянуть мельком на королевский дворец, перед которым стоят две клотовские бронзовые лошади с нашего Аничкина моста, и на рауховский памятник Фридриху Великому, воротиться в Brithish Hôtel, где остановился, Под Липами, пообедать и взять билет до Парижа.

Афишки объявляли в этот день представление Гоголева «Ревизора» на немецком языке; но это меня не остановило в Берлине. Имени переводчика я не помню; знаю только, что игрался не прекрасный перевод г. Видерта.

Экстрен двинулся, и пошли писать по сторонам Потсдам, Бранденбург, Магдебург, Брауншвейг и проч. и проч. На минуту показалась вдали огромная масса Кёльн-

ского собора и исчезла. Аахен, Люттих, Эрклин и проч. Два раза отобрали и возвратили нам паспорты, раскрыли и закрыли наши дорожные мешки, и на другой день после выезда из Берлина, в девять часов вечера, мы были в Париже, а в десять я уж сидел в седьмом нумере Hôtel Molière.

7 августа / 26 июля 1858

II

Французская нравственность.—«Бедные львицы».— Театральная цензура.—Парижские постройки.

Все честные, достойные веры голоса современной литературы и науки говорят единодушно о жалком нравственном состоянии французского общества. Как ни громки, как ни полны уверенности победные крики реакции, которая и возможна только при таком состоянии общественной нравственности, им не заглушить этих голосов.

Опасения за будущность нации овладевают лучшими ее представителями.

Послушаем одного из благороднейших мыслителей нашего времени.

«Под иссушающим влиянием сомненья,— говорит он,— несмотря на то, что, может быть, ни преступление не стало явлением более частым, ни добродетель не сделалась фактом более редким, нравственность французская разрушена в самом основании. Не остается ничего, что бы еще держалось: поражение полное. Ни мысли о справедливости, ни уважения к свободе, ни взаимной связи между гражданами. Нет учреждения, которое бы ценилось; нет принципа, которого бы не отрицали, не поругивали. Нет более авторитета ни в мире духовном, ни в мире временном: повсюду души ушли в свое *я*, без точки опоры, без луча света. Нам уже не за что и нечем больше клясться; в нашей клятве нет смысла. Подозрение, падающее на принципы, переносится на людей, и нет больше веры в неподкупность правосудия, в честность власти. Вместе с нравственным смыслом исчез как будто и самый инстинкт самосохранения. Общее направление предано эмпиризму; биржевая аристократия, проникнутая ненавистью к partageux [1], накидывается на

[1] сторонникам уравнительного распределения имущества (*франц.*).

общественное достояние; средний класс обмирает от трусости и тупости; чернь погрязла посреди нищеты и дурных влияний; женщина охвачена лихорадкой роскоши и распутства; молодость бесстыдная, детство дряхлое; даже служители самых, по-видимому, чистых начал бесславят себя соблазном и мщением и, не веря сами в свое значение, едва нарушают своими мертворожденными наставлениями безмолвие общественного мнения: вот профиль нашего века.

Самые неробкие люди чувствуют это и тревожатся.

— Уважения не существует,— говорил мне один деловой человек.— Как тот властелин, который чувствовал, что становится полубогом, я чувствую, что становлюсь плутом, и спрашиваю себя, чему я верил, когда верил чести.

— *Сплин* одолевает меня,— признавался один молодой проповедник.

И он, по-видимому огражденный и своими обязанностями, и своею верой, и своим возрастом от этого английского недуга, и он чувствовал упадок нравственной жизни в своем сердце.

Существование ли это?..

Ум человека (говорит г. Сен-Марк де Жирарден) потерял ясность; сердцу нет больше радости. Вокруг нас туман; мы спотыкаемся, отыскивая дорогу, и на нас нападает грусть. Веселость — большая редкость в наше время, даже у юности.

— *У этой нации нет принципов,*— говорил про нас в 1815 году лорд Веллингтон.

Теперь мы видим это.

Глядя на наше падение, не с удвоенным ли ужасом повторил бы Ройе-Коляр свои слова, сказанные в ту же эпоху:

— *Общество разбито в прах.* Остаются только воспоминания, сожаления, утопии, безумства, отчаяние».

Эти печальные строки, рисующие такую мрачную картину французского общества, могут служить лучшим предисловием к частному случаю, который я хочу рассказать, как он представляется на одном из здешних театров. Без этих строк он показался бы исключительным большинству наших читателей, и одни мои уверения не убедили бы их в противном.

Войдемте в дом одного из деловых парижских людей и взглянем на его семейный быт.

Г-н Помо имеет в год двадцать тысяч франков дохода; но, глядя на его житье-бытье, никак этого не подумаешь. Начиная с убранства квартиры и кончая нарядами его жены, все заставляет предполагать, что он проживает по крайней мере вдвое более того, что получает.

Г-н Помо средних, что называется почтенных лет. Жена его — молоденькая, хорошенькая женщина.

Он ее очень любит и не может надивиться экономии, с которою она ведет домашнее хозяйство, не отказывая себе в то же время ни в каких удовольствиях — ни в балах, ни в пикниках, ни в спектаклях, ни в верховой езде, ни в пышном туалете...

До женитьбы своей Помо был опекуном одной сироты. Тереза, и выйдя замуж, сохранила глубокое уважение и горячую дружбу к своему опекуну.

Ее беспокоит кидающаяся в глаза всем, кроме доброго Помо, роскошь его жены. Она говорит ему, что проживает с мужем вдвое больше, чем он, а между тем живет вдвое хуже.

— Мать Серафины была такая экономная женщина,— оправдывается Помо,— она научила и дочь делать много с маленькими средствами. Ты не можешь себе представить, Тереза, какие чудеса производит расчетливость Серафины в нашем хозяйстве; ты и не воображаешь, что значит уменье жить в Париже; ты и не подозреваешь невероятной дешевизны, необыкновенных случаев, которые здесь можно встретить; было бы только терпенье поискать. Конечно, на эти поиски нужно много времени; а твое время все принадлежит твоему ребенку; тогда как Серафина...

— Я вижу одно,— возражает Тереза,— что половина жизни ее проходит в окружении себя роскошью, а другая в показыванье этой роскоши другим,— что же остается для вас, мой друг?

— Я не требователен.

— Но я могу быть требовательна за вас...

Тереза считает себя обязанною Помо и своим состоянием и своим счастьем.

— Мне горько видеть,— говорит она,— что Серафина по своему легкомыслию,— я убеждена, что только по легкомыслию,— как будто забывает, чем она обязана вам.

— Она ничем не обязана мне,— возражает Помо,— по моему мнению, *я* обязан ей. Без нее что была бы моя жизнь? Она подарила меня несколькими годами такого

довольства, что я ничего не желаю больше для остающегося мне будущего.

Серафина была девушка бедная; больная мать, долги...

Тереза напоминает Помо, что эти долги заплатил он.

— У меня оставалось восемьдесят тысяч франков от моего наследства и от моей экономии,— отвечает Помо,— я был уже не молод, но и не стар; Серафина согласилась выйти за меня, и я как будто начал новую жизнь. Не тревожься же за мое счастье: я счастлив.

— Вы счастливы? А, однако ж, вы изменились на мои глаза.

— Я старею.

— Нет, вы слишком много работаете... потому что Серафина слишком много тратит; и мне хотелось бы объяснить ей это.

— Не делай этого, моя милая: даже тень неудовольствия между вами будет мне очень прискорбна.

— Вы обижаете ее, говоря это: она поймет, что замечания мои вызваны дружбой; голова у нее ветреная, но сердце доброе, и если она вникнет, сколько труда стоит вам каждая тряпка ее...

— Нет; она станет отказывать себе, я уверен, и не хочу этого... это удивляет тебя, милая Тереза? Ах, если бы между мной с Серафиной было меньше разницы в возрасте, я думал бы иначе; но разница эта возрастает с каждым днем; когда я женился на ней, я достигал уже вершины жизни; теперь я спускаюсь, а она все еще поднимается; я, к сожалению, не предвидел, что мы не можем оставаться долго в равных отношениях, и взял на себя большую ответственность... Я вполне верю в прямоту Серафины; но долг каждого мужа окружить жену счастием, чтобы ей было легко честно исполнять свои обязанности... И я стараюсь, чтобы жена моя была счастлива. Я не увлекаюсь; она может чувствовать ко мне только дружбу и признательность; я желал бы по крайней мере их заслуживать больше. Вот почему я смотрю сквозь пальцы на некоторые прихоти ее, не совсем согласные с моим положением, вот почему умоляю и тебя не спугивать ее беспечности, которая не дает ей заметить настоящей пустоты в ее жизни. Ты понимаешь меня, не правда ли?

— Как вы любите ее!

С Серафиной так же трудно столковать, как и с ее мужем.

Желая навести ее на мысль, что г. Помо слишком утомляет себя работой ради ее прихотей, Тереза спрашивает:

— Ваш муж работает нынче и по воскресеньям?

— А что ж ему делать целый-то день? — спрашивает в свою очередь Серафина.

Стоит ли говорить о таких пустяках! Ей надо рассказать о своем туалете для бала, на который она собирается.

— А какое платье будет у вас? — спрашивает Тереза.

— О! самое платье — это последняя вещь,— отвечает Серафина.

— Вы пугаете меня...— говорит Тереза,— на вас будут кружева?

— Это мой секрет; в четверг вы увидите.

— Смотрите, не будьте наряднее, чем позволяет вам положение вашего мужа...

— Да кто же знает, что это мой муж?

— Довольно, кажется, что вы это знаете; вы говорите иногда пренаивные вещи!..

— Ах, да! — перебивает ее Серафина,— господин Помо говорил вам, что мы рассчитываем на вас и на Леона... на вашего мужа,— хотела я сказать,— в субботу, к обеду?

— Нет; у вас будут гости?

— Десять человек с вами, не больше. Наша столовая невелика, а я люблю, чтоб у нас всем было просторно.

— Я согласна в этом с вами и не терплю слишком тесных столов, за которыми иные хозяйки кормят всех своих знакомых за всю зиму разом.

— Мы обновим сервиз, что я недавно купила...

— Знаю... вашу находку в прошлом месяце?

— Именно находку! Полный столовый сервиз, совершенно новый,— белье, фарфор, хрусталь, и ведь какой случай! все как нарочно с моим вензелем.

— Случай в самом деле странный!

— И, вы помните, всего несколько сот экю.

— Одни вы способны на такие открытия.

— Да! жаль, что я опоздала... Я открыла бы Америку, если б она продавалась.

— И она досталась бы вам за ничто.

— Насмешница! А знаете ли вы, что в Париже таких случаев, как клубники в лесу? Стоит найти одну ягодку, и уж у вас тысячи под руками; только нагнуться да сорвать.

— Устанете!

— Теперь отдохну, после кружев.

— Я вас ловлю на слове!.. Так у вас будут кружева?

— Да; проболталась, так нечего запираться: point d'Angleterre[1], вот какой ширины! Шесть воланов и корсаж, после одной разорившейся девицы, жившей очень...

— Как! вы подбираете обноски какой-нибудь...

— А что ж?.. если вычистить. Впрочем, они совсем почти не ношены... Что вы на это скажете?

— Что для меня они были бы всегда слишком ношены.

— Вы горды!..

— Может быть, брезглива. Я люблю, чтобы на мне было свое платье, совсем свое.

— Я это понимаю; но у меня нет силы устоять перед искушением! когда мне принесли и предложили эти кружева...

— Вы говорили мне о продаже...

— Я хотела хорошенько рассмотреть их... я никогда не покупаю сразу; а как дело идет о полутора тысяче франков...

— За шесть кружевных воланов!..

— И за корсаж!

— Послушайте, моя милая, или вы ошибаетесь, или вас обманули...

— Вы сами их оцените; они будут у меня нынче вечером.

— А полторы тысячи франков?

— Ах! эти полторы... Вы не станете бранить меня, не скажете этого господину Помо...

— Вы от него прячетесь?..

— Но вы знаете — он так добр, он захотел бы заплатить сам, из своего кошелька; тогда как... у меня были две или три вещи после покойной матушки, с которыми я не знала, что делать.

— Вы никогда не говорили мне о них...

— Старые; я их...

— Вы их продали?..

— На вес...

— А если муж ваш спросит о них...

— Он и не знал, что они были у меня...

— Не знал?

— Не правда ли, это хорошо, что я не говорила ему?.. гадкие камни, оправленные отвратительно...

— Но эти гадкие камни были от вашей матери...

---

[1] английское кружево *(франц.)*.

— Да, но ведь они уж не в моде...

— Я вижу, мы никогда не поймем друг друга.

— Отчего?

— Так; у меня свой взгляд.

— Какой? скажите!

— Вы согласитесь, что если бы вы умерли и ваши дети...

— Ах, я ничего не знаю... У меня нет детей...

— Я делаю только предположение; разве вы не желали бы иметь детей?..

— Боже упаси! с ними слишком много забот!..

— Если вы и думаете это, не говорите по крайней мере.

Из всех слов Серафины видно, что было тут не совсем чисто. Тереза видит это; но ничего не может объяснить себе.

Она не подозревает также, что и у нее самой в доме неладно. Муж ее занимает деньги, удивляя этим даже приятеля, который дает ему взаймы.

— Скажи, пожалуйста! — говорит Леону этот приятель,— ведь у тебя отличное положение; жена твоя так расчетлива, сам ты вовсе не мот, и, несмотря на это,— не в упрек тебе будь сказано,— тебе приходится делать займы. Верно, у тебя какие-нибудь секретные связишки?

Это замечание смущает Леона так же, как смущали расспросы жены его Серафину.

— У меня не удалась одна спекуляция,— отвечает он приятелю, чтобы ответить что-нибудь.

В то время, как Леон был в безденежье, ему пришлось отпустить без уплаты явившегося к нему со счетом приказчика из магазина и велеть ему прийти после. Таким образом счет угодил в руки Терезы.

Тереза не верит своим глазам: в счете значится какая-то шляпка à la Marie Stuart, из белого тюля, с блондами и перьями. Такой шляпки она не заказывала и думает, нет ли ошибки в адресе.

Увы! адрес верен: шляпка заказана Леоном, но не для жены.

За этим горем следует другое. К Терезе приезжает Серафина, и на ней шляпка à la Marie Stuart, из белого тюля, с блондами и перьями, точь-в-точь как та, что значится в счете.

Надо много твердости, чтобы не выказать своего негодования; Тереза пересиливает себя.

«Каких ни вымышляй пружин», а «истина должна открыться» и Помо. Не век же быть ему слепым.

На бале он слышит случайно разговор двух дам, которые не знают его.

Одна говорит про его жену, что об ней много толкуют в городе.

Другая замечает на это:

— Говорят, она не мужа своего разоряет.

Помо начинает немного прозревать; но уверения Терезы успокоивают его.

Серафина обращает на себя всеобщее внимание своим пышным нарядом; этот успех, однако ж, отравлен для нее мыслью, что за кружева, которыми все так любуются, еще не заплачено ни сантима.

Леон тоже в беспокойстве: ему нужны деньги — именно столько, сколько следует заплатить за кружева Серафины; а денег нет. Приятель на этот раз отказывается помочь.

Помо успокоился ненадолго. На другой день является к нему торговка, требуя уплаты за кружева. Она говорит, что имела основание сделать жене его кредит в десять тысяч франков, потому что г. и г-жа Помо, по всем признакам, проживают в год не меньше тридцати тысяч. Доводы ее очень убедительны; Помо убеждается и уплачивает ей долг.

Сколько же должно быть долгов у Серафины? Помо решается расспросить ее. Он все еще верит ее чести.

Серафины не было дома. Она возвращается. Муж идет к ней навстречу, подает ей уплаченный счет и кротко говорит:

— Я не стану упрекать тебя... я виноват столько же, как и ты. От твоей молодости ждал я зрелого рассуждения: вместо того чтобы приучать тебя к порядку, я поощрял твою склонность к расточительности; я думал, что рассудок твой помешает тебе переступить некоторые границы. Случилось то, что я должен был предвидеть. Я был недостаточно рассудителен; ты была не довольно доверчива... Оба мы виноваты, и я беру на себя свою долю ответственности. Загладим же наши взаимные ошибки и займемся своим будущим.

Помо разрывает счет, садится и берет перо.

— Нам остается только ликвидировать наше положение,— говорит он.— Продиктуй мне список твоих кредиторов.

— Кредиторов? — восклицает Серафина,— да у меня нет других кредиторов.

— Я спрашиваю тебя без всякого злого умысла, мой друг... что сейчас произошло здесь, не должно повторяться; ты понимаешь... как бы ни была велика цифра твоих долгов, не бойся сказать мне ее; я ко всему приготовлен.

— Клянусь вам,— повторяет Серафина.

— Не клянись,— останавливает ее Помо.— Если мы и разорились, ты не услышишь от меня жалоб... Я не сержусь на тебя, повторяю, и с радостью примусь за труд, чтобы заставить тебя позабыть, до чего довело тебя твое легкомыслие.

— Если б у меня были долги,— решительно отвечает Серафина,— я бы сказала; но, уверяю вас, у меня их нет.

Помо начинает сильно тревожиться.

— У тебя нет долгов?..

— Только и было, что эти десять тысяч франков!

— Серафина! ради бога, будь откровенна! — умоляет ее Помо,— ты и не знаешь, какие следствия может иметь ложь!

— Зачем мне лгать? вы так снисходительны...

— Я не понимаю твоего упрямства...

— А я вашего...

— Умоляю тебя...

— Не выдумывать же мне долги для вашего удовольствия!

— И ты можешь поклясться в этом памятью твоей матери?

— Как вы нынче торжественны!

— Ты боишься!.. вот видишь.

— Извольте, памятью матери...

Помо как громом поражен. У него темнеет в глазах и подкашиваются ноги.

Серафина бросается к нему.

— Что с вами?

— Отойди от меня! — кричит глухим голосом Помо.— Так вот в какой грязи влачишь ты мою честь! Не запирайся! не лги!

Первое, что приходит в голову Серафине, — не рассказала ли всего ее мужу Тереза, которая уже все узнала?

— Отказывал ли я тебе в чем-нибудь необходимом? даже в прихотях? — продолжает Помо,— каждый день мой был посвящен труду, чтобы только доставить ей приличное довольство; все мои силы, все мое время, всю мою жизнь

отдал я ей; и для кого же я трудился? Свое имя соединил я с именем потерянной женщины!

— Все кончено, клянусь вам! — говорит Серафина, думая, что все дело в отношениях ее к Леону.

— Она даже и не понимает меня! — восклицает Помо.— Или ты думаешь, что я говорю с тобой, как ревнивый старик? Если бы еще ты отдалась, возраст мой был бы тебе извинением...

— Что вы хотите сказать?

— Кто оплачивает твою роскошь? развратница!.. Страшно подумать! Я готов даже забыть о падении,— так ничтожно кажется оно перед громадностью стыда! Ты даже не неверная жена, ты продажная женщина! что сделала ты со мной? Я не обманутый муж, а муж женщины на содержании, сообщник ее разврата, откупщик!.. Я не смешон, я опозорен.

— О! не унижайте меня еще более! — восклицает Серафина, по-видимому, в раскаянии,— пощадите меня!.. Я не знала, что делала... Теперь, узнавши, я противна самой себе. Я не оправдываюсь,— продолжает она, видя нетерпеливое движение мужа,— решите мою участь!

— Я решу ее потом,— говорит Помо,— а теперь я хочу знать его имя!

— Вы его не знали? — спрашивает изумленная Серафина.

— Еще бы знал! — говорит в отчаянии Помо.— Имя его!.. Чтобы он не смел больше вписывать моего имени в тариф своих распутств!

— Вы хотите драться?.. с ним... это невозможно.

— Он откажется, не правда ли? Скажет: чего вы хотите, почтеннейший? я платил вашей жене, вы пользовались моими деньгами, я вас кормил... Но он должен драться со мной... я брошу ему в лицо его деньги!

— Я этого не хочу... я этого не стою... Пусть меня запрут вместе с распутными женщинами... я унизилась больше их; у них есть хоть какое-нибудь извинение.

— Ты чересчур смиренна, и едва ли искренно.

— Я желала бы, чтоб у меня было испытание, чтобы я могла загладить...

— Ты можешь это! Тебе говорит уже не муж твой, а честный человек, которого ты имя носишь и который не хочет, чтобы это имя влачилось по грязи и по судам. Мне жаль, наконец, твоей души: между нами есть еще

связь — твое исправление! Будь ты искренна или нет, я не имею права останавливать твое раскаяние.

Серафина падает пред мужем на колени.

— Говорите! — умоляет она,— каково бы ни было наказание, я принимаю его с благодарностию.

— Прежде всего,— кротко говорит Помо,— скажи мне имя этого человека, чтобы я мог расплатиться с ним.

— Но вы не будете драться с ним? дайте мне слово!

— Я хочу расплатиться! Сколько я должен ему, не знаю — все, что у меня есть.

— Все?

— Нет сомнения, что я совершенно разорен.

Серафина тихо подымается с полу.

— Значит, мы...— холодно говорит она тоном вопроса.

— Мы? — прерывает ее Помо,— мы будем жить моим трудом; нас ждут лишения, если не нищета... Ты говорила, как загладить твои поступки: вот начало...

— Нищета... для вас...

— Не заботься обо мне и отвечай.

— Я не могу принять этой жертвы.

— Я отвечу тебе, что это не жертва. Бедность — это восстановление моего доброго имени, и я жажду ее, как другие жаждут богатства! Ты колеблешься? Что удерживает тебя? Я боюсь понять твое молчание... Говори же! говори! О, низкая тварь! не из-за меня страшит тебя бедность.

Серафина опускает глаза.

— Ну, да! — говорит она довольно твердо,— я боюсь ее.

— Я вывел ее из ничтожества, и хлеб, которым я довольствуюсь, недостаточно хорош для нее!

— Вы попрекаете меня своими благодеяниями? — говорит с горечью Серафина.

— Я раскаиваюсь, что думал, будто ты их стоишь.

Голос Серафины прерывается от злости. Она отвечает мужу:

— Коль не богат, не женись.

— О, чудовище разврата! — восклицает в отчаянии Помо.

— Женщину не оскорбляют; ее прогоняют или убивают,— говорит тем же прерывающимся голосом Серафина, вся дрожа от волнения.— Какое мне дали воспитание? Чему учила меня мать? — Что надо быть богатой, чтоб быть счастливой. Чему научил меня свет? — Что надо быть

богатой, чтоб пользоваться уважением. Удовольствия и роскошь — этим богам учат нас поклоняться и словами и примером; а поклоняешься им, нас же называют чудовищем! Что ж! пусть чудовище! Если я чудовище, спрашивайте не с меня! Я сделала бы уступку общественному мнению, оставшись с вами: вам этого мало, так прогоните меня... я не пропаду.

— Вы здесь у себя дома, сударыня,— говорит сраженный Помо,— я ухожу, чтобы никогда не возвратиться сюда... Предавайся на свободе своим инстинктам!

Помо уходит.

Удивленная горничная спрашивает Серафину, что с г. Помо.

— А я почему знаю! — отвечает, пожимая плечами, Серафина.

Убитый, уничтоженный, бродит Помо по улицам шумного города. У него нет никакой надежды в будущем; нет даже радости мщенья в настоящем. Но из далекого прошедшего светит еще маленькая искорка, и он опять возвращается к дому, видевшему его позор, чтобы пройти хоть мимо окон.

Давно уже вечер; но окна все темны.

Помо становится страшно; сердце у него сжалось как будто предчувствием какого-то нового несчастия.

Торопливо звонит он у ворот и входит.

Привратник останавливает его словами:

— Госпожа Помо уехала в театр.

Эти слова не удивили Помо; что может теперь удивить его?

Но маленькая искорка в прошедшем погасла. Он опять выходит из ворот.

На улицах слишком светло; эти яркие, праздничные огни колют ему глаза; этот веселый шум вокруг противен его глазам. Ему хотелось бы уйти подальше от этого блеска, от этой роскоши, от этого шума.

На набережной темнее. Шум воды, бьющейся в каменную стену, отраднее шума людского.

Помо остановился. Под этими темными волнами еще темнее, еще спокойнее: ни свет, ни гул Парижа туда не дойдут.

Помо закрывает глаза. Губы его прошептали уже последнюю молитву. Он застегивает свой фрак, чтоб ничто не мешало ему достигнуть поскорее желанной цели.

Тут рука его ощупывает в боковом кармане связку банковых билетов — и он опять возвращен к жизни. Расчеты его еще не кончены. Ему надо заплатить свой долг человеку, который опозорил его и убил его счастье; надо бросить связку этих билетов в наглое лицо развратника...

Но где искать его? У кого спросить? кто даст совет?

У Помо остались еще друзья. Тереза любит его, как отца; он любит ее, как дочь... С Леоном он тоже был всегда хорош. Помо пойдет к ним.

Здесь встречает он одного общего знакомого, Бордоньона. Поведение Серафины всем известно: Помо не скрывает своего несчастья.

— Послушайте, любезный господин Помо,— говорит Бордоньон, стараясь успокоить его,— вы должны стать выше всяких покушений на вашу честь... Позор падает на одну виновную.

— Ведь это моя жена! — возражает ему Помо.

— Она перестала быть вашей женой с того дня, как упала так низко,— продолжает Бордоньон.— На вашем месте я отказался бы от нее и не стал бы требовать возмездия, которое невозможно.

— Мы увидим!

Помо задумывается.

— Послушайте,— говорит он, помолчав,— мне пришла в голову мысль между тысячью других, и я не могу от нее отделаться! Многое проходит перед нами мельком, а потом припоминается. Помните, вы рассказывали об экипаже, сломавшемся на бульваре... Эта женщина, что старалась скрыться... заметили вы, как смутилась Серафина при вашем рассказе?.. Мне приходят на ум тысячи обстоятельств. Я теперь знаю, это была она.

Помо прав: рассказ Бордоньона смутил Серафину, потому что Бордоньон рассказывал про нее и про Леона. Он сказал даже, что господин, ехавший с своей дамой так таинственно в закрытом экипаже, был адвокат. А Леон — адвокат.

И Леон и Тереза бледнеют при этом воспоминании Помо. Они чувствуют уже приближение страшной грозы.

— Полноте, что за предположения приходят вам в голову? — говорит Бордоньон.

— Это была она! — утвердительно повторяет Помо.

Тереза вся дрожит.

— Тереза,— обращается он к ней,— скажи по совести, ты ничего не подозревала?

— Я? — говорит совсем растерянная Тереза.

— И вы, Леон... вы часто виделись с ней...

— Завтра, любезный господин Помо, завтра,— останавливает Бордоньон эти расспросы.

— Я не вижу конца времени,— говорит Помо.

Он обращается к Терезе и просит ее, чтобы она дала ему комнату в своем доме. Он не хочет расставаться в этот вечер со своими единственными друзьями. Где же ему переночевать, как не у них?

Видя смущение Терезы, которая не может произнести ни слова, Бордоньон говорит Помо:

— Я вас увезу с собой... Меня ждет экипаж внизу; для приятеля у меня есть всегда место... Это будет лучше, чем беспокоить...

— Разве я обеспокою тебя? — спрашивает Помо Терезу.

Тереза не знает, что отвечать.

— Вот видите ли...— начинает она через силу и не может больше продолжать.

— У тебя нет для меня уголка? — говорит изумленный Помо,— мне довольно и этого кресла. Только на одну ночь!.. Ты опускаешь глаза?

Помо смотрит то на нее, то на Леона, то на Бордоньона.

— Вы все как будто смущены?

Он наклоняется к Терезе и тихо спрашивает ее:

— Разве Леон этого не желает?

Тереза молчит.

— Леон,— обращается к нему Помо,— не разлучайте меня с нею, друг мой, сын мой!

Он протягивает руки и хочет обнять его; Тереза инстинктивным движением останавливает Помо.

Все подробности забытого рассказа Бордоньона приходят ему на память. Этот адвокат... Помо вглядывается в бледное и смущенное лицо Леона.

— А! это был ты, разбойник! — вскрикивает он вдруг, кидаясь со сжатыми кулаками на мужа Терезы.

Бордоньон и Тереза останавливают его.

— Он муж мой! — говорит она.

— Пощадите ее! — говорит Бордоньон,— ведь она невинна.

Помо кидает связку банковых билетов к ногам Леона.

— Бери! — кричит он,— берите, я вам говорю, или...

— Отец мой! — умоляет его Тереза.

— Он обкрадывал мою дочь,— говорит прерывающимся голосом Помо,— чтобы покупать ласки моей жены!

— Господин Помо! — восклицает Леон, готовый, в свою очередь, кинуться на него.

Но Тереза строго взглядывает на мужа, обняв несчастного Помо, и Леон опускает голову.

— Я вас смертельно оскорбил,— говорит он в волнении,— на дуэль, если б вы и требовали ее, я не соглашусь... Я один поплачусь за свою вину; надеюсь, вам будет этого достаточно.

Помо ничего не слышит; почти лишенный чувств, сидит он в кресле.

Бордоньон берет за руку Леона.

— А сын твой? — спрашивает он.

— Ему останется мать,— отвечает Леон, быстро идя к дверям.

Тереза в ужасе оставляет кресло Помо, около которого стояла, кидается к мужу и становится перед ним в дверях.

— Ты не выйдешь! — говорит она, задыхаясь,— я не хочу, чтобы ты уходил! .

Бордоньон подходит к Помо.

— Господин Помо,— говорит он ему, показывая на плачущую Терезу,— поднимите глаза!

Тереза приближается к креслу Помо и опускается перед ним на колени.

— Я забыл,— говорит слабым голосом Помо,— что ты — ты можешь простить его! Честь твоя не запятнана... Так устроен свет.

Он поднимает Терезу.

— Скажи же своему мужу, что кровь ничего не смывает и что смерть его прибавила бы только новое преступление к прежнему. Впрочем, как скоро есть хоть одна жертва, возмездие полно; а я чувствую, что жертва тут будет.

Тронутый Леон хочет что-то сказать.

— Я с вами не говорю,— решительно останавливает его Помо,— что ж касается этих денег...— обращается он к Терезе.

— Клянусь вам, что я сама отнесу их к ней! — отвечает Тереза.

— К ней? — спрашивает почти в испуге Помо.

— Да, к ней,— подтверждает Тереза,— я дарю их ей.

Помо обнимает Терезу.

— О, ангельское сердце! — говорит он,— только женщина способна так прощать!.. Не упрекай ее! к чему? А когда меня не будет, если можешь, наблюдай за ней издали в память старика Помо, который так вас любил!.. Прощай!..

И он идет через силу к двери.

— Бедняк,— говорит Бордоньон Леону,— он умрет с горя.

Вот довольно подробное изложение драмы Эмиля Ожье и Эдуарда Фуссье «Бедные львицы», на одном из последних представлений которой я присутствовал. Главные сцены я привел почти целиком, с небольшими сокращениями.

Несмотря на то что не отличается особенно яркими литературными достоинствами, пьеса имела громадный успех в парижской публике. Вопрос, затронутый в ней, слишком близок всем. Парижская жизнь кишит Серафинами, начиная с самых низших ступеней общественной лестницы и кончая самыми высшими. Стоило только верно, хоть и нехудожественно, изобразить на сцене эту грустную сторону современных парижских нравов, чтобы произвести сильное впечатление.

Умная и благородная драма Ожье и Фуссье важна уже и потому, что представляет реакцию этому поклонению камелиям, которое, с легкой руки Александра Дюма-сына, сплошь встречается в нынешней французской литературе. Что и в этих продажных существах сквозь глубокий разврат просвечивают иногда человеческие чувства, никто не спорит, но только дотла испорченное общество может обратиться к этому омуту грязи за идеалами любви. Где эти баядеры, искупленные вашими Магаде в черных фраках и лайковых перчатках, с лорнеткой на носу и с английским пробором?

Pauvreté! pauvreté! c'est toi la courtisane! [1]

говорит где-то Альфред де Мюссе.

Сваливайте, если хотите, вину на бедность, хоть вы же сами не извините бедностью ни убийства, ни воровства; но не выставляйте нам героинями своих Манон Леско, своих Dames aux camelias[2], разъезжающих в каретах и съедающих десятки и сотни тысяч франков в год!

---

[1] Бедность! бедность! это ты, куртизанка! (*франц.*)

[2] Дам с камелиями (*франц.*).

Авторы новой драмы не хотели ничего идеализировать, и вот еще их заслуга. Они видели в обществе то, что есть, а не то, что хотелось им видеть. Величие души какой-нибудь королевы Помаре, плясавшей полжизни на публичных балах и полжизни предававшейся разврату, может быть и очень трогательно, особенно если ни харканье кровью, ни чахотка не останавливали ее благородных стремлений; но не лучше ли любоваться этим величием и проливать, если есть охота, слезы над безвыходностью этой судьбы — втихомолку, келейно, чем заставлять всех удивляться своему безразличию? Положим, Лукреций нет в современном обществе; но из-за этого не жить же нам в лупанарах?

Из моего пересказа новой драмы можно видеть, что целью авторов было только представить факт, как он замечен ими в жизни, оставляя на волю зрителя выводить из него свои заключения. Такое представление всегда действительнее, чем когда автор становится на кафедру и объясняет нам внутренний смысл каждого движения выводимых им лиц. Оттого так упал в последнее время интерес всех философских романов; оттого такое общее требование реализма от искусства; оттого, наконец, всем людям обратного прогресса и хранителям status quo[1] кажутся так отвратительны эти верные изображения действительности; оттого их крики о безнравственности современного романа и современной драмы. Никто не отрицает, что роман и драма должны, как зеркало, отражать жизнь, и все в то же время забывают неопровержимую аксиому, выставленную Гоголем на заглавном листе его комедии: «Нечего на зеркало пенять, коль рожа крива».

Так никто не нашел безнравственным романа «La Dame aux camelias», потому что действие его происходит везде, где угодно, и в то же время нигде, и все завопили о безнравственности «Madame Bovary»[2] Флобера, оттого что эта повесть представляла без всякой лести, с верностью дагерротипа, то, что происходит ежеминутно вокруг. Флоберу пришлось судиться, оправдываться и доказывать, что он написал вещь очень благонамеренную.

Прощая все идеальным произведениям (разумеется, если в них не создается что-нибудь вроде Икарии, или Фаланс-

---

[1] существующего порядка вещей (*лат.*).
[2] «Мадам Бовари» (*франц.*).

теры, или мормонитского Иерусалима), «строгие ценители и судьи» прощают все и карикатуре, шаржу, с теми же немногими исключениями. Поль-де-Кок может изобразить такого же *Соси*, как Помо; все посмеются — и больше ничего. Никто не подумает, как безнравственен этот смех. «Сегодня посмеялся, а завтра забыл; что ж тут дурного?» Дурно то, что мы привыкли каждый день и в романе и в водевиле смеяться так тому, над чем полезнее было бы не поплакать, разумеется, а подумать.

«Бедные львицы» не имели в виду смешить публику и потому не избежали обвинений в безнравственности. Авторам стоило немалого труда поставить на сцену свою пьесу.

Она играна была в первый раз в конце мая на театре Водевиля и с тех пор до половины августа ежедневно доставляла содержателю театра полные сборы. Весь Париж видел ее; стало быть, она здесь уже давно не новость.

Но недавно по поводу издания ее о ней опять заговорили в журналах.

Издание это посвящено принцу Наполеону, и в посвящении говорится, что его высокому заступничеству обязаны авторы тем, что «Бедные львицы» увидали свет и не остались навсегда в их портфеле.

Следующее за посвящением предисловие объясняет подробнее, в чем заключалось это «высокое заступничество».

Мне кажутся очень интересными некоторые сведения о французской театральной цензуре, сообщаемые Ожье, и я перескажу их с его слов, а частью и его собственными словами. Между прочим, он сравнивает судьбу своей комедии с препятствиями, которые встретил Гоголь при постановке на сцену «Ревизора». Вот откуда французы берут нынче сравнения? По ходатайству принца Наполеона, император снял запрещение, наложенное цензурой на «Бедных львиц», и тем доказал, насколько он умнее цензоров.

Оградив себя посвящением и воздавши в предисловии «кесарево кесареви», Ожье говорит:

«Упорное противодействие, встреченное драмой в цензурной комиссии, не есть факт исключительный, и о нем нельзя умолчать: это целая система. С позволения господ цензоров я хочу представить несколько своих замечаний об их обязанностях, ни всего значения, ни точных границ которых они, по-видимому, не понимают.

По моему мнению, и обезоруживая комедию, и допуская, чтобы она обращала свое оружие против общества, цензура одинаково изменяет своему долгу. Тем не менее из этих двух крайностей только последняя заботит ее: первой, кажется, она не придает важности. Это странное противоречие заметно у большей части людей, рассуждающих о комедии. Ей приписывают вполне возможность делать зло и отказывают в возможности делать добро. Между тем что-нибудь одно — надо или признать за ней оба эти действия, или отказать ей и в том и в другом. Противники ее говорят, что она никогда никого не исправила: положим, так; но, чтобы не отступать от логики и справедливости, надо прибавить, что она никого и не совратила с пути истинного; в таком случае она была бы ничем другим, как невинною забавой, детской игрой, над которой нечего наблюдать государству. Но так как государство наблюдает, и очень внимательно, значит, в его глазах, дело не таково,— и государство право».

Не преувеличивая общественной роли литературы, Ожье очень верно определяет ее.

«В здании общества (говорит он) есть внутренняя основа, столь же важная для его экономии, как костяной остов для экономии живого тела: это — нравы. Ими нации поддерживаются более, чем кодексами и учреждениями. Мы могли в этом убедиться вслед за нашими революциями, во время междуцарствия законов. Но нравы существуют, по-видимому, совершенно независимо; они ускользают от действия правительства; их нельзя ни отменить, ни преобразовать никаким распоряжением, никаким указом. Чем же действовать на них?

Помните ли вы прекрасные опыты Флурана над жизнью костей? Он доказал, что кости могут беспрестанно обновляться и окрашиваться от действия окрашивающей пищи. Не есть ли и литература окрашивающая пища общественной нравственности? И не есть ли театр наиболее действительная, если не наиболее питательная отрасль литературы? Враги умственной эмансипации давно объявили ему войну: достаточно и этого доказательства его действительности. И точно, не самая ли это понятная и не самая ли сильная форма мысли? Театр в непосредственном отношении к толпе; наставления его, худы ли они, или хороши, достигают своей цели прямо и настойчиво. Вы говорите, что он никого не исправил; согласен, но тот же упрек можно сделать

и нравоучительным книгам и красноречию кафедры; к тому же, цель театра не кого-нибудь исправить, а исправить всех; личный порок невозможно уничтожить, но можно уничтожить прилипчивость...»

Как из этих строк, так и из изложения самой пьесы вы видите, что у авторов была в виду очень благородная цель; а между тем драму все-таки нашли безнравственной. Не думайте, что доказать противное легко, когда суд о безнравственности драмы произнесла французская цензурная комиссия.

Благодаря своему уставу, она почти всесильна. Гг. Ожье и Фуссье должны были пройти все инстанции, чтобы добиться позволения поставить на сцену свою пьесу.

Когда цензура наложила на нее запрещение, директор театрального департамента и инспектор театров подал свой протест в защиту пьесы государственному министру. Но министр мог только поручить цензуре еще раз просмотреть пьесу, обратив внимание на сделанные авторами изменения. Второе рассмотрение подтвердило первое решение цензоров, и г. Фульд объявил, что не может ничего сделать.

Пришлось обратиться к «высокому посредничеству» принца Наполеона.

Теперь пьеса играется, весь Париж ее смотрит, и общая нравственность если не улучшается, то и не страждет.

Впрочем, не в нравственности главное. Спрашивается, для чего пьесу давали читать господам такому-то и такому-то, чтобы заставить их дважды произнести суд над нею и потом отменить его, то есть признать их дураками?

Обидно вчуже, хотя примеры, приводимые Ожье, подтверждают, что действительно господа, читавшие пьесу, дураки. Осуди они ее целиком, все бы ничего; а то они беспрестанно придирались к словам. Так, например, слово «забавляться», сказанное про мужчину и женщину, найдено *неприличным*; упоминание слова «англичанин», без особого уважения к этому слову, признано *неприязненным англо-французскому союзу*; другие слова оказались *вредными* или *неблаговоспитанными*...

Это напоминает мне одного русского туриста, который советовал своему приятелю археологу переименовать упомянутую в одной диссертации его древнюю пушку из *Свиньи* в *Орла*. Сколько ни убеждал археолог, что так именно названа пушка в сохранившейся на ней надписи, приятель-турист толковал себе одно.

— «Царская пушка свинья!..» Да как же может быть царская пушка свиньей... Это неуважительно... Царская пушка должна быть орлом.

У Ожье есть несколько строк и в оправдание своих строгих судей. Он говорит, что положение их очень щекотливо и что, пользуясь такой сильной властью, они в то же время находятся и под ответственностью, соразмерной этой власти.

«В случае ошибки (говорит Ожье) к ним применяется юридическая аксиома: imperitia pro culpa habetur[1]. Как же им не подписывать запрещения во всех сомнительных случаях? за неимением другой уверенности, они знают по крайней мере, что запрещенная пьеса не произведет шума. Что касается до меня, я от души сожалею об них: эти бедные смущенные судьи кажутся мне похожими на часовых во время тумана: едва приближается к ним несколько тонкий вопрос, они кричат: «*Мимо!*» — и уж нет для них ни друга, ни недруга; они стреляют с отвагою страха.

Но хотя страх этот извинителен, или, лучше сказать, понятен до известной степени, тем не менее он простирается до полного уничтожения нравоописательной комедии. Напрасно спорят они. Откроем их устав; в самом начале его значится: *Опасно раскрывать перед обществом существующие в нем тайные язвы.*

Что же, по мнению этих господ, «тайная язва» общества, если не новая форма вечных пороков, стало быть и законное достояние нравоописательной комедии? О чем же, по их мнению, должна она говорить? о формах известных и окреплых? Уж лучше откровенно заставить ее молчать?

И, наконец, что называют они «раскрывать»? — что с такой точки зрения можно найти вредным обнародование в «Gazette des Tribunaux» судебных случаев, потому что из них можно научиться разным преступлениям.

Потом можно перейти и к полному прекращению гласности. Шаг не будет уж резок».

Предисловие Ожье не исправило, однако же, господ цензоров. Мне рассказывали о новом случае такого же самоуправства, какое постигло было «Бедных львиц».

Г-н Леон Гозлан написал комедию, содержание которой можно передать в двух словах.

---

[1] неведение не освобождает от наказания (*лат.*).

Главное действующее лицо — господин, очень весело проведший свою молодость. Наконец он перестал кутить, остепенился, во время последней войны отличился в Крыму и хочет жениться на девушке, которую любит и которою любим взаимно. Тут прошедшее его является препятствием его счастью: старые любовные письма, незаконный сын и проч. Положение печальное!

Не правда ли, трудно найти в этом сюжете что-нибудь непозволительное с точки зрения какой угодно цензуры?

Французская театральная цензура рассуждает иначе.

Герой пьесы (говорит она) — французский офицер, и вдобавок отличившийся во время осады Севастополя. Между тем он в молодости кутил и вел себя не совсем похвально. Стало быть, автор считает французских офицеров способными кутить и вести себя не совсем похвально, даже таких, которые отличились в последнюю войну? Пьеса с подобным неуважительным взглядом на нравственность французского офицера не может быть допущена к представлению.

Решение это как раз под стать совету, который давали эти ценсора авторам «Бедных львиц», чтобы спасти пьесу от запрещения. Они советовали сделать Серафину, между четвертым и пятым актами, жертвою *оспы, как естественного наказания за ее безнравственность*?!

Надеются, что драма Леона Гозлана найдет себе защитников и будет спасена от красного карандаша нравственных ценсоров. Если это так, то зачем же, спрашивается, существуют они? Разве затем, чтобы над ними смеялись, рассказывали про них анекдоты, и — и только? Если приговор их может быть уничтожен одним почерком пера, то на чем же основываются их приговоры? К сожалению, мы знаем только о двух-трех подобных случаях; а сколько произвольных действий остаются неизмененными и поэтому неизвестными!

Мне остается сказать последнее слов о «Бедных львицах».

Когда Бордоньон, провожая глазами убитого Помо, говорит Леону: «Он умрет с горя!», вероятно многим из зрителей приходит на память, как пришел мне, припев одной старинной песни:

On n'en meurt plus! [1]

---

[1] От этого не умирают! (*франц.*)

Да, от этого не умирают теперь, и если Помо умрет, он будет исключением.

На каждом шагу встречаются в Париже Серафины; но у редкой из них есть такой ворчливый Помо. Здешние мужья сплошь поощряют подобное поведение в женах. Красота жены сделалась оброчной статьей.

«Я тружусь и зарабатываю деньги; пусть и жена добывает. Как наживемся оба, никто не попрекнет старыми грехами».

Такое рассуждение — не редкость в среднем классе, где чуть ли не у всех жены на содержании. И муж и жена копят деньги под старость, потом едут куда-нибудь в провинцию и доживают там свой век честными людьми.

Когда я смотрел «Бедных львиц», в креслах около меня некоторые подсмеивались над положением Помо. Это, верно, были мужья, которые поняли современную мудрость.

Из других театральных новостей ничто не заслуживает внимания. Да теперь и не время еще: театры начинают оживляться только под осень.

Театр Сен-Мартенских ворот полон, впрочем, каждый вечер. Там играется новая драма «Жан-Барт», сочинение какого-то Гюгельмана.

Сама по себе драма есть не что иное, как бестолковая путаница, в которой бог весть для чего замешаны и Людовик XIV, и принц Конти, и Жан-Барт; но зато в последнем действии сцена представляет корабль, качающийся посреди моря, точь-в-точь такой, как был у нас в балете «Корсар». Разница только в том, что в «Корсаре» корабль расшибался и тем все дело кончалось; а в «Жан-Барте» на него с обеих сторон надвигаются еще два корабля и происходит сражение, с пальбой и криками, с треском и дымом.

Чтобы посмотреть на это морское сражение, надо проскучать четыре длинные акта. Я проскучал, но зато вполне насладился дымом и треском.

Все нынешнее письмо посвятил я театру, и мне не остается уже ни места, ни времени, чтобы рассказать вам свои другие парижские впечатления. Вы не будете, впрочем, в проигрыше. С тех пор, как мы стали свободно разъезжать по Европе, путевые впечатления являются беспрестанно в наших журналах и, как слышно, успели уже порядком надоесть русским читателям, хотя, по моему мнению, в самых беглых заметках о заграничной жизни есть

всегда и что-нибудь новое и что-нибудь интересное, если только они не целиком извлечены из всем известных путеводителей.

Всякий согласится, что рассказывать свои парижские впечатления труднее, чем описать самый незначительный уголок на земном шаре. Говорить о Лувре, о Версали, о Jardin des plantes[1] и так далее по порядку, как значится в каждой географии при исчислении достопримечательностей Парижа — больше чем странно. Надо или составлять подробный указатель Парижа, или ограничиваться возгласами и фразами, в которых нет никому ни пользы, ни надобности.

Скажу только, что на каждом шагу поражают в Париже постройки, затеянные Наполеоном III, что везде видишь ломку старых домов, временные заборы и леса. Желающие могут любоваться этим украшением Парижа. Но как вспомнить, каким эпохам своей истории обязан Париж самыми замечательными архитектурными памятниками, любоваться отпадает охота. Какие из кидающихся в глаза памятников и построек принадлежат к истории собственно народа? Все большею частью памятники личного честолюбия; все та история, которая так пестро намалевана на стенах Версальского дворца.

Я ходил по тамошним вылизанным и выстриженным садам и по историческим галереям с одним русским семейством.

Не только почтенный папенька, но и юные девицы приходили в восторг от картин, изображающих так последовательно все историческое развитие Франции.

Каждый безграмотный может узнать историю своего отечества, пройдясь по этим залам.

Это вы услышите сплошь и рядом, и это же повторяло русское семейство.

Я попробовал робко заметить, что между картинами нет — ну, хоть взятия Бастилии, например, которое, верно, поважнее для истории Франции, чем взятие Севастополя, изображенное такой смелой кистью!

Замечание мое вызвало только пожатие плечами и возгласы вроде: «Слава Франции... эпоха Людовика XIV... этот блеск...», и проч.

Вести разговор оказывалось очень трудно.

---

[1] Ботаническом саде (*франц.*).

Как в учебниках, введенных католическими попами, эпоха революции вовсе не упоминалась и говорилось только, что ничего замечательного в Европе в это время не произошло, так и в Версальской галерее: напрасно искал я хоть одного лица, хоть одной черты времени. Зато шпага реакции сверкает на всех стенах, и притом обвитая лаврами!

12 августа 1858.

IV

Дело Мортары и парижская журналистика. — Реставрация Notre-Dame de Paris[1]*.— Гулянье на кладбище отца Лашеза. — Могила Беранже. — Процесс Монталамбера. — Театры.— Переделка «Фауста». — Пьеса Октаеа Фелье.— Новая книга Мишле.*

Последним вздохом длинных споров парижской журналистики о деле Мортары были следующие характеристические строки газеты «La Presse», которая смелее других отстаивала человеческие принципы от нападений средневековых учителей.

«L'Univers» напечатал в последних нумерах своих перевод длинной статьи из «Civilta cattolica», которая посредством разных сверхъестественных доводов приходит к заключению, что католики как хранители безусловной истины имеют полное право налагать законы, выведенные из их убеждений, даже на тех, кто не разделяет этих убеждений, стало быть и отнимать малолетних детей у родителей.

«Когда доктрина приобретает такую степень определенности и ясности, всякое рассуждение становится излишним. Надо или принять ее, или отойти прочь».

И действительно, во Франции теперь уже есть люди, готовые восстановить прежнюю репутацию нынешней тихой площади Grève и зажечь там костры для еретиков. Вёльйо хоть сейчас пойдет поддерживать огонь томами Мольера, Гюго, Беранже и т. д., не говоря уже о гнусных творениях Руссо, Прудонов и иных философов.

Кстати — затевают возвести опять разрушенную башню церкви — Saint-Germain l'Auxerrois, большой колокол которой подал некогда сигнал набата в Варфоломеевскую ночь.

---

[1] Собора парижской богоматери (*франц.*).

Реставрации и достройки средневековых зданий, вместе с проложением по всему Парижу широких бульваров, занимают тысячи рук. Это черта характеристическая. Апологии «L'Univers» штыку и инквизиции как раз под стать этим работам.

Триста лет тому назад вот что говорил Рабле о парижанах:

«Народ в Париже так глуп, такой ротозей, так неспособен от природы, что какой-нибудь фигляр, лоскутник, лошак со звонками, уличный скрипач всегда привлекут к себе больше зрителей и слушателей, чем любой проповедник истины».

Я, с своей стороны, нахожу, что парижане очень хорошо делают, не слушая таких проповедников истины, как Вёльйо, и собираясь на улице вокруг фигляров. Отчего же и не посмотреть на комедию, если есть время? Право, разные гимнастические штуки и интереснее и безвреднее иной бойкой диалектики.

А взглянуть, как сажают деревья на новых бульварах, даже поучительно. Зато на асфальте тротуаров и собираются обыкновенно густые толпы зрителей, когда с разными предосторожностями привозят и опускают в землю довольно большие деревья из окрестностей Парижа. В толпе вы увидите и блестящие черные шляпы, и лорнеты на носу, и синие блузы, и модные шляпки, и заплатанные, коротенькие старушечьи салопы, которые сорвались, кажется, с картин Гаварни. Все это смотрит и толкует.

Я несколько раз вмешивался в эти толпы и слышал только рассуждения о том, как трудно пересаживать такие большие деревья, какие предосторожности нужно принимать, выкапывая их, и т. д.

С таким же равнодушием смотрит парижанин и на разные достройки и реставрации.

В начале этого месяца я, гуляя, дошел до Notre-Dame. Теперь с нее совсем сняты леса; а тогда шли еще работы и часть ее была обгорожена забором. Я зашел за забор, и распорядитель работ показывал мне разные орнаменты, приготовленные на смену старых и обломанных. Они были йота в йоту сняты с прежних образцов — так же оригинальны и дики.

Глядя на темное, величавое здание собора, нельзя не припомнить поневоле романа Виктора Гюго, его Квазимодо, его Клода Фролло, Эсмеральду и проч. Мне, впрочем, при-

шли на память не столько эти лица, сколько рассуждения Гюго об архитектуре, вставленные им в роман.

Как справедливо говорит он, что эти древние постройки не терпят никаких современных прибавок, что вся красота их в темном колорите, приданном им веками! Можно, разумеется, жалеть о том, что из-под нишей исчезли стоявшие тут некогда статуи, что некоторые орнаменты сломаны, что недостает даже целых больших частей здания; но ставить новые статуи, приделывать новые орнаменты и достраивать недостающие части — дело бесплодное. Светло вытесанный камень кажется заплаткой около своих, переживших столетия, соседей.

Это все равно, что добавлять к народным песням недостающие стихи, чтобы во что бы то ни стало составить из них целую эпопею. Разве для того, чтобы наслаждаться эддой или сербскими песнями, нужно их отдать сначала какому-нибудь новейшему поэту для исправления и дополнения. У меня была когда-то в руках поэма, сшитая Каппером из сербских песен о Лазаре. Мне кажется, что даже человек, никогда не читавший самых песен, но обладающий небольшим поэтическим чутьем, мог бы обозначить в этой поэме все, что взято из песен, что присочинено вновь. А между тем Каппер подделывал свои стихи с такою же тщательностью и щепетильною верностью прототипу, как реставраторы-архитекторы подделывают орнаменты, карнизы, шпили и проч.

И поэты вроде Каппера, и эти архитекторы забывают, что время эпосов и этих чудных построек, тоже своего рода народных эпосов, по справедливому замечанию Гюго, давно миновало. Пусть Наполеон I достраивает Миланский собор, Наполеон III — Notre-Dame; в этих каменных палимпсестах мы будем изучать полустертые письмена прежнего искусства, а не верхние слои новых приделок.

У нашего времени иные задачи и иные вдохновения. Все, что ни строим мы, носит характер простоты, удобства — и только, если мы не пускаемся в эклектизм и не обираем архитектур всех веков и народов. Новый Лувр, построенный нынешним Наполеоном, конечно здание чрезвычайно изящное; но что скажет вам в нем, что оно выстроено в наше время? Только не успевшие еще потемнеть стены.

Хрустальный дворец в Сейденгеме, Palais d'industrie[1] на Елисейских полях, тоннели, мосты — вот архитектура

---

[1] Дворец промышленности (*франц.*).

нашего времени. Новые города выстраиваются в струнку, однообразно, без затей, с единственным старанием, чтобы в них было жить удобно, с единственным изяществом комфорта. Нью-Йорк способен свести с ума всякого Винкельмана.

Даже о прочности своих построек наше время не заботится. Оно как будто думает: «К чему строить на несколько поколений? Ведь следующее поколение уйдет дальше нас во всех отношениях. Ему, может быть, нужно будет совсем другое, и он нашу постройку сломает».

Оставим Венеру Милосскую без рук, Notre-Dame без шпиля и станем лучше строить железные дороги, пароходы, музеи, скромного вида школы, проводить тоннели и электрические телеграфы. Даже неудачи тут не так смешны; ведь атлантическая проволока будет же действовать; и почему ж бы в самом деле не соединить Францию с Англией подводным тоннелем?

Прошедшее велико для нас и достойно нашего уважения, потому что на нем выросло настоящее; но вся любовь наша должна быть обращена к будущему. Чтобы страстно глядеть в прошедшее, надо остановиться на дороге и обернуться назад. В таком созерцании не трудно окаменеть, как окаменела жена Лота.

Можно сходить на кладбище, чтобы помянуть чью-нибудь полезную и благородную жизнь, которая может служить нам примером; но не жить же там: мертвый живому не товарищ.

Упомянув о кладбище, я вспомнил о своей поездке на Père Lachaise 1 ноября, в день всех святых, один из четырех больших праздников, когда заперта биржа в Париже. В этот день весь Париж рассыпается по кладбищам и украшает дорогие ему могилы венками из иммортелей.

Я еще не был на кладбище отца Лашеза и очень обрадовался случаю ехать туда в большом обществе. День был ясный, сухой, хоть и довольно холодный. Я забрался на вышку омнибуса и отправился.

Улица, примыкающая к кладбищу, и сама похожа на кладбище. Почти все лавки тут выставляют напоказ могильные украшения, пирамиды, обелиски, часовенки, которых, вероятно, никто не выбирает себе по вкусу. Множество лавок и столов, наставленных на тротуарах, заняты венками желтыми, белыми, черными, большими и маленькими,

без девизов и с девизами: «A mon père! A ma mère!»[1] и т. д. для всех степеней родства, также: «Souvenir![2] Regrets![3]» и даже: «Regrets éternels!»[4] Это уж чересчур: кто сделал на земле свое дело, того долго жалеть нечего; довольно помнить.

Впрочем, нельзя принимать всего за чистую монету, и, вероятно, кто-нибудь купит венок с такой надписью и найдет очень приличным повесить его на могилу какого-нибудь дедушки своего, сапожника, или бабушки, ростовщицы. Говорят, на котором-то из парижских кладбищ есть памятник с надписью: «Здесь лежит знаменитый польский сапожник Саковский». Могилу с такой надписью очень кстати украсить венком с надписью: Regrets éternels!

За верность этого сведения не ручаюсь, но ничего невероятного в нем нет. На кладбище отца Лашеза я невольно остановился перед большим монументом, украшенным длинною эпитафией и какими-то странными барельефами. Из эпитафии я узнал, что тут лежит какой-то знаменитый фокусник, имени которого я, впрочем, не помню. На барельефах были изображены лучшие из его фокусов и маленьких проворств.

Почти у самого кладбища влево целый пестрый рынок венков, крестов, образов и восковых свечек. Торговки наперерыв зовут покупщиков своими звонкими и резкими голосами.

Кладбище отца Лашеза — настоящий город, и притом город чистый, красивый и просторный. Миллионы живых могут позавидовать такому удобному помещению покойников. Прекрасные аллеи, огражденные с боков пышными и скромными памятниками, были полны толпами народу. Кто шел погулять в шумном обществе, кто поглазеть на могилы и надписи, кто украсить венком плиту над своим покойником. В некоторых часовенках были зажжены свечи; в некоторых, прислонясь к стене, женщины в глубоком трауре смотрели в молитвенник и шевелили губами.

Осмотреть все могилы, на которых вырезаны чем-либо прославившиеся имена, невозможно и в целый день. У меня этого намерения не было: я хотел только не уходить с кладбища, не видав знаменитой гробницы Абеларда и Элоизы и могилы Беранже.

---

[1] «Моему отцу! Моей матушке!» (*франц.*)
[2] «Вечная память!» (*франц.*)
[3] «С прискорбием!» (*франц.*)
[4] «С вечным прискорбием!» (*франц.*)

То следуя за толпой, то уклоняясь в боковые узкие аллейки, я обошел большую часть кладбища. Несколько раз обманывали меня разные величественные пирамиды и саркофаги. Я подходил ближе и видел, что ничтожество хотело хоть где-нибудь обратить на себя внимание.

Первая могила, на которой я прочел симпатическое имя, была могила Шопена. На памятнике изображена какая-то безобразная плачущая женщина; две-три плачущие ноты из полонеза сказали бы о Шопене больше, чем эта печальная фигура, изображающая, чего доброго, богиню музыки. На могиле лежало несколько венков; из них некоторые были положены, верно, очень давно: они совсем потемнели.

Но ни одного венка не нашел я на могиле Фурье. И самую могилу заметил я случайно.

Признаюсь, ничто не шевельнулось у меня в сердце, когда я проходил мимо могил Бальзака, Делавиня и других поэтов и романистов, схороненных на Père Lachaise. Об Альфреде Мюссе я совсем позабыл и не полюбопытствовал взглянуть на его памятник. На нем, говорят, написано несколько прекрасных его стихов. Вполне верю этому, потому что, кроме Беранже, едва ли кто писал по-французски такие прекрасные стихи.

Около могилы Беранже я нашел толпу народа.

Беранже схоронен вместе с другом своим Манюэлем, про которого он сказал в одной из песен:

Bras, tête et coeur, tout etait peuple en lui! [1]

Над ними один памятник. Это большой, но очень простой камень. Под именем Манюэля написано имя Беранже.

Я подошел к самому памятнику; на подножье его было несколько десятков венков, и на одном из них я заметил жестяную дощечку с надписью: «От работников Руана...» и еще каких-то городов.

Серый камень был исчерчен именами, и между ними бросалось в глаза написанное чрезвычайно тщательно и почти такими же большими прописными буквами, как имя Беранже: E. Girardin [2]. И свежесть надписи и число под ней показывали, что она явилась тут два дня тому назад.

---

[1] Руки, голова и сердце, все в нем принадлежало народу! (*франц.*)
[2] Е. Жирарден (*франц.*).

Г-н Жирарден оставил эту визитную карточку, разумеется, не для Беранже. Он, вероятно, хотел напомнить другим посетителям могилы свое забытое имя.

На какие пошлости бывают способны и очень умные люди!

Вместе со мною подошел к памятнику какой-то господин с дамой, по всем приметам провинциал, недавно и, может быть, в первый раз приехавший в Париж.

Дама выразила свое удивление простоте и скромности памятника.

Спутник ее с фразерством, свойственным французам всех состояний, очень красноречиво заметил, что памятник — дело неважное и что без него память Беранже бессмертна.

Описание гробницы знаменитых любовников можно найти в любом указателе Парижа, и к описанию этому мне нечего прибавить, кроме разве того, что вокруг загородки ее народу толпилось гораздо больше, чем около могилы Беранже.

Полюбовавшись на чудный вид Парижа, открывающийся с зеленых холмов Père Lachaise, я вышел из ограды кладбища не главным входом, а боковыми воротами, сообщающимися с узким переулком.

По обеим сторонам его сидели слепые с собаками, калеки, безногие, безрукие в лохмотьях, и кто пел, кто пилил разбитую скрипку, кто просил резким голосом подаяния. Почти около каждого была дощечка с надписью, излагавшею вкратце несчастия или неудачи нищего.

Все это было настоящее убожество, горькое и безвыходное, хотя привычные голоса напоминали Clopin Trouillefou[1] Виктора Гюго.

В первый раз в таком многочисленном собрании не видал я стереотипной фигуры сержанта.

Зато дело не обошлось без нее вчера у дверей исправительной полиции. Толпа, теснившаяся к ним, чтобы послушать защиту Монталамбера, обвиненного в таких ужасах, принуждена была разойтись по домам. Двери растворялись только для избранных, да и этих избранных было очень, очень немного. Любопытные, не попавшие в залу, не могли утешиться и ожиданием вечерних журналов: газеты ничего не сообщили, кроме голого обвинительного акта.

---

[1] Клопена Труйфу (*франц.*).

Статья графа Монталамбера «Un débat sur l'Inde au parlement anglais»[1], напечатанная в октябрьской книжке католического обозрения «Le Correspondant», показалась бы умеренною во всякое другое время.

Правда, недовольство настоящим порядком вещей во Франции проглядывает везде в статье знаменитого академика; но характер этого недовольства немногим отличается от характера изданной им в 1855 году книги «De l'Avenir politique de l'Angleterre»[2], о которой много, даже слишком много говорили и у нас. Та же манера хвалить в Англии то, чего нет в настоящую минуту во Франции: везде больше намеков, чем прямых указаний. Только в некоторых местах прорвалось сдержанное негодование.

Зато на основании этих мест взведено на Монталамбера обвинение в возбуждении ненависти и презрения к императорскому правительству, в неуважении к законам, в непризнавании прав и власти императора, данных ему конституцией, в нападках на принцип всеобщей подачи голосов и в старании нарушить общественный порядок, возбуждая презрение и ненависть между гражданами.

Такого рода политическое обвинение есть уже осуждение при обстоятельствах, в которых находится теперь Франция, и никто, разумеется, не ждал, что дело окончится ничем.

Монталамбер оправдан только в последнем пункте. Отчего и не согласиться, что у него не было намерения нарушать общественный порядок? Ведь остаются еще другие пункты, за которые можно осудить на полугодичное заключение и приговорить к уплате трех тысяч франков.

Так и сделали.

Не питая ни малейшего уважения ни к политической карьере, ни к убеждениям графа Монталамбера, в которых господствует дикое смешение самых несовместимых принципов, нельзя отказать ему в некотором таланте. «Il cause très bien»[3], как отвечает часто француз на вопрос: умен ли такой-то?

Похвалы его смелому поведению с 1852 года, повторявшиеся и нашими доморощенными политиками, слишком преувеличены. Это смелость отставной болтуньи-ключницы.

---

[1] «Дебаты об Индии в английском парламенте» (*франц.*).
[2] «О политическом будущем Англии» (*франц.*).
[3] «Он очень мило болтает» (*франц.*).

Притом не дай бог восторжествовать этой оппозиции, представителем которой служит красноречивый граф. Его крикам о свободе нельзя верить. Он хотел бы ее лишь для того, чтобы водворить клерикальный деспотизм, который едва ли не хуже деспотизма штыка, если уж выбирать из двух зол меньшее.

Вместо всяких рассуждений о статье Монталамбера, замечательной единственно по своей судьбе, я приведу из нее несколько отрывков.

Почти все, в чем обвинен Монталамбер, заключается уже в самом вступлении.

Вот это вступление:

«Есть умы такого дурного склада, что не считают высшим благом спокойствие и тишину. Есть люди, чувствующие потребность выходить по временам из спокойного однообразия своей обычной жизни. Есть солдаты, которые, несмотря на то что разбиты, ранены, скованы, осуждены на мертвое бездействие, утешаются и оживляются, глядя на чужие битвы и опасности. Их привлекает не то печальное и низкое чувство уверенного эгоизма, что Лукреций изобразил в своих знаменитых стихах:

Suave, mari magno turbantibus aequora ventis,
E terra magnum alterius spectare laborem...
Suave etiam belli certamina magna tueri
Per campos instructa, tua sine parte pericli[1].

Нет, это чувство более чистое и более возвышенное: это усилие обезоруженного атлета, который, присутствуя зрителем у арены, где уже не бороться ему, рукоплещет подвигам своих более счастливых соперников и подает борцам голос сочувствия, затерянный, но не погибший среди великодушных кликов внимательной толпы.

Признаюсь откровенно, я принадлежу к числу таких людей: я должен притом сказать, что для этой болезни, страдать которою нынче не принято, я нашел лекарство. Когда я чувствую, что недуг овладевает мной; когда у меня шумит в ушах от жужжанья летописцев передней или от крика фанатиков, которые воображают себя нашими гос-

[1] Сладко, когда на просторах морских разыграются ветры,
С твердой земли наблюдать за бедою, постигшей другого...
Сладко смотреть на войска на поле сраженья в жестокой
Битве, когда самому не грозит никакая опасность (*лат.*).

подами, и лицемеров, которые считают нас своею игрушкой; когда я задыхаюсь в атмосфере, наполненной миазмами рабства и нравственной порчи, я бегу дохнуть более чистым воздухом и взять освежительную ванну в свободной Англии.

В последний раз, как я доставил себе это облегчение, случай благоприятствовал мне; я попал как раз в самый разгар одной из этих великих и славных битв, в которых действуют все силы ума и все движения сердца великой нации, в которых предлагаются на гласное разрешение, при содействии великих умов, самые великие задачи, какие могут волновать народ, вышедший из-под опеки; в которых люди и дела, партии и отдельные личности, ораторы и писатели, представители власти и органы общественного мнения воскрешают пред нами, в этом новом Риме, картину, какую изобразил в следующих стихах древний римлянин, еще весь проникнутый впечатлениями форума.

Certare ingenio contendere nobilitate,
Noctes atque dies niti praestante labore,
Ad summas emergere opes rerumque potiri [1].

Я вижу отсюда, как при этих словах омрачаются некоторые лица, как выражается на них отвращение, какое внушает этим сектаторам современной моды все, что похоже на политическое воспоминание или сожаление. Если между читателями этих страниц будут последователи этой моды, я бесцеремонно скажу им: остановитесь тут. Не читайте дальше. Изо всего, написанного здесь мною, ничто не может понравиться вам и заинтересовать вас. Идите гулять по тучным пастбищам вашего блаженного спокойствия и не завидуйте тем, которые ни в чем вам не завидуют, что они удерживают за собою право оставаться верными своему прошедшему, тревогам ума и жажде свободы.

Всякий выбирает удовольствие по себе: довольно легко, не говорю — понять друг друга, но не спорить, не имея ни одного общего обоим стремления, ни одной общей привязанности, и не думая одинаково ни о счастии, ни о чести.

Я готов, впрочем, согласиться со всяким желающим, что современные институции и политические люди во Франции не имеют ни тени, решительно ни тени сходства с действиями и людьми, беглый очерк которых я хотел предста-

---

[1] Как в дарованьях они состязаются, спорят о роде,
Ночи и дни напролет добиваясь трудом неустанным
Мощи великой достичь и владыками сделаться мира (*лат.*).

вить в этой статье. Нечего, разумеется, и говорить, что у меня нет ни малейшего притязания обратить прогрессивные умы, которые считают очень счастливым шагом вперед замену парламентского управления всеобщею подачею голосов, политических оптимистов, провозглашающих, что высшая победа демократии состоит в отстранении себя в пользу одного лица от управления внешними и внутренними делами страны. Я пишу для своего собственного удовольствия и для небольшого числа таких же, как я, инвалидов, любопытных, сумасшедших, если хотите. Я изучаю современные учреждения, которые перестали быть нашими, но кажутся еще моему отсталому уму достойными удивления и зависти. Если таланты высшего сорта пробуждали внимание и сочувствие к прекрасным дамам Фронды, к двусмысленным лицам большого английского возмущения или к темным и беспокойным волнениям наших древних общин, то отчего же не попробовать обратить этого внимания и сочувствия к действиям и делам нации, которая живет и движется, во всей силе своей и во всем величии, в семи милях от наших северных берегов? Пытаясь сделать это, я думаю притом, что эти изыскания по части иностранной статистики, или, лучше сказать, современной археологии, могут занять досуг наш не хуже комментария к комедиям Плавта или рассказа об исследовании источников Нила».

По поводу страшного множества сочинений об английском управлении в Индии, из которых большая часть направлена против этого управления, Монталамбер говорит:

«Я не устану повторять, что в этой-то громадной и неограниченной гласности и заключается главная сила британского общества, необходимое условие его жизненности и лучшая гармония его свободы. С первого взгляда вся английская пресса кажется каким-то актом всеобщего и постоянного обвинения всего и всех; но, всмотревшись ближе, видишь, что за обличением или оскорблением немедленно следуют оспоривания, опровержения или поправки.

Без сомнения, ошибки и несправедливости часты и неизбежны; но они почти всегда тотчас же исправляются или извиняются в уважение полезных истин и необходимых сведений, проникающих в общественное сознание тем же путем. Нет ни одного генерала, ни одного адмирала, ни одного дипломата, ни одного государственного человека, который был бы пощажен: со всеми ими поступают так же, как поступали с герцогом Веллингтоном, когда он, начи-

ная свои победы на Пиренейском полуострове, приготовлял освобождение Европы и политический перевес своего отечества при криках оппозиции в прессе и в парламенте. Они все покоряются этому, как он, веря в окончательную справедливость страны и общественного мнения, в котором у них никогда не было недостатка. Публика, привыкнув к шуму и кажущейся путанице, происходящей от этого постоянного смешения противоречащих одно другому мнений и свидетельств, становится, спустя некоторое время, способною распознать истину. Она отличается особенно тонким тактом в уразумении истинных причин некоторых чисто личных манифестаций, как бы они громки ни были, и в обозначении настоящей степени их важности, не нарушая этим, а напротив поддерживая право, которое каждый англичанин считает своим достоянием,—право судить обо всем, все подвергать критике и ошибаться в ущерб самому себе.

Те, кого справедливо оскорбляет грубость или видимая несправедливость некоторых суждений, высказанных английскими ораторами и писателями о том, что происходит вне их страны, не должны бы забывать двух вещей: во-первых, что эта горькая и необузданная критика относится еще грубее, еще свободнее, еще чаще к людям и событиям Англии; во-вторых, что это всегда акт или мысль отдельного лица в обществе, где успехи цивилизации состояли до сих пор в безграничном развитии личной силы и личной свободы. Но об этом постоянно забывают, и оттого в континентальной прессе встречается столько смешно-ложных или преувеличенных суждений об истинном значении некоторых речей или статей, которые то и дело цитируют и объясняют, приписывая им quasi-официальное[1] значение. Несмотря на столько долгих сношений с Англией, несмотря на такое незначительное расстояние ее от Франции, несмотря на такой краткий промежуток, отделяющий нас от нашего собственного прошедшего, мы потеряли всякое понятие о том, что такое великий свободный народ, в котором особенно свободна каждая личность и может поступать, как ей заблагорассудится. У нас не только привычки, но и инстинкты тех мудрых и порядочных народов, которые, оставаясь вечно несовершеннолетними, позволяют себе иногда странные самовольства, но скоро опять впадают в гражданское бессилие, и уже никто не смеет говорить

[1] мнимоофициальное (*франц.*).

иначе, как по приказанию или с позволения, под целебным страхом предостережения свыше, если осмелятся выразить мнение, противное идеям власти или толпы.

Совсем иное видим мы в Англии и на всем громадном протяжении ее колоний: всякий говорит там что думает, и делает что хочет, без чьих бы то ни было позволений, не подвергаясь никакому запрету, кроме запрета общественного мнения и сознания, если он слишком пренебрег ими. Под впечатлением минуты, в порыве досады, юмора или тщеславия, англичанин, кто бы он ни был, человек, поставленный отдельно, без призвания, без авторитета, без влияния, без ответственности пред кем бы то ни было, но редко без отголоска, говорит во всеуслышание или пишет и печатает все, что придет ему в голову. Порой это торжественный голос справедливости и истины, который все понимают и быстро усвоивают, который повторяется тысячами отголосков неограниченной публичности, и, чтобы не утратить помощь таких голосов, эту единственную поддержку права и правды в обществе, англичане единодушно покоряются значительным неудобствам свободы слова. Но порой высказываются и смешные или оскорбительные преувеличения, неосновательные обиды другому народу, или, напротив, прямой вызов к вмешательству в дела страны[1]. Еще чаще встречаются шутки, насмешливые выходки, ребяческое фанфаронство, пошлости, плоскости: на следующее же утро они оспорены, опровергнуты, опозорены и преданы забвению. Но если случайно подобные строки попадутся этим цензурованным переводчикам, которые так странно снабжают сведениями континентальную прессу, все титулованные поборники свободы наперерыв повторяют эти строки, делают из них обвинительный акт, негодуют и громогласно кричат: «Вот что говорит и думает Англия!» Затем начинают превращать муху в слона, опасаться за спокойствие мира или за прочность британских учреждений, не опасаясь быть немедленно и постыдно разбитыми в прах общественным судом и фактами.

Скажем мимоходом, что в том-то и величайшее зло безусловно управляемых обществ, что именно пороки их остаются втайне. Как вечно закрытая, никогда не перевязываемая, никогда не лечимая рана, пороки эти мало-помалу

---

[1] Здесь Монталамбер приводит несколько примеров. (*Прим. М. Л. Михайлова.*)

поражают и разъедают все тело общества. Напротив, как справедливо было сказано, что нет зол неисправимых в стране, где умеют давать себе такие жестокие уроки, не страшась ранить этим национальную гордость или унизить правительство! Английская публичность, смелая, неосторожная, грубая, часто, по-видимому, компрометирующая достоинство страны, способная даже усложнить международные отношения, есть в то же время насущный хлеб большинства, лучшее убежище меньшинства и опора жизни всего общества.

Это лекарство от всех зол, неразлучных с дальнейшими успехами цивилизации, лекарство горькое, но целебное и верное, притом оно свидетельствует лучше всяких доказательств о крепком сложении пациента».

Сделаем еще одну и последнюю выписку.

Подробно рассказав прения английского парламента о делах Индии, Монталамбер говорит:

«...Я вышел из этого великого зрелища тронутый и удовлетворенный, как был бы тронут и удовлетворен всякий, видя в правительстве нечто иное, чем переднюю, и в цивилизованном народе нечто иное, чем безгласное стадо, которое можно стричь и пасти под молчаливою тенью расслабляющей безопасности. Больше чем когда-нибудь почувствовал я уважение к свободным убеждениям и надеждам, которые всегда и в самые печальные эпохи нашей истории одушевляли небольшой круг честных людей: этих людей не лишали энергии неудачи и поражения; и в дали изгнания и на досках эшафота умели они сохранять настолько патриотизма, чтобы верить, что и Франция может, как Англия, быть царством права, света и свободы. Благородное верование, достойное самых горьких жертв! Пусть изменило ему счастье, пусть отшатнулась от него толпа, пусть оскорбляют его низкие души: тем не менее власть его неколебима над гордыми сердцами и твердыми умами».

От католицизма, который мечется теперь в глаза всюду, я не спасся даже в театре. Директор театра de la Porte Saint-Martin, известный Марк Фурнье, с чутьем истинного клакёра, понял, чем теперь будет более всего кстати попотчевать почтенную публику, и заказал еврею Деннери сочинить католическую мистерию.

Скоро, кажется уже два месяца, как играется каждый день изувеченный «Фауст» или, как называют французы — «Фост», а в кассе всякий раз не хватает билетов для всех

желающих. Гете как будто имел в виду Марка Фурнье, когда изображал в своем прологе к «Фаусту» директора театра: только г. Депнери не похож на гетевского поэта. Он вполне покорился своему директору и создал нечто изумительное по нелепости и по эффектам. Геркуланум, Индия, Брокен, ад и рай — все тут есть. Геркуланум, конечно, разрушается, в Индии пляшут баядерки, у которых сквозь прорези с боков платья видны до самых бедер голые бронзового цвета ноги, на Брокене ведьмы, черти и проч. Стук, крик, полеты, превращения, бенгальские огни... Как существует «высокая комедия», так можно бы с «Фоста» начать новый драматический род «высокого балаганства».

Хороши и актеры! Фост, изображаемый Дюменом, ничем не отличается от коломенского моншера, Мефистофель-Рувьер — что-то вроде мазурика.

Мне было очень жаль бедную г-жу Лютер, которая не раз напоминала мне настоящую Гретхен. В пьесе сохранено несколько фраз Гете, и она произнесла их так хорошо! За исключением этих фраз, ей приходилось говорить целые страницы невыносимейшей дичи.

Так, она должна была стать в торжественную позу и сказать Фосту, указывая на Геркуланум:

— Взгляни! Вот как гибнут народы, которые не разделяют мнений господина Луи Вёльйо.

Слышится треск, грохот, лава льется, Геркулан рушится, хлопальщики аплодируют, и каждый зритель думает: «Завтра подпишусь на «L'Univers».

Впрочем, утро вечера мудренее, и у газеты, из которой столько мудрых цитат в «Фосте», число подписчиков, как слышно, не увеличивается.

Кроме «Фоста», этой большой пошлости, на парижских театрах играется много и мелких: но, я думаю, вы не будете на меня в претензии, если я прейду их молчанием.

С некоторой надеждой пошел я на днях на одно из первых представлений пьесы Октава Фёлье «Le Roman d'un jeune homme pauvre»[1]. Но — увы! надежда меня обманула. Ни свежей мысли, ни свежего слова! Недаром г. Октав Фёлье украшен Почетным легионом, приглашается на охоту в Компьен и скоро будет академиком.

В пьесе своей он изобразил страдания обедневшего маркиза, попавшего в управители имением. Сюжет, как ви-

[1] «Роман бедного молодого человека» (*франц.*).

дите, очень трогательный. Кончается, впрочем, все благополучно: маркиз женится на барышне, которой принадлежит имение, и опять становится богат.

Я сильно подозреваю, что г. Октав Фёлье увлекся успехом поставленных на сцену страданий станового пристава, влюбленного в дочь генерала, и хотел вступить в соперничество с г. Львовым. Это ему удалось, и он проявил такую же широту взгляда.

Пьеса переделана автором из романа того же имени, который вышел месяца два тому назад и имел большой успех. Я все собирался прочесть его, но, посмотревши драму, думаю, что довольно чего-нибудь одного.

В числе литературных новостей в последние дни общее внимание обратила на себя книга Мишле «L'Amour»[1].

Признаюсь, несмотря на симпатическое имя Мишле, и тут постигло меня разочарование.

Это опять разбор вопроса о роли женщины в обществе; но вопрос не подвинут ни на шаг. Мишле ждет обновления общества от иных семейных отношений, чем какие существуют теперь, и рисует очень поэтические картины, скромную хижину и любовь. Как реакция разврату и господству камелий, книга могла бы принести пользу; но приторность, достойная Манилова, губит в ней все.

Философского значения она вовсе не имеет. Если хотите, это сентиментальное повторение того, что так цинически высказано Прудоном в его последнем сочинении. Принимая Прудона за своего противника, женщины, пожалуй, примут Мишле за защитника своих прав. Но это будет горькая ошибка.

Мишле признает женщину существом по преимуществу больным, не позволяет ей ничего делать и разрешает капризничать. Какая тут разница с взглядом на женщину как на существо тупоумное, которое не должно сметь думать, как на игрушку, которой прилично только наряжаться и заниматься пестрыми тряпками?

И при этом толкуется о материнских обязанностях, о воспитании обществу полезных граждан!

Хорошо будет здоровье нового поколения, рожденного этими больными матерями и сентиментальными отцами.

25 ноября 1858.

---

[1] «Любовь» (*франц.*).

VI

Новый год. — Бульвары. — Маскарады в опере.— Бульварные театры. — Éntrennes[1]. *— Театральные обозрения прошлого года.*

Праздники везде праздники,— и в чувашских деревнях и в столицах образованного мира. Везде те же толпы на улицах, тот же шум и гам, те же нарядные платья, то же вино и песни.

Такой толкотни на тротуарах, такого снованья экипажей по густой и липкой грязи макадамов, как в праздник рождества и в первые три дня Нового года, я еще не видал и не слыхал в Париже. Холод, туман, дождь и слякоть не мешали народу кишеть, как встревоженному муравейнику, и на широких бульварах и в узких улицах и переулках.

В обыкновенную пору езды здесь немного, и, переходя через улицу, вам нечего очень беречься, чтобы вас не задавили. Но зато на празднике такие переправы сделались решительно невозможными. Парижане, так усердно странствующие пешком и только в отдаленные концы отправляющиеся в омнибусах с так называемой корреспонденцией, на этот раз забрали все фиакры и поехали покупать подарки детям и начальникам, женам и подругам жизни в Латинском квартале.

Эти подарки — главная забота и главное удовольствие всех и каждого в Париже в ту пору, как старый год сменяется новым. Париж и без того похож на большой магазин; а тут совсем превращается в громадный базар.

Прогулка по бульварам в эти шумные дни напомнила мне нашу суету на вербах. Разница только в том, что лавчонки, лотки и столы с игрушками и пряниками занимают у нас сотню саженей, а здесь тянутся на несколько верст. На всем протяжении от церкви Маделены, где начинается главная линия бульваров, до площади Бастилии, на которой стоит Июльская колонна, с обеих сторон вы движетесь в густой толпе между сияющими зеркальными стеклами постоянных магазинов и временными лавочками, тесно прижавшимися друг к другу и рассчитывающими на ваши сантимы, как магазины рассчитывают на ваши франки и банковые билеты. И это по обеим сторонам улицы.

---

[1] Новогодние подарки (*франц.*).

То же и на других бульварах,— и старых и только что устраиваемых, едва обсаженных деревьями и загороженных лесами построек. То же на широких улицах по ту и по эту сторону Сены, то же на больших и малых площадях,— везде, где только можно сколотить из досок шалаш и разложить франков на десять товару, не рискуя быть опрокинутым омнибусом.

Достаточно взглянуть на любой план Парижа, чтобы видеть, какую громадную дугу описывает линия бульваров, о которой я упомянул. Идя скоро, не останавливаясь перед окнами магазинов, ее не пройдешь в полтора часа. Но чтобы иметь полное понятие о парижской уличной жизни, следует пройти пешком по всему этому протяжению. Нечего бояться устать: на каждом шагу можно отдохнуть или в кофейной, или в пирожной, или в пивной лавке, смотря по вкусу, и заплатить за этот отдых не больше десяти су. Впрочем, он может стоить и всего два су, если сесть на улице, на железном стуле или кресле, которыми промышляет старушка с кожаной сумкой через плечо. Очень часто около этих стульев не видишь никого; но не успеешь сесть, как перед вами явится, словно лист перед травой, их владетельница со словами: «Votre place, monsieur!»[1], или «Deux sous, monsieur!»[2]. Можно, пожалуй, и ничего не заплатить за отдых: местами стоят скамейки, за которые не взимается никакой платы, так же как и за обозрение внутренности маленьких пустых столбиков, оклеенных снаружи и внутри объявлениями и афишами. Эти столбики, с голубыми шарами в золотых звездах на верхушке, очень красивы издали и очень удобны для прохожих (Александр Дюма в своих записках очень досадует на отсутствие таких столбиков в Петербурге), но они наставлены уж чересчур часто, и это вовсе не благоприятствует чистоте воздуха на бульварах.

Чтобы исчислить все удобства длинной прогулки от Маделены до Июльской колонны, следует сказать, что в случае дождя можно скрыться в десятках крытых галерей и пассажей и по ту и по эту сторону и что в каждой табачной лавочке, которые издали узнаются по красному фонарю над дверями, можно даром закурить сигару.

Не знаю, пленил ли я читателя всеми этими удобствами и захочет ли он следовать за мной вдоль по шумным буль-

---

[1] «Заплатите за место, господин!» (*франц.*)
[2] «Два су, господин!» (*франц.*)

варам. Мы начнем наше странствие от церкви Маделены.

Серый, quasi-классический[1] Парфенон Маделены вдвигается углом на бульвар, который и называется бульваром Маделены. Если б не надпись на фронтоне, никто бы не подумал, что это церковь.

У Наполеона I, в числе других диких мыслей, было намерение сделать из здания Маделены какой-то храм победы, в котором бы ежегодно, в годовщину сражений при Аустерлице и при Иене, давался военный концерт, сказывалась речь о необходимых для воина добродетелях и читалось похвальное слово героям, положившим свой живот на поле брани в достопамятные дни Иены и Аустерлица. Между прочим, в указе об этом назначении храма замечательно запрещение говорить в речах и похвальных одах об императоре.

Запрещение этого можно было не делать, потому что и самый храм при Наполеоне не был еще достроен. Он оставался недостроенным до Людовика-Филиппа, который счел более сообразным с духом времени вместо военных ораторов и поэтов во вкусе Тиртея пустить под своды здания витий в черных рясах; вместо марциальной музыки огласить его католическим органом, пожалуй с аккомпанементом скрипок, виолончелей и труб, но уж никак не барабанов; вместо статуй наполеоновских маршалов наставить в нишах между коринфскими колоннами частый ряд которых обходит все четыре наружные стороны здания, воинов вроде Карлов Барромейских, Маргарит Шотландских и т. д. Оно и лучше, потому что наполеоновских маршалов не хватило бы на тридцать четыре ниши. Сообразно с новым назначением первоначального храма славы под главным портиком оказалось более приличным поместить барельефное изображение не Аустерлицкого или Иенского сражения, а картину страшного суда. На барельефах бронзовых дверей тоже не видно киверов великой армии: патриархи, изображенные тут, носили другого покроя шапки.

Как все монументальные постройки, созданные не народным гением, возникшие без внутренней потребности времени, Маделена на остановит на себе надолго внимания. Она много придает красоты Королевской улице, которую заключает своим перистилем, придает красоту площади

[1] мнимоклассический (*лат.*).

Согласия, виднеясь вдали за Луксорским обелиском, если смотреть с берега Сены; но сама по себе Маделена представляется не чем иным, как несвоевременным сколком греческого языческого храма, не имеющим за собой ни исторической давности, ни современного значения. Люди, не бывавшие в Париже, недаром смешивают на картинах здание Маделены с зданием биржи, вкруг которого такая же классическая колоннада. Уж из одного этого сближения понятно, что здание выстроилось случайно. При всех стараниях вы не придумаете иного назначения зданию Notre-Dame, как быть церковью; Маделена похожа на манеж, на концертную залу, но уж никак не на церковь. Правда, ее не на то и назначали; но во всяком случае какой смысл в этой колоннаде? Солнце здесь не так горячо, чтобы стоило тратить миллионы на убежище от него. Порой приходится совать ноги в камин, чтобы отогреться; где уж тут прохлаждаться на холодных камнях?

Внутренность Маделены, со своими коринфскими колоннами, круглыми куполами, скульптурными и живописными украшениями, мрамором и позолотой, поражает вас только пестротой и смешением всех архитектурных стилей, начиная с греческого и кончая вкусом Возрождения. Всего неожиданнее тут эти круглые куполы, которых никак не подозреваешь под трехугольною кровлей. Только они и пропускают свет в эти глухие стены без окон, и в церкви господствует постоянный полумрак; две мраморные группы, справа и слева от входа, из которых одна — произведение Прады, немного от этого выигрывают.

На широком тротуаре, окружающем решетку Маделены, два раза в неделю располагается под подвижными шатрами цветочный рынок. Камелии тут и пышнее и дешевле тех, которые украшают ложи в театрах и щегольские коляски и кабриолеты на Елисейских полях и в Булонском лесу.

Бульвар Маделены не длинен и еще не так оживлен, как дальнейшие бульвары. Улицы, выходящие на него с обеих сторон, некрасивы, узки и ничем не замечательны; да и на самом бульваре не на что посмотреть.

Русского может привлечь разве кабинет для чтения, заведенный редакциею газеты «Le Nord». Вывеска обещает вам и русские книги, и русские журналы, и русские газеты. Газеты, точно, получаются еще довольно аккуратно; но книги и журналы выписываются, вероятно, совершенно на русский лад, *с оказией*, потому что теперь в январе следует

довольствоваться октябрьскими книжками журналов и, конечно, не раньше апреля придется прочесть январский нумер «Современника». Выбор книг тоже не отличается современностью, и притом все русские книжные богатства конторы «Le Nord» могли бы уместиться в одном небольшом мешке букиниста с толкучего рынка.

За бульваром Маделены следует boulevard des Capucines[1], названный так потому, что тут был когда-то монастырь. Он кончается справа широкой улицей Мира, которая ведет к Вандомской площади и к Вандомской колонне. Эта гигантская медная пушка, вылитая, верно, не из одной тысячи обыкновенных пушек, видна с бульваров как напоминание, что время пороха еще не миновало. Название улицы звучит как-то иронически в виду Вандомской колонны. В апреле 1814 года для встречи союзников роялистам стоило немало труда стащить с вершины колонны статую Наполеона и водрузить там белое знамя. Но, видно, долго еще истуканы будут здесь сниматься только для того, чтобы заменяться новыми. Сначала Наполеон стоял на колонне в императорской мантии, потом поставили его в его стереотипной одежде, столько раз воспетой:

На нем треугольная шляпа
И серый походный сюртук.

Несколько дальше вы видите на углу улицы направо блестящий магазин серебряных и золотых изделий Кристофля; круглая башня дома, в котором он помещается, с балюстрадой и статуями, невольно обращает на себя внимание. Дом носит до сих пор историческое название. Это Ганноверский павильон, выстроенный герцогом Ришелье на добычу, доставшуюся ему от разграбления Ганновера. Каких мерзостей разврата ни совершалось в этих стенах! Не думаю, чтобы особенно чинны и пристойны были и публичные балы, которые давались в Павильоне во время первой революции.

В уголке, образуемом выступом его башни, каждый день сидит безногая старуха и играет на скрипке. Ни разу еще, проходя по Итальянскому бульвару, не видел я ее обычного места пустым. Вечером она зажигает около себя свечку, окруженную красной бумагой, чтобы не гасил ее ветер; в дождь развертывает над собой большой зонтик.

---

[1] бульвар Капуцинок (*франц.*).

Отсюда начинается Итальянский бульвар с рядом роскошных магазинов и блестящих кафе и ресторанов по обе стороны. Café Anglais, Тортони, Maison Dorée — все это названия, известные русским читателям французских романов так же хорошо, как и парижанам. Потом кафе Большого балкона, в каком-то пестро-восточном вкусе и точно—с балконом во весь дом, по вечерам фантастически озаренным фонарями, café Cardinal, с огромными, вечно полными залами, с целой толпой гладко причесанных и напомаженных гарсонов в черных куртках и белых галстуках и фартуках, которые могли бы поспорить своей снежной белизной с воротничками Павла Ивановича Чичикова.

Черный кофе и коньяк, истребляемые в Париже на каждом шагу в больших и малых кафе в баснословном количестве, могли бы переполнить все канавки, проходящие по обеим сторонам каждой улицы. Поэтому не удивительно, что роскошнейшие кафе, все в зеркалах и позолоте, существуют преимущественно спросами кофе.

Зима со своим постоянным мелким дождем и холодом запирает двери и зажигает камины; но летом все кафе настежь; на тротуарах являются три и четыре ряда стульев и круглых столиков, и весь бульвар превращается в одно сплошное кафе. Со всех сторон вы слышите резкие голоса гарсонов: «Versez!»[1] и ответ глухим басом из глубины кафе: «Me voilà!»[2]. Вслед за ответом являются кофейник в ведро и молочник в ведро, которые обходят столики и наполняют чашки кипящей, черной как деготь жидкостью. Не успеют они скрыться за дверью, опять: «Versez!» и опять: «Me voilà!» Молочника, вероятно, достает на целый день; но кофейник то и дело пустеет.

Пиво, мороженое и пунш не могут оспорить первенства у кофе. О чае же здесь и не услышишь.

Особенно поразят приезжего бульвары, если он увидит их в первый раз теплым осенним вечером. Эта гостиная на воздухе, занимающая несколько верст, шумная, пестрая, озаренная миллионами огней, расшевелит хоть кого, и пока не приглядишься к ней, готов гулять тут до мозолей на ногах.

Зимой, взамен исчезнувших с тротуара столов и столиков, оживляются так называемые кабинеты кафе и ресторанов; но оживление это прячется за толстыми занавесками

---

[1] «Налейте!» (*франц.*)
[2] «Иду!» (*франц.*)

и плотными дверями. Ужины вдвоем и вчетвером после публичных балов и маскарадов совершаются таинственно.

Кафе Большого балкона, о котором я упомянул, прислоняется заднею стороной своей к зданию театра Комической оперы, выходящему на две улицы: Мариво и Фавар. Идя отсюда дальше по бульварам, мы увидим большую часть парижских театров.

Здание Комической оперы снаружи тяжело и мрачно, вопреки своему веселому названию и легким французским мотивам, оглашающим его своды. Это — царство французской музыки, которую слушает с таким недоверием ухо, воспитанное мелодиями Бетховена и Мендельсона. Кочуя из залы в залу, пока не водворилась тут, Комическая опера, в свое с лишком семидесятилетнее существование, поставила на сцену лучшие произведения светил французской музыки: «Иосифа» Мегюля, «Лодоиску» Керубини (итальянца только по имени), «Калифа багдадского», «Жана парижского», «Две ночи» и «Белую даму» — Боэльдьё. Последняя опера до сих пор почти не сходит с афиш. Кроме того, в Комической опере явились в первый раз десятки пьес Обера, Адольфа Адана и Галеви. Здесь же поставил Мейербер свою «Северную звезду».

Теперь на сцене Комической оперы играют каких-то «Трех Николаев», творение некоего Клаписсона, тоже своего рода французской музыкальной известности. Он сочинил немалое количество романсов и чуть ли не два десятка опер, которых не знать вовсе не грех. На этом основании я до сих пор еще не видал и новой его оперы. Воображаю, какая это прелесть, если уж и французские журналы, до безразличия снисходительные к театральной критике (вследствие очень щекотливых для объяснения причин), говорят, что музыка «Трех Николаев» весьма посредственна. Это, по всему вероятию, значит — просто никуда не годится. Тем не менее как всякая новость она не может на первых порах не иметь успеха. Надо, чтобы побольше народу убедилось, что смотреть пьесы не стоит.

В опере, впрочем, есть и кое-что замечательное,— собственно не в самой опере, а в ее исполнении. В ней дебютировал певец Монтобри, о котором много кричат, которого биографии и портреты печатают наперерыв мелкие журнальцы вроде «Gaulois», «Tintamarre» и т. под. Если он действительно не ниже этих похвал, я еще буду иметь случай поговорить о нем, хотя, признаюсь, сомневаюсь. Французы

слишком легко восхищаются своими певцами. Что касается журналов — это своего рода хлопальщики, клакёры, такие же противные и бестолковые, как театральные.

Противнее же театральных хлопальщиков трудно что-нибудь вообразить. Это отрава всякого спектакля, досада для зрителя и вред для актера. Каждый пошлый каламбур водевиля, каждая комическая выходка, каждая патетическая тирада драмы, каждая высокая нота певца, каждый опасный прыжок танцовщицы должны сопровождаться рукоплесканиями этой унылой и оборванной братии, занимающей задние лавки партера. Все места, при которых должно хлопать, назначены заранее. Каламбур может быть переврал, комическая выходка оказаться достойною свистка, в патетической тираде актер может фыркнуть со смеху, увидав какую-нибудь забавную сцену за кулисами, певец на высокой ноте сфальшивить, танцовщица на опасном прыжке поскользнуться,— нужды нет! Хлопальщики приготовили ладони, и раздаются рукоплескания,— официальные, холодные, точно нехотя. В зрителе поневоле закипает желчь; но еще досаднее ему, когда актер действительно стоит одобрения. Хлопальщики снимают с остальных зрителей труд или удовольствие похвалы, и зрители молчат. Актеру должно быть холодно от этого молчания и от этих рукоплесканий. Публика для него как будто не существует; этих минут, когда вся зала сверху донизу встречает актера радостным трепетом и оглушительным аплодисментом, он не знает. Что значит здесь любимый актер? кто из этих «привилегированных любимцев публики», как говорится в театральных фельетонах, может сказать, что видел выражение любви к нему публики? Ему хлопали клакёры, хлопали журналы. Не говоря уже о том, что этим средством составляются часто незаслуженные репутации,— сколько вреда людям с талантом! Возможно ли какое-нибудь развитие при таком диком порядке? Ничто не может приучить так к рутине, как это бестолковое хлопанье. Критики не существует: актер заранее знает, что в таком-то месте роли, как бы он ни сыграл, ему зааплодируют. Надо великую силу таланта и большую любовь к искусству, чтобы совершенствоваться при таких условиях. Некоторые говорят, что парижская публика холодна, что, не будь хлопальщиков, актер играл бы при постоянном молчании зрителей и поневоле бы терял энергию. Этого мнения нечего долго опровергать. Ведь цель хлопальщиков — об-

мануть не актера, а публику. Может быть, публика еще попадалась когда-нибудь на эту удочку, но уж актер наверное никогда. Теперь, разумеется, и публику не обманешь. Спрашивается, что же могут произвести в истинно талантливом актере такие аплодисменты, кроме неприятного чувства? Обвинять в холодности парижскую публику нелепо: едва ли какая другая публика, кроме разве итальянской, способна на более громкие выражения одобрения и осуждения. Но как же станет она выражать свои чувства, зная, что в известном месте театральной залы посажено несколько десятков человек, которые будут выказывать ее удовольствие, когда она вовсе его не чувствует? Хлопальщики стали какой-то враждебной силой между актером и зрителем. И тот и другой понимают это; а между тем вредная и презираемая каста продолжает существовать. Не бывши в Париже, можно еще верить, читая в парижских газетах, что такой-то актер в такой-то роли вызвал единодушные рукоплескания всей залы. Здесь таким известиям можно только улыбаться.

Отсутствие хлопальщиков удвоило для меня удовольствие в маленьком театре des Bouffes Parisiens, где чуть ли не в сотый уже раз дается забавнейший фарс «Орфей в аду». Может быть, хлопальщиков не было только потому, что театр слишком мал и чуть не половина партера занята оркестром. Значит, им пришлось бы отдать остальную половину. Это было бы очень нерасчетливо, тем более что, не слыша ненавистных заученных аплодисментов из партера, публика и смеется и хлопает вдвое развязнее.

Театр des Bouffes Parisiens помещается зимой в пассаже Шуазель, которым оканчивается улица того же имени, выходящая на Итальянский бульвар. Летом труппа переезжает из своего душного помещения в пассаже на Елисейские поля.

И театр этот и оперетка «Орфей в аду» — произведения Жака Оффенбаха, или Оффенбака, как произносят французы.

Оффенбах был сначала капельмейстером французского театра и приобрел некоторую известность как виолончелист и как автор музыки к басням Лафонтена. Но настоящая знаменитость его начинается с 1855 года, когда он основал театр des Bouffes Parisiens, исключительно посвященный музыкальным фарсам. Почти все пьесы, игранные на этом театре, были сочинены самим Оффен-

бахом и постоянно пользовались огромным успехом без хлопальщиков.

Я от души жалею, что не знаю ни одной из них; будь они только вполовину так забавны, как «Орфей в аду», их посмотреть было бы очень приятно.

Надо обладать неистощимой веселостью, чтобы создать пьесу в четырех актах, не дающую зрителю ни на минуту отдохнуть от смеха. Этот Орфей, играющий на скрипке, порхающий голыми ногами наподобие танцмейстера и делающий неверности своей супруге; эта Эвридика, влюбленная в пастуха Аристида, «фабриканта меду», играющего на кларнете и оказывающегося под конец первого акта Вулканом; это общественное мнение, в греческой тунике и с голыми ногами, требующее, чтобы Орфей шел за Эвридикой в преисподнюю, хотя Орфею приятнее было бы оставаться на земле, играть на скрипке и продолжать делать неверности своей отсутствующей супруге; этот Юпитер с улыбающимся лицом и с брюшком самого почтенного буржуа; этот длинный и тощий слуга Вулкана, Джон Стикс, бывший принц Беотийский, а теперь concierge в аду, обязанный мести лестницы и комнаты Вулканового царства,— все эти милейшие и незлобивейшие олимпийцы смешат вас до упаду. Большого смысла в пародии Оффенбаха нет; но уж и эта веселость чего-нибудь да стоит. Глядя на волокитства Юпитера и Вулкана, отдыхаешь от тяжелого впечатления здешних так называемых серьезных пьес, из числа которых продолжает доставлять наиболее наслаждения парижской публике «Роман бедного молодого человека» в театре Водевиля. Печальное положение бедного беотийца Джона Стикса и его чувствительный куплет:

Quand j'étais roi de Béotie...[1]

который он поет с такою отчаянной икотой, гораздо более действуют на сердце, нежели страдания бедного старика в должности управителя. А ведь в сущности и принц Беотийский и бедный маркиз одинаково служат игрушкой безжалостной судьбы.

Несправедливо было бы уйти из Bouffes Parisiens, не сказав, что актеры труппы, составленной Оффенбахом, почти все отличные буффы, так же как все почти актрисы хорошенькие, с небольшими, но свежими голосами, и что «Орфей» разыгрывается поразительно стройно.

[1] Когда я был королем Беотии... (*франц.*)

Говорят, Оффенбах написал большую оперу, которая принята дирекцией Комической оперы и будет скоро поставлена, вероятно взамен несчастных «Трех Николаев». В музыке Оффенбаха много свежести и веселости, но от тонкой и забавной пародии до комической оперы расстояние велико. Впрочем, как судить заранее? В Титмарте «Понча» трудно было угадать Теккерея «Ярмарки тщеславия» и «Ньюкомов».

Воротимся на Итальянский бульвар.

От Комической оперы недалеко и до Большой оперы: стоит перейти только на другую сторону бульвара. Здание Большой оперы, которое несколько изящнее здания Комической оперы, хотя так же мрачно и грязно снаружи, тоже не на самом бульваре, но в двух шагах от него. Вечером вы увидите на обоих углах улицы Лепельтье по горящему треугольнику газа, которые ярко освещают верховых жандармов. Идите в улицу и тотчас очутитесь у длинного крытого крыльца Оперы, богатой преданиями, в которых живут имена Нурри, Дюпре, Вьярдо, и бедной настоящим. Гемары и Роже, сколько их ни хвали, не напоминают славного прошедшего парижской оперы.

По субботам, после десяти часов, такие же газовые треугольники, как у входа в улицу, горят на шестах по обеим ее сторонам на всем протяжении подъезда оперы. Суббота — маскарадный день, и крыльцо Оперы и все празднично освещенное пространство улицы кипит после десяти часов теми фантастическими костюмами, которые так известны всем по рисункам Гаварни и Кама. Пестрые арлекины, белые пьерро, дебардеры, маски, набеленные лица, наклейные носы, шапки и чалмы, равняющиеся росту человека, бегут, шумят и теснятся на тротуарах, на крыльце, у дверей, за которыми гремит уже оркестр Штрауса и горят под позолоченным куполом залы десятки тысяч огней.

Зала Большой оперы самая обширная из всех парижских театральных зал; но она вовсе не так громадна, как кажется парижанам. Она и уже, и короче, и гораздо ниже залы Большого театра в Петербурге. Фойе нельзя и сравнивать. Недаром помещение Оперы считается в течение сорока лет временным, в ожидании постройки нового здания, о котором пока только говорят. При нынешней мании к возведению всякого рода нужных и ненужных памятников, можно, впрочем, надеяться, что выстроят и новую Большую оперу. Нужно ли только это? Вероятно: нынешняя зала не вмеща-

ет всех жаждущих удовольствия. Но если принять за мерку эту неутолимую жажду, надо покрыть сводом Марсово поле; разве тогда только в маскарадах не будет тесно.

Целую стену можно заклеить афишами, которые возвещают ежедневно балы и маскарады во всех углах Парижа. Таких балов каждый день может быть больше ста и уж никак не меньше пятидесяти. Балы для всех—для студентов, для офицеров, для солдат, для работников; балы всех цен—от пяти франков до десяти су. И все они набиты битком. Женщинам всюду вход бесплатный, кроме Оперы, где они, впрочем, платят очень немного. Рядом с набеленной наглой развратницей в эту душную и раздражающую атмосферу входит робким шагом невинная девушка, едва вышедшая из детских лет. Ее заманило сюда понятное в эти годы желание повеселиться; но веселье тут пьяное и бесстыдное, и участвовать в нем нельзя, не утратив сердечной чистоты. Скорее башмаков изнашиваются здесь сердца.

На этих балах понимаешь присутствие сержантов и готов благодарить их, когда они останавливают бесстыдные движения танцующих. Кажется, без этих предостережений, без этой полицейской грозы все смешалось бы в такой грязной и возмутительной оргии, что при ней краска бросилась бы в лицо самому развратному римлянину времен империи.

И как подумаешь, что все классы общества охвачены этою лихорадкой беспутства, что она начинает проникать и в народ, так нечего удивляться, что народонаселение остановилось на одной цифре. Не удивительно будет, если оно станет и уменьшаться. Эта неистовая пляска, от которой дрожит по ночам Париж,— пляска смерти.

Из залы Большой оперы в ночь с субботы на воскресенье выходишь, как из дома сумасшедших. Тяжко и страшно становится от этого дикого беснованья, которого уже не останавливают, да и не могли бы остановить, полицейские и жандармы, даже если б тут были не десятки их, а сотни. Град картечи, рассыпавшись над этою обезумевшей толпой, кажется не вдруг бы прекратил ее адскую кадриль.

Говорить про французскую веселость можно, видя как от души смеются все в маленьких театрах, когда играются забавные фарсы вроде «Орфея»; но пляска в Опере и на всех этих зимних и летних балах, вызывающая столько восторженных восклицаний о веселости парижан у всех туристов, доказывает разве пустоту, беспутство и разврат, но уж никак не обличает веселости. Иначе, увидав наглые танцы

в каком-нибудь maison de tolérance[1] или услыхав шум, крик и песни в кабаке, следует воскликнуть с восторгом. «Вот она где, настоящая-то веселость!» По крайней мере на меня такое действие производит эта Вальпургская ночь, называемая «Bal masqué, pará et travesti de l'Opéra»[2].

Когда сквозь густую толпу черных фраков и домино, в которой только изредка попадается розовое платье или испанская мантия, вы проберетесь узким коридором к лестнице, спускающейся от средних лож в залу, первое, что поразит вас внизу, это смешение красного и белого цветов. С первого разу кажется, что во всей этой шумной толпе, беспорядочно движущейся в зале, и нет другого цвета платьев. Но на лестнице долго стоять нельзя; вам то и дело говорят полицейские и сзади и с боков: «Спускайтесь! не стойте тут! дайте место!»

Вы сходите ступенек двадцать и попадаете в совершенный омут самого пестрого народа: пьерро в белых балахонах с пуговицами в кулак, дебардеров с полураспахнутою грудью, испанцев с огромными наклейными усами, закрученными как два шила, испанок с открытым чуть не до пояса станом, гренадеров в меховых шапках, в которые можно поместить дюжину грудных ребят, турок в чалмах с мельничное колесо, фантастических турчанок, швейцарок, наконец просто черных фраков, надетых как-то особенно залихватски, черных шляп набекрень или на затылок, обыкновенных женских платьев вроде бальных, но без корсета и сваливающихся до пояса то с одного плеча, то с другого. Вы то наталкиваетесь на толстую, как печь, пуанардку с грудями вроде двух арбузов, то боитесь, как бы вам не выткнул глаза картонный нос вершка в четыре с бородавкой в грецкий орех, то стряхиваете с себя муку, которою обсыпал вас долговязый пьерро, махая над вами своими широкими, как колокола, белыми рукавами. Лица у мужчин и женщин так набелены, нарумянены и расписаны, что не сразу угадаешь, что они не в масках. Пьерро и арлекины кричат как куклы в балаганах; женщины нагло хохочут; гренадеры и испанцы басят; со всех сторон слышатся слова, которых не найдешь ни в одном лексиконе, такой же особенный язык, как у мошенников и у каторжников; под ухом у вас раздается или резкий свисток, ка-

---

[1] доме терпимости (*франц.*).
[2] «Большой бал-маскарад в Опере» (*франц.*).

кими дают о себе знать омнибусы, или отвратительный писк красного пузыря, из которого потихоньку выходит воздух. Куда ни оборотитесь, везде бесстыдные позы, объятия и поцелуи, не для объятий и поцелуев, не an und für sich[1], а для потехи зрителей. На голых плечах женщин вы видите следы пальцев, отпечатки нафабренных усов и густо нарумяненных губ. Всего две кадрили было проплясано, а платья уже измяты, как будто их носили целую неделю; там распустившаяся коса и свалившийся набок и отшпиленный головной убор, тут рукав с отпоровшимся кружевом или оторванный подол. Что за атмосфера у этой толпы — нечего и говорить!..

Но вот Штраус махнул своей палочкой, и толпа загудела еще шумнее, точно стараясь заглушить этих полтораста музыкантов. Мгновенно вся зала превратилась в сотни кадрилей, между которыми вся разница только в большем или меньшем бесстыдстве. Ноги начинают мелькать наравне с головами, платья сваливаются с плеч, распахиваются на груди, ноги турка в широких пестрых шальварах или пьерро в белых штанах встречаются, подымаясь на воздух, с женской ногой. Все вокруг скачет и ломается с пьяным ожесточением. Зрители во фраках, теснясь вкруг той или другой кадрили, держатся постоянно в оборонительном положении, чтобы неистовые танцоры не отдавили ног, не выбили локтями глаз. Танцорам ни до чего нет дела: они кидаются вперед и отлетают назад, как дерущиеся козлы, и попадают пятками и руками и в живот, и в грудь, и в лицо зрителей. Иной из зрителей, потеряв наконец долготерпение, приготовляется к серьезному отпору. Он выставляет вперед кулаки и прицеливается каблуком сапога в спину летящего на него задом и ничего не подозревающего плясуна. Толчок служит только новым раздражением танцору; он с еще большим неистовством кидается вперед и с еще большей силой мчится назад, так что отважный зритель пошатывается, при общем радостном гуле. Тем не менее он повторяет свой опыт: и нападение и отпор все усиливаются. Скорее, кажется, пробьешь спину плясуну, чем остановишь его.

И не одни ноги выделывают неслыханные штуки: лица в таком же отчаянном движении. Мужчины, впрочем, только кривляются и строят смешные и безобразные гримасы;

[1] не ради них самих (*нем.*).

но женщины помогают выражением лица мимике ног и превосходят бесстыдством всякое вероятие. Страстное вращание и закатывание глаз, томно полуоткрытые губы, по которым проходят какие-то судороги, раздувающиеся ноздри — все это, по-видимому, должно служить комментарием вздрагивающим голым плечам и движениям стана и ног, которым не приберешь названия.

Скажите, однако ж, парижанину, что в оперном маскараде дивишься бесстыдству и наглости, он — чуть не со вздохом скажет вам:

— То ли было! Теперь не узнаешь маскарадов. Нет уже той веселости...

И он готов повторить стихи Беранже:

Ma gaité s'en est allée!
Sage ou fou, qui la rendra
A ma pauvre âme isolée,
Dieu l'en recompensera![1]

Не дай бог этой веселости!

По мере пляски лица разгораются, по щекам и по плечам катится пот; каждый удар смычка, каждый плеск литавр, кажется, все больше и больше разжигают этих кружащихся и ломающихся шаманов и шаманок, и кадриль кончается каким-то оглушительным воплем, стоном, криком, в котором смешиваются всякие голоса и всякие звуки.

Антракты посвящены водке и пиву в почти подземельной кофейной, где ходит волнами табачный дым и совершаются сцены, описание которых уже совсем неудобно для печати.

Но антракты недолги; опять гремит музыка, опять все с диким воем мешается в зале, и опять начинается та же дикая пляска.

Скоро становится тут почти невозможно дышать, и надо взобраться на верхний круг лож, под самые своды, чтобы взглянуть в последний раз на залу и ехать домой. Отсюда пестрая сумятица внизу показалась бы пляской кукол, если б над нею не стояло такого стона и не поднималось порою таких буйных криков. Вместе с этими криками все

---

[1] Я утратил свою веселость!
Господь вознаградит того мудреца или сумасшедшего,
Который возвратит ее
Моей бедной, одинокой душе! (*франц.*)

выше, все гуще поднимается над толпою горячий пар, тысячи огней вверху горят словно звезды в тумане, и поневоле кажется, что стоишь на Брокене и присутствуешь при шабаше каких-то сказочных призраков.

Мы, однако ж, опять забыли о бульварах. Воротимся на них, чтобы пройти остающееся пространство до Июльской колонны уже без таких длинных остановок.

Итальянский бульвар оканчивается довольно широким углом, с которого начинается бульвар Монмартрский. Отсюда характер толпы, снующей по тротуарам, несколько изменяется, и чем дальше подвигаетесь вы, тем более замечаете блуз и фуражек, взамен франтовских пальто и блестящих черных шляп, которыми кишит Итальянский бульвар.

Справа вы видите небольшое здание с террасой и с четырьмя колоннами над ней. Это театр Разнообразия (Variétés), где прославился знаменитый Потье, о котором с таким восторгом восклицал граф Нулин:

«Зато Потье, le grand[1] Потье!»

Разнообразие, взятое театром в девиз, заключается преимущественно в возможно частой перемене декораций в длинных фарсах, которые играются тут обыкновенно.

Пройдя бульвары Montmartre и Poissonière, ничем особенно не замечательные, и вступив на бульвар Bonne Nouvelle, вы встретите налево скромное здание театра Драматической Гимназии, лучшего из частных парижских театров, пальму первенства у которого начинает, впрочем, оспаривать в последнее время театр Водевиля. Гимназия — царство Скриба, которому дирекция платит 6000 франков пожизненного пенсиона, с тем чтобы он не ставил своих драм, комедий и водевилей ни на какой другой частной сцене; кроме того, он пользуется огромными авторскими правами.

Едва ли, впрочем, дирекция продолжает быть счастлива, как прежде, в лучшую пору сочинительства г. Скриба, его постоянным сотрудничеством. Рутина, которая составляла некогда его исключительную принадлежность, сделалась теперь всеобщим достоянием, и любой из мелких драматических писак сочинит драму, комедию, водевиль нисколько не хуже и, вероятно, даже лучше Скриба. Имя это тоже утратило все свое значение для публики, и если

---

[1] великий (*франц.*).

публика шла недавно смотреть последнюю комедию Скриба, «Les Trois Maupins»[1], то уж, разумеется, ее привлекали не авторитет плодовитого писателя и не надежда увидать действительно замечательную пьесу, а толки об отличной постановке. Притом успех был ничтожный сравнительно с каким-нибудь «Бедным молодым человеком», с каким-нибудь «Фостом», не говоря уже о пьесах Ожье и Александра Дюма-сына.

Театр Гимназии мог бы составить длинный список имен, составивших себе знаменитость на его сцене. Г-н и г-жа Аллан, Виржини Дежазе, Буффе, Брессан, Роза Шери — довольно уж и этих имен; а сколько других, менее громких, но часто не менее замечательных. Здесь же начала свое сценическое поприще Вольнис; здесь играла в водевилях Рашель, прежде чем угадала свое настоящее призвание.

Из громадных драматических успехов на сцене Гимназии в последнее время нельзя забыть о комедии Дюма-сына «Le Demi-monde»[2], которая до сих пор еще играется в «экстраординарные» спектакли.

Немного дальше театра Гимназии, по той же левой стороне, в конце бульвара Bonne Nouvelle, стоят колоссальные ворота, построенные некогда, как это значится из надписи на них, Лудовику XIV, или, пожалуй, с точки зрения этих ворот, Великому. На барельефах изображены, разумеется, разные трофеи, как и подобает триумфальным воротам,— это la Porte St.-Denis.

Одних ворот оказалось, вероятно, недостаточно для величия великого Людовика, и в нескольких десятках саженей дальше по бульвару стоят другие, немногим отличающиеся от первых. Это la Porte St.-Martin, по имени которых назван дальнейший бульвар.

Трудно вообразить что-нибудь более не у места, как эти двое ворот на бульваре. Они стоят боком и разве тогда, как бульвары не были еще центром Парижа, могли быть тут кстати, если только бывают где-нибудь кстати триумфальные ворота.

Бульвар между этими двумя воротами, называющийся Сен-Денисским, прорезал линию новых, наполеоновских бульваров. Влево идет Страсбургский бульвар, упирающийся в новое здание станции Страсбургской железной

[1] «Три Мопена» (*франц.*).
[2] «Полусвет» (*франц.*).

дороги, а вправо — Севастопольский, на котором едва ли пока не больше ломки, чем построек.

У самых почти Сен-Мартенских ворот стоит и театр, носящий их название. От здания его и внутри и снаружи пахнет ветошью; стены как будто покосились, в одном месте осели, в другом остались как были; ложи и галереи обвисли, и кажется — того и гляди подломятся над головой хлопальщиков, которые здесь особенно рьяны. Может быть, это и предубеждение; но, мне кажется, в таком театре только и прилично играть что балаганные произведения вроде «Фоста» или вроде сменившего эту дикую мистерию возобновленного «Ричарда д'Арлингтона», драмы г. Александра Дюма-отца. Состав труппы вполне под стать этим пьесам: крикливые женщины, величественно выступающие и патетически декламирующие мужчины; впрочем, чего же больше? разве музыка не помогает актерам в чувствительных местах? А еще недавно на сцене Сен-Мартенских ворот являлся один из величайших актеров нашего времени, Фредерик Леметр. Уменье вести дело может, однако ж, вознаградить за недостаток хороших актеров. Это отлично доказывает проницательная дирекция. Гибель корабля, разрушение Геркулана, ад со всеми его ужасами и т. п. привлекают публику, может быть гораздо больше всяких великих актеров.

От театра Сен-Мартенских ворот идет почти непрерывный ряд бульварных театров, которые все, за исключением Лирического театра, отличаются тем же балаганным характером, как и сцена, эксплуатируемая с таким искусством г. Марком Фурнье.

Театр de l'Ambigu comique, посвящающий себя преимущественно раздирательным мелодрамам, конечно с аккомпанементом оркестра при патетических тирадах, заключает собою Сен-Мартенский бульвар. Неуклюжее здание Ambigu, которое Собакевич мог бы взять за образец для своего деревенского дома, обращено главным фасадом на небольшую площадь с огромным фонтаном Chateau d'Eau. За фонтаном, в глубине площади, находится большое Парижское кафе, которое объявляет о себе обыкновенно как об одной из главных достопримечательностей Парижа. Такая претензия основана на нескольких тысячах (настоящей цифры не помню) газовых рожков, которыми освещены залы, и на двадцати, если не больше, бильярдах.

От площади Chateau d'Eau бульвары круто, почти под

прямым углом поворачивают вправо. Вдали виднеется уже их конец — Июльская колонна с позолоченной статуей на вершине.

Маленькие театры, между которыми Императорский, бывший Олимпийский цирк, кажется громадным дворцом, теснятся на левой стороне бульвара du Temple. Первый — Лирический театр. Узенький, оригинальный фасад его, с полукуполом над террасой, расписанным фресками, печально сжат соседними домами. Это тот самый театр, что основал некогда под именем «Исторического» Александр Дюма-отец. Как обо всем, что затевает этот, все еще великий, по мнению вежливых журналистов, романист, о нем накричали и нашумели страшно; но это не спасло театра от гибели. Предприятие лопнуло, и памятью Дюма осталось только маленькое «Кафе мушкатеров» около основанного им театра. Если б дело пошло и не помешала ему революция, Дюма, верно, соперничал бы теперь с Марком Фурнье и не подумал бы ехать в Россию, а тем более издавать в сотый раз, под видом газеты, своего «Монте-Кристо», с придачею путешествия от Парижа до Астрахани. Вот какие великие бедствия бывают следствием революций! И добро бы театр погиб безвозвратно; а то он, как назло, в других руках и с другим назначением, приносит барыши и каждый вечер полон. Новое название его — Лирический, вместо Исторического,— показывает его специальность. Главным успехом этой зимы была старая, но постоянно новая вещь — «Свадьба Фигаро» Моцарта. Она игралась (и играется до сих пор) безукоризненно; другого такого прелестного Шерюбена, как г-жа Миолан-Карвало, не найдешь.

За Лирическим театром следует почти рядом цирк со своими военными драмами, барабанным боем и пушечной и ружейной пальбой; театр Веселости, самый старинный из бульварных театров, вместо всяких веселостей угощающий своих посетителей слезными драмами, в которых порок неизбежно наказывается, а добродетель торжествует и награждается; театр des Délassements Comiques, театр des Folies Dramatiques, знаменитый «Робер Макером», в котором являлся тут Фредерик Леметр, театры des Folies Nouvelles и des Funambules, где, кроме водевилей и опереток, играются пантомимы и арлекинады с Коломбиной и Пьерро. Может быть, я назвал все эти театры не в том порядке, как они следуют один за другим; но, я думаю, особенной важности в этом нет.

Бульвар du Temple, именуемый также бульваром Преступления (du Crime), потому что тут Фьески устроил свою неудавшуюся адскую машину, оканчивается Наполеоновским цирком, круглым зданием, в котором скачут на лошадях, качаются на канатах, ломаются, поднимают гири и проч.

Два следующие бульвара до Июльской колонны (des Filles du Calvaire и Beaumarchais) заметно пустеют по мере того, как вы подвигаетесь. Французов в лайковых перчатках и дам в кружевах и бархате вы уже вовсе не встречаете. Магазины рассчитывают на небогатых потребителей: старая мебель, дешевые книги с иллюстрациями, beignets, оладьи с яблоками, изготовляемые в открытых лавочках, вместо русских шарлоток, кафе с характером пивных лавок, с каштанами вместо устриц... Театр Бомарше, стоящий вправо, смотрит так же грустно, как и счетная книга его директора, где концы едва-едва сходятся с концами.

А вот и Июльская колонна! Она не изящна и не величественна сама по себе; но если б ее поставить рядом с Вандомской, она потеряла бы еще наполовину скромной своей цены. А между тем у нее великое историческое значение, какого нет и не будет у колонны Наполеона, обвитой барельефами, изображающими кровавые и бесплодные битвы. Воздвигая себе памятники и триумфальные арки, герой 18 брюмера не придумал ничего лучшего для площади, на которой стояло грозное здание Бастилии, как поставить тут колоссального медного слона. Дикость этой идеи стоит намерения основать солдатскую академию, в которой читались бы похвальные речи пушкам и штыкам. Как ни напрягай головы, не придумаешь, почему именно слон понадобился для Бастильской площади; а модель слона сделали-таки и воздвигли уже для него пьедестал. Пьедестал этот остался, и на нем поставили медную колонну, хотя он со своими украшениями из белого мрамора совсем к ней не пристал и годился бы разве только именно для какого-нибудь слона. Еще больше портит колонну стоящая на вершине ее статуя. Эта фигура на одной ноге напоминает скорее канатного плясуна, чем гения свободы, которого хотели изобразить. Снизу не скоро рассмотришь, что у него в одной руке цепи, а в другой факел; да если и рассмотришь, пожалуй подумаешь, что цепи эти он не снял с кого-нибудь, а хочет кому-нибудь надеть, а факелом будет не светить, а жечь.

Странное дело! отчего столько стараний прикладывалось к возведению «достойных» памятников гению Людовиков, гению Наполеонов и кой-как поставился безобразный памятник гению свободы? Или такой памятник еще анахронизм во Франции? Разрушивши Бастилию, скоро забыли, что она существовала; дождались 18 брюмера и стали строить исполинскую пушку на Вандомской площади. Пушка вышла так красива, император на ней стоит так картинно, Беранже воспевал его так чувствительно, что можно было забыть о 18 брюмере, и не только забыть, но даже позволить повторить его 2 декабря. Уж не ирония ли эти цепи и факел в руках гения свободы на одной ноге, без твердой точки опоры?

Длинное странствие наше кончено. Но мы прошли по бульварам, глядя только на то, что составляет постоянную их принадлежность; а между тем нас интересовали не самые бульвары, а праздничная жизнь, которая кипела на них в первые дни Нового года. Но надо же было сказать, что действие происходит там-то и сцена представляет то-то и то-то.

Не бывавши двух дней на бульварах, можно было не узнать и постоянных магазинов: все они превратились в выставки подарков, один другого лучше, один другого пышнее, один другого дороже. У большей части двери настежь; входите прямо, гуляйте по этим сияющим залам, любуйтесь этой роскошью и, пожалуй, хоть не покупайте ничего. На этот раз ни один из сотни приказчиков не подойдет к вам и не спросит, что вам угодно. Но расчет очень верен: трудно пройтись по этой разнообразной выставке и не найти себе чего-нибудь по вкусу. Тут есть чем удовлетвориться этому самому жадному, как говорит Бальзак, и самому избалованному органу из всех, какие развились у человека со времени римского общества, органу, не знающему границ своим требованиям — глазу парижан. Чтобы дать понятие о роскоши, которая поражает вас тут на каждом шагу, довольно сказать, что между коробками для конфект есть стоящие больше тысячи франков. И все магазины полны народом, особенно кондитерские. Там не успевают заготовлять товару: конфект в лучших кондитерских продается на двадцать пять, на тридцать тысяч франков в день. Покупателям приходится *делать*, как говорится здесь, *хвост*, то есть идти по очереди, гуськом, к прилавку. Книжные лавки, в обыкновенную пору столь же скромные, как кон-

дитерские, в эти дни горят золотом переплетов и также полны покупателями. Все книги в бумажных обертках исчезают с окон и из шкафов, и взамен их являются книги в великолепнейших переплетах. О магазинах игрушек и кукол — нечего и говорить.

Но все эти богатства разложены для богатых; бедному можно только посмотреть на них да позавидовать тем, у кого много денег. Но бедный тоже не забыт: для него тоже построились на тротуаре все эти бесчисленные лавочки, наскоро сколоченные из досок и мигом оклеенные объявлениями, эти столы на колесах, эти белые и полотняные холщовые навесы. В то время как большие магазины хотят, кажется, перещеголять друг друга дороговизной, здесь дешевизна доходит до крайних пределов. Над многими лавочками вы видите крупную надпись: «Мое дело просто: по пяти су штука — на выбор!!!» Купец вдобавок не вполне полагается на убедительность своей вывески и кричит из-за прилавка прохожим: «Пожалуйте, господа и госпожи! До сих пор нигде невиданная и неслыханная дешевизна — по пяти су каждый предмет, на выбор!» Такие крики раздаются на каждом шагу, но у них совсем иной характер, чем у льстивых, утонченно нежных приглашений, обращаемых к прохожим у нас в Апраксином дворе, на толкучем или на вербах. В здешних крикунах есть что-то трагическое. Каждый надсажает себе грудь и горло до хрипоты, каждый выразительно размахивает руками, у каждого глаза горят, у каждого как будто написано на лице: «Живот свой положу, а продам!» И послушайте, какая убедительность в словах! У иного всего одна вещь в руках — медные детские часы с цепочкой, игрушка какая-нибудь; лавки у него нет, и он не прежде вынет из кармана или принесет откуда-нибудь по соседству другую вещь, как когда продаст первую. Зато все красноречие его употреблено на выхваление этих медных часов, этой игрушки. Он рассказывает их историю, объясняет их устройство, показывая вещь со всех сторон, язвительно насмехается при этом над большими магазинами, которые продают всякую вещь втридорога, тогда как он отдает даром... «Даром!» — кричит он с таким ожесточением, что к толпе слушателей, обступающей его, присоединяется все больше и больше народу. «Даром! — продолжает он,— двадцать сантимов — разве это не даром? пять су — разве это не даром? Наконец я не беру за вещь даже и пяти су и отдаю ее без денег,—

только докажите мне, что где-нибудь в магазине можно иметь такую вещь за двадцать пять сантимов!» И опять, как известная песня про журавля или сказка про белого бычка, начинается сызнова восторженная рекомендация продаваемой вещи. Одна толпа расходится, другая собирается. С продавца градом льется пот; он сбрасывает наконец с себя шапку и в картинной позе, с красным лицом, с всклокоченными волосами и с охрипшим голосом годился бы как нельзя более в патетическую сцену какой-нибудь бульварной мелодрамы. Дальше, с таким же пафосом и с таким же красноречием, уличный художник предлагает прохожим снять в пять минут за три су сходный, как две капли воды, портрет. Вокруг него еще гуще толпа. Из нее выдвигается красивый малый в синей блузе поверх сюртука и объявляет желание иметь свой портрет, разумеется, чтобы поднести его в качестве étrennes своей Дульцинее. «Черный или белый? — спрашивает художник.— Черный стоит три су, белый шесть». Парень решается разориться по случаю великого праздника на шесть су. Художник ставит его в должную позу, вооружается маленькими ножницами и клочком черной бумаги и в пять минут, точно, готов портрет, столько же похожий на оригинал, как и на Наполеона. Художник накладывает свою вырезку на листок белой бумаги, начинает размахивать ею перед толпой, и парень, положивший уже деньги на стол, ждет не дождется, когда кончит художник свою речь, которая оказывается длиннее, чем самое сниманье портрета. «Взгляните, господа и госпожи! — возглашает художник.— Взгляните на поразительное сходство! Вот подлинник, вот портрет! Призываю всех в свидетели невероятного сходства, быстроты работы и неслыханной дешевой цены. Три су черный портрет, шесть белый. Три су портрет! три су портрет! Оригинал перед вами. Достаточно сравнить, чтобы убедиться...» и т. и т. д. И через каждые пять слов: «Три су портрет! Три су портрет поразительного сходства!» На каждых десяти шагах такие же толпы — или около другого художника, склеивающего битую посуду и читающего одушевленную лекцию об этом предмете, или около продавца карандашей, в обшитой позументом мантии и в шлеме, как у наших пожарных, разъезжающего в колеснице, запряженной ослом.

В лавках чего хочешь, того просишь, и в каждой кричит пронзительный голос о неслыханной дешевизне. Дети за-

сматриваются не столько на окна магазинов, убранные дорогими вещами, сколько на эти дешевые прелести: на кукол с румяными щеками, на арлекинов с веревочкой между ног, играющих на скрипке, на игрушечных баранов, коней, на мячики, на кубари, на кухонные приборы, на кукольную мебель, на хлопушки, на кегли, на всякого рода музыкальные инструменты, способные оглушить самых долготерпеливых родителей, на лошадей, качающих головами, на кораблики, на барабаны, на коляски и мало ли на что еще. А сласти! Едва ли еще не привлекательнее всех этих игрушек лотереи и фортунки с пряниками, леденцами и дешевыми конфектами. Что ни шаг — груда коврижек, обсахаренных плодов, апельсинов. Вот выставка пирожков и оладьев, вот воздушная кухня, где пекутся блины и вафли, вот баба с жестянкой, так заманчиво постукивающая ею и так сладко приглашающая «вкусить удовольствий». Удовольствиями, то есть plaisirs, называются сладкие трубочки.

Густые толпы кишат на бульварах с раннего утра и до позднего вечера, и едва ли найдется в Париже хоть один человек, который не получил бы подарка в эти дни. По вечерам, когда в каждой лавочке зажигаются свечи и фонарики,— у бульварного базара особенно веселый и оживленный вид.

За несколько дней до 1 января начались на театрах обычные обозрения прошлого года и продолжаются до сих пор. Главную роль играют везде: Китай с глупыми и безобразными мандаринами и хорошенькими женщинами, которых увлекают французские матросы своей красотой и ловкостью; подводный телеграф, на котором качаются рыбы всего океана, и наконец комета. Это всемирные события, затем следуют чисто парижские: прокладыванье бульваров, ссора булочников с пирожниками, мания к ленточкам в петлице, к титулам и к частичке *де* и т. д. и т. д.

В одной пьесе является даже русский prince Balagovine[1], чтобы пропеть куплет об эманципации крестьян.

24 января 1859 г.

[1] князь Балаговин (*франц.*).

ЛОНДОНСКИЕ ЗАМЕТКИ

I

ТЕМЗА

...Und es herrscht der Erde Gott — das Geld.

Schiller [1]

Чтобы увидать Лондон сразу с самой характеристической и с самой величественной его стороны, следует приехать сюда не по железной дороге, а на пароходе, который идет с материка прямо в Темзу и останавливается в самом сердце города, у Сити, около Лондонского моста. Так советуют все, бывавшие в Лондоне, и купцы и туристы,— и я не раскаялся, что последовал этому совету. Лучшего пункта для первого знакомства с Лондоном, точно, не может быть.

Париж покидал я не без некоторого удовольствия: мне успели очень надоесть — и его наружная суета без внутреннего движения, и его празднично-беззаботный и в то же время стройно-казарменный вид, и его легкое уменье покоряться обстоятельствам, и его легкое раздражение, мгновенно вспыхивающее и мгновенно погасающее, и его прогрессивные и ретроградные журналы, настроенные одним камертоном, и его лихорадочные толки о войне и бирже, и его официальные брошюры с либеральным оттенком, который никого не обманывает и тем не менее всех удовлетворяет, и проч., и проч., и проч., о чем печально вспомнить, потому что Париж все-таки славный город и его любишь по преданию и желаешь ему всех благ мира, света и свободы, вдоба-

[1] И царит бог земли — деньги. *Шиллер (нем.)*.

вок к этому ясному, безоблачному небу и яркому, теплому солнцу, которые так ласково, так по-летнему грели его в последние дни перед моим отъездом.

Только этого солнца и было мне жаль, когда я уезжал. Я знал, что не увижу его таким светлым и дружелюбным сквозь лондонский дым и туман.

В два часа пополудни, 18 февраля по новому стилю, отправился я по Северной железной дороге в Булонь. В полночь должен был отплыть из Булони лондонский пароход, на который я запасся в Париже билетом.

Уже на полдороге можно было поручиться, что морской переезд наш не будет особенно спокоен. Выходя из вагона на станциях, не мешало покрепче придерживать шляпу на голове: ветер дул очень неприветливо.

Все общество кареты, в которой я сидел, отправлялось, как и я, в этот же вечер в Англию, и разговор наш невольно принял мрачный медицинский характер. Каждый сообщал подробные сведения о влиянии разных морей на свой желудок и предлагал средства от «морской скуки». Только юная француженка, никогда не бывавшая на море, не могла принять деятельного участия в этих рáссуждениях и с тоской прислушивалась к советам опытных людей. Один считал за лучшее тотчас уйти в каюту и лечь в постель; другой говорил, что никак не следует сходить в каюту, а, напротив, оставаться на палубе и никак не лежать, а сидеть; третий советовал подкрепляться коньяком; четвертый рекомендовал воду как средство, облегчающее давление под ложечкой, и т. под. Неизвестно было, кого слушать. Если не вернее, то приятнее всех для исполнения был совет одного из двух немцев, ехавших в Лондон чрез Париж из Гамбурга. Немец утверждал, что никак не следует отправляться в море с тощим желудком. «Скажу по опыту,— говорил он,— для небольших морских переездов хороший плотный ужин и хороший плотный обед с приличным количеством вина — радикальное средство от морской болезни».

В десять часов вечера приехали мы в Булонь, и омнибус тотчас же перевез нас со станции железной дороги на набережную к пароходной пристани. Неопытная спутница наша вероятно тут уже почувствовала тошноту. Ветер выл как сумасшедший и сшибал с ног; темное море шумело позимнему. Но пароход наш «Альбион» еще не топился, и нам оставалось целых два часа, чтобы «принять свои предосторожности», как выражался мой сосед, гамбургский немец.

Выбор места для принятия этих предосторожностей был довольно затруднителен. Едва успели мы выйти из омнибуса, нас обступили гарсоны из всех прибрежных гостиниц, выхваляя свой ужин и свои вина. Их было человек двенадцать, и, по-видимому, ни один не боялся, что его прохватит, в тонком куцем фраке и без шапки, морской ветер.

Прежде чем принять чье-либо приглашение, мы с немцем решили снести свои дорожные мешки на пароход и занять там места. В каюте был накрыт длинный стол; но ничто не располагало тут к ужину: и освещение было печальное, и скатерть не снежной белизны, и от печки пахло угольным чадом, waiter[1] смотрел мрачно и молчаливо, входил и уходил, словно хотел сразу дать почувствовать каждому континентальному туристу, что у него нет ничего общего с французским garcon[2] и что веселое лицо и вежливые фразы приличны разве таким ветрогонам, каких мы оставили на берегу.

— Не правда ли, в нем есть что-то внушающее (imposant), хоть вид у него и плюгавый? — заметил мне немец, укладывая в футляр свою шляпу и надевая фуражку.— Подумаешь, что он пропитан чувством человеческого достоинства и потому держит себя так почтенно. Я, как человек опытный, скажу вам: вы этим не обольщайтесь! Головой поручусь, что он такой холоп, какого не скоро приищешь на континенте, до мозга костей пропитан холопством. Поэтому и глядит он так мрачно, поэтому и молчит так упрямо. Ведь осмелься он улыбаться при джентльмене, посмей говорить с ним по-человечески,— да какой же он будет после этого лакей? Мы здесь уж в Англии, и вы с этого субъекта можете начать изучать английские нравы.

Мне стало досадно на моего спутника за его резкий приговор, и я почувствовал даже какое-то угрызение совести, будто я был виноват перед безвинно осужденным стюардом, что не нашел его сразу чрезвычайно привлекательным. Увы! потом, когда я ближе увидал английскую прислугу и короче узнал ее, я не раз вспоминал замечание немца и находил его не совсем неверным. Но об этом после.

— Что же касается до английской кухни,— продолжал разговорчивый немец,— знакомство с нею не советую вам начинать здесь. Вы получили превратное понятие о британ-

---

[1] официант *(англ.)*.
[2] официантом *(франц.)*.

ском ростбифе. Пиво, может быть, здесь и порядочное; но, по-моему, с Францией надо проститься бутылкой бордо, и потому — пойдемте! Выберем ту гостиницу, где в окнах больше свету.

Гарсоны все еще сновали по берегу; но ни один из них не угодил нам в чичероне. Особенно ярко светились окна какого-то hôtel de Paris, а может быть и hôtel de Londres, и мы поспешили туда по мокрому хрустящему песку берега. Свет не обманул нас: мы нашли просторную теплую комнату с большим растопленным камином, горячий суп, вкусные котлеты, порядочное вино и отличный бри.

— Итак, здоровье наше обеспечено на два, на три часа качки! — сказал мой спутник, ставя свою чашку кофе на мраморную доску камина и придвигая к огню кресла.— Я думаю, лучше всего теперь закурить сигару и посидеть спокойно. На пароход нам еще рано, а в бюро паспортов мы можем и не идти сами, если дадим по полуфранку гарсону. Он сбегает туда с нашими паспортами и получит билет (permis d'embarquer[1]), без которого нас не пустят на пароход. Французский полицейский, я думаю, уж поместился там, чтобы преградить дорогу каждому беспаспортному.

Гарсон, точно, обделал все мигом и принес нам билеты. Мы отправились на пароход минут за десять до срока и нашли там всех пассажиров в полном комплекте. На палубе было холодно, и потому тут суетилась преимущественно пароходная прислуга, уставляя, прикрывая циновками и увязывая груды ящиков, сундуков и чемоданов. Со всех сторон слышались уж отрывистые английские фразы. Большая часть пассажиров убралась в каюту. Ужин со стола исчез, на диванах явились постели, над диванами койки. Два-три француза уже совершенно разделись, сидели в постелях и повязывали себе головы пестрыми фулярами; мрачный стюард сонно двигался от койки к койке, расставляя умывальные чашки. Из числа наших парижских спутников нигде не оказывалось только другого гамбургского немца.

— Это странно! — заметил мне его земляк.— Он уж, видно, слишком усердно последовал моему совету относительно предосторожностей. Я еще давеча на берегу хватился его, хотел звать ужинать вместе; но его и след простыл. Он, видно, прямо из вагона отправился в трактир.

---

[1] разрешение отплыть *(франц.)*.

Еще не чувствуя желания спать, я закутался потеплее и вышел опять на палубу. Суеты было тут уже меньше: вся тяжелая поклажа была на месте. Пароход шумно топился, и большая стрелка на большом, освещенном сзади циферблате часов над зданием пароходной компании на берегу показывала без трех минут двенадцать.

Едва успел я сесть на лавочку около спуска в каюту, на палубу торопливо взбежал потерянный нами из виду немец. Он задыхался от усталости и через силу тащил в руках и под мышками свою поклажу: два больших дорожных мешка, картонку со шляпой и зонтик с тростью, связанные вместе.

Я спросил его, где он так долго пропадал. Он мрачно отвечал мне охрипшим голосом:

— Ах, не спрашивайте! Столько было беготни! Потом все расскажу...— И исчез в каюту.

Часы на берегу начали громко бить полночь. Лестницы и переходы встащили на пароход, и он качнулся, зашумел и двинулся. Минуты через три мы были уже в море. Оно было темно и беспокойно, и качка не заставила себя ждать.

Собеседник мой немец скоро опять присоединился ко мне, чтобы иметь право закурить сигару, чего в каюте, конечно, не позволяется. Я тотчас же спросил его, что за беда стряслась над его земляком.

— Главная беда, что он должен теперь улечься в постель с пустым желудком,— отвечал немец, — и его начало уж мутить. А желудок у него пуст оттого, что он смотрит на мир слишком с высшей точки зрения. С этой точки ему показалось достаточным чувствовать себя честным человеком да уложить в чемодан свое белье, чтобы переправиться с континента в Англию. А между тем здесь о душевных качествах его не спросили, а потребовали описание его наружных примет. С своей высшей точки зрения он это описание забыл в Париже и сколько ни уверял здесь, что у него и с описанием и без описания все такой же нос, и такие же глаза, и такие же рыжие бакенбарды, и такая же бородавка над левой бровью,— ничто не помогло. Пришлось бежать к консулу и будить его, а консулу вставать и будить своего секретаря, а секретарю вставать и писать, что у господина такого-то, которого он видит в первый раз в жизни, нос обыкновенный, глаза серые, бакенбарды рыжие, особая примета — бородавка и проч. и что поэтому его можно отпустить в Англию. С этой цидулой надо было бежать в бюро паспортов и полу-

чить там, взамен ее, билет. Хорошо еще, что консул со сна не сердит и что в бюро все требования ограничиваются описанием примет, а то моему земляку пришлось бы и на пароход сегодня не поспеть. Что закусить он не успел, это само собою разумеется. И вот человека теперь мутит. Он думал, что в беспаспортный Лондон едет, так его и здесь без паспорта пропустят. Нет, дудки! Здесь порядок — прежде всего. И принять предосторожностей от морской болезни нельзя, если не выправил, как следует, паспорта.

Словоохотливый немец долго еще, пока не докурил сигары, распространялся о французском порядке и английском беспорядке и о преимуществах — не знаю, первого ли над вторым или второго над первым: ирония его касалась и того и другого. Резкий ветер начинал уже пробирать меня, пароход сильно качался, море обдавало мне по временам лицо холодными брызгами. Берег Франции, бледно обрисовывавшийся во мраке, наконец совсем исчез. Смотреть было не на что, да было пора и спать. Крепко держась за рампу, спустился я в каюту, где уже началась во всех углах известная музыка. Беспаспортный немец страдал, кажется, больше всех: он не успел и раздеться как следует и лежал на постели в жилете и панталонах.

Около подушки на койке № 18, которая была занята мною, стояла наготове глиняная чашка; но она, к счастию, мне не понадобилась. Размышляя о том, будет ли меня тошнить или не будет, я скоро крепко заснул, и когда проснулся, пароход уже не колебался, словно стоял на месте. В маленькое оконце над моей койкой смотрело утро.

Я поспешил одеться и вышел из душной каюты. Ветер утих, но утро было холодно. Солнце еще не грело и то и дело пряталось то в разорванных серых облаках, носившихся по небу, то в дымном столбе нашего парохода. Там и сям виднелись вдали серые паруса, тонкие иглы мачт, пароходные трубы с длинными хвостами дыма. Впереди сквозилась в тумане, который одевал даль, темная гряда английского берега.

Пока я сидел на воздухе и глядел на море, поднялись с коек все пассажиры, и мой немец первый явился наверх, чтобы сообщить мне об отлично проведенной ночи и услыхать от меня похвалу своему средству.

— Зато взгляните на моего земляка! — сказал он с искренним состраданием, — на нем лица нет. Вот что значит пускаться в море без ужина...

И точно — на земляке не было лица. Он, впрочем, не столько жаловался на французскую полицию, сколько на французско-английское море. Остальные пассажиры скоро оправились и с большим усердием принялись за завтрак, состоявший, как прилично всякому порядочному английскому завтраку, из ростбифа, ветчины, бараньих котлет и черного, как сусло, чая, с жидким, как вода, молоком, с горячими хлебцами и с жареными тостами.

Страсть англичан к такому черному чаю можно объяснить разве только их пристрастием вообще ко всему крепкому, едкому и острому. Чем более похож чай цветом на крепкий кофе, тем он для англичанина лучше. Вследствие этого странного вкуса, половина Англии пьет подкрашенный чай, и здесь нисколько не удивительно прочесть на окне очень порядочного чайного магазина как рекомендацию товару, что «лист не подкрашен». Известно, что чем лучше чай, тем труднее настаивается; из любви к темному цвету большинство пьет, стало быть, дурной чай. Если он уж и без того дурен, то понятно, каков будет он, если его подкрасить да приправить какими-нибудь духами.

Между тем как мы занимались чаем и прочим, пароход шел себе да шел вперед, и когда завтрак в каюте кончился, мы были уже в Темзе. Но где кончилось море, где началась река, верно никто из нас не мог бы сказать. Очертания берегов справа и слева были еще неясны. Казалось, пароход вступил в широкую морскую бухту и только оттого не шелохнется.

Нет другой реки в мире, которая была бы так, как Темза, способна к громаднейшему развитию торговой деятельности. Зато неугомонно кипучая жизнь, которая завладела ее берегами и взмутила ее воды, поражает и подавляет своим грозным движением каждого чужестранца, как бы он ни был пропитан современной способностью nil mirari[1].

Темза судоходна на протяжении ста восьмидесяти восьми английских миль и на семьдесят миль подвержена влиянию морского прилива и отлива. До Лондонского моста, до которого считается от устья сорок пять с половиною миль, доходят самые большие купеческие суда. Будущее чудо морей, «Левиафан», выстроено чуть не в самом Лондоне, и ему будет легче выйти с отливом в море, чем было сойти с подмостков верфи. Ни одному из кораблей, доходя-

[1] ничему не удивляться (*итал.*).

щих до Лондонского моста, не нужно во время отлива ни парусов, ни пара, чтобы пуститься в путь: отлив выносит их без хлопот в открытое море.

По мере того как мы подвигались вперед, все чаще и чаще попадались нам навстречу большие суда и пароходы, отправлявшиеся, может быть, в очень далекие странствования, и все ближе сдвигались берега, пока еще не загороженные лесами мачт и черными зданиями верфей. Но ни справа, на холмах Кентского графства, ни слева, на плодородных равнинах Эссекса, не видали еще мы той изумрудной зелени, которою так хвалится Англия и которою начали уже при мне одеваться широкие поляны и пригорки лондонских парков.

Скоро показался справа и первый английский город, Гревзенд, расположенный на пологом скате берега. Контуры его зданий виднелись как сквозь легкую прозрачную дымку. Туман начинал уже тихо подниматься с реки и класть на все свою серую тушевку.

Приближаясь к гревзендской пристани, «Альбион» замедлил шаг; от пристани отчалила лодка и скоро пристала к пароходу. По сброшенной с него лестнице на палубу к нам взобралось несколько таможенных чиновников, или, лучше сказать, один таможенный чиновник с несколькими, не имеющими ничего официального, помощниками. Да и сам глава их нисколько не был похож на тех employés[1], с которыми мы расстались во Франции. Он смотрел мирным гражданином, не принимал важной посадки и походки, не возвышал голоса. Можно было подумать, что ему совестно беспокоить пассажиров, тогда как на других таможнях обыкновенно кажется, что пассажиры нарушают покой чиновников и что чиновники делают им особенное одолжение, перерывая их сундуки и чемоданы с пасмурным официальным видом. За скромность и совестливость толстого господина с большими светлыми бакенбардами, приехавшего из Гревзенда ревизовать нас, можно было примириться с странной необходимостью отпирать чемодан и показывать, что там, кроме белья и платья, ничего нет.

От Гревзенда начинается постоянное сообщение с Лондоном посредством небольших пароходов. За несколько пенсов можно приехать погулять по гревзендским холмам, и маленькие пароходы никогда не бывают пусты. С раннего

---

[1] чиновников *(франц.)*.

утра и до поздней ночи бегают они вверх и вниз по реке, останавливаясь почти у каждой пристани и высаживая и забирая пассажиров. Раскрашенные разными цветами в клетку невысокие трубы, по которым лондонский житель издали узнает, куда отправляется пароход, к морю ли, или вверх по Темзе, стали часто встречаться нам. Дальше река кишит этими пароходами. Одни плывут к Гревзенду и завозят желающих в Гринвич, в Вульвич; другие, исполняя совершенно должность омнибусов, везут пассажиров от Лондонского моста к Sommerset-House[1], к Вестминстеру, к каждому следующему мосту, и вон из Лондона, мимо местечек Чельси, Путнея и Фульгама, слившихся с ним, вдоль живописных берегов, убранных садами, парками и виллами, до Ричмонда и Кью, где воду Темзы еще можно пить и она не похожа на те черные помои, в которые превращается у Сити.

До пристани оставалось нам еще двадцать две мили; но тут и берега и река начинали уже кипеть жизнью, и путь не мог казаться скучным. Кроме больших и малых пароходов, кроме парусных судов, качавшихся на всех морях, и новых кораблей, только что спустившихся с подмосток мастерской и готовившихся к такому же испытанию, нам беспрестанно попадались большие барки и маленькие лодки с грудами каменного угля и рыбачьи челноки с крашеными коричневыми парусами. Запах угля становился все сильнее, даль все больше куталась в туман. Изжелта-серые волны его плыли и на нас, и когда мы поравнялись с Вульвичем, то есть проехали еще двенадцать миль от Гревзенда,— солнца, которое светило очень ярко, когда мы вступали в устье Темзы, нельзя было узнать. Оно то сквозилось красным раскаленным ядром из-за густых, черных клубов дыма, подымавшегося над пароходами, то прорезывалось тонким золотым кольцом, когда дым на минуту редел и расстилался по небу мутным пологом. У берегов серый туман начинал превращаться в черный, и из этого унылого мрака слышался непрерывный стук тысячи молотов. Резко и грозно разносились вдоль по реке их тяжелые и частые удары по наковальням; к ним примешивался по временам гул машинных колес и свист пил.

Кто-то из пассажиров нашего парохода, толпившихся на палубе, справедливо заметил, что нельзя придумать лучшего

---

[1] Соммерсетскому дворцу (*англ.*).

аккомпанемента к известной песне: «Rule, Britania, the waves!»[1]

Почти на протяжении целой мили тянутся у правого берега, на котором стоит Вульвич, мрачные навесы военной верфи. Под ними мы различали порой огромные остовы и ребра кораблей; но ни людей, кующих тут в чадной угольной тьме морское величие Британии, ни их тяжкой работы нельзя было разглядеть, и тем грознее казался безустанный и неумолчный грохот этого невидимого движения. За высокой стеной, ограждающей полосу берега, на которой построена вульвичская верфь, из-за ее высоких навесов, из-под глухих кровель ее мастерских — солнца не увидишь иначе, как в вечном затмении, и у каждого из работающих под этим негреющим солнцем, без отдыха и без надежды на отдых, остановится в горле второй стих горделивого народного гимна, который не сложился бы без их темной работы.

К вульвичской верфи примыкает и громадный морской арсенал, в котором хранится чуть ли не двадцать пять тысяч орудий и миллиона три пушечных ядер.

Едва начал становиться за нами глуше и смутнее стук молотков и машин, до нас стал доноситься такой же гул и грохот спереди. Мы миновали местечко Блэкволь, где у пристани теснились пароходы и пассажиры их спешили на железную дорогу, которая идет отсюда по улицам Лондона и над его домами в самую средину Сити. Пароход наш приближался к громадным вест-индским докам. Река делает тут поворот влево и, поворачивая дальше вправо на линию своего прежнего течения, образует большой мыс, который прорезан насквозь каналом и бассейнами доков.

Мы стали огибать мыс. Старое имя его isle of Dogs (Собачий остров) давно пора бы заменить иным и, чтобы не переиначивать много, назвать его isle of Docks (остров Доков). Думаю, что название «Собачий» дано было ему в то время, когда в Гринвиче, который лежит прямо насупротив, на выгибе правого берега Темзы, была королевская резиденция, а на мысу жили придворные охотничьи собаки. Теперь так же не живет собак на острове, как в Гринвиче королей, и если гринвичский дворец, который строили себе расточительные Стюарты, занят теперь и называется госпиталем, а не дворцом, то почему же бы не переименовать и Собачьего острова?

---

[1] «Правь, Британия, морями!» *(англ.)*

Скоро увидали мы и Гринвич и его знаменитый дворец-госпиталь для морских инвалидов, которых помещается тут до трех тысяч. Изящный фасад его с колоннами и куполами обращен на реку и не заслонен, к счастью, темными торговыми постройками. Просторная терраса идет от него к Темзе.

Немного дальше, у смежного с Гринвичем Дептфорда, еще госпиталь, но уже не в пышном дворце, а в большом расснащенном корабле, который стоит тут на якоре. Огромная надпись на нем «Seamen's hospital»[1] не может не кинуться в глаза каждому, плывущему по Темзе. Матросы всех наций принимаются в эту надводную больницу, и «Dreadnought»[2] (так именуется корабль) сто́ит за свое теперешнее назначение гораздо большего уважения, чем каким пользовался когда-то за свое участие в Трафальгарской битве.

В деревне Дептфорд, как известно всякому русскому, работал на верфях Петр Великий. Прежде чем мы миновали ее, все пассажиры нашего парохода, ехавшие в Лондон в первый раз, насторожили внимание. Мы приближались к громаде «Левиафана», ожидающего окончательной отделки (которая и производится быстро и с успехом), чтобы двинуться в океан с четырьмя тысячами пассажиров. Железные бока его так высоко поднимаются из воды, что нам приходилось закидывать голову, чтобы видеть их борты. И теперь уже, несмотря на свою безжизненность и неподвижность, «Левиафан» кажется каким-то баснословным чудовищем. Что же будет, когда палубы его с площадями и улицами кают и салоны, равняющиеся палубам линейных кораблей, наполнятся народом, когда вместо маленьких лодок, висящих у боков теперешних кораблей, он привесит к себе два винтовых парохода и двадцать небольших судов, большею частью с палубами, мачтами и парусами, и пустит клубы дыма из своих широких труб и спокойным ходом пойдет по бурному морю, в то время как такие пароходы, как наш «Альбион», будут качаться и заплескиваться волнами и из всех кают будут слышаться «Erbrechen, Fluchen und Beten»[3], как говорит Гейне! «Левиафан» обеспечен не только от сильной качки, но и от огня и крушения. Гореть ему нельзя, потому что в нем нет ни куска дерева; весь корпус его двой-

---

[1] «Морской госпиталь» *(англ.)*.
[2] «Неустрашимый» *(англ.)*.
[1] «Рвота, проклятия и мольбы» *(нем.)*.

ной, и если б дно и бока разбились, корабль все-таки не погиб бы, потому что у него остаются другое дно и другие бока. И как подумаешь, что он построен не из тщеславных видов, как строится еще очень многое в наш прославленный положительностью век, что это дело коммерческого расчета и частной предприимчивости, нельзя не изумляться страшному развитию промышленных сил народа, способного на такие гигантские предприятия. Постройка этой громады стоила и стоит еще многих миллионов; но чтобы понять, что эти миллионы не только не пропадут, но и принесут огромные барыши, достаточно вспомнить, что на одном угле, который «Левиафан» станет запасать разом в приличном количестве, будет чистого выигрыша чуть ли не двадцать тысяч франков в каждый проезд в Америку и обратно. И с какой быстротой производятся здесь эти несокрушимые постройки! Хрустальный дворец вырос в один год, на «Левиафан» понадобилось менее пяти лет.

Пароход наш пошел тише, когда мы оставили за собой «Левиафана», коммерческие доки с частоколом мачт за закоптевшими зданиями берега налево и вест-индские доки с таким же частоколом направо. Темза становилась своею суетой похожа на нашу Садовую в вербную субботу; вся разница была в том, что вместо омнибусов, карет и саней тут сновали корабли, пароходы, барки и лодки. Проезжая дорога сузилась. К берегам тесно жались в несколько рядов суда всевозможных размеров и форм. Число им — легион, хотя, может быть, только десятая доля судов, стоящих у Лондона, стоит в реке. Остальные пристают в доках, и бесчисленные иглы их мачт видны из-за прибрежных домов. Глазу беспрестанно кажется, что эти дома выстроились на узкой полоске земли, за которою лежит если не море, то такая же широкая река, как Темза.

— Мы теперь в так называемой Луже (Pool),— сказал мне мой спутник-немец, стоявший со мною рядом на палубе.— Название очень характеристическое. Посмотрите, по каким чернилам мы плывем! Весь Лондон снабжает Темзу грязью и помоями, и только нынче поняли, что это не способствует благорастворению воздуха. Что ни говорите, успехи цивилизации, быстроте которых мы так дивимся, совершаются очень туго. Надо было Лондону простоять с лишком тысячу лет, чтобы сообразить, что из дряни, которая, накопляясь в реке, способна произвести чуму, можно извлечь серьезную пользу. Положим, тысячу лет тому

назад думать об этом было раненько; но уж лет-то за сто можно было бы догадаться. Нет, подождали, чтобы летом нельзя было не только ораторствовать, но даже и дышать в парламенте. Порядочный джентльмен считает постыдным пройтись и по Лондонскому мосту; а об этих черных вонючих переулках, которые примыкают к Темзе, и говорить нечего; а попробовал бы он подышать здесь даже и сто лет тому назад. Теперь, как стало вонять в парламенте, начали, небось, придумывать и обсуждать меры, как бы помочь горю. Помочь, однако ж, по-моему, не очень-то легко. Положим, трубы, которые выливают теперь все нечистоты в Темзу, будут направлены в противную сторону; да ведь дна-то у нее уж не вычистить. Лужа останется лужей, и Феб, как говорит наш Шиллер, никогда не будет отражать в ней своего золотого лика. Вы, однако, не пропустите без внимания вон этой широкой и приземистой серой башенки направо. Это вход в туннель под Темзу, и мы как раз плывем над любознательными путешественниками, которые осматривают его теперь. Кроме их, посетителей у туннеля мало. Налево такая же башенка; но ее не видать. Мы ведь сами плывем под туннелем дыма, чада и тумана.

Я не отстал от любознательных путешественников, о которых говорил мой спутник, и впоследствии посетил туннель. Заплатив пенни пошлины у входа в башенку, я одиноко спустился по широкой и удобной лестнице в глубокую шахту, ведущую к подводному ходу. Только внизу попалось мне человека три-четыре. Они тихо входили по лестницам, смотрели по сторонам, на стены. Это были, видимо, праздные зрители, как и я. Под круглыми, светлыми от газу сводами туннеля, проходя из конца в конец, я встретил не больше двадцати прохожих. Из них, я думаю, и половина не шла тут по необходимости. Правда, было воскресенье; маленькие лавчонки с дешевыми товарами, которые помещаются между арками, разделяющими туннель на две улицы, были заперты, кроме одной лавки с пивом, апельсинами и пряниками. Но возвращаться в туннель в будни не стоило: достаточно справиться у будочки сборщика пенсов, сколько доставляет туннель ежегодного сбору, чтобы увериться, что и в шумные будничные дни, когда над этими подводными сводами давка в Луже Темзы, здесь тихо и пусто. Всего около пяти тысяч фунтов собирается ежегодно с прохожих туннеля. Стало быть, в день им пользуется круглым числом с небольшим три тысячи человек. Что значит эта цифра для Лон-

дона, где по Блэкфрейрскому мосту проходит ежедневно пешком больше шестидесяти тысяч, а по Лондонскому мосту до девяноста тысяч человек, и проезжает по одному более трех с половиной, а по другому около пяти с половиною тысяч омнибусов, извозчичьих карет, фур и проч.

Туннель строился тоже не для одних пешеходов. Для них назначены неширокие тротуары по бокам обеих улиц туннеля; посредине мостовая для лошадей и экипажей. На рисунках до сих пор не редкость увидать экипаж под сводами подводной дороги; но это только на рисунках. Страшная сумма, убитая на постройку туннеля (он стоил 613 000 фунтов), должна бы была увеличиться чуть не вдвое, если б вместо широкого колодца, которым спускаются теперь в туннель пешеходы, сделать к нему проезжий спуск. Сколько домов пришлось бы покупать и сламывать на обоих берегах, сколько срывать земли! Но едва ли не вдвое скорее окупились бы тогда издержки, хотя бы и выросли вдвое.

Мысль устроить в этом месте подводное сообщение между двумя берегами Темзы была очень практична, и неуспех ее произошел лишь оттого, что она исполнена только наполовину. Тут нельзя было построить моста, не загородив этой громадной гавани, которая тянется от моря к самому сердцу города; а между тем сообщение было тут необходимо. Вначале, вероятно, никто из строителей и не рассчитывал на пешеходов. Человеку без тяжелой ноши за плечами, без телеги с поклажей и легче и дешевле переправиться через Темзу на лодке: во-первых, не нужно спускаться по сотне ступеней под землю, потом опять подниматься; во-вторых, вместо пенни в один конец на лодке можно проехать два конца за полпенни. И поэтому стаи лодок, которые снуют над туннелем взад и вперед по Темзе, ловко шныряя под самым носом пароходов, всегда полны пестрым народом, а туннель вечно пуст. Между тем тому движению, для которого он строился, туннель не помогает. Может быть, он и оживился бы, если б мог быть местом прогулки; но для этого много препятствий. В суетливых и нищенских кварталах, к которым он примыкает, народу не до прогулок. Да если и есть час досуга бедному труженику, он захочет взглянуть на зелень, на солнце, не проникающее ни одним лучом в вечные потемки его тюрьмы-мастерской, и не пойдет он и не поведет своих чахлых детей под душные своды туннеля. Для мелких подводных торгашей, собирающих скудную дань с малочисленных прохожих, воскресенье должно быть истин-

ным праздником. Они могут запереть свои лавчонки и выйти из газового света на божий свет и из подвальной духоты на свежий воздух. Даже чадный туман Сити кажется свежим воздухом по выходе из туннеля. Пройдя его из конца в конец, я почувствовал стеснение в груди и торопливо взбегал по спиральной лестнице, чтобы поскорее выйти вон. Правда, в туннель не проникает копоть, окрашивающая в траурный цвет все здания Лондона, и гладкие стены и своды его так чисты, как будто только что смазаны глиной и выбелены; но зато вверху иногда дует ветер с моря, и посреди вредных испарений и дыма проносится же иногда струей если не чистый, то все-таки действительно свежий воздух, и, признаюсь, для меня темные стены лондонских переулков показались, по выходе из туннеля, отраднее его опрятных сводов.

«Прорытие подводного хода под Темзой может считаться высочайшим торжеством инженерного искусства...» Так или вроде этого говорят все описания лондонского туннеля. Приз́аем за ним это значение, примиримся с его непрактичностью и воротимся на Темзу.

Дома, или, лучше сказать, черные кирпичные стены на обеих сторонах реки жались друг к другу все плотнее и плотнее. На каждой стене белели большие прописные буквы надписей, объяснявших, что за стеной помещается или верфь, или мастерская, или складочное место. За первым рядом стен виднелся другой ряд, выше, с такими же надписями, а через него глядели опять стены и опять вывески. Порой вместо второго и третьего ряда стен снова подымались сотни мачт. Мы были около лондонских доков и доков св. Екатерины. В тесные ущелья между двух домов то и дело осторожно входили или пароход, или парусное судно. Оставайся все они на реке, по их палубам можно было бы пройти, не замочив подошвы, от Лондонского моста до Гревзенда.

В бесчисленной стае кораблей, жавшихся к берегам и двигавшихся по реке, глаза невольно останавливались на судах с углем из нью-кестльских копей. Они были самой темной тенью в серой панораме, окружавшей нас: черные бока, черные палубы, черные снасти и черные люди. «Из грозной и мрачной глубины каменноугольных копей,— говорит один немецкий путешественник,— возникло промышленное, а чрез него и политическое величие Англии. Отнимите у британских островов их каменный уголь, влейте

золото, серебро, алмазы в темные шахты, наполните их всею монетой, которую начеканили с сотворения мира дурные и добрые государи,— они не заменят воспалимой искры, которая таится в угле и возбуждает, истощаясь сама, тысячи новых жизненных сил. Если б английский народ не владел неистощимыми угольными месторождениями, он стоял бы все на том же месте, как и за тысячу лет, был бы только маленьким островным населением, бедным, бессильным, забытым, обреченным довольствоваться вечно скудными произведениями своей почвы и неверными дарами окрестного моря».

Не остановимся, однако ж, на этих словах как на окончательном выводе и не забудем, что без предприимчивого гения в самом народе пласты каменного угля лежали бы и доныне неприкосновенными под землей и не заменили бы с лихвой груд золота.

«Легко сваливать на природу вину собственного неразумения,— продолжает тот же путешественник.— Взгляните на нашу землю! На ней мало, очень мало таких пространств, которые, как большие пустыни в жарких странах или безотрадные ледяные равнины у полюсов, не могли бы представить какого-нибудь неведомого клада, таящего в себе будущность целого народа. Что дала природа британскому народу столь великого, чего не могли бы назвать своим и многие другие нации? Но как воспользовалась британская раса тем, что дано ей природой, сравнительно с другими племенами? Почва ее растит теперь лучшие в Европе породы хлеба: зерно английской пшеницы отличите вы в тысяче других зерен; из угольных копей своих, словно волшебною силой, вызвали британцы величайшее промышленное государство всех веков; море, омывающее их скалистые берега, превратили они в мост, по которому предприимчивый гений их мчится во все страны света. Вода, земля, воздух и огонь! Все те же древние стихии, и они-то послужили материалом английскому величию»[1].

— Что это за здание? — спросил кто-то за мной.

— Где? Направо? Это Лондонский замок (Tower),— отвечал мой немец.— Не правда ли, эта мертвая старина как-то некстати здесь, рядом с самой живой современностью?

---

[1] Max Schlesinger, Wanderungen durch London, Bd. II, Berlin, 1853 [Макс Шлезингер, Прогулки по Лондону, Том II, Берлин, 1853]. *(Прим. М. Л. Михайлова)*.

Только место занимает. Тут можно бы очень удобно устроить складочные магазины для табаку, чаю или вина.

И точно — все вокруг так полно суетливой жизни, так предано неутомимым насущным заботам (какова бы ни была их цель — тысячи ли фунтов барыша или черствая корка хлеба), что вниманию некогда оторваться от настоящего и думать о прошлом, хотя без этого прошлого мы не увидали бы этого настоящего таким, каким видим его теперь. Притом у Товера с реки нет ничего ни особенно величественного, ни особенно веющего стариной. Он реставрирован после недавнего пожара, и высокие гладкие стены его с четырьмя башнями по углам не потемнели еще от копоти, которая так скоро придает почтенный древний характер лондонским зданиям.

На рвы, стрельчатые ворота, круглые башни и массивные стены Товера надо взглянуть с другой стороны. Там, не развлекаясь шумом и суетой настоящего дня, вы невольно вспомните темную историю замка и станете с должным благоговением смотреть на эти башни, из которых в каждой разыгралась не одна кровавая быль. В одной башне удавлены дети Эдуарда, в другой сидела Джен Грей в ожидании казни, в третьей убит Генрих VI, в четвертой лилось вино, а не кровь, но и вино тут было невесело: в бочке его захлебнулся брат короля Эдуарда IV. Под землей, на которой стоит Товер, легли целые груды обезглавленных тел, и между ними Анна Болен, Джен Грей, Катерина Говард и проч. и проч. поэтической и не поэтической памяти жертвы. В собрании редкостей, показываемых в Товере всякому желающему за шиллинг и за шесть пенсов, хранится и топор, под которым попа̀дала большая часть этих злополучных голов, и орудия пытки, которых попробовали многие, прежде чем понесли свои головы на плаху.

Скоро ли отживет свой век, как Товер, и это огромное здание вблизи его с большою террасой на реку, с тремя подъездами и тремя выступами, украшенными колоннами, без которых не обходится в Лондоне ни одно здание, как скоро имеет притязание на красоту и важность? Это Custom-house[1]. Раз шесть он сгорал, и столько же раз строили его снова на том же месте, и, вероятно, еще несколько поколений пройдут, прежде чем он превратится в этнографический музеум или что-нибудь подобное.

---

[1] Таможня (*англ.*).

Мы уже почти у пристани. Вот и London bridge с его тяжелыми серыми арками, предел собственно морской жизни. За его сводами видны вдали своды другого моста; если бы не туман, который здесь особенно густ, мы увидали бы и еще мост, третий. Всех их в Лондоне семь, и все кипят жизнью; но первенство в этом отношении принадлежит Лондонскому мосту. Глядя с парохода, можно подумать, что в этой давке не пройдешь, не проедешь. Тихо движутся посредине громадные возы, чудовищные омнибусы с тесно положенными на их крышах людьми, кареты и кебы; тысячи круглых мужских шляп на тротуаре кажутся из-за стен моста каким-то черным потоком.

Почти такая же толкотня, как на мосту, и у пристаней по сю и по ту сторону. Одни толпы теснятся к пароходам, другие бегут плотною массой с пароходов им навстречу, еще толпы пробираются по живому мосту сдвинувшихся судов. Все голоса и звуки мешаются в один смутный гул: и крики матросов, и шипенье выпускаемого пара, и шум водяных колес. Надо родиться на этих туманных берегах и с детских лет привыкнуть к этому страшному движению, чтобы не почувствовать какой-то невольной робости, какого-то еще не испытанного одиночества. Как ни осязательно действительны эта неугомонная жизнь, это неутомимое движение, в них есть что-то сказочно-фантастическое для непривычного зрителя, может быть от этого тумана, лежащего на всем, может быть от этого мутного багрового солнца, лучи которого бессильно тонут в нем.

Если взглянуть от Лондонского моста вдоль по Темзе на ее берега, они кажутся выставленными и загроможденными какими-то угрюмыми развалинами: так черны и грязны эти практические постройки, кирпичные стены которых спускаются к самой воде. Нет места, где бы взгляд не встретился с трубой, кидающей клубы черного дыма словно назло упрямому при своем бессилии солнцу. Справа, в Соутварке, этом приросте Лондона с шестьюстами тысяч жителей, трубы фабрик, заводов и пивоварен подымаются из-за прибрежных зданий высокими колоннами и обелисками, и не вставай над ними дымные столбы и облака, можно бы подумать, что все это какие-нибудь памятники вроде так называемого монумента в Сити, воздвигнутого в воспоминание о большом лондонском пожаре.

Может быть, картина выиграла бы в красоте, если б берега реки обложить гладким камнем, обсадить деревья-

ми, испестрить цветниками, застроить изящными дворцами и проч. Тогда и воздух не был бы так сер, и туман не лежал бы на реке так упорно, и дым не мешал бы солнцу светить так же ярко, как оно светит над истоками Темзы. Но таких красивых картин немало на свете и без Лондона, и они не придали еще ни одному городу того прочного величия, какое дала Лондону эта мрачная и унылая обстановка.

Впрочем, и у этой мутной Темзы Сити была пора романтической красоты. Воды ее были настолько прозрачны, что могли отражать в своем зеркале и берега и корабли. Корабли были немногочисленны, но берега зеленели бархатной муравой и пышными садами, пестрели красивыми домами и дачами, одним словом, могли удовлетворить вполне самого взыскательного любителя украшенной природы или искусства, что было по тогдашним эстетикам одно и то же. Роскошно убранные гондолы и праздные parties de plaisir[1] вытеснены темными от копоти пароходами и деловым движением, и жалеть об этом никому не приходит в голову. Правда, лорд-мэр, вступая в должность, катается еще каждую осень на разукрашенных лодках от Сити до Вестминстера; но и эту комедию, надо предполагать, постигнет скоро участь знаменитой процессии обручения венецианского дожа с морем. Как ни крепко, как ни по-китайски держится англичанин за свою старину с мишурными мантиями и париками, придется же наконец их бросить: уж не говоря о Понче, кто втихомолку не смеется над этим пыльным хламом?

Кому любопытно взглянуть на тот Лондон, который имел поползновение быть похожим на Венецию, тому надо подняться вверх по Темзе к великолепному дворцу, выстроенному лордом Соммерсетом и слывущему доныне под именем Sommerset-House, хотя от первоначальной постройки в нем не осталось и следа. В этом месте Темза начинает уже понемногу утрачивать свой чернорабочий характер, и Соммерсетский дворец не загорожен лесом мачт. Длинный фасад его в итальянском вкусе, с рядами колонн, с широкой террасой, с надводными арками, составляет, вместе с величественным, несмотря на всю свою причудливость, зданием парламента, лучшее архитектурное украшение верхней части Темзы.

Но пароход наш уже причалил. Носильщики взваливают себе на спину ящики и чемоданы, верный собеседник

[1] увеселительные прогулки (*франц.*).

мой немец советует мне остановиться в одной с ним гостинице, в Сити, пока не приищу квартиры, и мы уже на твердой земле. Под большим широким дощатым навесом вроде сарая, куда мы входим прямо с парохода вслед за носильщиками, чиновник, сидящий в маленькой будочке около выходных дверей, смотрит, на всех ли вещах у нас есть таможенные билетики, и мы прямо из дверей попадаем чуть не в объятия толстого краснощекого извозчика, который и принимает нашу поклажу в свою допотопную карету. Грязный узкий переулок круто поднимается в гору.

— Glück auf![1] — говорит немец.— На Темзу советую вам возвратиться еще раз. Днем вы ее видели: посмотрите теперь вечером. Кстати же и гостиница наша в двух шагах от London bridge.

Рано наступает вечер в Лондоне. Иногда и целый день не что иное, как сплошные сумерки, и в лавках узких улиц с утра горит газ. Как фонари у карет, у маленьких омнибусов-пароходов зажигаются по два красных или зеленых глаза и, словно блудячие огоньки, мелькают то там, то сям, то встречаясь, то обгоняя друг друга, в сырой мгле. Долго еще не смолкает на реке движение, но скоро грохот на Лондонском мосту становится слышнее, чем шум внизу, у его тяжелых сводов. Вместо судов оживляются смрадные переулки, ведущие к ним, печальные приюты бедности и разврата.

Днем, глядя на кипучую деятельность над Темзой, на этот всесветный рынок, куда все концы земли прислали свои товары (wo vier Welten ihre Schätze tauschen), вы изумляетесь невиданному богатству и забываете о столь же невиданной нищете, живущей с ним бок о бок. Ночью, когда утихает речная жизнь и начинается глухое движение в смежных с Темзой лохмотных (ragged) кварталах, невольно приходят на память горькие стихи «поэтов бедности», которых ни одна литература не насчитает столько, как английская, и мысль невольно останавливается на дорогой цене, которою покупается так называемое «промышленное величие» народов...

Oh God! that bread should be so dear,
And flesh and blood so cheap! [2]

---

[1] Счастливо! *(нем.)*

[2] Господи! что это — как дорог хлеб и как дешевы людское тело и кровь! *Томас Гуд (англ.; прим. М. Л. Михайлова).*

II
Сити

Будь я кровный английский джентльмен, чисто выбритый, приглаженный и с остроконечными воротничками в полщеки, живи я в среде безусловного уважения к кодексу десяти тысяч джентльменских церемоний или даже имей только поползновение быть знакомым с настоящими джентльменами,— репутация моя была бы сгублена навсегда. И заглянуть-то в этот грязный торговый омут, называемый лондонским Сити,— не джентльменское дело; а уж поселиться тут в гостинице — это все равно что навеки опозорить себя, навеки исключить свое имя из списка истинных джентльменов.

К счастию, я вовсе не джентльмен, бороды не брею, ношу воротнички à la Кавур (самые неприличные воротнички), хожу по воскресеньям в театр и даже в трактиры, генеалогии своей не знаю; притом же я — foreigner, иностранец. Стало быть, мне можно было удовлетворить своему желанию — прожить несколько дней в самой шумной, самой деятельной и самой характеристической части Лондона. Foreigner мог бы еще и не то себе позволить и никого бы не удивил. На то он foreigner. Это почти бранное слово у англичан, как у древних греков было слово «варвар». Foreigner не может иметь ни порядочных манер, ни приличного обращения (в особенности француз, foreigner по преимуществу), следовательно, и жить может где угодно.

— Где вы живете?

— В Ironmonger lane, Cheapside, City.

Это совершенно равняется такому вопросу и такому ответу:

— Где вы остановились?

— В Щербаковом переулке.

Вся разница между петербургским и лондонским Щербаковыми переулками в чистоте тротуаров и мостовых и в высоте домов; шириною они поспорят друг с другом.

Будь Ironmonger lane грязен, шумен и вечно полон прохожими и проезжими, тут бы никто не решился выстроить гостиницу. Место гостиницы должно быть спокойное,

тихое; в улице не должно быть ни лавки, ни магазина, которые бы привлекали толпы народа. Иначе кто же остановится в гостинице?

Всем этим условиям переулок вполне удовлетворяет, и вот в нем воздвиглась, рядом с башнею какой-то скромной церкви, громадная гостиница, с несколькими сотнями нумеров и с вечным приливом и отливом постояльцев.

Английские гостиницы вовсе непохожи на французские и немецкие. Комната, отводимая вам, не представляет тех удобств, к каким приучили вас континентальные отели. Предполагается, что в гостинице человек остается два-три дня; зачем же ему иные удобства, кроме хорошей постели? И действительно, все в комнате устроено, только чтобы в ней ночевать, а уж никак не сидеть днем. Главное место занимает монументальных размеров кровать, которая в Германии могла бы прослыть за четыре постели — по десять грошей каждая. Над нею соразмерной величины балдахин; четыре толстые столба поднимают чуть не под самый потолок его четыреугольный плафон. Кроме того, в комнате, разумеется, есть умывальный стол, комод и туалет с зеркалом; но больше уж ничего не требуйте! Кресло к камину есть уже роскошь. Вы можете посидеть перед огнем и на стуле, если зажигаете огонь вечером. Столика к постели тоже не спрашивайте. Как необтесанный foreigner, вы усвоили себе вредную привычку читать на сон грядущий: отвыкайте от нее в стране здоровья и комфорта. Притом к монументальной постели, данной вам, и стол нужен монументальный; он только лишнее место займет. Не вздумайте также расположиться писать в нумере. Разве вы отличаетесь способностью превращать в письменный стол доску над камином и возите с собой чернильницу, песочницу и прочие так называемые канцелярские припасы... Ну тогда другое дело!.. По континентальной привычке, вы, пожалуй, захотите и завтракать у себя в комнате и гостя тут принять. Гость придет к вам только разве нетуземный, такой же, как вы, foreigner. Коридорная девушка, если вы скажете ей принести вам кофе, откроет глаза так широко, с таким изумлением воскликнет: Up stairs? Impossible! (Наверх? Не может быть!), что вы разом почувствуете, как неприлично ваше требование.

Только семейному человеку, с женой, с детьми, позволяется считать свой нумер не только спальней, но и сидеть там и обедать. Зато он должен занять уже не одну, а две ком-

наты: спальню и гостиную, sitting room, или целый apartment[1].

Для одинокого человека есть в гостинице общий кабинет, общая столовая, общая гостиная. Вы встаете с постели, умываетесь, одеваетесь и идете по коридорам и лестницам ослепительной чистоты, по полам, обитым блестящею клеенкой, вниз, в первый этаж. Против большой двустворчатой двери в общую залу целая стена, выходящая на лестницу, занята раздвижными рамами со стеклами, за которыми вы видите всю администрацию гостиницы. Белокурые мисс ведут там счеты в громадных фолиантах, вынимают из-под прессов и складывают высокими стопами снежнобелые салфетки и скатерти, считают тарелки, чашки и блюдечки, гремят грудами ложек, ножей и вилок, отдают приказания, расставляют на блестящих подносах приборы, которые принимают в створы огромного окна лакеи бесстрастного вида в черных фраках и белых галстуках, с салфетками в петлице. Тут только встречаете вы мужскую прислугу, которой не увидите ни в вашей спальне, ни в коридоре, куда выходит ваш нумер. Вдоль всей стены, за окнами, тянется широкий прилавок. Слева рама немного отодвинута, и на прилавке разложены письма, телеграфические депеши, визитные карточки. Каждый жилец гостиницы, отправляясь в высшую залу из дому или возвращаясь домой, подходит к прилавку, пересматривает адресы и берет свои письма. Платить ему ничего не приходится, потому что англичанин считает верхом неприличия нефранкировать своих писем. Разве какому-нибудь foreigner'у придется рассчитаться с одною из белокурых мисс за письмо с континента. Не смо́трите вы каждый раз, проходя мимо прилавка, нет ли к вам письма, письмо может пролежать тут бог знает сколько времени. В нумер к вам его не принесут: ведь во всем доме нет человека, который бы знал ваше имя; никто не спрашивал у вас ни паспорта, ни визитной карточки: никому нет дела, кто вы такой, откуда и зачем; вам не приносят, как в Германии, разграфленной книги, чтобы вы расписались в ней во всех своих чинах и должностях, сказали, где родились, чем занимаетесь, какой у вас Stand und Charakter;[2] не несут вашего паспорта в полицию и не выдают вам за известное число грошей вида на жительство, Aufen-

---

[1] квартиру (*англ.*).
[2] положение и чин (*нем.*).

talts-Karte, хотя бы вы оставались в городе всего два-три дня. Для хозяев и прислуги отеля вы просто № 98 или № 116, и этого довольно. Рядом с окном в «присутствие» гостиницы на другой стене другое окно — в кухне. Оно красиво убрано связками зелени, повешенными за ноги зайцами, курами и разною дичью, большими распластанными рыбами на блюдах и маленькими живыми рыбками в наполненных водою вазах.

Вы взяли с прилавка письмо на ваше имя, слуга распахнул перед вами дверь в общую залу и спрашивает, чего вы хотите: чаю или кофе. Общая зала никогда не бывает пуста, тем менее утром, когда надо позавтракать, прочесть газету, письмо, написать ответ. За длинным, покрытым белою скатертью столом посредине комнаты потребляется черный чай, холодный ростбиф, клейкие пудинги, пироги с телятиной, пироги с яблоками и проч., хотя всего восемь часов утра. Кто в ожидании завтрака, кто позавтракав, несколько человек стоят и сидят у огромного камина, в котором на ярко пылающем смолистом угле легко бы можно было устроить классический вокальный концерт трех отроков. У редкого из всех этих господ нет в руках газеты. Нумера «Times»'а разобраны по четырем рукам: кому нужны парламентские прения, кому торговые объявления, кому известия о театрах и всякого рода зрелищах, кому о бирже, и, единожды разлучившись, четыре листа газеты уже не соединяются во все продолжение дня. Тут же у камина один из постояльцев беседует с ранним гостем. Вдоль стены у окон стоят письменные столы с большими свинцовыми чернильницами и песочницами, с белой бумагой и конвертами всех форматов, и за каждым столом наверное сидит хоть один господин, торопливо строча деловое письмо, сводя счеты или делая какие-нибудь выкладки. Чтобы отправить письмо, не нужно делать шагу из дому; почти у самой двери общей залы, в стене лестницы, утвержден ящик для писем, и в известный час дня почталион придет отпереть его и вынуть письма для разноски и рассылки по принадлежности.

С непривычки к лондонскому воздуху, первое, что вы почувствуете, проснувшись в первый раз в своем нумере, это запах каменного угля; первое, что поразит вас, это серый угольный колорит вашей комнаты. Вам кажется, что вы угорите, если уж не угорели, и хочется дохнуть воздухом посвежее. Не думайте, что всему виной теснота вашей спальни. В большой общей зале так же серо и так же пах-

нет углем; дальние углы комнаты будто в дыму, точно тут много курили и курево не успело еще все вылететь в окна. А между тем курить тут не позволяется. И не только тут, даже проходя из своего нумера по лестнице на улицу с зажженною сигарой, вы можете встретить недовольный взгляд одной из мисс за прилавком. Вам ничего не скажут, но меж собой, вероятно, заметят: «Какой неприличный господин! верно иностранец». Не думайте, впрочем, чтобы прилично было курить и на улицах Сити. Это позволительно разве на крыше омнибусов. Англичане как будто боятся, чтобы табачный дым не омрачил их ясной атмосферы. Пусть около самого окна вашей комнаты будет жерло дымовой трубы, с утра до вечера наполняющей вашу комнату чадом и копотью,— это ничего; но легкий запах табаку в ней — это совсем неприлично; shocking! shocking!

На обратном пути из Лондона, в Фокстоне, я переночевал в гостинице, где на всех стенах красовались объявления, что курить нельзя даже и в своем собственном нумере, что на то есть особое место — smoking room, курильная комната.

Еще одна особенность английских гостиниц. Континентальный путешественник привык к печатным предостережениям в отелях беречь свои вещи и запирать, когда уходит, свою комнату. Напуганный описаниями лондонских мошенничеств, приезжий прежде всего поражается отсутствием ключа в своей двери.

— Где же ключ? — спрашивает он у коридорной девушки,— я иду со двора.

— Ключа нет,— отвечает она равнодушно и уже хочет идти делать свое дело.

Но от напуганного путешественника не так-то скоро отделаешься. Притом если это француз, то станет еще горячиться, и придется успокоивать его.

— Как нет ключа? — спрашивает он,— так мне, значит, и уходить нельзя.

Девушка еще не вдруг понимает, чего хочет джентльмен.

— Вот задвижка,— объясняет она, входя в нумер: — когда джентльмен ложится спать, может запереть,— вот!

— Да я это знаю,— не отстает путешественник,— *отсюда* вот нет ключа, снаружи. Этак все у меня вытащат.

— Ключей не бывает,— отвечает девушка.— Джентльмен может запереть комод, чемодан; а дверь не надо. Ее следует отворить для воздуха.

— А унесут что-нибудь?

— Не бойтесь!

И служанка спокойно удаляется.

Путешественник все-таки боится, хотя и видит, что все двери отворены в коридор и что девушки то и дело спускаются по коридору, так что никакого рунда не нужно. Все это хорошо, но как же не смутиться мыслью: «Паспортов не спрашивают; дверей не запирают. Да это должен быть ад неурядицы!» В самом деле, то ли дело какое-нибудь благоустроенное германское государство, с прописками, с ключами! Впрочем, у меня особенно вышли из веры знаменитые немецкие качества: честность и аккуратность. В честном и скромном Карлсруэ, где так тщательно справляются о чине, имени и фамилии приезжего и так крепко запирают двери, ключ не помешал добрым людям обокрасть меня среди белого дня, в то время как я обедал в общей комнате. И это не единственный случай со мной в Германии, тогда как в мошенническом, беспаспортном Лондоне у меня не пропало ни одного медного пенни.

Переулок Ironmonger lane выходит одним концом своим на Чипсайд, шумнейшую и многолюднейшую из всех улиц Сити. «Посылайте в Лондон философов,— говорит Гейне в своих отрывках об Англии,— но, ради бога, не посылайте туда поэтов! Приведите туда философа и поставьте его на углу Чипсайда: он научится тут больше, чем из всех книг последней лейпцигской ярмарки; по мере того как вкруг него будут все шумней и шумней гудеть эти волны людей, целое море мыслей станет вскипать перед ним; вечный дух, витающий тут, обвеет его своим дыханием; самые сокровенные тайны общественного порядка внезапно откроются пред ним; он ясно услышит и увидит жизненный пульс мира... Если Лондон — правая рука мира, рука деятельная и могучая, то эту улицу, идущую от биржи к Downing-street'у, можно назвать большою артерией... Но не посылайте в Лондон поэта! Эта серьезность наличных денег, печать которой лежит на всем, это колоссальное однообразие, это громадное механическое движение, этот пасмурный вид самой веселости, этот эксцентрический Лондон душит воображение и терзает сердце; а приди вам в голову мысль послать туда поэта немецкого, мечтателя, останавливающегося перед малейшим явлением, например перед нищею в лохмотьях или перед блестящею лавкою золотых дел мастера — о! дело может кончиться плохо! Ему надают толчков со всех

сторон; а пожалуй, что и совсем свалят с ног с любезным «goddam»[1]. Goddam! проклятые толчки! Я скоро заметил, что у этого народа много дела. Он живет на большую ногу, и хотя пища и одежда у него дороже, чем у нас, он все-таки хочет и есть и одеваться лучше нашего. У него большие долги, как у всех порядочных людей, но это не мешает ему по временам чваниться и бросать за окно свои гинеи и платить другим народам, чтобы они занялись дракой, побоксировали для его личной потехи... Вот и выходит, что Джону Булю надо работать денно и нощно и добывать денег на подобные издержки; денно и нощно приходится ему истязать свой мозг и изобретать новые машины. Он сидит и считает в поте лица; он бегает, он летает, не обращая ни на что внимания, от пристани к бирже, от биржи на Странд, и наскочи он на углу Чипсайда на бедного немецкого поэта, стоящего на дороге и глазеющего перед магазином эстампов, очень простительно отбросить его не совсем ласково в сторону: «Goddam!»

Увы! это может случиться не с одним поэтом, но и со всяким приезжим в Лондон, хотя бы он не только не писал, но и не читал стихов. Только едва ли, побывавши в Париже, станешь глазеть в Лондоне на окна магазинов. Англичанин — мастер пустить пыль в глаза каким-нибудь чудовищным объявлением, какою-нибудь эксцентричной вывеской, но продать товар лицом, как француз, разложить его за зеркальными стеклами так артистически, чтобы каждая вещь выиграла втрое, вчетверо от постановки, от освещения, чтобы каждый прохожий поневоле застоялся перед окном,— этого англичанин не умеет. Напротив, он часто, точно нарочно, разложит все на окнах так, что хорошая вещь покажется плохою и богатый магазин вы примете за довольно скудный, тогда как в Париже дрянная лавчонка в Палерояле, которая все, что в ней есть, выложила на единственное свое окно, поневоле заставит вас остановиться перед этим окном, а часто и выбрать что-нибудь и купить. Как у англичан всесильны объявления, недаром занимающие половину газетных листов (а часто и больше), так у французов всесильны выставки, и в Париже есть артисты, существующие исключительно раскладкою вещей в окнах лавки. Несколько магазинов нанимают такого артиста, и он обязан каждое утро явиться, раскинуть пышным, радужным

[1] «проклятье» (*англ.*).

каскадом во всю ширину оконного стекла новые материи и ленты, составить роскошные букеты и гирлянды из искусственных цветов, с рассчитанной небрежностью нагромоздить груды серебряных и золотых вещей и проч. и проч. Понятно, что такой господин должен отличаться тонким вкусом.

Все это говорю я вовсе не с тем, чтобы бранить англичан за их любовь к простоте и хвалить французов за их пристрастие к наружному блеску. Я хотел только сказать, что в Лондоне вообще и на Чипсайде в особенности не засмотришься, как на парижских бульварах и больших улицах, на окна лавок. Если бурный поток людей собьет вас тут с ног, так верно вы остановились в созерцательном изумлении не перед картиной, выставленной в магазине эстампов, а перед живою картиной безустанного уличного движения.

Нигде это движение не поразит вас так, как на Лондонском мосту и по краям Чипсайда. В самом деле, у англичан, видно, много дела. Тротуары непроходимы для человека, идущего тихим шагом и глазеющего по сторонам. Надо бежать с этой занятой, молчаливой толпой, так спокойно и бесстрастно, без словечка извинения обделяющей всех встречных толчками в бок, толчками в спину и грудь. Зато никто тут и не ходит тихо — разве попадется бородатый foreigner, в первый раз прибывший в британскую метрополию, которому подальше следовало бы «для прогулок подальше выбрать закоулок...» Зато и достанется ему!.. Да еще попадется вам порою прямой, как аршин, хладнокровный господин с длинным лицом и рыжими бакенбардами, в лощеной шляпе, в длиннополом кафтане, перетянутый ремнем, или в однобортном застегнутом фраке с остроконечными узенькими фалдочками. Этому будто и горя мало, что все вокруг его мчится как угорелое. Он важен и медленно выступает, приостанавливается даже, приосанивается, поправляет ремень на поясе и с удивительным тактом избегает не только толчков, но и самого прикосновения прохожих. Но ведь это полисмен, и искусство лавировать в этом омуте приобретено им годами нытья боков и мозолей.

— Как мне пройти к банку?

— Все прямо, сэр,— отвечает он холодно, но в то же время, видя вашу чужестранную беспомощность, вежливо отстраняет от вас несущегося на всех парусах детину с ловко поставленным на плечо громадным деревянным ящиком,

острый угол которого, без предупредительности полицейского, наверное угодил бы вам в лоб.

Носильщики, идущие вам навстречу с тюками, коробами и ящиками, еще не так опасны, как те, что переносят разный товар из лавок к громадным фурам, стоящим около тротуара. Эти молодцы ломят прямо поперек волнующейся на тротуаре толпы, без оклика, без предостережения, и беда тут зазеваться. Но привычный глаз лондонского жителя видит, кажется, все и сквозь черную толпу: где нужно, он непременно наклонится, вильнет вбок, своротит с тротуара, наткнется тут, пожалуй, на медленно шагающего старика в рваной шляпе с доской на груди и с доской на спине, возвещающей крупными буквами о каком-нибудь спектакле, концерте, митинге, и останется-таки цел и невредим.

На каждых десяти шагах вам попадется на глаза такой старик с такими объявлениями. Черные буквы на белой бумаге так ярки, что вы и на лету невольно прочтете, что нужно. И какая хитрая выдумка, что у старика и спереди и сзади афиша! И встречный прочтет, и кто обгонит прочтет. За шиллинг и за шиллинг с двумя-тремя пенсами всегда найдется желающий прогуливаться целый день в такой афишечной броне по улице, вдоль тротуара, потому что на самом тротуаре собственно прогулки для прогулок, как вы знаете, совершенно невозможны.

Не думайте, что в известную улицу, где много проезжих и прохожих, отряжается один такой объявитель. Что̀ значит прочитать объявление один раз? Надо, чтобы оно намозолило вам глаза. И вот — вы идете по улице и прочитали раз на груди старика, положим, хоть вот что: «St.-James's Hall — m. Wieniawsky — tonight»[1], или: «Madame Tussaud — count de Montalembert»[2]. Вы, может быть, и забыли бы, что́ прочитали; но немного погодя у вас опять перед глазами имена Венявского и графа Монталамбера, немного погодя опять и опять, и почем знать, может быть, дойдя до конца улицы, вы заинтересуетесь ими и решитесь даже пойти в St.-James's Hall послушать, хорошо ли играет Венявский, или в кабинет восковых фигур г-жи Тюссо посмотреть, каков на вид граф Монталамбер, про которого всякий англичанин готов сказать: «Достойный человек! жаль, что foreigner!»

---

[1] «Зал Сент-Джемса — г-н Венявский — сегодня вечером» *(англ.)*.
[2] «Мадам Тюссо — граф Монталамбер» *(англ.)*.

Куда только не забираются объявления! От них нигде не спасешься. Они бросаются вам в глаза — на стенах домов, на временных заборах и загородках около новых построек, на потолках и стенах омнибусов, на холщовых покрышках и кожаных запонах громадных фур, развозящих товары из магазинов к их потребителям, под сводами туннеля, на стенах пароходов, на фонарных столбах, на больших досках, прислоненных к стенам, к крыльцам, в таинственных будочках, которые здесь, впрочем, редки и гораздо скромнее парижских, и даже на арках мостов!.. Проезжая на лодке или на пароходе под мостом, вы, может быть, вздумаете взглянуть вверх, на темный свод моста. Надо, чтобы любопытство ваше не пропало даром и вы узнали, что там-то есть склад каменного угля или что там-то можно запастись за дешевую цену готовым платьем.

Кроме стариков с афишами на груди и за спиной, тоже чуть не на каждых десяти шагах, под прикрытием домового угла или подъезда к магазину, стоят довольно оборванные джентльмены с пачками объявлений в руках. Они только показывают вам пачку и лишь тогда подадут вам листок, когда вы сами протянете за ними руку, а не суют вам его под нос, как в Париже. Здесь это и неудобно бы было: того и гляди нос расквасишь, глаз подобьешь или зубы вышибешь. Все так торопятся! Вечером, чтобы его не упустили из виду, оборванный джентльмен наденет на голову высокую шляпу из цветной проклеенной бумаги, прилепит к темени восковой огарок, зажжет его и осветит изнутри шляпу. Оно и красиво, и оригинально, и целесообразно, zweckmäßig, как говорят немцы.

Иногда объявления делаются с большою торжественностью: воздвигаются небывалого вида экипажи с транспарантами со всех сторон, движущиеся пирамиды, снаряжаются целые процессии со знаменами и вывесками на длинных шестах. Иногда все берется криком и скандалом.

Раз, когда я уже переехал из Сити и поселился в тихом приюте у Россель-Сквера, мирный квартал наш был смущен ночью оглушительными, исступленными криками. Было уже часов одиннадцать; дождь лил как из ведра; фонари чуть мерцали в темной улице. Весь дом у нас переполошился. Человек пять-шесть выбежало на крыльцо, забыв захватить зонтики. Крики продолжались все с большей и большей энергией. Порой они переходили в какие-то раз-

дирательные вопли, и можно было подумать, что на улице происходит резня. Стюард наш помчался узнавать, что случилось. Между тем в воплях и криках и сами мы начали различать слова:

— Great revolution in Paris! great revolution in Paris! (Большая революция в Париже!)

Я уж и поверил было и решил с первым поездом и с первым пароходом ехать в Париж посмотреть на great revolution; но листы какого-то «Herald»'а или «Star»'а, купленные нами у крикунов за двойную цену, скоро успокоили мое волнение. Даже слова-то revolution в них ни разу не встречалось!

Продавцы между тем, как ни в чем не бывало, продолжали вопить в источный голос, смущая мирных жителей Montegu Place'a:

— Great revolution in Paris!

Не меньшего крику наслушался я раз на аукционе картин в Сити, в лавке около св. Павла.

Крикун, стоявший у дверей, чуть не насильно впихнул меня в лавку. Там стон стоял. Человек десять толпилось перед возвышенным столом, за которым сидел с молотком купец; от всех разило водкой, и они не жалели горла. Картина, из-за которой шел этот крик, годилась бы разве на цирюльную вывеску на Пески или на Петербургскую сторону.

— Три фунта!

— Сорок фунтов!

— Сто фунтов!

— Сто один фунт! За мной!

— За вами, сэр! Сто один фунт!

Молоток ударил об стол, но в одно время с этим ударом раздался резкий крик:

— Сто два фунта! За мной! За мной картина!

— Нет, за мной! сто один фунт! вы сказали после последнего удара.

— Нет, за мной!

— Нет, за мной! Я не позволю.

Крики усиливаются; покупщики налетают друг на друга с кулаками; того и жди начнут боксировать. Все остальные разделяются на партии — одни становятся на сторону одного, другие на сторону другого, и остается только зажать уши и бежать вон.

Нечего, я думаю, и объяснять, что все это комедия, и комедия очень грубая. Но, видно, есть простаки, которые и на эту удочку попадаются; иначе зачем бы надрывать грудь?

Здоровую грудь надо иметь здесь и кондукторам омнибусов. Стоя на неровной доске запяток и оборачиваясь то в ту, то в другую сторону, каждый возглашает главный пункт, куда едет омнибус, и имена всех мест и улиц по дороге. На Чипсайде и на других многолюдных улицах, где между экипажами яблоку негде упасть, кондукторы только и ограничиваются криком да подыманьем кверху руки; но только что подъезжают к углу площади или к менее людной улице, они быстро соскакивают со своих запяток и кричат еще в ухо чуть не каждому прохожему, куда едут, а подчас и силой тащат его в свой ковчег, понимая каким-то инстинктом, что человек действительно рассчитывал, не сесть ли ему в омнибус.

Меня немало удивляла эта неусыпная забота кондукторов об интересах своих хозяев. Я думаю, не пользуются ли они каким-нибудь процентом с каждого пассажира.

— Может быть, и пользуются,— заметил мне один из моих спутников в омнибусе, когда я выразил ему свое удивление.— А главное, я думаю, вот что: так у них запятки устроены.

— Как запятки?

— Да, скверно запятки устроены. Стоять нельзя долго.

— Так что ж из этого?

— Как что? Помилуйте! Часто проминаться надо. Сесть ему тут негде; а все стоять — ноги отстоишь.

— Я, признаюсь, все-таки не понимаю.

— Устанет стоять, соскочит промяться; не просто же ему гулять. Это будет иметь вид, как будто человек не исполняет своей обязанности. Вот он и зазывает встречных и поперечных.

Пожалуй, что это и правда. Даже когда омнибус полон, когда в нем и на нем полный комплект пассажиров — девятнадцать человек (не считая кондуктора и кучера), кондуктор часто соскакивает с своих неудобных запяток и бежит петушком сзади, если в улице не тесно. И не то чтобы ему нужно было подтормозить колеса, что требуется в некоторых местах, или разменять серебро на медь у уличного мальчишки; нет,— так бежит, проминается. Искательный и

вежливый во всякое другое время, он тут чуть не обидится, если вы, не замечая, что омнибус полон, начнете кричать ему: «Bus! bus!» (что значит в сокращении: omnibus). Может случиться, что он и крепкое словцо ввернет, если вы уж очень неотвязчивы.

Куда едет омнибус, кондуктору можно бы и не кричать. Главные пункты, между которыми он ходит, написаны на нем такими крупными и четкими буквами, что издали видно, и притом написаны несколько раз: во-первых, с обеих сторон на самом корпусе этого громадного ящика,— потом на обеих сторонах длинной жестяной доски, укрепленной высоко над его крышей, посреди скамеек для воздушных пассажиров, потом на двери сзади, в которую входят и выходят пассажиры; потом на черном запоне (тут белыми буквами), которым кучер и сидящие около него на козлах пассажиры закрывают себе ноги от пыли или дождя. Кроме того, и все побочные улицы, куда может завезти вас омнибус, значатся на нем, и цены за поездку, доведенные до баснословной дешевизны.

Лондонскому старожилу, не имеющему своего экипажа и разъезжающему в общественных каретах, не нужно и надписей. Он узнает по цвету, каким окрашен омнибус, куда он едет, тогда как приезжего скорее собьет с толку это разнообразие цветов.

Форма у всех омнибусов одна — это продолговатый четыреугольный ящик, выкрашенный под лак зеленой, белой или желтой краской, с окнами по обеим длинным сторонам, с каретной дверью сзади, с узкой дощечкой около нее, на которой трясется кондуктор, показывая свою голову пассажирам на крыше и только ноги пассажирам в самой карете. Немного сзади кучерских козел и немного пониже — еще козлы, где тоже помещаются пассажиры и не редкость увидать даже даму. И вся эта громада с двумя десятками путников при первом крике кондуктора: «Au right!»[1] уносится довольно быстро парою лошадей; правда, лошади огромные и напоминают своими мускулами и широкими костями времена допотопные, но все-таки должно быть тяжело для них везти эту громаду.

Один за другим, один за другим, справа налево и слева направо движутся по улице эти громадные ковчеги, превы-

---

[1] «Все в порядке!», здесь: «Трогай!» *(англ.)*

шая все остальные экипажи. Пассажир на крыше с сигарой во рту или с коротенькой трубочкой смотрит равнодушно на волнующееся с обеих сторон, впереди и сзади его, людское море и даже подсмеивается подчас над паническим страхом пешехода, перебегающего улицу.

По-моему, не смеяться, а скорее удивляться следует отваге и решимости человека — перейти с одного тротуара на другой посреди этой давки. На перекрестках и площадях такие переходы хоть немного облегчены. Там около фонарных столбов посредине несколько поднята мостовая, так что колеса экипажей не могут вскатываться на нее. Угрожаемый дышлом с одной стороны и оглоблями с другой, пешеход кидается на этот остров спасения и в безопасности выжидает минуты пуститься сначала хоть до другого такого острова, а потом и дальше, на самый тротуар.

Такого множества омнибусов, как на Чипсайде, не встретишь нигде. Это и понятно: Чипсайд выходит к банку и бирже, центру их отправления. Из других экипажей с омнибусами могут поспорить только страшные фуры, в которых рассылают свои товары по всем частям города разные торговые дома. И этих фур здесь больше чем где-нибудь, потому что главные складочные места, оптовые магазины и проч.— большею частью все в Сити. Обыкновенно эти фуры обтянуты со всех сторон или парусиной, или лощеным холстом; на запонах этих буквами в пол-аршина написаны адрес купца или депо, которому принадлежит фура, и название товара, который в них развозится. И холст и буквы, разумеется, всех возможных цветов — и желтые, и черные, и красные.

Между омнибусами и фурами теснятся не столь большие, но столь же пестрые возы булочников, мясников, торговцев рыбой и зеленью. Все эти подвижные лавки тоже украшены огромными всех цветов надписями, потому что без надписи следовало бы за экипаж заплатить пошлину как за предмет роскоши, которою здесь никто не пользуется безнаказанно. Между надписями невольно бросятся в глаза крупные слова: Dogs and cats meat[1]. Даже продавец объедков для собак и кошек имеет в Лондоне средства разъезжать в такой красивой фуре.

---

[1] *Мясо для собак и кошек (англ.).*

Всю эту пестроту в середине улицы оттеняют черные кебы, четырехколесные кареты и hansom'ы, двухколесные крытые кабриолеты с кучером на запятках, пробирающиеся с большою ловкостью в промежутках огромных фур и омнибусов.

Кучера незанятых кебов еще издали показывают вам кулак, подымая руку кверху. Глядя на их красные, налившиеся джином и портером лица, невольно подумаешь, что каждый из них не прочь сшибить вам очки и разбить кулаком нос, как это случилось с знаменитым Пикквиком. Положим, этого не случится, но уж наверное можно сказать, что каждый извозчик сдерет с вас вдвое против таксы. Вы проехали милю, он станет вас уверять, что вы проехали две, если две — четыре, и так далее, непременно вдвое.

Лондонские жители умеют толковать с извозчиками, знают в точности расстояния, припугнут при случае полицией; но приезжему некогда приноровиться, и ему приходится долго торговаться, перед тем как сесть в разваливающуюся карету или животрепещущий кабриолет. Спасибо хоть и за то, что ездят они скорее, чем французские и немецкие извозчики. Впрочем, иначе и невозможно при громадных лондонских расстояниях: и то никуда вовремя не поспеешь.

Суета на улице кажется еще суетливее, еще страшнее для непривычного глаза от серого тумана и чада, который и тут, как на Темзе, облекает все предметы. Этот туман томит вас постоянно, и беспрестанно мучит вас мысль: «Да когда же проглянет солнце? да скоро ли же рассеется туман?» Солнце и проглянет, пожалуй, и скользнет вдали по куполу св. Павла, по золотым литерам высоко прибитой вывески; но взгляд его так мимолетен, так бессилен, что в вас начинает только сильнее и сильнее кипеть досада.

Туман придает еще более жалкий вид жалким оборванцам в черных лохмотьях, стоящим местами перед окнами магазинов и, вероятно, с большой завистью рассматривающим выставленные там богатства. Говоря о движении на тротуарах, я забыл об этих единственных фланёрах Сити, которым нечего делать, да зато и есть нечего. Голодные и томимые жаждой, они с особенным вниманием читают налепленные на окнах таверн и dining-rooms[1] исчисления приготовленных

---

[1] столовых *(англ.)*.

в этот день супов и других кушаний и жадно смотрят на разложенные тут съестные припасы. Словно на смех над этим оборванным и испитым народом, которого здесь больше, чем где-либо в Лондоне, и самые-то улицы носят тут названия съестных припасов:[1] Poultry, Bread-street, Milk-street[2].

По Чипсайду вы можете судить и о других больших улицах Сити. Вся разница лишь в несколько меньшей толкотне.

Глядя на шумное их движение, забываешь обратить внимание и на то, какими домами они обстроены. Впрочем, дома почти сверху донизу покрыты вывесками, а из-за вывесок глядят черные, закоптелые кирпичи. Кой-где попадаются такие же черные и закоптелые колонны, ни к селу ни к городу; кой-где притязания на архитектурную игривость, на изящество, но самого изящества нечего искать.

Я говорю, конечно, лишь об общем характере улиц. У Сити есть и монументальная красота. Ведь и собор св. Павла в Сити.

---

[1] Как не вспомнить известных стихов:
Onward, onward, with hasty feet
They swarm — and westward still —
Masses born to drink and eat,
But starving amidst Whitechapel's meat,
And famishing down Cornhill!
Through the Poultry — but still unfed —
Christian Charity, hang your head!
Hungry — passing the street of Bread;
Thirsty — the street of Milk;
Ragged — beside the Ludgate Mart,
So gorgeous, through Mechanic-Art,
With cotton, and wool, and silk!

[Вперед, вперед торопливыми шагами
Они бредут толпой — и всё на запад —
Массы, рожденные, чтобы пить и есть,
Но умирающие с голоду среди мяса Уайтчепела
И голодающие у Пшеничного холма!
Идут по Птичьей улице — но все же голодные,
Христианская Благотворительность, поникни головой!
Алчущие проходят по Хлебной улице,
Жаждущие по Молочной улице,
В лохмотьях — мимо рынка Лэдгейт,
Столь обильному благодаря механическому искусству
Хлопком, шерстью и шелком!] (*англ.*, *прим. М. Л. Михайлова*).

[2] Птичья улица, Хлебная улица, Молочная улица (*англ.*).

III
МОНУМЕНТАЛЬНЫЙ ЛОНДОН

Чтобы видеть монументальную сторону Лондона, надо отправиться бродить по улицам его в воскресенье, когда британская столица сдерживает на двадцать четыре часа свою неугомонную суету и предается официальному умилению.

Все, чего вы не замечали и прежде, развлекаясь шумом и гамом со всех сторон, можно вам осмотреть теперь совершенно спокойно. Останавливаться на тротуарах уже не опасно; переходить через улицу — тоже. Правда, омнибусы не прекращают своего движения, кебы тоже снуют по улицам очень усердно; но езда их как будто скромнее, как будто менее гремят колеса, не так громко кричат кондукторы, под стать бесстрастно-спокойным лицам своих пассажиров. Тротуаров и совсем не узнаешь. Где эта озабоченная толпа, бегущая куда-то стремглав, сбивающая вас с ног, как прорвавший плотину поток? Все идут так тихо, таким ровным и мирным шагом; и без того длинные лица стали как будто еще угловатее. Подумаешь, что все, кто ни идет по улице, отправляются на похороны. Как раз кстати то там, то сям дребезжат траурные, обитые черным сукном кареты, которых не встретишь в будни: кучерà, с обмотанными вокруг черных круглых шляп белыми полотенцами, качаются на высоких кòзлах; лакеи в черных ливреях, с такими же белыми полотенцами на шляпах, трясутся на высоких запятках; сквозь каретные стекла виднеются траурные платья леди и джентльменов. Как не сочувствовать печали этих леди и джентльменов, когда, кажется, весь город сочувствует? Ну, не похоронные ли лица везде, направо, налево, спереди, сзади? Вот даже круглолицый извозчик, красный от водки, как вареный рак, как будто отирает слезу. Может быть, это капля пота, капля тумана; но тем не менее он ее отирает грязным клетчатым платком, и это немало способствует общему впечатлению унылой картины. И туман кажется в воскресенье гуще, и угольный чад серее, и темные кирпичные стены домов чернее; окна и двери магазинов и лавок так плотно закрыты; черные ставни так черны, и белые буквы надписей на них так белы! Траур, совершенный траур!

И какой заунывный звон стонет над всем городом! Надо, вероятно, с детства наслушаться этих колоколов, чтобы

находить в их странном, похожем на рявканье, отрывистом звуке нечто поэтическое, как находит Диккенс, и конечно не один Диккенс. Воскресный звон, как и самое воскресенье, должны быть, впрочем, очень приятны для богатого англичанина, окруженного дома комфортом и отдыхающего от треволненных будничных дней. Если притом ипокризия вошла уже в плоть и кровь, то предаваться заказному благоговению и питать свой ум чтением назидательных книг, чтобы завтра, в будни, с удвоенной энергией заняться эксплуатацией ближнего и преимущественно нищей братии, должно делать из мирного воскресного дня истинный праздник для всякого почтенного негоцианта, для всякого филантропического лорда. Я уверен, что даже Барнум, читающий по будням публичные лекции о надуванье ближних и об искусстве набивать карман, просветляется душой в воскресное утро, берет в руки вместо бумажника небольшую книжечку в красном сафьянном переплете с золотым обрезом и идет в свой приход. Нельзя поручиться даже, что он не даст старого, стертого, как солдатская пуговица, пенни жалкому старику в лохмотном пальто, продранных сапогах и проломленной шляпе, или босоногому грязному мальчику в печальных отрепьях,— с голой грудью, подставленной сырому ветру,— или злосчастной салопнице, которые стоят на всех перекрестках с метлами в руках и разметают грязь на улице для умиленных пилигримов и пилигримок. Как известно, для того чтобы предаваться воскресному умилению, надо быть в чистых сапогах и башмаках. Грязь может оставаться разве где-нибудь в темных закоулках, в сердце, например, в каком-нибудь уголке мозга. Вы можете, пожалуй, удобно сидя с золотообрезной книжечкой, рассчитывать, как бы понизить фабричную заработную плату, как бы отнять у несчастного работника лишний час отдыха и т. п.; все это не касается нравственности и не наносит ей никакой обиды. Но ходить в грязных сапогах, это — shocking! Прелестное, непереводимое словечко, стóящее французской цензуры и китайского свода общественных приличий. Лица разметальщиков и разметальщиц уличной грязи едва ли не самые ясные и приветливые лица из всех встречаемых вами на улицах в воскресное утро. Народ идет, всё так празднично, так человеколюбиво настроенный, всё с сафьянными книжечками, и редкий из благоговейных прохожих не захватил двух-трех пенсов для нищей братии. Оттого так ласково улыбается и так уверенно подставляет сложенную наподо-

бие ложки руку трясущийся старикашка на углу сквера; оттого так приветливо приседает середь грязи сухая старушонка в шляпке времен первой французской империи, занимающаяся обметаньем перехода через улицу; оттого с такою истинно танцмейстерской ловкостью скачут перед вами задом, размахивая в обе стороны метлой, чуть не во всю длину площади, голенастые мальчуганы. «Милостивые джентльмены! один пенни бедному мальчику!» Эти слова, сопровождаемые ловкими пируэтами, звучат на этот раз гораздо веселее, чем в будни...

Зато далеко не так хорошо, как в будни, идут в воскресенье дела у мальчиков, вырастающих словно из земли перед каждым прохожим, вынимающим из кармана сигару. Обыкновенно вы не успеете откусить у сигары конца или даже и вынуть ее из сигарочницы, как с обеих сторон перед вами машут голыми по локоть руками грязные мальчишки: у каждого шипит в руках благовонный трут или душистая, не гаснущая на воздухе спичка. Закуривайте сигару и доставайте пенни! Доставайте, впрочем, пожалуй, хоть шиллинг: мальчик вам разменяет. У кондукторов омнибусов, которым так нужны мелкие деньги, нет других менял во время езды. Кондуктору стоит мигнуть, чтобы такой меняла ухватился с цепкостью векши за его запятки и разменял на медь его серебро. Может, он даже и за промен возьмет: почем знать? В Лондоне услуги не оказываются даром. В воскресные дни, впрочем, едва ли продавцы спичек и труту так богаты, чтобы получать проценты со своих капиталов. Прохожие, у которых бывают лишние пенсы, направляются на этот раз в церковь; в руках у них молитвенники, а не сигарочницы. Разве какой-нибудь foreigner ходит, не зная куда деться, по опустевшим (сравнительно) и безжизненным улицам, и вооружается с горя сигарой. Зато от мальчишек ему нет отбою.

Если этот foreigner вышел осматривать город, ему следовало бы, разумеется, начать обозрение достопримечательностей с собора св. Павла, взобраться на самую вышку — взглянуть на живую панораму Лондона и опуститься в подземелье — посмотреть на могилу Веллингтона. Положим, Веллингтона можно и пропустить, но как же не видать Лондона «с птичьего полета», à vol d'oiseau? И чем же лучше начать обзор? Как, приехав в Париж, прежде всего взбираются на Notre-Dame[1], на Пантеон, в Москве — на Ивана

[1] Собор парижской богоматери (*франц.*).

Великого, чтобы иметь понятие об общем впечатлении города, так здесь роль Notre-Dame и Ивана Великого играет св. Павел. Но любознательный путешественник, начинающий свои странствия по городу в воскресенье, может осматривать знаменитый собор только снаружи, если не хочет оказаться нарушителем общего благоговения. По воскресеньям ходят в церковь молиться, осматривать же надо идти в понедельник, во вторник, одним словом в будни. Собор св. Павла считается англичанами чуть ли не равным по величию (не по величине) и красоте римскому собору Петра; знатоки дела говорят, однако ж, что первому так же далеко до последнего, как подражанию до оригинала. Знатокам и книги в руки; но тем не менее лондонский собор — здание грандиозное, прекрасное, даже независимо от его громадных размеров, которые играют такую важную роль в его оценке. Одно убавляет у него впечатления на зрителя: это то, что он воздвигнут не на широкой и, пожалуй, возвышенной площади, где глаз мог бы обнимать его во всей целости, а не по частям, которые потом приходится соединять в уме. Готическим соборам, по моему мнению, не так вредит теснота: только бы главный фас был открыт. Мелочь орнаментов, тонкие и хрупкие линии пропадали бы на широкой площади, как пропадает на тесном пространстве гармония круглых куполов и колонн. Готическая архитектура хороша вблизи; классическим постройкам нужно некоторое отдаление для полноты впечатления. Точно ли классическое здание св. Павел,— мнения разделены; но едва ли кто-нибудь не согласится с тем, что постройки в греческом и итальянском вкусе не совсем под стать лондонскому небу и климату. И между тем нигде не встретите вы такого пристрастия к колоннам, к классическим фронтонам, как здесь. Англичане вообще не отличаются способностями к пластическим искусствам: у них и живопись, и ваяние, и архитектура—подражательные; они в этом случае руководствуются известным правилом: «Je prends mon bien partout, où je le trouve»[1]. Всегда ли они нападают именно на то, что им кстати, что для них ловко и удобно усвоить — это другой вопрос, редко разрешаемый в их пользу. Вот что говорит об английском архитектурном вкусе Виардо в своей прекрасной книге о лондонских музеях.

«Нет ничего хуже этого смешения родов, этого насильственного введения архитектуры одного климата в другой.

---

[1] «Я беру свое добро везде, где нахожу его» (*франц.*).

Англия вполне подтверждает эту слишком пренебрегаемую истину. Всеми, например, признано, что колонны — благороднейшая и прекраснейшая часть архитектуры. В Лондоне их употребляют с невероятной расточительностью, так что в ином приходе, в иной улице насчитаешь колонн больше, чем в целом Риме. Неужто думают, что они украшают и облагораживают город? Неужто думают, что эта куча капителей — дорических, ионических, коринфских, смешанных,— придают красу зданиям и домам? Вовсе нет; по-моему, нет ничего страннее и печальнее. Отчего? Оттого, что колонна в Лондоне — нелепость. Колонна, греческая или арабская, свойственна лишь странам, где она изобретена, востоку; она должна сохранить под темною синевой ясного неба белизну мрамора или алебастра. Но вообразите себе колонны кирпичные или чугунные, беспрестанно пачкаемые туманом, который покрывает их своей сыростью и дымом каменного угля, который льнет к ним и чернит их! Что может быть в них похожего на колонны Парфенона? Странный вид их произвел на меня сразу, с первого взгляда, неприятное впечатление; потом впечатление это утвердилось во мне, когда я увидел ясно физические причины, от которых они обезображены. Туман и дым, действуя на них соединенными силами, превращают их в совершенно черные спереди и оставляют лишь серыми сзади. Таким образом тень находится на первом плане, а свет на втором; иначе сказать, перед колонны как будто сзади, а зад как будто спереди. Это — полное извращение законов перспективы и законов света; это — чудовищность. Единственная архитектура, возможная в английском климате, это архитектура феодализма и средневековой веры: широкие башни, толстые стены, зубцы, подъемные мосты, или, пожалуй, высокие нефы, стрельчатые своды, теряющиеся в воздухе колокольни, одни словом — архитектура крепостей и церквей, Виндзора и Вестминстера. Но зодчество дворцов и храмов, легких сооружений, свойственных климату теплому и сухому, народу, привыкшему жить под открытым небом и греться лишь на солнце, такое зодчество, можно сказать,— совсем непозволительно англичанам. А между тем, за несколькими рассудительными исключениями, как, например, Penitentiary[1], Bedlam[2], Mint (монетный двор), даровая

---

[1] Исправительный дом *(англ.)*.
[2] Бедлам *(англ.)*.

школа Christ church, новый приют для слепых и др., все их общественные и частные здания представляют неловко замаскированные подражания зданиям юга. Так, колонеум есть неуклюжая копия с Пантеона Агриппы; так, собор св. Павла почти скопирован с римского собора св. Петра, так что за ним остается разве одно достоинство — громадность и крепость постройки; да и это достоинство — наружное; внутри же он совершенно гол, в нем нет ни мраморных полов, ни статуй, ни позолоты, ни мозаик, ни фресков, ни расписных окон. Это — протестантский храм с наружностью католической церкви».

Как ни громаден собор св. Павла теперь, он был еще громаднее до знаменитого лондонского пожара в 1666 году. С виду кажется, будто он простоял чуть не тысячелетие: так затемнила и зачернила его лондонская копоть. Лишь местами, как на бо́льшей части здешних зданий, сквозят обмытые дождем места, и издали серые стены и колонны представляются как будто покрытыми в некоторых частях снегом. На мой взгляд, эти просветы придают большую картинность массивным стенам св. Павла. Около этой громады довольно жалкий памятник королевы Анны, в короне и со скипетром в руках, кажется едва заметною кучкой. Тем не менее его непременно заметишь, как он ни жалок, потому что смотреть на собор можно только вблизи; нет такого пункта, откуда он виделся бы хоть сколько-нибудь сносно в целом. Хорошо еще, что он отгорожен от проезжей мостовой чугунной или железной решеткой, за которою помещалось, да едва ли не помещается и теперь кладбище; а то и того бы не увидать. Нижние этажи домов, окружающих площадь, все заняты магазинами, лавками, аукционами, пирожными и проч.; к площади сходятся, как к центру, многолюдные улицы, и вокруг собора постоянная езда и толкотня.

Внутренность собора действительно очень пустынна и замечательна только громадностью размеров; но на отсутствие статуй нельзя пожаловаться. Если Виардо в отрывке, который я привел, разумеет статуи на алтарях, как в церквах католических, то он прав; но зато вокруг стен белеют разные фантастические и не фантастические изваяния — всё памятники разным знаменитостям, преимущественно морским и военным. Все они из белого мрамора и от пыли и копоти, лежащих на них, издали отливают как атлас. Трудно вообразить что-нибудь более безвкусное, топорное

и бездарное: Венеры и Флоры нашего Летнего сада перед ними — перлы грации и художественности. Любопытнее всего то, что многие генералы, память которых увековечена тут, изображены совсем по-классически,«в голом одеянии», как выражался один губернский маляр. Тут какой-то воин, во всей откровенности Аполлона Бельведерского, сваливается с лошади, и богиня победы подает ему венок; в другом углу другой герой умирает сам в полной форме, но зато, умирая, опускается на руки обнаженной мужской фигуры, в которой художник хотел представить, разумеется, не банщика, как можно подумать с первого разу, а аллегорическое олицетворение доблести покойного, его valour. Даже почтенный лексикограф Самуил Джонсон — и тот выглядывает настоящим купидоном из-под классической тоги. Без аллегорических групп нет почти ни одного памятника: везде слава или победа с лавровыми венками, Британия в виде богини, британский лев. На одном памятнике Британия плачет над убитым героем, на другом показывает британским юношам, как на пример воинских доблестей, на геройского сына своего. Этим последним действием занимается она, между прочим, на монументе Нельсона. Имя трафальгарского героя — единственное имя, остающееся в памяти после обзора этих, чуть ли не сорока, памятников в честь разных славных героев на суше и на море. Да разве еще имя генерала сэра Джона Мура вспомнишь — не по его военным подвигам, а по знаменитой оде Вольфа на смерть его, без которой не обходится ни одна английская хрестоматия и которая всем известна и у нас по удачному переводу Козлова...

Не бил барабан перед смутным полком,
    Когда мы вождя хоронили,
И труп не с ружейным прощальным огнем
    Мы в недра земли опустили...
                                        и проч.

В число генералов, адмиралов и прочих военных чинов, из мирной области гражданских дел, науки и искусства замешались, кажется, только трое: доктор Джонсон, Джошуа Рейнольдс да Джон Говард. И знаменитый живописец и великий филантроп изображены не так нескромно, как ученый грамматик: оба в одежде, по которой, однако ж, можно подумать, что Рейнольдс был ученым юристом, а Говард — римским сенатором.

Едва успели вы приподнять тяжелую портьеру у входных дверей в собор, как перед вами является развязный джентльмен с предложением показать все достопримечательности. Опытный глаз его узнает сразу, что вы пришли в собор впервые и хотите осмотреть его. Сам он не пойдет провожать вас: его специальность не проглядеть ни одного любопытного у входа в собор и снабдить его за известное число шиллингов и сикс-пенсов билетами. Чтобы видеть в соборе решительно все, от маковки до подвала, надо пожертвовать с лишком три шиллинга. Куда бы вы ни шли в Лондон, шиллинг за обозрение обыкновенная цена; но это так только кажется, что шиллинг, а в сущности их набирается полтора, два и даже три, как в св. Павле. Как же это так? Обыкновенно, взявши с вас шиллинг, покажут они не все, а скажут, что требуется для дальнейшего осматривания приплатить еще шесть пенсов добавочных; очень часто и этого оказывается еще мало: вам говорят, что есть еще очень любопытные вещи,— вот, например, за этою дверью, но войти туда нельзя, не заплатив еще шести пенсов или шиллинга. Любопытный путешественник, разумеется, не постоит за такой ничтожной платой, идет за таинственную дверь и часто лишь для того, чтобы сказать другим, что туда ходить не стоит. Добавочные сикс-пенсы составят порядочную сумму, если захотеть непременно осматривать *все* в Лондоне; признаюсь, я пожалел трех шиллингов, осмотрев решительно все в св. Павле. В чем заключается это *все*, я постараюсь сказать как можно короче. Главное — в лестницах одна другой длиннее, одна другой утомительнее; лестницы узкие и широкие, каменные и деревянные, с высокими и низенькими ступеньками — всякие лестницы. Самая лучшая из всех этих лестниц — так называемая геометрическая; лучшая она потому, что по ней не нужно ни подниматься, ни опускаться. Ее показывают как первую в этом роде лестницу, выстроенную в Англии, и за это, разумеется, взимают несколько добавочных пенсов. Тут пенсы спасают по крайней мере от лазанья, тогда как во всех других случаях их число предполагает известное число ступенек, которые надо пройти; а ступеньки считаются тут не десятками, а сотнями. Вам, разумеется, и в голову не придет считать их — это удвоило бы усталость; но из маленькой книжонки, которую вы купили у входа в собор, можете узнать, что всех ступенек — 612. Первый отдых на этом длинном пути представляет библиотека, в которой, впрочем, смотреть вовсе нечего. Она поме-

щается в одной комнате, и путеводитель, отпирающий вам ее дверь, показывает тут преимущественно на портрет епископа, который правил лондонскою епархией во все время постройки собора. Портрет — как портрет, и епископ — как епископ. Видя, что тут нет ничего замечательного, вы идете дальше, опять-таки по лестницам, и достигаете до так называемой Whispering gallery, что можно перевести хоть «галереей шепота». Эта галерея огибает внутри купол в самом его основании. Она показалась мне гораздо любопытнее тем, что отсюда яснее всего представляется громадность размеров собора, нежели своею специальностью — шепотом. У маленькой дверки, отворяющейся на галерею, стоит старик для произведения акустических опытов и, не давая подойти к железной балюстраде и оглядеть купол, торопит вас обойти галерею вокруг и сесть на той стороне, прямо против входной двери, на диван, и приложить ухо к стене. Вы обходите, садитесь, прикладываете ухо, старик утыкается носом в стену около двери и начинает шептать, тогда как вам кажется, что он кричит: «The Whispering gallery is so constructed, that the least whisper is heard on the opposite side...»[1] или что-то в этом роде, касающееся галереи и ее постройки.

Гораздо интереснее внешняя, так называемая каменная галерея, с которой вы можете посмотреть на город, если он не совсем затоплен туманом. В тот день, как я лазил на собор, на мое счастье было яркое солнце и туман не так одолевал свет, как в остальные дни моего лондонского пребывания; но панорама, открывшаяся передо мной, все-таки была как будто задернута серою дымкой. Только ближайшие улицы да Темза со своими мостами проглядывали сквозь нее; дальше все гуще и серее вставал не то дым, не то туман, и из него черными иглами вырезывались только сотни башен и колоколен, которых так много в Лондоне и которые придают ему такой характеристический вид. Здесь, на каменной галерее св. Павла, я, кажется, больше, чем где-либо, досадовал на туманную атмосферу Лондона. Еще раз можно взглянуть сверху вниз с верхней галереи, которая называется Золотою. Она идет вокруг фонарика, на котором водружен крест. Но этою галереей не оканчивается еще восхождение для любознательного путешественника. Он входит в дверку

---

[1] «Галерея шепота так устроена, что малейший шепот слышен на противоположной стороне...» *(англ.)*

фонарика, оставляет тут у сторожа свою шляпу, палку, пальто, если оно тяжело, и пускается в наиболее неудобную экскурсию. Приходится, с опасностью завязнуть, взбираться по крутой и неловкой лестнице между четырьмя железными устоями, о которые можно изорвать себе платье и ссадить руки. Взлезать тут можно только поодиночке. Добравшись до Золотой галереи, откуда Лондон представляется уже не городом почти, а старым, закоптелым планом города, я решил взобраться и под крест. В узком проходе между железными жердями мне пришлось подождать. Передо мной полез туда англичанин, осматривавший св. Павла, как и я, в первый раз. Я закинул голову и следил за ним глазами. Высунувшись по пояс на воздух под сквозную кровельку, над которою стоит крест, он осмотрелся вокруг; но едва ли что видел: ветер косматил и сбивал на глаза его длинные волосы. Поправить их было невозможно, потому что руками приходилось крепко держаться. Я ждал, что он станет тотчас же спускаться и даст мне пропуск; но англичанин стал изловчаться и пристраиваться на краешке фонарика, чтобы освободить одну руку. После немалых усилий это ему удалось. Он опустил руку в карман, вынул оттуда не то карандаш, не то ножик и принялся увековечивать свое имя на стенке, нисколько не смущаясь ветром, который не только поставил у него на голове овином все волосы, но грозил даже развязать и унести его галстух. Что за важность! Он, казалось, был совершенно счастлив, как Юпитер на Олимпе, державно взирающий с облачных высот на людской муравейник...

He seemed on Mount Olympus' top,
Among the Gods, by Jupiter! and let drop
His eyes from the empyreal clouds
On mortal crowds.

Мне, напротив, это блаженство казалось самоотвержением, и я едва высунул макушку из фонарика, как тотчас же и стал спускаться, боясь нажить себе насморк на холодном пронзительном ветру. Спрашивается, зачем я лазил? Этот же вопрос, казалось, выражал взглядом и почтительной улыбкой сторож, ожидавший меня с моей шляпой и с платяною щеткой в руках и с надеждой на три пенса в сердце.

— Мало интересного, сэр? — заметил он, обмахивая с меня щеткою пыль.

— Да, немного,— отвечал я.

— А любопытствуют многие, сэр; даже дамы...

— Будто уж и дамы?

— Уверяю вас, сэр. Не дальше как на прошлой неделе одна молодая леди взбиралась.

— Ну, и что же?

— Ничего, сэр; благополучно... Thank you, sir; very much obliged[1],— добавил он, принимая от меня, вместо жданных трех, шесть пенсов.

Спускаться с лестниц, как всякому известно, гораздо приятнее, чем подыматься на них; притом нечего уже останавливаться по дороге, смотреть интересные библиотеки, колокола и проч., и вы минут в пять можете очутиться из «царства туч», говоря поэтическим слогом, в подземном царстве — именно в склепе, где стоит великолепная мраморная гробница Веллингтона, с горящими по четырем ее углам, на высоких канделябрах, яркими газовыми рожками. Под сводами, рядом — не столь великолепная гробница Нельсона. Тут же в скромном уголке схоронен и зодчий св. Павла — Рен (Wren). Говоря о статуях собора, я забыл упомянуть о памятнике этого человека, как многие забывают и взглянуть на него, потому что он не обращает на себя внимания ни аллегорическими фигурами, ни затейливыми орнаментами. Это простая мраморная плита, на которой только написано имя да год смерти Рена и прибавлено: si monumentum requiris, circumspice! (ты ищешь монумента — погляди вокруг!)

Невдалеке от св. Павла, близ Лондонского моста, есть и другой монумент, сочиненный тем же Реном, который вообще проектировал множество построек в Лондоне. Этот монумент так и слывет у лондонцев под названием *монумента* по преимуществу. Воздвигнут он в память большого лондонского пожара, что явствует не столько из надписей на нем, сколько из водруженной на верхушке весьма безобразной урны, с еще безобразнейшим в ней пламенем. И самая колонна, которая считается, между прочим, самою древнею, да, кроме того, и самою высокою из всех существующих колонн, не отличается вовсе красотою. Она и тяжела и неуклюжа. Охотники любоваться Лондоном сверху могут взобраться по лестницам внутри ее и на вершину колонны, но, побывав на куполе св. Павла, лазить на нее не стоит.

---

[1] Благодарю вас, сэр, весьма обязан *(англ.)*.

Вообще памятники в Лондоне, которых насчитать можно немало, не стóят особенного внимания иностранца: у них нет никакой художественной цены, за исключением разве статуи Карла I на Чаринг-Кроссе, да и то работы не английской, а француза Лесюёра. Особенной неуклюжестью отличаются памятники Веллингтону; их, кажется, три (говорю: кажется, потому что их, пожалуй, и больше). Впрочем, художники, может быть, именно и хотели передать в своих изображениях эту неповоротливость, прямолинейность и бесстрастность знаменитого герцога, которая заслужила ему прозвище Iron duke (Железный герцог).

От св. Павла, по ровным, прямым и красивым улицам, идущим вверх по Темзе, почти параллельно с нею, вы доходите, не уклоняясь в стороны, прямо к другому, столь же знаменитому в архитектурном и историческом отношениях памятнику Лондона, как и собор, воздвигнутый Реном,— к Вестминстерскому аббатству. Небольшая улица Ludgate hill выводит от площади св. Павла на Fleet-street, которая вдали заканчивается воротами Temple-bar, границею Сити в эту сторону. Отличительный характер как этой улицы, так и следующей за воротами — Странда — множество книжных лавок и журнальных контор. Тут и контора Понча, перед окнами которой вечно стоит толпа, забавляясь карикатурами на Луи-Наполеона. Но главное средоточие книжной торговли — узенький и довольно неопрятный переулок Paternoster-row, параллельный одной стороне площади св. Павла. Он почти весь занят лавками и печатным товаром, и тут же в одной из таверн сходятся обыкновенно лондонские книгопродавцы потолковать за стаканом эля о своих делах. На улице Ludgate помещается между прочим и администрация «Times»'а, стóящая по жизни и деятельности в ней нескольких министерств иного государства, соединенных вместе. Нигде книжные лавки не отличаются таким красивым видом, как в Англии. Англичанин не покупает книг без переплета или по крайней мере без прочной папки, и окна магазинов сияют позологой и разноцветными корешками переплетов.

Улица Странд (которую, скажу мимоходом, в одном из русских переводов Диккенса перевели «набережной») кончается у Трафальгарской площади, красивейшей из всех лондонских площадей, как думают англичане. Площадей в Лондоне вообще очень мало, все они очень тесны и застроены не совсем красивыми зданиями, а потому и нетрудно

играть между ними первую роль. Но сравнительно с парижской площадью Согласия или с петербургской Исакиевской площадью — Trafalgar-square весьма жалка в художественном отношении. Посредине ее возвышается колонна в честь Нельсона. Массивная каменная терраса с двумя фонтанами, которыми так беден Лондон, ведет к приземистому зданию Национальной галереи, столь же скудной снаружи, как и внутри, хотя и украшенной, вследствие непонятной страсти англичан к классицизму, кирпичною колоннадой.

Уж если непременно нужно подражать чему-нибудь, то за предметами для подражания англичанам нечего бы, кажется, ходить так далеко: у них под боком Вестминстерское аббатство, одно из прекраснейших произведений готического зодчества, полное гармонии и оригинальности в целом, несмотря на то, что оно строилось не сразу, не в один прием, а с остановками и изменениями в плане, как и большая часть средневековых зданий. С первого взгляда Вестминстер напоминает парижскую Notre-Dame; но, по-моему, он грандиознее и законченнее.

Чтобы пройти от Трафальгарской к Вестминстерской площади, на которой стоит и громадное, оригинальное здание парламента,— решительно лучшее изо всего, что выстроили англичане,— надо миновать улицу Чаринг-Кросс, где в двух воротах конногвардейских казарм стоят конные часовые в красных мундирах, и Парламентскую улицу, неширокую и ничем не замечательную. Вестминстерская площадь, как все почти лондонские площади, занята прекрасным сквером; тут стоит памятник Каннингу.

Узкий переулочек или, лучше сказать, коридор, образованный стенами аббатства со стороны здания парламента, ведет к маленькой двери в церковь. Едва отворив ее, вы очутитесь как на кладбище, которое кажется тем величественнее и тем более производит впечатление, что над ним не синеет небо, что эти могильные памятники не осенены деревьями. Вся внутренность церкви представляется одною большой могилой. От стен и полов веет холодом с сыростью; свет скудно проходит в стрельчатые окна сквозь расписные стекла. Вас даже не поразит здесь так неприятно, как под светлым сводом св. Павла, не только нехудожественность, но часто и просто безобразие многих памятников, которыми заняты все углы, все закоулки, все стены. Некоторые из них представляют целые мраморные сцены и лепятся по стене так высоко, что надо закидывать голову, чтобы рассмот-

реть их в подробности, да и это не всегда удается при сумраке, господствующем в церкви, и при мелкоте орнаментов и деталей. Потеря невелика, потому что чем огромнее памятники, чем затейливее их аллегории, тем менее известны вне Англии лица, памяти которых они посвящены, тем часто незначительнее они и в самой Англии.

Почти у самого входа скромный угол с наиболее скромными памятниками посвящен людям, составляющим славу и честь английской литературы, и здесь поневоле застоишься больше, чем перед пышными аллегориями, старающимися обратить внимание зрителя на малоизвестные или часто и вовсе не замечательные ничем, кроме рода или богатства, имена. Скромный уголок называется углом поэтов, poet's corner. Надписи на памятниках воскрешают перед вами всю богатую историю английской литературы, и тем чувствительнее здесь недостаток двух-трех имен, хоть бы, например, Байрона и Вальтера Скотта. Но зато сколько других имен, и каких имен! Бен Джонсон, Чосер, Спенсер, Шекспир, Мильтон, Грей, Ботлер, Конгрев, Драйден, Поп, Аддисон, Оливер Гольдсмит, Томсон, Шеридан... Мильтону посвящен едва ли не скромнейший памятник. Это простая мраморная доска почти у самого входа. Памятник Шекспира и достойнее великого поэта и художественнее. Не оттого ли так плохи большею частью английские монументы, что художникам в них вдохновляться-то было нечем? Неподалеку от Шекспира и великий поклонник его Давид Гаррик, так полно воспроизводивший на сцене созданные поэтом лица. Неизвестно, почему в число литературных знаменитостей замешался человек, отличавшийся только своей долгой жизнью и не оставивший по себе никакой иной памяти в мире: в этом же углу аббатства лежит некто Томас Парр, который прожил на белом свете с лишком полтораста лет и видел десять царствований в Англии.

Перечислять имена военных и государственных людей Англии, допущенных в этот национальный пантеон, было бы трудом большим и неблагодарным; надо самому пройтись по этому великолепному кладбищу и пожалеть, что не везде память людей, оказавших истинно важные услуги родине, ценится с таким благоговением, как в Англии. Нельзя, однако ж, не припомнить некоторых имен, которые сами собою подвертываются под перо, когда говоришь о Вестминстере. Воинов здесь, может быть, и больше, чем в св. Павле, но из них не удерживается в памяти ни одного имени. Зато

из числа государственных людей как не назвать лордов Стенгопа и Мансфильда (памятник последнего — произведение Флаксмана), Питта и Фокса, Каннинга, графа Чатама, отца Питта?.. Не скоро посреди этих бесчисленных мавзолеев отыскиваешь памятники людей, дорогих столько же Англии, сколько и всему просвещенному миру; но зато, отыскавши их, с большим благоговением останавливаешься перед ними. В Вестминстере схоронены: химик Гомфри Дэви, Джемс Ватт, наконец Ньютон, которому, как и Шекспиру, поставлена очень удачная статуя.

Все эти памятники посетитель Вестминстера может осматривать и, если хочет, изучать—безданно-беспошлинно, если в церкви не совершается в то время богослужения; но не ими одними ограничиваются достопримечательности аббатства. Чтобы видеть остальные, надо вынимать кошелек и отсчитывать шиллинги и сикс-пенсы. Длиннополый причетчик, получив по таксе что следует, поведет вас в древнейшую часть здания, сохранившуюся в первоначальном виде, именно в капеллу основателя аббатства, Эдуарда-Исповедника, и примется официальным голосом и слогом рассказывать вам и историю и назначение каждого предмета.

Посреди капеллы стоит гробница Эдуарда. Она была когда-то пышно изукрашена. На обнаженных и дряхлых стенах ее до сих пор заметны следы дорогой мозаики из финифти и ценных каменьев. Такой мозаикой была покрыта вся гробница, и один материал, назависимо от искусной работы, ценился в пятьдесят тысяч фунтов стерлингов. Политические и религиозные революции не пощадили ее. Кроме гробницы Эдуарда, в капелле немало и еще гробниц, небогатых и жалких. Они размещены вкруг могилы Исповедника. Тут лежат — жена его Эдифь, Генрихи IV и V, Эдуарды I и III со своими женами и Ричард II с женой своей Анной. Тут же чичероне покажет вам и кожаный щит Генриха V и шпагу Эдуарда I, которой и вдвоем не поднимешь.

Все это не так, разумеется, интересно для большинства посетителей Вестминстера, как кресла или троны, на которых венчают на царство британских королей и королев. Они также хранятся в капелле Эдуарда-Исповедника.

В 1297 году Эдуард I привез из Шотландии очень замечательный камень. С виду он не представлял ничего особенного — камень как камень; но, по словам предания, он служил подушкой Иакову, когда тому снился известный символический сон. На этом камне с незапамятных времен

короновались короли шотландские; со времени приезда камня в Лондон на нем стали короноваться и английские владыки. Его не оставили, однако ж, в первобытном виде: обделали в виде скамьи с треугольною спинкой и с довольно неуклюжими ручками. Другое такое кресло понадобилось сделать для Марии, жены Вильгельма III, и оно употребляется при короновании для королевы, если король женат. Что касается Виктории — она короновалась на подушке Иакова.

Из других капелл аббатства (а всех их десять или двенадцать) самая обширная и самая пышная — капелла Генриха VII. К ней ведет лестница из черного мрамора и три позолоченные бронзовые двери тонкой искусной работы. Еще ценнее в художественном отношении самая гробница основателя капеллы, стоящая посредине. На гробнице изваяны Генрих с женою, лежащие рядом на похоронных подушках, с закрытыми глазами и с обращенным кверху лицом. Это один из памятников пребывания в Англии знаменитого флорентинского скульптора Пиетро Торриджиано, соперника Микель-Анджело. Кроме этого главного украшения, капелла стоит внимания и по множеству изящных небольших фигур на стенах, изображающих пророков, патриархов, святых мучеников и проч. В этой капелле происходит посвящение в кавалеры ордена Бани и вкруг стен идут в два ряда скамьи для членов этой церемонии. Над скамьями развешано разное древнее оружие и знамена с гербами и именами кавалеров ордена.

Обойдя другие королевские могилы, путешественник уносит с собой в памяти преимущественно фигуры великой Елизаветы и Марии Стюарт. У каменной Елизаветы, с круглыми, как у птицы, глазами и с ястребиным носом, очень неприятная наружность.

IV

ОБЩЕСТВЕННАЯ И ДОМАШНЯЯ ЖИЗНЬ

До сих пор я говорил только об улицах и об уличном движении Лондона; но едва ли есть другой такой город, где бы по этой внешней жизни можно было менее судить о характере жителей. Встречаясь с англичанином только на улице, вы заметите, разумеется, что он хлопотлив, деятелен, весь, по-видимому, поглощен денежными интересами, несообщителен и подчас даже очень груб; но очень ошибетесь, если

одними этими качествами захотите определить вполне английский характер. Особенно бросятся они вам в глаза, если вы приехали в Лондон из Парижа. Несмотря на огромное торговое движение, в Париже вам почти не попадается на улицах этих постоянно озабоченных лиц, которые придают такой пасмурно-деловой вид каждому уголку Лондона; в Париже все, начиная с приглаженного и припомаженного денди на Итальянском бульваре и кончая неопрятным блузником в грязной и шумной rue Monmartre, как будто гуляют; в Лондоне даже у иностранца, будь это отчаянный парижский фланер, через два-три дня после приезда как будто вытягивается лицо и принимает деловое выражение. Несообщительность и грубость кажутся необходимым добавлением к этому неугомонному промышленному направлению. Зайдите в Париже в большой магазин или в маленькую лавку; купите и там и тут не больше как на франк, даже на несколько сантимов: купец так вежлив, так предупредителен, что становится даже совестно как-то. Подумаешь, вы оказали ему величайшую услугу. Англичанин, не моргнув глазом, отвечая лишь односложными словами и частицами, продаст вам на десятки гиней и фунтов и сконфузит вас совсем иным: глядя на него, вы подумаете, что он оказывает вам чуть ли не благодеяние, что меняет, с изрядным барышом, свой товар на ваши золотые портреты Виктории. Он, по-видимому, желает сказать вам своим бесстрастным, полным достоинства видом: «Без меня ведь тебе негде бы купить!», забывая о необходимом дополнении этой фразы со стороны покупщика: «А без меня тебе некому бы продать!» Правда, существуют и в Лондоне лавки с такими усердными зазывателями, как у нас на Щукином и Апраксином дворах или в Париже на маленьких базарах; но в этих лавках нельзя ничего покупать, не рискуя быть обманутым. Озабоченные лица, окружающие вас на тротуаре Сити, не исчезают и в таких местах, где во всяком другом городе, даже в прокопченной табаком и филистерством Германии, кипит обыкновенно веселая, беззаботная жизнь. Такие места — трактиры, кофейные, гульбища. Но и в трактирах, за исключением разве приютов для пьяных весельчаков, и на гуляньях — царствует какая-то странная торжественность. Кажется, будто оживленный разговор и веселые лица считаются некстати в месте, где собрались для такого важного и серьезного дела, как еда или приличный моцион. После шумных и веселых парижских ресторанов меня не-

приятно поразили даже лучшие лондонские трактиры. Несколько дней сряду обедал я, например, в роскошных dining-rooms на Флит-стрите, у самого Temple-bar'а, и ни разу не видал там двух человек, обедающих вместе. Все ели в одиночку, и, казалось, ни у кого не было оттого аппетиту меньше, как у лошади, одиноко кушающей свой овес и свое сено в отдельном стойле. Может быть, с точки зрения гигиены так именно и надо насыщаться. Когда человек не занят ничем посторонним, он больше обратит внимания на настоящее дело,— это совершенно справедливо; и сидя одиноко над тарелкой густого, как помои, и огненного от перцу честерфильдского супу или супу из бычачьего хвоста, или, наконец, над куском ростбифа, можно лучше обдумать, сколько надо съесть того или другого, чтобы не обременить желудок. Конечно, последнее несчастие случается большею частию за обедами, где болтовня служит необходимою приправой каждого куска. Но что ни говорите, есть одиноко как-то больше под стать кошке, собаке, лошади; человеку же надо слишком много животности, чтобы углубляться, как в философическую книгу, в свой бифстекс и пудинг. Не думайте, что трактир даст вам понятие об английском обеде. Вы узнаете, какие блюда готовят английские повара, в каком порядке их подают; но подумаете, пожалуй, что англичанин за обедом никогда не улыбается, никогда не произносит ни слова. Это будет большой промах. Дело в том, что англичанина следует наблюдать дома, а никак не на улице, не в так называемых публичных местах. Даже общество, собирающееся в Argyle-Rooms на публичные балы, в характере парижского Mabile или бывших петербургских танцклассов, отличается чрезвычайною чинностью. Меня больше всего поразило тут большое количество почтенного вида джентльменов, в черных бальных одеждах, с большими звездами на груди. Отправляясь на бал, я предполагал встретить тут ад сумятицы и беспорядка; а встретил таких почтенных гостей.

— Скажите, пожалуйста,— обратился я к одному русскому, бывшему со мной и больше меня знакомому с лондонскими нравами: — уж туда ли мы попали? Это не департамент ли какой? Это вот как будто директор, а это — начальник отделения; а уж это чуть ли не сам товарищ министра?

— Успокойтесь,— отвечал мне мой спутник,— это всё лакеи. Гости же, как вы видите, одеты очень разнохарактерно и бесцеремонно.

Но, признаюсь, и гости, неуклюже и торжественно отплясывавшие вальсы и польки, произвели на меня странный эффект. Мне все-таки казалось, что джентльмены со звездами тут начальники, а все танцоры — подчиненные, несколько стесненные присутствием начальства. Так все было вяло и натянуто.

Немного больше одушевления и на Hay-Market, где что ни шаг — кофейная или устричная лавка и где часам к двенадцати ночи буквально нет прохода от пышных кринолин. Тут толпятся и на улице и в этих кофейных и устричных лавках не сотни, а, вероятно, тысячи дам всех наций и преимущественно, конечно, англичанок, самого недвусмысленного поведения. Самый кутеж как-то систематичен и холоден, и от этого вдвое противнее и безобразнее. Если же он переходит в разгул, то разгул этот немногим отличается от разгула в матросских кварталах, где не пройдешь вечером шага, не увидав отвратительной ссоры или драки, не услыхав площадной брани. Те же разбитые стекла, пущенные в голову бутылки и проч.

Глядя на стены домов, чуть не сверху донизу заклеенные самыми разнообразными афишами, подумаешь, пожалуй, что театр и вообще разные так называемые зрелища играют очень важную роль в общественной лондонской жизни. В этом можно скоро разувериться. Что концерты и театры всегда полны, это очень понятно: их, сравнительно с громадной цифрой народонаселения, очень мало в Лондоне. Драматическая литература Англии лучше всего показывает, как мало у англичан сочувствия к театру. Пуританизм остановил его успехи, и никто о том не жалеет, потому что он пустил глубокие корни и вообще во всю жизнь, во все понятия англичан. Многие видят чрезвычайно отрадный факт в том, что в последнее время в Англии не сходит со сцены Шекспир. Да что же и играть больше, когда Шекспир почти единственный драматический писатель, существующий в Англии? И притом точно ли художественные соображения вызвали его опять на сцену? и точно ли так велико общее сочувствие к поставленному вновь на сцену Шекспиру, как об этом говорят? В Лондоне три миллиона жителей; два театра, на которых играют Шекспира, вовсе не велики даже для любой немецкой столицы; а между тем вы редко рискуете уйти от театральной кассы без билета, как это случается сплошь и рядом в Париже, где театры на каждом шагу и, по-видимому, всем бы должно быть место. Скажут, что Шекспир —

писатель не для массы, а для избранных. Правда, опоздавши в театр Фельпса на представление «Ромео и Джульетты» и поместившись в задних рядах партера между публикой низшего разбора, я слышал такой же глупый смех над чудным монологом Ромео, где он сравнивает с небесными звездами глаза Джульетты, как и над клоуновскими выходками второстепенных лиц пьесы; но немного же, значит, в Лондоне и избранных! Как согласить это с тем безусловным почти благоговением к Шекспиру, которым мало-мальски порядочный англичанин проникается чуть не с детских лет? как объяснить бесчисленные его издания и вошедшие в общий оборот как пословицы — фразы, целые стихи его?

Объяснение опять-таки в английском отвращении от общественной жизни в том смысле, как понимают ее французы. (Само собой разумеется, что я говорю не о политической жизни.) Недаром английский home [1] вдохновлял стольких поэтов, и не найдете вы во всей огромной стихотворной литературе англичан ни единой песенки во вкусе Беранже и Дезожье.

Судя по наружности, с англичанином трудно сойтись, трудно проникнуть в его домашнюю жизнь, быть своим человеком в его семье. Это справедливо лишь наполовину. Вежливость, радушие и гостеприимство развиты здесь едва ли не более, чем где-нибудь, но чтобы упрочить за собою приязнь англичанина или, как вообще говорится, сойтись с ним, нужно сходство характеров и убеждений, единство нравственных интересов. Интимные отношения, которые так легко завязываются у нас и во Франции, теряют очень много цены в сравнении с такого же рода отношениями в Англии. У нас, например, очень легко сделаться чуть не ежедневным гостем в доме, узнать даже не одну семейную тайну и все-таки оставаться настолько чужим хозяину или хозяйке, чтобы не быть уверену, переходя за порог дома, что про вас тот или другая не сочинят какой-нибудь сплетни, или зло не насмеются над вами, или подчас даже не оклевещут вас. Спрашивается, что же сводит тут людей? И стоит ли это дикое гостеприимство, едва ли не худшее киргизского, тех восторженных похвал, которыми его обыкновенно осыпают? Не есть ли это просто неразвитие, безразличный взгляд на людские отношения, шаткость и неопределенность убеждений или совершенное их отсутствие? На руку, которую от

---

[1] домашний очаг *(англ.)*.

души протягивает вам англичанин, можно смело опереться. За кого из своих «лучших друзей» положитесь вы дома? Как же не хвалить английской неподатливости на знакомства и дружбу? как же не уважать английского home?

Семья, основания которой сильно пошатнуты во Франции и очень неопределенны или дики в остальной Европе, опирается в Англии на более здравые начала. Само собой разумеется, и здесь, как везде, дело не обходится без гнета ветхих предрассудков, застарелых условий и нелепой рутины; но гнет этот далеко не так тяжек, как в других странах. Семейное счастье — почти миф везде, кроме Англии, при тех формальностях, которые считаются до сих пор необходимыми для санкции отношений между мужчиной и женщиной. Англичане сумели поубавить много деспотизма из этих формальностей и хоть немного осмыслили их, за неимением силы и отваги совершенно отказаться от них. Идиллии, которыми кончается большая часть английских романов, взяты не из мира фантазии с целью обратить заблудшего современного человека к нравам золотого века; нет, это верные и по большей части даже вовсе неидеализированные картины действительности. Многие думают видеть чуть ли не такую же здравость семейных отношений, как в Англии, и в Германии; но едва ли стоит и возражать на это. Нигде женщина не играет такой жалкой роли, как у немцев, нигде деспотизм мужчины так презрительно не отталкивает женщины от участия в движении общества. Самая наружность женщин, их лица стали принимать от этого деспотизма оттенок какой-то жалкой беззащитности и выражение кретинизма. Непрактичность немцев сказалась и тут — в семейных, как и в политических их отношениях. Эманципируя человека так последовательно и так решительно в области чистой мысли от всяких стесняющих уз, в жизни они готовы, кажется, держаться до последней крайности даже за давно перержавевшие цепи, связывающие свободу их движения.

Более здравые семейные отношения создали в Англии более серьезное образование женщины, чем где-либо. Оно дало разумный характер и браку, и домашней жизни, и воспитанию детей. Я не хочу этим сказать, как уже мог заметить читатель, что Англии в этом отношении нечего уже совершенствоваться. Напротив, и тут, как во всех почти сторонах жизни, ей следует еще отделаться от тысячи мелких и тем более тягостных деспотий и предрассудков; но нельзя не похвалить и того, что есть. Другие и до того не добились.

Прочность семейной связи создала в Англии и домашний быт совершенно оригинальный, не похожий на домашний быт немца и француза. Нигде нет той замкнутости семейного круга, того домашнего порядка и комфорта. Эти черные кирпичные дома, ограждающие с обеих сторон улицу своими унылыми, можно сказать тюремными стенами, представляют внутри такой уют, что могут пленить самого отъявленного бездомника и дать ему понять цену семейной жизни.

Кварталы и улицы, в которых, собственно, живут в Лондоне, то есть не торгуют, не занимаются ремеслами, отличаются от кварталов и улиц торговых, как шумный рынок от кладбища. Право, это сравнение ничуть не преувеличено. Оно непременно придет вам на ум, когда с большой проезжей улицы, хоть например с Оксфорд-стрита, вы уклонитесь в сторону и вступите в один из небольших и узких переулков, назначенных исключительно для домашнего комфорта, или к одному из скверов. Вас невольно поразит резкий переход от шума и гама толпы и грохота экипажей почти к совершенному безмолвию. Лишь изредка проедет карета, кабриолет; но не смеют греметь здесь ни омнибусы, ни тяжелые товарные фуры. Только ранним утром появляются зеленщики или продавцы дичи, да и те не оглашают спокойных улиц громким криком, а объявляют о своем приходе или умеренным, почти осторожным окликом, или звоном колокольчика, проведенного в кухню, в подвальном этаже дома. Ни одной лавки не помещается тут, даже с самыми необходимыми припасами. В булочную, в мелочную, в мясную лавку надо идти в смежную большую улицу, где уж зато и не живут, собственно говоря, а только торгуют, хлопочут и шумят. Лавкам в этих жилых улицах и поместиться негде; дома построены исключительно с хозяйственными удобствами. Нечего и говорить, как дороги и необходимы эти удобства для людей, живущих скромно и занятых кабинетными трудами. Комфорт, встречаемый здесь всюду, невольно наводит на сравнение с удобствами, представляемыми нашею столичной жизнью. Здесь вы видите, что все эти дома построены для удобства жильцов; у нас дома строятся исключительно для доставления доходов хозяевам, а о жильцах никому нет заботы. Магазин, лавка, трактир, кабак обыкновенно платят более за помещение, и потому у нас каждый домохозяин считает непременной обязанностью своей устроить в нижнем этаже своего дома лавки. И будь еще это на больших центральных улицах; а то нигде нет спасенья от

кабаков и от трактиров. По ночам вас будят крики пьяных; днем вы, кроме этих криков, можете насладиться из вашего окна и целыми сценами драк и буйств. В Лондоне есть даже такие улицы, что запираются с обеих сторон железными решетками. Это уж роскошь, если хотите; но роскошь такая простая и недорогая, что и в ней я не вижу ничего дурного.

Устройство английского дома, все особенности, отличающие его от континентальных домов, трудно, а иногда и почти невозможно понять из английских романов, которые читаются у нас так усердно. Диккенс или Теккерей пишут для англичан, и им нечего объяснять, что такое библиотека и parlour в английском доме и почему происходит там это постоянное движение по лестницам, up stairs и down stairs[1]. Когда Гоголь говорит о лакейской у Плюшкина или у Собакевича, ему нечего много описывать ее: мы сразу сообразим, какова должна была быть эта лакейская и в какой части дома помещаться. Совсем иное дело, если б Гоголь писал для англичан, а не для русских. То, что я хочу рассказать об устройстве английских домов, может, за неимением других достоинств, пригодиться хоть в качестве комментария русским читателям английских романов и повестей.

Прежде всего о наружном виде. Я уже сказал, что кирпичные стены английских домов похожи на тюремные. Они кончаются или, пожалуй, начинаются не в уровень с тротуаром, как большею частью у нас, а спускаются на полторы и на две сажени ниже уровня улицы и образуют по обеим сторонам ее рвы. Рвы эти непокрыты, и в них выходят окна нижнего, собственно подвального этажа; чтобы в туман или в сумерки прохожий не свалился в эти рвы с тротуара и не сломал себе шеи, они огорожены железными решетками. Тротуар соединяется с крыльцом дома узеньким мостиком из белой плиты, перекинутым через ров. Любители археологических параллелей находят, что нынешний английский дом есть не что иное, как средневековый замок, приуроченный к новым нравам. Крепостной ров, железный палисад, мост... мост даже подъемный можно бы сделать, если б новые владельцы замков держали так же много прислуги, как старые. У многих домов даже мостик отделен от тротуара железной решетчатой калиткой, запирающеюся на ночь на замок.

---

[1] наверх и вниз *(англ.)*.

Решетки иногда так высоки и с такими остриями наверху, что можно подумать, уж действительно не с оборонительною ли целью выкопан этот ров и воздвигнут этот палисад.

Чтобы попасть в дом, стоит, кажется, только перейти мостик, взойти на две, на три ступеньки крыльца — и дело с концом. Не тут-то было. Извольте сначала ознакомиться с правилами, которые следует наблюдать, стуча у дверей. Звонки существуют здесь еще не везде, и часто вам придется стучать молотком. Молоток, собственно, вовсе не молоток, а просто тяжелая скоба, свободно висящая на двери. Шутники говорят, что это один из труднейших музыкальных инструментов. «Надо обладать тонким слухом,— утверждал один путешественник,— и опытной твердой рукой, чтобы не ввести в недоразумение обитателей дома и не навлечь потом на себя их насмешки. По мелодии молотка узнают обыкновенно, к какому состоянию принадлежит человек, явившийся к дверям. Почталион возвещает о себе двумя сильными, быстро следующими друг за другом ударами; постороннему гостю предписывается нежное, но уверенное tremolo. Хозяева дома выделывают молотком более сильную дробь; а слуга, объявляющий о приезде своих господ, обязан, если он только понимает как следует дух своей должности, стучать в дверь, как перун. Напротив, торговцы, мясники, продавцы молока, зеленщики, булочники и т. п. вовсе не стучат, а дергают за боковой звонок, сообщающийся прямо с кухней. Как ни просты, по-видимому, эти правила, они оказываются довольно трудными в практическом применении. Чужестранцы решительного, закаленного временем и опытностью характера, думают обыкновенно, что лучше всего дадут о себе знать, если примутся барабанить молотком с энергией собственного достоинства. Они должны бывают горько разочаровываться. Человека решительного примут, пожалуй, за слугу; нерешительного — за нищего: держаться средины и тут, как везде, самое трудное дело». Путешественник должен благодарить всесовершенствующее время, что оно мало-помалу вытесняет эти средневековые молотки, сменяет их современным звонком и делает ненужным изучение всех помянутых приемов.

Каждая дверь, выходящая на крыльцо, непременно снабжена в Лондоне ящиком для почталиона, чтобы ему не нужно было входить в комнату с письмами и газетами. Англичане постоянно франкируют свои письма, и это не отнимает понапрасну времени ни у разносчика писем, ни у получате-

ля их, ни у прислуги. Говорят, во время всемирной выставки иностранцы, не приученные у себя дома к большим удобствам, преимущественно немцы, принимали эти ящики в дверях за почтовые и совали в них свои письма, адресованные куда-нибудь в Карлсруэ.

Прямо с крыльца вы входите в прихожую, или в сени, с громким названием «hall» [1]. Вам не нужно проходить грязными воротами, загроможденным двором или справляться у темной конурки дворника, как в Германии, во Франции и у нас. Особенно неприятны лестницы во Франции с неизбежными concierges [2] женского или мужского пола и с постоянным их шпионством. Каждая английская квартира есть, собственно, отдельный дом о двух, трех и даже четырех этажах, хотя бы у него было всего два окна на улицу. Каждый нанимающий такой дом погодно или пожизненно, как многие здесь делают, есть уже полный его хозяин, и настоящий владелец дома не отряжает для наблюдения за своею собственностью ни дворников, ни привратников. Дворники-то были бы уже совершенной нелепостью, потому что при английских домах, если это не джентльменские палаты, вовсе нет дворов. Кто держит лошадей и экипаж, держит их обыкновенно в смежном переулке, в особо устроенных для того конюшнях и сараях, куда проведены звонки из его квартиры. Значит, поэтому двора не нужно. Не нужно его и для накопления сору и помоев; для всего этого устроены водосточные трубы. Вода везде проведена в стены домов; стало быть нечего заводить и бочек и прочих украшений наших дворов. Итак, двор вещь совершенно излишняя для английского дома. Остается придумать помещение для топлива. Это уже не так трудно. В Англии топят не дровами, а каменным углем; а для угля надо не так много места. Проходя по тротуару, вы заметите круглые отверстия в его полотне, против крылец домов, прикрытые чугунными заслонками. Черная каменноугольная пыль вокруг этих отверстий показывает их назначение. Сюда накладывается прямо с тротуара каменный уголь в чулан, нарочно для того устроенный под каменным мостиком, ведущим к крыльцу. Заподряженный вами угольщик приезжает в известный срок и наполняет доверху ваш чулан. Пространство вымерено заранее, и вам нечего отряжать для поверки продавца и для при-

---

[1] вестибюль (*англ.*).
[2] привратниками (*франц.*).

ема товара лишнего человека. Все делается так просто и так хорошо. Из этих мелочей становится яснее всего, как стройно и удобно устроена частная жизнь в Англии, как ценится тут труд и время, которое недаром английская пословица называет деньгами.

Английский hall есть в одно и то же время и сени и прихожая. Убранство его зависит, разумеется, от степени богатства хозяина; у кого есть средства, может наставить тут цветов, статуй. Но почти неизбежным украшением этой первой комнаты во всех домах служит чистая клеенка, которою обит пол. К дверям других комнат и по лестнице, ведущей из прихожей в верхний этаж, тянутся обыкновенно суконные или ковровые половики. Ковер есть одно из необходимейших условий английского комфорта. Недостаток ковра есть примета бедности. Так, Томас Гуд в своей знаменитой «Песне о рубашке», рисуя жалкую нищету швеи, говорит как о важном лишении о том, что пол на ее печальном чердаке не покрыт (Flat shatter'd roof and this naked floor). Говоря о русском бедняке, никому и в голову бы не пришло сожалеть об отсутствии ковра в его углу. Значит, читателю нечего объяснять, что в каждой комнате английского дома пол должен быть обит или покрыт ковром. Кроме лестницы, ведущей из прихожей наверх, сюда же обыкновенно выходит и лестница, сообщающаяся с нижним, подвальным этажом, где помещается кухня и прислуга.

Из прихожей входите вы в главную комнату дома, столовую, гостиную или, пожалуй, разговорную, как называют ее англичане — parlour. Большой камин, который горит здесь зимою с раннего утра и до позднего вечера, служит центром, около которого группируется вся семья. Здесь завтракают, обедают, пьют чай; хозяйка раздает приказания, хозяин читает, положив ноги на решетку камина, свой «Times»; яркий огонь камина не раз озарял здесь серьезные семейные совещания после обеда; в семействах, неукоснительно следующих пуританским предписаниям, здесь же, в воскресенье, читаются душеспасительные книги. У этого камина принимают обыкновенно гостя, если он явился не в назначенный вечер, когда отворяются двери другой, парадной гостиной, у кого такая гостиная есть. Большие двустворчатые двери занимают почти всю заднюю стену parlour'а и отделяют его от так называемой библиотеки, в которой часто не бывает ни одной книги. Назначение этой комнаты зависит от состава семьи. Тут может быть и кабинет хозяина и класс-

ная детей или даже будуар, контора — что хотите, только реже всего именно библиотека.

Вот обыкновенно и все помещение внизу. Таково же оно и во втором этаже, и в третьем. Назначение этих этажей неизменно одно и то же во всех английских домах, исключая, разумеется, большие аристократические квартиры, где уже нет того определенного числа комнат в каждом этаже и где самое распределение их зависит от вкуса и средств хозяина. Итак, во втором этаже помещаются спальни, в третьем — детские и комнаты нянек и мамок. Наконец, если дом о четырех этажах, то обыкновенно небольшие и неудобные горенки под кровлей назначаются для ночлега близким знакомым или родным, которые приехали издалека или живут и не бог знает где, да засиделись вечером поздно.

Лестница, ведущая из сеней в подвальный этаж, и не так широка, как та, что проходит по остальным этажам, и не так, разумеется, удобна. Но и здесь, в кухне и в людских комнатах, вас поражает чистота и опрятность, немыслимая даже у наших Маниловых и Бетрищевых, не говоря уже о Петрушках и Селифанах. И здесь полы обиты цветною клеенкой, окна завешены кисеей, уставлены горшками цветов.

У прислуги тоже есть свой parlour; это огромный камин в кухне, в котором целый день шипит и пылает смолистый уголь и около которого собирается вся домашняя челядь потолковать о том о сем и преимущественно, конечно, о господах. Отчуждение, в которое поставлена здесь прислуга, очень удобно и для нее и для господ; но зато, сильнее чувствуя разницу состояний, она старается взять хоть невидимым и келейным контролем над господами. Малейшее отступление их от правил и законов, предписываемых неподвижным обычаем, обсуживается строжайшим образом в кухонном контроле, и не редкость в Англии кухарка, которая откажется служить у вас, если вы неаккуратно ходите слушать воскресные проповеди. Основанием тут не чувство справедливости, а глубокий антагонизм, которому надо хоть в чем-нибудь одержать победу. Тех добрых и гуманных отношений, какие существуют между прислугой и господами во Франции, нечего искать у англичан.

ЖЕНЩИНЫ, ИХ ВОСПИТАНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ В СЕМЬЕ И ОБЩЕСТВЕ

(Посвящается. Л. П. Шелгуновой).

Coupez le câble!
Sieyès [1]

ВСТУПЛЕНИЕ

Недовольство настоящим складом создало немало самых разноречивых общественных теорий, которые частью рухнули, как чуждые жизни, частию приняты жизнью «к сведению». Полная перестройка общества невозможна без переделки основания его, семьи; это сознавалось иногда смутно, иногда ясно всеми общественными новаторами; на этом сознании выросли идеи и о так называемой эманципации женщины, скоро нашедшие путь в общество, как слишком заинтересованное в этом вопросе.

Сомнения в непогрешительности веками утвержденных неравных семейных отношений, неравных общественных прав мужчины и женщины и первые шаги общества к женской эманципации кажутся мне одним из самых важных, самых характеристических явлений нашего века. Шаги эти нетверды, самые понятия о том, что такое и в чем должна состоять эманципация, не получили еще достаточной ясности и определенности в умах не только большинства, но и людей передовых. Тем не менее, однако, движение совершается, мало-помалу подтачивая старые предрассудки и готовя тот новый общественный порядок, в котором уравновесятся в известной степени права и отношения, теперь так спутанные.

---

[1] Рубите канат!
Сийес (франц.).

В какой мере зависит благоденствие общества от уравнения прав мужчины и женщины? Как может совершиться это уравнение? Что служит ему помехой в современных понятиях и нравах? Как должна сложиться семья, чтобы стать прочным залогом действительных успехов общества, а не задержкою их, какою она является большею частью в наше время? Вот вопросы, на которые я старался ответить в предлагаемых замечаниях.

В огромной груде книг, посвященных разбору вопроса о положении женщин, при видимом желании подвинуть разрешение вопроса, он до сих пор оставался все-таки неуясненным. Под новыми словами и фразами скрывались те же старые рутинные понятия, против которых, как могло казаться с первого взгляда, ратовали авторы. Если же и действительно говорилось что-нибудь новое, то говорилось лишь вполовину. Но полуслова, как и полумеры, допуская примирение старого с новым, мало подвигают дело вперед.

Печальный разлад, замечаемый в наше время в семье, лицемерие, внедрившееся в семью вследствие этого и нравственно растлевающее общество, замечаемый на каждом шагу антагонизм между членами семьи,— все эти мрачные явления объясняют противосемейственную реакцию, поднятую во Франции социальными философами. Не менее понятно и сочувствие, пробужденное в обществе их системами. «Чувство свободно; оно не поддается никакому произвольному руководству; нет таких цепей, которых явно или тайно оно бы не сломало». Эти мысли, понятые вполовину, очень льстили неразвитости массы, называющей себя образованною частию общества. Ухватившись за них как за непогрешительный догмат, но не имея в то же время силы сокрушить в жизни несовместные с этими идеями, упроченные вековою давностью формы, общество ринулось в хаос наглого и необузданного разврата.

Одна крайность вызывает неминуемо другую. Заметное падение нравственности, произведенное во Франции односторонне усвоенными идеями об эманципации женщин, должно было вызвать реакцию, как и все реакции, крайнюю и одностороннюю. Не обращая внимания на те благие приобретения, которые движение к освобождению слабейшей до сих пор половины человечества все-таки вместе с временным злом доставило жизни и обществу, реакционеры принялись осуждать не злоупотребления свободы, неизбежные при ее новости, а самый принцип ее. Они готовы видеть идеал

семейного общества у племен, остающихся еще на низших ступенях развития, и, оставив при нас все завоевания науки, обратить домашний быт наш в так называемое «естественное состояние». Не говоря уже о том, что такой фатализм несовместим с настоящим сильным развитием мысли, не говоря уже о странности движения вперед и вспять в одно и то же время, спросим: у каких дикарей, на каких неведомых островах, оторванных от всего мира морем и невежеством, найдется это счастливое «естественное состояние», о котором так складно говорится в книгах? Где «естественное состояние» человека не есть упорная борьба с роковыми силами природы? Эта-то борьба, на первых порах столь тяжкая, должна была поневоле поставить женщину, как мать и кормилицу, в несколько зависимое от мужчины положение. От зависимости (мы видим это, к несчастью, даже в наше цивилизованное время) нетруден переход к полному подчинению. У племен диких, по рассказам путешественников, на женщину, как на рабыню и служанку, падает вся труднейшая сторона жизни; охота, рыболовство, будучи средствами существования, служат в то же время забавой мужчине. Развитие общественности и благосостояния, позволяя женщине сложить с себя отчасти тяжелые обязанности, сделало из нее мало-помалу вместо служанки госпожу в доме, но госпожу для всех, кроме мужа, для которого она стала теперь если не рабою в смысле работницы, то рабою в смысле исполнительницы его желаний и прихотей. Лишенная всяких общественных прав еще при самом возникновении общества, женщина поневоле принуждена была прибегать ко всем ухищрениям для приобретения себе прочного положения чрез союз с мужчиной. Вот из какой доисторической дали идет гнуснейший из женских пороков, для которого, к счастию, нет названия на русском языке,— кокетство, и животный взгляд мужчины на женщину как на игрушку его чувственности. Неужто же теперь, при таком решительном сознании несостоятельности семейных отношений, обращаться за исправлением их к философии, выведенной из быта каких-нибудь австралийских дикарей?

Причины чисто временные (именно заботы первобытных племен о безопасности своего потомства) поставили женщину в те рабские отношения, которые становятся возмутительными в наше время. Долгая и ожесточенная борьба с внешними природными условиями упрочила эти отношения. Но протест, хотя глухой, вероятно всегда существовал

в угнетенной половине. Иначе как объяснить возникновение в самых ранних периодах человеческого развития этих жестоких и деспотических законов, ограждающих с таким постоянным упорством ревнивые права мужчины? Но никакие законы, как бы ни были они сильны и грозны, не заставят человеческую личность считать себя от рождения обреченною на рабство. Стремление к личной свободе — не исключительно человеческое свойство, и отказывать в этом свойстве женщине, стараться не выпускать ее из тех пут, которыми она связана теперь, значит ставить ее ниже бессловесных животных.

Чуть не до этого и доходит дело. И кто же является партизаном такого взгляда в наше время? Философ, все силы которого направлены были на сокрушение всего настоящего порядка вещей как не удовлетворяющего ни требованиям разума, ни желаниям свободы. Третий том книги Прудона «Sur la justice» [1] поразил и возмутил своею ретроградною философией даже ту часть общества, которая живет доныне, вполне удовлетворяясь, в началах, проповедуемых автором. Поражаться и возмущаться, собственно говоря, было нечего. Прудон, предлагая обществу свою систему, мог ему сказать: «Твоя от твоих!» Не сущность его слов возмутила всех, а самые слова и тон этих слов. Зачем то, о чем до сих пор говорилось тоном петиметра или отеческим тоном ментора, высказано тоном конского заводчика? Нужды нет, что мы во глубине души вполне разделяем ваши мнения и рады, что они выражены так последовательно и обстоятельно; все-таки лучше было бы, если б в нас не предполагали таких взглядов. Уж если высказывать их, так высказывать наполовину: уж если являться в публику орангутангом, так хоть газом себя прикрыть, если нельзя надеть черный фрак, лакированные башмаки и палевые перчатки...

Книга Прудона замечательна не только как реакция пробудившемуся во Франции стремлению к преобразованию семейных отношений; она еще более знаменательна тем, что показывает, как глубоко сидят еще в человеке нашего времени корни деспотизма и кулачного права. Во Франции, в половине XIX века, издается трактат, ничем почти не отличающийся от какой-нибудь «книги о злонравных женах, зело потребной, а женам досадной», которая считалась кодексом семейной мудрости у наших прадедов, наравне с

[1] «О справедливости» *(франц.)*.

«Домостроем», рекомендующим, как известно, в случае непослушания жены, «соймя рубашку, плеткою вежливенько постегать, за руки держа», и проч. Прудон не рекомендует, правда, плетки; но это не достоинство в его книге, а скорее недостаток: таким пропуском нарушается отчасти логичность его выводов. Есть, впрочем, и еще пункт разности между новым французским философом и нашими древними славяно-греко-российскими любомудрами. Любомудры эти, рассуждая о том, какое «естество» у женщины, злое или доброе, были прочно и непоколебимо убеждены, что женщина — существо, вполне подчиненное мужчине, не имеющее никакого права на свободу мысли и действий. Новые же философы, видя в жизни все более разрастающееся противоречие этой завоевательной теории, принуждены доказывать всякими правдами и неправдами то, что было у наших книжников доказанным убеждением. Они не хотят — не говорим: покориться ходу жизни,— а вникнуть в его смысл и в испуге от временного, преходящего зла норовят уложить жизнь в старые рамки и водворить прежний устав, прежнюю тишь да гладь да божью благодать. Но их посейдоновское «Quos ego!»[1] не угомонит волн общественного моря.

Прудон в своей книге высказал до последних крайностей деспотические основания того семейного устройства, с которым, как со всякою старою дрянью, как со старым халатом и старыми сапогами, трудно вдруг расстаться современному человеку. После автора «Экономических противоречий» нечего прибавить к его кодексу домашних и семейных законов; дальше в этом направлении идти нельзя. Прудона можно, пожалуй, и поблагодарить за его смелость выговорить наконец то, что все антагонисты женского движения или высказывали до сих пор слабыми намеками, или стыдливо затаивали в себе. Эта откровенность облегчает спор людям противных убеждений; им теперь во всей тонкости известны и мнения и чувства стороны, задерживающей движение к реформе семьи и отношений между двумя полами. Теперь нечего ни угадывать, ни подозревать: все ясно как божий день.

Это не то, что те двусмысленные, а часто и просто-напросто бессмысленные апофегмы, которыми обыкновенно отвечают на «утопии» иного семейного порядка,— апофегмы, которые можно толковать как угодно, и pro и contra[2].

---

[1] «Вот я вас!» (*лат.*)
[2] за и против (*лат.*).

Эта эластичность и сделала их особенно ходячими в обществе, и они обращались в нем до того, что потеряли всякое обличие. Скажите, кто не повторяет, как попугай, хоть бы следующих истин, считая их непогрешительным выводом из какой-то очень будто бы разумной и святой философии: «Роль женщины — роль преимущественно матери, воспитательницы будущих полезных граждан обществу; поэтому все интересы ее должны быть сосредоточены под домашнею кровлей; дом — это исключительное поприще ее действий. Воспитание не должно увлекать ее за пределы этой законной ее сферы; занятия изящными искусствами, полезными рукодельями наполнят досуги, остающиеся ей от забот матери и хозяйки дома». Фразы эти очень красивы; но не на каждом ли слове в них противоречие? Последняя фраза, например, предполагает непременным качеством в женщине отчуждение от общественных интересов, а стало быть и равнодушие к ним. Первая фраза, наоборот, требует от нее полного знания общественных нужд и сочувствия к ним. Иначе какой же гражданин обществу может быть воспитан ею? Воспитание будет хорошо только в материальном отношении. Разумеется, никто не заменит ребенку ни груди, ни ласк, ни любви матери; но вы хотите развития в нем нравственных начал? У всякого века своя нравственность. Нравственные доблести героических времен кажутся нам безобразием; ведь и чувство хоть бы личной мести было когда-то нравственным чувством. Нравственные понятия движутся и развиваются вместе с обществом и жизнью, а не стоят на месте. Требуя, чтобы женщина вносила в воспитание детей нравственные начала, мы должны предполагать в ней развитие в уровень с требованиями времени. Но откуда же такое развитие, если мы отрешим ее от участия в движении общества? Никакие изящные искусства, никакие с детства втолкованные правила морали не спасут ее, без прямого соприкосновения с успехами общества, от нравственного застоя. Любить можно только то, что хорошо знаешь; служить можно только тому, что любишь. Ограничивая жизнь женщины стенами ее дома, нечего требовать от нее служения общественной пользе. Материнскую любовь, которая, при широком развитии нравственном и умственном, была бы такою великой общественною силой, вы обрекаете быть тем, правда теплым, но тупым и эгоистическим чувством, каким является она у низших животных. Не силы на житейскую борьбу воспитывает такая любовь, а страх перед жизнью.

Посмотрите, не с особенным ли упорством останавливается женщина на принципах и понятиях, мало-помалу отживающих уже свой век в обществе, останавливается только потому, что они кажутся ей безопасны своей прочностью? Не женщины ли были всегда главными хранительницами предания? Эта робкая цепкость к старому, какому бы то ни было, но уже утвержденному до нас, эта неподвижность мысли, осужденной не выходить из узких пределов битой колеи, отражаясь на воспитании, отражаются и на ходе общества. Не только в большинстве, но даже часто и в лучших членах его замечается печальный внутренний разлад. Мысль, выработанная наукой и опытом жизни, говорит одно; чувство, воспитанное дома, в сфере, далекой от жизни, влечет в другую сторону, заподозривая самую законность несогласной с ним мысли. Предрассудок живет в обществе оттого, что живуче в нас чувство домашнего очага, от которого мы несем в жизнь этот предрассудок. Откуда же быть тут равновесию в жизни, от которого зависит разумный и прямой ее ход? И не только обыденный быт наш полон этих жалких и малодушных колебаний, не спасена от них и более светлая, более разумная сфера — сфера чистого знания.

Только коренное преобразование женского воспитания, общественных прав женщины и семейных отношений — представляется мне спасением от нравственной шаткости, которою, как старческою немочью, больно современное общество. Практические философы, плодящиеся, словно грибы, в гнили и плесени настоящего общественного здания, не любят никаких коренных преобразований, вероятно, по чувству самосохранения; но им бояться нечего: не только сами они, но и многие их поколения найдут себе удобную и питательную почву, прежде чем совершится преобразование, о котором я говорю...

В предлагаемых замечаниях я мало касаюсь исторической стороны вопроса о воспитании, об общественном и семейном положении женщин. Предполагая обработать в более широких размерах историю женского элемента в человечестве, я считаю нужным сказать пока, что мысли, высказываемые мною теперь, основаны на внимательном ее изучении. Характер всей истории женщин, начиная со времен патриархальной грубости и кончая нашим просвещенным и утонченным временем, один. Это постоянное и упорное тяготение к господству стороны, более сильной физически, и постоянный, не менее упорный протест стороны

физически слабейшей, протест, проявлявшийся и в домашнем, и в общественном быту, и в искусстве, и в науке, одним словом во всех областях жизни,— протест, вынудивший с течением времени немало уступок у противной партии, но все не смолкающий от этих уступок.

I

На предположения о необходимости уравнять общественные и семейные права женщины и мужчины, на требования одинакового для обоих образования большинство отвечает прежде всего сомнениями: возможно ли еще привести в исполнение эти предположения и согласиться на эти требования? Как для доказательства совершенной неспособности негров к свободному человеческому развитию плантаторы невольничьих штатов находят Агассизов, так и у защитников настоящего общественного порядка нет недостатка в ученых, философах и законодателях, которые как за прочную основу благоденствия общества ухватываются именно за неравенство прав и неравенство образования, когда дело идет о женщинах. Многие самые радикальные эмансипаторы, самые пылкие жрецы свободы, проповедующие как путь к лучшему общественному устройству равное для всех пользование благами жизни и знания, останавливают свою проповедь, доходя до общественного и семейного положения женщины, или, наперекор общим положениям своим, пускаются толковать о невозможности даровать женщине равные права и равное образование с мужчиной...

И по пунктам, на цитатах,
На соборных уложеньях

строят такой приговор: женщина ниже мужчины в физическом отношении, ergo [1]— должна быть подчинена ему; женщина ниже мужчины в умственном отношении, ergo — должна быть подчинена ему; женщина ниже мужчины в нравственном отношении, ergo — должна быть трижды подчинена ему. Подчинение невозможно при равенстве прав и образования; стало быть: не давать женщине ни таких прав, ни такого образования.

---

[1] следовательно (*лат.*).

Говорить все это голословно нельзя: если теперь не убедить никого кулаками, то не убедить никого и громким криком. Надо действовать сообразно с духом времени, облечь свою животность и наклонность к кулачному праву в утонченные формы современной цивилизации, вооружиться наукой, взять под мышку историю всех веков и народов и только на основании так называемых научных данных решить, что протест против насилия, который начинает довольно громко высказывать угнетенная до сих пор половина человечества, дик, нелеп, ни на чем не основан, что и физиология и история обрекают женщину на ту пассивную, рабскую роль, какую она занимала и занимает в обществе.

Говорить в защиту женщин — пока значит не что иное, как доказывать на основании почти тех же фактов, на которые опираются и противники женской эманципации, возможность и женщине быть гражданкою умственного и нравственного мира, составляющего в настоящую минуту исключительную привилегию мужчин.

Первая и главная помеха умственному и нравственному развитию женщины — это, по общественному мнению, самое физическое устройство ее и лежащие на ней обязанности матери и кормилицы. Одного этого пункта было бы, кажется, достаточно, при правильном фактическом доказательстве его справедливости, чтобы успокоиться на нынешнем положении дела и предоставить женщине исключительно ту роль, какую играет самка у большей части низших животных; родила, вскормила — и все тут? Но этим противники женского освобождения, как я уже сказал, не ограничиваются. Они утверждают, что и самый ум у женщины совсем не таков, как у мужчины, что и нравственность ее не такова. Из этого, разумеется, уж прямо выходит, что никак не следует давать воли ни тому, ни другой; иначе выйдет черт знает какой хаос вместо той прелестной, гармонической семьи, вместо того милого, образцового общества, какие существуют теперь.

Разобрать в подробности эти мнения о тройном препятствии, полагаемом самою природой женщины ее равному с мужчиной воспитанию и образованию,— мнения о физическом, умственном и нравственном несовершенстве ее, необходимо прежде, чем говорить об ином, лучшем строе семьи, который представляется нашим соображениям. Только коренная реформа в женском воспитании может вести нас к

этому строю и упрочить его, а вместе с тем упрочить и благосостояние и порядок общества.

Итак, из физических свойств женщины, полагающих главную преграду ее умственному развитию вровень с мужчиной, называют прежде всего сравнительную слабость ее организма и падающий на нее акт рождения.

Я не стану, разумеется, уверять, что физическая сила в женщине равна мужской силе. Но, спрашивается, что за важное значение имеет вообще физическая сила человека при настоящем развитии общества? Наука с каждым годом, чуть не с каждым днем, все более и более устраняет ее, подчиняя нам разнообразные силы природы. Но если б людям и до сих пор приходилось сражаться со сказочными Змеями Горыничами и таскать на спине камни для возведения пирамид, то и в этом случае какая физическая сила могла бы требоваться для занятий хоть бы математикой, химией, историей или даже для непосредственного участия в гражданской деятельности? Для того чтобы снять с полки древний фолиант или навести астрономический инструмент, силы нужно гораздо меньше, чем на один круг вальса. Занятия химией нисколько не утомительнее занятий кухонных, которые ведь считаются же доступною женщинам специальностью. Наконец, одна бессонная ночь среди шаманского кружения бала едва ли не стоит целой недели усидчивого кабинетного труда.

Едва отнятая от груди, девочка начинает получать уже иное воспитание, чем мальчик. А между тем известно каждому, что до наступления половой зрелости они ничем почти не отличаются друг от друга и только эта зрелость нарушает существовавшее между ними равновесие физических сил. Что же мешает учить в это время девочку тому же и так же, чему и как учат мальчика? Что мешает стараться о том, чтобы она привыкла ценить и полюбила умственный труд? Нет, для систематического покорения ее вечной опеке мужчины необходимо убить в ней всякую самостоятельность мысли. Мальчику дают в руки книгу, девочке — куклу.

При жалобах на слабость женского организма, мешающую будто бы развитию ума, заботятся ли по крайней мере о здоровом физическом воспитании? Как известно, мы в этом случае вовсе не похожи на спартанцев. Физическое воспитание девочки совсем не таково, как воспитание мальчика. Вместо того, чтобы развивать силу и укреплять организм, оно, своею балующею исключительностью, только расслаб-

ляет, делает женщину действительно каким-то беззащитным в физическом отношении существом.

Изнеженность, сообщаемая этим исключительным воспитанием, постоянная бездеятельность мысли и рядом с нею идущее несоразмерное развитие воображения ускоряют и самую половую зрелость. Первые явления этой зрелости застают женщину большею частью еще совершенным ребенком, и самая зрелость эта кажется какою-то аномалией, болезнью.

Статистические данные, собранные Бриером де-Буамоном и Рациборским об эпохе менструации при разных условиях климата и воспитания, ясно показывают, что зрелость половая находится в прямой зависимости от умственного и нравственного развития. Здравое развитие ума полагает преграду преждевременному и вредному развитию чувственности и делает невозможным анормальное появление признаков зрелости в то время, когда самой зрелости еще нет или когда самое существование ее не имеет должной цены. Правильная организация и здоровое сложение детей возможны лишь при действительной, а не фиктивной зрелости матери. Это факт всеми признанный.

А между тем все женское воспитание направлено у нас словно нарочно на то, чтобы приготовлять искусственно-зрелых женщин чуть не в тринадцать лет. И до сих пор, несмотря на возгласы наши о том, как далеко ушли мы вперед от каких-нибудь персидских, турецких нравов, сплошь встречаются женщины, у которых физическое развитие и рост остановлены тем, что они готовятся быть матерями. Какого же здоровья можно тут ждать от детей? Это скороспелые плоды, истощающие дерево и пользующиеся из него слабыми соками.

В наше время детское образование все более и более упрощается. Элементарные познания приобретаются уже без того тяжкого труда, который обусловливал необходимость ферулы и розог. Даже если предположить в девочке относительную слабость организма в сравнении с мальчиком, чего в сущности нет, то и тут равномерное с ним ученье ни в каком случае не может нанести физического вреда и помешать будущей женщине стать здоровой матерью и здоровой кормилицей своего дитяти.

А между тем даже в тех первоначальных познаниях, без которых мужчина не может шагу ступить в жизни, чтобы не оказаться дураком, отказывают женщине или передают ей

их в детстве так, что она привыкает мало-помалу видеть в них не что-либо существенное для жизни, а какую-то ненужную для себя заботу, которая минует вместе с детскою порой. Учась вместе с братьями, девочка замечает постоянное отчуждение себя от их интересов. На ее уроки смотрят сквозь пальцы; ей говорят: «Это для тебя лишнее!», «Это тебе не нужно!» Она старше своих братьев, зрелее пониманием; а между тем к ней несравненно менее требовательны, чем к ним. Нечего и говорить, что при таком взгляде невозможно не только мало-мальски серьезное образование, но даже и охота учиться. Во всех азбуках говорится, что «плоды учения сладки, а корень его горек». В то время как мальчика часто против воли заставляют сосать этот горький корень, девочке постоянно говорят: «Не сладко, так брось!» Как ни много успехов сделала метода элементарного образования, горечи в первых уроках осталось еще довольно, и приохотить к труду, пробудить любознательность, заставить полюбить знание — составляет все-таки главную задачу современного воспитателя. Только в женском воспитании задача эта отодвигается на второй план, если не забывается совсем.

Такое небрежение оправдывают обыкновенно тем, что женщина в зрелом возрасте, если только она удовлетворяет главному своему назначению — быть матерью, не имеет и времени посвящать себя интересам науки или общества. Тут начинаются обыкновенно выкладки и расчеты, из которых прямым следствием выходит знаменитая аксиома г. Мишле (в его книге «Любовь»), что «женщина есть существо больное». Действительно, при том направлении воспитания, какое дается в детстве женщине, все физиологические явления принимают в ней мало-помалу характер патологический.

Риль, в книге своей «Семейство», говорит, что противоположность двух полов проявляется окончательно лишь при высшей степени цивилизации, что не только у диких и полуварварских народов, но даже и в сельском населении образованных наций в женщине замечается много мужских, а в мужчине много женских элементов. Это действительно так; но эта противоположность полов никак не может считаться разумным и должным явлением. Напротив, разумность остается в этом случае на стороне диких и полуварварских народов. Не будучи вовсе поклонником буколического «état de la nature» [1], я, однако ж, позволю себе думать, что

[1] «естественного состояния» *(франц.)*.

и на так называемых высших степенях цивилизации немало вопиющих несправедливостей и готтентотских дикостей и что, несмотря на высоту нашего гражданского величия, нам можно бы кое-чему поучиться у каких-нибудь ароваков или эскимосов, где женщины благополучно родят и выкармливают здоровых детей, исполняя в то же время труднейшие сравнительно с мужчинами работы.

Снимите «табу», наложенное для женщины на общечеловеческие интересы, перестаньте смотреть на первые уроки ее с гигиенической точки зрения госпожи Простаковой, и мало-помалу расчеты и выкладки ваши, доказывающие постоянную, несовместную с более широким кругом деятельности болезненность женщины, потеряют свою убедительность.

Расчеты и выкладки эти сводятся в настоящее время на следующие цифры:

По наступлении половой зрелости у женщины в каждом месяце восемь дней должны быть причислены к праздникам. В эти дни болезненное состояние (опять-таки болезнь вместо физиологического явления!) не позволяет женщине ничем заниматься. Таким образом на год приходится праздного времени девяносто шесть дней. Не мало?

Затем, беременность отнимает у женщины девять месяцев, восстановление сил после родов — сорок дней, кормление новорожденного грудью — от года до пятнадцати месяцев.

Предположим, что у женщины будет четверо детей с двухлетними промежутками; вот уже двенадцать лет, которые должны быть посвящены ею материнским обязанностям.

Ни один из самых упорных противников женской эмансипации не может, однако ж, не признать, что женщина на время беременности и кормления грудью не превращается же в такое тупое и бессмысленное существо, чтобы оставаться совершенно чуждою всякой деятельности, кроме своих материнских забот. Это признает и Прудон.

Но, делая такую уступку, он тем не менее доходит до заключения, что женщина все-таки на все это время не может обойтись без пособия мужчины. «Если же мужчина (говорит он), будь это отец, брат, муж или любовник, остается в сущности единственным производителем, поставщиком и кормильцем, как может он подчиниться контролю и управлению женщины? Каким образом существо нетрудящееся,

живущее трудом другого, будет управлять трудом в течение своих постоянных родов и беременностей? Устроивайте как хотите отношения полов и воспитание детей, вы все-таки придете к убеждению, что женщина своею органическою слабостью и своим *интересным положением*, в которое не преминет попасть, лишь бы на то было желание мужчины, неизбежно и по праву должна быть исключена из всякого управления политического, административного, ученого и промышленного».

Тон иронии, всюду господствующий в книге Прудона, когда он говорит о предоставлении женщине иных прав, чем права домашнего животного, сильно подрывает веру в его беспристрастие. Немного нужно проницательности, чтобы заметить в этом тоне раздражение авторитета, человека, власть имеющего, на дерзость подчиненных... Это ирония американского плантатора, которому говорят, что его забитый негр может пользоваться одинаковым с ним правом голоса.

Даже при таком состоянии семьи и общества, какое мы видим теперь, едва ли кто-либо, за исключением таких непреклонных систематиков, как Прудон, может отрицать важность участия женщины в разрешении многих существенных вопросов жизни, хоть бы, например, вопроса о воспитании. Не бо́льшая ли свобода, данная женщине в новых европейских обществах, вывела нас из того жалкого прозябания, в котором чахнут народы восточные? Но остановиться на этой преимущественно внешней свободе, искусно прикрывающей печальные остатки того же азиатского рабства, значит остановиться на полдороге. А с теми экономическими основаниями, на которых утверждает Прудон необходимость подчинения женщины мужчине, нетрудно двинуться и вспять. Не разбирая пока, в какой мере женщина неспособна ко всем, исчисленным французским философом, родам деятельности, спросим только: так как и физиологические явления хотят во что бы то ни стало подчинить законам труда и капитала,— к какой категории труда, производительной или непроизводительной, следует отнести труд ношения в своей утробе и потом кормления ребенка? Или это даже и не труд, а праздность, за которую как возмездие следует не только лишение права на голос в обществе, но и полнейшее лишение свободы?

Мужская и женская половины человечества никогда не выйдут из указанной им самою природой взаимной зависи-

мости; но в том-то и беда, что масса под зависимостью понимает еще до сих пор не разумное равновесие, а подчинение одной и преобладание другой стороны. И вот — страх потерять власть заставляет мужскую половину искать оправдания своему господству и подчиненности женщин в самой их натуре.

Я уже сказал, что исключительное воспитание женщин и небрежение о развитии в них мысли ведут лишь к тому, чтобы сделать их действительно какими-то больничными субъектами. Цифра 8, приведенная мною выше, значится у Прудона. Мишле приводит еще высшую цифру для ежемесячных досугов женщины. У него, кажется, женщина и недели в месяц не бывает здорова. Если совершенствование пойдет такими быстрыми шагами, то надо ждать, что менструация скоро сделается смертельною или по крайней мере такою же опасною, как, например, тиф, болезнью. Женщина той низшей степени цивилизации, где господствует замеченное Рилем смешение полов, немало посмеялась бы и над восьмидневным сроком Прудона, не говоря уже о трехнедельных страданиях женщины Мишле. Отчего бы уж кстати не обречь родильницу на неподвижное лежанье в постели в течение всего периода сорокадневного очищения. Ведь продолжен уже многими акушерами и девятидневный срок после родов до двенадцати и более дней. В не избалованных же роскошью классах женщина сплошь начинает работать на четвертый день по произведении на свет младенца.

Я не скажу ничего нового и необыкновенного, если поставлю необходимым условием здоровья беременной женщины — вести тот самый образ жизни, какой она вела до начала беременности, за исключением, разумеется, тяжкого труда и противоестественных при этом усилий. Если в так называемых образованных классах беременные женщины позволяют себе носить тугие корсеты и танцевать чуть не до упаду на балах, что положительно вредно, то как понять возгласы людей, допускающих и то и другое, о вреде умственных занятий во время беременности?

И в этом случае, как вообще в большей части суждений о женщинах, следствие принимается за причину. Действительно, общество наше представляет немало примеров, когда умственные занятия во время беременности служат ко вреду здоровья женщины. Но что же это доказывает? Одно только: что предшествовавшее воспитание превратило для женщины всякий умственный труд в какую-то непривычную

пытку. Не точно ли так крестьянину, умеющему плохо читать по складам, легче вспахать десятину, чем прочитать десяток разгонистых страничек?

В этом же отчуждении от умственных и общественных интересов лежит причина тех ненормальных нравственных явлений, которые принимаются обыкновенно за неизбежные следствия беременности. Скука, странные прихоти, чрезмерная раздражительность — все это не может быть объяснено одними физиологическими изменениями в организме. Если эти явления и действительно неизбежны, то на иной, высшей степени умственного и нравственного развития, чем какого достигает обыкновенно женщина в наше время, они по крайней мере значительно бы умерились. Перевес воображения над мыслью, начинающийся с детства, есть одна из главнейших причин приобретаемой ими силы.

Партизаны гигиенического взгляда на женщину, считая единственно важным фактом ее жизни рождение и кормление детей и предписывая ей поэтому во всех других родах деятельности самую мелкую и жалкую роль, и не замечают того, что предписываемая ими дисциплина служит не к пользе, а во вред тому, что считается ими главною целью всего женского существования.

Повторяю — не органическая слабость и не периодическая беременность устраняют женщину от участия в политической, административной, ученой и промышленной деятельности, а с детства ложно направляемое, отличное от мужского, исключительное воспитание. В низших классах общества, и преимущественно в сельском населении, где (за исключением свойственной невежеству грубости) гораздо более сходства в воспитании обоих полов, существует между ними гораздо большее равновесие и в правах, обязанностях и образе жизни. Там женщины не отстраняются ни от участия в физическом труде, ни от деятельности более или менее общественной. И при всем этом катастрофы, довольно обыкновенные в классах высших, где женщина ограждена, кажется, от всех вредных влияний, случаются с женщинами из простонародья несравненно реже.

Французский врач Руссель, написавший классическую во французской литературе, хотя и наполненную предрассудками, книгу о женщине в физическом и нравственном отношениях («Système physique et moral de la femme»), говорит, между прочим, вот что об образе жизни простонародных женщин во время беременности:

«Они извлекают большую себе пользу из труда, к которому обязывает их общественное положение; они находят в нем для себя потребное и необходимое упражнение, отстраняемое от себя по ложным соображениям женщинами богатыми; ибо осторожность запрещает во время беременности лишь чрезмерные усилия.

Одно из великих благ труда (продолжает Руссель далее), это то, что он спасает нас от господства страстей: они зреют и кипят в спокойствии и праздности. Смущая вообще жизненные отправления, они не менее пагубны и для того отправления, которое служит сохранению рода. В них источник большей части случающихся выкидышей: от того-то эти случаи более обычны там, где окружающее общество или положение в нем женщины способствуют сильной игре страстей. Выкидыши в сельском населении происходят почти всегда от чрезмерных усилий или падений, редко бывают они следствием нравственных причин. Животные, будучи еще более охранены от этого влияния, выкидывают лишь вследствие насилий человека».

Заключим эти выписки еще одною цитатой.

«Самки животных (говорит автор «Системы») и женщины с организмом, не искаженным негой, не больны во время плодоношения. Беременность — болезнь лишь для тех женщин, обессиленным органам которых тягостно каждое отправление, лишь для тех хрупких и нежных созданий, для которых и каждое пищеварение есть краткая болезнь. Все прочие достигают обыкновенно предела беременности, не чувствуя никакой хворости, кроме неизбежной при этом состоянии тягости».

Все это вполне справедливо — и справедливо не в отношении только к физической, но и к нравственной стороне женской жизни, хотя о последней и нет здесь речи. Праздность мысли вредна не менее праздности тела. Она также способствует развитию и пагубных страстей, и томительного чувства недовольства собою и всем окружающим, и болезненной вследствие этого восприимчивости, раздражительности. Одна физическая деятельность не может же вполне поглотить жизни женщины. Указывая на женщин низших сословий, Руссель находит более приличным их образ жизни во время беременности; но, упоминая об их участии в физическом труде, он забывает сказать, что и нравственная и умственная жизнь их идет в то же время своим чередом, без всяких ограждений и ограничений. Сфера мысли и дея-

тельности поселянки теснее, может быть, чем у женщины из высших и более зажиточных классов; но это не значит еще, что там полный сон и застой умственный и нравственный, который так желательно водворить многим между женщинами с бо́льшими средствами к жизни, а стало быть, и с большею возможностью для всякого развития. Кроме того, упрекая последних (как это делает Руссель) в том, что они отстраняют от себя всякий физический труд, нам следовало бы определить сначала, в чем должен состоять физический труд женщины в тех классах общества, где довольство позволяет ей не брать на себя черных и тяжелых работ?

До сих пор я имел в виду тех женщин, которые удовлетворяют своему половому назначению — быть матерями; но нельзя же не вспомнить, что, независимо от неизбежных физиологических аномалий, самое устройство нашего общества вовсе не обеспечивает женщине эту долю. Что остается ей тогда? Жизнь без цели, без дела, без пользы, какое-то медленное умиранье. Верным застрахованием от такой жалкой судьбы было бы дельное и прочное умственное образование, которое открыло бы женщине путь и к полезной общественной деятельности.

Да и самые заботы материнские не обнимают собою всей жизни женщины. Прежде чем стать матерью, женщина не может же вся погрузиться в нянченье, обшиванье и одеванье кукол в виде приготовления себя к будущему воспитанию своих детей. Будь это так, следовало бы женщину считать ниже бессловесных животных, которым не для чего любить сначала кукол, чтобы полюбить потом детей своих. А время увяданья, когда способность деторождения уже истощилась, материнские обязанности кончены и дети давно живут самостоятельною и независимою жизнью? Что может быть печальнее и в то же время возмутительнее этой праздной дремоты, в которую женщина осуждена погрузиться в старости?

В ответ на все эти упреки и требования многие не прочь возразить: «Что ж? Попробуйте давать женщине совершенно равное с мужчиной образование. Мы против этого не спорим; ведь результаты всех стараний о женском просвещении будут за нас же. Опыт приведет-таки к убеждению, что женщина не способна к такому умственному развитию, как мужчина, у нее и мозг совсем иначе устроен. Были, правда, исключения из общего правила; но исключения ничего не доказывают. Сами женщины с этим согласны, умнейшие из женщин, как например г-жа Сталь, Рахель Фарнгаген и др.; Жорж

Занд прямо говорит, что женщина от природы дура («la femme est imbécile par nature»). Но что такое женский ум, женская гениальность даже в помянутых исключениях? Это ум, это гениальность только относительно общего мелкого уровня женских способностей, а никак не в сравнении с умом и гением мужчин. Мы готовы, пожалуй, с вами согласиться, что физические препятствия в природе женщины не представляют существенной важности для ее образования и для расширения ее прав; но будет ли от этого какая польза для общества? Посмотрите на опыт веков».

Посмотрим.

II

Как в истории наук и искусств, так и в истории обществ и государств, на каждой странице встречаем мы имена женщин как деятельных участниц в которой-нибудь из этих сфер. Стало быть, женщины никогда не были чужды ни умственному, ни социальному движению человечества. Как же после этого обвинять их в крайней ограниченности умственных способностей?

Не говоря о женщинах, стоявших во главе государств или усердно и с успехом служивших церкви (здесь они могли действовать под мужским влиянием, не самостоятельно), сколько женщин посвящали бо̀льшую часть своей деятельности искусству или науке! Нет знания, которое осталось бы совершенно незнакомою для женской мысли областью. Между женщинами есть знаменитые естествоиспытательницы, путешественницы; математика, медицина, филология насчитывают в числе своих деятелей также немало женщин. Менее занимались женщины философией и историею; но и здесь есть несколько уважаемых женских имен. Про изящные же искусства, которые испокон веку считались приличною женщинам специальностью, и говорить нечего. Живописиц, музыкантш, а тем паче писательниц, романисток и поэтесс, не перечтешь.

Но для многих это-то именно участие женщин в прогрессе жизни и знания служит одним из доказательств их сравнительной неспособности, их умственного бессилия перед мужчинами. «Где,— спрашивают обыкновенно,— где в этом бесконечном списке женских имен хоть одно такое, как имена, например, Бэкона, Гумбольдта, Лапласа в науке, как

имена Данта, Рафаэля, Моцарта в искусстве? Где великие женские открытия? где полезные женские изобретения? где данное женщиной новое направление общественной мысли? где начатый женщиною новый период в искусстве, в науке?»

Действительно, женщины занимают тут второстепенное место; но не второстепенная ли роль принадлежала им и в жизни, и не втесняла ли их самая эта роль и в более тесную сферу умственной деятельности? Едва ли станет кто отрицать неоспоримый факт, имеющийся у всех на глазах с первых доступных истории времен и до нашей просвещенной поры,— факт, что женщину постоянно обрекали на исключительное служение домашним интересам и всеми мерами старались сделать чуждою как интересам общества, так и интересам науки. Едва ли кто не знает, что воспитание ее стояло всегда не только вдали от жизни общественной в обширном смысле этого слова, но даже и в совершённом противоречии с современными требованиями общества, что к образованию не только равному с мужчиной, не только необходимому для первоначального нравственного воспитания своих детей (а это воспитание всегда вменяли в обязанность матери), но даже просто сообразному хоть бы с ограниченною чредой домашнего быта и неизбежному для этой чреды, у женщины были отрезываемы все законные (sic[1]) пути, что для выхода из своего пассивного положения ей приходилось отчаянно бороться со всевозможными препятствиями и в утвердившихся правах и в предписаниях действующей морали и действующего закона. Самые исключения из общей порабощенной массы, самые те женщины, имена которых служат лучшим залогом возможности широкого женского образования, не могли, при всех тяжелых усилиях своих, вполне освободиться от вековых уз предрассудка и несправедливости. Нужна не совсем обыкновенная сила ума, чтобы понять высокую цену для жизни того, о чем с детства втолковывалось нам как о чем-то ненужном и бесполезном (по крайней мере лично для нас). Нужна не совсем обыкновенная сила воли, чтобы вопреки прочно утвержденному порядку взяться за дело, признанное чуждым нашим способностям, и взяться за него не бесплодно; нужно полное отрешение от всего своего прошлого, не только перевоспитание, но почти перерождение. Если такое перевоспитание и возможно, то уже в года зрелого сознания, когда действительно

[1] так (*лат.*).

могут явиться помехой материнские обязанности женщины. Все детство, вся лучшая, цветущая пора молодости были потрачены даром; наука все это время оставалась запечатленною книгой: самая жизнь показывалась только с некоторых, известных сторон. Счастье еще, если голос общей жизни настолько доходил до слуха, что можно было не отупеть окончательно в одних чисто животных инстинктах, не потерять всякую нравственную восприимчивость и найти в себе хоть изредка, хоть слабый отзыв интересам общечеловеческим!

Где же вина женской природы, что ни одно из этого множества женских имен, вписанных в историю общества, науки и искусства, не может стать по значению своему наравне с вышеназванными мужскими именами! Если и даровитейшие представительницы женского элемента в науке и литературе, в обществе и государстве грешат подчас узкостью суждений, непрактичностью взглядов и действий, то не лучше ли источника этих недостатков поискать опять-таки в несовершенстве первого воспитания, трудности приобретения общедоступных для мужчины знаний и наконец в невольничьем положении посреди общества? Вы хотите видеть между женщинами Галилеев и Гумбольдтов, а запираете от них двери коллегий, университетов, академий, закрываете от них плотною завесой даже мир и природу и обращаете их как к единственным кладезям мудрости и просвещения к пансионам и институтам, где не дается понятия и об азбуке науки и преподается превратное понятие о жизни. Вы хотите видеть между женщинами великих художников, имена которых определяют век, когда они жили и действовали; а жизнь, эту единственную и твердую почву искусства, позволяете им наблюдать лишь издали. Чем шире сфера, изученная и воспроизведенная художником, тем важнее и прочнее его значение; где же доступна женщине такая сфера? Выходя на поприще литературы, женщины большею частью сходны с теми высоко даровитыми, но лишенными правильного и строгого образования личностями, которые выделяются из темной массы народа и называются обыкновенно «самоучками». «Только мужчина созерцает все в мире; женщина уловляет лишь подробности»,— говорит г-жа Неккер де Сосюр, сваливая вину на природные способности женщины. То же утверждают многие философы и писатели, опять-таки принимая следствие за причину и забывая, что на основании приводимых ими доводов можно утвердить вечное неволь-

ничество негра. Где, в самом деле, гении, вышедшие из этой среды? Таков ли уровень умственных способностей там, как в сословиях свободных? И неужто это мешает нам признавать важность просвещения, свободы и человеческих прав для негра?..

После этой параллели я считаю лишним спорить против мнения, что если единожды устроился такой порядок, если женщина с незапамятных времен находится в подчинении мужчине, то, значит, лучшей доли она и не стоит. Скажу только, что этот порядок устроился в те незапамятные времена, когда высшим и лучшим даром была для человека физическая сила, защищавшая его жизнь и свободу. Но века проходили недаром, и право сильного перестает считаться правом. К последним печальным остаткам его следует причислить ходячие истины, что у женщины ум «растительный», неспособный к логике, к правильному ходу мысли, что «идеи ее бессвязны, суждения бессмысленны», что «химеры принимает она за действительность, из простых аналогий выводит правила»; что «она не понимает сама себя, да и не способна понимать»; что «как в деле продолжения племени ей нужно оплодотворяющее семя мужчины, так и мысли ее сообщается деятельность лишь силою мужской мысли»; что «у женщины есть и понимание, и память, и воображение, но нет производительной способности в уме»; что «будучи способна усвоить (и то лишь до некоторой степени!!) найденную истину, женщина сама лишена всякой инициативы»; что «человечество не обязано женщинам ни одною идеей нравственной, политической или философской», что «оно подвигалось в науке без их содействия!»

На язык менее положительный и ясный, но зато более успокоительный для обеих сторон это переводится так: «Природа дала мужчине мощную силу и дерзкую отвагу, мятежные страсти и гордый, пытливый ум, дикую волю и стремление к созданию и разрушению; женщине дала она красоту вместо силы, *избытком нежного и тонкого чувства заменила избыток ума* и определила ей быть весталкою огня кротких и возвышенных страстей, и какая дивная гармония в этой противоположности, какой звучный, громкий и полный аккорд составляют эти два совершенно различные инструменты! *Воспитание женщины должно гармонировать с ее назначением, и только прекрасные стороны бытия должны быть открыты ее ведению, а обо всем прочем она должна оставаться в милом, простодушном незнании*: в этом смысле ее односто-

ронность в ней достоинство; мужчине открыт весь мир, все стороны бытия» [1].

«Вы стоите за ум женщин, говорят мне; а не более ли мужчин наклонны они к идеализму, к мистицизму? вообще не остаются ли они преимущественными хранительницами предрассудков и нелепых верований?» Да разве не этими же качествами характеризуется всякое умственное неразвитие— как в женщине, так и в мужчине? Дайте ей средства к образованию, расширьте поприще ее деятельности, и явления, кажущиеся вам теперь существенными, превратятся в чисто случайные.

Но работа мысли, отвечают на это, несовместна с материнскими отправлениями и обязанностями. «Женщина (утверждает Прудон) лишена способности рассуждения в продолжение некоторой части своего существования; любовь отнимает у нее рассудок; во время менструаций и беременности она не владеет своею волей». Мы уже видели из приведенных выше расчетов Прудона и Мишле,что они принимают за норму печальные искажения женской природы, произведенные во Франции неестественным и диким воспитанием. Вот и еще подтверждение. Как и отчего любовь непременно должна отнимать рассудок? Что это за ужасная болезнь менструация, что во время ее женщина собой не владеет? Конечно, если взамен ума развивать в женщине «избыток нежного и тонкого чувства» и открывать ей только «прекрасные стороны бытия», а относительно всего остального оставлять ее «в милом, простодушном незнании», то любовь как раз превратится в безумие и жизнь женщины будет представлять еще и не такие прелести. Далее: «У кормилицы излишнее возбуждение мозга изменяет качество молока и вскоре уничтожает его. Это видно в Париже, где женщины, вследствие множества общественных отношений, дел и забот, не могут, при всем желании и при счастливейшем расположении, выдерживать труд кормления грудью». Но разве *излишнее* возбуждение мозга есть *непременное* условие деятельности ума? И не оттого ли только всякая, очень обыкновенная для мужчины и вовсе для него не утомительная работа мысли сопряжена у женщины с особенным напряжением

[1] Я нарочно привел эти реторические и детски-несостоятельные фразы Белинского; нынче о них вспомнили по случаю издания его сочинений и тычут ими в глаза как вековечной истиной только оттого, что их написал Белинский, не разбирая, что они относятся к самой первой поре его литературной деятельности. *(Прим. М. Л. Михайлова.)*

головы, что работа эта совершенно непривычна избалованному с детства праздностью и бездействием мозгу? Пример Парижа в этом случае вовсе не убедителен. Упоминаемые Прудоном общественные отношения, дела и заботы могли бы правильнее назваться просто суетой, которая действительно способна нанести существенный вред физическому благосостоянию не только женщины, но и мужчины, и даже мешать здоровому развитию самой расы; но неужто эта суета, с ненасытной жаждой к приобретению, с болезненно-раздраженным воображением и каким-то безумным тщеславием, ищущим удовлетворения лишь в крайней пустоте и мишурности жизни,— неужто эта суета есть сама по себе нормальное явление? Обращаясь снова к населению сельскому, мы видим, что женщина, кроме лежащих на ней подчас тяжелых физических трудов, не изъята там и от такого же (сравнительно) «множества общественных отношений, дел и забот». Но с деятельностью этой женщина знакомится там раньше, исподволь, а не переходит к ней разом, как это водится в более «развитых» и более зажиточных классах, из хлопок баловства, неги и бездействия.

Требуя для женщины равного с мужчиной образования, я вовсе не желаю видеть в каждой женщине ученого, философа, историка, математика и проч., и тем менее дипломата, политика, купца, администратора в нынешнем смысле этих слов. Я думаю только, что воспитание должно быть для всех одинаково в том смысле, что дело его развивать способности, а не убивать, расширять область мысли,— а не суживать, и что нет такого человеческого существа (если только оно не какой-нибудь несчастный урод), для которого были бы вредны какие бы то ни было стороны человеческого ведения и которому полезно было бы относительно некоторых предметов «оставаться в милом, простодушном незнании». Надо или признать справедливость этого последнего замечания, или не требовать от женщины никакого иного участия в деле воспитания детей, кроме кормления грудью. Но в таком случае какой смысл будет иметь семья? что будет связывать отца и мать ребенка между собой, кроме половых стремлений? Недаром, при нарушении равновесия между женским и мужским развитием, все более и более расшатываются основы семьи. А между тем противники женского развития — в то же время первые поборники семьи; такими по крайней мере выставляют они себя, называя всех эманципаторов разрушителями семейственной гармонии.

Чтобы показать лучше значение равного умственного и нравственного развития для мужчины и женщины как брачной четы, считаю не лишним высказать несколько основных, почти азбучных понятий об отношении семейства к обществу. В них ничего не будет нового, но нельзя не пожалеть, что большинство слишком часто их забывает. Я постараюсь быть кратким.

Основное условие существования и развития человеческого общества есть преемственная смена поколений. В этом чередованье жизни и смерти, в этой преемственности лежит возможность обновления как физических, так и нравственных сил человечества, возможность идти к лучшему устройству своего быта, к большему и большему подчинению себе роковых и враждебных сил природы, под руководством приобретенного предшествовавшими поколениями опыта и знания. В мысли, что и в жизни низших животных, у которых мы видим более или менее правильную общественную организацию быта, как например у муравьев и пчел, также участвовал, если не участвует, исторический опыт,— много вероятного. Действительно, может быть миллионы поколений пчел и муравьев рядом трудных опытов и тяжких усилий приготовили этот чинный порядок, который изумляет нас в устройстве улья, в устройстве муравейника. Разумеется, это пока одна догадка, хоть и очень правдоподобная; только в жизни человека преемственная смена поколений является нам непременным законом его совершенствования.

Эта постоянная смена всей массы членов общества возможна лишь при смерти одних, при нарождении других. Только не определенный положительно одною неизменною цифрой лет размер человеческой жизни уравновешивает эти крайние явления; только отсутствие правильной периодичности в них допускает возможность совершенствования людского общества.

Для того чтобы нарождающиеся поколения могли усвоить опыт и знания отживающих поколений, необходимо достаточное количество времени для их взаимного общения. Эта необходимость обусловливает воспитание нового поколения в уровень с теми началами и понятиями, которые путем опыта внесены уже в жизнь общества.

Для произведения нового существа, нового члена общества, неизбежен союз двух полов, мужчины и женщины. Будь человек животное необщественное, стало быть неспособное к развитию,— этому союзу не нужно было бы проч-

ности. Как у многих животных низших минута встречи между самцом и самкой вполне обеспечивает продолжение рода, так мимолетное и случайное соединение мужчины с женщиной обеспечивали бы существование человечества. Воспитания животного, падающего исключительно на мать, было бы вполне достаточно для пользования благом жизни.

Но человек не только член известной зоологической серии, он в то же время звено общества, без которого немыслимо существование и самой этой серии. Кроме воспитания физического, животного, ему нужно воспитание общественное, то есть нравственное. Такое воспитание, чтобы не быть односторонним, должно совершаться под согласным влиянием мужчины и женщины как представителей обеих половин человеческого общества. Из этого ясна необходимость более продолжительного сожития мужчины и женщины для воспитания своего чада.

Такое сожитие не может быть утверждено на одном только половом влечении. То, что мы называем любовью, обусловливает прочность его. Физиология не открыла и не угадала еще закона, управляющего этим свойством человеческой природы, закона парности организмов, если можно так выразиться. Но что такой закон существует, в этом убеждает каждого и личный опыт и наблюдения. Пословица: Chaque vilain trouve sa vilaine [1], выведена из жизни.

Над определением сущности любви мудрило немало голов в париках и без париков; но пока физиология не разрешит вопроса, мы в этом случае будем упражняться преимущественно в словоизвитиях.

Не умея разгадать существа любви, мы можем, однако, заметить некоторые характеристические черты ее проявления и по ним судить, каково должно быть ее участие в гармонии общества. Так, не ежедневно ли встречается факт неизъяснимого влечения мужчины к женщине, которого никак нельзя приписать исключительно разнице полов? В значительной части случаев чувственность и не говорит вовсе. Это такое же явление, как безусловные и беспричинные, по-видимому, симпатии и антипатии между лицами одного пола, какие мы также замечаем на каждом шагу. У каждого из нас, как сказал кто-то, есть как будто сфера притяжения для одних, сфера отражения для других. Натуры,

---

[1] Аналогично русской пословице: «Кому невеста годится, для того и родится».

таким образом, враждебные не могут ужиться вместе, и, наоборот, натуры симпатические будут постоянно тяготеть друг к другу.

Для правильного и стройного воспитания нового члена обществу нужен прочный союз именно таких согласных натур. При настоящем извращенном положении общества подобные сближения редки, хоть и не невозможны. Мы ходим как в тумане. Укорененные предрассудки, различия сословий, состояний, исповеданий, раздельное воспитание, неравенство образования — все это отрезывает всякие пути к правильному сближению. Все почти зависит в этом отношении от случайности.

При той степени цивилизации, до которой человечество достигло теперь, для полной прочности союза, для полной гармонии между мужем и женою, для вполне разумного и здравого воспитания новых поколений мало, однако ж, одних этих природных, вне воли нашей лежащих, условий. Натуры в существе своем могут быть вполне симпатичны, взаимно влечься друг к другу и в то же время чувствовать нарушение этой внутренней, глубокой симпатии, вследствие разности своего общественного, нравственного развития. Препятствия, служащие, как сказано, помехой для сближения в нашем обществе согласных, парных натур, нарушают гармонию союза и таких пар. И в тех счастливых случайностях, которые нам попадаются изредка в жизни, мы не видим прочности, какой бы желали.

Неравенство образования, неравенство общественных и семейных прав мужчины и женщины вносят в их отношения деспотизм и рабство. Любовь, соединившая их, нарушена этими враждебными отношениями, и на воспитании детей отражается дисгармония жизни воспитателей. Кто из нас, выходя из семьи, не несет на себе или преимущественного влияния отца, или исключительного влияния матери? Кто с самого детства не отдан на произвол колебаниям,— чью сторону принять, отцовскую ли, или материнскую?

Вот на каких основаниях утверждается необходимость расширить умственное развитие женщин. Делая вывод изо всего сказанного выше, повторяю, что возражения против способности их к такому развитию свидетельствуют только о том небрежении, в каком оставалось и, к несчастию, остается до сих пор женское воспитание. Несмотря, однако ж, на все вольные и невольные старания отодвинуть женщину как можно дальше от умственных и нравственных интересов

жизни, история представляет нам столько замечательных и достопамятных в ходе цивилизации женщин, что сомневаться в возможности, а тем более пользе расширения образования и общественных прав женщины — нельзя.

Мне невольно приходят на память несколько шутливых строк умного Мерсье в его «Картине Парижа». Сквозь шутку чувствуется глубокая правда этого замечания. Говоря о постыдной завистливости, заставляющей мужчину стараться о невежестве женщины, Мерсье прибавляет: «Мужчина постоянно боится какого бы то ни было преимущества над собою женщины; ему хотелось бы, чтоб она пользовалась лишь вполовину своим существованием. Он ценит скромность женщины, или, лучше сказать, уничижение ее, как одно из лучших ее качеств; а так как *у женщины больше природного ума, чем у мужчины*, то ему не по нраву эта проницательность, это быстрое понимание... Мужчина всегда будет больше ценить красоту, чем ум женщины, потому что последним может пользоваться всякий».

В сущности каждого строгого мужского суждения об уме и нравственных качествах женщины непременно откроются, вглядываясь, те непохвальные побуждения ревнивого желанья господства и те животные поползновения, над которыми смеется Мерсье.

Даже соглашаясь с мнением, что виною физической слабости женщины не столько их организация, сколько род жизни, указанный им обществом, что малое их значение в науке зависит преимущественно от дурного их воспитания, даже признавая все это, редкий мудрец не кончит таким замечанием, достойным разве какого-нибудь восточного владельца многолюдного гарема: «Как бы то ни было, счастье женщин будет всегда зависеть *от впечатления, производимого ими на мужчин*, и едва ли тот, кто их действительно любит, будет особенно доволен, видя их марширующими с ружьем в руках или поучающими с высоты кафедры, а тем паче с трибуны, где обсуживаются интересы целой нации».

Так, слово в слово, говорит Кабани в своих «Rapports du physique et du moral de l'homme» [1], книге, из которой, не прибавив ничего нового от себя, взял Прудон свои доводы физического и умственного несовершенства женщин.

---

[1] «Взаимное отношение физических и духовных явлений в человеке» (*франц.*).

Не слышна ли в этой заботе о приятном впечатлении женщины на мужчину та развращающая философия деспотизма, которая положила печальную тень и на нравственный характер женщины? А между тем, извратив, в угоду своей чувственности, лучшие нравственные качества женщины, мужчины еще настолько непоследовательны, что порицают дело рук своих и обвиняют женщин в какой-то будто бы прирожденной безнравственности!

Эти обвинения еще сильнее и еще несправедливее, чем разобранные обвинения женщин в физическом и умственном несовершенстве. К ним-то мы и обратимся в следующей статье.

III

В чем же, по мнению современных староверов, заключается это прирожденное нравственное несовершенство женщины, мешающее ей занимать в обществе и в семействе равное с мужчиною место? Они окончательно решили, что женщина лишена всякой инициативы, что все хорошие общественные качества приобретены ею лишь под влиянием мужчины. Оставьте ее вне этого влияния, и она делается существом вполне безнравственным. В ней самой нет сознания силы и разума, сознания, которое одно образует нравственный характер, внушает отвагу, дает энергию воле, заставляет отвращаться от лжи, ненавидеть несправедливость, делает противным всякое подчинение и всякое преобладание.

Все это хорошо на словах; но так ли выходит на деле? Женщина (мы это видим и в прошедшем и в настоящем) находится в постоянном подчинении у мужчины. Но действительно ли чувство справедливости, присущее одному мужчине, установило такие отношения? Я уже говорил, что подчинение и зависимость, два совершенно различные понятия, постоянно смешиваются большинством, что на первых порах человечества, когда каждый шаг его на земле был опасностью и борьбой, когда физическая сила была главным обеспечением самого существования, зависимость между мужчиной и женщиной была вполне неизбежна и отвечала требованиям справедливости. Если даже при полном равенстве физических сил между обоими полами, какое мы видим у низших животных и какое вправе предположить в первобытном человеке, мужчина и имел в некоторых случаях и в

известные сроки преимущество перед женщиною в деле охранения племени, то в этом преимуществе не могло быть ничего обидного, деспотического. В других случаях, в другие сроки такое преимущество принадлежало женщине. Если мужчина, будучи защитником женщины во время ее беременности, во время родов и кормления грудью ребенка, и чувствовал порой свое важное значение для дитяти и матери, все-таки не мог же он не сознавать великой важности участия женщины в деле продолжения рода. Ведь только инстинктивное стремление продлить свое существование в детях и заставляло мужчину заботиться о безопасности своей подруги. Жизнью управлял еще стихийный фатализм. Любовь была еще вполне роковою силой, крепко связывающей чету, державшей в равновесии взаимные отношения. Она была и первою зиждительницею общества. «Любовь к женщине,— говорит гениальный германский мыслитель нашего времени,— есть основа всеобщей любви. Кто не любит женщины, не любит и человека». То же можно сказать и о любви женщины к мужчине, как в нем самом, так и в его потомстве.

Но с развитием общественности, с усложнением общественных отношений взамен любви женщину с мужчиной стали часто соединять материальные интересы, домашнее равновесие нарушилось, и физическая сила мужчины, деятельность которой не прерывалась периодически, как у женщины, ношением, рождением и кормлением детей, взяла перевес. Она продолжала еще быть главным залогом безопасности и благоденствия.

При отсутствии прочно связующей любви, чтобы удержать за собою власть, мужчине приходилось все более и более ограничивать свободу женщины. Стеснение ее обеспечивало притом бо́льшую свободу ему самому. И таким-то образом совершилось странное и доныне несокрушимое разделение нравственности на мужскую и на женскую, вместе с таким же разделением и всякого знания и всякой деятельности. Что считалось если не вполне законным, то по крайней мере дозволенным, простительным для мужчины, за то женщину наказывали и казнили изгнанием, побиением камнями, сожжением, наказывают и казнят и теперь не менее жестокою казнью общественного мнения.

И после этого можно говорить, что сто́ит только оставить женщину вне мужского влияния, она окажется существом вполне безнравственным? И после этого можно ценить так высоко инициативу мужчины в деле устройства семейных и

общественных отношений? Не его ли господствующее влияние, низводя женщину на степень то рабы, то наложницы, породило в ней и все свойственные рабству пороки — лицемерие, ложь, робость и прочее?

Прудон насчитывает и еще немало безнравственных сторон в характере женщины; но все эти пороки, так тщательно исчисляемые им, настолько же, если не гораздо больше, проявляются в мужчине. Разберем главные.

«Распущенность характера,— говорится в книге «De la justice»,— яснее всего видна в любви женщин. Говорят, что по какому-то инстинкту самки животных выбирают преимущественно старых самцов, самых злых и безобразных: женщина, если она следует лишь своему влечению, ведет себя так же. Мы уж не говорим о внешних качествах, в выборе которых женщины обличают самую странную причудливость, посмотрим, что предпочитается ими в качествах нравственных. В этом отношении женщина всегда предпочтет какого-нибудь хорошенького (это не внешнее качество??) и милого манекена, сладенького любезника человеку честному. Женщина — это сокрушение человека справедливого [1]; какой-нибудь волокита, негодяй может всего от нее добиться. Преступление, совершенное для нее, трогает ее в высшей степени; и наоборот — у ней не найдется ничего, кроме презрения, к человеку, способному любовь свою принести в жертву совести. Это Венера, посреди всех богов избирающая Вулкана, хромоногого, заплывшего жиром, покрытого грязью, и потом утешающаяся с Марсом или с Адонисом».

Не кажется ли вся эта сердитая тирада насмешкой над читателем? Надо предполагать в нем большую недальновидность, чтобы думать, что он почти везде не заменит тут слово «женщина» словом «мужчина» и наоборот. Вся разница в том, что мужчина не пленяется наружным безобразием. Да и женщина, сколько мы знаем, не особенно его ценит без ума и нравственных достоинств. Уж если нужно было непременно брать пример у Гомера, так не лучше ли было бы с Олимпа спуститься на землю и обратить тут внимание на «многоумную старца Икария дочь» Пенелопу? Кажется, одна эта примерная хранительница супружеского долга

---

[1] Вот эта фраза в подлиннике: «La femme est la désolation du juste». Чем это хуже восклицания знаменитого апологета, что «женщина — врата дьявола»? *(Прим. М. Л. Михайлова.)*

могла бы служить ходатайницей за нравственность женщин перед строгим философом. Но тогда не было бы едкой диатрибы против французских émancipées [1]; а они пришлись, видно, очень солоно нашему мыслителю. Об успехе в любви волокит и негодяев, о преступлениях, совершаемых любви ради, мы столько читали у Поль де Кока и у романистов неистовой школы, что не чувствуем никакой охоты возвращаться к этому предмету. Даже и эти не совсем-то крепкие в мышлении господа всю беду сваливают или на нелепую наивность женщин, тщательно воспитанную в них с детства, в исключительной домашней сфере, или на развращающий воображение, без пищи чувству, романтизм.

Не мужчина ли, наоборот, проявляет в отношении женщины ту безнравственность, за которую нападает на нее Прудон? Что, даже до настоящей поры, ценится мужчиною в женщине более всего? Чисто внешние качества ее, которые говорят только чувственности. Все почти нравственные недостатки и пороки в женщине, льстившие мужской похоти или утверждавшие мужскую власть над женщиной и ставившие ее в положение вполне подчиненное мужчине, находили в нем не только постоянное оправдание, но и поощрение. Не слышите ли вы чуть не каждый день от людей, которые и сами считают себя развитыми и нравственными, да и другими считаются таковыми же, не слышите ли вы от них беспрестанно, что женщина без кокетства не стоит внимания, что это и не женщина вовсе? Говоря проще, она не заигрывает с нами, не раздражает в нас животной чувственности, стало быть не может быть нашею рабой; а мы хотим эгоистического наслаждения, хотим господства.

Где же это живущее в душе мужчины чувство справедливости, томительное стремление к уравнению социальных отношений, прав и проч., эта лучшая добродетель его?

Женщину обвиняют в полном отсутствии этой добродетели. Говорят, что в ней что-то постоянно возмущается против требований равенства, что ей непременно хочется предпочтения, что мечты ее направлены на то, как бы быть хоть на минуту исключением из числа других, как бы поцарствовать, погосподствовать, что она понимает лишь привилегии и преимущества, а не понимает права.

Опять недостатки, выросшие из ограниченного со всех сторон, рабского положения женщины. Эти мечты, свойст-

---

[1] эмансипированных женщин (*франц.*).

венные детскому неразвитию, вполне понятны при постоянном гнете со стороны мужчин. Человек, засаженный в тюрьму, в крепость, тоже мечтает, как бы хоть денек побыть на полной свободе, подышать чистым воздухом, побродить по полю — над головой только глубокое ясное небо, под ногами только пышная зеленая трава...

Oh! but to breathe the breath
Of the cowslip and primrose sweet —
With the sky above my head,
And the grass beneath my feet!

А будь он на свободе, он готов отказаться от «аромата весенних лугов» для темной, лишенной и солнца и свежего воздуха рабочей комнаты, в которой удерживает его полезный, по его мнению, труд.

Не так ли и женщина, со своими розовыми мечтами о том, как бы хоть на денек стать царицей (dame, princesse, reine ou fée [1]), могла бы, при желанном расширении воспитания и прав, обратить уже не мечты, а мысль свою на полезную общественную деятельность, соответствующую ее силам и способностям? Не видим ли мы женщин часто и теперь (и еще как часто!) несущими с изумительной твердостью обязанности, наложенные на них большею частью воображаемым или принятым на веру долгом? Чего же должно ждать от них, когда их призовет к делу законная действительность, когда долг будет им указываться разумом и укрепляться в них сознанием?

Но и эта энергия воли, которой не могут не признать даже и ратоборцы мужчин против женщин, объясняется ими в дурную сторону. Это, по их мнению, не энергия, а просто жалкая пассивность, врожденное женщине чувство покорства, которое и обрекает ее на вечное подчинение. Замки наших теремов не обеспечивали, однако ж, неприкосновенности их обитательниц; примеры же этого будто бы жалкого, пассивного покорства встречаются лишь при бо̀льшей свободе, данной женщине.

Мне кажется странно опровергать еще одно, самое грязное из обвинений, взводимых на женщину, именно в том, что она лишена стыда, что она вся живет чувственностью; но нельзя оставить этих обвинений неразобранными, потому что, несмотря на свою дикость, они повторяются в более

---

[1] дамой, принцессой, королевой и феей *(франц.)*.

или менее грубой форме очень многими. «Женщина создана для любви». Это мнение с первого раза и грубым даже не покажется; напротив, сколько поэтов повторяло его на все лады, на всех языках, начиная с какого-нибудь древнеиндийского Джаядевы и кончая хоть бы каким-нибудь русским Подолинским или Туманским! После такого долговременного повторения, после всех цветов поэзии, которыми она окружалась, фраза даже как будто не представляет никакого особенно дурного смысла. Но стоит только выразиться яснее, и все, пожалуй, обидятся. Скажите: «Женщина создана служить игрушкой мужской похоти», и все восстанут против такого мнения, хотя оно в сущности то же, что и высказанное в льстивой фразе: «Женщина создана для любви». Любовь в этом случае поставляется целью жизни, а не одною из тех зиждительных сил, которые организуют жизнь, вносят в нее строй и порядок. Говоря, что по строгом разборе оказывается, будто «у женщины нет иной наклонности, иной способности, кроме любви», Прудон разумеет именно чисто чувственную, не озаренную сознанием любовь, то «темное наслаждение», в котором живут и бесследно для будущих поколений умирают все другие животные породы...

Alle die andern
Armen Geschlechter
Der kinderreichen
Lebendigen Erde[1].

«У зверей (говорит автор книги «О справедливости») самка ищет самца и подает ему знак; надо признаться, что то же самое видим мы и в женщине, в ее естественном состоянии, в котором застает ее общество. Вся разница между ёю и другими самками та, что время любви у нее не прерывается (que son rut est permanent) и иногда длится всю жизнь. Она *кокетка*; не все ли сказано этим словом? И не лучшее ли средство понравиться ей — снять с нее труд объяснения: так глубоко сознает она свою похотливость».

Эти слова разом ставят нас посреди самого омута современных нравственных понятий. Не все ли мешается перед вами в темный хаос лжи и призрачности? Абсолютной справедливости, сокрушавшей неправду в других сферах жизни,

[1] Все другие
Убогие поколения
Плодовитой,
Животворящей Земли (*нем.*).

как не бывало; эта справедливость оказывается вдруг в полном согласии с философией тех аскетических мудрецов, которые казались уже окончательно пораженными насмерть. Нет! им можно еще приподняться; из того, что осталось живого от их морали, можно опять воссоздать и все остальное.

Я тоже назвал кокетство одним из гнуснейших пороков, потому что это — ложь, старание придать себе такие достоинства, каких в нас нет, желанье слуги угодить господину, ложь притом корыстная, рассчитанная. Но что вызвало ее? Не постоянное ли господство мужчины, требовавшее от женщины безгласности, не дававшее ей никакой опоры для самостоятельного существования, отнимавшее у нее всякое право на общественное значение, отказывавшее ей даже в личной свободе.

Единожды признав женщину человеком (или и это стало в наше время сомнительным?), признав за нею даже сравнительно меньшие перед мужчиной способности нравственные, умственные и физические, будем по крайней мере настолько последовательны, чтобы считать порок пороком, в ком бы он ни проявлялся. Считая женщин какими-то недоконченными природою существами, проявим столь высокую в нас силу разума, столь неумытное чувство справедливости хоть в том, что найдем облегчительные обстоятельства женским винам.

Но нет! ложь овладела нами слишком деспотически, и тоже ложь глубоко корыстная, глубоко рассчитанная. Мы хотим с виду казаться совсем не тем, что мы в сущности. Темные поползновения свои мы одеваем в блестки разумности; эгоистические стремления к преобладанию маскируем заботами о порядке общества. Правду, прямое выражение мысли и чувства мы готовы называть бесстыдством; жалкая бесстрастность ставится нами в закон жизни, потому что с теми исключительно животными страстями, которые владеют нами, нельзя показаться на дневной свет, не утратив невозвратно своего человеческого достоинства.

«Отчего, — спрашивает Прудон, — *независимо от причин экономических и политических*, проституция несравненно значительнее у женщин, чем у мужчин? Отчего в общей жизни наций многоженство так часто встречается, а многомужство так редко?»

И это доказательства безнравственности женщин! На свое «отчего» Прудон отвечает: «Оттого, что естественное назначение женщины прежде всего — деторождение, и она

всеми силами существа своего стремится к этой единственной цели».

Но проституция есть лучшее средство удалиться от этой цели. Что же могло развратить женщину, кроме причин экономических и политических, если действительно у нее одна цель и одни стремления.

О многоженстве нечего и говорить. Оно свидетельствует прямо о животности мужчины, которому хотелось бы, чтобы у женщины был в самом деле «rut permanent» и она не становилась не способною для удовлетворения его чувственности во все время беременности и кормления грудью ребенка. За подтверждением можно обратиться к большей части гигиен для беременных женщин, написанных мужчинами: редкая решительно запрещает продолжение супружеских отношений во время беременности; говорится обыкновенно лишь об умеренности. Что это, как не глубочайший разврат?

Чтобы окончательно проститься с мнениями многоупоминаемого Прудона о безнравственности женщин, я выпишу заключительные слова его рассуждения [1]. Обращаясь к защитникам женщин, он восклицает:

«Ах, не говорите, пожалуйста, о позорном заточении, которому так долго подвергалась женщина, о купле и продаже ее личности, о всех препятствиях, противупоставленных ее воле, ее движениям. Факты эти окажутся лишь свидетельством неспособности ее ума и неблагородства ее сердца. *Так следует обратиться к этим печальным правам*? *Нет*, говорить это — значит клеветать на оба пола. У моралиста одна цель: проникнуть в *смысл* нравов и учреждений. Смысл этот теперь *всякому* ясен: посмотрите на женщин на востоке и во всех странах полуцивилизованных или варварских; вспомните истории Сары, Ревекки, Руфи, Вирсавии и всех этих *пригожих самок* (gentes femelles), которые ложатся, только что взглянет на них мужчина; вспомните, что первые законы, говоря о прелюбодеянии, не обращаются к женщине; перечитайте наконец учителей первых времен нашей

[1] Я не цитировал бы так часто мнений Прудона, если б они не повторялись иногда и у нас. Недавно в сочинении г. Лаврова «Очерк истории личности» было сказано: «Несмотря на красноречивые страницы, писанные в разные времена о семействе, едва ли кто *так высоко поставил его значение*, едва ли кто с такою строгостью защищал святость брачного союза, как этот писатель, которого представляют врагом всякой человеческой связи». Мне слова эти кажутся иронией; но, может быть, не все увидят в них иронический смысл. *(Прим. М. Л. Михайлова.)*

эры, и вы поймете побудительную причину отвержения, так долго тяготевшего над женским полом».

Ответ на все это есть уже в том, что было сказано мною выше. Я замечу теперь только, что если брать мерою справедливости долговечность и живучесть известных законов и учреждений, то придется отдать преимущество именно тем, которые наименее выражают человеческое достоинство, потому что явились и утвердились на степени животной грубости и невежественности человечества. Самое древнее из всех прав — право сильного. С не меньшим пафосом можно было бы воскликнуть: «Взгляните на ход человеческого развития! Что торжествовало у всех народов полуцивилизованных или варварских? Физическая сила. Кому принадлежат и власть и господство? Физической силе». Но этот пафос никого не убедит.

Остановимся еще на поименованных Прудоном женщинах еврейского востока. Этот список неполон: следовало бы к нему прибавить еще хоть дочерей Лота, хоть Фамарь. Но в опущении таких имен ясно проглядывает тонкий расчет.

Дочери Лота напомнили бы непременно Содом с его погибелью и зверскою животностью, какой не представляет да и не может нам представить история женщин. Содом не басня, какою можно считать лесбосскую любовь женщин, не видя ей повторения; содомия повторилась в Греции, в Риме, на всем азиатском востоке; от этого ужаса не изъяты и новейшие общества. Прудон говорит об этом пороке очень много в своей книге; но он вовсе не служит ему для обвинения мужчины в безнравственности, тогда как продажу Сары он ставит в число обвинительных статей против женщин.

Вероятно, то же побуждение, что и в первом случае, заставило его умолчать о Фамари. Это предание очень характеристично. Оно представляет довольно наглядно мужскую и женскую нравственность времен, на которые ссылается Прудон. Один из мужей Фамари дал имя другому тайному пороку, против которого неустанно ратует медицина нашего времени, пороку опять-таки по преимуществу мужскому. Но не на это главным образом хотел я указать в истории Фамари.

Она была бездетна при первом муже, бездетна при втором, который сам не хотел продолжать семя первого мужа Фамари, своего старшего брата. Свекор, по смерти и второго мужа, обещал женить на ней своего третьего сына, когда он

достигнет совершеннолетия; но как тот подрос, раздумал. Забота о продолжении рода была тогда главною и существеннейшею нравственною заботой человека. Все исторические и поэтические предания свидетельствуют об этом. Фамарь сокрушалась своим бесплодием и выдумала хитрость. Она узнала, что свекор ее отправляется стричь овец, нарядилась, покрыла себе лицо, чтоб он не узнал ее, и села на распутье, по обычаю блудниц. Свекор, проходя, заметил ее и, не узнавши, кто она, подошел к ней и сделал ей предложение, на которое она немедленно согласилась. Кто в этом случае извинительнее с нравственной точки зрения Прудона? Уж конечно не «пригожая самка», которая ложится, только что взглянул на нее мужчина; а этот старый самец, отец трех взрослых детей, который тоже ложится, едва взглянувши на женское платье, потому что и лица-то Фамари он не видал. Свою правоту он докажет впоследствии еще тем, что когда придут ему сказать о беременности вдовой невестки, он скажет: «Взять ее да сжечь!» — и только тогда умилостивится, как узнает, что это плод его собственной *шалости*.

Вообще духом великой терпимости к подобным мужским «шалостям» проникнута большая часть законов древнего мира; зато рядом с этой терпимостью постоянно идет жестокая гроза на женщин, позволяющих себе то, что позволено мужчинам. Между тем нигде в истории не видим мы резких фактов, которые вызывали бы со стороны женщин такой гнет. Во всех народных песнях, во всех древних поэмах, во всех летописях мы видим лишь отдельные случаи явной или потаенной мести за угнетение, случаи, свидетельствующие не о безнравственности женщины, а о всегда жившей в ней жажде свободы.

Я не думаю, чтобы нужно было перечислять по именам всех женщин древнего и нового мира, которых представляет нам история героинями нравственных начал как в семейных, так и в общественных отношениях. Народная память всюду благоговейно сохраняла образ и дела таких женщин, как Юдифь, как Жанна д'Арк, хотя деятельность их выходила за пределы сферы, предначертанной им и преданиями и нравами.

Кончив разбор мнений о тройной, физической, умственной и нравственной неспособности женщин к гуманному развитию, я мог бы теперь перейти к рассмотрению современных понятий, мешающих такому развитию; но мне кажется не лишним обратиться сначала к дохристианскому миру и к

тому кругу нравственных начал, который делал нормальными отношения свекра Фамари к его невестке. Многое из этих начал вошло и в понятия новейшего времени; многое в них служило образцом морали и для наших предков. Достаточно указать на «Домострой».

IV

Наружно понятия эти как будто отжили; но при некоторой проницательности нетрудно заметить следы их в наших нравах. Мало того — к источнику этих понятий обращаются за подкреплением своих требований даже защитники и защитницы женской эманципации. Нечего и говорить, что на него опираются люди, повторяющие фразы вроде: «Женщина создана для домашней жизни; назначение ее — воспитание обществу полезных граждан», и проч.; а между тем вся эта хваленая мораль сводится на один закон: «Женщина есть самка, вещь, принадлежащая мужчине».

На всех путях жизни какой-то страх перед преданием, перед тем, что жило так долго и, стало быть, так упрочилось, останавливает успехи общества; эта робость поддерживается более всего незнанием. То, что казалось с чужих слов кладезем премудрости, окажется вопиющею дикостью при ближайшем анализе; и вот почему такой анализ настоятельно нужен для пользы общества.

Общественные философы, идущие очень далеко в отрицании, тем не менее большею частью пропитаны еще ветхими понятиями, о которых я хочу говорить. Сознательно или бессознательно, но они во многих случаях повторяют эту дряхлую ветошь, которую давно бы пора оставить в покое. Мне кажется, в этом странном ослеплении играет немаловажную роль эгоизм мужчины. Как ни горячо толкует он о равенстве, а все-таки расстаться со своими привилегиями ему тяжко. Человека, владеющего невольниками, трудно убедить, что освобождение их принесет существенную пользу и ему самому.

Посмотрим, в чем заключаются эти хваленые нравственные понятия, отразившиеся на византийских и русских «Домостроях», а чрез них и на жизни.

Что такое глава семейства, мужчина, отец и муж? Полный владыка. Ему принадлежит право на жизнь и смерть всех остальных членов семьи. Мы видели, что он может велеть

сжечь свою невестку. Тут уж даже и уз крови нет, а власть его так велика. Что же в отношении своих детей? Он может приносить их в жертву, может продавать дочерей своих в рабство, может отдавать их в разврат. Последующее законодательство запретило отцу развращать своих дочерей, но оно утверждает продажу дочери в замужство. Разница оказывается невелика. У продаваемой не спрашивают о согласии. Из комментаторов этого закона видно, что дозволялось употреблять искусственные средства для ускорения физической зрелости дочери: купеческий расчет о скорейшем сбыте с рук товара. Продажа не всегда была прочна. Множество простодушных повествований доказывают, что никого не удивляло, если отец отнимет у мужа свою дочь, которую продал ему в замужство.

Мужчине позволялось иметь сколько угодно жен, от одной и двух хоть до тысячи, а пожалуй и больше. Сколько может их накупить, столько и ладно. Женщина, считаясь сама товаром, вещью, разумеется, не могла пользоваться подобным правом. Да если б ее положение и было свободно, мы наверное не встретили бы подобного с ее стороны служения своей похоти. Ее остановили бы, положим, и не нравственные причины, а просто обязанности матери, налагаемые на нее физическою природой; но это еще одно из доказательств, что в существе своем женщина не могла и не может быть так распутна, как мужчина. Многоженство воспрещалось только жрецам.

Купив себе жену, как вещь, муж, конечно, имел право и распоряжаться ею, как вещью. Если она не угодила ему, пришлась ему не по нраву, он мог изгнать ее. Единственное улучшение в этом законе то, что впоследствии, при изгнании неугодной жены, мужу вменялось в обязанность дать ей письменный отпуск, нечто вроде аттестата об отставке, вероятно не особенно рекомендовавший ее. Разбора и суда в этом деле не предполагалось. Облеченный неограниченной властью над своей женой, муж не обязан был никому отдавать отчета, в чем провинилась перед ним жена, чем не понравилась ему.

Совсем иное дело — когда муж мог быть несносным деспотом. Жена, как его собственность, не имела права сама отойти от него. Ей представлялось тогда лучшим средством разорвать ненавистную связь, разумеется, стараться всеми мерами раздражить мужа, восстановить его против себя и заставить выгнать ее из дому. Понятно, какое нравственное

достоинство сообщалось женщине необходимостью прибегать к подобным средствам, чтобы вздохнуть посвободнее.

Каково было положение таким образом освободившейся женщины, ясно и без аргументов. Сама исключительная собственность мужчины, она не могла иметь никакой собственности. Страх погибнуть от совершенного недостатка средств к жизни должен был заставлять женщину волей-неволей покоряться гнету и лишь в отчаянных случаях прибегать к средству выводить мужа из терпения. Наружное покорство при внутреннем возмущении прикрывало, разумеется, многое множество тайных уклонений от предписаний закона, хитростей и пороков, которые, с нашей точки зрения, представляются лишь томительным исканием выхода из рабских уз. Но едва ли тайна, которою облекались нарушения закона, вызывала наказания не чаще, чем преднамеренная их явность. И с того времени, когда законодательство это укоренилось в нравах и развивалось и объяснялось хитроумными казуистами, сохранились свидетельства, что одного подозрения достаточно было мужу, чтобы уничтожить жену. В случае запирательства ее (хотя бы и отпираться было не от чего), ее подвергали постыдным испытаниям, пыткам. Любопытна тут следующая подьяческая уловка. Чтобы подозревать жену, довольно было *слышать* от кого-нибудь, что жена оставалась наедине с человеком, с которым муж запретил ей говорить. Степень вероятия доносчика не входила в рассмотрение. От кого бы ни услыхал муж — все равно, хоть от *птицы перелетной*. Это уж тонкость, достойная хоть бы и нашего утонченного времени. Женщину, признавшуюся в проступке, побивали каменьями.

И все это основывалось опять-таки на чувстве мужского расчета и эгоизма, а не на требовании какой-нибудь чистоты брачного союза. Мужья пользуются красотою своих жен как средством приобретения; за подарки они уступают на время свое право на жену. И хроника рассказывает о случаях подобного постыдного торга без негодования, как о других обстоятельствах, противных нравственным началам, в которых жил летописец; и закон, умевший предвидеть часто непостижимые тонкости, хранит совершенное молчание относительно этого обычая, как бы признавая и освящая его своим умолчанием. Вот она — благородная инициатива мужчины!

Заботы законодателя о чистоте женской нравственности постоянно имеют в виду не самую женщину, а полного и законного владельца ее, мужчину и его интересы, и все-таки интересы корыстные или чувственные. Это опять товар, который надо лицом продать. Отчего нужна невинность девушке? Оттого что отцу нужно продать ее повыгоднее. А для такой продажи необходимо подчинить ее своей воле, воспитать ее в рабстве, в безгласности. Отчего за обиду невесты закон определяет наказание обидевшему? Не оттого что он ценит нравственное достоинство женщины, а оттого что наносится вред или ущерб мужской собственности.

Могло случиться, что муж нашел жену свою не девственною и публично обвинил ее. Тут требовалось доказать свое обвинение. Если оно оказывалось несправедливым, жена не освобождалась от обязательства жить с мужем. Напротив, он принужден был держать ее до конца жизни и не имел права сослать ее из дому своего ни за какие вины. Не опять ли всякая забота о женщине была устранена, хотя, по-видимому, за нее и заступились? Всюду тот же взгляд на женщину, как на вещь. Не все ли равно вещи, кому принадлежать? Возвратить неправо обвиненную отцу — значило бы навязать ему потерявший свою цену товар. И вот ее отдают мужу, который после первой выходки своей, разумеется, не может внушать никакого доверия жене. В сущности наказывают не его, а ее. Разве то считать наказанием, что он обязан был заплатить известную сумму тестю за несправедливо опороченный товар? У отца могли быть еще дочери, и обвинение зятя могло отвадить покупателей от его лавочки.

Женщина не имела собственности, была исключена из права наследования; даже подарками, которые вызывала ее красота, пользовалась не сама она, а муж. Это правило, переходя в письменный закон, было нарушено лишь одним исключением: дочь могла наследовать после отца, если у него не оставалось сыновей. Но зато она не могла уже выйти замуж за человека не из своего племени.

Как дочь, как жена и как мать, женщина была обречена на безвыходное рабство. Это клеймо отвержения тяготело на ней с самого рождения. Если родился мальчик, мать считалась нечистою семь дней, если девочка — четырнадцать дней. После рождения сына для очищения матери полагалось тридцать три дня, а после рождения дочери — ровно вдвое, шестьдесят шесть дней.

Не позволяя женщине владеть каким-либо имуществом, закон предоставлял мужчине право распоряжаться и нравственным ее достоянием. Так например, женщина могла произнести обет, но в то же время воля отца или мужа могла немедленно уничтожить его; тогда как с мужчины подобного обета ничто не снимало.

Положение вдовы было тоже очень печально. Если она была бездетна, закон волей-неволей обрекал ее на союз с братом покойного мужа, для продолжения племени его.

Но если вещью считалась женщина «свободная», то каково должно было быть унижение рабыни? И точно, мы видим, что госпожа, будучи неплодною, могла отнять и присвоить себе дитя рабыни, прижитое с мужем госпожи. Нечего и говорить, что изгнать из дому рабыню было еще легче, чем жену; а мы видели, что последнее не представляло ни малейшего затруднения.

Мало того, что цена девственности и право продажи дочери принадлежало отцу, даже пени за нанесенные ей оскорбления или раны вознаграждали не ее, а отца или мужа.

Достаточно этого беглого обозрения, чтобы видеть, что за женщиною не признавалось никакой нравственной силы. Но это непризнание было лишь наружное, как при всяком господстве грубой физической силы. Как только дело доходило до нарушения этих жестоких законов, опутывавших волю женщины, законодатель видел в женщине существо, стоящее нравственно в уровень с ним.

Будучи лишена всяких семейных и общественных прав, всякого значения, будучи низведена на степень движимой собственности, женщина вдруг является ответственным лицом, когда ее приходится судить за преступления и наказывать. Это не логично, как не логично было бы судить и казнить бессловесных домашних животных. Но этот карающий страх происходит прямо из смутного, не прояснившегося сознания нравственного достоинства женщины.

Новые народы, принимая космогонию общества, жившего под этими законами, считали это общество исключительным представителем всего человечества. Понятно, что при таком взгляде остались нетронутыми как непогрешительные понятия о вечном и роковом антагонизме между мужчиной и женщиной. Долгое господство неравных отношений развило в высокой степени мелкие, но тем более чувствительные пороки женщины и заставило мужчину еще более сузить

свою тиранническую мораль. Говоря о взгляде наших предков на женщину, вытекавшем из древней книжной премудрости и из глухой реакции женщины направлению этой премудрости, справедливо замечает г. Забелин:[1] «Само собою разумеется, что круг этих понятий о женщине созидался постепенно; постепенно приобретал новые силы, новую опору и в явлениях действительности и в учении книжников, с особенным старанием выбиравших свои апофегмы отвсюду, как мед с цветов человеческой мудрости, шедшей от века... Мимошедшие века — в лице грубого эгоизма мужчины с одной стороны и в лице прилежных, трудолюбивых книжников с другой — успели вполне, окончательно доказать, что женщина... собственно жена, а не женщина, что *красота* и *доброта* ее... есть собственно источник соблазна, нравственного растления, погибели душевной. Из доказательств возникли крепкие убеждения... Женщина также убедилась во всем, что ни толковали о ней книжные мудрецы и учители. Униженная, загнанная мнением века, она действительно многое утратила из своей человечной природы и большею частью оправдывала составленные о ней ходячие понятия. Но если легко было доказать и еще легче убедиться и убедить, то есть совершенно извратить понятия толпы и понятия самой женщины, то было не только трудно, но и решительно невозможно остановить в женщине естественные, в высшей степени законные стремления к нравственной самостоятельности, против которых не могла даже бороться и она сама, вполне убежденная, что стремления эти есть преступление против нравственных положений века, что, например, непокорение, непослушание домовладыке *во всяком случае* есть беззаконие и грех. Здесь-то и возникла та отчаянная борьба между *мужем* и *женой*, между понятиями толпы и действиями жены, выражавшей свой протест против существовавших положений со всею ненавистью, озлоблением существа слабого, порабощенного, униженного почти до презрения. Чувствуя невыносимую тяжесть своего положения и нисколько не сознавая самостоятельных своих прав, женщина перенесла всю энергию своей непризнанной воли в сферу домашнего мелочного тиранства, домашних мелочных преследований, булавочных уколов, где способности ее, не имевшие другого выхода, изощрились в не-

[1] «Женщина по понятиям старинных книжников». «Русский вестник», 1857, № 9. *(Прим. М. Л. Михайлова.)*

имоверной силе. Как бы в отмщение за утрату человеческих прав, за отсутствие всякого понимания истинных отношений между мужчиною и женщиною, между мужем и женой, женщина явилась мужчине в образе *злой жены*. Это был последовательный, самый естественный вывод тех общих убеждений относительно женской свободы, которыми жило и руководилось древнее общество. *Злая жена* явилась результатом древних воззрений на женщину, древних отношений к ней мужа, явилась результатом той действительности, где все было отдано мужу и все отнято от жены. *Злая жена* явилась терновым венцом для мужа, потерявшего смысл истинных человечных отношений к жене. И мужчина глубоко чувствовал это иго, это безвыходное, неумолимое бедствие... Его отчаяние изливалось в нескончаемых апофегмах, изречениях, пословицах, ярко рисовавших и злую жену и собственную его беду. С какою-то озлобленною радостью он выбирает эти изречения отвсюду и из писания и от *внешних* мудрецов, приводит в свидетельство бездну повестей, анекдотов, историй, изображавших женщину в самых черных, в самых неистовых красках».

Из приводимых г. Забелиным цитат мы видим следующее определение женщины: «Что есть жена? Сеть сотворена, прельщающи человеки (в сластех) светлым лицем, высокою выею, очами назирающи, ланитами склабящися, языком поющим, гласом скверняющим, словесы чарующи, ризы повлачающи, ногами играющи... в доброте женскей многи прельщаются, и от тоя (доброты) любовь яко огнь возгарается... От жены начало греху и тою вси умираем... Много бо бесу помощи в женах...»

Этот взгляд не составляет исключительной принадлежности древних русских книжников. Западная Европа представляет нам ту же практическую философию [1]. Иначе и

---

[1] Вот, например, что говорит один западный мудрец: «O uxores cujus genus non solum est luxuriosum, sed venenosum et avarissimum! Mulier enim est dux malorum, artifex scelerum, propter cujus incontinentiam tot adulteria et stupra nexantissima in civitatibus commituntur. Est enim origo peccati, mater delicti, arma diaboli, expulsio paradisi, induit homines ad confusionem et vocatur impedimentum viri, vas adulterii, aminal pessimum, pondus gravissimum, aspis insanabilis, janua diaboli, cauda scorpionis, vulnus insanabile, bestia insatiabilis, solicitudo continua, naufragium incontinentis viri, foetor continuus». [О женщины, чье племя не только расточительно, но ядовито и алчно превыше меры! Женщина — это вождь бедствий, устроительница преступлений; сколько срама и разврата совершается по ее вине в раз-

быть не могло. Нужно было или отказаться от первобытных преданий, из которых логически развились такие понятия, или, оставив предания неприкосновенными, принять и произведенный ими в жизни результат. Были, правда, попытки к примирению традиции с естественными человеческими требованиями, но они должны были необходимо остаться без плода. Так практические философы, вроде Корнелия Агриппы Неттесгеймского или Лоттихия, старались показать не только право женщины на равенство с мужчиной, но и на преимущество пред ним тем, что творение шло прогрессивно, за созданиями низшего разряда следовали все высшие и высшие творения, и что женщина, как созданная после мужчины, есть венец создания, а стало быть и существо совершеннейшее. Но что могли значить такие утверждения, когда им противоречил весь ход жизни, сохраненный преданием, когда не только мораль прежняя, наружно отвергнутая, но и мораль новая, признанная, говорила противное!

К числу наиболее укорененных предрассудков принадлежит мнение, что господствующим ныне понятиям обязана женщина тем менее унизительным местом в семье и обществе, на котором мы видим ее в наше время. Нет сомнения, что в понятиях этих был зародыш гуманнейшего развития общества, что они и явились как потребность человека возвысить и очистить свое нравственное достоинство (как применялись они к жизни — это другой вопрос); но женщина была все-таки забыта. Достоинством ее считалось не общее человеческое достоинство; фальшивый идеализм, вместо того чтобы приблизить ее к интересам человеческой жизни, отводил ей какие-то фантастические сферы. Сначала женщина была просто рабою; а тут это рабство начали украшать цветами, вручили ей, по-видимому, некоторое господство и этим самым только способствовали ее унижению. Один здравый смысл спасал женщину. Не будь его, давно можно бы одуреть, хуже восточных одалиск, от рыцарского «любовного служения» и от новой «галантерейности».

ных государствах! Она — начало греха, мать порока, орудие дьявола, причина изгнания из рая, она сеет смуту среди людей и называется обузой мужчины; она — сосуд скверны, гнусная скотина, тягчайшее бремя, губительная ехидна, врата диаволовы, хвост скорпиона, неисцелимая рана, зверь ненасытный, вечная тревога, гибель для несдержанного мужа, беспрерывное зловоние.] (*Лат*; *прим. М. Л. Михайлова.*)

V

...Платон, предписывая законы своей идеальной республике, руководился принципом равенства; но равенство представлялось ему возможным только при существовании рабов, на долю которых выпадала бы вся черная работа жизни. Через две тысячи лет после Платона Жан-Жак Руссо в одном из своих сочинений говорил, что не понимает возможности равенства общественных условий без рабства.

С рабством в том смысле, как его разумели Платон и Руссо, мы уже покончили в теории и кончаем на практике. Если печальные остатки его и есть еще в настоящее время, то нет сомнения, что они скоро исчезнут и что самые хранители их сознают во глубине души свою неправоту и только из опасения за личные свои выгоды не могут расстаться с своими привилегиями. Значительное большинство убедилось, однако ж, что и для личных выгод освобождение рабов полезно.

Вопрос о положении женщины есть лишь шаг вперед по тому же пути; забота о ее свободе основывается на тех же побуждениях и соображениях, из которых возникли старания эманципировать негров. Все очень хорошо понимают, что нельзя утверждать a priori [1], способна или неспособна такая-то раса человеческая к развитию. Надо предоставить ей сначала свободу развиваться, и потом уже произносить суд. Да и тут суд не всегда будет справедлив, потому что мы смотрим обыкновенно не очень-то далеко вперед. Один немецкий историк цивилизации, именно Клемм [2], разделяет все человечество на расы пассивные и на расы активные. Такое разделение, может быть, и очень удобно; но кто поручится за его верность? кто может окончательно решить, что при изменении условий (а они могут решительно измениться) якут или кафр останутся на этой степени дикости, на которой мы видим их теперь? Не казалось ли и германское племя пассивным цивилизованному Риму? Не казались ли еще недавно и славяне пассивною расой немцам? В послед-

---

[1] без доказательств (*лат.*).

[2] Он издал в прошлом году и большое сочинение о женщинах, в шести томах. Это довольно полный свод сведений о положении женщины в разные века и у разных народов. К сожалению, взгляд автора не выходит из пределов рутины, и притом выбор фактов часто произволен. Во многих случаях Клемм представляет или сухую номенклатуру имен без всякой критической оценки, или рассказывает тоном «руководства ко всеобщей истории» всем известные вещи. (*Прим. М. Л. Михайлова.*)

нем случае предубеждение и теперь еще не совсем исчезло. Года два-три тому назад один очень замечательный немецкий писатель издал роман, из которого можно вывести заключение, что весь славянский мир есть не что иное, как почва для деятельности немцев. Не таковы ли и мнения о пассивности женщин?

В то время как и самые простые смертные все более и более убеждаются в том, что успехи общества могут быть задержаны от существования в нем рабов, далеко не все лучшие умы понимают, что не меньшею, если не большею помехой этим успехам служит теперешнее положение женщин. Мы видели мнение об этом предмете одного из передовых писателей нашего времени. Как Платон не мог установить справедливых отношений в своем идеальном обществе без упрочения в рабстве известного класса, так автор книги «De la Justice» видит возможность правильного устройства в обществе лишь при порабощении целой половины его. Особенное негодование возбуждает это мнение в устах Прудона: это, может быть, сильнейшее орудие против характера всей его доктрины. Мне могут возразить, что я толкую слишком узко мысли Прудона. Говорю: могут, потому что мне уже случалось слышать такие возражения. Постараюсь объясниться.

Какая роль принадлежит женщине в домашней и общественной экономии? На этот вопрос книга «De la Justice» отвечает так: «На женщину падают заботы о хозяйстве, воспитание детей, обучение молодых девушек под надзором лиц от правительства (sous la surveillance des magistrats) и исполнение общественной благотворительности».

Какой род промышленности, какое искусство могут быть специальностью женщины? При том взгляде на умственные и нравственные способности женщины, который высказан автором, нечего ждать иного ответа, кроме отрицательного. «Мужчина — работник, женщина — хозяйка: на что же ей жаловаться? Чем более будут действием справедливости уравниваться состояния и средства, тем более возвысятся они в своих глазах: он — трудами, она — хозяйством. Когда мужчина откажется от всякой эксплуатации и опеки, неужели женщина станет требовать для услуги себе челяди? Да где взять ее? Оба пола родятся в равном количестве: кажется, ясно?»

Как божий день. Женщина должна устроивать гнездо для мужа, для себя и для детей, должна кормить детей

грудью, пока это нужно; муж с своей стороны должен работать для поддержки гнезда и кормить и жену и детей своею работой. Абсолютная справедливость торжествует. Мужчина, отказавшись от всякой эксплуатации, позволяет, однако, себе пользоваться услугами жены: она приготовляет ему обед, постель, чинит и шьет его платье, солит для него огурцы и проч. и проч. Но зато муж добывает хлеб, мясо и вино на обоих, он снабжает дом и всем нужным для постели, и материалом для изготовления платья, он выращает в огороде и огурцы и проч. и проч. Жена устроивает гнездо внутри, муж выводит основание и стены. Не полная ли тут солидарность? Если видеть тут эксплуатацию, то можно видеть ее настолько же в мужчине, насколько и в женщине.

Итак, женщине нечего жаловаться... Она сыта, одета, обута и притом может спокойно и безопасно родить и кормить детей; дочерей же и воспитывать может, разумеется *«под надзором правительственных лиц»*, чтобы не внушить им какой-нибудь вредной мысли. Что должно соединять ее с мужем, чтобы делать сносным этот образ жизни? Вы думаете, любовь, то есть то необъяснимое влечение, которое заставляет нас жертвовать своим личным счастьем ради счастья любимого предмета? Нет, такая любовь безнравственна по мнению Прудона: она нарушает общественное равновесие. Чету должно соединять чувство справедливости, и в выборе жены, в выборе мужа как можно менее должна участвовать любовь [1].

Но чувство справедливости составляет исключительную принадлежность мужчины; женщина, по мнению Прудона, совершенно лишена его. Стало быть, авторитет мужчины решает все дело. Женщина, как животное бессмысленное, должна полагаться на этот авторитет и быть вполне довольна тем, что она одета, обута и проч. и проч. За недовольство, как за возмущение против принципа справедливости, можно наказать, как наказывают негров в невольничьих штатах. Совершеннолетием мужчины и лучшим временем для вступления в брак Прудон считает двадцатишестилетний возраст. Если мужчина совершеннолетен, то и свободен, вправе располагать собою. Но в «катехизисе брака» (так названы Прудоном окончательные выводы из его теории) мы читаем следующее: «Обязанность отца семейства пристроить своих

---

[1] «Какую долю любви допускать при заключении брака? — Возможно меньшую». *(Прим. М. Л. Михайлова.)*

детей честно и согласно требованиям справедливости; награда его трудов и радость его преклонных лет будет состоять в том, что он сам выдаст замуж дочь свою, сам выберет жену своему сыну». Переносясь мыслью в это идеальное царство справедливости, мы должны предположить в нем полное нравственное согласие между людьми, а тем паче между членами одной семьи. Недаром же это общество построено Прудоном на чувстве справедливости. Но разочаруемся. Вот что говорится дальше: «Молодые люди должны соединяться, положим, без отвращения; но отцы не должны допускать оскорбления в лице своем достоинства семьи, они должны помнить, что рождение телесное есть лишь половина родительского дела. Если сын или дочь для удовлетворения своей наклонности пренебрегают желанием отца, отец должен лишить их наследства. Это первое из его прав и священнейшая из обязанностей». Положим, дочь не может иметь своей воли, потому что лишена инициативы рассудка; но сын-то? И почему *желание* отца выше *наклонности* сына? Или желания отца не могут быть несправедливыми?

Вот и возникновение авторитета в этом образцовом семействе. Как мы видели, авторитет может вызвать сомнение в своей правоте. Лучший путь утвердить его — превратить в безотчетное правило. Стремление на этот путь ясно уже из того, что воспитание девочек совершается под правительственной опекой. Прудон ничего не говорит об устройстве мужского воспитания; но из приведенного примера произвола отца над двадцатишестилетним сыном можно заключать, что и воспитание мальчиков должно опираться на безусловное покорство авторитету.

Дальнейшее развитие такого порядка понятно. Человечество уже жило в подобных условиях, и из последовательного развития их возникли все те горькие общественные явления, в числе бойцов против которых явился Прудон. Неужто нам вновь повторять старый опыт? Эта идеальная справедливость, которую Прудон ставит в главу угла, не изменяет дела: Трудно признать ее существеннейшею внутреннею силой человека и средством и целью его жизни, если она требует деспотических мер для покорения себе человеческой мысли и воли.

Никто из самых злейших врагов социализма не смеялся так жестоко, как Прудон, над общественными и семейными теориями и системами французских реформаторов. Но едва ли хоть один из проектов преобразования домашней жизни

и семейных отношений представлял столько и смешных сторон, как его собственный проект.

Десять лет тому назад Прудон говорил вот что: «Идея правительства родилась из семейных нравов и домашнего опыта: правительство представлялось обществу фактом таким же естественным, как субординация между отцом и детьми. Поэтому Бональд справедливо говорит, что семейство есть зародыш государства и представляет в среде своей главнейшие государственные категории: отец — это король, мать — министр, дитя — подданный. Поэтому-то и проповедующие братство социалисты, принимая семейство за элемент общества, все доходят до диктатуры, самой крайней формы правительства. Разительный пример можно видеть в администрации общины Кабе в Нову. Долго ли еще будем мы не понимать этого сцепления идей?»

Читатель видел, что я принимаю семейство тоже за основу общества; но только при одном условии, при совершенном равенстве прав жены и мужа. Если отец и мать пользуются одинаковым голосом, одинаковым влиянием как на детей своих, так и на касающиеся их дела общества, возможность диктатуры в общественном управлении исчезает сама собою.

Все мало-помалу приходят к убеждению, громко провозглашаемому целым ходом истории, что существование в обществе рабства, давая возможность одному классу жить на счет другого, ведет к деморализации и эксплуататоров и эксплуатируемых. Уровень общественного образования и общественной нравственности тотчас начинает подниматься не только при совершенном уничтожении права одного лица владеть другим, но даже при одном только смягчении этого права. Отчего же то, что признается законом для общества, не может быть признано законом для семьи? Отчего прогресс общества должен заключаться все в большем и большем устранении эгоистического произвола, а счастье семьи без этого произвола невозможно? Мы будем спорить лишь о словах, если станем отвечать на возражение, что перевес мужа в семье есть лишь законное покровительство существу сравнительно слабейшему.

Деморализация, замечаемая в современном обществе, есть прямое следствие подчиненности женщины. Пока мы не признаем за женщиною права на равное с мужчиной образование, пока не заинтересуем ее лично в делах и успехах общества, до тех пор будем постоянно видеть в мужчине,

столь гордом своими мнимыми преимуществами перед женщиной, мелкий эгоизм, который обыкновенно граничит с полным непониманием своих собственных выгод, жалкую трусость в решительные минуты жизни и в то же время ребячески-легкий взгляд на самые серьезные отношения к своему ближнему.

Мелкий эгоизм будет проявляться и в заключении браков по расчету, не дающих прочного счастья ни мужу, ни жене, и в воспитании детей не ради их пользы, а ради своего собственного тщеславия, воспитании, стало быть, тоже непрочном, поверхностном.

Постыдная трусость будет проявляться даже в семьях, соединенных более твердыми узами симпатии. Я говорил о влиянии детских уроков и впечатлений на нашу последующую жизнь. Столько же, если не более, сильно влияние жены, которую мы любим, матери детей, которым мы желаем добра. При поверхностном знании, а часто и при полном незнании необходимых требований и настоятельных нужд общества, жена будет умерять или даже останавливать каждый решительный шаг мужа, ибо польза общества будет казаться ей чуждою или, пожалуй, и враждебною семейным интересам. Личная выгода, тесная и близорукая, станет мало-помалу сменять в побуждениях мужа благо общества, от которого прямо зависит и благо каждого его члена. Недаром люди, всею душой отданные стремлению к знанию или заботам о счастье родины, видят препятствие этим стремлениям и заботам в брачной жизни и отказываются от нее. Скажут: тут дело не в нравственном препятствии, а в присоединении к прежним заботам новых, материальных забот о средствах к жизни не одного уже человека, а целой семьи. Доля правды в этом возражении есть; но опять не оттого ли, что женщина так исключительно зависит от помощи и поддержки мужчины, так лишена всяких общественных прав?

Но предположим, что все материальные удобства устроены, что не нужно никаких забот о насущном хлебе; спрашивается, какой смысл в союзе двух неравно развитых, значит не способных понимать друг друга существ? Говорят обыкновенно, что женщина своими качествами восполняет недостатки таких качеств в мужчине и наоборот, и из этого обмена, из этого общения образуется полная гармония. Это опять громкие слова, под которыми скрывается ничтожная сущность. Разберите попристальнее эту гармонию, раз-

ложите ее на составные части, и вы откроете с одной стороны диктаторский тон, не допускающий никаких возражений, а с другой пассивное подчинение этому тону, отрицающее всякую самобытность разума и воли. Может быть, это и хорошо в музыке, но опыт показывает, что в житейских отношениях наших из таких элементов не выходит ничего, кроме застоя, если не вышло вражды и раздора.

Единожды утвердив за собою роль полновластного господина, мужчина усвоил себе и все недостатки, все пороки, неразлучные с произволом. Ставя женщину ниже себя во всех отношениях, он в то же время требует от нее совершенства, которого нет в нем самом; считая ее созданною исключительно для любви, он грозно казнит ее за увлечения, в которых иногда виноват сам и которые, с его точки зрения на женскую природу, должен бы, по-видимому, даже оправдывать. И какими доводами старается он снять с себя обвинения в легкости, с какою преступает важнейшие для благоденствия общества законы! Не каждый ли день можно услышать от любого мужчины, что он вправе позволять себе то, чего никак не простит женщине, вправе потому, что его увлечения не имеют последствий, тогда как женщина не может увлечься безнаказанно. Такой взгляд на вещи несравненно гаже и безнравственнее взгляда восточных сластолюбцев, которые держат для своей особы целые гаремы. Они, по крайней мере, платят за удовлетворение своей чувственности воспитанием детей, которых родят их наложницы.

Женщина почти не может увлечься без последствий. А мужчина может? Да не всякий ли шанс женщины быть матерью есть в то же время шанс мужчине стать отцом? Грустно думать, что эти понятия о безнаказанности мужчины в поступках, в которых он один виноват, внушаются нам с детства окружающим нас обществом. Грустно думать, сколько благородных натур, вся вина которых в излишней впечатлительности и в недостатке внутренней нравственной инициативы, плоде господствующих нравов и жалкого воспитания, сколько таких натур увлекается в мутный поток разврата. Если они и выбираются из него потом, то сколько сил уже потеряно, лучших сил нравственных и физических! Немало гибнет в этом грязном водовороте и безвозвратно.

В своем стремлении к господству, в своем старании выказывать себя всюду непогрешимым мужчина выдумал

нелепейшую басню для возвеличивания себя даже самыми пороками своими. Он не говорит, конечно, что распутство есть добродетель; но утверждает, что и самый разврат не кладет на нравственный характер его такой глубокой и неизгладимой печати, как на характер женщины. По очень распространенному мнению, мужчина не теряет еще своего достоинства, если предается распутству; это даже для него полезно как житейский опыт, из которого он выходит зрелее, с более ясным взглядом на вещи и с менее увлекающимся сердцем. Напротив, женщине, единожды «павшей», нет возврата на путь добродетели; никакой Магадева не восстановит ее человеческого достоинства; она навеки утрачивает свое право не только на уважение, но и на любовь. «Женская добродетель, говорят великосветские мудрецы, это — ледяные горы; сто́ит поскользнуться на них, и катись вниз без остановки, пока не сломишь шеи». Действительно, вдаваясь в разврат, женщина останавливается реже, нежели мужчина; действительно, растление нравственное проникает в нее глубже и овладевает ею сильнее, чем мужчиной, за немногими исключениями. Но опять не воспитание ли ее, не положение ли ее в обществе условливают эти явления? Не с самых ли ранних лет внушается ей как необходимая добродетель кокетство? не отстраняются ли из ее воспитания все знания, которые могли бы развить в ней мысль, а вместе с мыслью и нравственное чувство? не толкуют ли ей с детства, что лучшее средство к жизни — нравиться мужчине? Средству этому придают такую важность, что при отсутствии всякой умственной деятельности оно мало-помалу начинает уже представляться не средством только, а самою целью жизни. Если мужчина, при несравненно высшем нравственном и умственном развитии, поддается-таки искушению, чего же ждать от оставляемой в невежестве и рабстве женщины? Положим, она «пала», как принято говорить; кто виноват в этом падении? Всегда значительно выше развитой мужчина. Положим, она поняла свою ошибку, хоть ей и трудно видеть ошибку в том, чем современные мужчины почти гордятся; положим, она хотела бы эту ошибку загладить, заставить забыть чистым и безукоризненным образом жизни; какая возможность дана ей к этому? Не со всех ли сторон летят в нее камни, и не единственное ли средство спастись от них — погрузиться глубже в разврат? «Кто из вас без греха, пусть первый бросит в нее камень!» Об этих словах все забыли, хотя и считают мораль свою согласною

с учением, которое провозглашало такое снисхождение к человеку.

Образовать женщину, дать ей возможность существовать независимо от «покровительственного» влияния мужчины — вот лучшее лекарство от разврата, развившегося теперь так широко. Это так очевидно, что не нуждается ни в каких доказательствах. Только упрямая и эгоистическая склонность к рутине, только въевшаяся в нас, как ржавчина, страсть к диктаторству мешают признать справедливость такого требования. Как скоро женщина способна родить и родит, в ней не может быть никаких побуждений к разврату. Беременность и кормление грудью — это естественная защита ее от тех излишеств, которым считает себя вправе предаваться мужчина. Только жалкие, испорченные и болезненные натуры пренебрегают этими природными условиями; но не о них речь: это все-таки меньшинство между женщинами. Если кто выказывает в этом случае презрение к здравым требованиям натуры, так это все-таки мужчина. Женщина покоряется лишь поневоле, лишь потому, что каждый шаг ее подчинен мужчине и что противоречие его воле есть средство вызвать с его стороны еще больший гнет и еще больший произвол. Нравы тех жалких человеческих племен, которые мы с цивилизованным самодовольством именуем пассивными племенами, представляют очень любопытный предмет для изучения в сравнении с нашими нравами. «Как посмотреть да посравнить» — окажется, что мы вовсе не так далеко ушли в нравственности и в покорении своих животных инстинктов разуму от этих темных племен. В параллель к тому, что я говорил сейчас об обществах европейской цивилизации, приведу один пример. У многих диких племен есть такой обычай: как только забеременеет жена, стало быть сделается неспособною удовлетворять чувственности мужа, он ищет себе другую жену для этой цели. Положение первой жены становится очень неприятно. Та, которая сменяет ее на супружеском ложе, может получить перевес в сердце мужа, может лишить ее некоторой власти в доме. Это опасение заставляет первую жену жертвовать ради своих выгод удовольствием быть матерью. Все путешественники рассказывают об очень частых на этой ступени развития случаях истребления матерью плода и даже умерщвления живых детей с единственною целью сохранить привязанность мужа, от которой зависит счастье ее жизни или по крайней мере пользование разными материальными выгодами

и удобствами. Я не думаю утверждать, чтобы подобные преступления были и у нас обыкновенным явлением; я хотел только указать на крайние следствия мужского деспотизма и эгоистического произвола, которые только видоизменились, но еще далеко не исчезли в наше время. Подчиненное положение женщины, конечно, способно только поддержать в мужской половине человечества наклонность к распутству. Сколько ни будут наши моралисты греметь проклятиями разврату современного общества, разврат не исчезнет, если останутся прежние неравные права.

Не только нравственность мужчины, и самое умственное его развитие сильно страждет от ограниченного образования и бесправности женщины. Если женщина, в отчуждении своем от общественных интересов, перестает понимать их и боится как огня прогресса, то есть развития и усовершенствования общественных форм жизни, как требовать от нее, чтобы она, при отчуждении от умственных интересов, ценила успехи мысли и науки? А между тем жена ведь все-таки остается ближайшим существом для мужа.

Между огромным количеством предрассудков, вращающихся в обществе, существует один, разделяемый даже очень умными людьми: это — мнение, будто муж должен быть образователем своей жены, что ум девушки — какая-то tabula rasa [1], на которой любимый человек может начертить, что хочет. В сущности этого мнения таится тоже недостойное чувство личного эгоизма, и если оно не так резко оскорбляет нас, то единственно потому, что облечено в мягкую и красивую фразу. Это опять обречение женщины на рабскую роль фамулуса при ученом Фаусте. На той степени физического и нравственного развития, которая делает возможным замужество для девушки, она вовсе не такое первобытное существо, чтобы начинать свое воспитание беспрепятственно. Каждый шаг ее должен быть борьбой с понятиями, укорененными в ней с детства; мысль, не привыкшая к деятельности, должна истощаться в усилиях над усвоением того, что просто и ясно как день для привычной головы. Это уже не просто воспитание, а перевоспитание, то есть поправка старых ошибок, тяжкий труд, а не свободное развитие. К чему же допускать ошибки, которые нужно потом исправлять? Не лучше ли, не сообразнее ли с разумом и с физическими силами начинать путешествие с прямой

---

[1] чистая доска (*лат.*).

и гладкой дороги, чем блуждать по извилистым и кочковатым тропинкам, чтобы потом выйти-таки на ту же прямую дорогу и притом не в конце ее, а в самом начале? Сил потрачено столько, что и гладкая дорога уже тяжела: и по ней не пройдешь более двух шагов. Притом, кто поручится, что то направление, которое захочет дать муж своей воспитаннице-жене, будет согласно с ее способностями, что оно не будет произвольным навязываньем другому того, чего тот не может принять не только вследствие неразвития своего, но и вследствие самой натуры своей? Ведь при вступлении в брак у женщины не было ни права, ни возможности выбора. Любовь, при умственном неразвитии, остается, правда, сильным, но тем не менее слепым и инстинктивным чувством. Вот почему в тех случаях, когда муж берется за воспитание жены, мы видим почти всегда лишь неудачные попытки. Жена усвоивает обыкновенно лишь внешность знания, лишь формулы без понимания внутреннего их смысла. Иначе и быть не может: воспитание домашнее постоянно учило ее ценить внешнее достоинство предметов и не позволяло ей вникать в их сущность. Как Вагнер ценил в Фаусте ораторские способности и не понимал силы его мысли, так и женщина, воспитываемая уже в супружестве, может, пожалуй, благоговеть перед высоким развитием своего мужа, но сознавать его цены не может. Я беру лучшие, редкие исключения; что же в тех случаях, когда в самом воспитателе является какой-нибудь сухой Вагнер или — что еще хуже — человек светски-безнравственный? А ведь общий закон имеет в виду не исключения. К тому же мы видели, что и самые исключения не удовлетворяют его требованиям. В то время как жена старается подчинить свой неразвитый ум авторитету мужа, и муж постоянно, хотя, может быть, незаметно самому себе, суживает свою мысль, стараясь согласовать ее с неразвитием жены. «В умственном общении с теми,— говорит Джон Стюарт Милль [1],— кому

---

[1] В статье «Enfranchisement of women» [«Освобождение женщин»], помещенной во втором томе его «Dissertations and Discussions» [«Диссертации и дискуссии»], изданных в прошлом году. Я очень сожалею, что познакомился с этой прекрасной статьей лишь в то время, как большая часть моих замечаний о женщинах была уже напечатана. У Милля немало убедительных доводов в пользу высказанных мною мнений. Впрочем, я постараюсь в непродолжительном времени познакомить читателей «Современника» подробно со взглядом знаменитого экономиста и философа на дело женской эманципации. *(Прим. М. Л. Михайлова.)*

мужчины могут лишь предписывать законы, заключается причина, что столь немногие продолжают подвигаться вперед в знании, а не остаются на первых его ступенях. Самые достойные люди перестают совершенствоваться, оставаясь в сообществе лишь со своими учениками».

Если не только на умственных способностях и на нравственности женщины, но и на деятельности и характере мужчины тяготеет вредным влиянием настоящее неравномерное распределение благ жизни и свободы между двумя полами,— спрашивается: во имя чего, ради чьего счастья можно защищать существующие отношения?

VI

Вывод из всего вышесказанного нетруден и требования ясны. Соберем их, однако ж, воедино и постараемся выразить как можно определеннее и точнее.

Первое требование касается воспитания.

Как элементарное, детское воспитание, так и образование в обширном смысле, общее и специальное, должны быть, в существенных условиях своих, одинаковы для обоих полов. Одинаковая забота должна прилагаться к умственному развитию как мальчика, так и девочки. Преднамеренно устранять из женского воспитания известные области знания — значит стараться ограничивать умственные способности существа, одаренного мыслью. Всякое знание, признаваемое полезным для мужчины, должно быть признано полезным и для женщины. Личные способности каждого решают степень участия его в успехах науки, в делах общества. Но для того, чтобы человек мог взять на себя дело, согласное с его способностями, и найти в этом деле цель и счастье своей жизни, необходима полная свобода для их развития. Это правило одинаково для обоих полов. Навязывать женщине с детства известный ограниченный круг деятельности так же нелепо, как назначать в детстве мальчику быть инженером или медиком, тогда как при свободном развитии его способности обратились бы как к делу более им свойственному к агрономии или истории. Уничтожая дикое разделение знаний на мужские и на женские, следует уничтожить и внешние разграничения. Пусть девочки учатся вместе с мальчиками; пусть самое воспитание приготовляет

их к совместной деятельности в жизни. Никакой нравственной порчи тут быть не может. Только испорченное воображение может заподозревать чистоту детских отношений и видеть какую-то опасность в подобном сближении. После этого надо считать зловредным сближение братьев с сестрами и отделять их друг от друга высокой стеной, как только они начинают стоять на ногах и лепетать.

Высшее образование, как бы оно ни организовалось, точно так же должно быть доступно женщине наравне с мужчиной. Пусть университет, академия, пусть каждое специальное общественное учебное заведение принимает вместе и учеников и учениц, согласно желанию и внутренней потребности каждого. И здесь пусть будет открытое поле всем способностям, кому бы они ни принадлежали, человеку в юбке или человеку в панталонах. Опасения за общественную нравственность и здесь будут совсем неуместны. Постоянное, с детства начинающееся отчуждение друг от друга обоих полов более всего способствует ненормальному развитию воображения, а с ним вместе чувственности и безнравственности. Лучший пример закрытые учебные заведения для девушек; в их замкнутых стенах составляются самые дикие и нелепые представления о людских отношениях, представления, которые потом вносят разлад в жизнь, недовольство ею, а часто и горе на целый век. Постоянное разобщение в лучшие годы молодости не позволяет ни мужскому, ни женскому чувству окрепнуть в действительной симпатии, сосредоточиться на одном предмете, наиболее удовлетворяющем нашей внутренней потребности. Непостоянство наших симпатий, легкость наших отношений — это не что иное, как тревожное искание прочного удовлетворения сердцу, отчужденному от круга, в котором такое удовлетворение нашлось бы скоро. Одинаковость стремлений, равенство умственного и с ним нравственного развития, родственность натур связывают на университетской скамье дружеские отношения на всю жизнь. Прибавьте к этому естественное влечение одного пола к другому,— и вот вам прочная основа разумного и свободного союза для совокупной деятельности и взаимного счастья. Не бойтесь за юношу и девушку, соединенных такими узами; они сумеют оберечь себя от увлечений, которые кажутся вам столь пагубными. Истинная любовь неразлучна со взаимным уважением. Вспомните также, что их соединило нечто более прочное, чем одно половое влечение, которое играет такую важную

роль при ином, изолированном, положении мужчин и женщин; влечение это значительно умеряется в данном случае другими симпатиями.

Раннее физическое развитие, на которое мы так жалуемся, мало-помалу войдет в разумные границы при подобном строе воспитания, и дети и юноши с испорченным воображением и неестественными требованиями от жизни будут редкими и жалкими исключениями.

Другое бедствие нашего общества, браки по принуждению или по расчету, часто совсем нерасчетливому, станут тоже невозможностью при лучшем, более глубоком понимании обеими сторонами и своих потребностей и выгод, и отношений своих к обществу. Такого понимания, сообщаемого свободным и разумным образованием, мы боимся, как повода к разврату, к распущенности нравов; а между тем нравственность наша не оскорбляется настоящим порядком вещей, который делает возможными союзы между изношенными стариками и шестнадцатилетними девушками или так называемые «приличные партии» и между молодыми, но едва знающими друг друга людьми.

Расширить таким образом женское образование — еще не все. Надо открыть женщине свободный доступ ко всем родам деятельности, теперь составляющим исключительную привилегию мужчины; иначе самое образование не будет достигать цели, будет мертвым капиталом для общества и часто тяжелым преимуществом для женщины, которой нет возможности применить к делу свои дарования и сведения. Нечего бояться, что при полной свободе выбора женщина вздумает браться за то, что менее всего будет согласно с ее природой, с материнскими обязанностями, которые в известное время потребуют особенного и, пожалуй, исключительного ее внимания. Наверное можно сказать, что, например, воинственных женщин, чувствующих пристрастие к штыку и крови, найдется очень немного. Но если б и много их нашлось — не беда: опыт, вероятно, все более и более ограничивал бы их число.

Участие в труде и промышленности, в науке и искусстве вообще должно быть доступно каждому совершеннолетнему члену общества. Если это еще и не так на деле, то все-таки мы идем к такому порядку,— это ясно из всего хода современного общества.

Признавая женщину тоже членом общества, как мы это и делаем на словах, следует дать ей все исчисленные права.

В какой мере и как она ими воспользуется — это уже не наше дело. Как существо мыслящее она требует этих прав, и мы обязаны дать ей их, как дадим их рано или поздно пролетарию и невольнику-негру. Несомненно одно, что действия ее будут настолько же, насколько и действия мужчины, направлены на поддержание и развитие личных, семейных и общественных интересов.

При решении вопроса об участии женщины во всех гражданских правах и обязанностях, в которых участвует доныне лишь один мужчина, нечего принимать в соображение половое назначение ее — быть матерью. При правильном устройстве семейных отношений браки не будут заключаться так рано, в ущерб физическим и нравственным силам как самой четы, так и ее детей; при лучшем нравственном развитии деторождению в жизни женщины будет принадлежать лишь пора полной физической зрелости, а пора увядания будет от него изъята. Средним числом должно приходиться не более четырех-пяти детей на каждую женщину; стало быть, время беременности, рождения и кормления займет в ее жизни всего восемь, десять лет. Если мы допустим, что это время и совершенно неудобно для деятельности в какой бы то ни было иной сфере, кроме домашней, если мы признаем его годами страдания и всякого бессилия, умственного, нравственного и физического, то и тогда требование наше в основе своей не будет несправедливым. Можно ли приносить свободу и счастье всей жизни женщины в жертву этих восьми, десяти лет, в которые она не будет мочь ими пользоваться? Как, кем и в какой мере должна быть обеспечиваема женщина на эти годы, если их следует признать решительно непроизводительными в ее жизни, это уж вопрос практического применения, нейдущий к этим общим замечаниям... Но, нет сомнения, он разрешился бы сам собой, при внесении в организацию семьи принципа, вытекающего из здравого взгляда на вещи.

Брак при исчисленных условиях становится высоконравственным союзом, интересы жены и мужа сливаются, деятельность их направляется к одной цели, и нынешняя непрочность супружеских отношений становится почти невозможною.

Истинно нравственное, согласное с общим благом воспитание новых поколений должно быть первым следствием такого порядка вещей. Ребенок с самых первых лет своих будет видеть в отношениях отца и матери ту гармонию

прав, обязанностей и действий, которая как светлый идеал будущего счастья общества начинает владеть мыслью даже лучших людей нашего времени часто только после тяжкой борьбы с господствующим злом и неправдой.

Мы оставались постоянно в кругу общих вопросов. Частное применение их, указание кратчайшего и лучшего пути, как преобразовать существующие отношения, не входило, как я уже сказал, в задачу этих скромных заметок. Пусть только больший круг людей вникает в самые вопросы и тревожится ими: ответ даст сама жизнь.

ИЗ БЕРЛИНА

Дорога от Петербурга. — Кенигсберг. — Первые весенние дни.— Полицейский скандал.— Парламентские заседания.— Скудость литературных новостей.— Переписка Рахели с Давидом Фейтом.— Два слова о немецких женщинах.— Переписка Гейне и полемика Штейнмана.— Умерший свидетель.— Знакомство с Ауэрбахом.

...Вместо тепла и зелени, которых мы ждали за Динабургом, нас обсыпало снегом, и навстречу быстро несшейся почтовой карете попадались еще совсем голые пирамидальные тополи, очень похожие в этом виде на громадные пучки розог. Нельзя сказать, чтобы переезд от Динабурга, где перерывается железная дорога, до Ковно, где она опять начинается, был приятен и удобен. Почтовая карета кажется особенно тряскою, если пересесть в нее из спокойного вагона; а нам пришлось провести в ней всю ночь и, разумеется, не спать, а только чутко дремать. Переправа через Двину не обещала, что мы поспеем вовремя и к ковенскому поезду. Несмотря на шум, гам и суетливый крик перевозчиков-жидов, или, лучше сказать, именно от этого шума и гама мы чуть не шесть часов провели на пароме, под холодным и пронзительным ветром. Берег был уже в двух шагах, как нас отшибло назад; перевозчики не сумели справиться,— и нам пришлось два раза переправляться с неимоверными усилиями целой толпы крикливого народу. Хорошие лошади выручили нас потом,—и мы приехали в Ковно как раз вовремя, за полчаса до отправления поезда. В Эйдкунене нас очень любезно и без всяких придирок осмотрели прусские таможенные чиновники, и часа в три пополудни или около того на третий день после выезда из Петербурга мы были в Кенигсберге, где можно было наконец отдохнуть от утоми-

тельной и почти бессонной дороги. Здесь было уже довольно тепло, довольно зелено, и по случаю праздника вознесенья (9-е мая, по нашему 27-е апреля) студенты, филистеры и прусские воины шли по улицам, с дамами и без дам, за город, на гулянье. За серыми городскими стенами есть где погулять кенигсбергцам и насладиться весенним воздухом и пивом. Зеленые аллеи этих довольно скромных кенигсбергских парков, с не менее скромными кофейнями, пивными и ресторациями на каждом шагу и по обеим сторонам, были единственным предметом, который занял меня тут на полчаса и после дорожной усталости. Осматривать другие достопримечательности города мне казалось совершенно излишнею заботою; да и что за достопримечательности в Кенигсберге? Если же они есть, то о них, верно, рассказано у Карамзина в «Письмах русского путешественника» или у г. Греча в его «Дорожных письмах»; где-то рассказано, но где именно, не помню: там и можно прочитать, если понадобится. Итак, несмотря на то, что Кенигсберг видел я в первый раз, я не хотел отыскивать в его узких, старинного вида улицах, идущих то в гору, то под гору, ни вечной принадлежности каждого немецкого города и городка — Stadtmuseum'a [1], ни специального преимущества города Кенигсберга — дома, где родился знаменитый философ Кант. Нет сомнения, что не будь на железной дороге от Петербурга до границы перерыва на двести верст, я и не остановился бы на родине «Критики чистого разума», а проехал бы прямо в Берлин, откуда и пишу к вам теперь.

Здесь уже совсем весна, даже больше — жаркое лето. В первый день приезда сюда, то есть 10 мая, глядя на толпы, пестро и шумно идущие «под липами» за Бранденбургские ворота, в так называемый «зверинец» (Tiergarten), любоваться молодою зеленью, я готов еще был повторять начальный монолог Фауста в первый весенний день за городскими воротами. Сегодня, когда пыль успела уже порядком насесть на липы, мне хочется сказать с Гейне: «Verlaß Berlin mit seinem dicken Sande!» [2] и уехать — разумеется, не в Индию, куда он приглашает и где, конечно, еще более песку, а куда-нибудь в менее людное и менее пыльное место, что я, вероятно, и сделаю завтра. Впрочем, я начал свое письмо не с тем, чтобы рассказывать вам свой марш-

---

[1] городского музея (*нем.*).
[2] «Оставь Берлин с его густою пылью!» (*нем.*)

рут и впечатления, какие производит на меня погода. Надо сообщить вам что-нибудь более интересное о Берлине. Вы хотите знать, что здесь нового в политике, в литературе. Очень немного, но все-таки кое-что есть.

Все говорят теперь об истории с «полицейским полковником», Пацке, прусским родственником разных фейеров и живоглотов Щедрина. Титул «полицейского полковника» (Polizeioberst) очень странен: говорят, что Пацке первый носил его и, вероятно, после настоящей истории его совсем отменят. Это нечто вроде помощника обер-полицеймейстера или директора полиции. Но в чем же история? Подобно многим героям «Губернских очерков», прусский полковник начал свою карьеру очень скромным образом; у него не было ни гроша за душой, когда он определился в полицию; за женой не взял он тоже ни полушки,— и вдруг оказывается, что он приобрел «на имя жены» (это, видно, и здесь можно) очень изрядное именьице где-то im Meklenburgischen[1] и что в бумажнике у него есть тысяч десять, двенадцать на мелкие расходы. Сумма довольно приятная, если сообразить скромный оклад жалованья, которое он получал. Как сумел он накопить ее и сделаться мекленбургским помещиком, вероятно навсегда осталось бы скрыто под непроницаемым покровом официальной тайны, если б одному неудачному литератору не вздумалось поискать хоть где-нибудь в темных углах берлинской полиции такого «сюжетца», который затронул бы публику за живое и заставил раскупить хоть одно из не читаемых ею произведений. Расчет был верен, и две брошюры, которые издал Эйхгоф, произвели желанный эффект. Хоть их и конфисковали, но автор все-таки верно взял свое [2]. «Силуэты берлинской полиции» (так названы брошюры) подняли гвалт не только в публике, но и повыше. Впрочем, надо сказать, что они явились не разом. Первая брошюра показалась клеветой тем, для кого важно, чтобы не обо всем и правда говорилась. По этому случаю было произнесено самим министром внутренних дел графом Шверином несколько успокоительных для полиции слов, что,

---

[1] в Мекленбурге (*нем.*).

[2] Я узнал, когда письмо мое было уже дописано, что Эйхгоф ничего не получил от своих брошюр и, будучи принужден удалиться от неприятностей в Лондон, находится в очень стесненном положении. Редакция «Volkszeitung» собирается открыть подписку в его пользу. (*Прим. М. Л. Михайлова.*)

дескать, нечего обращать внимание на злонамеренные толки и что нет сомнения, что в полиции «служат все люди достойные и себя бесподобно ведут». Оставалось только сказать: «я, мол, ручаюсь за честность всех чиновников моего ведомства»,— и я не могу поручиться, что этого золотого изречения не было произнесено в данном случае. Но в первой брошюре были только цветочки, во второй являлись уже ягодки, и оставить дело без исследования оказывалось невозможным. Обвинение касалось очень щекотливых обстоятельств: растраты сумм, определенных на содержание жандармов, фальшивых счетов и отчетов и проч. Два мелких полицейских офицера, которых ближе всего было допросить первых, показали на допросе, что они только исполнители высшей воли, что если кто виноват в злоупотреблениях, так это сам «полицейский полковник». Граф Шверин, несмотря на выгодное мнение о своих подчиненных, опять-таки не мог оставить и Пацке неприкосновенным к делу. По городу быстро распространился и был подхвачен на лету всеми газетами слух, что Пацке, не говоря о других подвигах помельче, получал ежегодно с 1849 года деньги на содержание, обмундировку, ремонт и проч. целой *сотни* жандармов, которых вовсе не существовало в натуре и которые числились только в шнуровых полицейских книгах. Граф Шверин отдал приказание президенту или директору полиции Цедлицу арестовать Пацке. Но вот тут-то, как говорит почтмейстер в «Мертвых душах», тут-то и начинается «нить завязки романа». До каких градусов бюрократической высоты поднимается эта нить, неизвестно; но трудно думать, чтобы главным виновником всего дела был Пацке. И вот почему трудно это думать. Барон Цедлиц, вместо того чтобы, по приказанию министра, арестовать обвиненного немедленно, согласился на просьбу Пацке — отсрочить арест на день. Этого срока было совершенно довольно, чтобы дать «полицейскому полковнику» возможность улизнуть. Один из приятелей его в полиции и, вероятно, человек не совсем чуждый его подвигам, тотчас добыл ему фальшивый паспорт в Данию,— и Пацке, под видом датского купца, через два дня оказался уже за морем, в шведском городе Истаде. В одном он промахнулся. Паспорт был написан только для одной Дании, а он поехал через Швецию. Телеграфы успели уже разнести повсюду весть о побеге, и Пацке тотчас же изловили в Истаде и отправили в его родную Пруссию. Не всякому триумфатору удается собрать вокруг себя такую

густую толпу, какая вышла встречать «полицейского полковника» на пристань в Любеке, какая собралась потом в Гамбурге и, наконец, в Берлине на станциях железных дорог. Для бывшего стража порядка и благочиния шумные толпы, ожидавшие его прибытия, приготовили, впрочем, не венки и не букеты. Все запаслись очень здоровыми дубинками и палками,— и Пацке пришлось бы довольно солоно, если б полиция не взяла его под свое крыло, так долго его согревавшее. Тайком, задними дворами, в глухой карете, провозили его, чтобы спасти от заслуженных обид. В Берлине даже не решились высадить его на станции железной дороги, а высадили не доезжая и привезли на лошадях. Вышедший третьего дня нумер сатирической газеты «Kladderadatsch» посвящен весь подвигам Пацке. Особенно удачна пародия известного «Ночного смотра» Цедлица, переведенного Жуковским. Самое имя Цедлица в заглавии пришлось очень кстати. «В двенадцать часов по ночам» встают сто жандармов из своей могилы — шнуровой книги — и в мундирах, сотканных из голубого эфира, мчатся на руммельбургское поле — совершать свои экзерциции. «В двенадцать часов по ночам» встает с постели и полковник, надевает шлем, шпагу и эполеты и на одной из тех фантастических лошадей, на которых издавна так аккуратно получается и выписывается в расход фураж, отправляется тоже на место экзерциций своего фантастического войска. Там заставляет он своих сто жандармов производить разные эволюции и в одиночку и en masse. «Они должны осматривать паспорты и виды на жительство. Он упражняет их в арестах и во всем прочем, что потребно настоящим хранителям порядка, натравливает на жидов и литераторов. Живьем хватают они демократов; разгоняют беззаботные клубы и собрания», и проч. Но только пробьет час на ближайшей башне, гордо сидевший на коне полковник оказывается сидящим под замкóм, а ста жандармов и их коней вовсе не оказывается.

Das ist die nächtliche Runde
Im Rummelsburger Feld,
Die um die zwölfte Stunde
Der selige Patzke hält [1].

---

[1] Это ночной смотр,
На руммельбургском поле,
Который в двенадцатом часу
Проводит покойный Пацке *(нем.)*.

По поводу этой истории можно бы пуститься, следуя примеру немецких газет, в очень серьезные и обстоятельные рассуждения: почему и как могли встретиться подобные злоупотребления в берлинской полиции под управлением графа Шверина, который, как известно, принадлежит к деятелям так называемой «новой системы»; можно бы очень красноречиво заняться доказательством, что «новая» система никогда не достигнет своей цели и даже вовсе не будет новою, если останется в руках «старых» людей, и проч. и проч. Но эти душеспасительные рассуждения, так же как и догадки, останется ли граф Шверин министром внутренних дел, а барон Цедлиц — директором полиции, будут, вероятно, повторены очень подробно нашими газетами, и там можно будет любителям политических тонкостей найти объяснение, как могут уживаться с новою системой древние деяния, и доводы, почему теперешняя система прусского управления — новая система, и взгляды о том, как горестны злодеяния à la Пацке «в наше время, когда» и т. д. (Знаменитая фраза эта очень часто стоит теперь во главе журнальных и газетных статей в Пруссии.) Мне кажется, из всего дела Пацке можно и следует вывести только одну мораль. Более десяти лет недоставало в берлинской полиции ста блюстителей общественного порядка и спокойствия, ста хранителей священных интересов семейства и собственности, которые считались необходимыми,— и этого недостатка никто не замечал, и спокойствие не было нарушено, и семейство и собственность оставались безопасными, и Пруссия не провалилась сквозь землю. Стало быть, в этих ста воинах вовсе не было никакой надобности. Пацке, вероятно, тонкий философ, давно смекнул то, что только теперь должно невольно представиться неоспоримой истиной для всех, и то по его же милости. Удивительно, как это ни одна либеральная газета не заступится за принципы злополучного «полковника»; я думаю, это происходит только в отместку за его прежнюю нелюбовь ко всякого рода печатным листам, будь это непозволительное воззвание какого-нибудь демагога или официальный отчет о блестящих действиях берлинской полиции.

Говорят, что следственная комиссия, занимающаяся разбором дела Пацке, не хочет изменять нелюбви ее подсудимого к печатному слову, и официальные отчеты о деяниях «полицейского полковника» будут печататься в самом

кратком виде [1]. Компрометировать себя, конечно, никому не приятно; но ведь у барона Цедлица, например, совесть должна быть совершенно чиста, и потому лучше бы уж сказать про Пацке et consortes [2] всю подноготную. Чистота совести сияла во всех чертах лица и во всех пуговицах и шнурках мундира директора полиции, когда он присутствовал на третий день после поимки беглеца (не обманувшего своих преследователей и синими очками на носу) на торжественном открытии памятника местной прусской знаменитости, Кейту. Журналы не без иронии рассказывают о не совсем обыкновенном laisser-aller [3], с каким барон Цедлиц обращался в разговоре, на помянутом торжестве, ко всем: и к министрам, и к разным генералам, и к членам палат, и к представителям города. Уж если не померкла ясность чела и блеск мундира у директора полиции, то министру, конечно, можно и бровью не моргнуть. И точно, граф Шверин был третьего дня невозмутимо спокоен и рассуждал очень дельно за министерским столом в палате депутатов, куда я счел священною обязанностию заглянуть во время недолгого моего пребывания в Берлине.

Вы, конечно, не потребуете от меня отчета во всех умных речах о пошлине на свекловичный сахар, о правах и преимуществах евангелической церкви и о тому подобных местных интересах, которыми занимались на этот раз господа прусские депутаты. Особенного ораторского искусства никто не проявлял, хотя члены и правой, и левой стороны, и центра говорили связно и довольно бойко; описывать вам наружность господ Финке, Шульце, Рейхенспергеров тоже не для чего,— и потому я ограничусь только одним замечанием, чисто внешним. Прения не только о сахаре и евангелической церкви, но даже и о народном просвещении заключались преимущественно в повторении избитых общих мест и никак не могли поглотить всего внимания не только иностранца, но и туземца. Поэтому я имел достаточно досуга сосчитать с трибуны головы не лысые и не седые, которых едва ли было больше дюжины между с лишком сотней депутатов. Правда, такого унылого старчества, какое мне случилось видеть раз в заседании французской академии,

---

[1] Это уже подтвердилось. *(Прим. М. Л. Михайлова.)*
[2] и компанию *(франц.)*.
[3] непринужденном тоне *(франц.)*.

тут не было; но все-таки перевес старости не только над молодостью, но и над мужеством, был уж чересчур велик. Я готов уважать и старость, но молодость люблю больше, и мне всегда кажется, что всякое дело пошло бы лучше, если бы в нем вместе с опытностью и осторожностью старца участвовали увлечение и отвага юности. Эта мысль особенно живо возбуждалась во мне на помянутом заседании, когда за министерским столом поднимался министр просвещения Бетман-Гольвег и жалостным, бессильным старческим голосом произносил довольно гладкие, но тупые и скудные смыслом фразы. Подчас меня решительно брала злость, и может быть оттого я не досидел до конца прений о преобразованиях по учебной части. На всякое дельное замечание дребезжащий голос «культус-министера» отвечал все в одном роде, что «по мере сил и возможности делается все требуемое духом времени», и таким образом выходило, что и рассуждать ни о чем не нужно: он, Бетман, все предвидит, все знает, все, что нужно, делает и если пришел в парламент, так только по снисхождению к людям, которым хочется во что бы то ни стало толочь воду.

Журналы жалуются на холодность депутатов к своим «парламентским обязанностям» и на то, что заседания бывают очень немноголюдны. Не только публики мало, но и члены собираются далеко не в полном числе. Если уж и они так равнодушны к *прениям* о благе и прогрессе своего отечества, то мне — надеюсь — и подавно нечего особенно ими интересоваться. Того, что я сказал о единственном заседании, на котором был в доме под № 55 в Лейпцигской улице, вероятно будет для вас довольно, и мне можно на этот раз покончить с берлинской политикой.

В литературе, вероятно от весеннего времени, новостей почти нет. Здесь произвела только некоторый эффект недавно появившаяся переписка знаменитой Рахели Фарнгаген с Давидом Фейтом; но я не прочитал еще ее и потому не могу пока сказать ничего. Рахель была, бесспорно, очень умная женщина; но интересы, которые вызвали такое неистощимое обилие писем с ее стороны (кроме двух изданных теперь частей, еще покойный Фарнгаген напечатал их три толстых тома), в большей части случаев слишком далеки от настоящих интересов жизни. Вечные неутомимые рефлекции надо всем, начиная с Гете и кончая веточкой сирени, делают чтение писем Рахели самым тяжелым трудом, и в них отдыхаешь только на тех местах, где она решается не быть особенно

глубокомысленной и рассказывает о каких-нибудь личных встречах или происшествиях. Сентиментализму была в ней тоже изрядная доля, и вообще чересчур мало простоты в отношениях к жизни.

Этот порок, столь обыкновенный в так называемых «образованных» немецких женщинах, есть следствие нелепого воспитания, которое, может быть, нигде не отрешено так от мужского, как в Германии. Немецкие философы, и едва ли не Кант первый, решили, что мужчина есть представитель мысли, а женщина — представительница чувства,— и вот, кроме чувства, не стали в ней ничего развивать воспитанием. Что же вышло из этого? Так как самому чувству отведена была в жизни женщины только известная, ограниченная сфера, то немецкие женщины впали в сладкий и приторный сентиментализм, умеющий восхищаться по рутине весенними ландышами и фиалками да стихами какого-нибудь Гейбеля, но не умеющий сочувствовать ничему за пределами мелких интересов гостиной или палисадника перед домом. Эта страстная и могучая сила, которую Гете в конце своего «Фауста» назвал «das Ewig-Weibliche» [1], так обмельчала, что мне случилось слышать от очень умных людей в Германии, что это «Ewig-Weibliche» не «возвышает» человека, как говорит Гете, а «унижает» его нравственное достоинство, не «zieht uns hinan», а «zieht uns hinab». Действительно, трусость мужчин в более образованных классах — опирается в значительной мере на безучастном к жизни, сентиментально-расслабляющем воспитании женщин. Женщины средних классов в Германии перестали быть и хозяйками в том смысле, как изобразил хозяйку Шиллер в своей «Песни о колоколе». Довольно быстрое развитие общественной жизни удалило женщин от домашнего очага. Притом с каждым годом жить становится труднее; дороговизна растет — и вместо собственного хозяйства становится несравненно выгоднее пользоваться хозяйством кофейной и ресторана. При полном пренебрежении серьезным воспитанием, женщине-матери не остается возможности заниматься и уроками своих детей. Дети идут в школу, едва начинают твердо держаться на ногах и произносить *р* не совсем похоже на *л*. Семья разваливается и теряет свое значение, но выигрывает ли от этого хоть что-нибудь общество? Успехов, которые отвечали бы утвердительно на этот вопрос, не видно. О жен-

[1] «Вечно-женственное» *(нем.)*.

щинах продолжают еще говорить словами Шиллера, что «они вплетают небесные розы в земную жизнь...»

...Sie flechten und weben
Himmlische Rosen ins irdische Leben...

Но это уже мертвая фраза, которой вдобавок никто не верит, кроме отроков, у которых впервые начинает биться сердце от женских взглядов. Рожать детей и не всегда еще выкармливать их самой—вот и вся задача женской жизни. К чему же повторять без веры в них громкие возгласы о важном и святом значении семейства для общества, о благодетельном влиянии женщины, и проч.? А дело, кажется, так просто. Вся беда оттого, что перемешали слова.

Das Ewig-Weibliche
Zieht uns hinan.

Вовсе не «Ewig-Weibliche», так же, как и не «Ewig-Männliche» [1], а просто — «Ewig-Menschliche» [2]. Пора бы в наш век уничтожения всяких привилегий понять это.

Но я начал говорить не о немецких женщинах, а о литературных новостях. Меня особенно заинтересовало только что напечатанное в Амстердаме собрание «Писем Генриха Гейне». Их издал университетский товарищ покойного поэта Фридрих Штейнман, тот самый, который незадолго перед этим напечатал, точно так же в Амстердаме, три томика посмертных стихотворений Гейне, возбудивших здесь сильную полемику. Эти три томика, из которых один заключает в себе поэму «Берлин», не дописанную будто бы Гейне и досочиненную Штейнманом, всеми журналами были признаны почти единогласно за подделку. Стихи в самом деле плоховаты, и если они и действительно написаны самим Гейне, то ничего не прибавляют к его славе. Изданные теперь две части переписки Гейне, подлинности которых никто не заподозревает, объясняют отчасти, как могли попасть в руки Штейнмана недоделанные стихотворения знаменитого поэта в черновых листах и тетрадях. Но Штейнман прежде всего виноват сам, что на него опрокинулась вся немецкая журналистика и никак не хотела признать произведениями Гейне то, что он издал с его именем. Не говоря о том, что

[1] «Вечно-мужественное» *(нем.)*.
[2] «Вечно-человеческое» *(нем.)*.

Штейнман пользуется не совсем-то хорошею репутациею в литературном кругу, он, кроме того, пренебрег при издании стихотворений Гейне всякими объяснениями, откуда, как и когда достались они ему. Притом сатирическая поэма «Берлин», по его собственному признанию, принадлежала наполовину ему, и он не указал даже те места, которые написаны Гейне. Все это вместе не внушало никому доверия. Главным протестантом в журналистике, утверждавшим, что издание Штейнмана не что иное, как спекуляция,— явился, правда, тоже человек ненадежный, именно брат покойного поэта — Густав Гейне, дрянной литератор, издающий в Вене какую-то дрянную газету. У него нет ничего общего ни по таланту, ни по духу с автором «Путевых картин», и Генрих Гейне при жизни не хотел с ним знаться и все посмертные заботы по изданию своих сочинений и разбору бумаг поручил не ему, а человеку постороннему, направление и правила которого ценил гораздо выше. Заступничество за собственность обиды Генриха Гейне и протест против Штейнмана был бы не особенно опасен со стороны такого господина, как венский Гейне, если б, как я сказал, Штейнман сам внушал более доверия или по крайней мере потрудился подкрепить более прочными доводами подлинность изданных им томов. В брошюре, которую он напечатал в ответ на журнальные нападки и обвинения, много задору, но убедительности не больше, чем и в коротеньких предисловиях к самому изданию стихотворений Гейне. О воинственном тоне этого ответа свидетельствует уже самое заглавие. Брошюра называется: «Война мышей и лягушек против стихотворений Генриха Гейне». Воинственный тон еще ничего бы: защищаться не мешало похрабрее, потому что и нападали очень бойко; но вот что уж совсем плохо,— некоторые странички протеста Штейнмана отзываются доносом. С таким качеством трудно восстановить свою репутацию и стать авторитетом в каком бы то ни было деле. Очень вероятно, что в этом причина равнодушия, с каким встретили и журналы и публика «Переписку Гейне». Чтобы убедить сомневающихся в подлинности напечатанных им стихотворений Гейне, Штейнман объявил в своей брошюре, что он послал подлинные рукописи в Берлине к девице Людмиле Ассинг, издательнице переписки Гумбольдта с Фарнгагеном, и к другу Гейне — Мозеру, и что эти почтенные особы, очень хорошо знакомые с рукою Гейне, конечно подтвердят перед публикой и перед почитателями поэта

правоту его, Штейнмана. Мне рассказывали по этому поводу в Берлине такой анекдот. Амстердамский издатель Гейне, Бингер, слыша со всех сторон, что издаваемые им произведения — подделка, решился сам отправиться в Берлин и узнать истину по рецепту, прописанному самим Штейнманом. Людмилу Ассинг найти в Берлине было нетрудно; но она не могла ничего сказать в успокоение амстердамскому книгопродавцу. Действительно, герр Фридрих Штейнман писал к ней и извещал ее в письме, что пришлет на просмотр рукописи Гейне, но самых рукописей она так-таки и не получала. Оставалось справиться у Мозера. Но где живет этот Мозер и даже как зовут его, никто не мог сообщить Бингеру. Голландец обратился с этими вопросами к Штейнману. Штейнман иронически отвечает, что ему такие вопросы в высшей степени странны. Может ли это быть, чтобы в Берлине, столице столь литературной, не знали Мозера, друга Гейне, и не знали, где он живет? Бингер принялся опять справляться, но все понапрасну. Наконец, в числе разных Мозеров, сапожников, кровельщиков, портных, трубочистов и проч., помещенных в адресной книге, он отыскал какого-то А. Мозера, «обучающего грамоте». Разве уж не это ли друг Гейне? Бингер пустился в поиски и нашел означенного Мозера где-то на чердаке в одной из отдаленнейших улиц Берлина. Это был какой-то «антик в пыли ходячий», занятый новым переводом «Моисеева пятикнижия», и имел весьма слабое понятие о Гейне, да и то не о Генрихе, а о каком-то другом, до которого амстердамскому книгопродавцу не было решительно никакого дела. Мозер, давно удалившийся от света, обрадовавшись неожиданному гостю, принялся его душить чтением своего перевода, и Бингер едва от него спасся. Но надежда его отыскать друга Гейне, может быть, и не вполне бы угасла, если б один собиратель автографов, исчисляя свои сокровища, не упомянул случайно имени Мозера.

— У вас есть письма Мозера! Какого Мозера? — воскликнул Бингер в сладком ожидании, что дело, за которым он приехал в Берлин, наконец-таки разъясняется.— Какого Мозера?

— Друга Гейне,— отвечал собиратель автографов.

— Где он? скажите, не знаете ли вы его адреса?

— Как где? какого адреса? Да ведь он умер.

— Умер! неужто? Какая жалость! когда же?

— Да теперь уж есть лет двадцать пять.

Не знаю, был ли действительно Бингер в Берлине за справками; но в брошюре Штейнмана имя Мозера как достоверного свидетеля напечатано en toutes lettres [1]. И притом он прямо говорит, что послал рукопись к этому человеку в Берлин.

Письма Гейне, изданные Штейнманом, далеко не все адресованы к нему, и это главное ручательство за их подлинность. Некоторые были уже напечатаны, но большая часть являются в первый раз в этих двух томиках. Издатель обещает еще два тома, в которых будут помещены письма к нему, касающиеся преимущественно литературы.

О Гейне осталось так мало биографических сведений, что за издание писем его нельзя не быть благодарным. Жаль, что к ним мало присоединено объяснений и указаний. Некоторые письма относятся еще ко времени студенчества, и в них довольно живо представляется нам молодой Гейне. Несколько любопытных подробностей о Матильде, жене Гейне, являются тоже в первый раз в печати. Штейнман поместил также извинительное письмо Гейне по поводу книги о Берне, где было несколько непростительно гадких выходок как против самого Берне, так и против лиц, к нему близких. Теперь в биографии Гейне можно будет пополнить некоторые белые страницы, особенно если немецкие библиографы, в которых нет недостатка, прибавят к изданным письмам свои пояснения.

В заключение мне хочется сказать несколько слов о знаменитом немецком романисте Бертольде Ауэрбахе, с которым я познакомился в Берлине. Мы виделись ежедневно, и беседы и прогулки с ним останутся для меня самыми приятными из моих берлинских воспоминаний. Как писателя с первоначальным дарованием, с глубокою любовью к народу, которого никто не изображал в Германии лучше его, я давно любил Ауэрбаха; личное знакомство с ним способно было только утвердить эту любовь и уважение. В Берлин переселился он из Дрездена со всем семейством не более как полгода тому назад. Ауэрбаху скоро пятьдесят лет, но он бодр и жив, как юноша. Небольшого роста, плотный и коренастый, с зачесанными назад и даже немного вьющимися темными волосами и проседью, с небольшой окладистой бородой, с большими светлыми глазами, с открытым круглым

[1] Здесь — для всеобщего обозрения *(франц.)*.

лицом, он похож сам на шварцвальдского мужика, и ничто не напоминает в нем его еврейского происхождения. Быстрая, живая и умная речь его отличается чрезвычайною простотой, как и рассказ его в «Босоножке», в «Мони и Брози» и других народных его повестях...

С появления «Шварцвальдских деревенских повестей» началось возрождение повествовательной литературы в Германии, до тех пор представлявшей только такие жалкие произведения, как романы Штернберга, графини Иды Ган-Ган и т. п. Ауэрбах вызвал целую школу нувеллистов, которые обратились с сочувствием к народу и принялись изучать хорошие и дурные стороны его быта, его нужды, желания и надежды, его радости и печали. Пора было бросить удушливые метафизические сферы и раздушенные салоны, в которых витали немецкие романисты, для здоровой и свежей действительности.

Фраки, белые жилеты,
Тальи, стянутые мило,
Поцелуи, комплименты,
Если б в вас да сердце было...

И любви хотя немножко
Было в сердце! Тошны, право,
Ваши вопли и стенанья...
Разве жизнь вам не забава?

Ухожу от вас я в горы,
Где живут простые люди,
Где свободный веет воздух
И дышать просторней груди!

Эти стихи пролога к «Гарцу» Гейне могли бы служить лучшим эпиграфом к рассказам Ауэрбаха, принесенным им с шварцвальдских гор. Действие этого свежего народного направления не может ограничиться только литературною сферой; облегчая знакомство с народом и с его потребностями, произведения автора «Босоножки» и целого круга народных писателей, образовавшегося около него, должны благотворно действовать и на все общество. Примирение и симпатия между народом и классами более образованными нужны в Германии не меньше, чем в других странах,— и в этом смысле деятельность Ауэрбаха в высшей степени заслуживает уважения. Почти безукоризненная художественная красота его рассказов и повестей и вместе с тем чрез-

вычайная верность его изображений свидетельствуют не только о близком знакомстве его с народом, но и о любви, которая привела его к изучению народного быта. На всем, что ни писал Ауэрбах о народе, лежит теплый свет твердого и разумного сочувствия. Он не скрывает народных недостатков и пороков и не идеализирует его добродетелей и хороших сторон. В этом случае не все последователи Ауэрбаха сумели сохранить чувство меры их образца, и более всего приближается к нему в этом отношении только Отто Лудвиг, писатель, у нас совершенно неизвестный, автор прекрасного романа из народной жизни «Между небом и землей». К сожалению, как я слышал от Ауэрбаха, Лудвиг в настоящую минуту тяжко и изнурительно болен, и мало надежды, чтобы он поправился и написал еще что-нибудь. Кроме Ауэрбаха и Лудвига, повествовательная литература в Германии представляет теперь несколько очень замечательных талантов, каковы напр. Годфрид Келлер, Густав Фрейтаг и др., и нам пора перестать повторять, как мы это еще делаем сплошь, по старой памяти, что у немцев нет теперь ни одного романиста, ни одного нувеллиста, которых стоило бы читать.

После того знания народа и той любви к нему, доказательства которых представлял каждый роман и каждый маленький рассказ Ауэрбаха, от него следовало ожидать, что он не ограничит своего влияния одной стороной немецкого общества. Эти романы и рассказы были написаны так просто и ясно, что их мог читать каждый простолюдин; но все-таки они были предназначены автором для чтения классов более образованных. Желая доставить полезное и занимательное чтение для жителей сельских и деревень, для бедного поденщика и работника, для земледельца и мелкого ремесленника — Ауэрбах принялся за издание книг для народа. Первой попыткой его в этом роде был сборник под заглавием «Кум» («Gevattersmann»), первая тетрадь которого явилась в 1845 году. Успех его был огромный: более 80 000 экземпляров были проданы сразу. В некоторых деревнях было разобрано по двести экземпляров. Таким же благородным деятелем явился Ауэрбах и взявшись за трудное дело — писать для народа. Его можно упрекнуть за некоторые частности, за излишний подчас дидактизм в изложении; но эти недостатки, заметные в «Куме», почти совсем исчезли в «Народных календарях», которые он издает уже четыре года. Статьи из первого сборника, за

исключением имевших лишь временный интерес, изданы потом особою книжкой под заглавием «Кумова шкатулка», приобрели огромную популярность во всей Германии и переведены на многие языки.

Последним трудом Ауэрбаха, с которым мы, может быть, еще познакомим читателей «Современника», была повесть «Edelweiß» [1], появлявшаяся отрывками в «Кельнской газете». Теперь Ауэрбах обрабатывает ее окончательно для отдельного издания.

14(2) мая 1861 года.

---

[1] «Эдельвейс» *(нем.)*.


<ЗАПИСКИ>

<ДОМА>

I

В последний день августа, поутру, я зашел зачем-то в книжную лавку Кожанчикова, на Невском проспекте. Я стоял у прилавка и перелистывал какую-то книгу. В это время туда явился, гремя саблей, приземистый жандармский офицер в шинели,— судя по апломбу и по немолодой корявой роже, уже в штабских чинах. Он обратился к стоявшему около меня приказчику с вопросом, где тут живет управляющий домом. Приказчик сказал, что в глубине двора, и прибавил, что можно пройти через магазин. Жандарм попросил провести его и пошел вслед за приказчиком.

Другой приказчик, на другой стороне лавки, старый мой приятель, Василий Яковлевич Лаврецов, пришел в неописанное волнение от этого неожиданного визита.

— Да ведь это Ракеев! — кричал он мне.— Ракеев ведь!

— Какой Ракеев? — спросил я.

— Вы Ракеева не знаете? Ракеева? — восклицал Лаврецов.— Ведь это он меня в Третье отделение брал.

Лаврецов был довольно долго библиотекарем в публичной библиотеке Крашенинникова (бывшей Смирдинской), на Михайловской площади, и там я с ним познакомился. Его знание своего дела, симпатичный характер, страсть к чтению и большая любознательность сблизили его скоро со многими молодыми людьми, посещавшими библиотеку для своих ученых и литературных занятий. Как бедный мещанин, Лаврецов не получил никакого образования и обязан был всем себе. В 1857, кажется, году он был арестован за то, что выдавал для чтения абонентам библиотеки несколько лондон-

ских русских изданий, собрать которые стоило ему большого труда. Его продержали несколько времени в Тайной канцелярии и затем отправили из Петербурга в Вятку, под надзор полиции; правительство тогда еще либеральничало, вертя перед публикой радужную призму будущих реформ и воображая, что может держаться одним красноречием, не купая рук в крови. Около того же времени, помнится, в газетах было напечатано, что кто-то (кажется, Мухин по фамилии) читал в одном трактире в Петербурге во всеуслышание «Колокол» и был за это только сослан под полицейский надзор в Петрозаводск или куда-то в другое место на север. Теперь за это шлют уже в каторгу. Лаврецова вскоре возвратили, и он поступил приказчиком в книжный магазин Кожанчикова.

— Он это! он! — продолжал Лаврецов волноваться.— Ракеев! Его лицо. Я его хорошо помню,— не ошибусь. Это ведь Ракеев был? — обратился он к возвратившемуся приказчику.— Зачем он?

Я вскоре ушел и, конечно, забыл бы об этой встрече, если бы о ней не напомнило мне очень ясно следующее утро.

II

В это утро, то есть 1 сентября, когда только что начинало светать, меня разбудили торопливые шаги горничной мимо моей спальни к двери прихожей.

— Что такое? — спросил я.

— К вам кто-то; того и гляди колокольчик оборвут.

Тут и мне послышался звонок, который надо было рвать слишком сильно, чтобы у меня было его слышно.

В отворяемой двери прихожей загремели сабли, и около двери спальни тотчас же показалась высокая фигура полковника с красным воротником. Слегка притворяя дверь, он произнес:

— Потрудитесь одеться, monsieur[1] Михайлов. Мы обождем.

Лицо этого господина мне было несколько знакомо; но я не сразу вспомнил, где его видел.

Цель, с которой он прибыл, для меня тотчас объяснилась, когда из-за него выглянул голубой мундир и исковыренное

[1] господин *(франц.)*.

лицо вчерашнего полковника. С ними был еще квартальный, длинный, испитой и бледный.

Когда я набросил халат и вышел в кабинет, ранние гости отрекомендовались мне:

— Полковник Золотницкий.

— Полковник Ракеев.

Первый, полицеймейстер званием, объявил мне с должными извинениями, что они имеют поручение произвести у меня маленький обыск.

Затем он спросил, где кончается моя квартира, и затворил дверь кабинета в половину Шелгуновых.

— Вы, как имеется сведение, привезли что-то недозволенное из-за границы,— объяснил Золотницкий.— Позвольте посмотреть ваши бумаги, книги.

Жандармский уселся за мой письменный стол, спросил, нет ли у меня в нем денег и драгоценных вещей, и стал выдвигать ящики, вынимать бумаги, письма и проч.

— Это что-с?

— Это семейные письма.

— Это мы не станем смотреть.

— А это-с?

— Это корректура журнальных статей.

— Всё больше по литературной части?

— Да.

— Какой у вас порядок во всем! Приятно видеть.

Он, может быть, хотел сказать: «Приятно производить обыск».

Иное он клал назад, в ящики,—другое оставлял на столе. Полицеймейстер тоже брал какую-нибудь бумагу или тетрадь и опять опускал на стол, говоря: «Что же тут, ничего такого...»

— А вот нет ли у вас каких запрещенных книг? — обратился он ко мне,— или «Колокола», например? Я уже давненько его не читал. Вы верно привезли последние номерки. Интересно бы прочесть.

Между прочим, им попался мой заграничный паспорт.

— Это мы отложим. Как же вы это не представили? Ведь следовало по приезде тотчас предъявить в канцелярию генерал-губернатора.

Этого вовсе не следовало; но следовало, чтобы тотчас по приезде адрес мой был записан в квартале,— а этого дворник не сделал, хотя я воротился уже больше месяца.

По этому поводу Золотницкий сообщил мне, что меня

очень долго искали, не зная, где справиться об адресе. Заграничный паспорт и аттестат мой об отставке, служивший мне видом на жительство, он отложил, чтобы взять с собой.

В столе и в бумагах ничего не оказалось. Да притом полковники, кажется, и сами не знали, чего ищут.

— Да нет ли у вас чего? — стали они приставать ко мне.— Вот из книг-то, из книг-то. Вы уж лучше скажите!

Обилие книг, по-видимому, смущало их.

— Да каких же вам запрещенных книг? Вот смотрите! Ну, вот Прудон был прежде запрещен, Луи Блан. А теперь не знаю. Да у кого же нет таких книг?

— На французском?

— Да.

— Нет-с, это что! Вот на русском бы чего-нибудь.

Мне так надоели эти господа, что я готов был сунуть им что-нибудь, чтобы они только уехали поскорее. Им же, кажется, не хотелось уезжать с пустыми руками.

— Ну, вот Пушкина есть берлинское издание,— сказал я, сымая с полки книгу.

— Что же Пушкин! помилуйте! — воскликнул Ракеев, глядя на меня своими маленькими светло-серыми зрачками, которые почти сливались с раскрасневшимися воспаленными белками.

Я заметил потом, что эти воспаленные белки одно из характеристических отличий жандармских лиц. Не оттого ли, что их часто будят по ночам?

— Пушкин! — продолжал с некоторым пафосом Ракеев.— Это, можно сказать, великий был поэт! честь России! Да-с, не скоро, я думаю, дождемся мы второго Пушкина. Как ваше мнение?

Он задвигал как-то особенно нелепо своими колючими подстриженными усами и заговорил почти трогательно:

— А знаете-с? ведь и я попаду в историю! да-с, попаду! Ведь я-с препровождал... Назначен был шефом нашим препроводить тело Пушкина. Один я, можно сказать, и хоронил его. Человек у него был,— Осипом, кажется, или Семеном звали... что за преданный был слуга! Смотреть даже было больно, как убивался. Привязан был к покойнику, очень привязан. Не отходил почти от гроба; не ест, не пьет. Да-с, великий был поэт Пушкин, великий!

И Ракеев вздохнул.

Полицеймейстер перелистывал между тем взятую книгу

и с некоторою любовью остановился на отрывках из «Гаврилиады».

— Да ведь тут,— обратился он к жандармскому, называя его по имени и по отчеству,— тут все запрещенные стихи Пушкина. Это надо, я думаю, взять.

— А! если так,— воскликнул с явным удовольствием жандармский,— отложите! Да нет ли у вас еще чего-нибудь в этом роде?— обратился он ко мне.

Золотницкий подошел к одному из шкафов и тупо читал заглавия книг.

— Это вот-с что такое? — спросил он.— О революции, кажется?

— Да, «Французская революция» Карлейля.

— А! ну это ничего! Да уж, верно, у вас есть что-нибудь из русского заграничного.

И он начал придвигать книги к задней стене, к которой они были поставлены не вплоть,— и как раз тот ряд, где было несколько лондонских изданий.

Я начинал уже терять терпение:

— Ну, вот вам брошюрка! — сказал я,— она, может быть, и запрещенная. В Лондоне напечатана.

Это были речи международного революционного комитета, изданные под заглавием «Народный сход».

— А! вот-с, вот-с!

И полицеймейстер передал ее жандармскому.

— Отложим, отложим,— произнес Ракеев.

Он встал из-за стола, подошел к одному шкафу, поглядел на книги, подвигал их, к другому, к третьему, наконец и он и Золотницкий подошли к столу между окнами и стали раскрывать и закрывать коробки с бумагами.

Золотницкий взял лежавший на столе альбом и готов был раскрыть его, но в это же время рассматривал портрет Герцена в простенке, разбирая под ним факсимиле.

Я очень опасался, чтобы он не стал рассматривать альбом и не наткнулся в нем на подписи Огарева и Герцена: тогда альбом прощай! Я решился пожертвовать портретом, чтобы не лишиться альбома.

— Это ведь Герцена портрет,— объяснил я.

Ни полицеймейстер, ни жандармский, должно быть, никогда не видали его портрета и, снявши, принялись рассматривать с великим вниманием. Маневр мой был удачен относительно альбома: его отложили в сторону и совсем забыли.

— Это надо взять, непременно надо взять,— сказали оба почти в один голос.

— Как же вы это так на виду его держали? — с укоризной заметил Золотницкий. — А это кто?

Он указал на другой портрет.

— Это Гейне.

— Ну, это другое дело. Это ведь, кажется, немецкий сочинитель.

— Да.

Квартальный все это время стоял, держась за спинку кресел около дивана, и молчал. Только на предложение мое выкурить папироску отвечал, что не может, потому что болен, вчера был с вечера в бане, думал, все пройдет, да только хуже разломило всего; а тут еще и соснуть не удалось.

— Ну-с, я думаю, и акт можно составить? — заметил жандармский, овладев портретом.— Нет ли у вас чемоданов, сундуков?

— Нет.

Полицеймейстер пошел в спальню, отворил столик около постели, заглянул туда, взглянул на стены и воротился в кабинет.

— Я думаю, можно уж и акт составить? — повторил жандармский.

Но полицеймейстер снова, чуть не в десятый раз, обратился ко мне с вопросом, нет ли у меня еще чего.

Вообще этот идиот с оловянными глазами, каким-то нелепым завитком на лбу и конусообразной головой, притом с развязными гвардейскими манерами, казался мне вдесятеро гаже жандармского.

— Садитесь,— обратился Ракеев к квартальному.— Вы знаете, как пишутся акты?

— Знаю-с.

Квартальный сел и принялся выводить писарским почерком:

«Сентября 1-го дня сего 1861 года, прибыв, по приказанию высшего начальства», и так далее.

Ракеев диктовал, повторяя фразы раза по два, чтобы слог вышел лучше.

— Как-с вы эти французские-то книги называли?— спросил он меня.— Это, я думаю, тоже записать не лишнее? — обратился он к Золотницкому.— Имеют ли они право их держать?

— Да, записать! записать! — подтвердил Золотницкий, грациозно раскачиваясь на ногах.

— Так как же-с вы их назвали? — спросил меня Ракеев.

— Луи Блан, Прудон.

«При обыске найдены сочинения Луи Блана и Прудона на французском языке»,— диктовал он.

С заботами о слоге диктовка длилась не менее получаса. Весь же обыск продолжался наверное часа два с лишком.

Наконец полковники подписали акт и попросили расписаться меня, потом завернули две книжки и портрет и запечатали моей и своею печатью и к великому удовольствию моему удалились с прежним грохотом сабель. При прощании были, разумеется, разные извинения, что обеспокоили.

Эта деликатность была особенно некстати после того, как эти незваные гости, заслышав в другой комнате стук чашек и ложек, напрашивались тонким образом на чай,— именно замечали, что на дворе холодно и что они не успели еще в это утро напиться чаю. Они, видно, не считали своего посещения неприятным для меня. Я, однако ж, остался глух к их намекам.

На свертке с портретом и книгами они попросили меня написать, что эти вещи действительно взяты у меня. Я написал. Им, конечно, нужен был мой автограф.

III

Почти вслед за отъездом двух полковников я отправился к Цепному мосту, в Третье отделение, чтобы узнать от Шувалова о причине обыска.

В приемной меня встретил Золотницкий, только что вышедший из кабинета, и очень удивился моему приезду.

— Зачем вы? Ведь ничего у вас не нашли,— говорил он мне.— Разве вас призвали сюда?

— Нет.

— Так уезжайте лучше. Что вам тут с ним разговаривать?

Я, однако ж, остался.

Шувалов, выйдя, пригласил меня в кабинет, тот самый кабинет, где мне после того случилось быть еще не один раз,— и спросил о причине моего приезда к нему. Я, в свою очередь, спросил о причине бывшего у меня неприятного посещения. Он немного замялся. Я сказал, что, ка-

жется, к этому не было с моей стороны никакого повода.

— Разве только мой образ мыслей кому-нибудь не понравился? — прибавил я.

— Помилуйте,— возразил на это Шувалов.— Дело не в образе мыслей. Я сам человек либеральный.

Слышать такое золотое изречение от шпиона en chef[1] и не засмеяться — стоило мне некоторого усилия.

Видя, однако ж, что я не уйду без объяснения, Шувалов сказал мне, что на меня есть подозрение по делу московских студентов, у которых открыта тайная типография и литография; но что так как дело это передано из Третьего отделения в министерство внутренних дел, то я оттуда получу на днях вопросные пункты.

— Вы ведь никуда не собираетесь ехать из Петербурга?

— Никуда.

IV

Весть о московских студентах немного удивила меня. Я знал, что с их стороны не может быть на меня ничего, кроме голословных показаний. Только на другой день, на сходке у Николая Курочкина по поводу Шахматного клуба, узнал я об аресте Всеволода Костомарова. Но и тут мне в голову не приходило, чтобы Третье отделение могло что-нибудь знать о воззвании «К молодому поколению». В этот именно вечер оно было распространено по Петербургу. Между тем, как потом оказалось, Костомаров успел уже объяснить Шувалову все, что знал о прокламации и что даже только подозревал. Собственно, знал-то он немного. У меня искали именно ее.

После того как прокламация распространилась, старания найти ее источник были, разумеется, удвоены. За мной, вероятно, следили, и особенно старался в Петербурге и в Москве частный пристав Путилин. Этот усердный молодой человек, как я узнал потом в Тайной канцелярии, был там правой рукой.

Как же было и не усердствовать какому-нибудь частному, когда агентами шпионского отделения с величайшею готовностью соглашались быть и особы в генеральских чи-

---

[1] главного *(франц.)*.

нах, не имеющие надобности хлопотать о Владимире в петлицу, и притом совсем постороннего ведомства? Ты, конечно, помнишь, как меня удивила записка от цензурного глухаря, барона Медема, о том, не я ли доставил к нему какую-то небывалую статью о бельгийской конституции. Курьер ждал от меня тотчас же ответа, точно дело шло о пожаре или наводнении. Мою записку я видел потом в Третьем отделении. Ее сличали с двумя рукописями, взятыми у Костомарова (вернее — представленными им), и нашли, что я писал то, чего никогда не писал.

V

Я делал разные предположения, прежде чем арестовали; но мне ни разу не пришло в голову, что Костомаров подлец (уже потом я слышал, что один близкий к Третьему отделению человек говорил одному литератору: «Хороши ваши литераторы! Сваливают друг на друга». Это относилось именно к Костомарову).

Кажется, дня через четыре после бывшего у меня обыска заехал ко мне Г<аевский>, никогда прежде у меня не бывавший, чтобы сказать, что хотят сделать обыск в какой-то деревне, тогда как у меня никакой деревни нет и я никуда не ездил из Петербурга. Откуда могли идти такие вести? Тот же Г<аевский> говорил, что в Третьем отделении убеждены, что подозрения на меня вполне основательны и что у них есть мои рукописи, компрометирующие меня.

Все эти глухие слухи не просветили меня, к несчастию, относительно Костомарова, и я продолжал относить всю вину на человека, который был нисколько в этом не виноват, да и быть-то виноват не мог. Мне совестно думать теперь об этом подозрении.

А между тем Костомаров, в последний приезд свой из Москвы, произвел на меня далеко не такое приятное впечатление, как прежде. Я в этот раз убедился, что он любит лгать,— и, когда он мне рассказывал, что брат грозит ему доносом, не верил ему и потому слушал его довольно хладнокровно. Я думаю, что все это вздор и никакой брат не думал на него доносить; но, если это была даже правда, отчего он не постарался уничтожить улики?

Я припоминаю теперь еще одно обстоятельство, которому, впрочем, не хочу придавать важности. Упомяну о нем толь-

ко потому, что оно не раз приходило мне на ум в продолжение следствия надо мной. Ты знаешь, как часто жаловался Костомаров на свою бедность, на то, что литература не дает денег, что журналисты не платят, и пр. Именно в последнее свое свидание со мной он говорил, что, если будет так продолжаться, он поступит в жандармы. Он прибавил, что сделал бы это во вкусе Конрада Валенрода, и говорил шутя; но слова его чрезвычайно неприятно подействовали на меня.

О Костомарове, впрочем, речь впереди.

Как бы то ни было, я вовсе не подозревал, что дело идет именно о прокламации «К молодому поколению». Если я принял кой-какие предосторожности, уничтожил разные письма и бумаги и пр., то лишь потому, что думал, подозрение может пасть на меня по какому-нибудь новому поводу.

Меня мало тревожили и слухи о том, что меня арестуют, распространявшиеся не раз по городу. Помнишь приезд Блюммер и ее предложение спрятать меня в своей квартире и потом выпроводить за границу?

Второй обыск нагрянул совсем неожиданно. Сведения были собраны уже довольно обстоятельные, и можно было явиться ко мне с двойным трезвоном и с большею наглостью.

VI

Утро 14 сентября было так богато разными наглыми и возмутительными подробностями, что его нельзя забыть. И при всем этом известная деликатность обращения! Не деликатен разве был только звонок, которым можно бы насмерть испугать больного.

А все остальное (даже призыв в твою спальню, для присутствия при твоем одеванье, бабы Аграфены) было так все светски и гвардейски вежливо. Черту неделикатности выказал, правда, также один из свидетелей или понятых,— помнишь, тот, что был одержим глухотой и облечен в зеленый сюртук с гербовыми пуговицами. Он садился все в разных местах, и, где ни сядет, непременно возьмет со стола бумагу какую-нибудь или письмо и примется читать. Но ведь это даже нельзя и неделикатностью назвать. Просто глупости. Притом же, как только я сказал, что это мне не нравится, гвардейские любезники его тотчас остановили. Благодушный полковник Щербацкий наклонил также свою мягкую физиономию к моим письмам и также не без любопыт-

ства почитывал их. Но ведь это было полным его правом. А какая тонкость в обращении жандармского полковника Житкова! («Вы *твердо* изволите писать или *добро* в вашей фамилии?»— спрашивал его тот же квартальный, на этот раз уже здоровый, выписывая начало акта.—«*Те... Жит...*, а не *Жид*»,— отвечал полковник.) У него белки были тоже красные, все в напряженных жилах. Но как ласково он смотрел! Как мило улыбался! Наибольшую серьезность хранил черный сыщик Путилин, показавшийся всем нам особенно загадочным лицом, но и он раза два улыбнулся, и голос у него был такой мягкий. Его глаза, с черными масляными зрачками и с какою-то синеватою тенью под веками и на белках, я готов бы признать такими же характеристическими для шпиона, как красные для жандарма; но не слишком ли уж это будет? А именно точь-в-точь такие глаза и такой же вид, почему-то напоминающий ворон, был и у следователя, который трудился выклевать у меня признание в Тайной канцелярии.

Воспоминание об этом гнусном утре до сих пор возбуждает во мне желчь. Эта куча народа—ведь одних солдат жандармских и полицейских было человек десять (не считая бабы и четырех высших шпионов, расхаживавших с двумя понятыми по всем комнатам), эти поганые глаза, осквернившие своим взглядом столько чистых страниц, эти дрянные воровские руки, готовые пачкать все своим прикосновением, это расхаживанье из комнаты в комнату и собачье обнюхиванье всего, эта наглость, сопровождаемая или предшествуемая извинениями, наконец самая продолжительность этой пытки, тянувшейся с пяти часов утра чуть не до часу пополудни,— у меня теперь от одного того, что я припомнил их, сохнет во рту, как сохло в то утро.

До сих пор я не могу объяснить себе одного факта. Когда жандармский сидел в гостиной, пересматривая твои письма, а Щербацкий занимался сниманьем с полок и перелистываньем книг у меня в кабинете, Путилин, притворив дверь, в прихожей шептался с высокой, красивой и молодой дамой, к которой его вызвали. Этой даме он, кажется, что-то передавал и чуть ли она не два раза тут была. Я приотворил дверь и смотрел на них; но ничего не слыхал. Я тут же спросил Путилина, что это значит. Он глухо отвечал, что это к нему по постороннему делу. Я потом очень хорошо узнал эту даму во дворе Третьего отделения. Она не раз проходила там.

VII

Уже судя по продолжительности и по тщательности обыска (при котором все-таки ничего особенного не найдено), можно было догадаться, что меня не оставят дома. Если бы им вздумалось тут же читать груду бумаг и писем, без толку набранных у меня и Шелгунова, им пришлось бы тут гостить дня два. Когда коробки с бумагами были запечатаны и в доме ничего не осталось не обшаренного, даже до чердака, полковник Житков, предпослав приличное извинение, объявил мне, что «принужден пригласить меня с собой».

Я только что умылся и принялся одеваться в спальне, как ко мне вошел жандармский и конфиденциально спросил, как же я оставлю свои вещи и нужно ли их опечатать и передать кому-либо.

Я сказал, что пусть они остаются как есть, у вас на руках, без всякого опечатания.

— Я должен, однако ж, вас предупредить,— сказал он еще конфиденциальнее,— что и они (он кивнул на кабинет), может быть, должны будут быть удалены из квартиры. Впрочем, — продолжал он, как бы соображая, — покамест можно будет оставить. Теперь вы поедете только одни.

Ты, разумеется, помнишь, что он говорил вроде утешения:

— Вы, вероятно, часа через полтора узнаете о них (то есть обо мне).

Это было сказано с целью, именно для меня, и я слишком поздно догадался, с какою.

Я был сильно встревожен, когда мне пришлось прощаться со всеми. У меня точно было уже предчувствие, что дело разыграется именно так глупо, как оно разыгралось. Преследование было слишком нагло, и мне поневоле думалось, что оно не может же основываться на каких-нибудь пустяках.

Уже сходя с лестницы, я был как будто охвачен всеми теми мыслями, которые потом все росли и давили меня в Тайной канцелярии. Я простился внизу с Николаем Васильевичем и Веней, но подумал взглянуть наверх, на окна нашей квартиры, только уж тогда, как карета отъехала от ворот.

VIII

На передней лавке кареты поместили коробки с бумагами и чемодан мой с бельем и кой-какими книгами, взятыми мною на время ареста. Рядом со мною сидел жандармский в шинели.

Мне смутно помнится, что утро было яркое и не холодное, и слышался церковный звон (был праздник воздвиженья). Близ наших ворот, у соседнего дома, на углу, у гимназии, стояло немало народа, явно привлеченного жандармами в воротах и у ворот.

Это любопытство не понравилось моему полковнику.

— Я всегда говорю,— заметил он,— что обыски гораздо лучше делать по ночам, как прежде делали. А этак поутру — непременно наберутся любопытные.

Мы, сколько помнится, ехали Большой Морской, потом, кажется, Большой Миллионной, к Летнему саду.

Житков предложил мне несколько вопросов, может быть с целью, а может быть и так, именно: давно ли я вернулся из-за границы, долго ли там проездил и где жил.

Я чувствовал такую сухость и горечь во рту, что мне не хотелось и слова сказать. Было как раз время завтрака, а я утром выпил только стакан чаю без хлеба. Я сказал, что поездка в Третье отделение не дала мне и позавтракать.

— Как жаль, что теперь не вечер,— заметил на это Житков,— а то мы могли бы заехать с вами в какой-нибудь ресторан и закусить.

Действительно, жаль. Какое было бы прекрасное препровождение времени!

— Впрочем, вы можете спросить, чего вам угодно, и там.

Это *там* было уже почти *здесь*.

Мы переехали Цепной мост; но опытный извозчик не повернул по набережной, где мне было известно парадное крыльцо канцелярии, а поехал в Пантелеймоновскую (кажется, так) улицу и в конце ее повернул направо в ворота, в которых стояли жандармы.

— Вы посидите покамест в карете,— проговорил Житков, выскакивая.— Я сейчас.

И точно, минуты через две он явился к дверцам и попросил меня следовать за собой. Тут же под воротами в подъезд стали мы подыматься по довольно опрятной лестнице. Здесь вышел к нам навстречу в втором этаже (из двери,

на которой я прочел: «Зарубин») офицер с красным воротником и общеармейским лицом. Это был еще человек молодой, белокурый и самого беззаботного вида.

— Вот-с господин Михайлов,— объяснил ему Житков.— Поместите их. А мне надо спешить. Мое почтенье, monsieur Михайлов.

И мой провожатый с архангельскою легкостью запорхал вниз по лестнице, по-архангельски гремя о ступени своим длинным мечом.

— Пожалуйте за мной,— обратился ко мне Зарубин, как оказалось смотритель дома, смотритель каземата при Тайной канцелярии, эконом, одним словом вроде домашнего гения этих милых мест.

Мы и без того были уже высоко; но пришлось подыматься еще выше,— и наконец-то, пройдя еще десятка три ступеней, я вступил в дверь, где капитану брякнул на караул ружьем солдат.

— Ох, высоко!— проговорил и смотритель, отдуваясь, хотя бегать взад и вперед по этой лестнице ему было, вероятно, впривычку.

Тут я очутился в какой-то горнице, похожей и на грязную лакейскую в беспорядочном помещичьем доме, и, отчасти, на буфет какой-нибудь захолустной харчевни, и, наконец, на сторожку. Тут пахло сапогами и угаром и возился около стола с чайными чашками и сапожными щетками высокий и неуклюжий человек, видом и одеждой похожий на дворника.

— Где же вахтер?— крикнул смотритель.— Вахтера послать!

Вахтер, черный, приземистый, в серой шинели, был легок на помине.

В двери, выходившей в описанную мною комнату, повернулся большой ключ, и передо мною распахнулась моя первая тюрьма.

В ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ

I

Это была довольно просторная комната, очень обыкновенного вида, оклеенная обоями, с двумя большими окнами. Что это тюрьма, напоминали, однако ж, очень ясно железные перекладины за этими окнами. Кроме койки, был тут небольшой стол, довольно удобный диван и несколько стульев и в одном углу снаряд, показывавший, что из этой комнаты нельзя выходить даже по крайней надобности.

Из окон виднелись только крыши да трубы; двор внизу представлялся чем-то вроде колодца, так высоко поднялась эта тюрьма.

Смотритель велел внести мой чемодан и сказал, что сейчас придет дежурный — записать мое имя и осмотреть вещи. Сам он ушел.

Вскоре явился гусарский офицер глупого вида и молодой, с одной особенно одутловатой щекой, которая была будто во флюсе; но этот флюс — потом я увидал — был постоянный. Гусар принес шнуровую книгу. За ним вошел вахтер с кучкой белья. Чемодан мой поставили на пол.

Гусар спросил мое имя, звание и проч. и записал в своей книге. Потом он объявил мне, что я должен раздеться и надеть все казенное. Мне пришлось снять с себя все дочиста — даже чулки. Взамен мне дали казенные чулки, белые штаны с костяными пуговицами, сшитые на человека, вдвое выше и толще меня, рубашку и поверх всего белый больничный халат, а на ноги старые стоптанные башмаки.

Пока я переодевался, черномазый противный вахтер производил обыск по всем карманам моего платья, которые

выворачивал и опять вправлял. Все, что было в них, я заранее выложил на стол. Белье из чемодана тоже было выложено, переписано в книгу; все, что было на мне, тоже; часы, кошелек с деньгами, шапка... «Ничего изо всего этого, — объявил мне гусар с флюсом,— не может быть оставлено при мне».

— А книги?

— Книги тоже надо передать в экспедицию. Там просмотрят. Только сегодня уж некому — праздник.

Гусар обещал со временем хорошего шпиона. Мало того, что при нем были обшарены мои карманы — он велел вахтеру вскрыть запечатанный ящик с папиросами, взятый мною из дому, и, когда вахтер раскрыл его, он начал перерывать папиросы своею пястью с самым серьезным видом и даже чуть ли не с сознанием собственного достоинства.

Ему было на вид лет двадцать; усы маленькие; бороду он едва ли еще брил. Надежды подает приятные. Впрочем, таких милых юношей в мундирах разных полков я видел больше десятка во время пребывания моего у Цепного моста. Все они прикомандированы к начальнику Третьего отделения в чаянии мест адъютантов и чиновников особых поручений по жандармерии; состоят тут как бы на испытании и должны зарекомендовать свою скромность и показать отчасти свою деятельность. Шляясь по трактирам и по гостям в свободные от дежурства дни, они обязаны от времени до времени поддерживать хорошее мнение о себе в глазах начальства легкими доносиками. Должно быть, они очень дорожат своим положением, потому что отвечают самым уклончивым образом даже на самые обыкновенные вопросы, вроде справок о погоде.

Обобрав меня дочиста, офицер с вахтером ушли, и дверь за ними была заперта. Я уж не помню теперь, была ли она стеклянная, как в другом помещении, или с квадратным оконцем, прикрытым снаружи железным клапаном, как в тюрьме. В этой комнате я пробыл слишком недолго.

Смотритель, уходя, спросил меня, не хочу ли я обедать или чаю. Я спросил чаю, и мне принес его тот косолапый, похожий на дворника человек, о котором я упоминал.

Чай, конечно, не успокоил моего нервного раздражения после этого отвратительного утра. У меня разбаливалась голова. Я попробовал лечь на койку и задремать; но сон не шел, хоть я и не выспался в эту ночь как следует. Притом я не мог отделаться от разных предположений относи-

тельно своего ареста; но в них все-таки не подходил даже и близко к настоящему их поводу, доносу Костомарова. Мне хотелось, чтобы хоть эта нерешительность скорее миновала,— чтобы меня позвали на допрос.

II

Вскоре опять явился смотритель и за ним вахтер с моими сапогами и платьем.

— Потрудитесь одеться,— сказал смотритель,— мы вас переведем в другой номер.

Я стал одеваться и спросил,— зачем.

— Здесь высоко, неудобно и далеко от экспедиции,— сказал смотритель,— а вас часто будут спрашивать. Велели поближе перевести.

Мы спустились с лестницы в сопровождении вахтера, несшего за нами больничный халат и стоптанные башмаки. Пройдя первый двор, загроможденный страшным количеством дров (смотритель говорил мне потом с гордостью, что у них на шпионскую канцелярию выходит их в год на 8000 р.), мы вступили на второй двор, неправильной формы и поменьше. Дальше были еще ворота, в которые виднелся жалкий садик. Не доходя до них, вправо, почти в углу, была небольшая дверь, около которой стоял жандармский часовой. Дверь была отворена; но вахтер в темных и грязных сенях, откуда шла вверх такая же грязная лестница, позвонил в какой-то разбитый, но громкий колокольчик. Он давал знак наверх о прибытии начальства.

Мы поднялись на второй этаж. Тут перед нами оказалась тяжелая дверь из продольных железных жердей, как у звериных клеток, с тяжелым замком. За дверью полумрак; там в недлинном коридоре, шагов в тридцать, виднелись солдаты с ружьями, двое или трое.

Вахтер отомкнул замок, и мы прошли в самую глубь коридора, мимо трех одностворчатых дверей, со стеклами в верхней половине, которые снаружи были задернуты белым коленкором. Такую же дверь (это была крайняя) отперли мне.

Новый номер был далеко не так изящен, как первый. Стены голые, просто выбеленные; диван крошечный, старого фасона; вместо стола какой-то шкафчик и два старомод-

ных стула. Койка была такая же, железная, как и там. Около нее у самой печки (больше некуда было поставить) возвышался громадный ящик, крышка которого не совсем плотно прикрывалась. Постоянная отрава из этого ящика слышалась в тепло натопленной комнате. Потолок был низкий, опять-таки не то, что в первом моем помещении, где он был и высок, да вдобавок еще и с лепными какими-то украшениями. И печь, выходившая на полкирпича в комнату, была самая простая, а там изразцовая и с разными художественными орнаментами. К счастию, в моей новой комнате было два окна, и оба еще об одной раме. Их можно было отворять. Решетки были в них такие же.

Номер имел форму трапеции, как и двор перед окошками. Кровать стояла у стены, образовавшей тупой и острый углы.

Опять раздеванье, и опять я был в белом халате. Смотритель с вахтером ушли; я остался один и стал смотреть в окно.

Во дворе было пусто. Изредка проходил какой-нибудь жандарм, то солдат, то в офицерской шинели, приезжал курьер в тележке, с пакетами, баба проходила или дама. Появление дам заставило меня предположить, что в самом здании есть шпионские квартиры, со шпионшами и шпионятами. Им-то, конечно, принадлежали эти окна в третьем этаже, справа от моих окон, завешенные гардинами, с горшками цветов. Этажом ниже были видны в окна столы, этажерки с бумагами и все прочие обычные принадлежности присутственного места. Это было, как я предположил, самое ядро шпионской деятельности. У одного из окон показывался то дежурный гусар с флюсом, то чиновник со светлыми пуговицами, должно быть тоже дежурный.

Я заслышал шаги у своих дверей и оглянулся. Белая занавеска, заслонявшая с той стороны стекла, была отдернута, и ко мне глядело солдатское лицо с черными усами и бакенбардами, в какой-то белой куртке. Вслед затем повернулся ключ в замке, и этот самый длинный солдат, несколько облысевший спереди, с худощавым и довольно добродушным лицом, внес ко мне нанизанные на ремень судки с обедом. Он постлал на шкафчике, заменявшем стол, салфетку, вынул из него солонку и затем расставил судки, показывая мне содержание каждой глиняной чашки, словно хотел пленить меня. «Вот суп, ваше высокоблагородие, а вот холодное, а вот жареное,— а огурцы тут (огурцы

лежали в застывшем говяжьем сале); а вот и пирожное на закуску, ваше высокоблагородие».

Несмотря на чувство как будто голода, я не мог есть. Неприятное раздражение все еще не проходило. Я хлебнул ложки две жидкого трактирного супу, и мне показалось, что, если я съем еще ложки две, меня, пожалуй, стошнит. К супу была серебряная ложка; но к остальным блюдам таких опасных орудий, как нож и вилка, не полагалось.

III

Только к сумеркам я стал немного успокоиваться; но успокоился ненадолго. Опять слегка отдернулась занавеска, опять повернулся ключ в двери. Вошел черный вахтер с моим платьем и предложил мне одеться.

— Куда?

— Не могу знать-с.

Я оделся.

Тут пришел гусар с флюсом и сказал, что меня просят в «Экспедицию».

Когда в коридоре вслед за нами хотели направиться в виде конвоя два солдата, гусар развязно махнул им рукой и сказал гуманно и современно: «Не надо!»

Мы вышли во двор, потом в ворота направо, где был цветник, обошли его кругом и по разным лестницам и коридорам пришли к двери, на которой было написано: «2-е отд-ние». Я прочел эту надпись совершенно равнодушно, еще вовсе не подозревая, что она почти равняется для меня, по значению, надписи над вратами Дантова ада.

Прихожая; потом что-то вроде канцелярии. Тут за тремя или четырьмя столами сидело человек пять, несмотря на праздник, и строчило какую-то черноту. (Дела, как я заметил потом, тут много. Все пишут и пишут.) Прогресс давал о себе знать тем, что некоторые из этих господ вставали с места и закуривали у камина папиросы. Как вообще всякий чиновник, они желали выказать свой вес тут, при постороннем: проходя мимо, принимали какую-то особенно развязную походку и беспечный вид. Лица, разумеется, пошлые, как и следует иметь мелюзге.

— Посидите, пожалуйста, здесь,— обратился ко мне опухший гусар, а сам отправился доложить.

Через несколько минут дальнейшая дверь отворилась, и оттуда сделал несколько шагов вперед высокий чиновник во фраке с светлыми пуговицами и с Станиславом на шее. Остановясь почти посредине комнаты, он обратился ко мне с приглашением:

— Не угодно ли вам пожаловать сюда, господин Михайлов?

Я пошел и, через маленькую проходную комнату, очутился в самом сердце второй экспедиции. Дверь чиновник за собою затворил.

IV

Тут стояли все шкафы кругом и один только письменный стол.

Чиновник, стоявший теперь передо мной лицом к лицу, был еще почти молодой человек (он сказал мне как-то потом, что ему тридцать шесть лет). Лицо у него было сухое, бесстрастное и не злое. В выражении было что-то напряженное, как будто он постоянно прислушивался к чему-то; фамилия чиновника — Горянский. Эконом и сторож называли его не иначе как «Федор Иванович». Он был худощав, с несколько втянутыми щеками, с тонкими и постоянно запекшимися губами, как будто от долгого поста или от долгого молчания. Черные волосы, черные глаза с синевой под веками, тонкий нос, смуглый цвет лица сообщали ему вороний характер. Эти черты были почти постоянно в нервном движении та́к же, как и сухие руки.

— Я очень уважаю ваш талант, господин Михайлов,— сказал он с возможно любезным видом,— и очень сожалею, что мне приходится познакомиться с вами при таких обстоятельствах.

Как будто я мог бы познакомиться с ним при других!

— Да в чем дело? — спросил я.— В чем меня подозревают?

— На вас падает сильное подозрение, во-первых, в сочинении прокламации к крепостным людям, во-вторых, в привозе из-за границы другого печатного воззвания — «К молодому поколению» и в распространении его.

— Да на чем же основываются эти подозрения?

— Против вас есть показания некоторых лиц, и, кроме того,— вот-с!

Он взял со стола письмо и подошел с ним ко мне. Я сел у окна.

— Известна вам эта рука?

Довольно было взглянуть раз на рукопись, чтобы узнать почерк Костомарова. В первых же строчках бросилось мне в глаза: «М. Михайлов».

— Чье это письмо, не знаю,— сказал я.— Дайте прочесть.

Горянский боялся дать мне его в руки. Он положил его на окно и придерживал сверху, вероятно, чтобы я не схватил и не разорвал его.

В письме Костомарова, адресованном к <Р>остовцеву, говорилось, что на него, Костомарова, сделан донос его собственным братом и при этом украдены рукописи, из коих одна писана рукою М. Михайлова и может его сильно компрометировать. Далее он просил справиться у Плещеева о моем адресе и поехать или послать ко мне в Петербург, предупредить меня, чтобы я (вот что было умнее всего) «принял все зависящие от меня меры уничтожить»,— не то чтобы уничтожил, а именно сделал со своей стороны все возможное, чтобы уничтожить все до единого экземпляры «Молодого поколения» (и это подчеркнуто для большей выразительности).

Какое сцепление мыслей заставило Костомарова писать подобные вещи, когда за ним наблюдали (он и это упомянул в письме),— зачем понадобилось ему извещать меня, когда пять строк, написанных моею рукой, без его собственного показания, не подали бы никакого повода подозревать не только меня, но и кого бы то ни было,— понять все это очень трудно. Если это письмо было написано не с преднамеренною целью выдать меня, то в это время в голове Костомарова происходил странный процесс. И добро бы оно обличало торопливость, состояло из набросанных наскоро беглых строчек! Нет, оно было довольно длинно и написано спокойной рукой. Только тупоумный человек мог дописать его до конца, не уничтожив. И хоть бы это писалось в другой город; а то в том же городе посылать подобную цидулку с горничной. <Ничего не понимаю. В письме именно говорилось> с изумительной логикой: «За мною следят, так я посылаю это письмо с Александрой» (так, кажется, была названа горничная).

Дальнейшее содержание письма просто озлобило меня своею подлостью. Костомаров прямо говорил, что он ничего

не скроет про московских студентов, потому, видите ли, что они не стоят того, чтобы их беречь!

Я уж никак не могу сказать, чтобы поступал умно в Третьем отделении. Но этому не мало содействовало опасение, что откровения, сделанные уже Костомаровым (как я уже сразу увидел из слов Горянского), могут сопровождаться еще большими откровениями.

— Вы признаете руку Костомарова? — спросил меня Горянский.— Он признал это письмо.

Я промолчал и еще раз перечитал письмо.

Горянский в это время говорил, что упорство мое в показаниях только повредит мне, именно заставит перевести меня в крепость, где я буду содержаться с величайшей строгостью. Этим он, кажется, хотел испугать меня, но, конечно, без толку.

— Третьему отделению,— продолжал он,— хорошо известны и лица, содействовавшие вам в распространении воззвания. Уж и теперь арестованы некоторые, но придется арестовать и других.

Он назвал несколько имен.

— Мы давно уже не арестовывали женщин,— продолжал Горянский,— а теперь должны были прибегнуть и к этой мере. Арестованы мать и сестра Костомарова. Часа через полтора после вас взята и полковница Шелгунова.

Перечитывая письмо Костомарова, я думал, как бы объяснить его так, чтобы оно не могло служить обвинением мне. Я, разумеется, прежде всего не признал бы самого письма, если бы меня не сбили немного с толку слова Горянского.

Мне казалось самым удобным сказать, что из-за границы я действительно привез несколько экземпляров воззвания (именно 10), но их не распространял, а уничтожил, боясь ответственности; что Костомаров видел у меня только один экземпляр, что было совершенно справедливо; а что касается рукописей, то я не помню, какие у него могут быть компрометирующие меня бумаги. Пусть мне покажут.

— Их у нас нет,— отвечал Горянский,— они переданы следственной комиссии, назначенной над студентами, но вы их увидите завтра.

Вскоре его потребовали к «графу Петру Андреевичу», и он попросил меня выйти с ним опять в канцелярию и там подождать.

V

Тут на этот раз был Путилин в черном фраке и со Станиславом на шее. Этот Станислав здесь чуть не на каждом шагу. Он немедленно подступил ко мне с сладкой улыбкой и стал тоже предлагать вопросы. Я отвечал ему вскользь. Он возбуждал во мне особенное отвращение.

Он обратился ко мне прежде всего с вопросом:

— Ведь вы изволите знать Благолюбова?

— Нет, не знаю.

— Как не знаете-с? Он-с ведь в одном с вами журнале участвует.

— Нет, такого не участвует.

— Ах, виноват-с. Я хотел сказать, Добролюбова. Его знаете-с?

— Знаю.

— Давно с ним виделись?

— Недавно.

— На той неделе-с?

— Не помню.

— Вы ведь изволили с ним вместе за границей быть?

— Вовсе нет.

— Но с ним там виделись?

— И того нет.

Все в таком диком роде.

Смеркалось уже. Зажигали свечи. Глупые вопросы Путилина были прерваны приходом Горянского, который попросил меня идти с ним к Шувалову.

Я прошел разными коридорами и лестницами в ту самую приемную, где дожидался Шувалова в день бывшего у меня обыска. Горянский юркнул сначала к нему в кабинет, потом ушел из приемной. Тут был только дежурный, развязно садившийся то на тот, то на другой стул, но не гусар с флюсом, а другой.

Шувалов взглянул и позвал меня.

VI

У него горела свеча на письменном столе и топился камин. Этот кабинет, куда, как в лужу, стекаются эссенции доносов и шпионства, был уже мне знаком, но я его еще не описал. Довольно большая комната эта была тоже обстав-

лена с одной стороны довольно красивыми шкафами. Почти посредине, задом к камину, письменный стол. На камине часы, канделябры. Несколько мягких кресел, кажется, и диванов. Вообще кабинет имел вид более домашний, чем официальный.

Шувалов остановился по одну сторону стола, я по другую. У него лицо как-то странно подергивало.

— Вы не хотите сказать, господин Михайлов, той правды, которая нам очень хорошо известна,— начал он.— Когда вы были у меня, тогда я уже очень хорошо знал вашу виновность; а теперь все окончательно подтвердилось. Теперь вы заставляете меня действовать, как бы мне и не хотелось.

(Тут же мне пришлось узнать, что он не только либеральный, но и честный человек. Он уверял в этом, ударяя себя в грудь.)

Затем те же вопросы почти повторил мне и Шувалов, которые я слышал уже от Горянского.

Он все уверял меня, что я писал прокламацию к крепостным людям, и говорил, что я, несомненно, и подтверждается это сличением ее с моим почерком сколькими-то сенатскими секретарями.

Я стоял на своем и требовал, чтобы мне показали рукописи.

— Хорошо-с, завтра вы их увидите,— сказал Шувалов.— Я не хочу брать у вас признания нахрапом.

А он верно к этому привык в полиции.

— Вы привезли с собою не десять экземпляров печатанной прокламации, как говорите. Это что? Пустяки! Из-за этого вас бы нечего и преследовать. Вы привезли ее в большом количестве и распространяли со своими приятелями. У меня есть очень верные данные. Одному Костомарову вы предлагали для Москвы сто экземпляров. Ведь предлагали?

Я, конечно, отвечал, что нет.

— Костомаров сам вам это сейчас подтвердит.

Шувалов подошел к двери и спросил громко:

— Что, привезли арестантов... из крепости?— прибавил он, вероятно, для устрашения меня.

Я сильно сомневаюсь, сидел ли Костомаров в крепости.

Минуты через две (в кабинете было молчание; Шувалов закурил крошечную папироску, ни он, ни я не садились) вошел Костомаров. Я не вдруг бы узнал его в каком-то

толстом пальто и обросшего большой бородой. Он мне улыбнулся; но у меня не нашлось в ответ улыбки.

Известное письмо лежало уже на столе у Шувалова. Он положил его перед Костомаровым и сказал, указывая на известные буквы:

— Что это такое? «К молодому поколению»?

Костомаров молчал.

— Господин Михайлов сознает, что это так.

— Если он сознает,— сказал Костомаров,— то это действительно так.

— Предлагал он вам сто экземпляров?

Тут я перебил его, чтобы (глупое заблуждение) дать знать Костомарову, чего ему держаться в своих показаниях.

— Я не мог ему предлагать и не предлагал такое количество, потому что у меня самого было всего десять экземпляров. Но и их Костомаров у меня не видал. Он видел только один экземпляр.

— Так ли это, Костомаров?

— Так.

— Ступайте! — сказал ему Шувалов.

Я остался. Шувалов чрез минуту выглянул из кабинета и спросил:

— Ушел?

Ему там отвечали.

— Вы можете тоже теперь идти,— обратился он ко мне.

Не успел я выйти из кабинета, как ко мне вынырнул откуда-то из мрака Путилин и сказал по секрету:

— Попросите у графа, чтобы он возвратил письма госпоже Шелгуновой. Полковник давеча взял их к себе в карман. Их, пожалуй, представят при следствии.

От этих слов меня покоробило, но я промолчал.

Гусар с флюсом ждал уже меня, и мы отправились.

VII

Когда, пройдя двор с садиком, мы вышли в ворота, я взглянул на окна своего каземата. Окно рядом с моими окнами было освещено. Штора не была спущена, и мне показалось — у окна сидит девушка, белокурая, с распущенными на плечи волосами. Горянский, значит, не врал о женских арестах. Это меня встревожило.

Наш коридор был освещен газом. Вахтер явился за одеждой. Самохвалов (так звали сторожа — длинного унтера с черными баками) принес стакан чаю с хлебом.

Ночь я провел тревожно и почти не спал до самого света. Если эта ночь была первая, то не последняя.

Когда я лег в постель, Самохвалов принес ночник, поставил его на окно, опустил шторы, потушил свечу и пожелал мне спокойной ночи. Затем он запер дверь и вынул из нее ключ, который днем обыкновенно оставался в замке. Я думал, сердился и на себя и на Костомарова, волновался, обсуживал и проворочался всю ночь с боку на бок. Понятно, какого рода мысли не давали мне спать. Я упрекал себя, что не стоял на совершенном отрицании всего, что сознался и в десяти экземплярах, хотя дело и могло окончиться в этом случае непродолжительным арестом. Я чувствовал уже, что Костомаров не поддержит меня. Мне становилось ясно, что Костомаров высказал все, что знал, и даже, что подозревал. И в то же время мне не хотелось так дурно думать о нем. (Это-то и сгубило меня.) Я придумывал, как поступать дальше; но видел, что уже сразу испортил дело. И надо всем этим господствовало опасение, как бы в дело не впутали других.

Во дворе было от времени до времени движение. Слышалось бряцанье сабель, приезжали какие-то тележки. Я вставал и смотрел в окно, отогнувши штору. Мне воображались целые истории арестов, <которых, может быть, и не было.> Только к утру движение совершенно прекратилось, за исключением мерных шагов смены, причем слышалась команда и бряцанье ружей. Тогда раздавались громкие шаги и в нашем коридоре. Гремела железная дверь, шагали солдаты, отдергивалась занавеска у двери, и лица с усами смотрели, что делает арестант. И часовой, оставшись уже один у дверей, тоже по временам заглядывал.

Ночник у меня стал гаснуть. Мне не хотелось вставать, чтобы поправить его. Вдруг я услыхал голоса во дворе и потом на лестнице:

— Что ж это? там ночник погас. Зажечь!

— Эй, Самохвалов! в номере шестом ночник.

— Что, погас?

— Да. Дежурный увидал.

— Сейчас.

Я встал, поправил светильню спичкой, и она ярко загорелась. Мне не хотелось, чтобы ко мне лезли и ночью, и

Самохвалов, заглянув в мою дверь, остался по виду очень доволен и произнес с удивлением:

— Горить (6-sic).

С тяжелой головой пролежал я до рассвета, почти не умея еще сообразить и часов по смене. Я слышал и звон к заутрене и ранней обедне и заснул, видно, всего часа на полтора.

Чтобы позвать к себе сторожа, нужно было только постучать в стекло двери. Часовой передавал требование дальше.

Самохвалов принес умывальник и полотенце, подал мне умыться, убрал постель, вымел комнату и потом вскоре принес чаю. Он спросил меня, не желаю ли я чего-нибудь читать, и сказал, что у них есть книги, которые переходят из номера в номер, казенные. Я просил принести. Это были разрозненные номера «Русской беседы», «Библиотеки для чтения», «Revue étrangère». Читать в них было нечего, да и охоты у меня не было.

Часов до двенадцати я ходил из угла в угол или смотрел в окно. Во дворе проходили опять то жандармы, то чиновники, то дамы, вероятно шпионки, жены и дочери. Точно так же, как и накануне, приезжал в тележке курьер с бумагами, и пр. Окна не были закрашены.

VIII

Часов в двенадцать вахтер принес платье, пришел дежурный офицер, уже другой, другого полка, и я пошел опять в экспедицию. Тот же Горянский выложил передо мною две известные мне прокламации: к солдатам и к крепостным людям, разумеется, придерживая их слегка.

При этом он сказал мне:

— Костомаров показывает, что он взял эти рукописи в квартире студентов Петровского и Сороки.

Это меня очень смутило возможностью новых компрометирующих показаний.

Может быть, это и глупо было с моей стороны, но опасение худшего заставило меня сказать, что только одно из этих воззваний мог он взять у Сороки, а другое получил от меня.

Когда я указал на строчки, написанные мною в прокламации к солдатам, Горянский был, по-видимому, удивлен.

По их соображениям выходило (вопреки показанию Костомарова), что, напротив, прокламация к крестьянам написана моей рукой.

Вот и все почти, что произошло в это свидание. Да, я забываю одно.

Накануне я видел в экспедиции взятые у меня коробки с бумагами еще завязанными и запечатанными. Теперь не было на них уже ни бечевок, ни печатей и все из них было, по-видимому, выбрано. Это я заметил тотчас, как вошел, и тотчас же спросил Горянского, почему не призвали меня и не распечатали этих коробок при мне. Я мог бы при этом кое-что объяснить. Да к тому же для чего иначе было прикладывать к коробкам мою печать?

Горянский принял при этом несколько торжественный вид, насколько это было возможно при его фигуре, и заметил с гордостью:

— Вы забываете, господин Михайлов, что здесь канцелярия его величества. Печать ваша не имеет здесь значения.

И я-то наивен! Как будто не знал, что тут-то именно и письма специальным образом подпечатываются.

IX

Только что воротился я в свой номер, сторож принес обед, совершенно похожий на вчерашний. Но я не съел и двух глотков супу, как Горянский явился ко мне в номер. Обед и без того был мне противен; а тут я, разумеется, уже и в рот не мог его взять. Я сказал, чтобы его убрали.

Горянский старался отбросить свой официальный, чиновничий характер, но это ему не удавалось. Он сел, попросил позволения закурить папиросу и спросил меня, не знаю ли я, где в настоящую минуту студенты Сороко и Петровский. Их найти не могут. Оказалось, что до показания Костомарова на них и подозрения никакого не падало. Я же, напротив, по слухам думал, что Сороко арестован.

Потом Горянский спросил:

— А где брат Костомарова, вы не знаете?

— Какой брат?

— А вот про которого он пишет, что донес на него.

— Да вы разве не знаете этого? — спросил я с удивлением.— Я-то его и не видывал никогда.

— Мы его давно ищем и не знаем, где он.

Я тогда же начал думать, что донос брата — выдумка Костомарова. Хотелось бы разъяснить эту историю.

Скажу несколько слов о Горянском. Вообще это редкий подлец, подлец до глубины души, до мозга костей. Я сказал, что в выражении лица у него не было злого; но подлость характера артистически отпечатывалась в каждой черте, в каждом движении мускулов. У меня было довольно времени всмотреться в это гадкое лицо. Со второго дня моего ареста он меня посещал ежедневно в течение двух недель. Заходил и потом, но уже не так часто. Любопытнее всего было наблюдать за той игрой, которую он старался искусственно сообщить своему лицу. Игра эта не удавалась ему. Сухое, черствое лицо не поддавалось усилиям выразить то, что требовалось выразить в данную минуту, на основании тонких шпионских соображений. Но в усердии с его стороны в этом отношении не было недостатка. Напротив, он иногда, можно сказать, весь превращался в это усердие. Надежды терять, впрочем, нечего. Он еще молод. К старости, того и гляди, постоянная практика сделает свое, и его теперь неподатливое лицо будет принимать какую угодно маску, если только мы будем оставаться <со своим тысячелетним терпением> покорными зрителями этого <разбойничьего> вертепа у Цепного моста.

X

С этого второго дня моего ареста я могу более или менее одинаково охарактеризовать все дни моего заключения. В первые две недели я не знал ни одной спокойной минуты. Только вечером, да и то после известного часа, мог я не ждать посещения Горянского или Путилина или того, что меня потребуют в экспедицию или к Шувалову.

Говорить с этими господами было для меня истинной пыткой. Они постоянно делали мне в разговоре разные пугавшие меня намеки, на которые я старался не выказывать никакого ни любопытства, ни внимания, тогда как внутренно они меня очень тревожили. На принесенные мне Горянским вопросные пункты о прокламации «К молодому поколению» я ответил то же, что и на словах (рукописи, конечно,

казались им не особенно важным делом). По этим ответам со мною нельзя бы было сделать ничего особенного. Я решился стоять на этом до конца, и, если б не страх, что Костомаров замешает еще кого-нибудь, дело окончилось бы разве высылкой меня из Петербурга. Намеки не сходили у Горянского с языка. Он играл передо мною, как фокусники играют ножами, разными именами, не уставая повторять их. Между прочим, мне предлагали вопросы о Вене, давно ли он приехал из деревни, был ли в Петербурге, когда я вернулся из-за границы. Но это было много спустя, почти перед самым переводом меня в крепость (вероятно, в это время держали его в Третьем отделении, дожидаясь, что я скажу).

Говоря об этих ежедневных вопросах, мучивших меня и сами по себе и особенно теми тревожными мыслями, которые они всякий раз оставляли во мне,— я говорю, собственно, о посещениях Горянского, у которого я был, кажется, главным предметом наблюдения все это время. Путилин, не знаю почему (верно, по глупости своей), был для меня еще противнее; но он заходил реже, и я почти ни на один его вопрос не отвечал, так что он должен был поневоле уходить от меня довольно скоро.

Оригинальнее всего были расспросы Шувалова, к которому меня водили раз пять или шесть. Он обыкновенно спрашивал в таком роде:

— Как вы ни запирайтесь, а госпожа Шелгунова знала об этом деле. Это мне известно как нельзя лучше.

— Не знала.

— Нет, знала.

— Нет, не знала.

— Нет, знала.

И так далее до злости.

— Ну, я понимаю,— переменял он тему,— что вы не хотите выдавать женщину; но брат ее знал. Мы не можем оставить его без наказания.

— Нет, не знал.

— Нет, знал и помогал вам.

— Нет, не знал.

— И что вы его защищаете? Знал.

— Нет, не знал.

— Знал, я вам говорю.

— А я вам говорю, что не знал.

Это он, должно быть, называл: не брать нахрапом.

Пример допроса, приведенный мною, я взял из времени, следовавшего уже за моим показанием. До этого вопросы были и другие, но характер исследования был тот же.

— Зачем вы не хотите сказать, что распространяли прокламации вы?

— Да я не распространял.

— Распространяли.

— Нет.

— Распространяли.

— Нет же!

Кроме допросов Горянского, меня, впрочем, ничто не смущало. Он с каким-то особенным искусством умел разнообразить свои вопросы и томить меня по целым часам.

XI

Дни, разнообразные только по моим беспокойным думам, тянулись так. Я вставал около семи, восьми часов. Следовало умыванье, питье чая, к которому не подавалось молока и давалась трехкопеечная булка. Потом начиналось досадное ожидание посещений. Я пробовал читать, но не находил в этом развлечения. Я спросил у Шувалова газет, и мне приносили «Петербургские ведомости», «Инвалид». Но это было только в первую неделю. Потом газет мне не стали давать. Таким образом, я лишь случайно узнал по попавшему ко мне отдельному номеру «Русского мира», что университет закрыт. Об этом событии я, правда, слышал от Путилина и от смотрителя, но не совсем им поверил. Достаточно было пробыть тут три-четыре дня, чтобы видеть, что изо всего рассказываемого по меньшей мере 3/4 оказывается ложью.

Поутру обязан ходить по номерам дежурный с вопросом, не желает ли арестант чего-нибудь. Но ко мне дежурный не всегда заходил. Эта подающая надежды молодежь часто ограничивалась тем, что, отдернув занавеску двери, заглядывала ко мне в стекло. Утром же довольно часто заходил ко мне смотритель, капитан Зарубин. Он сообщал мне преимущественно театральные новости. На каждую новую пьесу он ездил. Вдавался иногда и в политику и либеральничал. А вслед затем жаловался на бездну хлопот в Третьем отделении. Все, говорил, так было хорошо. Сколько вре-

мени почти все номера стояли пустыми, а теперь не знаешь девать куда всех, кого арестуют. «Правительство ведь идет же понемножку вперед,— рассуждал он.— Нельзя же вдруг. А вы, господа прогрессисты, очень уж торопитесь. Все бы вам сразу».

День, два, три и четыре я не прикасался к обеду. Не говоря о том, что он успевал простыть по пути из трактира (откуда его брали), а если его подогревали, то вонял салом и вообще был довольно противен, я не мог есть его и потому, что приносили его в двенадцать, в час. Это случалось, значит, или непосредственно вслед за приятными беседами со мной моих милых следователей, или в ожидании их, или же, наконец, во время самых визитов. Только в сумерках я как будто чувствовал себя немного легче. Беспрестанные отворянья железной коридорной двери, голоса разных местных распорядителей, шаги их и распоряжения по коридору только тут умолкали. В остальное время, прислушиваясь к этим голосам и шагам, я того и ждал, что вот идут мучить меня разговорами. Это так и случалось. Капитан Зарубин был наиболее сносным исключением. Он, по-видимому, не имел ни обязанности, ни особенного призвания разузнавать у меня что-нибудь, говорил больше сам, и все-таки я узнавал от него, хоть урывками, кой-какие новости. Я ему сказал, что совсем не могу есть так рано, и он мне предложил присылать обед в четыре или в пять часов. В двенадцать же я хотел иметь кофе. Он и на это согласился. Около сумерек чиновники расходились из присутствия по домам, Шувалов (если бывал в Третьем отделении) тоже уезжал. Значит, можно было вздохнуть посвободнее. Я следил обыкновенно из окна, как они расходятся. Перемена времени обеда не прибавила мне, однако ж, аппетита. Я заметил некоторое изменение в характере блюд и спросил у Самохвалова, не из другого ли это трактира обед. Он сказал мне, что об эту пору они из трактира обед не берут, а этот от капитана Зарубина, который снабжает им всех арестантов, обедающих так поздно, как я. В это время и сам он обедает.

— Такая эта капитанша милосердная,— замечал Самохвалов,— что поискать другой.

Его удивляла моя умеренность. Я редко ел что-нибудь, кроме супа да салата, иногда разве только оставлял у себя кусок какого-нибудь сухого пирожного.

— Что вы не кушаете, ваше высокоблагородие? — го-

ворил он ласковым и добродушным тоном.— Разве не нравится вам?

— Нет, не естся что-то.

— Да вы огорчаетесь, я полагаю, ваше высокоблагородие? Так вы не огорчайтесь. Что ни бог! что ни бог, ваше высокоблагородие! У нас иные и по десяти месяцев сидели, да на волю выходили. Что ни бог, ваше высокоблагородие!

Не было почти дня, чтобы у меня не болела голова и не билось сердце до тошноты. Я продолжал мучиться бессонницей. Ночь проходила у меня в возне с боку на бок. Если я и засыпал на полчаса, на час, то этого нельзя назвать сном. Какая-то чуткая дремота это была, наполненная в то же время беспорядочными и неприятными грезами. В них все продолжались и допросы, и думы мои, и опасения. Малейший шум в коридоре будил меня. Сплошь и рядом я не мог разобрать, дремал ли я, или просто думал. Я с тоской ждал, считая смены, скоро ли дневной свет сделает ненужною эту лампадку, тихо потрескивающую на окне. Я потребовал на третий или четвертый день взятые с собою книги и хотел начать писать. Мне дали и бумаги, и перьев, и чернил. Но книг моих разом мне не дали, а давали по одной, по две. Мне казалось, что во время письма мне удастся лучше сосредоточить свои мысли на чем-нибудь постороннем. Но это было заблуждение. Писать мне было еще труднее, чем читать. Только сильнее разбаливалась и тяжелела голова. Я бросил и это и, оставаясь один, только ходил из угла в угол, считая концы. Таким образом и тут (как потом, в крепости) мне случалось насчитывать в течение дня до 1500 концов. Устав ходить, я ложился на постель и рассеянно читал. Иногда, застав меня лежащим, Самохвалов замечал: «Вы опять на койкю (он произносил именно так мягко) легли, ваше высокоблагородие, должно быть все огорчаетесь. Что ни бог, ваше высокоблагородие. У нас что,— вот не дай бог, в крепости! А здесь что? Подержат, да и выпустят. Что ни бог, ваше высокоблагородие!»

Я вступал с ним иногда в разговор и старался его порасспросить кой о чем. Но он трусил отвечать, понижал голос и косился на двери. Он жаловался, что дела ему много, что все номера в его отделении заняты, что с одними обедами хлопот пропасть. А там еще уборка комнат, чай и пр.; что некоторые арестанты так пачкают пол и сорят сигарами, что надо каждый день мыть; что некоторые очень капризны, сердятся, кличут каждую минуту за вздором,

беспрестанно спрашивают, который час. «Хочу уж часы в коридоре повесить. Есть там в сторожке. Пусть тут бьют». Он и сделал это. Но боем часов я наслаждался всего дня два. Начальство приказало их снять. Верно, считало это баловством. Моих часов мне не давали, хотя я просил не раз.

Я спросил Самохвалова, есть ли между арестантами женщины. Он сначала не хотел отвечать, но потом сказал шепотом, что теперь нет, а бывали. Только им прислуживают бабы, а не он. Мне хотелось знать, кто же это около меня. Он сказал, что это молодой человек, совсем мальчик, волосы по плечам. Я догадался потом, что это был московский студент. Я видел его, из окна, во дворе, в студенческом мундире, и думал, что его выпускают на свободу; но — как мне сказали потом ⟨в следственной комиссии⟩,— его перевели только из Третьего отделения на съезжую (кажется, Обер-Миллер фамилия). В другой раз я увидал в окно — как мне показалось — Владимира Обручева, идущего с дежурным офицером, вероятно, в экспедицию. Я думал, не ошибся ли. Но это потом подтвердилось. Но чаще всего, по несколько раз в день, видел я одного арестанта: господина с седой французской бородкой, в сером инвернесе. Меня удивляло, что его так часто допрашивают; но Самохвалов объяснил мне, что он ходит просто гулять по садику. Я мог бы тоже отправляться на прогулку, но у меня не было на это ни малейшей охоты.

Пред арестом моим я слышал, что в Третье отделение взят некто Перцов, тоже отчасти литератор. Я почему-то решил, что это именно он. Раз он вышел с каким-то узелком. Во дворе стояла известная карета. Он сел в нее один и уехал. Я так и думал, что его освободили. Видя его потом во дворе, я предполагал, что он приходил за какими-нибудь справками. Но жандармы, везшие меня до Тобольска, сказали мне, что он все еще содержится у Цепного моста, а тогда ездил, в сопровождении вахтера, в торговые бани. Раза два-три проходил по двору Б⟨оков⟩. Он смотрел на мои окна и, вероятно, узнал меня. Я нарочно становился ближе и смотрел в открытую форточку. Однажды он поднял руку ко рту и сделал как будто три воздушных поцелуя. Может быть, они относились к Обручеву, а может быть и к обоим нам. Я забыл сказать и скажу теперь кстати, что меня не раз спрашивали, не известно ли мне, откуда идет «Великорусс». На отрицательный ответ мне замечали: «Знаете, да сказать не хотите». Но и только.

XII

Почти две недели допросов и надоеданий не подвинули дела моего ни на шаг, и я уже начинал думать, что тем все и кончится. Однажды, призванный к Шувалову, я услыхал от него следующее:

— Я имею положительные данные, что прокламацию «К молодому поколению» написали вы.

— Какие же?

— Мне говорил один литератор, что вы читали прокламацию свою в рукописи еще другому литератору, то есть не литератору, а брату литератора, именно Серно-Соловьевичу,— что вы на это скажете?

— ⟨Что это выдумка⟩ Какой вам это литератор говорил?

— Да Костомаров; вы с Соловьевичем советовались, и он еще говорил вам, что вы этою прокламацией восстановите против себя всех помещиков. Вы ему читали это пред своим отъездом в Лондон.

— Что это вздор, ясно уж из того, что я с Серно-Соловьевичем познакомился по приезде из-за границы.

Шувалов несколько смутился.

— Действительно?

— Да.

Об этом потом он уже не поминал.

XIII

Вскоре после этого ко мне явился Путилин с портфелем под мышкой. Он вынул оттуда печатку в виде ручки с бархатным рукавом и спросил, знаю ли я эту печатку. Она была очень хорошо мне знакома.

— Нет.

Он вынул несколько конвертов, прошнурованных и пропечатанных, и показал мне адреса.

— А это вы писали?

— Я.

Это были адреса моих писем к Костомарову.

Он вынул еще два пакета и показал мне.

— А это?

— Это не я.

— Вы только себе вредите, не сознаваясь,— заметил Путилин.— Это ваша же рука, и печать вот эта ваша.

Он повернул пакеты другой стороной.

Довольно долго приставал он ко мне и с другими вопросами, слышанными мною уже сто раз. Наконец, сказал, что Костомаров прямо говорит, что прокламацию привез я в большом количестве, предлагал ему взять в Москву сто экземпляров и <пр.> «Вы это от него от самого услышите-с,— прибавил он.— Вам дадут с ним очную ставку. Он это все на очной же ставке показал. Тут из Москвы есть один господин теперь».

Не добившись от меня ничего, Путилин ушел.

Не больше как чрез четверть часа после его ухода меня позвали в экспедицию.

XIV

Там встретил меня Горянский почти теми же вопросами, как и Путилин. Он говорил, что «нравственное» убеждение их, то есть Третьего отделения, в моей виновности так сильно, что они употребят все средства добраться до конца в своих открытиях. На сцену опять явились печать, конверты и пр. Он что-то заговорил было о чернилах, о сургуче; но, видно, сам увидал, что зарапортовался, и потому поспешил поправить дело, показав мне ответы Костомарова на предложенные ему вопросные пункты. Эти ответы были действительно очень компрометирующего характера. В них он говорил о прокламации «К молодому поколению» как о моей брошюре, утверждал, что ни у кого и быть ее не могло в Петербурге, кроме меня; о числе привезенных мною экземпляров он не упоминал, но в то же время на вопрос, зачем я привез их, отвечал — вероятно, по его мнению, остроумно,— что, конечно, не с тою целью, чтобы оклеить экземплярами воззвания стены своего кабинета вместо обоев. Он подтверждал также, что рассказывал в Москве о моем предложении ему взять прокламацию с собой,— и еще немало было глупостей самого скверного свойства в этих ответах. По особому тупоумию меня более всего поразил, помню, ответ на вопрос: зачем он, Костомаров, предупреждал меня письмом? «Затем,— отвечал Костомаров,— чтобы Михайлов, получивши письмо, уничтожил все экземпляры (!!), и тогда, если б письмо и попалось в руки полиции (?), то нельзя было бы никак догадаться,

о чем с ним идет речь». Этот ответ, чуть ли не дважды подчеркнутый Горянским красным карандашом, как особенно замечательный, рассмешил меня. На все красноречие Горянского я ответил одним, что к тому, что сказал раз в своих ответах, я ничего не прибавлю, да и прибавлять мне нечего.

— Вот сейчас сам господин Костомаров будет здесь. Вы поговорите с ним.

Я и не думал, какой оборот могло принять и приняло это свидание. Я решился не принимать на себя ничего более того, что уже принял, и, конечно, выдержал бы свое решение, если б Костомаров не вывел меня из терпения своими упреками. Он пришел в сопровождении Путилина. Горянский попросил его объяснить разные пункты в его ответах. Я уже не помню хорошенько этих объяснений, но мне памятно, что Костомаров как-то неловко старался вывернуться из их нелепых фраз. Например, относительно того, что он воззвание постоянно именовал моей брошюркой или статьей, он сказал Горянскому что-то вроде этого: «Ведь, говоря про этот стул, на котором вы сидите, что этот стул *ваш*, я этим не хочу сказать, что он принадлежит вам». Когда дело дошло до рассказов его в Москве о прокламации, Путилин с сладостною улыбкою сообщал, что г. Костомаров подтвердил сказанное в ответах сейчас на очной ставке. Горянский спросил его. Он сначала молчал, потом сказал, что он действительно подтвердил сейчас на очной ставке, да и теперь подтверждает, что рассказывал, что в сентябре месяце может добыть сколько угодно экземпляров воззвания. Я на это заметил ему, что он мог говорить такую вещь и не имея на это прочного основания. «Всякому из нас,— сказал я,— случалось в разговорах преувеличивать. И вы, верно, не станете утверждать, что говорили на этот раз правду». Я уже начинал сильно сердиться. Костомаров стоял на своем. Я очень кротко, стараясь выбирать выражения, напомнил ему один пример сделанного им преувеличения в разговоре со мной. Он вдруг вспыхнул и рассердился.

— Вы хотите, кажется, свалить все на мою голову,— сказал он потом мне.— Валите, валите!

— Я ничего на вас не валю, да и нечего мне валить. Напротив, все, что касалось меня в вашем деле, я объяснил, хоть и со вредом для себя.

— Говорите, господин Костомаров,— сказал Горянский.

— Да что мне говорить?— возразил Костомаров.— Он (указывая на меня) хочет играть роль невинной жертвы. Ну, обвиняйте меня!

— Нам не обвинить кого-нибудь нужно, а узнать истину,— сказал Горянский.— Говорите, господин Костомаров.

Костомаров помолчал и потом резко сказал:

— Не удивительно, что я молчу, а удивительно, что молчит он.— Он показал на меня.

— Что такое вы сказали? — вскричал Горянский.— Это замечание важное, и вы должны написать его.

Он положил лист бумаги на конторку, облокотясь на которую стоял Костомаров, и подавал ему перо. Костомаров не брал пера.

— Нет, вы должны это написать, должны,— настаивал Горянский.— В ваших словах намек очень серьезный, и он должен быть разъяснен. Пишите же, господин Костомаров. Как это вы сказали? Не удивительно, что молчите вы, а то удивительно, что молчит господин Михайлов. Извольте написать эти слова.

Костомаров все еще колебался. Я едва сдерживал злобу, которая раскипалась во мне.

— <Господин> Костомаров никогда не покажут несправедливо,— вмешался сладким голосом Путилин, вообще мало тут говоривший и бывший, вероятно, лишь в качестве свидетеля.— Я их довольно хорошо знаю по Москве.

— Пишите, Костомаров,— сказал и я.

Он уже взял перо, но только занес его над бумагой, я остановил его словами, что у меня было гораздо большее число экземпляров, чем я показывал. Я сказал тогда, кажется, что сто пятьдесят, но потом в показании прибавил еще сто, потому что иначе не мог достичь нужного правдоподобия. Длить эту сцену очной ставки в экспедиции мне стало омерзительно. Я боялся, что она примет еще гаже характер, и уже не в ущерб мне, а, может быть, и другим. Надо было покончить. Костомаров отошел к окну, опустился на стул и начал плакать, говоря бессвязно: «Ко мне пристают с утра до вечера. Мать моя в горячке...» Путилин предложил ему выпить стакан воды. Он подошел к столу, выпил и сказал, что желал бы уйти. Горянский объявил, что это можно. Я забыл упомянуть, что, как только я сказал о том, что у меня было сто пятьдесят экземпляров

воззвания, Горянский обратился и ко мне с требованием, чтобы я написал это. Я отказался наотрез и сказал, что мне в таком случае мало писать одну цифру, что я напишу все, что нужно, у себя в номере, а отвечать на отдельные вопросы теперь не стану, не хочу. Горянский выразил было какое-то колебание; но Путилин обратился к нему (обычная уловка) с такими словами: «Да господин Михайлов напишут. Разве можно в этом сомневаться? уж если они раз сказали, то, конечно, напишут». Вслед за Костомаровым ушел в свой номер и я.

XV

Горянский стал томить меня еще чаще своими посещениями. Он уже не предлагал мне вопросных пунктов, а сказал, чтобы я написал просто показание. Ты знаешь уже это показание в его позднейшей форме. Прежде чем оно приняло ее, оно было вдвое короче. Но я должен был прочесть его Шувалову в черновой рукописи, и многие подробности явились только вследствие того, что им в первоначальном виде не удовольствовались бы и все-таки предложили бы мне еще немало вопросных пунктов. Я не помню теперь всего; но укажу кое-что. Так, например, у меня сначала было глухо сказано, что я привез воззвание с собою, а о происхождении его не говорилось. Это прибавлено. Так точно не упоминалось в нем и вашего имени. Но Шувалов и все его клевреты говорили, что я приехал вместе с вами и что в Лондоне вы должны были находиться вместе со мною. Надо было и на это ответить. Вообще многое, что казалось мне самому потом совершенно излишним (когда мне прочли это показание пред судом), было вызвано назойливыми вопросами и придирками в Третьем отделении. Когда, по-видимому, все было удовлетворено, Шувалов, прослушав показание, сказал мне: «Вам, конечно все это неприятно. Но, согласитесь сами, принявши единожды это место, не мог же я поступить иначе». Он сказал мне, что будет стараться и надеется, что меня не более как отправят куда-нибудь в отдаленную губернию на жительство. Но может, конечно, случиться, что государь захочет меня предать суду. Потом прибавил (повторил уверение в своей честности), что у него было в руках несколько писем, взятых во время обыска жандармским полковником, но

так как мне могло бы быть неприятно, если они попадут в чужие руки, то он передал их запечатанными вам. Это (как оказалось) было вранье, которым он поддерживал вранье Путилина. Писем никаких Житковым не было взято.

Горянский пришел ко мне вскоре с просьбой указать ему кого-нибудь из моих знакомых, кто сообщил бы ему о моих прежних литературных занятиях. Это было нужно ему, как он говорил, для будущего доклада государю. «Я пошел бы к Аполлону Николаевичу Майкову или Николаю Алексеевичу Некрасову. Я их несколько знаю. Но вы ведь знаете, как на нас смотрят. Скажут: шпион!!» Он особенно выразительно произнес слово шпион, словно хотел передать во всей силе то презрение, с каким его обыкновенно произносят. Горянский, как он говорил мне как-то, сочинял стихи и чуть ли не носил какую-то поэму своего произведения к Некрасову. Я вызвался лучше сам ему продиктовать, что ему нужно. Только после этого показания я стал немного покойнее и по ночам перестал метаться без сна. Чтение, однако, все-таки плохо развлекало меня, хотя, признав за собою всю вину, я уже перестал тревожиться за спокойствие других. Другая тревога, за себя, была слишком ничтожна в сравнении с тою.

XVI

Я почти забыл, что письмо Костомарова сделало меня прикосновенным и к другому делу, по которому следствие производилось особенной комиссией. Забыть было и нетрудно. Оно было слишком ничтожно для Третьего отделения сравнительно с тем, что им нужно было узнать, для чего у меня было произведено два обыска и сам я был арестован. Нет сомнения, что, будь у них в виду только эта прикосновенность моя, и обыск у меня не повторился бы и меня позвали бы в <следственную комиссию>, не арестуя.

Совершенно неожиданно принесли мне раз вечером платье, и смотритель пришел объявить, что я поеду сейчас в следственную комиссию для отобрания от меня показания. Я поехал в известной карете, в сопровождении молодого офицера, капитана Федорова, не знаю, какого полка, буду-

щего кандидата в жандармы, прикомандированного с этою целью к Шувалову. На козлы, рядом с кучером, сел вахмистр. Редко встречал я таких дураков, как этот офицер. Глупость его высказывалась в разных рассуждениях, с которыми он не отставал от меня всю дорогу от Цепного моста по Большой Миллионной и Большой Морской. Не знаю даже, могу ли я назвать этого господина и не вполне испорченным человеком. Он выказывал, что стыдится своего положения, и старался как будто оправдаться в том, что поступил в жандармский штаб с тем, чтобы получить со временем место в провинции, что-нибудь вроде адъютанта при жандармском штаб-офицере. Он в то же время с какою-то завистливою восторженностью говорил о быстрой и блестящей карьере Шувалова и изумил меня не мало, когда вдруг произнес от слова до слова формулярный список шпионского начальника. Он как-то упомянул, что был сначала преподавателем истории где-то в военноучебном заведении. В хронологии действительно был силен. Он только что не называл мне месяцев и чисел, когда Шувалов был произведен в такой-то чин, переведен на такое-то место; но года приводил он с точностью хронологической таблицы. Чтобы оправдать свои жандармские стремления, он пускался в восхваление гуманности Шувалова и говорил, что все стремления этого добродетельного сановника направлены на то, чтобы «облагородить» службу по жандармскому ведомству, чтобы люди все служили образованные (при этом бывший преподаватель истории имел, вероятно, в виду и себя), чтобы уничтожить всякие тайные допросы (мне-то это было кстати рассказать) и предоставить все дела, бывшие прежде исключительною специальностью Третьего отделения, обыкновенному суду, а самим только наблюдать за чиновниками по всей империи: не брали бы взяток, и проч. Мне любопытнее было узнать что-нибудь про городские новости; но он ничего не знал или не хотел говорить, кроме того, что дебютировал в итальянской опере какой-то новый певец да что приехала какая-то новая танцовщица. Он выразил мне, кроме того, свое сочувствие к литературе, сказал, что предпочитает всем журналам «Время», и пожалел, что в этот месяц «Современник» запоздал.

Странное чувство не оставляло меня во весь этот недалекий переезд. Окна кареты были опущены, и я с какою-то жадностью смотрел по сторонам, всматривался в лица проходивших по освещенным тротуарам Большой Морской,

будто хотел узнать в толпе хоть одно знакомое лицо. Мне хотелось в то же время ударить по виску и оглушить этим моего спутника, вмешаться в толпу и вдруг неожиданно явиться у Аларчина моста.

— Нельзя ли нам проехать мимо бывшей моей квартиры,— сказал я неумолкавшему жандармскому кандидату.— Мне хотелось бы посмотреть хоть на ее окна.

— А где вы жили?

Я сказал.

— Ах, жаль, что не по дороге. Я, знаете, с удовольствием бы, но это в сторону. Как бы чего не вышло. Вон вахтер ведь у нас на козлах.

Я не настаивал. Первая адмиралтейская часть находится на Большой Морской, рядом почти со зданием почтамтских карет, откуда я провожал тебя в предпоследнюю нашу поездку за границу. Тут-то собиралась комиссия по делу печатания и распространения московскими студентами запрещенных сочинений под председательством, как сообщил мне мой проводник, действительного статского советника Собещанского.

XVII

Мы въехали во двор, поднялись по довольно узкой лестнице во второй, а может и в третий (уж не помню) этаж, и я вошел в тускло освещенную, довольно большую комнату, где стоял посредине письменный стол и сидели мои следователи, весело разговаривая и куря. Проводник офицер остался в комнате рядом, между прихожей и той, где производилось следствие. В числе следователей мне было одно знакомое лицо. Это был Стороженко, которого два раза или три встречал у Дружинина. Из остальных я ни с кем не встречался прежде. Кроме председателя Собещанского и Стороженко, я узнал имена Фонвизина и Любимова (обер-секретаря Сената). Кажется, это были и все, не считая канцелярских чиновников, сидевших за другими столами. О комиссии этой, собственно говоря, нечего бы и поминать; я описываю только для полноты факт моего визита в первую адмиралтейскую часть. Следователи (насколько я могу судить по двум сделанным мне допросам) были все люди порядочные. Им по крайней мере не для чего было заранее считать меня преступником, как это было в Тай-

ной канцелярии. Мне предложили в оба раза по несколько вопросов такого рода: зачем были у меня взятые при обыске две книги и портрет? Справедливо ли показание Костомарова, что одна из взятых у него рукописей писана мной? Зачем я передавал их? Я ответил, что одна рукопись действительно переписана мной с дурного списка, где были пропуски, а другая, не помню откуда, попала ко мне как интересная новость, <ходившая, как я слышал, по рукам> в рукописи; что передавал я рукописи для прочтения — и только. Пока изготовляли вопросы, за столом шел общий разговор о других предметах. Я сидел насупротив председателя и принимал в разговоре участие. Тут я узнал, что студенты по делу типографии все содержатся при полиции, а не в Третьем отделении, что некоторых они распускают по домам; что одного выпущенного, не имевшего при себе ни гроша, приютил в своей квартире Стороженко; что они собираются всею компанией в Москве для получения сведений на месте. Оба раза я ездил в следственную комиссию вечером, с тем же глупым офицером, и возвращался в свой шестой номер у Цепного моста часов около девяти или десяти; между допросами у меня было дня три промежутка.

XVIII

Хотя ко мне после того, как я отдал свое показание, стали реже заглядывать шпионские физиономии, но я все-таки не был настолько спокоен, чтобы чем-нибудь заниматься в течение дня. Читать давали только старые русские журналы, давно мною читанные. Только под вечер я стал пробовать хоть переводить что-нибудь в стихах из тома «Chambers»'а, бывшего у меня. Несколько тревоги, хотя и много удовольствия, доставила мне весть, принесенная Зарубиным, о беспорядках в университете. Хотя он говорил и глухо как-то, но я мог понять, что дело не шуточное. Он же сообщил мне потом о множестве арестов и говорил, что арестованы все, кто издавал «Великорусса».

Раз во время обеда пришел Путилин, как я понял, с целью узнать впечатление мое при вести об аресте студентов, именно первом, когда был арестован и Веня. Я спокойно выслушал его рассказ, что студенты наделали «глупостей» в университете, нагрубили начальству и что многие арестованы

и университет закрыт. Вероятно, с тем, чтобы вызвать у меня вопрос, не арестован ли Михаэлис, Путилин сказал мне: «Ваши все здоровы, кланяются вам». По-видимому, он так и ждал, что я спрошу: «А где вы их видели?» и «по какому случаю?» Но в тоне его на этот раз было столько фальши, что я был убежден, что он врет, и не спросил ничего, даже не сказал ни слова. В этот или в другой раз он сказал мне, что Костомарова очень огорчает, что я на него сержусь за его образ действий, и что он просил его, Путилина, передать мне его огорчение. К этому времени относятся предложенные мне Шуваловым вопросы о Вене, которые я привел выше. В это время он, вероятно, сидел в Третьем отделении.

XIX

Горянский, заходя ко мне, говорил обыкновенно, что он является не как чиновник, а как частное лицо, и принимал при этом огорченный вид. Он предлагал мне в то же время, понижая голос, передать что-нибудь — на словах и, пожалуй, письмом — моим друзьям. Нашел дурака. В разговоре у него то и дело проскакивали фразы, из которых ясно было видно, что ему хочется выведать от меня еще кое-что. Он начал, между прочим, говорить мне, что для доклада государю мне следует изложить дело как можно короче, в форме письма, что всего показания моего государь читать не станет (слишком длинно) и что резолюция на таком письме решит мое дело. Без этого письма, как он утверждал, я не избегну суда, который может кончиться для меня плохо, а главное — что суд не ограничится мною одним, а постарается притянуть и всех, кто только был со мною в дружных отношениях. Какой мог быть назначен суд, я не знал, и мне представлялись те судебные комиссии, которые отличались в царствование Николая Павловича. Я не настолько был убежден в нашем прогрессе, чтобы предполагать невозможною такую комиссию, как, например, по делу Петрашевского. Следствие в адмиралтейской части не могло успокоить. Я видел очень хорошо, что Третье отделение смотрело на дело московских студентов далеко не так серьезно, как на мое.

XX

Порядок жизни шел между тем неизменно в нашем коридоре, и в моем номере нарушение его заключалось только в том, что в окно вставили двойные рамы. Когда в моем номере возился стекольщик с мальчиком, на меня напала особенная злость. Как будто я должен был остаться тут на зиму! Потом раза два случалась необычная возня по коридору, с криком и растворянием железных створов.

— Что это там было такое? — спрашивал я Самохвалова.

— Кровать вносили.

— Какую? Зачем?

— Да вот тут в номер. Там одна кровать, так теперь другого туда еще сажают. Другую и койку надо.

— Разве уж места нет?

— Должно быть, что нет, ваше высокородие. А впрочем, не знаю.

Раза два-три Самохвалов объявлял мне о том, что ждут Шувалова, что он собирается обойти все номера по случаю скорого возврата князя (Долгорукова). Самохвалов с особенною тщательностью тер полы мокрой шваброй и потом душил меня дымом каких-то благовонных порошков, которыми окуривал коридор и номера. Но Шувалов так и не был. Он вскоре после моего показания (то есть после студенческой истории) совершенно перестал ездить в Третье отделение, где бывал до того ежедневно. Эти сведения сообщал мне Самохвалов, да я и сам мог знать, когда Шувалов тут, когда нет, по его экипажу во дворе. До меня стали доходить слухи, что он болен, что собирается вскоре за границу; Самохвалов говорил, что вместо его назначен Анненков, брат апокалиптического критика; но это не подтвердилось.

XXI

Взамен ожидаемого Шувалова ко мне в номер явился неожиданный мною вовсе шпион генеральского чина Кранц, со звездою на фраке. Это был господин значительно пожилой, довольно высокий, но немного согнутый, с вьющимися русыми волосами с проседью; лицо круглое, слегка рябо-

ватое, не особенно неприятное, кроме маленьких глаз, которыми он не смотрел прямо и которые как будто хотел спрятать под сильными очками. Я его видел постоянно во фраке со звездой; сапоги были у него без каблуков, и он ступал неслышно, как кошка. Голос мягкий и тихий, впрочем, как у всех в этом шпионском царстве. Он начал свое знакомство со мной почти теми же словами, как и Горянский: объявил, что очень уважает мой талант, но к этому прибавил, что я сделал непростительную («извините за мое выражение, но я вам говорю от души») ошибку. Ошибка была, видите ли, в том, что я не хотел понять, что государь совершенно одинакового со мной образа мыслей! По словам Кранца, он был в отсутствии, ездил в свою деревню, только что воротился и лишь вкратце успел познакомиться с моим делом.

Он повторил мне слова Горянского о необходимости письма к государю, чтобы дело было предоставлено административному решению. Потом он попросил у меня позволения закурить папиросу (он курил тоненькие папиросы, самые легкие, дамские какие-то, что было как-то некстати в Тайной канцелярии), сел и начал меня спрашивать о Герцене: когда я с ним познакомился, когда виделся в последний раз, как он живет и где, большое ли у него знакомство в Лондоне. Я отвечал общими местами.

— А правда ли,— спросил он,— что Герцен был нынче в Гамбурге и оттуда собирался в Петербург?

— Вам это лучше знать,— отвечал я,— а я ничего подобного не слыхал.

XXII

Не помню, в тот ли же день или на другой, только что-то вскоре после первого визита этого почтенного старца, ко мне пришел Горянский и тоже (чего прежде с ним не бывало) начал расспрашивать меня о Герцене. Он только что вошел ко мне, как сказал: «Знаете, какие нелепые слухи распространились о вас по городу, господин Михайлов? Рассказывают, что вас здесь, в Третьем отделении, отравили. Ну, есть ли в этом смысл? Кажется, кроме уважения, вам здесь ничего не оказывается». Затем Горянский, разумеется, сказал, что он пришел побеседовать со мною как чело-

век, а не как чиновник, и почти ex abrupto[1] перешел к вопросам, очень интересовавшим его как человека, а не как чиновника, именно о частной жизни Герцена. На большую часть вопросов я ему отвечал, что он может это узнать из «Колокола» (например, о квартире) или же из «Былое и думы». Затем на некоторые я отзывался незнанием, а на другие отвечал явную дичь, которую Горянский тем не менее благоговейно принимал к сведению. В вопросах этих не было ничего любопытного. Это были все большей частью справки о том, хорошо ли, то есть богато ли, Герцен живет, много ли он получает от своих изданий, большой ли у него круг знакомых, бывает ли он в таких домах, например, у важных членов парламента, где бывает и наше посольство, и т. п.

Наконец он спросил.

— А русские газеты он получает?

— Как же.

— А есть у него портреты русских кого-нибудь?

— Есть.

— Коллекция?

— Да, и довольно большая.

Мне казалось, он имеет в виду известное, очень распространенное сведение о том, что у Герцена есть портреты шпионов, находящихся на посылках у Тайной канцелярии. «А есть у него любовница?»— спросил под конец Горянский. Я уж тут не мог удержаться от смеха. Он, должно быть, понял всю неловкость своего вопроса после того известия, которым начал разговор со мною, пробормотал что-то о том, что он интересовался всем этим *лично*, как человек, а не как чиновник и поспешил удалиться.

XXIII

Кранц приходил ко мне еще раза три. Раз он принес показание мое и говорил, что оно неудовлетворительно.

— Чем же?

— Вы не одни распространили воззвание — это раз. Потом вы не показали, кому вы передали остальные экземпляры. Вы привезли их больше.

---

[1] Здесь — сразу *(лат.)*.

— К тому, что мною написано,— отвечал я,— я не имею ничего прибавить.

— Скажите лучше, не хотите.

— Не имею.

— Я не буду настаивать,— сказал он,— но вам не избегнуть ответа на эти вопросы.

— Вы знаете мой ответ.

Потом он принес мне два или три конверта, в которых была разослана прокламация, и сказал, показывая их:

— Это не вы писали?

— Нет, я.

— Это не ваша рука.

— Я изменил свой почерк.

— Это женская рука.

— Может быть, и похоже на женский почерк, а писал-то все-таки я.

— И это?

— И это я.

Кранц ушел; это было уже в конце месяца после моего ареста.

XXIV

Ровно через месяц, именно 14 октября, Кранц пришел ко мне поутру, говоря, что я, желая, чтобы мое дело кончилось административно и в него не были впутаны другие, должен написать короткое письмо к государю и что это надо сделать сегодня же, потому что приезда его ждут с часу на час. Как ни возмущалось все во мне против этого, но суд страшил меня тем, что к нему будет призван Костомаров и его ответы запутают дело и бросят тень подозрения на кого-нибудь, кроме меня. Я после увидал, что вправе был этого бояться, если бы Костомарова Третье отделение не выгородило из суда. Я постарался написать покороче, с строгим соблюдением казенных форм, и только подтвердил в нем те мотивы, которыми оправдывал распространение прокламации и в показании. В три часа старец со звездой зашел ко мне опять, сказал, что он сейчас едет к Шувалову, взял мое письмо в карман и тотчас ушел. Не прошло и получаса, как ко мне явился Горянский с похоронно вытянутым лицом и, вздыхая, сказал мне, что принес мне неприятную весть.

— Что такое?

— Сию минуту пришло высочайшее повеление о предании вас суду. (Потом я узнал, что оно пришло накануне или даже за день.)

— Как же письмо-то?

— Мы уж отправили его; но повеление пришло по телеграфу сейчас.

Меня злость взяла. Тут только я слишком поздно догадался, что вся эта махинация была подведена, чтобы я не мог отказаться перед судом от моего показания. Письмо считалось актом полного сознания, и отречься теперь от показания значило бы удвоить свою виновность. Я хотел сделать перед судом другое, именно объяснить причины написания этого письма. Ты знаешь, отчего я этого не сделал.

— Вы сегодня переедете от нас в крепость,— дополнил свое известие Горянский.— Вот как смеркнется. Мы употребляли все старания,— продолжал он,— чтобы дело обошлось тише и не так ужасно для вас, как оно, вероятно, кончится; но в городе было слишком много толков и неудовольствия. Литераторы подавали адрес об освобождении вас из-под ареста. На нас идут такие нарекания! А вот вы сами видели, есть ли на что жаловаться. Выдумывают про Третье отделение бог знает что! Будто здесь есть какие-то опускные полы, что секут у нас. Покамест я не служил здесь, я сам всему этому верил. Но это такой вздор! В крепость свезет вас смотритель. Мы отпустим с вами ваши книги, бумагу возьмете, карандаши. Вам это все позволят. Мы уж распорядилися. Прощайте-с! Не браните нас. Такое уж наше, собственно, положение.

Горянский застал меня за обедом. Понятно, что его известие отшибло у меня всякую охоту есть. Я сказал по уходе его Самохвалову, чтобы он убрал со стола и взамен обеда дал мне чаю. Когда я сказал ему, что переезжаю в крепость, он всплеснул руками. «Ах жаль, ваше высокородие! Жаль! Ну, да что ни бог, ваше высокородие, может и опять вернетесь сюда; а там и выпустят». После чаю пришел ко мне гусар с флюсом и с прошнурованной книгой, чтобы я расписался в обратном получении своих вещей, которые и были все принесены вахтером. Потом пришел и Зарубин, когда я был совсем одет. Кошелек с деньгами передал гусар ему, так что я не мог и на водку дать Самохвалову. Зарубин на это не согласился. Вахтер пришел сказать, что карета готова. Совсем уж стемнело. Было ча-

сов семь. Я в последний раз прошел по нашему освещенному газом коридору и спустился с лестницы. Мой чемодан, книги, сверток бумаги лежали уже в карете. Вахтер сел на козлы и скомандовал кучеру: «В крепость!» Вечер был холодный, и мне зяблось после чаю и теплого шестого номера в моем пальто. Зарубин сидел около меня уж в шубе. Но дорога была недолга. Мы скоро миновали Летний сад и поехали по мосту. Как теперь помню, именно на мосту спросил я Зарубина, открыли ли, наконец, университет и выпущены ли из-под ареста студенты.

— Где же так скоро их разобрать! — возразил он.

— Да их сколько взято?

— Легко сказать! ведь больше трехсот.

Он, однако ж, не хотел объяснить дело подробно и отделывался на все общими фразами. Наконец, мы въехали в ворота крепости. Мы остановились перед комендантским подъездом, где я потом прощался с тобой. В сенях, налево от входа, ты помнишь, может быть, небольшую дверь. За этою дверью помещается канцелярия, и туда вошел я с капитаном.

XXV

‹В ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ КРЕПОСТИ›

Канцелярия.— Невская куртина.— Крепостные права. — Начальство и солдаты.— Арестованные солдаты.

В первой комнате, куда мы вошли, было очень яркое освещение. Она была очень невелика, но в ней горело по малой мере восемь свечей. При свете на трех или четырех небольших столах производился скрип перьев дюжиною военных писарей. Насколько я мог судить по взгляду мельком на их работу, они составляли какие-то списки. Бумага была разграфлена. Это были, вероятно, списки арестованных студентов.

В дальнейшей комнате, еще меньшего размера, стоял только один стол и из-за него встал нам навстречу небольшого роста человек с конусообразной белокурой головой и полицейски любезным выражением лица. Он был в сюртуке с красным воротником и опять-таки со Станиславом на шее.

— Что это? — воскликнул он, подавая руку Зарубину,— долго ли вы еще будете возить? Куда я помещать-то стану? Тоже из студентов? — спросил он, обращаясь отчасти как будто ко мне.

— Нет-с, господин Михайлов, сочинитель. Уж вы, пожалуйста, отведите номер получше.

— И рад бы, да нету.

— Вот и вещи их тут.

— Не угодно ли садиться?

Я сел у стола и взял номер «Русского инвалида», лежавший тут.

Человек с красным воротником (делопроизводитель канцелярии и — как я узнал потом, правая рука Тайной канцелярии в крепости) вызвал Зарубина в другую комнату, пошептался там с ним, потом сказал громко, что пойдет доложить коменданту.

Я прочитал между тем в «Инвалиде» немало удививший меня приказ по военному ведомству о предании суду и аресте Семевского, Энгельгарта и Штрандена за участие в беспорядках, производимых студентами.

Когда Зарубин воротился к столу, у которого я сидел, я спросил его, что значит это и разве не одни студенты были виновниками беспорядков.

Капитан присел на место делопроизводителя и, наклоняясь ко мне, произнес:

— Да ведь там целый бунт был. Войско надо было вывести. С окровлением дело-то было, с окровлением.

Больше он, однако ж, ничего не рассказывал.

Делопроизводитель, воротясь, сказал, что комендант не совсем здоров и меня к нему водить не нужно. Он расписался в книге, привезенной Зарубиным, что получил в целости как меня, так и вещи мои, и когда тот удалился, он пригласил меня идти с ним, а сам распорядился, чтобы следом принесли вещи.

Мы пошли только вдвоем.

Всю дорогу от комендантской квартиры до куртины, где меня заключили, он болтал без умолку: извинялся, что теперь у них нету помещения лучше — все битком набито, говорил, что кой-какие улучшения сделаны в содержании, что дают теперь утром и вечером чай, чего прежде не было, что с 1 ноября и в ночниках будет гореть деревянное масло.

— Нельзя же в наше время,— заключил он,— держаться старых порядков.

Мы поднялись по темной лестнице в длинный каменный коридор, который тускло освещался висевшим со свода фонарем.

Жалкая светильня еле мерцала, как в уличных фонарях самых далеких и глухих петербургских захолустьев. По коридору медленно шагали или стояли в полумраке солдаты с ружьями. Часовой у входной двери, едва вступили мы в коридор, громко крикнул:

— Старшего!

Возглас этот прошел до самого конца коридора, и скоро навстречу нам шел, гремя ключами, с оплывшей сальной свечой в руке, унтер-офицер в каске, в шинели и в тесаке.

— Отвори восьмой номер. Да где плац-адъютант?

— Они в баню ушли.

— Ну, хорошо. Отвори.

Я не припомню только хорошенько — восьмой ли это был номер, или шестой. Знаю, что он был крайний направо по коридору.

Отворили тяжелую дверь, и на меня пахнуло еще худшим сырым и затхлым воздухом, чем какой был в коридоре. Не было тут только масленой копоти и чада, как там.

Я очутился под совершенно круглым, от самого пола идущим сводом, но в номере настолько просторном, что в нем помещалось шесть кроватей. Два полукруглых и довольно длинных окна, закрашенных снаружи, с мелким переплетом, белели в глубоких темных амбразурах, будто занесенных снегом. Стены были закоптевшие, с приметами сырости, со свода висела бахромой паутина.

— Это у нас было больничное отделение,— заметил смотритель,— да больше теперь решительно нигде места нет. Если они привезут еще кого-нибудь, поместить будет некуда. Эй! — крикнул он ефрейтору,— крикни людей. Вынесть отсюда лишние койки.

Пришло несколько солдат, и вынесли.

Смотритель взял свечу и поднял ее у себя над головой, рассматривая потолок.

— Эй! паутину обмести. Возьми метлу кто-нибудь! обмети паутину.

Две метлы зашаркали по своду. Паутина, белила, пыль летели нам в изобилии на голову.

— Ночник подай!

Старый, сгорбленный сторож, инвалид, в каком-то рубище, не напоминавшем его военного звания, принес жировой ночник, от толстой светильни которого подымалась толстой струей копоть.

Я спросил, нельзя ли получить свечу.

— Я думаю, можно будет, конечно на ваши собственные деньги,— отвечал смотритель.— Вот как плац-адъютант воротится из бани, вы ему скажите. Покамест вы останетесь в своей одежде. Он уж там всем распорядится. Он скоро. До свидания-с покамест.

— Курить-то у вас позволяется?

— Разумеется-с, сколько угодно.

И он ушел. Дверь затворилась, ключ тяжело повернулся в замке, и я остался один в моем новоселье.

Деревянная койка стояла в довольно широком простенке между окнами, изголовьем к стене, впрочем не близко. И в Тайной канцелярии постель не отличалась опрятностью и удобством, а уж здесь и подавно. Парусинный мешок, скудно набитый соломой, был прикрыт грязною простыней, подушка была тяжелая, из нее торчали острыми концами перья и летели во все стороны, только что прикоснешься. Наволочка старая, видно на подушку вдвое больше, была чистотою под стать простыне.

Впрочем, подушек было две, но нижняя соломенная. Одеяло из толстого солдатского серого сукна было (вероятно, с год тому назад) подшито толстой холстинкой.

Около изголовья направо стоял небольшой столик без столешника, на нем помещалась оловянная кружка с крышкою, для воды. Около стола стоял стул с глухим деревянным сидением.

Больше ничего не было в номере.

Тут было не холодно, но я скоро почувствовал сырость. Только краешек железной печки, топившейся в коридоре, выходил сюда.

Как ни противна была мне эта неприятная постель, но надо было примириться с нею, я ведь не знал, как долго придется мне спать на ней. Как ни пасмурна и печальна была окружающая меня обстановка, даже в сравнении с казематом Тайной канцелярии, у меня было как-то легче на душе. Сознание, что я перестану видеть перед собою ежедневно шпионские физиономии, снимало как будто какую-то ненавистную тяжесть и с моего мозга. Вообще я рад был своему темному своду, как перемене к лучшему.

Я промерял раз пятьдесят мой номер из угла в угол, иногда в забывчивости утыкаясь лбом в свод, потом прилег на постель.

Ночник беспрестанно нагорал, и, когда я ленился встать, чтобы поправить светильню принесенными для этой цели лучинками (ночник стоял на окне), по своду слабым сиянием ложился свет коридорного фонаря, сквозь стеклянную раму над дверью. Отражение рамы протягивалось веером по своду, и чем больше мерк мой ночник, тем ближе тянулись эти радиусы слабого света к моей постели.

Когда я лежал,таким образом, поджидая плац-адъютанта, у меня все звенело почему-то слово Зарубина: «с окровлением»,— и в этот первый мой вечер в крепости сложились у меня в голове известные тебе стихи с этим припевом. Они, может быть, и плохи, но я ими в тот вечер был очень доволен.

Прошло, вероятно, более полутора часа, прежде чем опять раздался оклик: «старшего!» — загремели ключи, и ко мне вошел в шинели с меховым воротником толстый плац-адъютант с большими черными усами и с выпуклым лбом, старательно прикрытым редкими черными волосами.

— Вы студент-с? — спросил он меня, отрекомендовавшись и пожавши мне руку.

— Нет.

Я назвал свою фамилию.

— А! вы сочинитель! это верно по прокламации.

— Да.

— Это все пустяки.

Он говорил с такою уверенностью, как будто сам он должен был произносить надо мною суд.

— Вас скоро выпустят.

Старший принес между тем арестантскую одежду.

В числе улучшений в крепости делопроизводитель, провожая меня в куртину, упомянул, между прочим, о том, что они (он говорил *мы*) выхлопотали, чтобы белье было потоньше — кадетское.

Рубашка и все прочее, принесенное мне, было ужасно сыро, почти мокро, и я мог только надеяться, что согреюсь в шинели из серого солдатского сукна, которая заменила мне здесь больничный халат Тайной канцелярии.

Я переоделся и свою одежду переписал карандашом на бумаге. Старший связал ее веревкой, употребив вместо завертки мое пальто, и унес. Книги плац-адъютант у меня

оставил, но бумагу, карандаш взял для спроса у коменданта. Свечу обещал он мне доставить завтра, а пока обойтись ночником. Часы тоже взял.

Впрочем, они были и не нужны. Куранты на соборе разыгрывали то и дело разные коленца, не считая уж «Коль славен наш господь в Сионе» и «Боже, царя храни».

Последний гимн особенно здесь кстати. Так как его никто, конечно, не может повторить сознательно 〈под этими сводами〉, то лучше всего было предоставить это занятие бессознательным медным языкам колокольни.

— А что, ужинать еще не давали? — спросил плац-адъютант.

— Никак нет-с, — отвечал старший. — Сейчас подадут.

— Давай!

В дверь вошла целая процессия вроде той, которая выходит из царских врат, вынося разные ложечки и плошечки и поминая Анну Павловну, королеву нидерландскую. Только блеску, разумеется, того не было. Это ведь были просто солдаты, несшие арестанту ужинать.

Один принес глиняную пустую кружку и налил ее, поставив на стол, чаем из черного от копоти большого медного чайника, другой, с корзиной в руках, вынул и положил на стол белую булку, два куска сахару и два ломтя черного хлеба, третий принес оловянную чашку с куском жареной говядины и соленым огурцом, четвертый — солонку. Этот уж вполне уподобился тому огромному попу, который выносит какую-то вилочку и на долю которого именно приходится поминать королеву нидерландскую Анну Павловну. Да, еще одного забыл, переменившего воду в оловянной кружке!

Поставивши передо мною эту трапезу, солдаты разошлись, а вслед за ними ушел и плац-адъютант, пожелав мне спокойной ночи. Меня заперли до следующего утра.

В первый раз после моего ареста я почувствовал действительный аппетит, а тут, как нарочно, еда была самая непривлекательная. Я перенес ночник с окна на стол и при его тусклом освещении принялся за говядину. Она была жестка и, как водится, не разрезана, но я уже в Третьем отделении успел привыкнуть есть, как едят звери в зверинцах. Я с трудом отрывал зубами волокна жесткого жареного мяса и купал руки в масле, я уничтожил его все, добрался потом до трех картофелин, съел и огурец, сам изумляясь своему аппетиту. Так сильно было, однако ж,

во мне довольство, что я не в Третьем отделении, что я не ограничился одною говядиною, но и съел весь черный хлеб и белую булку, поданную к чаю. Чай — надо правду сказать — подавался мало похожий на чай. Это была какая-то трава без запаха и без вкусу. Но к чему нельзя привыкнуть? Привык я и к нему.

После этого ужина я почувствовал себя отчасти, как дома, в крепости. Спать еще было рано, и я уложил на окне в порядке свои книги. Еще в первый раз, по выезде из дому, у меня оказывалось их такое большое количество. Как я уже сказал прежде, в Третьем отделении мне сразу их не давали, вероятно, чтобы не баловать слишком.

Спал я в своем печальном новоселье тоже лучше, чем в Тайной канцелярии; но, к несчастию, мне пришлось раза три пробуждаться от самого сладкого сна. Часовой, ходивший мерными шагами по коридору, частенько приподымал железный ставень над оконцем моей двери и, заметив, что ночник у меня гаснет, стучал в стекло оконца и кричал, приложившись к нему лицом:

— Ночник!

Я просыпался, вскакивал, надевал на босую ногу башмаки, подходил к окну и поправлял лучиной толстую и обгоревшую грибом светильню.

Поставить же ночник на стол, поближе к себе, чтобы, не поднимаясь с постели, поправлять его, я не решался. Он слишком уж коптел.

В эти промежутки между сном меня поражал более всего — это я замечал во все пребывание свое в крепости — тяжелый храп спавших в коридоре солдат, чередовавшийся с бредом и порой с пронзительными криками, так что часовой обыкновенно начинал будить спящего, чтобы избавить его, вероятно, от мучительной грезы.

При воспоминании о крепостном моем заключении всего яснее представлялись мне именно тамошние ночи. Ночь длилась особенно долго, потому что рассвет под моими сводами начинался поздно, этак в исходе десятого, а в три и даже в половине третьего днем нельзя уже было даже близко к окну читать. И эти четыре-пять часов света нельзя назвать днем. Ложась на койку при наибольшем свете, читать было невозможно. Только у окна еще не совсем утомлялись глаза.

Ночник, данный мне в первую ночь, был еще из лучших, пока с 1 ноября (как объявлял мне делопроизводитель) не

стали жечь деревянного масла. А то приносилась плошка, вонявшая на весь номер и коптевшая так, что наутро тяжело было поднять с подушки голову и копоть была не только в носу, но и в горле. Чтобы избежать этой неприятности, я стал зажигать на всю ночь стеариновую свечу, а ночник гасил. Но это было недолго. Мне объявили, что комендант отдал приказание, чтобы везде в десять часов гасить свечи и зажигать ночники. Поводом было, как объяснил плац-адъютант, что студенты засиживаются при свечах долго. Таким образом, я не избег ни ночника в стакане на окне, ни вонючей плошки в углу на полу, ни нежданного постукивания часового в стеклышко двери с окликом:

— Ночник!

Точно так же скверно горел фонарь и в коридоре. Это я лучше всего мог следить по отражению над дверной рамой на моем своде. Иногда и при потухающем нагоревшем ночнике у меня мерцание на потолке слабело, слабело и, наконец, совсем исчезало. Тогда часовой будил сторожа, и я слышал скрип блока и звон опускаемого на нем фонаря. Светлый веер на потолке, впрочем, недолго же оставался светлым. Иногда меня будил часовой и непроизвольно. Не раз, вероятно, задремавши, он ронял ружье на пол, и бряк его раздавался громко по безмолвному коридору. Слабая полоска света ложилась и на пол <и на косяк> одного из окон от фонаря, прибитого снаружи стены. В ночной тишине звон крепостных часов с их патриотической музыкой раздавался громче. Номер на ночь холодел, и в нем больше чувствовалась сырость. Печку, правда, топили два раза, утром и вечером, но она была слишком мала, чтобы нагревать мою тюрьму. К утру она совсем остывала, и мне только-только было сносно под одеялом и сверх того под толстою шинелью.

Я поднимался с постели довольно рано, обыкновенно часа за два до света, и взамен ночника зажигал свечу. Большею частью мне приходилось ждать, когда совсем рассветет, чтобы умыться. Часов около десяти, а иногда и позже слышался оклик: «старшего», и я знал уже, что это идет плац-адъютант.

Ключи гремели, а ко мне, можно сказать, вламывалось чуть не десяток солдат — под предводительством дежурного ефрейтора — каждый с чем-нибудь в руках. Вслед за ними входил плац-адъютант, впрочем, иногда входил и один только ефрейтор. Вся эта многочисленная военная

прислуга как будто торопилась делать дело и выказывала при этом такую косолапость, какой я, по правде, вовсе и не ожидал от русского солдата, проходящего такую длинную и тяжелую школу всевозможных выправок. Старик сторож кидался стремглав сначала к ночнику, потом к кружке с водой, потом к ящику с глухой крышкой в углу номера; что нужно, он мыл, что нужно, выносил; двое принимались скрести метлами по сухому полу или же (это бывало, кажется, через день) поливать его и пускать в ход швабры. Приносился стул, таз, и один из солдат подавал мне умываться из кружки. Кроме того, являлись, как и вечером, хлебодары и чаечерпии со всеми принадлежностями. Утром только чай давали без всякого иного завтрака, кроме булки.

Один из ефрейторов, бойкий, грамотный малый, о котором я скажу подробнее потом, особенно заботился о воздухе в моем номере. Воздух был действительно ужасен: сырость и затхлость поражали при входе, после посещения этого десятка солдат оставался притом запах сапожной кожи, чад от ночника, вонь от коридорного фонаря, запах грязной воды от сырого пола,— все это сгущалось так, что запах табаку (а я курил довольно) совершенно пропадал и оставался только дым. Крошечная форточка в одном окне совсем не освежала, а иногда в нее еще валил новый запах и чад кухонный, вероятно, из подвального этажа.

Заботливый ефрейтор кропил стены и пол ждановской жидкостью и курил на раскаленном кирпиче квасом, и только это немного и ненадолго улучшало воздух.

Умывшись и напившись чаю, я оставался опять один до обеда, если не заходил ко мне комендант и плац-майор. Их посещение, конечно, не имело ничего похожего на те визиты, от которых я изнывал в Тайной канцелярии. Комендант Сорокин, сухой военный формалист, заходил лишь изредка и ограничивался краткими вопросами о моем здоровье, о том, всем ли я доволен, и проч. Напротив, посещения доброго и любезного плац-майора доставляли мне удовольствие.

Часов около двух приносили мне обед, который вовсе не возбуждал во мне желания прикасаться к нему, если это не были щи да каша. К сожалению, эти простые блюда подавались редко; считалось нужным разнообразить обед и придавать ему отчасти «дворянский» характер. Ведь крепость не просто острог. Поэтому давали еще, например,

и макароны, или суп и говядину с соусом из хрена, или суп с говядиной и картофелем. Всегда два кушанья, и только раза два или три прибавлялся к этому пирог с кашей. Для обеда на арестанта ассигновано было одиннадцать копеек в сутки. На этакие деньги при петербургской дороговизне не очень-то разгуляешься, особенно как в этом же счету кладется и поддержка ночников. Неудивительно поэтому, что суп обыкновенно не представлял никакого отличия от грязной горячей воды, что говядина была похожа, по выражению Хлестакова, на топор, что масло было горькое, и проч. Искусство крепостного повара особенно проявлялось в приготовлении макарон. Они подавались в виде какой-то плотной массы, которую нужно было резать, чтобы есть. Но у меня, как я уже сказал, не было не только ножа или вилки, но и ложки, чтобы размешивать чай. Один из ефрейторов, видя, что я мешаю чай одним из концов лучинки, другим концом которой поправлял светильник ночника, принес без всякого намека даже с моей стороны две лучинки, обструганные одна в виде лопаточки, а другая—в виде вилки. Последнюю я сломал, а лучинная ложечка у тебя.

Дня через два мне так опротивел крепостной обед, что я принялся бы, конечно, довольствоваться чаем, если бы...

Вскоре после переселения моего в крепость, именно дня через четыре, меня потребовали в суд, в Сенат. За мною пришел городской плац-адъютант Панкратьев. О суде я буду говорить дальше особо, а теперь упоминаю кстати, по случаю обеда.

Кроме книг, бывших со мной, я стал получать здесь журналы и только тут начал вполне понимать, что читаю. Почти все время и до обеда, и после обеда, и вечером я читал. Писать у меня как-то не было охоты, да притом комендант выдал мне всего один лист бумаги.

Часто после обеда я спал, потому что засиживался вечером долго и вставал поутру слишком рано.

Вечером я с каким-то особенным нетерпением, почти с жадностью, ожидал чая и ужина. После скудного обеда меня обыкновенно уже часов в пять начинал пронимать голод.

За ужином следовала такая же ночь, какую я уже описывал.

Вот как тянулся день за днем, без всякого разнообразия.

Особенно памятны остались мне только мои поездки в Сенат, приезд Суворова, о назначении которого генерал-губернатором я еще не знал и потому думал, что это Игнатьев

ко мне приехал. В первый визит свой он пробыл у меня очень недолго и сделал только несколько самых обыкновенных вопросов: какое мое дело? Откуда я? Не желаю ли чего-нибудь? Доволен ли содержанием? и том. под.

Потом осталось у меня в памяти утро в ноябре, в которое, по случаю царских каких-то крестин, палили в крепости из пушек.

Грусть часто-таки нападала на меня все это время, хотя я всячески старался побороть ее или чтением, или по крайней мере не выказывать перед тем, кто меня видел.

Особенная горечь на сердце, помню, была у меня в тот день, как выпал первый снег. Я отворил крохотную форточку свою и увидал, что комендантский сад с его голыми деревьями (только этот сад да окружающий его серый забор и видно было в эту форточку) побелел. Помню, мне живо представилась печальная и дальная дорога, которой я действительно и не миновал. В унылом саду, расположенном перед окнами моей тюрьмы, я видел раза два только прогуливавшихся там студентов, но меня им нельзя было видеть. Раз я встретил их также во дворе, отпросившись у коменданта погулять и хоть немного освежиться. Они шли, кажется, из бани, и я мог раскланяться с Залесским, в енотовой шубе и летней шляпе с широкими полями. В прогулке этой (снегу тогда еще не было, кажется) меня сопровождал плац-адъютант. Я вышел с ним за ворота крепости и посмотрел — это было в последний раз — на угрюмый и серый Петербург, на мерзнущую Неву, на сердито нахмуренный вдалеке Зимний дворец.

XXVI

<СУД В СЕНАТЕ>

Три допроса. — Встречи по лестнице.— Объявление конфирмации.

Я не сидел, кажется, еще и пяти дней в крепости, как плац-адъютант, войдя ко мне поутру, вскоре после чая, сообщил мне, что меня требуют в Сенат. Я оделся в свое платье, и в мой номер вскоре пришел вместе с крепостным плац-адъютантом плац-адъютант городской, Панкратьев.

Мне подали было обед (это было уж часов около двенадцати), чтобы я поехал не на тощий желудок, но я предпочел пообедать потом, по возвращении, и велел пока все убрать. Мы вышли из куртины и прошли к дому, где помещается — если не ошибаюсь — крепостной плац-майор. Против подъезда этого дома стояла извозчичья четвероместная карета. Я думал сначала, что мы поедем только вдвоем; но Панкратьев сказал мне, что будут еще два провожатых «архангела». С подъезда действительно сошли два жандарма. Они молча поместились в карете напротив нас, задернули тафтяные занавески на окнах двери, и мы поехали...

Мост был еще не разведен, и дорога шла по Дворцовой набережной; тут, отогнув немного занавеску со своей стороны, я заметил огромный съезд у Государственного совета. Но вот мы проехали и площадь, въехали под арку Сената и тут повернули в первые ворота направо. И перед воротами и во дворе была толпа народу, так что карета едва подвигалась. Панкратьев не знал, кажется, где остановиться, и мы проехали почти в глубь двора, где стояло порядочное количество экипажей.

Панкратьев вышел из кареты и побежал справиться. В это время два-три кучера, привезшие должно быть сенаторов, указывали на меня в отворенную дверь кареты и, вероятно, острили надо мной, потому что разражались самым веселым смехом. Жандармскому унтер-офицеру это не понравилось, и он притворил дверь.

Нам пришлось вернуться к подъезду у самых ворот, опять в толпу, которую я никак не приписывал своему приезду. Я предполагал, что по обилию дел в Сенате здесь всегда такая толпа.

Жандармы вышли из кареты первые, выхватили из ножен свои палаши и стали по бокам выхода из кареты. Я пошел, с ними по сторонам и Панкратьевым, по лестнице, тоже переполненной народом...

Секретарская комната перед присутствием пятого департамента (где я должен был подождать) очень невелика. Тут первое лицо, обратившее на себя мое внимание, был священник, сидевший в уголке и державший завернутые в епитрахиль крест и евангелие. Я сел поближе к столу секретаря. В комнату наведывались разные господа, и сенаторы в мундирах и чиновники помельче. Обер-секретарь Кузнецов с толстым корявым и тупым лицом, затянутый в мундир, выходил от времени до времени из присутствия и справлялся,

кажется, готовы ли для меня вопросные пункты. Мне пришлось, впрочем, ждать очень недолго, не более четверти часа.

Кузнецов опять вышел и, как-то минуя меня своим тупым взглядом, сказал:

— Пожалуйте.

Я вошел.

За длинным столом, покрытым красным сукном и украшенным зеркалом, сидело пять сенаторов в своих позлащенных одеждах. По неподвижной важности лица и поз они показались мне очень похожими на позолоченных бурханов.

Особенно выдавались из них двое: Карниолин-Пинский, своею умною, но злобно-хитрою физиономией, с длинными, беспорядочно торчавшими на голове волосами, да еще Бутурлин, но этот, напротив, обличал лицом своим <тупость> и что-то закоснело-солдатское; у него была крошечная голова и крашеные усы на одутловатом дряблом лице, глаза смотрели довольно свирепо. Низенький старичок Карнеев имел вид крайне добродушный — вот и все, что можно сказать про него. Венцель обратил на себя мое внимание особенно неподвижною и прямою своею посадкой; он сидел на своем кресле, будто верхом на лошади перед фронтом, и, вытянув длинную и тонкую свою шею, глядел на меня совсем бессмысленно своими серыми глазами. Председатель, Митусов, был лицо, не вполне для меня незнакомое: ты знаешь, что я видел его на свадьбе доктора Матвеева, у которого он был посаженым отцом. Про его наружность сказать совсем нечего — чиновник как чиновник. За отдельным столом, у окна, сидел обер-прокурор (фамилию его я слышал, но не помню), самое антипатичное для меня по наружности лицо, даже антипатичнее противной рожи обер-секретаря Кузнецова, хотя и гораздо красивее, таково было общее впечатление его на меня; но я не могу припомнить даже, какого характера было у него лицо. Из судей моих, восседавших за красным сукном, двое было в военных мундирах, именно Бутурлин и Венцель, остальные в гражданских.

Не мешает, кстати, упомянуть, что один из моих судей, и, как мне говорили, самый злостный, был мне известен по рассказам отца. Это был именно Карниолин-Пинский. Он начал свою карьеру скромно — учителем гимназии в Симбирске.

Отец мой служил уже тогда, но, недовольный своим жалким образованием, соблазнил кой-кого из своих сослуживцев просить Карниолина-Пинского читать им лекции особо от гимназистов. Тот согласился, и отец — помню — всегда вспоминал о нем с каким-то благоговением. Он приписывал ему пробуждение в себе серьезной мысли, любознательности и здравых понятий о значении образования.

Обер-секретарь указал мне место, где я должен был встать перед судьями, в конце красного стола, и сам поместился около меня, тоже стоя вполоборота ко мне. У него была в руках бумага.

Не помню, объявил ли мне сначала на словах Митусов с другого конца стола, что я предан по высочайшему повелению суду, или прямо обратился к обер-секретарю с приказанием прочесть мне отношение шефа жандармов, заключавшее в себе это повеление.

Обер-секретарь начал читать громко и внятно. Едва ли к кому шла в такой мере, как к нему, знаменитая характеристика Фамусова — «с чувством, с толком, с расстановкой». Главное с чувством читал. При словах «государь император» или «высочайше повелеть соизволил» он принимал торжественно-благоговейный тон; произнося слова «государственное преступление», он упирал на них с каким-то трагическим пафосом.

Слова о государе императоре и о высочайшем его величества повелении произвели на судей моих (совершенно для меня неожиданное) внезапное действие. Точно всех их жигнул кто-нибудь прутом сзади. Они вдруг вскочили со своих мест, как вскакивают лакеи в передней, когда проходит барин, и выслушали они повеление стоя благоговейно навытяжку. Я едва удержался от улыбки. Трудно представить себе весь комизм этого вскакивания, которое пришлось мне видеть два раза. У большей их части ноги, видно, были уже не тверды в коленях от старости, и, чтобы разом подняться с кресел, нужно было помочь руками, упереться в стол. Особенно смешон был Бутурлин, у которого ноги как-то разъезжались при этом, словно все пружины ослабли. После той бурханской важности, с которою они сидели на своих местах, такой пассаж был мне совершенным сюрпризом.

Прочитал обер-секретарь, и они опять уселись. Председатель показал мне тут мое показание, препровожденное из Тайной канцелярии вместе с экземпляром листка

«К молодому поколению», и спросил меня, признаю ли я это показание.

Я отвечал:

— Признаю.

— Прочтите! — обратился он к обер-секретарю.

И опять началось то же чувствительное чтение.

Когда он кончил, Митусов сказал мне:

— Мы имеем дать вам несколько вопросных пунктов; но предварительно священник сделает вам духовное увещевание. Пригласите его сюда,— прибавил он, обращаясь к обер-секретарю.

Обер-секретарь направился к дверям комнаты, куда я был предварительно введен; но этого мог бы он и не делать. Оттуда в полуотворенную дверь любопытно глядели к нам головы чиновников, и попу, верно, сейчас же передали, что час его приспел.

Он вступил в комнату суда во всеоружии своем, в епитрахили и с воздетыми руками — в одной евангелие, в другой крест.

Остановившись передо мной на том месте, где стоял до этого обер-секретарь, поп начал жиденьким голосом читать заученную, вероятно, заранее речь о важности присяги и ее нарушении, о необходимости раскрыть преступление во всех его подробностях, о неукрывании никого из сообщников (на это он особенно напирал), потом стал рассказывать бессвязно, дико и притом ни к селу ни к городу какую-то притчу из евангелия о рыбарях и о мрежах, решительно мне неизвестную.

Видя, что поп уже слишком зарапортовался и начал говорить совсем дичь, Митусов несколько раз говорил ему: «Довольно, батюшка! довольно!»,— но он никак не хотел отстать, не кончив своей истории и не примазав к ней какой-то морали, вероятно из начатков христианского благочестия протоиерея Кочетова. Я имел время в подробности рассмотреть безобразную живопись на кресте и на евангелии, пока поп разглагольствовал. ⟨Из опасения рассмеяться я лишь изредка взглядывал в глупое, золотушное лицо проповедника. Он был еще молодой человек.⟩

Наконец-то он отстал и ушел, а обер-секретарь вооружился тетрадкой вопросных пунктов.

Суд выразил свою снисходительность ко мне тем, что обер-секретарь прочел мне сразу, один за другим, вопросные пункты. Потом стал он читать каждый пункт, и на каж-

дый пункт я сначала отвечал словесно, а потом отходил с обер-секретарем к стоявшему в стороне большому письменному столу, садился там и давал письменно ответ, данный перед тем на словах. Ни один из судей не спрашивал меня ни полсловом о чем-нибудь, не находившемся в вопросных пунктах. Они выслушивали мои ответы в мертвом молчании и только глядели на меня.

О содержании вопросных пунктов не стоит и говорить. Они ничего не прибавляли к показанию моему, и их, пожалуй, можно бы было и вовсе не предлагать мне. Ни один из них не мог ни смутить меня, ни найти врасплох. Я слишком хорошо все обдумал.

Во второй допрос, когда обер-секретарю сказал председатель, чтобы он точно так же, как и в первый, прочел мне сначала все вопросы сряду, я отказался от этой снисходительности, сказавши:

— Зачем это? Читайте один вопрос, я отвечу, потом другой, и так далее.

На лицах судей показалось удивление, и Венцель, переглянувшись со всеми, особенно внимательно устремил на меня глаза.

Во второй и в третий допросы, такие же пустые по содержанию, как и первый, не все сенаторы одинаково хранили прежнее суровое молчание. Они, должно быть, увидали, что я вовсе не бука и что со мною можно говорить. Не думай, впрочем, чтобы это был действительно разговор, а так какие-то вовсе не идущие к делу вопросы. С ними обращались ко мне только два: Карниолин-Пинский и Митусов. Первый спросил, например, почему-то, говорю ли я по-английски. И еще два-три вопроса были такого же рода, ни важнее, ни интереснее.

Только в последний допрос Митусов решился на вопрос, по-видимому, более серьезный. По поводу двух прокламаций, найденных у Костомарова, он обратился ко мне с такими словами:

— А вы не ходили в казармы к солдатам и словесно не возбуждали их к неповиновению?

— Нет.

— И крестьян тоже не собирали, не ездили по деревням, чтобы подстрекать их?

— Нет.

Я теперь не могу уже припомнить, в какие именно дни были три допроса мне в Сенате. Знаю только, что между

первым и вторым был краткий промежуток, а третьего допроса я ждал что-то очень долго.

Во второй раз такая же толпа была на лестницах.

В третий раз приняли, видно, меры и обратно провели меня какими-то задними ходами. Сенатские чиновники зато проявляли страшное любопытство и собирались сотнями на моей дороге или глядели, толпясь в дверях, когда меня привозили и увозили.

Тебе едва ли не лучше меня известно, что происходило в промежутки между моими допросами. Два месяца, проведенных мною в крепости, слились у меня в памяти в однообразный ряд длинных и скучных дней, и только ярко светится в этих тюремных потемках несколько отрадных минут, о которых пока я не вправе говорить.

. . . .

В Сенат сопровождал меня все тот же Панкратьев. Из жандармов унтер-офицер был всегда тот же Ефимьев, выражавший желание проводить меня и до Тобольска. Другой жандарм менялся.

Кажется, после третьего допроса, которым, собственно говоря, кончался мой суд, перевели меня из Невской куртины в главную гауптвахту, о чем я скажу потом. Но до него, если не ошибаюсь, я был призван к коменданту, который подал мне бумагу и просил сесть к столу, чтобы отвечать на нее.

Это были еще вопросные пункты от следственной комиссии, с которою я еще познакомился в здании первой адмиралтейской части. Тут я, как нельзя лучше, понял, чего мог я ожидать от Костомарова, если б он был призван со мною вместе к суду и ему были предложены вопросы относительно моего дела. Каждый из вопросов, бывших теперь у меня в руках, начинался словами: «Корнет Всеволод Костомаров показывает, что...» или «Корнет Всеволод Костомаров на очной ставке показал...», и проч.

Читая эти вопросы, можно было только одному удивляться, для чего было говорить о том, что именно никто не знал, кроме меня, да и знать не мог.

Подумавши, я увидал, однако ж, что этими показаниями вся вина сваливается на меня и на московских студентов.

Стараясь в ответах своих оградить по возможности последних, я не выгораживал себя.

Во все это время, начиная со второго сенатского допроса, меня более всего томило ожидание, скоро ли, нако-

нец, решение. Надо вспомнить, что во второй раз, когда возили в Сенат, от меня уже была отобрана подписка, что при суде и следствии мне не было делано пристрастия. Из этого можно было заключить, что вопросов более предлагать мне не будут, и, действительно, то, что спрашивали меня на третьем допросе, были совершеннейшие и бесполезнейшие пустяки.

Весть о назначенном мне наказании, разумеется, огорчила меня, но не столько, сколько огорчило бы меня помилование, если бы оно последовало, вследствие глупой выходки моей, беспокоящей меня и до сей поры. Я, впрочем, никак не ждал такого большого срока каторжной работы.

Мне помнится, я при тебе читал как-то статьи закона, касающиеся «преступлений» вроде моего, и мне постоянно думалось, что высшим сроком должно быть шесть лет.

Еще до произнесения мне приговора в Сенате получил я известные стихи и письмо от заключенных в крепости студентов. И те и другое письмо меня растрогали. Я не мог удержаться от слез и тотчас же отвечал им стихами, которые ты знаешь.

Кажется, 7 декабря приехала за мною карета, чтобы свезти меня в последний раз в Сенат. Панкратьев вошел в новое мое помещение, сообщил мне, что мне будет прочитана конфирмация. Выкурил папиросу, пока я обедал,— и мы поехали. На этот раз я был, кажется, потребован раньше, чем в прежние мои поездки.

Полиция, разумеется, приняла меры, чтобы прежних любопытствующих не было на лестницах и во дворе, и точно, когда мы приехали, было довольно пусто у входа.

В этот раз меня провели в другую комнату, вероятно канцелярию отделения, но тоже выходящую дверями с другой стороны в палату, где производились мне допросы. Формальности, с которыми сопряжено было произнесение в Сенате приговора, были уже мне известны.

Мне пришлось прождать тут с четверть часа. Около меня образовался целый кружок чиновников, большею частью молодежи. Некоторые рекомендовались мне, другие прямо заговаривали.

Тут мне сказали, что «с моей легкой руки» еще начинается в Сенате дело такого же рода, как мое. Ведь на мне был сделан первый в России опыт обыкновенного суда над политическим преступником. Теперь, как мне сказали, был

предан суду, за распространение «Великорусса», Владимир Обручев и с ним еще четверо или пятеро молодых людей и, между прочим, мой знакомый доктор Боков. Потом, как я узнал, все, кроме Обручева, были освобождены от суда и следствия.

Наконец сенаторы изготовились к произнесению мне приговора. Обе половинки дверей в место их заседания были отворены, позвали приехавших со мной жандармов, велели им обнажить палаши и поставили их по сторонам двери на пороге. Позвали меня.

Обер-секретарь Кузнецов, с бумагою в руке, стоя по ту сторону порога, указал мне на него и сказал: «Остановитесь тут».

Я стал между жандармами, и Кузнецов начал чтение своим источным и торжественным голосом. Он мог бы быть хорошим диаконом.

Все, что он читал, за исключением мнения Государственного совета, было мне уже хорошо известно. Чтение длилось долго, и я пользовался этим временем, чтобы наблюдать за моими судьями. Они сидели за тем же столом, но в несколько ином порядке, и между ними я увидал совершенно незнакомого генерала.

Кто-то из чиновников говорил мне перед этим:

— <Подлец> Карниолин-Пинский нарочно сел сегодня задом, чтобы не смотреть на вас. Видно, совестно же стало под конец.

Это предположение было несправедливо. Он действительно сел задом, но весь повернулся в мою сторону и один из всех сенаторов смотрел на меня так пристально, не отводя ни на минуту своих прищуренных злобных глаз. Седые волосы его и без того торчали, но он беспрестанно еще более ерошил их, запуская в них пальцы. Другой, не менее пристальный взгляд был направлен на меня сбоку, от того стола, за которым я писал ответы на вопросные пункты. Тут сидел какой-то молодой человек аристократического вида в мундире (каком именно, я не помню) и, подавшись вперед на своем стуле, тоже не спускал с меня своих глаз.

Мнение Государственного совета зашевелило во мне злобу на себя, и я рад был только тому, что и сам Государственный совет понял, по-видимому, всю неискренность моего обращения к государю и не принял его во внимание.

Когда Кузнецов, приостановившись с чтением на минуту, прокашлялся и с еще большею торжественностью возгласил громогласно: «На мнение Государственного совета собственного его императорского...» и т. д., позлащенные сенаторы вскочили с своих мест.

Слова резолюции: «Ограничиваю каторгу шестью годами, и в прочем быть по сему»,— Кузнецов прочитал уже совсем достойно диакона, возглашающего многолетие.

Перед тем как меня позвали выслушивать это чтение, ⟨один чиновник⟩ сказал мне, чтобы я не смеялся во время его. ⟨Я и не смеялся,⟩ хоть мне подчас хотелось улыбнуться, слушая тонкие соображения Сената над фактами, которые были ему известны в таком превратном виде.

Тем не менее, я, говорят, заслужил неудовольствие сенаторов и даже самого государя, что выслушал решение не с достаточным благоговением и страхом. Верно, нужно было, по их мнению, стоять, вытянув руки по швам, а я держал их скрестивши и не изменял положение даже в то время, как сенаторы вскочили со своих мест.

По прочтении конфирмации Кузнецов вынес мне бумагу для подписи.

— Что же написать? Что я доволен вашим решением?

— Только имя и фамилию,— произнес Кузнецов, тревожно и суетливо кладя ⟨бумагу⟩ передо мною.

Что такое было тут написано, я не прочитал и прямо подписал: Михаил Михайлов.

И вся прихожая, где я надевал пальто и калоши, и вся длинная площадка, и значительная часть лестницы были полны любопытных. Сенатские чиновники верно забросили тоже в эту минуту свои дела, догнали меня, чтобы пожать мне руку на прощание. В толпе стоял Боков и, когда я проходил, выдвинулся проститься со мной. Я был очень рад его вниманию и от души пожал ему руку.

. . . .

Внизу, когда я вышел уже с подъезда, справа послышались женские голоса: «Михаил Ларионыч! Прощайте». Это были Варенька и Машенька. Они бросились ко мне, и я поцеловался с ними. У Машеньки глаза были полны слез. Варенька протянула ко мне руку, когда я уже в карету сел.

— Куда прикажете? — спросил извозчик.

— В крепость! — крикнул Панкратьев и вскочил в карету.

XXVII

<ПЕРЕСЕЛЕНИЕ НА ГЛАВНУЮ ГАУПТВАХТУ>

Солдатские беседы.— Студенты.— Строгости и шпионство.— Поп с исповедью.— Ожидание казни.

Ты, может быть, знаешь лучше меня, что заставило крепостное начальство перевезти меня из Невской куртины на главную гауптвахту. Плац-майор говорил мне, что это делает для большего моего спокойствия плац-адъютант, что меня хотели удалить от студентов, которые туда переводятся. Последний, впрочем, не знал сначала, что меня переведут именно на гауптвахту, и не без соболезнования говорил, что меня, кажется, хотят поместить в Алексеевском равелине.

Я знал, что там сидит, между прочим, Владимир Обручев, и не находил в этом ничего удивительного.

Как бы то ни было, но меня перевели. Когда именно, я не помню, но скоро после третьего допроса — около 20 ноября.

Я это предполагаю потому, что еще в куртине узнал о смерти бедного Добролюбова, а 20 я написал стихи на его смерть, уже на гауптвахте. Это был день его похорон.

От крыльца Невской куртины до главной крепостной гауптвахты лишь шагов полтораста. Я перешел туда поутру вместе с одним из плац-адъютантов. Тут кстати сказать, что два крепостные плац-адъютанта разделяли сначала между собою всех крепостных арестантов по две половины и каждый заведовал своей половиной. Потом они нашли более удобным для себя разделиться днями: таким образом, два дня приходилось дежурить одному, да два другому. Тут я познакомился ближе и с другим крепостным плац-адъютантом Пинкорнелли, которого видал до тех пор изредка.

Пока еще не время характеризовать этих двух ближайших ко мне лиц из крепостного начальства; но я не могу не вспоминать с особенным теплым чувством доброго и милого Пинкорнелли.

Новое помещение мое было гораздо лучше. Комната была меньше, чем в Невской куртине, но тут был зато прямой потолок, и меня уже не давил этот тяжелый сырой свод. Окно было одно, зато большое и светлое, хотя тоже забеленное снаружи и с еще более крепкими решетками. В довольно большую форточку я мог видеть Невские ворота

крепости, где было обыкновенно немало проезжих и прохожих. Одним из украшений здешней моей жизни была, между прочим, большая круглая печь. Она топилась у меня, и топка ее всегда развлекала меня. Еще развлечение, кроме смотрения в форточку и печки, представляли беседы солдат в караулке рядом со мной, которая отделяла мой номер от кордегардии. Все, что тут говорилось, слышно было у меня как нельзя лучше, и я очень часто, в особенности под вечер, ложился на постель и слушал солдатские прения и разговоры. В постели тоже произошло улучшение — здесь был волосяной матрас сверх соломы. Платье мое хранилось тут у меня же, а не уносилось, как прежде, ефрейтором на сбережение куда-то.

Вот и все изменения, а затем все шло точно так же, как в куртине. У дня был тот же порядок, и прислуживали мне те же лица.

Я был особенно доволен, когда на дежурстве был бойкий белокурый ефрейтор небольшого роста, тот самый, который выстругал мне из лучинок вилку и мешалку для чая. Он был грамотный и либерал. Еще когда я был в куртине, он обратился раз ко мне с просьбой дать ему какую-нибудь книжку почитать. У меня из русских книг была только скучная и глупая «Всемирная история» Вебера. Он взял первый том, но вскоре возвратил мне его как вещь незанимательную. В караулке при гауптвахте он обыкновенно читал вслух, и здесь, слушая это чтение и рассуждение солдат, я мог убедиться еще раз (если б не был и прежде убежден), как нелепо сочинять какую-то особую литературу для солдат, для народа и проч. Ефрейтор читал «Солдатское чтение» или что-то подобное, рассказывавшее о воинских подвигах, какие-то исторические рассказы о Петре Великом и об Александре. Тон рассказа, с подделкою под народный говор, никому не нравился, и самое содержание казалось невероятным.

— Это так только для нас написано,— замечали некоторые,— а ничего этого быть не могло.

Зато всех приводило в восторг чтение пушкинских «Повестей Белкина». Эти повести читались несколько вечеров, и особенно заняли всех рассказы «Барышня-крестьянка» и «Станционный смотритель».

Солдатский либерализм тоже замечателен.

Когда либеральный ефрейтор был дежурным, я не подвергался тому шпионству, которое почему-то явилось

недели за две до моего отъезда в ссылку. Что было причиною внезапных строгостей, новый ли плац-майор, какой-то мямля, или какие-нибудь инструкции свыше, я не знаю; но только все чаще и чаще солдаты поднимали покрышку дверного оконца и наблюдали за мною, и я слышал иногда вопросы и ответы: «Не пишет ли?» — «Нет, лежит, читает». Подглядыванье это, сопровождаемое шушуканьем, меня сердило.

Раз я слышал разговор, который очень смутил меня. И сам комендант стал, должно быть, внимательнее и строже. Он заметил у меня как-то на столе некрепостную чашку с серебряной ложкой, и из-за этого, как я увидал из солдатских разговоров, вышло что-то вроде следствия и допросов находившимся в карауле солдатам.

Глядя из своей форточки, я часто видел арестованных студентов. Почти как раз против моего окна было крыльцо другого отделения Невской куртины, и на нем нередко собирались студенты, сидели, курили, уходили и вновь приходили. Тут я видел Веню, Ш<такеншнейдера> и раз явственно слышал, как они говорили, <указывая на меня>: «Это Михайлов, кажется».

Дня за четыре до произнесения мне приговора на площади я почти все утро простоял у форточки, глядя на роспуск их по домам. Наехало пропасть мужчин и дам, верно все родных, и студенты все сновали по крыльцу, подбегали к подъезжавшим саням, пожимали руки и весело разговаривали. Некоторые из приезжих родных или знакомых проходили на крыльцо, вероятно, с тем, чтобы посмотреть, как содержатся люди в крепости. Слышал слова:

— Можно?

— Идите, ничего. Можно.

— Да ведь нельзя, господа!

и т. под.

Внятнее всего доносился до меня голос Пинкорнелли, суетливо распоряжавшегося в куртине.

Признаюсь, я позавидовал этим юношам, выпархивающим на волю из тюремной западни.

Явственно слышал я и такие вопросы:

— Что, стихи-то взял?

— У тебя списаны стихи?

Я предполагал, что дело идет о моих стихах, и, кажется, не ошибался. Мне было известно, что они переписывали их для себя.

Я, однако ж, потерял хронологическую нить своего рассказа. Надо вернуться к тому утру, когда мне была прочитана конфирмация в Сенате.

Только что вернулся я из Сената, ко мне пришел комендант и привел с собою попа, Михаила Архангельского, как он мне отрекомендовался, и оставил его со мной.

Еще прежде спрашивал он у меня (в куртине), не желаю ли я побеседовать со священником; но я отказывался.

Поп был человек еще молодой, хотя и лысый. Мне не понравилось в нем что-то лисье. Он заговорил со мною об исповеди, о том, что мне следовало бы выслушать и божественную литургию и все в этом роде; но в то же время он вел как будто какой-то допрос: спрашивал, не было ли у меня каких сообщников, не собираюсь ли я избежать наказания посредством бегства и еще что-то в этом роде. Особенно налегал на побег.

Все последнее время у меня была одна тревога; я страшился, что вам придется ехать из Петербурга раньше меня, и каждая весть, приходящая от вас, все более и более утверждала меня в моих опасениях.

Из доставленной мне статьи свода законов о церемонии, совершаемой на площади, я узнал, что поп обязан усовещивать меня две недели, если я выражу нежелание исповедаться. Эти две недели могли решить ваше дело, и я тотчас же решился не выставлять попу своих убеждений, а исполнить себе формальность, на которой он настаивал.

Я сказал ему, что чем скорее это сделается, тем лучше.

— В таком случае исповедуйтесь завтра.

— Хорошо!

Он зашел ко мне и вечером в тот день, принес святцы и евангелие, прочитал мне несколько молитв, а в евангелии заложил лентой главу от Иоанна «Да не смущается сердце ваше» и советовал прочесть ее.

Просидел он у меня довольно долго; мы говорили о всякой всячине,— но он не раз обращался в разговоре к моей судьбе и все старался изобразить яркими красками те ужасы, которые ожидают меня, если буду столь неблагоразумен, что решусь на побег.

Откуда шли вести, что я собираюсь бежать с дороги или что меня хотят отбить от жандармов,— не знаю, но об этих вестях я слышал не от одного попа.

Я в свою очередь спрашивал его, не знает ли он о дне, когда будет объявлена мне на площади сентенция суда,

и вообще повезут ли меня для этого на площадь, но поп отзывался неведением — и врал, потому что ему, как я потом догадался, известен этот день. Вопросы о том же, обращенные мною к коменданту и плац-майору, тоже оставались без определенного ответа. Они отвечали только «не знаю» да «не знаю». Одно только говорили мне утвердительно, что я не буду из крепости перевезен в острог, как это требуется законом. Впрочем, об этом я и сам мог догадаться, так как ко мне явился поп со своим увещеванием.

На следующее утро (это было, если не ошибаюсь, 12 декабря) плац-адъютант пришел звать меня в церковь при комендантском доме, как меня накануне предуведомил отец Михаил. Эта маленькая домашняя церковь была совсем пуста. Меня встретил тут комендант с попом, комендант удалился, а поп пригласил меня на исповедь к аналою, поставленному перед царскими дверьми.

Исповедовал он по какой-то книжке гражданской печати, которую скрывал от моих глаз; в нее у него была вложена какая-то записочка.

Все вопросы почти исключительно касались моего дела; поп расспрашивал, не скрыл ли я имен сообщников в деле, не принял ли более, чем следовало, и потом — не уговаривался ли я с кем-нибудь о побеге.

После исповеди он живо отслужил обедню.

Как, однако, он ни торопился, я успел продрогнуть в нетопленной церкви и был очень доволен, когда по окончании этой церемонии комендант пригласил к себе в кабинет и меня и отца Михаила и угостил нас горячим чаем с ромом.

Перед сумерками, часа в три, приехал ко мне Суворов и сообщил, что на днях будет мне позволено видеться с моими друзьями. Он назвал по имени всех. Остался он у меня довольно долго, говорил о том, что в дороге мне будут предоставлены все удобства, жалея, что не может спасти меня от кандалов, и т. д. Между прочим, он спрашивал меня (это по-английски), знаком ли я с Герценом и Долгоруким,— и заметил, что Герцен совсем не то, что издатель «Будущности». Все, что ни пишет Герцен, все так gentlemanlike [1], тогда как Долгоруков и бездарен и мало видно в нем честности.

Суворов в заключение сказал, что он еще зайдет ко мне проститься.

---

[1] по-джентльменски *(англ.)*.

Только в этот вечер я сообразил, что, вероятно, мне будет произнесен приговор на площади в четверг, то есть 14 декабря,— и это вот почему: поп намекнул мне поутру, что не мешало бы мне выслушать послезавтра литургию, но я наотрез отказался.

Накануне 14 декабря я уже с большею уверенностью ожидал церемонии и вслед за нею свидания с вами; последнее ты знаешь очень хорошо. Я и ждал, что вы приедете посмотреть на мою казнь, и в то же время боялся, не узнаете о ней; в газетах, как мне говорили, не было еще объявлено.

13 я нарочно лег раньше в постель, чтобы встать поутру пораньше самому, а не дожидаться, пока разбудят [1].

---

[1] Утром в пять часов 14 декабря Михайлова вывезли на эшафоте, или на позорной колеснице, спиною к вознице, в серой арестантской куртке и в арестантской шапке, на Мытнинскую площадь что на Петербургской стороне. Там, при барабанном бое, его поставили на колени, и, прочитав приговор, палач переломил над его головой шпагу. Площадь была почти пуста, так как было еще темно, а близкие друзья Михайлова ничего не знали. Милый старик Пинкорнелли, крепостной плац-адъютант, был очень глух, и хотя Михайлов просил его съездить к Шелгуновым и сказать им, что его вывезут на площадь, но он этого не слыхал и не съездил.

В этот день к Михайлову приезжали все его друзья, а вечером его посадили в казенную повозку с двумя жандармами, а его возок с жандармами поехал вперед. Это было устроено на тот случай, если бы молодежь вздумала отбивать Михайлова.

Рано поутру кибитка въехала в ворота Шлиссельбургской крепости. К вышедшему из возка Михайлову тотчас же явились сторожа с полотенцами и стали обвязывать ему кандалы.

— Чтобы как-нибудь не обеспокоить сидящих,— объяснили ему.

Коридор был устлан толстым войлоком, так что тишина в крепости была мертвая. Михайлова ввели в номер, на окне которого сидело несколько голубей. Вскоре подали чай на прекрасной посуде, с хорошими булками, совсем по-домашнему, и к чаю пришел комендант и много говорил о Сибири, где он служил.

Из Шлиссельбурга вывезли тем порядком: сначала ехал возок, а сзади кибитка с Михайловым. Когда они миновали станцию Шальдиху, откуда дорога сворачивала в имение родных Шелгуновых, то Михайлова посадили в его возок, а повозка уехала обратно. Засады нигде не оказалось.

⟨В ДОРОГЕ⟩

...⟨Молчание жандармов продолжалось недолго.⟩ Я разговорился с ними, они стали расспрашивать о моем деле, я рассказал, что считал для них интересным; они начали рассказывать о том, что слышали обо мне, и, таким образом, в первый же день между нами водворилось взаимное доверие. Они тотчас последовали моему совету отцепить свои сабли, от которых им неловко было сидеть, и снять мешавшие им пистолеты. Вечером в Новой Ладоге, где мы ужинали рыбной селянкой в гостинице при почтовом дворе, мы уже были как будто старые знакомые.

Из рассказов их я узнал следующее: между ними был слух, в верности которого они были совершенно убеждены, что волнение в университете было произведено мной, что я был «всем студентам голова». Затем они, на основании слухов, шедших от начальства, были уверены, что меня собрались отнять и отбить у них на первой станции от Петербурга, в Ижоре, и опять-таки студенты, и что их там должно было собраться человек двадцать. Вследствие этого меня отправили не в моем возке, а в мой возок посадили других жандармов и на одного из них надели мою арестантскую шапку, чтобы его можно было принять за меня. Впереди поехал фельдъегерь, ⟨за ним возок, а моя кибитка должна была отставать немного. В Ижоре разъезды наши происходили от того, что неизвестно было, где остановился возок и фельдъегерь.⟩

Затем Каменев показал мне маршрут, которого сначала никак не хотел вынимать, потому что не велено, и я увидал, что меня повезут дорогой, которой я никогда не

езжал,— именно на Мологу, Ярославль, Кострому, Вятку, Пермь и т. д.

В какой мере установилось между нами доверие, яснее всего увидал я на другое утро.

Незадолго до света приехали мы в Тихвин, где при почтовой станции были прекрасные комнаты (даже с зеркальными стеклами в окнах), и мы расположились тут пить чай. Мне очень захотелось написать вам несколько строк, что я и сделал совершенно явно. Когда мы вышли садиться, я сказал Бурундукову, чтобы он бросил письмо в ящик, прибитый у почтамта, насупротив станции, и видел сам, как он опустил его.

Когда я в первый раз вынул свою записную книжку и стал в ней писать карандашом, Каменев спрашивал меня: «Не жизнь ли вы свою описываете?» Я отвечал утвердительно, и он потом обыкновенно говорил мне при каждом удобном случае: «А что, записали про то, как опрокинулись? А про то, как смотритель содрал за студень целковый, не забыли?» и т. под.

Его очень интересовало, что такое могло быть написано в листе, за который меня не только ссылали, но и заковали. Последнее, как говорили они, было для них совершенною неожиданностию и очень их смутило; им случалось уже препровождать таким образом разных господ, но в кандалах никого не возили. «Уж видно бедовый!» Потом, когда я передал им, сообразно их понятиям, содержание воззвания, Каменев очень серьезно заметил, что со мной поступают несправедливо, что дело было там написано, что я за правду пострадал. И он повторял это часто во все продолжение дороги. Особенное впечатление произвели на него, кажется, мои слова о том, что крестьян обманули волей и что необходимо уменьшить срок службы солдатам.

Впрочем, мы скоро обо всем переговорили, и я большую часть дороги мог молча предаваться моим бесконечным, тяжелым и грустным думам.

Раз я как-то начал говорить о том, какая гадость жандармская обязанность, какой позор служить в Третьем отделении, какая низость всякий донос и так далее в этом роде. Провожатые мои, особенно Каменев, слушали меня с большим вниманием. Им казалось это совершенно ново.

— Ну, что, правду я говорю? — спросил я наконец.

— Правду,— отвечал, задумавшись, Каменев.— Вот

хоть бы у нас был какой случай. Что уж гаже может быть? А есть этакие подлецы!

И он мне рассказал об одном жандарме, который за какое-то преступление был приговорен к шпицрутенам. Он прошел сквозь тысячу человек. Когда его привезли в лазарет, один из товарищей, видя страшное положение его, подошел к нему с сожалением и предложил ему чарку вина, чтобы подкрепился; наказанный жандарм, почти умиравший, не нашел ничего другого сказать товарищу, что он донесет на него за это противузаконное предложение.

Я так засиделся в последние три месяца, что мне беспрестанно хотелось ходить, хотя этому и значительно мешали кандалы. Как только мы отъехали станции три от Шлиссельбурга, я стал выходить из возка почти при каждой перемене лошадей. Меня смущало только отчасти бряцанье моих цепей; но сделать их менее звонкими мне не удалось. Станции за две до Новой Ладоги Бурундуков принялся обматывать их нашедшимся у нас холстом; но это не помогло. Главное неудобство заключалось в том, что в городах, где не случалось на станции ничего поесть, нельзя было, не возбудив придирок, идти в гостиницу или в трактир, особенно если он еще был далеко от почтового двора. Один неприятный случай такого рода я сейчас расскажу, а теперь стану продолжать по порядку.

Я уж сказал, что в Тихвин мы приехали рано утром 16 декабря. Хозяин долго не хотел здесь взять ничего с меня за чай, сливки, хлеб, говоря, что это было бы грех. Здесь еще не привыкли к «несчастным», едущим в своем экипаже. Дальше, около Тобольска и за Тобольском, наоборот, кажется, потому и норовили взять с меня за все подороже, что я — «секретный», а еду сам по себе, а не тащусь с партией.

Когда я садился в возок в Тихвине, ко мне подошла нищая и стала просить. И ямщик и все стоявшие близко начали останавливать ее, крича: «Разве не видишь? Разве у таких просят? Ты посмотри ему на ноги-то!» И тут разница между местами, близкими от Сибири и далекими. Здесь я уже не встречал больше нищих; а там, то есть подальше от Петербурга, они на всякой почти станции обступали меня, и я брал постоянно медные деньги у Каменева, которому жалко было платить их не только даром, но и за дело, хоть бы, например, за еду, за чай.

На следующее утро мы приехали в Устюжну во время обедни. День был воскресный, и над городом стоял гул благовеста. Здесь при станции была гостиница; мы остались поесть, потому что больше трудно было рассчитывать на обед, и я очень обрадовался трем-четырем нумерам «Северной пчелы», в которых, впрочем, не было ровно ничего интересного.

Так как было еще рано — обедня только что начиналась,— и в трактире еще не было посетителей, то мы расположились в общей зале, рядом с билиардной. Там скоро раздалось стуканье билиардных шаров, и в полуотворенную дверь было мне видно, как там какой-то офицер принялся играть с маркером. Он то и дело заглядывал в комнату, где я сидел, и наконец вошел.

— Вы, вероятно, господин Михайлов? — спросил он меня и отрекомендовался офицером Софийского пехотного полка.

Его особенно интересовало студенческое дело. Он спрашивал меня, выпущены ли студенты из крепости и на каких основаниях, много ли из них сослано, куда именно, на долго ли. Я, насколько мог, удовлетворил его любопытству.

Замечу, кстати, что весть о моей ссылке как-то особенно быстро прошла по всей дороге, которую я совершал. Не говоря уже о городах, не было почти станции, где бы смотритель не узнал моего имени и, завидев жандармов, не спрашивал: «Не Михайлов ли это?» Жандармы не раз выражали мне свое удивление по этому поводу.

Вечером на четвертый день по выезде из Шлиссельбургской крепости мы добрались скучной и утомительной дорогой до Ярославля. Целый день мне не удалось нигде перекусить. Богатый торговый город Рыбинск тоже не выручил: гостиница была где-то за версту от станции, а в другой поблизости ничего не готовили по случаю поста. Я решил перетерпеть голод до Ярославля.

На станции тоже ничего нельзя было достать здесь, кроме чая.

Жандармы мои решили ехать в гостиницу, куда привели бы и почтовых лошадей. Мы отправились, и скоро возок мой остановился у хорошо освещенного подъезда очень большого здания, какие редко встречаются в наших губернских городах.

Бурундуков пошел справиться, есть ли отдельный номер, и, после каких-то долгих переговоров, пришел с трактирным слугой во фраке объяснить, что свободные два-три номера есть только в третьем этаже. В общих залах довольно-таки гостей, а идти в номера можно по коридору только мимо их. Бурундуков замечал, что это «ничего». Я вынул из дорожного мешка два полотенца и опутал ими кандалы; но они не брякали только до входа моего в большую, очень хорошо убранную прихожую, где передо мной растворил дверь весьма приличный швейцар. Эта прихожая и широкая, устланная ковром лестница напоминали мне хорошие заграничные гостиницы, и я никак не мог не подумать, что там нигде не был бы возможен визит вроде моего.

Слуга слегка поддерживал меня, чтобы я мог ступать не так твердо, когда мы входили по лестницам и шли по широким и светлым коридорам. Кандалы мои предательски позвякивали, несмотря на мои старания ступать как можно осторожнее. Мы прошли мимо ярко освещенной столовой. Двери в коридор были отворены; но господа, бывшие там, были слишком заняты разговором или обедом и не слыхали интересного звяканья. Рядом были отворены двери и из билиардной. Там шла игра; но один господин взглянул-таки на меня в коридор. Замечательно то, что звука кандалов нельзя принять ни за что другое. Всякий сейчас же устремлял на меня глаза и никак не подумает, как бы тихо они ни брякали, что это звенят медные деньги в кармане или что-нибудь другое. Выглянувший господин, к счастию, не отличался, верно, чуткостью.

Наконец, взобрались мы в третий этаж, в просторную и чистую комнату, и я заказал обед. Мы еще не успели кончить обеда, как явился в комнату какой-то маленький горбун, слабое подобие Квазимодо, в черном сюртуке. Это, как оказалось, был староста со станции, явившийся за получением денег.

Он, впрочем, не удовольствовался тем, что взял прогоны, и, надеясь, вероятно, получить еще хоть целковый, поднял вопрос о том, имели ль право жандармы въезжать со мною, «секретным» арестантом, в гостиницу.

— Это так нельзя оставить,— говорил он гадким, разбитым голосом.— Мне законы известны. Вам следовало въехать в станционный дом. Вы еще за это ответите.

Бурундуков вспылил.

— Прогоны ты получил? — раскричался он,— так и ступай себе. Что ты тут за начальник, что пришел спрашивать? Да я и отвечать-то тебе не хочу. Почем ты знаешь, какие у меня инструкции? Вон сейчас отсюда!

Горбун, вероятно ждавший мировой сделки, начал ворчать что-то под нос себе, из чего можно было разобрать только:

— Здесь ведь тоже есть и ваше начальство... Штаб-офицер... Здесь же назад-то поедете... Заставят вас ответить!

— Пошел, тебе говорят, вон!.. Жалуйся, кому знаешь! — крикнул Бурундуков уже так решительно, что поганый горбун рассудил убраться поскорее от греха.

Каменев все это время сидел молча и, с совершенно бесстрастным спокойствием в лице, пил чай, стакан за стаканом. Надо заметить, что хоть ему и были вверены деньги и бумаги, но он старшинством уступал Бурундукову и был облечен доверием начальства, вероятно, в этом случае только по знанию своему грамоты да по примерной своей «умеренности и аккуратности». Даже у меня в возке принадлежало ему лишь второстепенное место. Он сидел задом к кучеру, на чемодане моем, вместо скамейки, и только когда особенно уставал и хотел спать, Бурундуков уступал ему место, да и то большею частью лишь тогда, когда сам уже хорошо выспался.

Только по уходе горбуна Каменев, опрокидывая стакан на блюдечко, заметил:

— Чего ему, дураку, нужно было?

Мы выехали из города благополучно; но нас как будто преследовало проклятье горбуна. Зимняя дорога шла Волгой. Вскоре после того как мы выехали, поднялся ветер, не особенно сильный, но со снегом и поднял небольшую метель. Мы преспокойно задремали, никак не воображая, чтобы, едучи по льду реки, можно было, даже при сильной метели, сбиться с дороги. Но это именно случилось.

Когда кто-то из нас проснулся и тотчас разбудил других, мы стояли над полыньей. Ямщик не знал, что делать и где дорога. После долгих поисков он решил, что мы не по той дороге едем, и повернул назад. Потом он еще раза два ворочался и наконец с самым твердым убеждением заявил, что дорога найдена и что теперь остается до станции не больше половины пути. Спал он, что ли, или ехал в первый

раз, или по какой рассеянности потерял, действительно, занесенную снегом дорогу,— но он сваливал все на каких-то проезжих в санях, которые, видимо, обошли его. Мы беспрестанно спрашивали его, скоро ли же, наконец, станция. Он отвечал все, что сейчас.

Ночь была довольно темна, но скоро на снегу можно было рассмотреть чернеющие строения, а за ними белеющую церковь.

— Это станция?

— Станция.

Не успели мы успокоиться на этом известии, как ямщик, повернувшись ко мне, как-то странно проговорил:

— А ведь это не станция.

— Так что же?

— Да я и сам не знаю.

Это был — снова Ярославль, но ямщик, как Одиссей, вынесенный на родной берег, не узнал его, он долго не хотел согласиться и с жандармами, когда те начали уверять его, что он обратно привез нас в Ярославль.

Когда он убедился наконец в этом, отчаяние его было невообразимо, и он и дорогой и по приезде на почтовый двор не переставал изумляться своей ошибке и изрекать проклятия на встретившиеся ему сани и на каких-то леших, сидевших в них. К досаде его прибавилось еще что-то вроде лихорадки: отыскивая дорогу, он вымок по пояс в сугробах и зажорах.

Горбун, вероятно удовлетворенный нашею неудачной поездкой (оказалось, что мы плутали пять часов), смотрел уже кротко и помалчивал. Но для производства следствия явился почтосодержатель, какой-то отставной офицер, и распорядился, чтобы с нами отправился провожатый с фонарем.

В утешение он сообщил, что и сам начальник губернии этой же дорогой ездит всегда и недавно еще застрял где-то в зажоре.

На этот раз мы доехали до станции, хоть и тащились опять пять часов.

Если бы не это плутанье, поутру могли бы мы быть в Костроме, но были только в Нерехте, а в Кострому проехали только в середине дня.

Я был уже сильно истомлен дорогой, потому что нигде не отдыхал; но мне хотелось сделать хоть половину пути, который казался мне бесконечным. Спутники мои мне на-

доели и опротивели; в голове была какая-то путаница от неизвестности того, что меня ожидает; на сердце горько и одиноко, сны виделись все о свободе, да о бегстве, да о вас,— а иногда и такие, что просыпался от испуга. С самого отъезда из Петербурга и до Тобольска я вообще был словно растерянный какой и не мог ничего сообразить хорошенько, и все как будто что-то щемило мне сердце. Спать приходилось мне сидя, и это еще более утомляло меня. Протянуть ноги значило только подвергнуть их холоду. И так они у меня беспрестанно зябли, несмотря на толстые и теплые сапоги. Как ни старался я укрывать свои кандалы, они быстро холодели; холодели и кольца, которые как когти охватывали мне ноги, и ноги начинали ныть и тосковать.

Но мне хотелось ехать скорее, чтобы скорее добраться до места. Я лишь ненадолго остановился в Вятке, чтобы пообедать да написать письмо, которое ты и получила. Хозяйка дома, в котором помещается почта, видя, как я изнеможен, упрашивала меня остаться переночевать, а на ночь сходить попариться в баню. О бане, разумеется, нечего было и думать, потому что я не мог бы снять с себя брюк при узких кольцах кандалов; но и ночевать, несмотря на явное желание и моих провожатых отдохнуть немного, я не хотел остаться. «Доеду хоть до Перми и там отдохну. Все-таки хоть половина первой части дороги будет позади»,— думал я и так и сделал.

Утро рождества встретили мы в только что отстроенной, сырой и холодной станционной избе. Горница была очень большая; везде от стен дуло; из окон тоже. Одиночные рамы в окнах дрожали и скрипели от жестокого ветра, который выл как бешеный около одиноко стоящего дома. Это был праздник только для Каменева. Он мог разговеться и перестать завидовать мне, что я пью чай с молоком, когда случалось найти молоко. В горнице ярко топилась большая печь, и мы оттащили стол из переднего угла к ней и тут напились чаю; с одного боку подпекала нас печка, а с другого обдувал ветер; так что пламя свечи на столе колебалось и сало оплывало. Было еще темно.

В ночь этого же дня добрались мы наконец до Перми. Мы приехали туда часу во втором. Отдохнуть было уже решительно необходимо: у меня ломило спину и все кости; ноги были как онемевшие. Дорога становилась все хуже и хуже — то ухабы, то снег по колена, то снег сдуло

с дороги. В иных местах так было выбито, что я ехал с постоянно замирающим сердцем: вот сейчас ухаб! и каждый толчок экипажа отдавался резкой болью у меня в голове.

Во втором этаже пермского почтового дома было нечто вроде гостиницы — три-четыре просторных комнаты с узкими диванами по стенам и с голыми кроватями. Побоявшись клопов, я улегся на диван и проспал ночь как убитый несмотря на скованные ноги. Утром я чувствовал какое-то дрожанье во всем теле, вероятно, застоявшаяся кровь расходилась, хотел было написать к тебе письмо, но у меня было какое-то отупение в голове и руки дрожали, как у горького пьяницы. Мне почему-то думалось, что я получу здесь какую-нибудь весточку от вас. Спросил, не справлялись ли обо мне до моего приезда — нет. Утром увидал я, идет казак. Действительно, он справлялся, кто приезжие; но собственно мною никто не интересовался, значит, письма ко мне не было. Зашел на несколько минут бывший студент Петербургского университета, поляк, остановившийся тут же, рядом со мной. Он уехал из Петербурга до волнений в университете на службу сюда. Мне не понравился он, и самую фамилию его я забыл.

Из окон моей комнаты виднелась огромная пустынная площадь, вся перекрытая снегом. Праздничный звон гудел, повод еще более тоски, — и я торопил жандармов ехать.

Во всю почти дорогу от Вятки, чуть не на каждой станции, приходилось слышать:

— Вот недавно из Варшавы двух провезли.

Или:

— Третьего дня ксендз проехал из Варшавы с жандармами.

В Кунгуре, где я был вечером в тот день, мне сказали, что тут провезли, одного вслед за другим, шесть ксендзов.

Тут меня еще более напугали дорогой. Отсюда-то только и начинаются ухабы.

Это оправдалось как нельзя лучше. Бесконечные обозы с чаями потянулись навстречу и до самой Тюмени почти не прерывались. Дорога действительно была беспримерно выбита. Селения, правда, начинали смотреть несколько зажиточнее: не кидалась уже в глаза та голая, вопиющая нищета, какая возбуждала тягостную тоску в Вологодской, в

Вятской губерниях. Но зато горько и тяжело было от другого зрелища. Около каждой деревни темнели средь глубокого снега серые частоколы этапов. По ранним утрам около их ворот стояли бабы с калачами, с молоком для несчастных. Попадались партии ссыльных: скованные по четверо вместе железными поручнями, с заиндевевшими бородами, шли вперед каторжные; без оков, сзади, в жалкой одежонке, в куцых негреющих казенных полушубках,— отправляющиеся на поселение; еще дальше — дровни с бабами, с больными, с детьми, закутанными в разное жалкое тряпье. Солдаты и казаки шли, как пастухи за стадом.

Екатеринбург проехал я в три часа ночи с 27-го на 28-ое число. Я, вероятно, остался бы до утра, если б брат Павел был в это время здесь; но мне сказали на почте, что он не приезжал.

О дальнейшей дороге до Тобольска нечего было бы и говорить, если б с нами не случилось смешного происшествия, станции за две — за три от города Тюмени.

На этой станции мы рано пообедали, чем нашлось. Когда выходили садиться, ямщик, еще молодой парень, с круглым красным лицом, с смелыми глазами сделал нам упрек, что мы долго слишком прохлаждались с чаем, что лошади не стоят.

— Ну, так поезжай скорее!

И действительно лошади помчались как стрела.

— Не гони; пристанут потом — станция длинная! — остановил его Каменев.

Вдруг лошади остановились.

— Что такое?

— Где у вас ямщик-то? — спрашивал мужик, стучась в затворенное окно.

Оказалось, что ямщик слетел с козел и остался позади.

Когда он догнал нас, мы увидели, что он еле держится на ногах. Видно, на морозе его разобрало.

— Да ты, парень, пьян? того и гляди опять слетишь, да и повозку повалишь.

— Пьян! так закачу, только держись.

— Легче! легче!

Он погнал опять как сумасшедший. Возок трещал на ухабах.

На шестой версте лошади вдруг стали как вкопанные.

Как ни кричал на них ямщик и с козел и слезши, они не делали ни шага вперед. Так простояли мы по меньшей мере четверть часа.

Бурундуков вышел из терпения и выскочил из возка.

— Ведь говорили тебе, чтобы ты не гнал? Вот, стали теперь лошади.

Ямщик вдруг разразился самою свирепою бранью. Его уже совсем разобрало.

— Оттого и стали, что ты гнал меня,— кричал он, чуть не к каждому слову прибавляя отвратительное русское ругательство,— ты и меня всего избил! Саблей — меня в бок тыкал!

Он врал все это.

Шагах в двадцати виднелась крайняя изба, только что проеханная нами, маленькой деревушки.

— Что с ним толковать? — обратился ко мне Бурундуков.— Он пьян и как одурелый какой-то. Надо тут спросить лошадей в деревне; эти не довезут, он их совсем загнал.

Из деревни кто-то уж увидал, что с нашим возком что-то случилось, и тут как раз подошло мужиков пять-шесть. Лошадей у них не оказалось. Ямщик, обрадовавшись слушателям, начал кричать с тою же бранью еще громче.

В каждом слове его выражалось то ожесточение, которое глубоко таит в себе простолюдин против всякого, в особенности же против военного начальства. В солдате он привык видеть не собрата своего, который несчастным случаем попал сам чуть что не в каторгу, а грабителя своего и притеснителя. Да, впрочем, и не из чего было вынести иной взгляд. Особенно жандарм должен быть ненавистен, по своему произволу, по безнаказанности.

Ямщик ругался и кричал не умолкая. Он на каждом слове клеветал на моих провожатых.

— Они избили меня,— вопиял он,—гнали во всю мочь. Только и кричали, что пошел да пошел. С козел меня столкнули. А ты кто такой? — обращался он к Бурундукову, размахивая руками.— Генерал ты, что ли, какой? ты солдат (и крепкое словцо) — солдат бесштанный (и опять крепкое словцо).

Бурундуков и Каменев объяснялись между тем с мужиками, и из этих объяснений оказалось, что в деревушке всего-то три двора и лошадей нет.

— Надо съездить назад на станцию, за лошадьми. Помогите-ка кто-нибудь отпречь пристяжную.

Мужики не двигались.

— Что ж вы?

— Не замай, братцы! — кричал ямщик.

— Что ж — наше дело тут сторона. Чего ж мы?

— И то, братцы.

Бурундуков пошел отпрягать лошадь.

— Нет, ты не смеешь отпречь,— закричал ямщик.— Не дам я тебе.

Он рванулся было к нему, но свалился и едва приподнялся, скользя на обледенелом снегу дороги.

— Видите, как он пьян, — заметил Каменев мужикам.

— Точно, что маленько выпивши.

Но не успел Каменев отойти шага на два—на три, как они принялись науськивать ямщика:

— Не давай, паря, не давай!

Ямщик кинулся — и на этот раз удачнее,—да поздно. Вдвоем жандармы успели уже отпречь лошадь, и Бурундуков сел на нее верхом.

Тут-то разразился наш ямщик.

В то время, как Бурундуков удалялся от нас назад, он напустился на Каменева, который, как и товарищ его — надо признаться — вел себя как нельзя лучше во всей этой истории.

Теперь ямщик дал другой оборот своим ругательствам.

— Ты кого везешь? — кричал он, все с теми же неизбежными приговорками.— Ты секретного везешь. Вот кого! Не генерала ты везешь, а секретного. А в чем ты его везешь? Я, брат, законы знаю. Разве в этакой избушке секретных возят? На это перекладная есть. А ты его проходной везешь.

— Молчи ты, когда с тобой не разговаривают,—попробовал кротко заметить ему Каменев.

— Не стану молчать! — еще громче голосил ямщик.— Секретного-то ты в избушке в этой везешь? Ты кто такой? Жандар ты... (словцо). А сабля у тебя где? Захочу, я тебе все рыло расхлещу. С секретным ты едешь, а где у тебя сабля? А!.. Жандар ты, а я плевать хочу на тебя. А пистолет у тебя где? Секретного ты везешь... Секретного али нет?.. А как же ты его без сабли везешь.

Каменев подошел к растворенной дверце возка и начал говорить со мной.

Тут совершилось нечто совсем неожиданное.

Пользуясь, вероятно, тем, что жандарм не обращает на него никакого внимания, и подзадоренный мужиками, ямщик вдруг вскочил на козлы, крикнул на лошадей в источный голос, и лошади, вероятно с испугу, помчались. Я захлопнул поскорее дверцу возка и отворил маленькое оконце впереди.

— Стой! куда ты? Остановись! Держи лошадей! — кричал я ямщику.

Но он ничего не слушал, размахивал кнутом как сумасшедший и только отчаянно ухал на лошадей.

— Что, плохо везу? Плохо? — восклицал он по временам.— Пристали лошади? А! Вот как я на паре троих везу.

Ясно было, что он ничего не помнит.

Видя, что слова мои не помогают, я схватил его за полы, потом за плечо, но толку никакого не было: он продолжал гнать все сильнее.

Наконец уже он как-то неловко пошатнулся, неловко потянул вожжи, и лошади круто повернули в сторону и уперлись в сугроб. Мы проскакали версты три.

Тут догнал нас Каменев верхом. Мужики испугались, видя, что может выйти плохо для них, и поспешили дать ему лошадь. Он с великим трудом усадил ругающегося ямщика на козлы, сел с ним сам, и мы поехали назад, чтобы встретиться с Бурундуковым.

Замечательнее всего то, что, когда, стоя около сугроба, ямщик опять принялся за ругательства и опять кричал: «Ты секретного везешь... Как же ты его в избушке везешь?» и проч., и когда я крикнул ему: «Да перестанешь ли ты ругаться?» — он вдруг несколько присмирел, подошел к окошку, в которое я глядел, снял шапку и принялся оправдываться передо мной, называя меня «ваше превосходительство». Не думайте, чтобы в этом названии, как и вообще в обращении ко мне, была хоть искра иронии.

Когда мы отъехали немного назад и Бурундуков встретился нам в санях с посланным со станции и с парою свежих лошадей на подкрепление остальных, ямщик перепугался и, по-видимому, совсем отрезвел. Лошадей припрягли, и он, извиняясь, стал просить, чтобы ему дозволили довезти нас до следующей станции. Он и повез нас — уже тихо и смирно, и довез исправно.

Если б мне в то время, как мы мчались только вдвоем с пьяным ямщиком, попался какой-нибудь исправник или становой, он легко бы мог принять меня за беглого, улепетывающего от погони. Кандалы мои могли бы только утвердить его в этом предположении.

Вот самое интересное из происшествий со мной по пути от Петербурга до Тобольска. Затем только разве упомянуть, что мы четыре раза свалились с возком и выбирались из него в одну из дверок, которая оказывалась обыкновенно на месте крыши. При этом, конечно, всегда почти подламывалась одна из оглобель, и в ближайшей по дороге деревне производилась чинка. Любопытно, что три последние падения с возком случились как раз в три последние дня моего пути к Тобольску — по падению на день. Одно окно разлетелось вдребезги, и мы забили его войлоком.

Мне не хотелось приехать в Тобольск ночью, и мы решили ночевать на последней станции. Здесь мы въехали на так называемую земскую квартиру, в опрятную, теплую и довольно просторную избу. Было еще не поздно. Напившись чаю, я принялся писать к тебе письмо, чтобы отправить его с жандармами. Они обещались доставить его аккуратно. Я не знал, где будут держать меня в Тобольске и допустят ли их ко мне,— и потому лучше было сделать дело заранее. Тут же решил я дать им на водку. Денег у меня, как ты знаешь, на руках не было. Вывести в расход по данной Каменеву книжке слишком много — мне не хотелось. Я еще не искусился опытом в этом отношении и думал, как бы не было потом каких придирок. Поэтому я распорол подкладку своей шапки, в которую вы зашили мне на всякий случай денег, и вознаградил жандармов довольно щедро. Они были, конечно, как нельзя более благодарны. Остальные выпоротые из шапки деньги я просто-напросто, без всяких опасений и предосторожностей, положил себе в карман.

По мере приближения к Тобольску мне не раз встречались на станциях проезжие и оттуда и из дальнейших мест Сибири. Все почти обнадеживали меня, что меня не ждет ничего ужасного, что со мною будут обращаться как нельзя лучше, и проч., и я, признаюсь, несколько успокоился. Меня несколько смущало только то, что я первый и единственный политический преступник, ссылаемый в нынешнее царствование в каторжную работу. От подобных ссылок успели уже несколько отвыкнуть в Сибири, и, пожалуй, я

буду поставлен в исключительное положение, которое во всяком случае неприятно, потому что возбуждает внимание, а следовательно и более строгий надзор. Я знал, что в Нерчинском округе не осталось уже никого ни из декабристов, ни Петрашевского и сосланных с ним вместе трех его товарищей.

К счастию, того, что я предполагал, не случилось. Время все-таки сделало успехи, и я встретил здесь вместо прежнего равнодушия или притеснения — более или менее искреннее сочувствие и все возможные удобства.

Привычка ли к дороге, или все-таки приятное чувство, что в Тобольске узнается хоть что-нибудь решительное,— только я не чувствовал уже того утомления, как в Вятке и Перми. Я уснул очень хорошо, но проснулся довольно рано,— и мы почти тотчас же отправились.

Двадцать верст, считавшиеся от станции, скоро остались за нами, и вот забелели на горе здания и церкви Тобольска. Было около десяти часов.

XI

⟨МЕСЯЦ В ТОБОЛЬСКЕ⟩

Приказ о ссыльных.— Тобольский острог.— Острожные товарищи.— Студент Крупский.— Турецкий капитан.— Острожное начальство.— Посещения и выезды.— Ксендз Маевский.— Формальнссти.— Отъезд дальше.

Жандармам была дана из Петербурга бумага только в Тобольский приказ о ссыльных, но я настоял, чтобы ехать прямо к губернатору, который мог бы, как мне казалось, распорядиться сам, куда поместить меня. К тому ж день был воскресный, и в приказе верно никого не было.

Мы остановились у нового тесового крыльца с таким же навесом, пристроенного к каменному дому. Бурундуков пошел с пакетом; но тотчас же почти возвратился и сказал, что губернатор пакета не принял и приказал отвезти и пакет и меня в приказ.

Губернаторский дом стоит в нижней части города. Теперь нам пришлось подыматься на высокую гору, где белели здания присутственных мест, собор, кажется, гимназия или семинария. Там же помещался тюремный замок и при-

каз. Поднявшись по отлогому, но длинному откосу горы и миновав памятник Ермаку и будущее мое помещение — острог, мы, наконец, достигли и до приказа о ссыльных, небольшого и грязноватого здания, куда я уже пошел прямо вместе с обоими своими спутниками.

Отворив первую дверь из темного и грязного коридора, мы как раз очутились в одном из отделений приказа. Тут была и канцелярия и прихожая вместе. Стояли канцелярские столы и близ дверей вешалки для теплой одежды.

Против ожидания в приказе не было пусто. Там было человек десять — по-видимому, служащих тут чиновников. Это можно было заключить разве по тому, что некоторые из них писали, некоторые расхаживали, как дома, с развязностью хозяев этих грязноватых мест, и все обступили меня с расспросами, с предложением погреться у громадной железной печи, которая, как ад, пылала в углу, или сесть или покурить. Но если бы судить по одежде, их никак бы не принять за чиновников. Такие жалкие костюмы можно встретить, да и то не всегда, разве в казарме, где помещаются ссыльные из бедных слоев общества. Продранные сапоги, продранные валенки, покрытые заплатами штаны, замасленные до последней степени сюртуки с оборванными пуговицами и продранными локтями, какие-то онучки на шее вместо галстука, какие-то странного покроя (и тоже в дырах) одежды — не то ваточные халаты, не то пальто, обличающие под широкими рукавами отсутствие хоть какой-нибудь рубашки. Говорят, что приказные эти побираются гривенниками и даже пятаками от несчастных, проходящих через их руки. Оно и неудивительно. Кроме зверообразного воспитания, полученного большею их частью, они лишены всякой иной возможности добыть себе денег на существование. Последний лакей получает более лучшего из них; а работы много. Мне невольно пришло в голову: если такая голь — управляющие судьбою людей, в число которых попал и я, то какова же голь должны быть управляемые. Я теперь сомневаюсь, чтобы и каторжный согласился обменяться своим местом, платьем и делом с кем-либо из канцелярских чиновников Тобольского приказа о ссыльных.

Ямщик в мохнатой белой шубе, вверх шерстью, привезший меня, вошел почти вслед за нами в канцелярию, попросил у одного из жандармов моих папироску и закурил

ее у печки. Куря, как дома, он с таким сознанием своего превосходства смотрел на приказных, что они казались еще жалче. Когда кто-нибудь из них заговаривал с ним, он отвечал с таким достоинством, что заговоривший как будто еще более умалялся и чуть не начинал заискивать его расположения. А между тем этот ямщик ждал от меня гривенника на водку.

Кто-то из приказных, более приличного и приятного вида, побежал к управляющему приказом с пакетом и известием о моем приезде. Прошло минут двадцать, пока он возвратился и объявил, что управляющий скоро будет сам. Надо подождать. Я прождал еще минут десять. Тут пришел еще какой-то посланный и сказал, что управляющий не велел ждать его, а приказал отвезти меня в тюремный замок.

Поехали. До замка было недалеко, и мы скоро были уже у железных решетчатых ворот, около которых стояло и сидело с десяток баб, торговок калачами, молоком и пр. Здание тюрьмы имеет довольно внушающий вид: оно ново, выбелено начисто и не напоминает унылые, полуразвалившиеся тюрьмы этапов, мимо которых я проезжал.

Часовой, стоявший за решеткой ворот, дернул за звонок, проведенный в кордегардию; на звонок его вышел с ключом дежурный старший и отпер перед нами завизжавшие на петлях ворота.

Тут тотчас очутился передо мной смотритель замка, толстенький невысокого роста человечек с каким-то сероватым лицом и заговорил скороговоркой, раза по три повторяя почти каждое слово. Он чуть открывал рот, когда говорил, и так торопился, что надо было с напряжением слушать его, чтобы понять.

— Вещи ваши, вещи ваши посмотрите-с,— суетился он.— Жандарм, жандарм, выкладывай. Продерни, ямщик, возок-то, возок-то.

Возок продернули из ворот во двор, довольно просторный, окруженный со всех сторон белыми стенами. Прямо против въездных ворот были другие растворенные ворота, проходившие под такого же почти объема, как и наружная часть острога, зданием о трех этажах. Справа и слева были каменные белые стены, отделявшие главный двор от дворов разных отделов тюрьмы. И с той и с другой стороны в этих стенах было по двое ворот.

— Выкладывай тут все из возка, из возка! — торопливо распоряжался смотритель.

Жандармы вынимали мои пожитки и клали всё в кучу, на землю.

— Всё вынимай! все вынимай! А то ведь тут оставить ничего нельзя. Как раз растащут, растащут, анафемы. Войлочек-то вынь. Окна-то не сымаются ли?

И он расшатывал окна, предполагая, вероятно, что и их могут утащить.

— Пожалуйте-с, пожалуйте-с в канцелярию. Ты побудь тут покамест, покарауль,— крикнул он одному из жандармов.

Я не понимал, да и теперь не понимаю, зачем мне нужно было подыматься чуть ли не в третий этаж, в грязную и пустую комнату, именовавшуюся канцелярией. Каменев, пошедший со мной, предлагал смотрителю принять от него мои деньги, но он восстал против этого всеми силами и говорил о них, как будто это были раскаленные угли, до которых его рукам страшно притронуться. (Потом полицеймейстер разбранил его за это и велел получить от жандарма мои деньги.) Он исчез минут на десять, я походил из угла в угол, посидел и уж начинал, признаюсь, сильно злиться на эти проволочки, как смотритель вернулся.

— Пожалуйте-с, пожалуйте-с! — говорил он опять так же торопливо.

Мы спустились.

— Пожалуйте за мной-с! Эй вы! берите, берите вещи! Несите сюда, сюда!

Два-три не то казака, не то мужика взвалили мою поклажу на плечи и понесли все за мной. Мы прошли в средние ворота на так называемый кандальный двор; посреди его стояло невысокое здание о двух этажах (верхний, впрочем, больше похож был на чердак). Тут влево от ворот виднелась над дверьми крупная надпись славянскими буквами, какой-то текст. Это был вход в церковь. Двор, собственно говоря, обходил вкруг этого здания лишь как коридор.

Мы повернули влево, потом за угол. Солдат отпер решетчатую тяжелую дверь. Мы вошли в темный, сырой и довольно зловонный коридор с тюремными дверями по одну сторону. Одна из этих дверей была перед нами распахнута, и я вошел в назначенное мне помещение.

Это была комната саженей в шесть квадратных. Она еле

освещалась маленьким полукруглым окном, которое ближе было к потолку, чем к полу. По двум сторонам приложены были к стене несколько покатые широкие нары. Стены были запотевшие и покрытые плесенью. Воздух спертый, пропитанный махоркой, сапожной кожей и прелью. На нарах помещались два арестанта — оба пожилые, небольшого роста. Один зашивал себе что-то, другой сидел свеся ноги.

— Вот вы в уголок тут, в уголок пристройтесь,— посоветовал мне смотритель.— А ты оттащи свою-то лопать да подушку-то,— крикнул он спавшему в углу арестанту.

Уголок зарос весь зеленою плесенью.

— Нет, уж я лучше в середине помещусь,— заметил я,— там сыро слишком.

— Как угодно-с. Да их и вывести отсюда можно. Вот надо надзирателю, надзирателю сказать.

Надзиратель, худощавый, старый казак, вошел вместе с нами.

— А впрочем погодить можно; вы покамест, покамест не раскладывайтесь. Может, полицеймейстер прикажут вас отсюда перевести.

Вещи мои сложили на нары, я сел около них.

Тут вошел молодой караульный офицер.

— Вам угодно-с, угодно-с будет освидетельствовать вещи? — спросил смотритель.

— Нет, не нужно,— отвечал офицер, поклонился мне и ушел.

— У вас, может, чернильница есть? — спросил меня смотритель.

— Есть.

— Здесь ведь не позволено-с. В канцелярии-с только дозволяется писать, если что нужно.

— Мне нечего писать теперь, и она у меня далеко заложена. Потом об этом.

— Очень хорошо-с. Так вы извольте посидеть-с покуда здесь, а я к полицеймейстеру съезжу-с. Ты уж побудь здесь,— обратился он к надзирателю,— чтобы не беспокоили их, не беспокоили. Или понадобится что.

Я закурил папироску и стал ждать. Мне пришлось просидеть тут с полчаса. Я был так озлоблен, что я все еще как будто не на месте, что меня бесил каждый вопрос надзирателя. А он считал, кажется, своею обязанностью занимать меня, как гостя. Арестанты, сидевшие тут, как оказа-

лось из его слов, были только подсудимые. Они то выходили из камеры, то опять приходили. Вероятно, слух о новоприезжем «кандальщике» из благородных разнесся по всему отделению. Дверь ко мне беспрестанно отворялась, и то высовывалось любопытное лицо с обритой наполовину головой, то смело переступал порог, вероятно, более опытный ссыльный и, чтобы иметь возможность постоять тут и взглянуть на меня (а может и попользоваться какою мелочью), начинал какую-нибудь пустяшную просьбу. Надзиратель едва успевал отделываться от этих посетителей, крича им: «Потом придешь! Что вы лезете сюда? Пошел вон! Не сметь растворять дверь!» Это не помешало ему уверять меня, что мне было бы гораздо лучше, если б я остался в его ведении, что для меня можно бы очистить «секретную» получше других, и проч. Мои чемоданы заметно внушали ему уважение, и он рассчитывал, что, теряя меня, теряет очень выгодного жильца.

— Право, лучше бы вам здесь было,— шепнул он мне и тогда, как явился смотритель с известием, что полицеймейстер приказал перевести меня в дворянское отделение.

Я, разумеется, не увлекся советом надзирателя. Если в дворянском будет не лучше, то ведь и хуже не может быть — трудно по крайней мере.

Опять понесли мои вещи, той же дорогой. Мы вышли на главный двор, потом влево во вторые ворота, около которых выходил сюда узкою стороной с одним высоким, маленьким, полукруглым окном флигель, где помещалось дворянское отделение. Под навесом неподалеку я увидал свой возок.

Смотритель, идя со мной, объяснял скороговоркой:

— Вы покамест вдвоем-с, вдвоем-с будете. Один молодой там человек. Тоже из дворян. Номеров теперь свободных нет-с. А вот-с, вот-с как партию отправим — вам отдельную можно будет дать-с.

На небольшой продолговатый двор, куда мы вступили, флигель смотрел довольно длинным рядом таких же маленьких окошек и казался подслеповатым. У крыльца, на дальнейшем конце, стоял часовой около будки. Решетчатых дверей не было, а простые,— и те не заперты. Вот уж и лучше, значит.

Смотритель просто толкнул из сеней дверь. Она тяжко растворилась, притягиваемая кирпичом на веревке вместо

блока,— и меня охватило удушливым теплом и масляным чадом.

Такой же мрачный (разве немножко лишь светлее) коридор и с такими же окнами под потолком, как и в кандальном отделении, был передо мной. От грязных полов и отсыревших, покрытых темными пятнами стен он казался еще темнее. Притом он наполнен был сероватым паром или чадом, и сразу я ничего не мог рассмотреть.

Двери номеров были и здесь лишь по одну сторону. Мне назначалась шестая дверь от входа.

Приход мой, сопровождаемый необычным здесь бряканьем цепей, возбудил, конечно, любопытство моих новых товарищей. Из дверей выглядывали то мужчины, то женщины; два расхаживавшие по коридору арестанта, один в сером арестантском длинном до пят халате, другой в дикого цвета каком-то пальто, остановились посмотреть на мое лицо и на мои ноги. Откуда-то слышался крик грудного и, по-видимому, новорожденного младенца.

В отведенной мне комнатке, которая была меньше Шлиссельбургской, встретил меня мой сожитель, Станислав Крупский, как он мне тотчас отрекомендовался. Смотритель нас оставил.

— Вы меня застали за обедом,— сказал он,— не хотите ли вместе?

У него стояли на столе две оловянные тарелки с жирною бараниной и кашей.

Говорить по-русски он затруднялся, и я предложил ему, чтобы он говорил по-польски, а я буду отвечать по-русски; но он мне сказал, что охотно и хорошо говорит по-немецки.

Это был молодой человек, двадцати трех лет, довольно хорошего роста, не полный, но очень крепко сложенный и очень красивый: прекрасные светлые глаза, прекрасные светло-русые волосы и свежий, юношеский цвет лица. У него было то типическое выражение, которое можно заметить у большей части поляков. В губах и глазах какая-то смесь горечи и ласковой хитрости; в улыбке что-то полупечальное, полузлое, полунасмешливое; на Крупском была почти новенькая синяя венгерка польского покроя, пестренький цветной галстук. Вообще видно было, что он занимается собою даже посреди всей этой тюремной грязи.

У него тут было и кой-какое хозяйство: маленький са-

мовар, маленький погребец, чемодан, окованный сундучок. Когда внесли вдобавок всё мое имущество, нам почти повернуться было негде. В комнате была одна только койка, и надо было устроиться как-нибудь.

Крупский с услужливостью младшего брата принялся суетиться, передвигать чемоданы, развешивать по гвоздям шубы и проч. Он отстранял меня от всего, и я с благодарностью принял его услуги, потому что еле шевелился от усталости. Ноги у меня ныли страшно.

Когда все было приведено в некоторый порядок, я спросил Крупского, нельзя ли распорядиться насчет чая. Он прибыл сюда дней за пять до меня и успел уже приноровиться ко всем здешним обычаям.

— Здесь все можно достать,— заметил он,— и вообще ничего, можно еще жить. Тут два человека для прислуги. Василий! — крикнул он, выглядывая в коридор.

— Сейчас, ваше благородие.

И немедленно явился пересыльный Василий Непомнящий, как оказалось потом, удержанный временно в остроге для услуг в дворянском отделении, невысокого роста черноволосый малый лет тридцати пяти, с бойкими, несколько плутовскими черными глазами, с черными усами, с бритой бородой и сережкой в ухе. На нем была ситцевая рубашка, подвязанная тонким пояском; по бойкости и развязности движений, по изысканности фраз он напоминал полового из трактира. Он взял самовар Крупского и унес его греть в коридор. Впоследствии я познакомился с Василием ближе и очень жалел, что ему пришлось покидать острог раньше меня.

Когда мы сели за чай, к нам вошел высокий рыжий арестант с очень решительным, несколько как будто болезненным лицом. У него была густая круглая борода почти огненного цвета; половина головы, как я заметил, всматриваясь потом, была у него, верно, брита, но волосы успели на ней так отрасти, что сразу этого не видно было. Несколько наглые глаза его смотрели прямо, но они были несколько мутны.

— Что вам угодно? — спросил Крупский.

— Я к ним-с,— отвечал он, показывая на меня и кланяясь мне слегка.

Тут я повторил ему вопрос, что ему нужно; но вместо ответа он сам спросил меня:

— Вы из Петербурга изволите следовать?

— Из Петербурга.

— В крепости изволили содержаться?

— В крепости.

— Er will ein Paar Groschen haben,— мимоходом ввернул Крупский, возясь около самовара.— Wenn Sie kein Kleingeld haben, ich will ihm etwas geben, und mag er wegspazieren[1].

— Lassen Sie ihn sich ausreden[2],— отвечал я.

— Я вам помешал-с, —деликатно заметил нежданный гость.

— Нет, нисколько,— отвечал я.

— Позвольте спросить, в крепости плац-майором все еще полковник Новоселов?

— Нет, теперь другой.

— Кто же-с?

— Не помню фамилию.

— А полковника Новоселова изволите знать?

— Знаю.

— Я им премного был обязан... Во время содержания в крепости... Добрейший, могу сказать, полковник.

— А вы в крепости содержались?

— Точно так-с. Вы верно изволили слышать о моем деле. Я Федор Иванов.

— Нет, не слыхал.

— А тогда много было-с шуму в Петербурге. Смею вас спросить, вы в каторжную следуете?

— Да.

— По какому делу, если смею спросить?

— По политическому преступлению.

— Это, значит, как я же-с?

— А вы тоже политический?

— Как же-с!

Это меня заинтересовало.

— Мне это удивительно, что вы не изволили обо мне слышать,— продолжал он.— Кажется, про Федора Иванова все тогда известны были в Петербурге. В газетах было писано.

— Ну уж извините! Я ничего не слыхал. Да когда ж это было?

---

[1] Он хочет получить несколько грошей. Если у вас нет мелочи, я ему дам что-нибудь, и пусть он проваливает (*нем.*).

[2] Дайте ему высказаться (*нем.*).

— В шестидесятом году нас судили-с.

— А вы не одни?

— Нет-с, шайка нас была целая. Большие тогда грабежи происходили.

— А!

— Сквозь тысячу я прошел-с.

— Was ist das? Von was für Tausend spricht er? [1] — спросил меня Крупский.

— Spitzruten [2],— отвечал я.

— Точно так-с, шпицрутенами был наказан,— подтвердил рыжий гость.

— Schicken Sie ihn doch weg! — повторил Крупский,— wollen Sie Kleingeld? Man muß mit den Kerls vorsichtig sein[3].

— Wozu? [4]

Я действительно имел случай достаточно убедиться впоследствии, что за немногими исключениями (к ним, впрочем, принадлежал и Федор Иванов) всякий грабитель, вор, убийца и разбойник честнее и во сто раз чище душевно разных Путилиных, Горянских, Кранцов и Шуваловых. Мне часто представляется, как шли бы к их медным лбам черные клейма здешних бедных варнаков.

Мне, впрочем, с дороги и самому начинала уже несколько надоедать беседа с Федором Ивановым, хотя новость и привлекала меня.

— Вы, может быть, имеете еще что-нибудь сказать мне? — спросил я.

— Издержались в дороге-с... Теперь же надо будет скоро дальше идти. Вот на сапоги извольте взглянуть.

— Nun ja! — воскликнул Крупский, обращаясь ко мне с укоризной.— hab'ich's Ihnen nicht voraus gesagt, Sie wollten mir nur nicht glauben. Haben Sie Kleingeld? Ih kenne schon gut diese Schurken [5].

Только что удалился Федор Иванов, пришел еще один господин, которого я встретил при входе прохаживавшимся

---

[1] Что такое? О какой тысяче он говорит? (*нем.*)

[2] Шпицрутенов (*нем.*).

[3] Прогоните его! хотите мелочи? С такими субъектами надо быть осторожным (*нем.*).

[4] Почему? (*нем.*)

[5] Ну да! не предупреждал ли я вас, а вы не хотели мне верить. Есть у вас мелочь? Я прекрасно знаю этих мошенников (*нем.*).

по коридору, именно арестант в диком пальто, небольшого роста, поляк, с мягким голосом, с мягкими глазами и с мягкими манерами. Он следовал чуть ли не за воровство какое на поселение, с семьей, женой и двумя детьми. Это был один из ближайших моих соседей по коридору (Федор Иванов помещался в кандальном отделении). У него был чрезвычайно опрятный вид, так же как и у жены его и детей; но по всему было видно, что они очень бедны. Раза два, лишь намеками, он вызывался в течение моего соседства с ним на мои сигары, и то делал вид, что хотел бы лишь попробовать. Потом он уже не заходил ко мне в комнату, и я встречался и здоровался с ним только в коридоре, где он обыкновенно прохаживался взад и вперед чуть не целый день.

На этот раз он вошел с величайшими извинениями попросить у Крупского на подержание чайного блюдечка.

В этот же день у меня было еще несколько посетителей, но уже другого рода. Председатель губернского правления, учитель словесности здешней гимназии, два доктора,— это все были лица, с которыми я потом познакомился ближе и которым был обязан многими удобствами, смягчавшими для меня тюремное заключение.

Отдохнув немного, я вздумал пройтись по двору. Крупский надел красную конфедератку, и мы пошли вместе. Гулять во дворе позволялось сколько угодно, только не из кандального отделения или по крайней мере не в кандалах. Поэтому я обращал на себя особенное внимание всех попадавшихся мне товарищей моего заключения из других отделений острога. Некоторые заговаривали со мной, хотя с заметною сдержанностью, будто с опасением. Дворы были почти пусты. Мы обошли их все.

Сожитель мой успел уже близко познакомиться с тюремными порядками. Он знал, где, кто и что помещается.

— Вот это кухня,— говорил он, указывая.— Можно все заказать к обеду, что нужно. Баба тут кухарка ходит ко мне. Суп будут вам давать больничный; ну, а жаркое или там что другое лучше заказывать. Она уж все купит. Телятину, рябчиков, что угодно, одним словом. А вон здесь пересыльный двор,— говорил он, входя со мною под ворота,— тут мужское отделение, а вон с той стороны женское. Это баня, это столовая... Обедают они тут. Это вон пекарня.

Мы обошли двор справа от главных ворот (и нашей стороны); потом обошли и двор слева.

— Вот это женское отделение, а вон прачешная, и т. д. Больница помещалась в заднем фасаде главного строения.

Во дворе нам так мало попадалось <людей>, вероятно оттого, что был порядочный мороз, и мы тоже воротились скоро. Зато в келье нашей становилось все теплее, и с покатого окна катилась довольно широкими потоками сырость. Кроме печи в самом номере, с топкою из коридора, почти против самой двери нашей устроена была большая железная печь, труба которой перекидывалась через коридор. К вечеру эта печь топилась и нагревала нашу келью с избытком. К утру, однако ж, становилось опять сыро и холодно.

Надо сказать несколько слов о сожителе. В первый же день рассказал он мне свою историю; но признаюсь, я немного понимаю в ней и до сих пор. Станислав Крупский — австрийский подданный, бывший студент Краковского университета, а затем — сыщик при краковской, а потом при варшавской полиции. Он старался объяснить мне политическими целями поступление свое как в ту, так и в другую должность; но опять-таки трудно было что-нибудь положительное извлечь из его слов. Он говорил, что ему сам полицеймейстер краковский предложил поступить в его агенты, чтобы шпионить в университете; на это он согласился, предупредив об этом студентов. Он разъезжал на счет полиции по разным городам и доносил о готовящихся демонстрациях, но всегда назначал сроком их день раньше или день позже. Приобретя доверие в краковском полицейском мире, Крупский предложил начальству командировать его секретно в Варшаву для узнания будто бы подробностей по большому общепольскому заговору, готовящемуся там, а в сущности для установления сношений между краковскими и варшавскими академиками, то есть студентами. В последнем пункте Крупский сбивался: раз он говорил, что он ехал именно с помянутою целью, в другой, что он был послан для устройства пересылки оружия, в третий раз опять наоборот. Если он говорил правду в том или в другом случае, то мне удивительно только то, что человек с таким невежеством в политических вопросах и незнанием даже позднейших польских происшествий мог быть на что-нибудь полезен польским патриотам. Он был даже не настолько хитер, чтобы обманывать долго варшавскую полицию, хотя этим он хвалился очень. Вообще в каждом

рассказе его главным пунктом было то, что он мог отлично жить на счет полиции, разъезжать по театрам и гульбищам, тратить денег сколько вздумается и проч., а что именно сделал он, этого-то и не выходило из его рассказа. Он говорил только, что старался отклонять внимание полиции от действительных движений своими выдумками: сочинял и представлял ей речи мнимого тайного общества, наклеивал на улицах самим им написанные плакаты и потом указывал на них и т. д. Я полюбопытствовал потом посмотреть в Тобольском приказе его статейный список. Решение судебной комиссии подтверждало его слова и прямо называло его вину — составлением фальшивых доносов. Между прочим, там упоминалось о посланных Крупским безыменных письмах к пяти главным сановникам Варшавы с целью устрашить их готовящимся будто бы большим уличным мятежом и заставить удалиться из Варшавы. Крупскому, как он говорил мне, предложили на выбор: просидеть четыре года в крепости и быть переданным Австрии или отправиться в Сибирь на поселение. Он выбрал последнее.

Вообще он произвел на меня не совсем приятное впечатление. Не говоря уже о его крайнем неразвитии умственном, я не заметил в нем никакого политического не то что фанатизма, но даже просто энтузиазма, свойственного такому возрасту, и мне никак не верится, чтобы в таком человеке могло быть хоть зерно того, что составляет сущность характера и действий Конрада Валленрода. Временами он пел патриотические песни, но они выходили у него не выразительнее какой-нибудь «Ваньки — Таньки». Зато с особенным жаром певал он глупые немецкие тривиальности, аккомпанируя себе на гитаре, которую купил в Тобольске на последние свои деньги.

Крупский предлагал мне свою постель, но мне совестно было отнимать у него привычное место, и потому я постлал на полу бывший у меня войлок, и подушку, и сиденья из возка и лег, прикрывшись полушубком. Таким образом, между койкой и моим ложем оставалось только такое местечко, чтобы с осторожностью пройти одному человеку. Я улегся очень рано, не для того чтобы спать, но хоть немного расправить разбитую спину. Но большой отрады мне не могло быть, я с каким-то болезненным напряжением думал о том, как бы это было хорошо сбросить с ног кандалы, снять с себя штаны и чулки и вытянуться в опрятной

постели. Крупский сел на постель и рассказывал свою историю. Я только по временам делал ему вопросы.

Вот прошла *поверка*. В нашу полуотворенную дверь заглянули юркий смотритель, караульный офицер и солдат с ружьем и пошли дальше. Сосчитавши арестантов, они удалились. Мало-помалу в коридоре прекращались шаги и разговоры, все утихало, только грудное дитя кричало болезненным голосом да щелкали временами дрова в затопленной на ночь железной печи. По мере того, как все угомонялось у нас, все слышнее и слышнее слышались шаги солдата под нашим окном. Крупский говорил тихо, я слушал вяло, полудремля, и только вздрагивал, пока не привык, когда с покатого подоконника вдруг сливалась быстрым ручьем на пол накопившаяся вода.

Вот как я встретил новый, тысяча восемьсот шестьдесят второй год.

Я думал скоро уснуть, когда мы погасили свечу (здесь не требуется теплить ночник, хоть и следует по закону); но и это мне не удалось. Только что в комнате нашей водворилась тишина и темнота, в углах поднялась шумная возня мышей. Не то чтобы я боялся их, но одна мысль, что мышь может забраться ко мне под полушубок или разгуливать на моей подушке, способна была не дать мне заснуть до утра. Я уже обрекал себя на бессонную ночь. Мыши возились все больше. Я попробовал пугнуть их, ворочаясь и гремя цепями; но они, видно, были тут как дома и угомонялись разве на минуту. Сколько ни старался я не думать о них, это мне не удавалось. Притом они так постоянно напоминали о себе. Я слышал их быстрые шаги по полу почти у себя под носом... Надо было зажечь свечу, что я тотчас и сделал.

Крупский еще не спал и предложил мне поменяться местом.

— Мне все равно,— говорил он,— я сейчас же усну, хоть они у меня на лице сиди.

И точно, не успели мы улечься каждый на новом месте, как он заснул с легким храпом.

Утром к нам явилось немало поздравителей с Новым годом. Прежде всего пришел какой-то солдат с трубой и принялся с великим усердием трубить перед нашею дверью. Потом наша коридорная прислуга, Василий Непомнящий, в новой цветной рубахе <, гладко выбритый> и обильно напомаженный коровьим маслом, и Иван, товарищ его, с боль-

шой окладистой русой бородой, несколько вялый на вид, с голубыми кроткими глазами и очень приятным лицом, тоже в рубашке, хоть не столь элегантный и не так тщательно причесанный. Голос этого Ивана и его манера говорить напоминали чрезвычайно Огарева. В самой походке, приемах и даже отчасти в лице было много сходного с Николаем Платоновичем. Он расположил меня к себе больше, чем Василий Непомнящий, имевший вид опытного и ловкого дворового, хотя Иван, как потом оказалось, был вовсе не так интересен. Иван был москвич.

Поздравив с праздником, Василий обратился к нам с вопросом, не из нас ли кто обронил в коридоре двенадцать рублей бумажками. Крупский еще вчера, ложась спать, хватился денег и нигде не мог их найти. Больше у него и не было, и потому понятно, как он обрадовался честности Василия Непомнящего и его находке.

За служителями пришел с поздравлением надзиратель нашего отделения, из казаков, невысокого роста, косой, с редкими, вьющимися черными волосами, тихий, смирный, с каким-то женским голосом, с тихим приятным смешком, вообще, насколько я узнал его потом, человек очень добрый и хороший.

— Geben Sie ihm etwas vom Kleingeld, — заметил мне Крупский, вынимая и сам деньги из портмоне.— So ein Rubel ungefähr [1].

— Не следовало бы брать с вас, господа,— отвечал он,— да человек-то я семейный. Благодарю вас нижайше. Желаю вам всего наилучшего.

Поздравление и этим не кончилось.

К нам вошел господин в форменном сюртуке с красным воротником, с грубым, худощавым лицом, мутноватыми серыми глазами и почтительно-подобострастною улыбкой под густыми рыжеватыми усами. Он ловко отправил к себе под мышку черную мохнатую папаху, расшаркался и протянул мне руку.

— С Новым годом, с новым счастием, Михаил Ларионыч... Так имя и отчество, если не ошибаюсь?

Я кивнул головой.

— Мне жандармы ваши сказывали. А я-с — имею честь рекомендоваться — я помощник здешнего смотрителя Константин Иванов сын Полетаев... Если вам что будет угод-

---

[1] Дайте ему что-либо из мелочи. Рубль, что ли (*нем.*).

но — извольте только мне сказать. Вот с ними мы уже знакомы. С Новым годом, с новым счастьем, пан Крупский.

— Auch diesem?[1] — спросил я Крупского, видя, что он опять взялся за портмоне.

— O durchaus![2] — отвечал Крупский, узнавший уже все обычаи острога.

— Благодарю вас, господа. Чувствительнейше меня обязали. Позвольте присесть отдохнуть и выкурить папироску.

Его, впрочем, тотчас же кликнули; но он минут через десять явился с известием, что полицеймейстер приказал снять с меня кандалы.

Принесли большую гирю с весов во дворе, молоток и нож, и уж потрудились же с петербургскими заклепками. Константин Иванович сел на кровать, курил папиросу и представлял из себя руководителя этой операции. Но — надо признаться — руководство его мало помогало, хоть он очень выразительно говорил:

— Правей, анафема! Как ты бьешь? А!

Не раз он порывался и сам приняться; но я его останавливал, говоря, что ведь когда-нибудь разрубятся заклепки, как ни мягко их железо, а что торопиться некуда. У него заметно дрожали руки.

Сначала над ногами моими трудился Иван. Он раз тридцать ударил молотком по ножу и сделал лишь чуть заметную надрубку на заклепке. Потом пришел косой надзиратель и, посмотрев, сказал:

— Эх, не так! Давай сюда. Я это лучше сделаю.

Но тоже ничего не сделал, только вспотел.

— Дозвольте мне-с! — предложил свои услуги Василий Непомнящий.— Мигом разобью-с. Дело знакомое.

— Ну, валяй!

Но и Василий, несмотря на свою опытность, должен был взмахнуть молотком раз по двадцати над каждой заклепкой, прежде чем они разлетелись.

Константин Иванович, вероятно успевший надуматься во время этой работы, принялся врать немилосердно. Он утверждал, что если бы не он, с меня кандалов не сняли бы, что он выставил перед полицеймейстером всю незаконность и бесполезность такого, «можно сказать, тиранского обращения» со мной.

---

[1] И этому? (*нем.*)

[2] О конечно! (*нем.*)

— Если б был порядочный человек смотритель у нас,— продолжал он,— а то такая скотина, дурак. Вместо того, чтобы разъяснить все как следует полицеймейстеру, он только и знает, что глазами хлопает. Должен бы, кажется, понять, какой вы человек, Михаил Ларионыч. Вот, хоть бы я... Я теперича вижу, какие вам люди вистуют. Вчера вице-губернатор заезжал к вам и прочие. Как же я-то не стану вистовать. Это надо разве таким олухом быть, как наш Захарка...

Смотрителя звали Захар Иванович.

Так рассуждал Полетаев довольно долго, пока не пришел сам Захар Иванович и не сказал, что меня требуют в приказ о ссыльных.

— Вот вы съездите с ними, Константин Иваныч.

— Кстати, у меня кошева готова.

И мы отправились в его кошеве.

На этот раз приказ представлял очень унылое зрелище. Сени и коридор, накануне совершенно пустые, были теперь битком набиты. Мужчины и женщины, в кандалах и без кандалов, но большею частью в арестантских шинелях, толпились тут. Это была пришедшая в то утро партия ссыльных. Кто стоял, кто сидел на полу с устали; тут были и дети — и грудные и уже умеющие ходить. Мы пробрались сквозь толпу к дверям и вошли в ту же комнату, что вчера. И она была полна народом. Бабы сидели тут, поближе к печке, с детьми в руках, под полушубками. Все остальные стояли ряда в три, ожидая вызова. Шел прием их и поверка по статейным спискам. Посредине комнаты стояла мера для роста. Оборванные чиновники скрипели перьями за всеми столами. Каких выражений не было на лицах этой тесной толпы ссыльных — от спокойствия до страдания, от робости до наглости, от какого-то подобострастного смирения до дерзкой гордости, от плутовства до честного и прямого взгляда, от злобы и ожесточения до тихой доброты. Лица были большею частию утомленные; особенно жаль было смотреть на женщин. Кто был в кандалах, на том они сияли, как серебряные: отчистила их дальняя дорога; у кого была подбритая с одной стороны голова, они были повязаны кой-какими тряпками.

Управляющий приказом, недавно назначенный сюда из Петербурга, некто Фризель, маленький, коренастый и плотный человечек, с какой-то бычачьей головой, с бычачьим выражением в лице и выставленным вперед лбом, как будто он хочет бодаться, стоял перед строем «несчастных»

с бумагой в руке, около него еще какой-то чиновник и тут же два солдата или казака.

— Три с половиной вершка,— восклицал приказный у меры.

Из меры вышел старый «кандальщик», в заплатанном полушубке, со сморщенным лицом, с больными, гноящимися глазами, нетвердый на ногах.

— Сюда! — отрывисто произнес управляющий.

Старик стал перед ним.

— Клейма есть?

И управляющий смотрел в список.

— Посмотреть, целы ли клейма у него?

Не то солдат, не то приказный какой стащил с головы старика тряпичную повязку, поднял свалившиеся на лоб свалявшиеся волосы.

— Не видать ничего,— произнес управляющий, отрывистым, холодным голосом,— подправить клейма. На щеках покажи.

Старика повертывают за голову сначала одной щекой, потом другою.

— Клейма подправить,— громко распоряжался управляющий,— на лбу и на левой щеке. Пошел!

Ссыльный отходил.

— Митрофанов, Андрей! — возглашает управляющий по списку.

— Здесь,— раздается в толпе, и выдвигается Митрофанов.

— В меру!

— Не подгибай колен, стой прямо. Вершок и три четверти.

— Клейма стерлись. Поправить клейма.

Вот какие сцены застал я, войдя в канцелярию приказа о ссыльных.

Глядя на тупую, деревянно-полицейскую фигуру управляющего приказом, слушая его барабанный голос, так отчетливо распоряжающийся, я невольно вспомнил, как смотрительша только на предпоследней станции к Тобольску расхваливала мне его. Она сообщила о его недавнем приезде и называла не иначе как «милый человек». Ведь, может быть, он и в самом деле милый.

— Потрудитесь подождать немного, monsieur (!!) Михайлов! — обратился он ко мне бычачьим своим лбом, когда провожавший меня Константин Иваныч, вдруг принявший

самый уничиженно-подобострастный и испуганнейший вид, доложил ему.

Я присел на ближайший стул.

— Айбетов, Ибрагим!

— Здесь.

— В меру.

— Два вершка ровно.

— Клейма есть? Пошел!

Таким образом было принято еще человека три.

— Пожалуйте сюда, monsieur Михайлов, в присутствие.

Собственно говоря, мне решительно незачем было ездить в приказ. Управляющий спросил меня только (на плохом французском языке), не родня ли я какому-то Михайлову, действительному статскому советнику и камергеру, сказал, что мой статейный список и указ Сената еще не получены; что поэтому мне нечего еще торопиться подавать просьбу об отправке меня далее не по этапу, с партией, а одного, на свой счет, и с любезностью, достойною действительно «милого человека», присовокупил, что «все, что только зависит от него, будет сделано по моему желанию».

Я отправился назад и встретил своих жандармов. Они зашли потом ко мне и выражали, кажется, неподдельное удовольствие, что видят меня в моем платье и без кандалов. Я поручил кому-нибудь из них зайти ко мне еще раз перед самым отъездом за письмом к тебе. Ты его получила.

В этот день у меня было еще больше посетителей, чем накануне; что бы ни привело их ко мне — действительное ли сочувствие, или простое любопытство — я был рад большей части этих посещений. В сочувствии некоторых я не могу сомневаться, и у меня, вероятно, сохранится навсегда теплое, благодарное чувство к этим лицам. Во все время моего пребывания в Тобольске я пользовался самым дружеским, почти родственным вниманием многих. Мне не давали ни скучать, ни чувствовать какое-нибудь лишение. Я был буквально засыпаем журналами, книгами; мне присылали со всех сторон всевозможные газеты в самый день получения почты; справлялись о моем деле и в приказе, и у губернатора, и во врачебной управе; предлагали мне отправлять письма. Каждое утро к чаю являлись превосходные сливки, разное печенье, к обеду жареные рябчики, всякие сласти, сыр, масло, наливки и т. п. Обо мне не забывали ни на один день. Я решительно не мог отказываться от этих «подаяний»,

потому что в большей части случаев не знал, кого и благодарить. Крупский был чрезвычайно удивлен этими знаками общего сочувствия ко мне и говорил, что ему воображалось, будто в Сибири все вроде нашего помощника смотрителя. Особенно поразило его то, что в этот день под вечер, когда мы сидели с ним в полумраке, к нам вошла дама, привезшая мне букет цветов вместо поздравления с Новым годом. Сибирский букет был не пышен: гвоздика, гераний, мирт и несколько полуразвернувшихся китайских роз, но он был, конечно, приятнее мне, чем в иное время и в ином месте самые красивые и дорогие цветы. Я суеверно сберег несколько листков и лепестков его как светлое предвестье, что, может быть, не весь этот год будет так темен для меня, как его начало. Цветы нашли меня в тюрьме; неужто любовь и дружба не найдут меня в ссылке.

Доступ ко мне был нетруден. Следовало, правда, иметь для этого записку от полицеймейстера; но полицеймейстер, круглый как шарик маленький человек самого не полицейского вида, едва ли кому отказывал. Захар Иванович был большой формалист и без билета никого не пропускал, если не проникался благоговейным страхом перед большим чином и высоким саном посетителя или если посетитель или посетительница не были членами попечительного тюремного комитета. Но дело и в других случаях обходилось без Захара Иваныча. Или вытребовался его помощник, который считал обязанностью «вистовать» мне, потому что мне «вистуют такие лица», или, наконец, делалось еще проще. Ко мне ходили три студента Казанского университета, здешние, удаленные частью по последним беспорядкам, частью по истории о панихиде за Антона Петрова [1] и убитых с ним вместе мучеников. Один из этих студентов обыкновенно на спрос дежурного ефрейтора у ворот, есть ли у него билет для пропуска, вытаскивал из кармана какую-нибудь случившуюся тут бумажку, показывал ее не развертывая и командовал: «Отпирай!» И ворота перед ним отпирались. Раз на такой вопрос отвечал, что не только у него билет есть, но даже и особое предписание, и при этом вытащил из кармана целую пачку каких-то бумаг. После этого его уж и спрашивать перестали. Одно время, правда, вдруг начались особенные строгости в этом отношении — кажется, потому, что ждали генерал-губернатора Западной

---

[1] Убит при усмирении крестьянского бунта в Казанской губернии.

Сибири. Часовые, обыкновенно расхаживавшие молча под нашими окнами, начали даже кричать по ночам: «Слушай!» Но это продолжалось, кажется, всего дня два. Получилось известие, что генерал-губернатор (он же был новый) отсрочил свой приезд, и строгости отменились, и «слушай!» умолкло.

С 3 числа, со дня своего рождения, я много раз и сам выезжал из тюрьмы. Дня через два, через три меня стали приглашать на обеды, и я, конечно, пользовался каждою возможностью хоть временно почувствовать, будто я на свободе. Но я скажу об этом потом, а теперь стану рассказывать последовательно. В недавно полученном мною письме твоем ты говоришь, чтобы я писал тебе все как можно подробнее; где чихну, так и то бы тебе писал. Так не брани же меня за мою многоречивость. Подробности же, которые я буду приводить, мне кажутся довольно характеристичными в истории моих тюремных похождений.

Надо рассказать еще кое-что о нашем помощнике смотрителя.

Вечером в первый день нового года он явился к нам с странною просьбой.

— Господа, я с надеждой одолжиться у вас двумя вещами,— заговорил он, расшаркиваясь и ловко подбросив под мышку свою черную папаху.

— Что такое?

— Дочь пристает — ехать в маскарад. Так не одолжите ли... хочу и я нарядиться... Не одолжите ли вашей фуражечки, господин Крупский, и сертучка. Буду, знаете, этакой лихой поляк.

— Да будет ли вам впору?

— А вот-с я и примерю сейчас.

Он мгновенно сбросил с себя свой форменный сюртук и натянул на свою ситцевую рубашку щегольскую венгерку Крупского, надел набекрень его красную конфедератку и представился нам таким смешным, что мы оба расхохотались. Крупский с усердием театрального костюмера принялся оправлять его и учить, как придать себе более польский вид, как заправить в сапоги штаны, на который крючок застегнуть венгерку, как приличнее надеть czapkę wolności [1], и прочее. Помощник (как именовали обыкновенно вкратце Константина Иваныча) был совершенно доволен. Для пол-

---

[1] шапку вольности, т. е. конфедератку (*польск.*).

ноты костюма нужен был еще жилет, но у него такового не оказывалось. Пришлось ему и жилет дать. Он нашел, что весьма прилично было бы украсить жилет часовой цепочкой и что вообще, если он будет при часах, то никто — зная его скудные средства — его не узнает. Дали мы ему и часы. Он уж и переодеваться не стал, а только сверху накинул свою баранью шубу и удалился.

На следующее утро, возвращая нам с благодарностью маскарадный костюм, он утверждал, что если б не дочь, ему и в голову не пришло бы наряжаться «на старости лет» и разъезжать чуть не полночи из дому в дом. Это святочное обыкновение сохранилось в Тобольске во всей своей старинной силе даже в домах местных «аристократов».

— Ну, а весело было?

— А как же-с! Домах мы никак в двадцати были. Везде графинчиком просят. Нельзя и отказаться: сам хозяин вистует. Перепустил-таки вчера немного.

Об этом нечего было и рассказывать. Довольно было взглянуть на его измятое лицо и мутные глаза. Букет сивухи, принесенный им в нашу келью, обличал, что он успел уж и опохмелиться.

— И нигде-то меня не узнали,— продолжал он.— В одном только доме по дочери чуть не догадались, потому она была татаркой и как малого роста, так приметно. Господа! не откажите как-нибудь почтить меня своим посещением, с семейством моим познакомиться. Вы вот по двору изволите гулять, так милости прошу ко мне. Во всякое время рад. Я ведь не то, что наш смотритель. Что же вы и хотите от какого-нибудь солдата? Конечно, я сам по несчастию тер эту лямку. Так как я из кантонистов (он ударял на *о*)...

И он принялся рассказывать нам свою биографию, как только вследствие несправедливости начальства попал в строй, а то был бы теперь совсем не то. Эту историю он начинал почти при каждом появлении своем к нам, точно так же как и брань свою на смотрителя.

Захар Иваныч, в свою очередь, приходя ко мне утром или заходя вечером, при поверке, пожелать спокойной ночи и приятного сна, тоже не упускал случая сказать своею невнятной скороговоркой, что «помощник дурной и дрянной человек».

Он не прибавлял к этому, что Константин Иваныч вдобавок клянча и надоеда, но это я уже знал и без него и старал-

ся поскорее выпроваживать его от себя, когда он являлся со своими россказнями.

Одним вечером маскарада он не удовольствовался и на другой вечер опять пришел просить тех же вещей, кроме, венгерки. На этот раз ему нужен был полушубок. Он видите ли, хотел изобразить собою «наемщика» в солдаты. Полушубок, предложенный Крупским, показался ему не довольно изящным, и он взял мой.

Смотритель на третий день после моего приезда завел с нами речь тоже о маскараде, но совсем другого рода, именно о бане. Полицеймейстер дозволил нам, то есть Крупскому и мне, съездить в торговую баню, если мы этого хотим. Мы охотно согласились и отправились туда в так называемой кошеве, санях вроде глубокого ящика, набитых доверху сеном, в котором можно было утонуть по горло. Нас сопровождал и служил нам банщиком казак.

Крупский, кроме того, почти каждый день ходил поутру с косым надзирателем в город «на базар». Иногда они заходили и в трактир, где Крупский играл на бильярде. Пользуясь его частыми странствованиями в городе, я давал ему разные поручения, и он закупал мне вещи, необходимые даже для тюремного хозяйства: самовар, погребец, чай, сахар и пр.

Я был очень рад, когда с отходом первой партии очистился один из нумеров в нашем коридоре и в него перевели Крупского. Теснота и беспорядок и постоянное присутствие человека, с которым не имеешь ничего общего, успели мне надоесть в три-четыре дня. Мне притом хотелось иногда писать, но я должен был отказываться от этого; не было ни места, ни нужного для этого одиночества. Потом я начал в Тобольске роман, о котором говорил тебе при последнем свидании нашем у коменданта, и перевел последнюю сцену «Прометея», посланную к тебе из Иркутска. Наконец, на пятый или на шестой день по приезде, я стал полным хозяином своей комнатки. Она тотчас получила и более опрятный и более порядочный вид. Простору, конечно, стало тоже больше. На рисунке, который ты видела, она, впрочем, все-таки кажется лучше, чем была в действительности. От сырости и чада, забиравшегося из коридора, я не раз страдал сильною головною болью.

Уж по первому свиданию моему с управляющим приказом о ссыльных и по разговорам с знающими тобольские порядки посетителями мог я увидать, что мне придется

остаться здесь дольше, чем я предполагал. Не будь губернатор такой формалист, такая сухая приказная строка (я его не видал, но таков общий голос, оправдавшийся на мне), я, конечно, мог бы пробыть в Тобольске не более недели, много двух,— одним словом столько, сколько бы мне хотелось; а я прожил тут целый месяц [1].

Как прошло это время, ты очень хорошо увидишь, если я тебе подробно опишу и один день моей тобольской острожной жизни. Все они более или менее похожи были друг на друга.

Вставал я довольно рано, никогда не позже семи часов. Около этого времени, хотя бывало еще совершенно темно, начиналось уже движение в коридоре. Прислуга носила дрова, воду, затопляла печи, мела полы. Подымались и соседи; слышались детские голоса, и Василий с Иваном (оба чрезвычайно нежные к детям) начинали ласково разговаривать с двухлетней девочкой пересыльного почтмейстера или казначея и шестилетним мальчиком поляка, о котором я говорил. Одна из моих соседок, следовавшая за мужем, разрешилась, сказывали мне, тут в тюрьме. Особенно забавна была девочка, не умевшая еще хорошенько говорить. Василий Непомнящий учил ее отвечать на разные вопросы, например: Кто создал мир? — Бог. Кто был первый человек? — Адам. Где лучше, на воле или в остроге? — На воле.

Как только я зажигал свечу, вставал и растворял в коридор дверь нахолодавшего за ночь номера, Василий нес ко мне шайку и ковш с водой для умыванья а Иван — самовар, всегда уже заранее поставленный. Иван был довольно молчалив; но Василий не мог пробыть минуты без разговора. Подавая мне умываться, он обыкновенно сообщал мне все тюремные новости.

— Партия сейчас пришла-с, ваше благородие, кандальщиков ужасть как много.

— К нам никого нет?

— Слава богу, никого. И так уж у нас теснота.

Или он сообщал, что партия в этот день отправляется

---

[1] Об уме здешнего губернатора может дать понятие следующий случай, бывший во время моего пребывания в Тобольске. Кто-то явился здесь в маскарад, сделав себе маску в виде свиного рыла, и повесил орден на шею. Губернатор принял на свой счет и велел вывести гостя.

дальше. В первый раз, на такое извещение, я сказал, что пойду смотреть. Василий на это заметил:

— Это что смотреть-с! Партия самая ничтожная. На заводы-с. И всего-то сотни нет. А вот перед вашим самым приездом отправка была. Точно, что посмотреть стоило. Не мало уж я по острогам-то шатался, а этого видать не случалось.

— Что такое?

— Пятьдесят семей тут гнали — по бунту... Без всякого, говорят, без суда. Баб-то, детей-то, девок-то! Шли не мало из Казанской губернии, а все, видно, привыкнуть-то не могли. Пришли, вой да стон стоит, пошли, еще хуже того. Старухи-то с причетами воют, бабы так голосят. Дети малые, на них глядя, тоже рев этакой подняли. Потому, разорены как есть в конец. Надзиратель наш смотрел, смотрел в воротах, да и ушел поскорее, слеза прошибла. Говорил я с ними тоже — вина-то их какая! Объявили фальшивую волю, они и пошли помещика спрашивать,— как он, значит, царский манифест скрыл. Помещик за войскием. Стали стрелять, убито сколько. А этих, кого в кандалы, кого так, да в каторгу. И суда, говорят, никакого <не было. Ну, наш брат—уж точно, что есть за что.> А то просто — сердце мрет, глядя-то. Я тоже могу это хорошо понимать, как сам из этого звания — господский бывший.

В другой раз Василий рассказывал:

— Купчиха вчера-с из Тюмени приехала. Овдовевшая, так на помин души двести рублей содержающим — сама и раздавала, по всем камерам ходила. Провизии тоже прислано ею много: трое саней с шаньгами одними.

Или:

— А у нас ноньче похороны, ваше благородие.

— Кто умер?

— Содержающий один. Его хоронить будут. Здоровенный был такой. В одной партии с нами шел. Так его назначили в отправку, а ему идти было неохота. Он и пил табак здесь и поступил в гошпиталь. Эта глупость есть тоже, ваше благородие. Оно точно, что совсем будет казать как хворой. Да он, видно, впервой. Не в меру, значит. А может, и так что попритчилось, и впрямь стал расхварываться. Вот ноньче хоронить будут.

После чаю я обыкновенно ходил гулять по двору. Он вообще редко не бывал пуст, разве производилась перекличка партии, отправляемой в приказ, или партии, возвратив-

шейся из приказа. Да иногда, после метели, бывшей накануне, арестанты занимались разгребанием снега и чисткою двора.

Редкое утро проходило без того, чтобы у меня кто-нибудь не бывал. Если же не приезжал никто из гостей, то можно было поручиться, что придет надоедать или помощник, или турецкий капитан с поздравлением.

— Поздравляю вас, милостивый господин.

— Да с чем же?

— С понедельником.

— Разве праздник?

— Нет, но это так у нас обычай.

Турецкий капитан этот — лицо замечательное и по своей горькой судьбе и по правосудию нашего правительства. Я застал его уже в остроге тобольском и, когда уехал, он остался еще там, ожидая себе нового решения из Петербурга.

Это уже старый человек, ему шестьдесят лет; но по всему видно: если б не тюрьма и не тюремные бедствия и лишения, он и теперь поспорил бы силой с любым молодым здоровяком. Довольно коротко остриженные волосы у него на голове еще совсем черны, и только частью усы да длинная и густая борода, вроде наполеоновской, поседели. Большие серые глаза его были бы очень хороши, так же, как и все остальные черты его лица, правильные и строгие, если б на лице не лежало постоянно выражения слезной сиротливости и некоторого подобострастия, к которым приучило его скитанье по тюрьмам. Оно же, верно, заставило его придавать своему голосу какую-то льстиво-мягкую интонацию.

Привыкнуть ко всему этому было у него время. Семь лет проскитался он по русским острогам. Стоило посмотреть на него, чтобы видеть, как успел он обжиться в своем положении. Жалкая, изношенная одежда его показывала, что ему хотелось и в тюрьме сохранить хоть некоторые внешние признаки своего прежнего достоинства. Он постоянно ходил в какой-то странной шапочке конической формы, собственноручно сшитой из синей крашенины и, вероятно, похожей на ту, которую он носил некогда, будучи воином. Серую арестантскую шинель он тоже как-то особенно переделал, воротник подрезал и обшил его какими-то синими и красными заплаточками, может быть похожими на его прежний турецкий мундир или на народный черногорский костюм.

Несмотря на службу в турецком войске, он славянин. Все остальное в его одежде, за исключением шапочки и шинели, впрочем тоже очень уж замасленных, представляло жалчайшие отрепья: и платок, которым он широко обматывал свою старую, черную, истрескавшуюся шею, и в особенности обувь. Трудно было сказать, что у него на ногах. Он сам сшил себе что-то странное из кусков войлока, обрывков кожи и холстины.

Дело его очень просто и тем ужаснее. В последнюю войну, когда военные действия происходили еще на Дунае, несчастный капитан перебежал к нам с шестью товарищами. Их взяли наши лазутчики и пользовались их услугами. Когда театр военных действий был перенесен в Крым и войска с Дуная двинулись обратно, турецкие перебежчики по какому-то случаю отстали от армии. Догоняя ее, они попали в руки земской полиции. Военачальники не позаботились снабдить паспортами, по-русски никто из них не знал ни слова, и их признали людьми подозрительными. Произвели немедленно следствие, понятно, как хорошо, представили в суд, и суд приговорил их как бродяг к вечному поселению в Сибирь. Они не раз поднимали дело о несправедливости их приговора, приостанавливаясь по дороге в губернских тюрьмах; но сначала, должно быть, некогда было заняться ими по случаю военных хлопот, а потом и само принявшее их под свой кров военное начальство старалось затушить их протест, потому что само было во всем виновато. Шесть товарищей нашего капитана успели умереть в это время, кто в городской тюрьме, кто на этапе, кто и средь дороги. Остался только он один, но не переставал вопиять о несправедливости. Вследствие этих-то постоянных жалоб он и попал в Тобольск так поздно. Приостанавливаясь в каждом городе и везде жалуясь или прокурору или стряпчему, он дошел, впрочем, до Тамбова с этапом. Тут на его жалобы пришло распоряжение отправить его в Николаев, вероятно, потому, что он хотел представить объяснение Константину Николаевичу, который где-то его видел. Из Тамбова его препроводили тем же способом, по этапу, так как ему нечем было платить за подводу. В Николаеве посадили в острог, продержали что-то долго, но ничего не спрашивали, никуда не водили, и вдруг в одно прекрасное утро перевели куда-то в другой острог, в другой город, и отправили опять в Сибирь с партией преступников. И шел он опять год без двух недель до Тобольска. Здесь

опять поднял свое дело чрез прокурора, и пришло из Петербурга приказание, чтобы он все изложил подробно (вероятно, в сотый раз) для вручения его объяснения в собственные руки его величества. Он и сидит теперь и ждет нового решения, по которому, может быть, опять препроводят его по этапу в Петербург, а оттуда опять назад в Тобольск, если он не отдаст где-нибудь на дороге богу свою многострадальную душу.

Может быть, я что-нибудь и не так рассказал, плохо понимая речь бедного капитана, в которой он мешал русские, сербские, немецкие и турецкие слова; но сущность-то осталась в моем рассказе. О вопиющей несправедливости относительно этого несчастного говорили мне и прокурор и председатель губернского правления. Не подобного ли рода покровительство так вдохновляет славянофилов, когда они мечтают о том, как хорошо было бы, если бы наш двуглавый орел осенил своим могучим крылом все остальные славянские племена?

Приходя по утрам ко мне, турецкий капитан (так его звали все в остроге, и я не узнал его имени) поздравлял меня не только с понедельником, но и со вторником и со средой и т. д. Принимаясь обыкновенно за свои жалобы, он имел всегда ввиду попросить у меня или табаку, или чаю, или сахару. Он старался подвести разговор к своей просьбе исподволь, но после двух-трех визитов его я уже старался предупреждать его просьбы и избавлять себя от его долгих дипломатических рассказов. Эти рассказы, в которых можно было понять из десяти одно слово, способны были вывести всякого из терпения. Он не только каждую фразу повторял раза по два, но каждый факт принимался пересказывать в другой раз, едва успевши кончить. Я думал, не облегчит ли его, если он будет говорить мне по-сербски, а я буду отвечать ему по-русски. Но я не рад был, что предложил ему это. Он действительно начал говорить на своем языке; но каждое слово переводил на русский, а иногда и на турецкий, и сколько ни толковал я ему, что по-сербски понимаю его лучше, чем по-русски, ничто не помогало.

Турецкий капитан был едва ли не самый смирный из всех жильцов нашего коридора, по крайней мере он менее всего доставлял работы прислуге; обтирался всегда мокрой тряпкой, служившей ему вместо полотенца, а не умывался, чай заваривал (когда было у самого) из чужого самовара, остатки обеда сам разогревал у железной печки себе к

ужину и, надо признаться, не раз производил несносный чад по коридору, расплескав как-нибудь свои щи на раскаленное железо печки. Руки у него слегка дрожали.

Впрочем, ни на кого нельзя было пожаловаться из всего коридора>: все были полны того смирения, которое невольно сообщается манерам и голосу в таких стенах.> Один только попался строптивый арестант; но он при мне и трех дней не пробыл — ушел с партией. Он был крайне недоволен фамильярным обращением с собою прислуги.

— Ты забываешь, каналья, с кем ты говоришь?

— Да чего тут помнить-то!

— Как! ты еще смеешь, подлец, этакие мне грубости говорить! Кто ты такой? Бродяга какой-нибудь,— человека, может, убил. А я дворянин. Понимаешь ли ты, подлая твоя воровская рожа,— дворянин!

— Здесь, сударь, все равны.

— Все равны! Никогда я с тобою не буду равен, подлец. Вздумал себя равнять с благородным человеком! Тебя только бить, мерзавца, а не то что разговаривать с тобой.

— Вы с руками-то подальше! подальше! Я ведь и сдачи дам.

— Что такое? в чем дело? — раздается голос Константина Иваныча.

— Да вот-с они обиделись, что я им сказал: сударь, а не ваше благородие.

— Опять вы шуметь! Я вам найду место, где нельзя вам будет шуметь. Что вы в самом деле расходились? И еще на весь коридор крик подымаете! Есть здесь почище вас, да не кричат! Я вам говорю — найду я вам место, найду!

Смотритель дворянина угомоняет; но Константин Иваныч не оставляет без должного наставления и Василья Непомнящего:

— А ты что горло дерешь? а! Где нахлестался, анафема?

— Маковой росинки не было...

— Молчать! Знаю я вас, анафем!

Но я ведь начал было рассказывать, как проходил у меня день обыкновенно, а уж это исключительный случай.

Пока Крупский не отправлялся в дальнейший путь, мы заказывали себе обед вместе здешней кухарке — щи, лапшу или суп и жареный кусок баранины или телятины с картофелем. К этому у меня находилась всегда еще какая-

нибудь прибавка. Потом мы заказывали себе иногда кашу и посылали к воротам за топленым молоком; торговки не отходили от них весь день.

Кухарка питала большое сочувствие к Крупскому, приходила иногда к нему вечером посидеть и называла его «милый человек». Ей было лет пятьдесят, и она любила выпить. Крупский угощал ее только чаем. На меня она почему-то смотрела как на человека более гордого, пока я ей не поднес, придя в нумер Крупского, стакана водки. Это ее примирило со мной, и она тут же стала называть и меня «милым человеком». Ее, как она говорила, смущало во мне и то, что я — как все у них в остроге рассказывают — несметный богач, в каком вон возке приехал, да и дальше не с партией пойду,— и еще то, что я должен быть очень «строгий» человек, потому что хотел царя убить.

— А это вы откуда узнали?

— Да все рассказывают.

Я полюбопытствовал узнать, она-то кто такая.

— Ах, милый человек! — принялась она рассказывать,— не тем бы мне теперь быть, чем я есть. С первым-то мужем мы хорошо жили. Он был строгого такого нрава человек. Вот ты сам посуди! малым еще мальчиком был, так застал раз мать с любовником... И так ему это запретило, запретило — выдержать не мог и бежал. Ну, а я, грешница, хоть и за вторым мужем теперь... Я ведь, милый человек, как вдовела-то, четыре года с офицером жила... Теперь уж где до офицеров-то. А грешница, что говорить!

За обед, изготовленный этою старой грешницей, мы садились обыкновенно в час или много что в два. Только в это время позволял себе заходить иногда ко мне наш косой надзиратель. Он был человек очень деликатный, не любил мешать не в пору своим присутствием и заходил-то не потому в обед, что его угостят вином или сигарой — он ни того, ни другого не брал в рот. Он являлся ко мне обыкновенно за советами, как ему поступить со своим маленьким сыном (которого он раз приводил ко мне), оставить ли его кончать курс в уездном училище или теперь же перевести в гимназию, а потом, если он пойдет из гимназии в университет, то высвободится ли, наконец, из казачьего сословия, и т. д. Ему очень желалось, чтобы сын его был доктором. Сам он был простой казак и жил только тем, что получал в остроге жалования, на водку от «дворян» да за стирку белья, которое брала его жена.

В течение месяца, который довелось мне пробыть в Тобольске, я, как уж сказал, несколько раз обедал вне тюрьмы. Это случалось раз около десяти. Обыкновенно за мною заезжал тот, кто меня пригласил, или полицеймейстер, и <я> отправлялся с ними. Вечером возвращался я, как случится, или с кем-нибудь, или один. Обыкновенно я приезжал обратно в острог пораньше, часам к семи, много что к половине осьмого, чтобы поспеть к поверке, хоть этой тонкости мог бы и не наблюдать.

Когда я оставался дома, в начале сумерек обыкновенно у нас в коридоре бывала некоторая музыка, и я мог услаждаться ею, отворив свою дверь. Или пел турецкий капитан какую-то в высшей степени странную турецкую песню, всегда одну, чрезвычайно быструю и монотонную; это, должно быть, какая-нибудь очень веселая песня, но она выходила унылою в устах капитана. Голос у него был еще свежий и ровный. Совсем наоборот — очень хорошие и горькие песни выходили у Крупского какими-то безжизненными и бесхарактерными, когда он начинал заливаться с гитарой в своем нумере. «Jeszcze Polska nie zginiela» [1] пел он каким-то плясовым напевом; чудная песня Корнеля Уейского «С дымом пожаров» выходила дикою, тогда как в ней каждое слово и каждая нота кажутся таким отчаянным воплем.

Лучше бы уж он не пел этого гимна.

Иногда (это было, впрочем, не более трех раз) из глубины коридора резко доносился тонкий и звенящий, как хрусталь, голос, певший «Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых» или какие-нибудь ирмосы. Я не понимал, кто это так звонко поет — то, казалось мне, будто женщина, то — будто дитя.

— Это кто запел? — спросил я Василия, когда услыхал его в первый раз.

— Содержающий-с.

— Знаю, да кто такой?

— Андрей-с — вы видели. Он еще судится-с — подсудимый.

Я действительно видал его в коридоре, но не обращал на него никакого внимания. Это был высокий молодой человек, постоянно ходивший в арестантской шинели. Он был

---

[1] «Еще Польша не погибла» *(польск.)*.

тут как свой — видно давно уж содержался; надзиратель звал его не иначе как Андрюша.

Вскоре как-то после первого его пения он остановил меня в коридоре вопросом, не знаю ли я, когда будет манифест об тысячелетии. Я отвечал, что, кажется, в августе.

— А освободят ли меня-с? — спросил он.

— Да вы за что судитесь?

— Я-с — по скопчеству.

Вглядевшись попристальнее в его одутловатое, дряблое и безбородое лицо, можно было заподозрѐть его тайну и не слыхавши его пения. Он рассказал мне весь ход своего дела; но так как в нем нет решительно ничего любопытного, то я и умолчу о нем.

Меня поразило в нем более всего одно. По вечерам, преимущественно после поверки (она большею частью проходила раньше срока, то есть половины восьмого, в сумерках), значительная часть наших жильцов собиралась в коридоре на общую беседу, или, лучше сказать, на сказки, которые мастерски рассказывал Василий Непомнящий. В один из таких вечѐров, прежде чем Василий принялся за рассказ, зашел разговор о том крае, откуда был скопец, чуть ли не о Березове,— и я был поражен одушевлением, с которым этот человек говорил о природе. Он рассказывал, как отрадно там встречают весну после долгой зимы, как начинает все зеленеть, какие цветы расцветают, какие птицы пролетают. Он называл каждый цветок по имени, описывал его краски и листки и спрашивал, есть ли здесь такие; так же и птиц он называл и рассказывал и о манере их полета и об отливе их перьев — та словно золотом отливает, та словно серебром, а эта — радугой светит. Как в этом человеке, так враждебно ставшем в отношении к своей собственной природе, могло сохраниться и развиться это живое чувство любви к природе внешней? Или одно сменилось другим? Переставши понимать красоту женщин, он, может быть, стал сильнее чувствовать то, что говорит только зрению, слуху?..

Вечерние беседы в коридоре происходили обыкновенно таким образом. Прежде всего вызывался Василий Непомнящий, и около него садились, кто на длинной скамье, кто на табуретах, Иван, Андрюша-скопец, косой надзиратель и еще человека три-четыре из «содержающих»; последние сменялись, но первые трое оставались постоянно главными слушателями. Василий рассказывал громко, внятно, украшая свои сказки разными подробностями своего изобрете-

ния. Он знал их огромное количество, и русских и из «Тысячи одной ночи». Случалось ему заводить такие длинные, что в один вечер трудно было досказать. Слушатели обыкновенно не отставали и требовали, чтобы он докончил; но рассказчик сам начинал дремать и говорил, что, если станет досказывать в этот вечер, сказка хуже выйдет. Мне незачем было выходить в коридор, чтобы слушать. Беседа располагалась неподалеку от моего нумера, и я мог отлично следить за рассказами и разговорами, отворив дверь и улегшись на койку, что я и делал почти каждый вечер. Василий оканчивал обыкновенно каждую свою сказку известною прибауткой: «Я там был, мед, пиво пил, по усам текло, в рот не попало, дали мне шлык, я в ворота шмыг, бежал, бежал, да в острог и попал. Вот и теперь тут сижу». После длинных богатырских сказок, рассказывавшихся в течение двух вечеров, слушатели обыкновенно требовали, чтобы Василий рассказал что-нибудь покороче да посмешнее, не про царевичей уж, а про попа. И про попа Василий рассказывал и про попадью.

Но у него были в запасе и не такие еще сказки. Раз принялся он рассказывать «Истинное происшествие», про некоего солдата Ивана Долгова и про фрейлину государынину княгиню Нарышкину. Эта история заняла всех едва ли не более всех остальных сказок Василия. И было, впрочем, чем заинтересоваться. Ее стоило бы стенографировать, и я жалею, что не сделал этого. Что за обилие фантазии выказывал тут Василий, и в то же время какую историческую достоверность прибавлял всему самыми мелкими подробностями. Он обрисовывал нам физиономии, манеры каждого действующего лица в своем рассказе и представлял все в самых живых красках и образах. Я не раз думал, что, родись Василий в другом сословии да получи образование, из него непременно вышел бы замечательный романист.

В главных чертах история Ивана Долгова заключается в следующем. Это был солдат и стоял во дворце на часах. Как очень красивый и высокий малый, он обратил на себя внимание фрейлины, княгини Нарышкиной, отличавшейся вкусами Елизаветы и Екатерины. Княгиня узнала стороной, кто такой, какого полка и пр. пленивший ее красавец солдат. Василий описывал ее любовь очень выразительно, как она и есть-то не могла (тут перечислялись все прелести царского стола), как она и спать-то не могла по ночам — все только и думала что об Иване Долгове. Наконец, отпроси-

лась она у императрицы в отпуск, будто бы в отъезд в именье свое (губерния, уезд, название деревни, количество душ и пр.), а сама между тем наняла себе квартиру в Петербурге, в доме Жукова (о его табачной фабрике и как он разбогател) на углу Садовой и Гороховой. Тут опять-таки со всеми околичностями, и гораздо большими, чем прежде, рассказывалось о каждом свидании влюбленной княгини с солдатом, о том, как она посылала его в баню, какое белье ему дарила, какими амбре душила и проч., о великой хитрости самого Ивана Долгова, как он просрочивал в казармы к заре, стал пренебрегать службой, забросил «все эти ихние гультики и пунтики», не ночевал, подкупал и старшего и ротного, а потом и батальонного командира. Дело кончилось тем, что плененный молодцеватостью Ивана Долгова и тронутый любовью к нему княгини Нарышкиной покойный император Николай Павлович произвел его, не в пример прочим, в полковники, а потом тотчас в генералы и сделал его своим адъютантом. Иван Долгов, конечно, женился на княгине Нарышкиной, и все пошло как по маслу.

История эта возбудила в коридоре государственный вопрос о том, могло ли бы это случиться теперь. По мнению косого надзирателя, могло, потому что все в царской воле, но Василий Непомнящий не соглашался с мнением надзирателя. Он прежде всего обратился к причинам — и разъяснил, что этого не может быть по случаю изменения формы. У солдата в нынешней форме нет уже той молодцеватости, какая была при прежних мундирах, и потому никакая княгиня Нарышкина плениться им не может. А форму кто изменил? Нынешняя царица, как она большая богомолка. «Что это, говорит, за гадость такая, что брюхо не прикрыто у солдата? И зад почти что не прикрыт! Кроме, говорит, непристойности, ничего хорошего». Вот царь и послушался и дал новые мундиры. Надзиратель был вполне согласен с высочайшим мнением, что действительно прежняя была бесстыжая какая-то форма.

В другой раз Василий рассказывал, как он провел три года в бегах и заходил домой повидаться с матушкой, с родными. Рассказ был трогательный, задушевный. Надзиратель только поддакивал каким-то особенно мягким и кротким голосом: «Да... да... Эх, что и говорить!.. Точно, что горько, брат...» и т. д. Иван все молчал, и ему, видно, сгрустнулось; когда Василий кончил, он тихо проговорил: «Да, всё бы ничего, только с матушкой охота бы повидаться. Никого не

жаль, опричь ее. Были бы крылья, сейчас бы, кажется, взвился и полетел. Посмотрел бы хоть».

У надзирателя была значительная склонность к мистицизму, и он заводил иногда речь о разных сверхъестественных явлениях, о встающих из могилы мертвецах, об оборотнях и проч. Василий относился ко всему этому скептически и вступал с надзирателем в спор, приводил в пример разные случаи, как мошенники являлись привидениями, чтобы обокрасть или напугать и проч. Но надзиратель был непоколебим.

— А вот, недавно еще, в Омске, часовому мертвец ноги обглодал. На это ты что скажешь?

Василий стал действительно в тупик.

— Одно я тебе скажу,— заключал надзиратель,— бога человек должен всегда держать на уме, вот что.

Рассказы тянулись иногда довольно долго. Когда все расходились по своим местам и двери номеров затворялись, мне не раз случалось слышать продолжение беседы между Васильем и Иваном, уже в постели. Иван часто вдавался в печальные размышления о домашних и о родной стороне; Василий же всё соображал, как ему лучше сделать, дойти ли до завода и оттуда бежать, или там объявиться, или бежать не доходя до завода, с дороги. «Тяжко уж мне больно без имени-то быть». Потом он приходил советоваться со мной, как ему поступить, и я справлялся ему по законам, что для него выгоднее.

Василий с Иваном спали в коридоре на полу и, разумеется, нисколько не стеснялись постоянною беготней мышей, которая начиналась в огромных размерах, как только гасла свеча в коридоре; свет от топящейся железной печи нисколько не смущал их. Меня мыши порядочно-таки беспокоили. Виною были, может быть, голова сахара, стоявшая в углу, да крошки хлеба на полу. Они были решительно бесстрашны, лезли иногда по одеялу ко мне на постель, и я несколько раз всю ночь не гасил свечу, чтобы хоть сколько-нибудь угомонить их. При известном тебе отвращении моем от кошек, я добыл себе даже котенка, и он хоть не ловил мышей, но все-таки пугал их, пыжась и сердито шипя над их норами.

Вот как обыкновенно проходили дни мои в тобольском остроге. Раза два в неделю, еще до рассвета, начиналось мытье полов в коридоре и в камерах. Его особенно стали учащать в ожидании скорого приезда нового генерал-губернатора. Полон коридор нагоняли баб из женского отделе-

ния пересыльных, и часа два продолжалась эта пачкотня, скобленье и проч. На целый день оставался везде отвратительный запах сырости, в дополнение к постоянному почти чаду.

Потом раз в неделю приходили партии (обыкновенно по понедельникам) и отправлялись по назначению раз или два, смотря по тому, куда им следовать. Отправился в своей повозке, хоть и с партией, упомянутый мною казначей, вместе с женой, детьми и скудным хозяйством, отправлялся поляк, отправлялся не расстававшийся со своим дворянским достоинством арестант. Из вновь поступавших в наше отделение пересыльных не было никого интересного.

Отправка одной из партий не обошлась без порки. Услыхав поутру особенное движение и говор в коридоре, я вышел спросить, что случилось. Все наши дворяне, прислуга и сам надзиратель взмостились на скамейки и смотрели в высокие окна коридора, которые выходили на пересыльный двор.

— Наказывают,— отвечали мне на мой вопрос.

Я взлез на одну из скамеек и увидал густую толпу совсем готовых в путь «несчастных». Посреди ее подымались и опускались поочередно два толстых пучка длинных розог. Константин и Захар Иванычи суетливо распоряжались около этих розог, но наказываемого не было видно. Приятное напутствие в такую легкую дорогу! Я спросил, за что? Оказалось, за то, что, имея один полушубок годный, виновные взяли в приказе по другому полушубку и вшили их один в один.

Вот, наконец, простился со мной и Крупский. Он купил себе кибитку за три с полтиной, уложил свое хозяйство, не забыл и гитару. Самое начало его путешествия не предвещало ничего доброго. Он выбрал, как нарочно, такую партию, в которой не было никого из «дворян», и у него одного была своя подвода. Она оказывалась лишнею против того числа, к которому подрядчик обязался поставлять лошадей. Он не хотел давать Крупскому лошади и требовал прогонных денег. Его едва убедили; но явно, что такие прижимки должны были повториться.

— Вам надо лошадь купить,— советовали Крупскому.

Хорошо было так советовать; но исполнить, даже при здешней дешевизне, совет этот Крупский мог только, обрекши себя на многие лишения.

XII

После отъезда Крупского стало как-то тише у нас, или — может быть — это казалось только мне, потому что он все-таки каждый день приходил ко мне, и мы — как я уж говорил,— обедали вместе, а иногда вместе же и пили чай. Как ни мало внушал он мне симпатии, а мне все-таки было очень его жаль.

Мне еще раз случилось видеть политического преступника Федора Иванова. Я сидел и писал, как он вошел ко мне раз поутру очень рано и, не говоря ни слова, упал передо мною на оба колена разом. Конечно, ему нужны были деньги. Я заметил особую бледность и худобу в его лице. Он был в больнице почти с самого прихода своего в Тобольск и потому мог пробираться в наше отделение.

Дня через два я услыхал в коридоре рассказ Василья, что Федор Иванов ослеп.

— Какой Федор Иванов? — спросил я.

— А кандальщик-с,— отвечал Василий.— Вот что у вас-то был.

— Давно ли?

— Да нынче — вдруг это сделалось у него. Паралич, что ли, ударил.

— Это бог его наказал,— заметил Иван.

— За что?

— Да ведь он с нами в одной партии шел, так только и знал, что всех оговаривал. Нехороший он человек, злой. Товарищей двадцать, поди, дорогой-то под розги подводил наговорами своими. Вот и покарал господь.

Мне нужны были кое-какие справки в уставе о ссыльных, и я привез его раз с собой от прокурора. Василий, знавший немного, хоть и плохо, грамоте, увидал, что я читаю законы, и они вместе с Иваном приходили ко мне за справками. Оба они рассказали мне свои истории и планы о побеге. У Ивана была непреоборимая страсть к перемене мест. Он тосковал без широкого простора перед собой. Он был помещичий крестьянин, его повезли в ближайший город для сдачи в рекруты, а он бежал с дороги и скитался с тех пор, переменяя имена. Василий был сослан в Сибирь на так называемое водворение и жил довольно долго в Омске, нанимаясь в кучера. Он тоже был из крепостных и у барина еще занимался кучерством. По его рассказу, в Омске он получал

слишком малое жалованье, и ему хотелось отойти от нанимавшего его господина к другому, платившему больше; но тот не соглашался, а как Василий вздумал грубить, он отправил его в полицию. Полицеймейстер же был ему приятель, призвал Василья, наругался над ним и отхлестал его по щекам. Василий в ту же ночь и бежал с досады, да и проходил три года, побывал везде, и у родных, и в знакомых городах и местах. Взяли его в Уфе. Теперь их обоих, и Василья и Ивана, отправляли на год на завод, около Тюмени кажется, значит, очень недалеко. И Василий, которому надоело быть непомнящим, решил, что бежит не доходя до завода, прошатается где-нибудь до манифеста, а к тому времени опять явится в Омск и будет по-прежнему с местом и с именем. «Да хоть и до манифеста-то явиться, так не беда. При полиции только накажут — вот и все. Да и то не накажут. Откупиться можно». У Ивана, напротив, не было таких определенных планов. Побег представлялся ему каким-то поэтическим мотаньем по всему белому свету, из края в край.

Оба они ушли из Тобольска днями четырьмя-пятью раньше меня, и тут уж водворилась у нас совершенная тишина. По вечерам не слышалось ни сказок, ни разговоров. На место Василья и Ивана поступило тоже двое: один — мальчик лет шестнадцати, отправлявшийся вместе с отцом на поселение, с виду похожий на калмыка, с хитрым взглядом, но на словах глупый; другой — крестьянин из Тобольского уезда, приговоренный за укрывательство какое-то на полтора года в арестантские роты, но оттуда освобожденный по болезни. Ему поэтому следовало еще выжить полгода в тобольском остроге. Это был человек лет тридцати пяти, смирный и кроткий, мало говоривший и все вздыхавший. Его очень тревожило, что к нему не пускают его незаконную маленькую дочку, которую он называл то «девчоночкой» своей, то «питальницей».

— Хоть бы поисть-то ее пустили,— говорил он.— Эта вышел к воротам,—она стоит там, продрогла вся. «Тятенька, я, говорит, поисть хочу». Хорошо еще вышел я в пору, дал ей калачика; а то ину пору придет — постоит, постоит, зальется слезами, да и уйдет.

Я выхлопотал ему у начальства позволение видеться с нею каждый день в известный срок.

Надзиратель тоже был недоволен уходом прежней прислуги и в особенности краснобая Василья. Ему не к кому

было уж присоседиться вечером, и он сделался даже что-то ворчлив, чего за ним прежде не водилось.

Я уже говорил о периодическом приходе и отходе арестантских партий. Это было таким обычным делом в остроге, что никто не интересовался им — ни из начальства, ни из «содержающих». Другое дело — приезд с жандармами. Таким образом и я и Крупский сделались лицами всем известными. В течение моего пребывания в тобольском остроге еще третье лицо обратило там на себя всеобщее внимание. Это было еще в то время, как Василий с Иваном прислуживали мне.

Именно Василий явился ко мне с известием, что еще кого-то привезли с жандармами, в ручных и ножных кандалах. Это было утром. Я наскоро оделся и побежал к воротам. Мне думалось, не из Петербурга ли кто-нибудь, не из наших ли общих друзей и знакомых кто-нибудь. Мне почему-то казалось, что я встречу Владимира Обручева.

Как ни поспешно сообщил мне новость Василий Непомнящий, но я подоспел уж поздно. Не жандармы, а казаки, сопровождавшие арестанта, успели уже удалиться с почтовою кибиткой, и любопытные, сбежавшиеся со двора, разошлись. Я решил зайти справиться к помощнику, которого квартира была в сенях из-под ворот, и вошел в сени. Тут я застал следующую сцену. Смотритель, повторяя ежеминутно: «Чего-с? чего-с?», суетился около своего нового жильца. Ему перебивали кандалы, которые были слишком узки. Новопривезенный арестант сидел на нижней ступеньке каменной лестницы, ведущей во второй этаж, низко понурив голову, так что видна была только часть его бороды из-под нахлобученной на уши мохнатой меховой шапки; одна нога его лежала на знакомой мне гире, и стоявший на коленях казак взмахивал над нею молотком, заклепывая новые кандалы. У меня сердце сжалось! Такая это была унылая и в то же время возмутительная операция. Формалист смотритель, заметив мое присутствие, поспешно подбежал ко мне и попросил меня удалиться. Тут были еще какие-то неизвестные мне чиновники, и я с досадой исполнил его просьбу.

Вскоре я узнал, что привезенный — пермский крестьянин Кокшаров, который был доверителем от пермских заводских крестьян и подавал от лица их просьбы и протесты. Говорили, что он объяснял им их положение и возбуждал неудовольствие. Последним делом его была поездка в

Петербург, для подачи просьбы государю по доверенности от трех тысяч заводских крестьян. Что сделали с его просьбой в Петербурге, неизвестно; но ему велено было возвратиться домой. Вскоре, однако ж, пришло распоряжение арестовать его. Крестьяне не хотели выдавать его, и Кокшарова пришлось брать военной силой, причем убито несколько человек, защищавших его (об этом что-то умалчивает Валуев в своих отчетах по крестьянскому делу). Кокшарова схватили-таки, сковали и бросили в пермский острог. Тут продержали его всего два дня, не предлагали ему никаких вопросов, не производили над ним никакого следствия и на третий день отправили с двумя казаками в Тобольск, для препровождения в каторжную работу. Он не был наказан телесно (кроме кандалов, которые у нас, как известно, вопреки закону, на практике не считают и телесным наказанием). Такое скорое решение свидетельствует, конечно, главным образом об успехах науки в России. Ведь из Перми уж действует телеграф, и, разумеется, пермское начальство поступило не по своему собственному побуждению. Кокшаров уже не юноша, ему под сорок, если не больше.

Мне очень хотелось увидаться с ним и узнать от него лично, насколько правды в том, что я слышал и пересказал теперь; но это мне не удалось. Кокшарова посадили в так называемую секретную, и я два дня сряду пытался проникнуть к нему. Но как нарочно надзиратель кандального отделения отлучался куда-то и его заменяло лицо, мне совершенно неизвестное. Я не рискнул вручить ему за пропуск пятирублевую бумажку, которую с этою целью носил в кармане,— тем более, что приходилось говорить с ним сквозь железную решетку в присутствии часового. Я наконец взял с собою Константина Иваныча; но и тут вышла неудача. Надзирателя в это время совсем не было дома, а с ним и ключей от секретных номеров. Я подошел к тому, в котором он содержался, и заглянул в щелку двери. Кокшаров в это время спал.

На четвертый день он ушел с этапом, но мне, вероятно, еще придется увидаться с ним здесь.

Удачнее было желание мое видеться и познакомиться с другим политическим преступником (какое это было нелепое название, особенно в применении к настоящему случаю), сосланным, впрочем, только на жительство в Тобольскую губернию (хоть и без срока). Я говорю о ксендзе-канонике

Маевском, который виноват оказался в том, что не остановил народа в Гродно, желавшего церковной процессии, а, напротив, сам ее повел. При этом, впрочем, не произошло ни замешательств, ни столкновений. Епископ, которому Маевский донес о желании народа идти крестным ходом, поступил дипломатически; он не запретил его, а только сказал, что процессия будет остановлена военною силой. Это не мешало Маевскому идти с крестами и пением. Дойдя до места, где были расположены войска, он обратился к богомольцам и сказал, что обет их исполнен, а бороться с вооруженною силой было бы бесполезною резней, которая не может быть приятна богу. Все стали на колени, пропели свои молитвы, возвратились в церковь и потом спокойно разошлись по домам.

Кажется, следовало бы поблагодарить человека за удержание, как говорится, народа в границах спокойствия; но Маевского схватили, продержали в Вильно в тюрьме и препроводили сюда. При следствии не помогла даже проповедь, которую он произнес пред выходом процессии из церкви. В этой проповеди очень ловко говорилось, что цель процессии — чисто религиозная, что надо забыть обо всех политических партиях, собравшись молиться богу, что тут должен проявиться не дух партий, не дух Гарибальди, не дух Мирославского, а дух святый. Любопытно замечание, сделанное Маевскому по этому поводу Назимовым. «Вы хотели надуть бога,— сказал он,— но люди в девятнадцатом столетии вас разгадали». Назимов-то человек девятнадцатого столетия! Не правда ли? это очень мило.

Я рассказал в нескольких словах то, что Маевский передавал мне со всеми подробностями, но они, вероятно, давно уже появились в иностранных журналах. Мы обедали с ним вместе у смотрителя и потом просидели часть вечера. По русским фразам, которые он приводил в своем рассказе, можно было видеть, что он хорошо говорит и по-русски; но он утверждал, что это ему трудно, и рассказывал по-польски. Вообще он говорил замечательно красноречиво и умно и, вероятно, пользуется в Гродно большим влиянием и популярностью. Вообще он произвел на меня очень приятное впечатление своими здравыми суждениями, насколько они не разногласили с его католическими, или—лучше сказать — христианскими тенденциями. Впрочем, может быть, он показался бы мне и еще лучше, если б мы разговаривали только вдвоем; официальное положение нашего хозяина

должно было несколько смягчать его речь. У нас оказалось человека два-три общих знакомых из гродненских поляков,— между прочим, поэт Желиговский.

Наружность Маевского не особенно представительна. Он невысокого роста и сильно согнувшийся, сутуловатый. Продолговатое лицо его приятно, и в серых, какого-то свинцового цвета, глазах есть что-то действующее магнетически на нервных людей; очень развитые губы показывают, что он не прочь от наслаждений мира сего, ни от вина, ни от женских поцелуев. Ему никак не более на вид сорока лет; коротко остриженные русые волосы его еще довольно густы.

Как присланный на жительство без лишения прав, Маевский избег, разумеется, острожного помещения и жил на частной квартире. Он, кажется, рассчитывал остаться в самом Тобольске, и это — при других условиях — было бы возможно. Он отслужил три обедни в здешнем костеле.

Остроумный губернатор, угадавший свое подобие в свином рыле, нашел это почему-то неудобным,— и вот теперь Маевского хотят перевести из Тобольска в уездный город Курган. Должно быть, хороший город, я о нем никогда и не слыхивал.

Сколько можно было судить по ходу моего дела, я начинал надеяться, что скоро могу и уехать. Я не хотел оставлять Тобольска, не осмотрев хорошенько всего острога, всех его отделений и проч. Для этого я решился воспользоваться услугами помощника, которому всюду открыт был свободный доступ. Одному даже не на все дворы можно было войти. Сначала меня останавливали часовые в моих прогулках, и я только гривенниками покупал у них позволение свободно расхаживать по всем закоулкам и углам восьми (кажется, так) тюремных дворов. Константин Иванович согласился выводить меня всюду, в надежде, разумеется, на денежную награду.

По мере того как приближался мой отъезд, он становился еще назойливее. Ему, по-видимому, хотелось извлечь из меня все выгоды, какие только можно.

Раз привел он ко мне страшно оборванного мальчика, лет десяти, и начал рассказывать какую-то длинную историю о его крайней нищете, о том, что он его где-то случайно нашел и решился взять на свое попечение и приютить у себя.

— Будьте отцом родным, Михаил Ларионович,— заключил он,— посодействуйте сироте. Видите, в каком он

рубище. У вас есть полушубочек казенный. Он бы век стал богу за вас молить.

Я отдал полушубок, которым снабдила меня петербургская управа благочиния. Он оказался только что впору мальчику. К слову замечу, что казенные полушубки вообще как будто кроятся и шьются на детей, так они коротки и узки. Это, вероятно, имеет какое-нибудь отношение к экономическим понятиям начальства.

В другой раз помощник приходил и начинал проливать предо мною притворные слезы о потере дочерью трех рублей, с которыми она поехала в город, в гостиный ряд, для покупки себе какой-то обновы. На слезы Константин Иваныч был тароват; они легко вызывались у него водкой, а пьян он был ежедневно, особенно к вечеру.

Так как потеря его дочери меня не тронула, он в следующий раз изобрел новую пропажу.

— Такое со мной, право, несчастие,— рассказывал он.— Верите ли, Михаил Ларионович, говорить-то — уста кровью запекаются. Поехал вчера в город. Давно собирался дочери сатину купить на салоп. Дело-то под вечер было. Сам и правлю всегда. Понес меня маненечко конь. Как уж у меня выпал этот сатин из-под мышки и где — понять я этого не могу. Приехал домой, ну, как я скажу? Так и не сказал. Сегодня встал чем свет, все улицы обошел — снег-то это раскапываю. Нет как нет моего сатину.

— Где уж найти!

— Конечно, Михаил Ларионыч,— оно и понятно. Лежит на улице, среди дороги, штука сатину. Да как же ему целу быть. И какой выбрал превосходнейший сатин! Восемь с лишним рублей, легко это сказать.

Я начал было его усовещивать, чтобы он сказал прямо, что ему хочется у меня денег получить, но он стоял на своем сатине.

Точно так же не хотел он признаться, что подрался в пьяном виде, когда пришел раз ко мне с огромными синяками под глазами и с раскроенным в кровь виском и лбом, которые он напрасно старался скрыть волосами. Он утверждал, что его конь побил.

— Подошел я это ему ноздрен протереть. Мороз, знаете, заиндевело все. Как хватит он меня вдруг уздой. И что это с ним сделалось, понять не могу. Этакий был смирный, послушливый конь и вдруг,— только что я подхожу к нему, начинает меня хлестать уздой по лицу. Искровенил всего.

Василий Непомнящий иначе не называл Константина Ивановича как бесстыжими глазами.

— Ведь это известно-с,— пояснял он,— у писарей стыда нет, а он из писарей-с.

В то утро, как помощник соглашался сопровождать меня по острогу, он против обыкновения не был пьян. Вероятно, опохмелиться было не на что. Мы пошли.

Оставляя его в стороне, я расскажу в немногих словах то, что видел. И так рассказ мой о тобольском остроге вышел бесконечно длинен.

Самое интересное отделение, конечно, кандальное. Комната, в которой я был помещен на время по приезде, принадлежала к числу номеров, назначенных для подсудимых. Таких номеров идет несколько подряд по темному коридору. Они не заперты, потому что в них содержатся подсудимые не по важным преступлениям. В иных на нарах помещаются человека по три, по четыре. Далее идет коридор секретных, то есть тоже отчасти подсудимых, отчасти пересыльных, возбуждающих почему-нибудь опасение. Здесь двери уже заперты,— и что странно, они глухие, без маленьких окошечек. За содержащимися там можно наблюдать только в небольшие дырки, просверленные где попало. Этот коридор несколько светлее и опрятнее, так как по нему мало ходят. Я заглянул в две-три щели. Номера были пусты, только в одном сидел какой-то офицер, судимый, кажется, за убийство.

По шаткой и узкой деревянной лестнице поднялись мы в другой этаж, который правильнее назвать просто чердаком. Это и есть помещение пересыльных «кандальщиков». У всякого, кроме таких тюремных стражей, как наш помощник, невольно содрогнется и сожмется сердце при входе под эти темные, низкие своды, при взгляде на эту горькую голь и унижение, которые кидаются в глаза на каждом шагу. Как бы ни были преступны и черны душой все эти несчастные, набитые тут, как звери в клетку, в душе не возбуждается ничего, кроме жалости к ним. Христианское законодательство наше не понимает, что оно только портит и нравственно ухудшает своими мерами преступников, вселяя в них ожесточение и ненависть к человеческому обществу. Ведь большинство преступлений все-таки совершаются в минуты страсти, в минуты увлечения. В значительной степени случаев преступление даже не кладет резкой печати на нравственную сторону человека. Пыл страсти миновал, и наступило раскаяние, а это чувство, незнакомое до тех

пор, заставляет человека вдумываться в себя, анализировать свои побуждения и, стало быть, возвышает нравственный его уровень. Иной преступник, после того как на его руки брызнула кровь убитого им ближнего, становится нравственнее, чем был до тех пор. Много ли этих холодных, ожесточенных убийц, которые находят наслаждение в проливаемой ими крови? Не выродки ли это? Не физические ли недостатки их мозга и черепа виной этому. А воспитание ничего не делало для них. Если же и не так, то откуда приходит ожесточение, как не из условий самой жизни, обреченной на невежество, нужду и невыносимые ни для какого животного лишения? Неужто нельзя положить границ между побуждениями людей к преступлениям и разделить их на основании этих побуждений? Смешивая всех в одном понятии «преступник», правительство только развращает лучших из них. Только тогда уж надо вверить надзор и попечительство над ними не безграмотным и жестоким солдатам, вроде Захаров и Константинов Иванычей.

Острог в Тобольске новый; в нем, как говорят, сделано очень много улучшений в сравнении с тем, что было прежде, в старом здании, находившемся неподалеку от нынешнего и теперь обращенного, кажется, в арестантскую роту. Уж из того, каково теперь помещение у кандальщиков, можно заключить, как их содержали прежде. Я уж не говорю о сырости, без которой, по-видимому, никак не могут обходиться наши тюрьмы, даже стоящие так долго, как, например, Петропавловская крепость. Кроме сырости, помещение кандальных лишено всяких удобств. Под низкими сводами, где только можно распрямиться стоя, не устроено даже нар. Это чердачное отделение состоит из нескольких комнат, большею частью небольших, соединенных между собою арками сводов. Это еще хорошо,— будь тут двери, которые бы затворялись, воздух был бы ужасный. Он уж и теперь никуда не годится. В других отделениях устроены хоть отдушины, которые очищают его немного, а здесь и этого нет. Все арестанты помещаются на полу. Из опасения драк или просто из пренебрежения к этим несчастным тут нет ни стола, ни стула. У редкого подостлан под себя потник или войлок. В любом зверинце лучше содержатся звери. Константин Иваныч торопил меня, будто опасаясь проходить один и без всякого оружия посреди сотен этих жалких и оборванных людей, с клеймеными темными лицами, с подбритыми головами. Мне было жаль, что я не мог по-

быть с ними больше и поговорить. Все они сидели и лежали на полу — кто приспособлял свои кандалы, чтобы они меньше терли ноги, кто завтракал черным хлебом, кто чинил свою одежонку.

Многие лежали, закинув за голову руки. Были тут и больные, стонавшие, но, вероятно, лишь от угару, потому что не поступили в больницу. Духота, жалкий полусвет, грязь, голоданье, нищета, унижение — все эти исправительные меры нашего законодательства являлись тут в полном своем значении.

Отделения переселенцев и женское могли показаться раем после этого помещения. Они размещены по разным дворам. То большие камеры, в которых не особенно теснясь могут поместиться человек по пятидесяти, с нарами посредине. Но когда приходят большие партии, помещается, конечно, вдвое и втрое больше. Кому нет места на нарах, тот помещайся под нарами. Таково устройство и всех наших тюрем, да не только тюрем, и казарм. Отделения эти показались мне приветливее не только потому, что я пошел в них из кандального, но и потому, что они были почти пусты. Последняя партия состояла по преимуществу из кандальщиков. В женском отделении, несмотря на детей — и грудных и едва начинающих лепетать и становиться на ноги,— было гораздо больше чистоты, порядка. Все больше сложено к месту, не раскидано, как на мужских половинах.

Меня больше всего удивило, что в здании, рассчитанном на столько людей (хоть и плохо рассчитанном), нет порядочного помещения для столовой. Она помещается в какой-то упраздненной бане, довольно тесной, с почерневшими от копоти и пропитанными банным запахом стенами.

Как ни вяло подвигалось дело об отправке меня с жандармами, на свой счет, а все же оно подвигалось. Нужно было прежде всего подать просьбу в приказ о моем желании; потом составили журнал о ней; журнал пошел к прокурору, к губернатору и странствовал недели две. Меня записали в больницу, сочинили мне медицинское свидетельство. Врачебная управа должна была подтвердить это свидетельство своим свидетельством. Меня, к счастию, не требовали в управу; один из членов ее заехал ко мне, и тем дело было кончено. Наконец-то можно было приказу потребовать от полицеймейстера мои деньги и написать жандармскому штаб-офицеру, чтобы он назначил мне двух «благонадежных» проводников.

В течение всего этого времени мне довелось быть раза три или четыре в приказе. Когда я был там во второй раз, я получил твое письмо. Мне передали его нераспечатанным. Фризель вообще был любезен, насколько может быть любезен <такой бык. Он разговаривал> со мною по-французски, предлагал мне в присутствии кресло за столом, на котором стоит зерцало, и проч.

Еще накануне отъезда познакомился я в приказе с моими новыми жандармами. Они даже и на первый взгляд не имели уже того официального характера, как петербургские. В самый день отъезда были получены деньги мои в приказе и при мне были переданы жандармам.

Возвратившись из приказа к острогу, я был встречен у самых ворот смотрителем. Он объявил мне, что за мною прислал лошадь Пушкин и что полицеймейстер просил его приехать вместе со мной. Время как раз (по тобольскому) подходило к обеду. Мы тотчас же отправились.

Там решили, что смотритель распорядится вместе с жандармами уложить в возок мои вещи (все было у меня уже с утра готово) и жандармы приедут за мной уже на почтовых сюда. При отправке моей следовало быть полицеймейстеру, а так как он обедал вместе со мной, то и это, значит, было удобно.

Таким образом, в сумерках, 27 января я поехал из Тобольска дальше. Почти все обедавшие, и мужчины и дамы, отправились провожать меня, и я окончательно простился с тобольским обществом, о котором у меня осталось самое приятное воспоминание, уже за городом, на том историческом месте, где, по преданию, высадился Ермак.

XIII

<ДОРОГА ДО ИРКУТСКА>

Новые жандармы.— Крупский в этапной тюрьме.— Свидание с Петрашевским в Красноярске.

О тобольских моих провожатых не стоит говорить так много, как я говорил о петербургских. Они, как я уже сказал, имели гораздо менее специально жандармского характера. Мне уже нечего было испытывать их, насколько можно им довериться, и я мог прямо поручать им то или другое, противное их инструкции, не опасаясь, что они захотят меня

выдать. Это были тоже два урядника и тоже нисколько не похожие один на другого. Один, Берников, темно-русый, с рыжеватым отливом, красивый и ловкий, отличался аккуратностью и постоянно веселым нравом; другой, рябоватый и золотушно-кудрявый, Николаев, был мало находчив, хвастлив, но вообще вял, любил выпить и быстро пьянел. Он был писарем, а Берников берейтором. Это отчасти объясняет и разность их характеров. Кроме своей жандармской обязанности, Берников занимался отчасти торговлей, отчасти ремеслом. Он шил оленьи перчатки. Оба они были люди женатые, но только в нем проявлялась хозяйственность и положительность; Николаев, напротив, способен был при первом удобном случае замотаться и завихриться в каком-нибудь кутеже. В местах, где мы останавливались несколько побольше, надо было держать ухо востро, чтобы он не напился пьян. Это, однако ж, случилось-таки с ним раза три-четыре, и его приходилось садить на козлы для протрезвления. Мы пускали его тогда в возок, лишь убеждались, что он успел уже немного продрогнуть и протрезвиться.

Мне еще раз привелось видеться с Станиславом Крупским. Видя крайние нужды его, я поделился с ним, чем мог, сказал двум-трем моим тобольским знакомым о его положении. Сочувствия к нему ни у кого, правда, не было; но это не помешало, однако, сделать для него подписку, по которой собрали пятьдесят рублей. Он между тем уже уехал. Мне привезли почтовую расписку об отправке ему этих денег в Томск, в тамошнюю экспедицию о ссыльных, и просили передать ее Крупскому, если я увижу его в дороге. Он был назначен на поселение в Красноярск и должен был отправляться туда с партией.

Партия эта вышла из Тобольска 12 января, а я выехал вечером 27, то есть через две недели; но то, что партия сделала пути в эти две недели, я мог проехать в сутки с небольшим. По этапному маршруту я мог рассчитать, что застану Крупского на ночлеге в деревне Ачимове, кажется, или Ачилове, верстах в трехстах от Тобольска.

На станцию эту я приехал на вторые сутки, часов в пять утра. Было еще совсем темно. Я заказал поставить себе самовар, чтобы не будить Крупского так рано, напился сначала чаю и потом попросил хозяина станции дать мне сани, чтобы съездить в этап, так как он был совсем на другом конце деревни, именно на том, который мы уже проехали.

Часов около шести мы с Берниковым уселись в глубокую кошеву и отправились. Все еще было темно; морозило крепко.

В деревне пахло уж дымом, но за серым тыном этапа все спало еще крепким сном. Берников добился, что нас впустили во двор, и мы пошли к офицеру.

На стук наш в дверь нам скоро отворила полуодетая женщина, по-видимому только что начинавшая подыматься с постели. Она без всякого спроса ввела нас в прихожую, бывшую в то же время, кажется, и кухней. В большой русской печи, занимавшей значительную часть ее, тлелся огонек. Баба, впустившая нас, накинула на него лучины, и свет облил и ее и нас.

— Вам кого? Поручика?

Я объяснил ей, что поручика, пожалуй, и не нужно, если можно без него увидаться с одним пересыльным — «из дворян, поляком».

— Да это, значит, тот, что у барина ночует. Я пойду их разбужу.

И она пошла. Почти тотчас же выбежал ко мне Крупский в полушубке своем и босиком.

Я вошел вместе с ним в следующую маленькую комнату, где застал еще в постели молодого этапного офицера. Крупский спал на диване: тут лежала его подушка. В этой горенке заключалась, кажется, и вся квартира офицера. Тут был, кроме кровати, и его письменный стол и шкафчик в углу с посудой. Это была своего рода тюремная келейка. Офицер, вероятно, недавно был на месте, не успел еще обжиться со своей должностью, и на нем не лежало печати той грубости, которую я замечал на всех этапных офицерах, встречавшихся мне.

Бедный Крупский был полубольной, распростуженный. Он и похудел заметно и сильно кашлял. Это был первый офицер по дороге из Тобольска, приютивший его у себя в квартире.

Тобольские предвестья оправдались. На каждом привале ему делали затруднения относительно лошадей, говорили, что если б в его кибитке можно еще было помещаться четверым, так лошадь бы, пожалуй, и дали, а то плати, да и не просто прогоны, а дороже. Решившись отказывать себе в чем-нибудь другом, Крупский купил себе лошаденку. Тут пошли опять неудобства, как ее кормить, и опять расходы. Он продал лошадь, и опять на каждом привале приходилось

ему выслушивать недовольные речи и платить из своего скудного кошелька. Он жаловался на грубое обращение этапных офицеров, на брань и даже на побои конвойных солдат и казаков. Только ачимовский офицер обещал снабдить его рекомендацией к начальнику следующего этапа, и это хоть отчасти могло успокоить Крупского.

Мне было очень жаль его и досадно, что я не мог ничем помочь ему. Еще в Тобольске думал я, нельзя ли бы мне было довезти Крупского до места назначения в моем возке; но об этом и думать было невозможно, как мне сказали люди, от которых это зависело.

С грустным чувством простился я с Крупским, и он часто приходил мне на мысль, когда я начинал или досадовать на неудобства помещения в дороге, или на холод и угар станции, или на мороз и ветер. Какой еще я был счастливец в сравнении с ним!

Дорога от Тобольска шла такая же дурная, если не хуже, как и к нему. Такие же станции, то холодные и полные синего чаду, то теплые до чрезвычайности и довольно уютно прибранные. Станционные смотрители и писаря стали чаще попадаться из поляков. Найти чего-нибудь поесть было бы трудно, если б меня в Тобольске не снабдили разными запасами — бураком, или, по-здешнему, «туесом», с морожеными щами, пельменями, пирожками.

Разнообразие дороги заключалось и здесь в том, что где было больше ухабов, где меньше. Сваливаться набок с возком, разбивать при этом стекла приходилось не раз. Под конец я уж забил два окна наглухо войлоком.

Проехали мы несколько жалчайших городов: Тару, наполовину татарскую, Катик, Колывань. Наконец, близко уж и Томск, половина пути.

Надо было хоть немножко отдохнуть от ухабов и холоду. На предпоследнюю к Томску станцию мы приехали вечером и тут ночевали, отправившись на так называемую земскую квартиру. Здесь написал я тебе письмо, которое на другой день отправил из Томска. Я сначала не хотел было писать с дороги; но расчел, что из Иркутска ты не получишь моего поздравления с днем рождения. К несчастью, как я вижу из твоих писем, ты и томского письма моего не получила. А по моему расчету оно должно было прийти как раз вовремя. Я адресовал его через П<екар>ского.

На другой день, в десять часов утра, я был в Томске. Я рассказываю все мелочи только для тебя, и знаю, что ты

не соскучишься над ними, как соскучился бы всякий другой, как соскучился бы их описывать сам я, если бы писал не по твоему желанию и не для тебя. Я, как ты знаешь, никогда еще не занимался так долго своею особой, но до конца моих рассказов уж недалеко, и я стану продолжать и кончать, как начал.

Так как мне нужно было запастись какою-нибудь провизией в дальнейший путь, то я остался в Томске часа на три, на четыре. Берников, отправленный за покупками, считал неудобным не явиться к местному штаб-офицеру, будто бы для просьбы пробыть в городе нужное нам время. Иначе он мог попасться ему на глаза и навлечь против себя какое-нибудь неудовольствие. Я не имел, конечно, ничего против его намерения. Оставшись в гостинице «Золотого якоря», при которой находилась и станция, я принялся от скуки играть на бильярде с другим жандармом.

Явки Берникова к штаб-офицеру было достаточно, чтобы обо мне узнали в городе еще в десяти местах. Сначала пришел ко мне один молодой человек, которого я не узнал. Это был К<узнецов>, с которым я познакомился в Уфе, где он был тогда семинаристом, давал уроки в одном знакомом мне доме и собирался ехать не то в академию, не то в университет. Этому уж лет шесть есть. Теперь он учителем в Томске, в гимназии. Пришли еще два молодых человека, которых имен не помню. Заехал совершенно неожиданно сам голубой штаб-офицер, толстый, заплывший господин, с предложением, не хочу ли я остаться в Томске подольше, день, два, не имею ли каких желаний. Я имел желание, чтобы он убирался поскорее, но его по деликатности не высказал. Он, впрочем, и сам пробыл не более десяти минут. Более всего был я доволен приездом ко мне управляющего томскою экспедицией о ссыльных. Я мог попросить его о выдаче Крупскому на руки денег, присланных в Томск, и он любезнейшим образом обещал мне это.

Позавтракавши или, пожалуй, пообедавши в гостинице, мы двинулись далее. Через двое суток мы переехали границу Западной и Восточной Сибири, отмеченную двумя кабаками по ту и по эту сторону.

В унылом городе Ачинске, первом восточно-сибирском, где я и из возка не хотел вылезать, оказался почтмейстером мой земляк и прислал просить меня войти на станцию. Я зашел и напился чаю в его семействе, которое все провожало меня потом до экипажа и напутствовало самыми хорошими желаниями.

Та же дорога с ухабами и метелями потянулась до Красноярска. Здесь я решился пробыть подольше, чтобы видеться с Петрашевским. Он, как ты знаешь из «Колокола», попал в немилость у Муравьева за то, что говорил против скверной истории Беклемишева и — не по́мню, как зовут его жертву. Петрашевского выслали, а Беклемишев, вместо того чтобы попасть в соседство ко мне, в каторгу, назначен, как я видел в последних газетах, вице-губернатором в Саратов. Муравьевское начало не умерло с ним. Для замазки разных щелей и трещин своего ломового управления он посадил на свое место невежду и глупца Корсакова, своего родню и креатуру, быстро выскочившего в генералы разве по способности своей скакать тысячи верст на курьерских для безгласного и точного исполнения самодержавных повелений своего патрона.

В Красноярск приехал я поутру 7 февраля. Станция находится там при гостинице. Толстый, улыбающийся немец Иван Иваныч вышел встречать меня и объявил, что меня давно уже ожидают и многие желали бы со мною видеться. Первым вопросом моим было, здесь ли Петрашевский. Немец отвечал утвердительно и обещал немедленно послать известить его.

Не успел я вполне разоблачиться от дорожных шуб и шарфов, как у меня оказалось уже четверо гостей. Один был местный казачий офицер, брат известного мне по имени издателя какого-то маленького журнала, «Вазы» или «Северного цветка»; трое остальных были проезжие в Петербург офицеры же с Амура. Из них особенно заинтересовал меня моряк, капитан-лейтенант С<ухомлин>. С его парохода или фрегата бежал Бакунин. Корсаков, получивший сильную головомойку из Петербурга за этот побег, вздумал было задержать С<ухомлина> в Иркутске, пока не кончится следствие. Но С<ухомлин> ехал с семьей, по требованию своего начальства, и не мог терять ни времени, ни денег на праздное житье в корсаковской столице. Пришлось ограничиться вопросными пунктами и отпустить капитана дальше. Да и какое тут следствие, когда у Бакунина был открытый лист для проезда, куда он хочет, за подписью того же Корсакова? Умеренные прогрессисты в Иркутске находили, что Бакунин поступил нехорошо, изменив честному слову, которое он дал Корсакову, что не убежит. Я в этом случае не совсем согласен с умеренными прогрессистами и — если

бы считал полезным для себя — поступил бы на месте Бакунина точь-в-точь так.

Скоро пришел ко мне и Петрашевский. Не знаю почему, я воображал его человеком совсем иной наружности, чем каким увидел. Портрета его мне не случалось видеть; говоря о нем с некоторыми из тех, кто были сосланы по его делу, я как-то не спрашивал о его наружности,— и он представлялся мне высоким, худым, с резкими и строгими чертами лица, да вдобавок еще блондином. Я не могу понять, почему составилось у меня такое о нем представление. Разве не на основании ли читанных мною в «Колоколе» официальных бумаг его, наполненных юридическими тонкостями, к которым был я всегда так холоден, пока теперешнее мое дело не показало мне, что я поступал нерасчетливо, пренебрегая знакомством с <дичью, именуемою> законами Российской империи. Впрочем, едва ли мое представление о Петрашевском составилось не раньше. Я увидал совершенную противуположность тому, что ожидал.

Петрашевский не высок — он среднего роста, и не худой, а очень полный. Походка его напомнила мне отчасти походку Герцена, и в самой фигуре его есть с ним сходство. Черты лица его довольно правильны, мягки и приятны. Большие черные глаза, очень выпуклые, обличают в нем сразу говоруна, и он действительно говорит много и хорошо; но, вероятно, именно потому, что много и хорошо, речь его полна противоречий. На голове у него осталось уж мало волос — перед весь голый, и только сзади низко опускаются на воротник сюртука их поредевшие черные пряди. Большая, что называется апостольская, борода, напротив, еще очень густа; по ней длинными белыми нитками прошла уже седина. Одет он был во все черное. И сюртук, и жилет, и панталоны — все было очень потерто и замаслено и обличало не совсем-то блестящие его обстоятельства. Оно так и было действительно, как я слышал впоследствии.

Видевшись с ним всего один день, я не могу, разумеется, сказать о нем многого; но общее впечатление было для меня приятно. Я нашел только, что местные интересы, в которых Петрашевский принимал участие (разумеется, только словом) в последнее время своей ссылки, разные иркутские интриги и дела как будто заслонили от него интересы более широкие и общие. То, что для человека нового представляется не более как местным, провинциальным, для него, при постоянном столкновении с здешними властями, приняло

слишком большие размеры и заставило как будто отчасти забыть о том, что сердиться следует на причины, производящие дурные явления, а не на самые явления. Слушая Петрашевского, я, признаюсь, не раз подумал, что было бы очень грустно, если б тесный круг местных интересов успел со временем втянуть и меня в свои границы. Повторяю, все эти интересы входят лишь как ничтожная доля в ту общую систему нашего управления и нашей жизни, против которой одной борьба не бесплодна. То же сужение понятий от долгой жизни в ограниченной и жалкой среде проявил и товарищ Петрашевского, Львов, в своих «Выдержках из воспоминаний ссыльно-каторжного», вторая часть которых дошла ко мне лишь недавно. Меня просто возмутило то место, где он говорит о действии ссылки на политических преступников. Надо слишком поверхностно и мелко всматриваться в окружающую жизнь, чтобы дойти до таких ограниченных взглядов. Ты статью Львова, конечно, читала и, вероятно, помнишь это место. На него нельзя не обратить особенного внимания в статье именно бывшего «политического преступника». Рассуждать об исправлении зла «последовательными реформами при помощи служебной или открытой общественной деятельности», толковать о развитии гражданского чувства, откладывая в долгий ящик «последовательных реформ» (иначе «медленного прогресса»), «благие учреждения», которые одни создают граждан,— все это мог бы говорить другой Львов, автор знаменитой комедии с добродетельным становым приставом, или не менее знаменитый герой соллогубовского «Чиновника»; но слышать эти речи от «ссыльно-каторжного» Львова не только досадно, но и тяжело и грустно. Если бы еще он говорил об этом изменении во взглядах «политических преступников» как о развращающем влиянии житья в ссылке,— а то ведь это, по его мнению, хорошая сторона ее, хорошее и благое влияние. Кстати замечу, что вся вторая статья Львова (первой я не помню) показывает, что он совершенно незнаком даже с общим характером мест и людей, посреди которых привелось ему прожить так долго, или не успел всмотреться в смысл окружавших его явлений и только наблюдал их внешнюю сторону. Можно, пожалуй, было бы извинить жалкую ничтожность этой статьи недостатком таланта, но ведь в ней нет дела, а уж это не зависит от таланта. Я заговорил о статье Львова именно потому, что нечто вроде того не совсем веселого чувства, которое испытал я, читая ее, проходило

иногда по моим нервам и при разговоре с Петрашевским. Нет, что ни толкуй, а горе и лишения ссылки взяли-таки свое, печать их осталась, и, мне кажется, первое, о чем должен постоянно думать и стараться всякий сосланный за политические убеждения,— это вырваться отсюда и окунуться в поток более широкой жизни.

Львов говорит об уме «охлажденном и опытом и зрелостью возраста» как о шаге вперед от горячего и страстного энтузиазма молодости. Да ведь это просто притупившиеся от слишком слабых потрясений нервы. Не желал бы я себе такой зрелости, хотя, может быть, уж и теперь для нового подрастающего племени человек отживающий. Как на одно из важных противоядий нашей провинциальной малярии смотрю я на свою возможность уходить от пошлости наших житейских отношений в чисто умственную деятельность,— и я считаю себя счастливым, что могу заниматься литературным трудом.

Я никогда не работал так много, как теперь, в эти два-три месяца, как поселился в Казаковском золотом промысле, и как бы ни ничтожны были плоды этой работы, я уверен, они полезнее и для общества и для моего личного достоинства так называемой «борьбы» с местными обстоятельствами. Эта борьба сильно граничит с тем, что на более простом языке называется дрязгами, кляузами, сплетнями — и мало ли еще чем. Вот почему я особенно доволен, что не остался в Иркутске, а попал сюда в глушь. Замечательно, что только те из политических преступников, бывших здесь, оставили по себе действительно полезное влияние, которые действовали словом, брались за воспитание или вообще старались проводить в сознание молодых людей основные начала нравственности и гражданских обязанностей человека. А те, что вступали в ряды местных «борцов», от пропаганды обращались к делу, только низводили и свои лучшие стремления и свое личное достоинство к тому уровню, где они теряли всякое высшее значение, а потому и влияние, да и сами деятели мало-помалу начинали мельчать и все более суживать свои нравственные интересы. Да и какая тут борьба для человека, поставленного своим положением политического преступника вне всякой общепризнанной деятельности, когда и в сфере-то более широкой у нас удел разумной жизни, как выразился Добролюбов: «Для блага родины страдать по пустякам».

То, что я наговорил, было предметом нашего довольно

продолжительного спора с Петрашевским. Я только из его слов узнал о всех неприятных столкновениях, которые рискую я испытать, оставаясь в Иркутске. Если б я не слыхал этого предупреждения о тамошних полицейских надзорах, о шпионстве, подпечатывании писем, о доносах, то достаточно было мне пробыть в Иркутске два-три дня, чтобы не хотеть оставаться там даже при согласии на то местного начальства. Только живя в совершенной дали от общества (как теперь и делает Львов), можно еще там сделать сносною свою жизнь. То, что именуется на иркутском наречии политическими неприятностями, есть не что иное, как мелкие сплетни, раздражающие человека хуже, чем «по пустякам».

Петрашевский советовал мне ехать в Нерчинский округ, где менее будет для меня стеснений, и, для подтверждения его слов, повидаться в Иркутске со Львовым. Я сделал бы последнее и так, но, чтобы увидаться с ним поскорее, взял у Петрашевского записку. Он обедал у меня в этот день, и вечером располагал я уехать, но это не удалось. Один из моих жандармов, Николаев, отпросился у меня к каким-то своим знакомым и воротился домой пьян как стелька. Я остался ночевать.

После обеда Петрашевский уходил на час домой и потом опять пришел — и на этот раз не один, а с тремя молодыми людьми, которых отрекомендовал мне, и при них и заочно, как лучших из здешней молодежи. Признаюсь, грустно мне было за Петрашевского, когда эти лучшие представители молодого поколения города Красноярска сидели у меня с ним вечером. Это были, может быть, и даже вероятно очень добрые молодые люди, но... И тут я узнал о существовании секретного циркулярного предписания министра внутренних дел к губернаторам, от 2 декабря, не выдавать литератору Николаю Чернышевскому заграничный паспорт. Это известие поставило меня в тупик; я решительно не знал, как объяснить его, и отчасти усомнился в его верности; но молодой человек, от которого я слышал об этом, прислал мне на следующее утро и номер и дату предписания, с подтверждением, что дело идет именно о литераторе Николае Чернышевском.

Петрашевский пришел проводить меня, и я отправился из Красноярска часов в одиннадцать утра.

— До свидания — в парламенте! — сказал мне на прощанье Петрашевский.

«Блажен, кто верует, тепло ему на свете»,— думал я не раз, когда припоминал об этом прощанье.

Николаев не успел протрезвиться и был посажен на козлы. Дорога пошла получше и поглаже, и мы ехали очень хорошо почти до самого Иркутска, уже нигде не останавливаясь [1]. На последнюю станцию прибыли мы уже ночью, часу в первом, на пятые сутки по выезде из Красноярска. Надо было и тут, как перед Тобольском, обождать утра, и я прилег было в станционной комнате. Но спать тут от холода было невозможно. На дворе стоял сильный мороз, а дверь, выходящая прямо на крыльцо, без сеней, беспрестанно отворялась. Пришлось поискать себе другого ночлега, и мы отправились в так называемую земскую квартиру, довольно тесную, но зато теплую избу, и расположились.

Только что начало светать, горлан петух крикнул у меня под самым ухом, и я вскочил с испуга. Он не умолкал, выглядывая из-под печки, и мы стали вставать.

Я забыл сказать, что по распоряжению тобольского жандармского полковника меня следовало отправить из Тобольска опять-таки в кандалах. Впрочем, он распорядился, чтобы они были на замочках, и я мог снять их тотчас по выезде из города. Перед въездом в Иркутск следовало их опять надеть на меня. Но я не исполнил ни того, ни другого,— и они ехали со мною в мешке с другими арестантскими принадлежностями. Жандармы подтверждали меня в убеждении, что их не следует надевать. Да и замочков-то у нас не было.

В половине двенадцатого утра 13 февраля я был в Иркутске, перед воротами исправлявшего должность военного губернатора.

XIV

‹ИРКУТСКАЯ ТЮРЬМА›

Строгости.— Прогулка.— Свидание со Львовым.— Отъезд.

В Иркутске, как и в Тобольске, пришлось мне немало поездить, прежде чем я попал в свойственное мне место, то есть в острог. Меня привезли к исправлявшему должность

[1] Тут города Канск и Нижнеудинск.

военного губернатора, а не к генерал-губернатору, согласно принятым правилам. Его уже не было дома. Он был в губернаторской канцелярии. Ко мне вышел какой-то чиновник, вроде писца, и поехал вместе в канцелярию. Там мне тоже пришлось подождать, пока не пришел откуда-то господин Шелехов. Пока я дожидался в приемной, похожей на дрянную прихожую, я думаю, все чиновники канцелярии прошли мимо меня один за одним, с любопытством оглядывая меня с головы до ног.

Наконец явился и Шелехов, штатский господин, полный и несколько аляповатый с виду, и попросил меня в присутствие. Там никого не было, но когда мы входили, за нами следом вступил какой-то трясучий старик в генеральском мундире.

— Позвольте попросить ваше превосходительство повременить немножко,— сказал ему Шелехов.— Мне нужно поговорить одному.

Старик ретировался, и когда двери за ним затворились, Шелехов с каким-то несколько чичиковским видом протянул мне руку и начал говорить нечто о том, что «понятно, что мы все вам сочувствуем».

Он спросил меня, куда я желаю быть назначенным, в Нерчинский ли округ, или на ближайший к Иркутску, но глухой, не помню как называющийся завод. Я, разумеется, упомянул о том, что меня неверно причислили к первому разряду, что по всей справедливости меня можно бы назначить в один из иркутских заводов и что я — уж если хотят знать мое желание — желал бы остаться в солеваренном заводе Усолье, в сорока верстах от Иркутска. Шелехов обещал просмотреть внимательнее мои бумаги и поговорить с Корсаковым.

Кстати замечу, что Шелехов занял временно должность военного губернатора после Венцеля, того самого Венцеля, который теперь сенатором и был в числе моих судей. А на место его назначается или уже назначен теперь — Щербацкий, тот самый Щербацкий, петербургский полицеймейстер, который был у меня при втором моем обыске. Вот и еще, пожалуй, в этом роде сближение: бывший у меня в Томске жандармский полковник (кажется, Герасимов) сообщил мне, между прочим, что у него есть близкий родственник в Третьем отделении, а именно — Кранц, тот самый Кранц, который и проч. Не правда ли, какие все милые и отрадные напоминания?

Но не в том дело.

Шелехов сказал, что он послал уже за полицеймейстером, который сейчас приедет и свезет меня в тюрьму, где отведут мне возможно лучшее помещение; а между тем просил меня обождать в одной из комнат канцелярии, что-то вроде бухгалтерской, куда и проводил меня.

Мне точно пришлось недолго ждать. Приехал полицеймейстер, высокий, несколько худощавый офицер с зарумянившимся лицом и нехорошими, не то наглыми, не то как будто пьяными глазами. Он расшаркался по-гвардейски и сказал, чтобы я садился в свой возок, и велел ехать вслед за ним. Он поскакал вперед на своей паре, с горластым по-полицейски кучером. Моя тройка не скоро догнала его. Мы выехали за город, и я увидал белое здание классической постройки, напоминавшей мою тобольскую резиденцию. Пара полицеймейстера подкатила, впрочем, не к этому зданию, а к жалкому деревянному, тоже значительных размеров строению, и мы въехали за нею под ворота, где оказался тоже часовой при будке. Это был старый острог, теперь упраздненный больше чем на половину.

Шатким деревянным крыльцом и темными деревянными сенями вроде коридора прошел я в квартиру жившего еще тут смотрителя, куда вошел еще до моего приезда полицеймейстер.

— Вот-с, вы здесь и поместитесь, в этой комнате, обратился ко мне, также ловко расшаркиваясь, полицеймейстер.— Извините, пожалуйста. Это лучшее помещение, какое мы можем предложить вам. Все, что вам угодно будет, вы можете получить от господина смотрителя. Вот-с он. Это его квартира.

Я заикнулся было, что ведь это ему стеснение и что лучше отвели бы мне просто номер в секретном или в дворянском отделении; но таких номеров, годных для житья, не оказывалось,— и полицеймейстер сказал, что этою комнатою смотритель почти не пользуется и она существует собственно на такие случаи, как настоящий. Комната о трех окнах смотрела светло и весело, и уж, конечно, в остроге не найти мне было другого такого помещения.

Смотритель был маленький, сухонький человечек средних лет, с какою-то особенно серьезною, даже и при частых своих улыбках, физиономией, в застегнутом на все пуговицы мундирном гражданском сюртуке.

Полицеймейстер спросил меня, не желаю ли я передать чего-нибудь генерал-губернатору, и после отрицательного моего ответа удалился, обещая заезжать. Я сказал, что хочу пробыть здесь несколько дней, как для того, чтобы отдохнуть от дороги, так и для справок по своему делу.

Жандармы внесли мою поклажу и откланялись со мной; смотритель расспросил меня, чего я хочу к обеду и скоро ли, и тоже удалился.

В первый еще раз после отъезда от Аларчина моста был я в таком опрятном и веселеньком помещении, хотя, как потом оказалось, оно было во многих отношениях далеко стеснительнее для меня, чем моя тобольская конурка. Зато первое впечатление было приятно. Ничто не напоминало мне, что я в тюрьме. В окна, драпированные скромными, но чистыми белыми кисейными занавесками, ярко светило солнце, все они были заставлены цветами; в соседней комнате распевала канарейка. С десяток стульев, три стола и диван составляли меблировку комнаты. Я был доволен и тем, что уснул на диване после тюремных коек, хотя он был и жестче их соломенных тюфяков. Я принялся раскладывать свои вещи и только что успел кончить, как мне принесли заказанный мною обед (суп, жареную баранину и гречневую кашу с молоком). Кухарка смотрителя, Арина, лицо интересное. Это была небольшого роста баба, лет за сорок, с круглым апатическим, несколько обрюзгшим лицом, с повязкой на голове и вечно растрепанная. Она постоянно услуживала мне, подавала утром и вечером чай, топила печь и мела комнату.

В первый приход ко мне она была молчалива, но со второго же не делала шагу ко мне без того, чтобы не начать то вздыхать, то стонать, говоря, что вот ее какое горемычное житье, что здесь все не так, как «у нас в России». И дрова тут не такие, и печка не так устроена, и хлеба не умеют так печь, и люди не такие обходительные, и веники не такие — пол не столько выметешь, сколько насоришь.

— Ах, барин, барин! Знали бы вы только мою-то долю,— стонала она.— Вы ведь тоже российские. Сами знаете, такая ли у нас в России жизнь.

Я расспросил ее подробно, как она попала в Сибирь.

— Да ты откуда?

— Из Ярославской губернии, барин. Господские мы были, да я двенадцать лет скрывалась. Ушло нас от поме-

щика-то десять человек тогда. Управляющий больно был лютой. Ну и ушли. По разным все городам. Пашпорты себе фальшивые выправили. Я вот все по хорошим господам нанималась. В Нижнем жила, в Казани,— где в прачках, где в стряпках. Двенадцать лет так-то скрывалась.

— Замуж не вышла?

— То-то и глупа-то была, барин, что не вышла. Жила бы теперь на всей своей воле. И женихи были, да глупость все... Думала, девка все вольнее бабы, а теперь вон куда попала, в экую волюшку. Ох, ох! И тоже все от глупости от своей.

— Да как же?

— А вот поверила, стали везде говорить — воля всем господским объявлена. Я и надумала пойти на село к нам. Что ж, уж не молодой я человек! Помереть-то бы хоть любо дома-то. Ну, пришла, объявилась. Думаю, примут меня; ан, заместо того меня сюда, с арестантами, на поселенье, значит. Больше году мы, барин, шли. Вот попала как сюда, смотритель и взял меня к себе — на другой же день стряпать заставил. Скоро третий уж месяц пойдет. И как у него этакие женки живут, на каком, то есть, положении, ничего этого мне неизвестно. Жалованье, что ли, какое положится, или как. А то отправят, что ли, куда. Здешние-то вот тоже сказывают: так, говорят, тут и помрешь. Ох, барин, жизнь мне не мила стала. Уж и помирать-то, так скорее бы. И вся-то эта воля — сказывают теперь — одни сказки. Много тоже сюда господских-то гонят. А я-то, дура, и поверь! Где уж воле быть? захотели от каменного попа железной просвиры. Всех, слышь, опять на барщину посадили да пуще прежнего томят.

Если бы можно было из двух примеров выводить общее правило, я сказал бы, что смотрители тюремных замков отличаются формализмом. Иркутский смотритель был не лучше в этом отношении тобольского Захара Иваныча. Он исполнил строжайшим образом приказ полицеймейстера не допускать ко мне никого без его записки. А записок он, как после оказалось, никому не давал, кроме таких лиц, которые могли бы иметь доступ в острог и без его позволения.

В первый же день по приезде были у меня вскоре после моего раннего обеда Кретчер, а вечером Малиновский, который так обрадовал меня твоим письмом. Я ждал с та-

ким томительным нетерпением вести обо всех вас, что готов был и плакать и скакать от радости. Потом он привез мне и еще твое письмо, неделю спустя.

Кроме этих двух гостей, да еще Дадешкальяна и молодого доктора, я не видал в своей комнате никого из людей, которые могли бы мне доставить удовольствие своим посещением. Зато самым беспрепятственным входом пользовались ко мне господа, с которыми у меня не было ничего общего, как, например, временный губернатор Шелехов, инспектор врачебной управы, какой-то нелепый глухарь, да два старика, знакомых моего отца. Можно, пожалуй, к этому числу отнести и полицеймейстера, очень деликатного и развязно-глупого, да жандармского штаб-офицера, который тоже счел своим долгом навестить меня два раза. Мне рассказывали, что он после первого же визита ко мне отправился к Корсакову с просьбой позволить ему взять меня на поруки и отвести мне частную квартиру. Я уж не знаю, что подвигло его к такому поступку; но не думаю, чтобы у него был злой умысел. Мне он ничего не говорил об этом и только находил, что у меня помещение нехорошо и что вообще неприятно жить в остроге. Корсаков отказал ему, не справившись, захочу ли еще и я-то быть на поруках у жандарма.

Полицеймейстер, заехав ко мне на другой день, сообщал мне, что Корсаков поручил ему сказать мне, чтобы я отдохнул пока; кстати же теперь масленица. А на первой неделе поста рассмотрят мои бумаги, и тогда можно будет решить, куда меня назначить. Заехав вскоре еще раз, полицеймейстер сказал мне, что его осаждали просьбами о пропуске ко мне; но что он, не желая, чтобы меня кто-нибудь беспокоил посещениями (вероятно, кроме его), всем отказывал, так что уж и просить его перестали. «Знаете, все разные этакие восторженные молодые люди». Я не поблагодарил его за эту заботу о моем спокойствии.

Время в Иркутске прошло для меня очень скучно. Читать было нечего, кроме «Петербургских ведомостей». (с удовольствием прочел я здесь указ о награждении сенатора Григория Митусова орденом св. Александра Невского и мысленно поздравил его с монаршею милостью), а писать целый день я решительно не могу. Мне оставалось часто мерить из угла в угол мою комнату, как это я делал в Третьем отделении и в крепости, или развлекаться разговорами с шестилетним сыном смотрителя, Кирей.

Я думал сначала, что его зовут Кириллом; но родитель его объяснил мне как-то, что Киря есть уменьшительное не от Кирилла, а от Кирика.

— У меня, видите ли, дети всё не жили,— добавил он,— так знающие люди посоветовали: если сын родится — Кириком назвать, а дочь, так Улитой. Вот-с и назвали его Кириком. Слава богу, до сих пор мальчик здоровенький.

Только после этого объяснения обратил я внимание на один из образов в большом киоте в углу, где был изображен святой младенец Кирик с матерью своею преподобною Улитою.

Киря приходил ко мне довольно часто, рассказывал, как он ездил с отцом кататься, приносил показывать свои игрушки. Раз, забравшись на диван, ко мне за спину, в то время как я сидел с номером «Ведомостей» в руках, он принялся заигрывать со мной, дергая меня слегка за волосы, и вдруг воскликнул:

— Отчего это у тебя столько белых волос?

Это было для меня совершенною новостью. Я подошел к зеркалу и, наклонившись к нему поближе, увидал действительно значительную седину в висках, где еще недавно не было ничего на то похожего.

В pendant [1] к святым Кирику и Улите я могу сообщить тебе, что память святого Федора Тирона празднуется православною церковью 15 февраля. Это драгоценное сведение получил я от моего тобольского спутника Берникова, который явился ко мне утром этого числа, как именинник, с огромным кренделем.

Я был очень доволен его приходом не ради кренделя, а ради того, что мог побранить его за неисполнение моего поручения — отнести записку Петрашевского к Львову. Я предполагал, что она не доставлена, потому что от Львова не доходило ко мне, что называется, ни слуху ни духу. Берников уверял меня, что товарищ его, Николаев, ходил к Львову, но не застал его дома. О записке же он ничего не знал и обещал прямо от меня пойти к нему еще раз и в тот же день дать мне знать.

Действительно, он был у Львова и в этот же вечер принес мне такую записку: «Я порывался три раза к вам, но меня не пускают. Если можно будет, постараюсь на

---

[1] В дополнение (*франц.*).

первой станции с вами свидеться. С высшими властями я не в ладах. Просить их — это значит отдать себя под присмотр и помешать себе видеться с вами. В Нерчинских заводах вас ожидают, и вы будете назначены к брату на промысел; это мне известно наверно. На первое время, я думаю, вам лучше будет там, нежели в Иркутском солеваренном заводе, потому что здесь скорее могут повредить вам доносы».

Предостережение Львова было совершенно справедливо. Это я мог понять и из разговоров с другими, достойными веры лицами, посещавшими меня. По-видимому, поведение Петрашевского и Львова в деле знаменитой для Иркутска дуэли (в комнате, которую мне отвели, содержались и лица, замешанные в это дело дуэли),— поведение совершенно справедливое, потом бегство Бакунина возбудили в глазах здешнего правительства недоверие вообще к людям в таком положении, как они, отразившееся и на мне. Корсаков мог оставить меня в солеваренном заводе, но не хотел этого. Мне сказывали, что за одним праздничным обедом влиятельные лица прямо толковали, что, оставив меня в Иркутске (чего, собственно, я и сам не хотел), наживешь только неприятности. Он-де будет бронироваться здесь в свое политическое преступление, захочет играть роль в обществе, составить себе партию и проч. в этом роде. Гораздо вернее было, по-моему, тоже переданное мне мнение здешнего архиерея или архимандрита, что меня покарал бог за то, что я «хотел снять узду с женщин».

Надо было постараться увидаться с Львовым. На сухого и дрянного смотрителя в этом отношении нечего было возлагать надежду. Он берег меня, как цепная собака. Раз он вздумал не пускать ко мне даже таких посетителей, которые были уже у меня, и даже с запиской полицеймейстера. Я услыхал громкие и крупные переговоры в сенях и вышел туда. Тут смотрителю нечего уж было делать, и он впустил гостей.

Я придумал поступить вот как. Поручил смотрителю спросить у полицеймейстера позволения погулять. Это позволение было мне дано, хотя я мог выйти не иначе как в сопровождении казака во всей форме, чтобы всякий мог видеть, что это прогуливается арестант. Молодого доктора, который заезжал ко мне каждое утро, я попросил побывать у Львова и передать ему, что если он хочет видеться со мною, то выходил бы часа в три навстречу мне. Далеко уйти от

острога я не мог, но мы могли поговорить на мосту по дороге в город.

Это удалось как нельзя лучше. Я пошел в сопровождении казака и, только что вступил на мост, увидал издали небольшого господина в шинели и фуражке, который держал в руке белый носовой платок, видимо желая дать знать мне, что он меня ожидает. Не правда ли, это таинственное свидание в Иркутске больше чем смешно после тех свиданий в Петербурге, которые были позволены мне официально?

Когда мы сошлись и раскланялись, казак оказался настолько деликатен, что перешел от нас на другой тротуар моста. Мы пошли со Львовым дальше к городу, потом назад.

Мне приходится сделать по поводу свидания со Львовым такое же почти замечание, как и по поводу свидания с Петрашевским. Прежде всего о наружности: я опять-таки воображал и его не таким. Мне почему-то казалось, что он должен походить на Плещеева; но это оказался маленький худенький человек не с особенно приятным лицом, исчерченным глубокими морщинами. Все это не обличает во мне лафатеровских способностей. Представляя себе Петрашевского и Львова по тому, что было писано ими, я думал, что Львов должен быть для меня симпатичнее Петрашевского. Вышло совсем наоборот. Львов мне вовсе не понравился. Я говорю, конечно, о первом впечатлении, которое потом, может быть, изменилось бы. Ведь я пробыл с ним не более как полчаса. Мне не понравилась в нем какая-то искусственность фразы, выражения, в которых проглядывало что-то вроде фатовства. Я заметил и на нем, что он придает преувеличенные размеры своим враждебным отношениям к здешним властям. Вообще местные интересы и его вовлекли в свой узкий круг, едва ли с пользой для его общего развития. Я опять-таки скажу, что, становясь в оппозицию действиям Муравьева, они поступали честно и хорошо; но эта оппозиция принимает в их глазах совсем не те размеры и не то значение, какие представляет на самом деле.

Львов передал мне также несколько сведений об ожидающей меня в Нерчинских заводах жизни и значительно уменьшил мои опасения. Разговор у нас шел довольно отрывочный; мы не могли в такой короткий срок ни поспорить, ни поговорить о чем-нибудь серьезно.

Когда мы вернулись к концу моста, бывшему как раз против ворот нового тюремного замка, нас увидал оттуда караульный офицер и поспешно подошел. К счастию, это был хороший знакомый Львова и не сделал никакой придирки.

Больше мне уже не удалось видеться со Львовым. И это свидание устроилось лишь за три дня до моего отъезда из Иркутска.

Конец масленицы и начало великого поста <были> мне возвещены довольно оригинально. Я сидел утром в чистый понедельник за чаем, как ко мне распахнулась дверь и буквально влетел толстый, рыжеватый поп. Он поспешно поклонился мне и, не давши мне даже спросить его, зачем он, подошел прямо к переднему углу, вынул из-под своей епитрахили требник и принялся громогласно читать что-то о изъятии меня «из руки хищного Велиара» и о том, что я «в бездне греховной валяяся» вопию ко господу. Конечно, все это относилось ко мне более, чем к кому-нибудь, потому что у меня стоял на столе молочник со сливками. Поп, впрочем, заметил его, вероятно, уж потом, как отбарабанил свой урок и закончил его аминем.

— Это что же такое, батюшка? — спросил я его, когда он кончил.

— Молитва великопостная-с. Имею честь кланяться.

<— Прощайте.>

Эта великопостная молитва напомнила мне, что и моим делом теперь, вероятно, займутся по случаю конца праздников с их катаньями, вечерами и фоль-журнеями.

И точно, во вторник же приехал ко мне Шелехов с извещением от Корсакова, что я остаться в солеваренном Иркутском заводе не могу, а должен — по точному смыслу высочайшего повеления — отправиться в Забайкалье, в Нерчинский горный округ. Мне дадут лишь одного казака в провожатые и известят меня, когда все формальности будут кончены, с тем, чтобы я сам назначил день отъезда.

С этим извещением, с расчетом денег и проч. заезжал ко мне раза два советник из экспедиции о ссыльных, и я назначил днем отъезда субботу <, потому что хотел подождать еще письма из Петербурга>. Расчет мой был верен, и точно М<алиновский> привез мне накануне отъезда еще письмо твое.

Я пока осмотрел свой возок, велел починить в нем кое-что, запасся кое-чем из съестного на дорогу и переписал для отсылки к тебе сцену «Прометея». Ты, вероятно, получила ее лично вместе с письмом, от студента Р⟨ассказова⟩, которого привез ко мне К⟨ретчер⟩.

Накануне отъезда приехал ко мне полицеймейстер с приглашением от Корсакова — приехать к нему. Я заметил было, что так как я уже не остаюсь здесь и не имею никакой просьбы к генерал-губернатору, то могу, кажется, и обойтись без этого визита. Но полицеймейстер сказал мне на это, что, кажется, у Корсакова есть что-то сообщить мне,— и я решился отправиться с ним, кстати посмотрю, что за зверь.

Корсаков принял меня очень вежливо, сказал, что не может переменить высочайшего повеления, что получил письмо от С⟨уворова⟩ о делании мне всякого снисхождения и напишет в этом же смысле в Нерчинский завод к горному начальнику.

До сих пор шло ладно; но Корсаков не сумел удержаться вовремя. Он начал вдруг говорить, как дурно зарекомендовали себя политические преступники, бывшие в Иркутске, как-то Петрашевский, Львов и Бакунин, и кончил дружелюбным мне советом не ссориться с будущим моим начальством и не жаловаться на него. И во всем, что он говорил, не было ничего умного, а тут уж он показался мне совсем глупым. Я сдержал улыбку, но сказал, что, кажется, он меня слишком мало знает, чтобы выводить какие-нибудь заключения о моем характере, а относительно будущих моих действий заметил, что они будут зависеть от хода дела, а уж никак не от чьих-либо советов.

Корсаков увидал, что лучше будет просто пожелать мне счастливого пути, и сделал это. Затем проводил меня из кабинета в залу, где навытяжку дожидался полицеймейстер, и меня с ним же вернули в острог.

В Корсакове я нашел сходство с Шуваловым, не столько в лице, сколько в манере и в голосе, и это, конечно, не произвело на меня особенно приятного впечатления.

В субботу, 24 февраля, с утра уже был у меня казак; но мне пришлось еще посылать менять деньги, и я выехал только в два часа пополудни. Меня приехал проводить М⟨алиновский⟩.

XV

<ОТ ИРКУТСКА ДО НЕРЧИНСКОГО ЗАВОДА>

Казак Донской.— Остановка в Чите и визит Завалишина.— Нерчинск.— Поездка к брату.— Три дня в Нерчинском заводе.— Обратная поездка в Казаковский золотой промысел.

Жандармы, провожавшие меня из Петербурга и из Тобольска, показались бы Голиафами перед казаком, отправленным со мною из Иркутска. Несмотря на свою чисто казачью фамилию,— Донской, он едва ли бы, впрочем, был способен выказать и давидовскую храбрость. Довольно будет сказать, что он чуть не головой был ниже меня и так жидок весь, что, кажется, я бы мог свалить его одним щелчком. Такого вялого, кислого, бессловесного и, надо полагать, безмозглого существа не часто случалось мне встречать. Он мне просто опротивел на другой же день. Я спросил его, постоянно ли он в Иркутске; он ответил, что нет, а только что приехал с Амура. Я думал было порасспросить его о тамошнем житье, но он отвечал так глупо и такими общими фразами, как будто и не видал там ничего. Еще два-три вопроса, предложенные мной ему, убедили меня, что от него не добьешься никакого разумного ответа, и я уже не заводил с ним и речи во всю дорогу. Он сидел около меня словно мертвый, не шевелясь, не двигаясь: только маленький нос его выглядывал из-под огромной черной папахи, и нельзя было разобрать, спит он или нет. Единственный знак жизни, который он проявлял, это какое-то полусонное, едва внятное восклицание к ямщику, которое он повторял довольно часто:

— Попопуживай, брат, попопуживай!

Шагом ли плелся ямщик или гнал, что называется, во все лопатки, казак мой бормотал из-под своей папахи:

— Попопуживай, брат, попопуживай!

— Да ведь он и без того едет отлично,— замечал я.

Донской поправлял немного кверху свою папаху, взглядывал своими молочно-голубыми глазами, опушенными желтыми ресницами, вперед; потом папаха опять надвигалась ему на брови и на глаза, опять глядел из-под ее черных косм только один глупый нос,— и минут через пять опять раздавалось:

— Попопуживай, брат, попопуживай!

Последний переезд мой, как ты сейчас увидишь, был самою неприятною и неудобною частью моего дальнего странствия. Постоянное присутствие этого отвратительного кисляка еще более отравляло мне дорогу. Кто это только порадел мне так в Иркутске?

Уж вечером в день выезда подъехали мы к Байкалу. Переехать его было еще можно, хоть он и дал уж много трещин. Напившись на станции чаю, я тотчас отправился далее и так хорошо заснул, что не слыхал, как мы переехали Байкал. Я проснулся, как было уже почти светло и мы въезжали в село на другом его берегу.

Меня стращали еще в Иркутске, что дальше этого села я в своем возке не доеду, что там пойдет уж колесная дорога. Я уговорился с К<ретчером> отослать ему отсюда свой возок обратно в Иркутск, а тут взять оставленный кем-то тарантас. Но этого пока не понадобилось. Впереди было еще довольно снегу, и я мог продолжать путь в своем возке весь этот день до самого Верхнеудинска, куда приехал вечером. Здесь пришлось мне бросить мой возок. Это затруднило бы меня порядком, если б на станции не случился какой-то господин, ехавший в Иркутск, которому я и передал его.

Смотритель станции, поляк, был пьянехонек; с ним<, не менее пьяный, бушевал тут> какой-то его приятель. Прочитавши мою подорожную, где я был прописан государственным преступником, он и приятель его приступили ко мне с пьяными речами и начали рассказывать, что они тоже пострадали за правду. Из рассказа смотрителя оказывалось, что он хотел выслужиться и донес на своих приятелей, а приятели запутали и его. По его мнению выходило, что правительство честности не умеет ценить. Потом он принес какие-то доказательства своего дворянского происхождения и неизвестно зачем показывал мне. Приятель его сообщал тоже, что он государственный преступник; золото перевозил через китайскую границу. Я насилу отделался от этих надоедал.

Ночь уж не привелось мне спать. Тряские перекладные кибитки отбивали и грудь и спину. В продранную со всех сторон рогожу кузова свистел ветер. Тут уж «попопуживай» моего казака вывело бы меня окончательно из терпения, если бы его слушался хоть один ямщик.

Дальше, после двух станций на колесах, приходилось ехать две станции на полозьях, потом опять на колесах, и так все вперемежку. Ямщиками стали попадаться буряты с косичками позади и с особенною грацией умеющие закладывать под мышку свой бич. На станциях останавливались мы бо́льшею частью у так называемых «семейских», то есть переселенных некогда сюда семьями старообрядцев.

Следующие ночи две уже не рискнул провести в повозке и остановился ночевать в тесном и грязном уголке станционного дома, потому что места получше были уже заняты четырьмя проезжими, прибывшими раньше меня. Между прочим, тут был один молоденький морской офицер со спутником в обыкновенном платье, молчаливым, суровым на вид, белокурым молодым человеком. Оба ехали на Амур. Я вписываю эту встречу для того, чтобы ты напомнила мне при случае рассказать тебе подробно трагический конец этого белокурого господина. Я познакомился с ним в Нерчинске, потом он был и здесь, на промысле, и возвратился в Нерчинск как будто только для того, чтобы быть там зверски зарезанным.

Я отдыхал и дальше только когда дорога шла по льду и можно еще было добираться от станции к станции на санях. В кибитке же, кроме тряски, немалую неприятность доставляла пыль, которая подымалась на дороге столбом, несмотря на то, что везде кругом лежал снег.

Наконец на пятый день мы спустились с Яблонного хребта и часов в шесть приехали в столицу Забайкалья, Читу. У меня было из Иркутска письмо к одному из местных жителей, и я послал его с казаком. Этот господин скоро приехал ко мне на почтовый двор и просидел у меня весь вечер, так как я решился тут переночевать. Он предложил прислать мне для дальнейшей дороги крытую кошеву и говорил мне, что я еще до самого Нерчинского завода могу доехать на санях.

Он обещал мне дать знать о моем приезде Завалишину, и на следующее утро Завалишин пришел ко мне. Это еще чрезвычайно бодрый старик, живой и бойкий, не хуже нашего приятеля Цебрикова, но нисколько на него не похожий наружностью. В густых еще темно-русых, довольно коротко остриженных волосах его чуть заметна легкая седина; роста он небольшого, худощавый; гладко выбритый подбородок выдался немного вперед, в тонких губах заметна хитрая ирония, небольшие, точно прищуренные глаза, живые и

быстрые, нос с легкой горбиной, немного пригнутый к губам, лоб невысокий и прямой, виски зачесаны к глазам, как носили когда-то. Он вошел ко мне в длинной шубке, надетой в рукава и подвязанной и подпоясанной крест-накрест вязаным шарфом, в меховой шапке с ушами. Когда он снял все это, то остался в каком-то казакине со стоячим воротником, застегнутом сверху донизу на крючки, и в заправленных в меховые сапоги (или, по-здешнему, унты) штанах. Вообще он имел вид казака. Недаром он писал столько в защиту несчастного здешнего, созданного Муравьевым, казачества. Он и мне принялся рассказывать о положении казаков.

Когда я спросил его, отчего он не поедет в Россию, он отвечал, что не хочет ехать до тех пор, пока его не отвезут туда на казенный счет; а переписка, которую он завел по этому поводу, не привела, да и не приведет, вероятно, ни к чему. Такого же рода переписку ведет с цензурой о печатании своих статей о Сибири, и тут ничего не выходит. Вообще, он, кажется, такого характера, что не может оставаться ни минуты без какой-нибудь тревожной деятельности. В манерах, в словах постоянная какая-то беспокойная торопливость. Во всем, что он ни говорил, проглядывало как будто совершенное довольство своим положением (то есть лично за себя), участие, которое он принимает во всех местных интересах, достойно было бы лучшего предмета,— и тогда, конечно, было бы и плодотворнее. Грустно, а между тем надо признаться, что правдивые статьи Завалишина об Амуре только озлобили против него местные власти, но никого здесь не просветили и не улучшили положения несчастных переселенцев ни на волос. Не далее как в эту весну отправилось туда против желания пятьсот казачьих семей из здешних окрестностей. Все это шло как на смерть, разоренное, несчастное, словно их вели на казнь за какое-нибудь страшное преступление. Весна стояла суровая, беспрестанно грозившая возвратиться к зимним обычаям. Дули пронзительные студеные горные ветры, веяли снежные пурги, сменялись по временам морозами,— и в такую-то пору жалкий обоз потащился отсюда с женщинами, с еле прикрытыми от холода детьми. Стон стоял в этом унылом таборе. Хоть бы подождали лета-то и тепла. Но у здешних администраторов дальновидные соображения. Они принялись за переселение так рано, чтобы это несчастное новое поселение успело, прибывши на Амур, возделать ныне

же землю для себя. А о том никто не подумал, что ведь до этого надо еще где-нибудь усесться, устроить себе хоть какой кров от непогоды, хоть чем-нибудь защитить семью и детей от окончательной гибели. Вместо отдыха после этого каторжного пути надо было заняться рубкою леса, стройкою изб и уж потом разве думать о хлебопашестве. И весь этот народ был оторван уже от устроенного своего хозяйства, от готового дома и поля. Привычка смотреть на народ, как на какую-то глину, из которой можно месить что угодно, до того сильна, что теперь иркутские администраторы находят нелепыми притязания (это притязания, по их мнению) сохранить на Амуре свои человеческие и гражданские права, свое самоуправление и самостоятельный суд. «Дать копеек тридцать лишних нашим,— рассуждают государственные люди Иркутска,— так и наши пойдут». А не пойдут — предполагается при этом — так на это есть нагайки. Страх, как бы что свежее не забралось в страну и не уронило их авторитета,— вот единственный рычаг всех действий здешней власти.

Говоря о предстоящей мне жизни на Нерчинских заводах, Завалишин отзывался уж чересчур снисходительно (даже панегирически) о том обществе, в какое я попаду. Это сильно свидетельствовало о том, как успел он обжиться здесь и сжиться с тем, что человеку новому и свежему вовсе не может казаться особенно привлекательным. Судя по словам Завалишина, можно было подумать, что я попаду сразу в общество таких прогрессистов, что и не замечу, что попал в него из другого круга. «Если б знали в Петербурге,— говорил Завалишин,— сюда бы не ссылали. Это все равно, что щуку в море утопить». Да, действительно, в словах гуманности, прогресса, свободы здесь нет недостатка, но затем... Впрочем, мне совестно нападать на здешнее общество за его разлад по словам и делам. А выше-то не то ли же самое... Где же наше-то «словопренье» перешло в дело?

Мне было интересно послушать Завалишина о том, как препровождали их сюда; но он мало останавливался на подробностях этого давнего для него прошедшего и больше говорил об Амуре. Вот, однако ж, две-три черты. Завалишин следовал со второю партией. Первая была закована в кандалы, как следует. Для второй была сделана льгота и позволено было запирать цепи на замочки, так чтобы можно было их снимать по желанию. Замков в крепости не оказалось, послали на рынок, и там были приобретены маленькие

медные замочки. Многие были с разными чувствительными девизами, например: «Мне не дорог твой подарок, дорога твоя любовь», «Кого люблю, того дарю». У Завалишина были замочки именно с последнею надписью.

В Ярославле их поместили в гостинице. Они там ужинали. Так как не велено было никого допускать к ним, то разные местные жители (в том числе и власти, начиная с губернатора) поместились в коридоре со свечами в руках вместо прислуги, чтобы посмотреть, когда они выходили садиться в экипажи.

В Тобольске всю партию приютил у себя в доме губернатор. Их сводили в баню и дали хорошие постели. Но ночлег не удался. Вслед была отправлена третья партия. Съезжаться они были не должны, и ночью прискакал курьер с известием, что третья партия близко. Всех подняли с постелей и повезли далее.

Вот и все, что рассказал мне Завалишин собственно о себе.

Он остался у меня до тех пор, пока в мою новую повозку не запрягли лошадей и я не двинулся со двора. Повозке своей я был как нельзя более благодарен; я не зяб, сидеть было хорошо. Да и дорога шла очень хорошая почти до самого Нерчинска. Мы ехали все по льду, реками, и только на станциях тяжело было подыматься на берег, уже совершенно обнаженный от снега.

Мне кажется, с самого отъезда моего из Петербурга не сжималось у меня сердце такою болезненною грустью, как в то время, когда я въезжал в город Нерчинск. Это было часа в четыре дня 2 марта. Самое ли название это, или то, что печальная цель моего пути уже так близка, но я с трудом удерживал наплывавшие на глаза слезы.

Писарь в жаркой и угарной станции сказал мне, что брат мой был здесь на масленице и что ему поручено дать знать о моем приезде одному знакомому брата. Я расположился пить чай и велел ему сходить.

Через полчаса этот господин явился и пригласил меня к себе, с тем чтобы я переночевал у него. Он хотел сейчас отправить эстафету к брату известить о моем приезде и попросить его выслать лошадей на первую станцию от Нерчинска, чтобы я мог проехать к нему на Казаковский золотой промысел. Тут я узнал, что брат болен; у него отнялись ноги от простуды. Я написал тотчас же письмо к нему, с тем чтобы выехать из Нерчинска, когда он возвратится с

ответом. Вялый казак мой, разумеется, остался пассивным зрителем всего этого и делал, что я хочу.

Ответ пришел часов в одиннадцать утра на другой день, и с ним три твои письма, которых я ждал более всего. Брат, разумеется, выехал бы сам ко мне навстречу, если б болезнь не удерживала его в комнате. Я поспешил в дорогу.

На первой станции, Бянкине, куда я доехал еще довольно изрядно, меня уже ждала тройка лошадей и кучер из Казаковского промысла. Делом нескольких минут было переменить лошадей, но не так-то скоро пошла дальнейшая дорога. Она была отвратительна, шла горными хребтами, где из-под снегу торчали остроконечные камни, пни, местами и снег был сдут ветром. Только часам к семи вечера дотащился я эти без малого сорок верст. Вот спустились мы в темную падь, запахло дымом, заслышался лай собак; повозка моя миновала ряд жалких домишек, видных в потемках только по бледному огоньку в их крошечных оконцах, и наконец перед нами распахнулись ворота белого приставского дома, в котором все окна ярко светились. Брат, ожидая меня, велел зажечь свечи по всем комнатам.

Как я был рад свидеться с ним после стольких лет разлуки, как легче вздохнулось мне в этот вечер после почти трехмесячного скитанья, мне нечего рассказывать. Мы поплакали и проговорили потом за полночь.

Но ведь и тут все еще был не конец пути. Мне оставалось ехать еще двести пятьдесят верст: сделать этот путь в сутки нельзя было надеяться при здешних дорогах. Меня уже опять начали пугать, что до Нерчинского завода я не доеду на полозьях.

Следующий день я весь пробыл у брата и только на третий, после обеда, часа в три, поехал дальше. Брат говорил мне утвердительно, что я могу оставить все лишнее из своего хозяйства у него, потому что из большого завода вернусь к нему же. Там уже решили поместить меня в Казаковском промысле.

Мне остается рассказать уже очень немного. С теми же почти неудобствами, то есть с перекладками из саней в телегу и обратно, отчасти также с холодом и голодом, добрался я по горам и долам до Нерчинского завода только часов около девяти вечера на другой день.

Чтобы соблюсти все формальности, я отправился прямо к дому горного начальника и послал к нему своего казака

с бумагами и с просьбой — дозволить мне остановиться в гостинице. Казак возвратился с дозволением и с провожатым. То, что называется в Нерчинском заводе гостиницей, есть пустой небольшой дом, нанимаемый от казны для приезжающих, и на гостиницу так же мало похож, как любой дом [1].

Я только что расположился около самовара в довольно просторной, едва меблированной комнате, как ко мне приехал сам горный начальник и подтвердил мне то, что говорил брат. От меня зависело уехать из большого завода, когда я хочу. Само собою разумеется, я был этому чрезвычайно рад и сразу решил не оставаться тут более двух-трех дней.

Так я и сделал. Я познакомился в это время почти со всеми официальными лицами завода и встретил во всех большое к себе внимание. Меня каждый день приглашали на обеды и вечером на чай. Я нашел тут людей вообще довольно просвещенных, с довольно здравым взглядом на вещи, хотя, как уже заметил прежде, и не могу подтвердить преувеличенного мнения о них Завалишина. О том, что такое здешняя даль и как скоро получаются здесь сведения из метрополии, ты можешь лучше всего судить по тому, что в бытность мою в Нерчинском заводе, стало быть около половины марта, здесь не получалось еще ни одной ни петербургской, ни московской газеты от первого января.

Внешний вид завода произвел на меня самое неприятное впечатление. Все так жалко, бедно, как-то полуразрушено, ничем не скрашена эта заброшенная, глухая жизнь. Горы кругом стоят голые, неприветливые, темные лачужки раскиданы в яме, без всякого порядку, без всякой, по-видимому, мысли о каком-нибудь удобстве. Дома для горных чиновников получше других; но и они построены кое-как и не обещают долго простоять. Кроме этих домов, приезжий может приютиться только в этом ветхом сарае, который называется гостиницей. Частные дома — это избушки об одной, много двух тесных горенках. Квартиры побольше и такой, где бы можно было спастись от холода зимой или по крайней мере от простуды, нет. И все это имеет вид каких-то бивуаков, какой-то временной стоянки, перепутья. Вот-вот все

---

[1] Тут слугой был дослуживший свой срок каторжный, из помещичьих крестьян Екатеринославской губернии. Их было сослано шесть человек за то, что они наказали (как говорил он мне) помещика лозами.

снимутся с места, совьют свои шатры и откочуют дальше. А между тем, ведь это главный пункт всего горнозаводского управления в Забайкалье. Остаться жить тут было бы очень уныло для меня, и я радовался, что могу поехать обратно в Казаково.

Мой кислый казак отправился на другой же день обратно с почтой, и с ним послал я письмо к тебе для отправки его через М<алиновского> из Иркутска. Познакомившись со здешними почтами, я боюсь, что ты так и не получила его, если оставила Петербург в мае.

Обратная поездка моя к брату была уже лишена всякой официальности. Я поехал с нерчинским заводским доктором, который отправлялся по округу. Я был при нем как «будущий».

Меня официально вписали в число работников на какой-то, впрочем, другой рудник, название которого я не узнал до сей поры. Поднимать дело о переводе меня на заводы мне не посоветовали, потому что расчет годов по третьему разряду (к которому я причисляюсь) для меня гораздо выгоднее. Выходит не шесть, а четыре года, да из этого времени можно будет выкинуть еще полтора года, которые кладутся на путь сюда.

11 марта, на закате, я мог бы воскликнуть: «Берег!»,— если бы и этот берег, несмотря на все свои внешние удобства, не был все-таки если не тюрьмой, так землею изгнания.

Я начал писать этот длинный рассказ, когда горы, обступившие со всех сторон наш золотой промысел, были еще совсем голы, а лощины, где он выстроился, покрыты снегом, и дом, в котором я живу с братом, часто весь дрожал от порывистых холодных ветров, предшествующих весне. Оканчиваю его уже посреди лета. Легко сказать,— ведь уж полгода, как я простился с тобой, и три с небольшим месяца, как я на месте ссылки. С томительным нетерпением ждал я весны, следил каждый день за этими горами, за этим лугом, которые начинали зеленеть так туго, напрасно поджидая дождя. Наконец-то тучи над ними сжалились и стали поливать их. Теперь так хорошо все кругом моего жилища; зеленая падь полна цветов, горы тоже позеленели и стоят уже не сплошной темной грудой, ближайшие гряды их отделяются от дальнейших, которые чем дальше, тем голубее. Хорошо кругом, а грустно. Я по целым часам простаиваю

иногда на деревянной террасе дома, глядя и направо и налево, и меня не покидает такое точно чувство, какое внушило прекрасную немецкую песню: «Wenn ich ein Vöglein wär» [1]. Из-за этих гор идут несколько дорог к самому почти дому; но как редко, какими урывками приходят по этим дорогам дорогие вести! Кукушка не перестает кричать надрывающимся голосом, и я теперь очень хорошо понимаю, почему ссыльные ждут весной ее зова, чтобы уйти куда глаза глядят.

Дни мои скучны и однообразны, от пера к книге, от книги к перу. Но вместо книг (и какие это книги! русские журналы, доходящие ко мне урывками, где мысль напрасно напрягается найти выражение), вместо книг хочется живого слова, вместо пера хочется живого дела, живых забот. Я основал здесь школу, и каждое утро провожу часа по два с мальчиками,— и это лучшее мое развлечение. Как ходил я из угла в угол в своих тюрьмах, так брожу я часто и здесь по саду и по террасе, и с такими же почти мыслями. Не думаю, что мне было бы тяжелей, если б я возился с лопатой или погонял лошадей на так называемом разрезе, то есть на настоящей-то каторге, откуда до дому нашего доносится грохот бочки, промывающей золото, и журчанье запруженной речки.

С грустным чувством дописываю я свой рассказ. Я как будто прерываю беседу с тобой. Когда же сменится она живою беседой?

---

[1] «Если б я птичкою был» (*нем.*).



ПРИМЕЧАНИЯ

СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Добролюбов, ПСС — Н. А. Добролюбов, Полное собрание сочинений в 6 томах, М. 1934—1941.

Лемке — М. К. Лемке, Политические процессы в России 1860-х годов, М.— П. 1923.

ОЗ — журнал «Отечественные записки».

РБ — журнал «Русское богатство».

РС — журнал «Русское слово».

РСт — журнал «Русская старина».

С — журнал «Современник».

Чернышевский, ПСС—Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений в 15 томах, М. 1939—1950.

Шелгунов — Н. В. Шелгунов, Воспоминания, М.—П. 1923.

В литературной деятельности Михайлова критика и публицистика занимали важное место. П. В. Быков писал в своих воспоминаниях: «Одно время Михайлов пользовался в литературе большой популярностью не только как поэт-переводчик, но и как критик и публицист, всегда верный себе, зорко следивший за всеми явлениями литературы, искусства, общественности» («Силуэты далекого прошлого», М.—Л. 1930, стр. 152).

Объем критико-публицистического наследия Михайлова до сих пор не выяснен полностью. Многие его статьи, рецензии и очерки печатались анонимно или подписывались инициалами (М., М. М., М. Л. и т. д.). Быкову, составившему первую (и пока единственную) «Библиографию сочинений М. Л. Михайлова» (М. Л. Михайлов, Полн. собр. соч., т. I, СПБ 1914, стр. 351—380), удалось выявить далеко не все статьи писателя. В последние годы, благодаря усилиям А. В. Кушакова, А. Ф. Захаркина и С. А. Макашина, установлена принадлежность Михайлову ряда статей, печатавшихся в «Современнике» в 1852—1861 гг. (см.: М. Л. Михайлов, Собрание стихотворений. «Библиотека поэта», большая серия, Л. 1953, стр. 9, 675; «Известия АН СССР», Отд. литературы и языка, 1953, т. XII, вып. 5, стр. 417—438; «Лит. наследство», 53—54, М. 1949, стр. 478, 497). Наконец, недавно обнаружены архивные материалы, значительно расширяющие существовавшие ранее представления об участии Михайлова в критических отделах «Отечественных записок» и «Библиотеки для чтения» в 1852—1855 гг. (см. ниже).

Первые опыты Михайлова в области критики и публицистики относятся ко времени его сотрудничества в «Литературной газете» (1847—1849). Михайлов писал ее редактору В. Р. Зотову в 1847 г., что намеревается присоединить к переведенной им для газеты статье французского ученого Э. Дешанеля «Сафо и лесбосские гетеры» («Лит. газета», 1847, №№ 35, 38, 39) собственные заметки о русских переводах из Сафо (эти заметки в печати не появились). Неопубликованные письма к Зотову позволяют предполагать участие Михайлова в 1847 г. в «Петербургских

письмах» — публицистическом отделе «Литературной газеты» (см. в частности письмо от 1 сентября 1847 г.— Рукописный отдел Института русской литературы АН СССР).

Находясь в Нижнем-Новгороде, Михайлов задумывает серию «Нижегородских писем», в которых намеревался уделить «особенное внимание» общественной жизни «нашего города», как он писал в первом и единственном опубликованном письме («Нижегородские губ. ведомости», часть неофициальная, 1850, № 41).

В Нижнем-Новгороде Михайлов много занимается библиографией русской литературы, уделяя особое внимание Пушкину. В письме от 16 июля 1849 г. он предлагал редактору «Москвитянина» М. П. Погодину «чисто библиографическую статью о Пушкине», включающую варианты стихотворений (с указанием источников и первых публикаций) и стихотворения, не вошедшие в посмертное собрание сочинений Пушкина 1838—1841 гг. (Н. Барсуков, Жизнь и труды М. П. Погодина, т. X, СПБ 1896, стр. 346). Эта статья Михайлова не была напечатана; его интерес к текстологии поэзии Пушкина отразился впоследствии в фельетоне «Г-н Геннади, исправляющий Пушкина».

Постоянная журналистская деятельность Михайлова начинается по переезде его в 1852 г. в Петербург. В 1852 г. он ведет фельетон в трех периодических изданиях: «Хроника петербургских новостей и увеселений» в «Современнике» (№№ 4—8), «Разные разности» в «Отечественных записках» (№№ 5, 8—10) и «Петербургская летопись» в газете «Санктпетербургские ведомости» (май—сентябрь). В фельетонах Михайлова, носивших в основном развлекательный характер, главное место занимали разнообразные бытовые зарисовки, изображение уличной и домашней жизни Петербурга, увеселительных заведений, литературные и театральные новости. В сообщениях Михайлова о литературных явлениях ощущается определенная тенденция: в «СПБ ведомостях» он обращает внимание читателя на произведения, близкие к традициям реализма 40-х гг., рисующие быт провинции (Д. В. Григорович, Проселочные дороги; В. Крестовский (Н. Д. Хвощинская), Еще год, Сельский учитель); пародийный роман Михайлова «Камелия» (см. наст. изд., т. I, стр. 24, 542), опубликованный в «Хронике петербургских новостей и увеселений», примыкает к печатавшимся в «Современнике» пародиям Нового поэта (И. И. Панаева) на эпигонский романтизм, на камерную «чистую лирику», замкнутую в сфере узкосубъективных переживаний.

Как видно из справки Михайлова о своей литературной деятельности, составленной им в 1855 г. для историка литературы П. П. Пекарского (Рукописный отдел Института русской литературы АН СССР), в 1852—1855 годах он деятельно сотрудничал в журнале «Отечественные записки». Михайлов писал статьи-рецензии для одного из отделов этого журнала — «Смеси».

На основании этой справки устанавливается также участие Михайлова в другом отделе «Отечественных записок» — «Литературная летопись». Михайлову принадлежат анонимные рецензии на издания: «Театрал. Карманная книжка для любителей театра», «Сочинения Антония Погорельского», «Путевые заметки, Повесть Т. Ч.», «Отчет имп. Публичной библиотеки за 1853 г.» (*ОЗ*, 1853, №№ 2, 9; 1854, № 1, 5). Михайлов внимательно следил за распространением русской литературы за рубежом; этому вопросу были посвящены его анонимные рецензии: «Статья г. Сен Жюльена об И. А. Крылове», «Перевод стихотворений Лермонтова на немецкий язык», «Еще о переводе стихотворений Лермонтова на немецкий язык» (обе рецензии — о переводах Ф. Боденштедта) и о «Belletristische Blätter aus Rußland» («Беллетристические заметки из России», *ОЗ*, 1852, №№ 10—12, 1853, № 8). Эта группа рецензий завершалась подписанной Михайловым статьей «О новых переводах с русского языка на немецкий. Письмо к редактору «Отечественных записок» (*ОЗ*, 1854, № 3), в которой Михайлов писал о молодом и тогда еще мало известном переводчике и популяризаторе реалистической русской литературы в Германии Августе фон Видерте. В статье сообщалось также о переводах Гоголя и Лермонтова на европейские языки.

В 1854 г. началось почти двухлетнее сотрудничество Михайлова как критика в «Библиотеке для чтения». Один из редакторов журнала А. В. Старчевский, стремясь поднять авторитет издания, стяжавшего печальную славу своей безыдейностью и беспринципностью, создать видимость перемены его направления, пригласил нескольких новых сотрудников, в числе которых был и Михайлов. Бедственное материальное положение молодого писателя вынудило его принять это предложение, в результате чего он был поставлен в тяжелую зависимость от Старчевского и издателя журнала В. П. Печаткина. Как вспоминал С. Максимов, познакомившийся с Михайловым в это время, в «Библиотеке для чтения» Михайлов «считал себя случайно забредшим гостем» и «лучшие свои вещи непременно отдавал в «Современник», который был для него, не на одних словах только, некоторым святилищем» (С. Максимов, За А. Ф. Писемского. «Новое время», 1889, № 4880).

В «Библиотеке для чтения» была опубликована в 1854 г. серия статей Михайлова «Старые книги. Путешествие по старой русской библиотеке», его рецензии на работу Н. Булича «Сумароков и современная ему критика» (1854, № 5), на собрание сочинений беллетриста В. А. Вонлярлярского (1855, № 1) и др.

Как установил Б.Ф. Егоров на основании архивных разысканий, Михайловым за период сотрудничества в «Библиотеке для чтения» была написана значительная часть ежемесячных обзоров «Журналистика», которые помещались в журнале с сентября 1854 г. (см.: Б. Ф. Егоров,

Критическая деятельность А. И. Рыжова. «Труды по русской и славянской филологии», т. I, Тарту, 1958).

В своих статьях, рецензиях и обзорах Михайлов ограничивался кругом чисто литературных вопросов, следуя обычно демократическим тенденциям критики 50-х гг. Характерно, что Старчевский в своих воспоминаниях называл статьи Михайлова в числе произведений, которые не нравились другому редактору журнала, известному своими реакционными взглядами, О. И. Сенковскому; их опубликование вызывало столкновения между двумя редакторами (см. «Исторический вестник», 1891, сентябрь, стр. 591). Критическая деятельность Михайлова прервалась в связи с его отъездом в литературную экспедицию в начале 1856 г. Впоследствии в «Библиотеке для чтения», выходившей уже под редакцией А. В. Дружинина, он опубликовал лишь одну статью — «Биографические заметки о Гейне» (1858, №№ 6 и 7).

С 1858 г. Михайлов активно выступает как публицист революционно-демократического направления. Все его публицистические произведения печатаются только в «Современнике».

В 1858 и 1859 гг. были опубликованы его очерки, отразившие впечатления первой заграничной поездки: «Парижские письма» и «Лондонские заметки». Результатом второй заграничной поездки (1861) явились очерки «Из Берлина» и «Страх врагам» (*С*, 1861, № 8); в последнем писатель осмеял националистическое движение в Германии, носившее в то время внешне безобидную форму гимнастических союзов. В 1860-х гг. в том же журнале печатается серия статей Михайлова по женскому вопросу, над которыми он работал с 1858 г.: «Женщины, их воспитание и значение в семье и обществе»; «Джон Стюарт Милль об эмансипации женщин», «Женщины в университете» (1860, № 11; 1861, № 4); «Уважение к женщинам» (1866, №№ 2, 3, посмертно).

В 1861 г. в 4 и 5-м номерах «Современника» Михайлов помещает обозрения иностранной литературы и журналистики; в них он приводил выдержки из появившихся в иностранных журналах статей, посвященных «общеинтересным вопросам». Особенно следует отметить обозрение «Экономия и чувствительность» (№ 5), где, используя материалы французских журналов, Михайлов писал о положении лионских ткачей, о труде и капитале, о буржуазии и пролетариате на Западе и подводил читателя к выводу о необходимости социальных преобразований. Это обозрение Михайлова было написано для серии статей, с которой «Современник» выступил против немецкого буржуазного экономиста Гильденбранда, пытавшегося «опровергнуть» работу Ф. Энгельса «Положение рабочего класса в Англии» (см.: М. Н. П е у н о в а, Общественно-политические и философские взгляды Н. В. Шелгунова, М. 1954, стр. 35—36).

Литературно-критические статьи Михайлова 1859—1860 гг. публиковались в «Современнике», где он в это время заведовал отделом «Ино-

странная литература», и в журнале «Русское слово», редактором которого в 1859 г. был друг Михайлова Я. П. Полонский. По свидетельству Шелгуновых, Михайлов принимал активное участие в редакционных делах этого журнала. В 1861 г. статьи Михайлова печатались только в «Современнике».

В статьях-рецензиях на новые произведения русской литературы и искусства 1858—1861 гг. Михайлов поднимал важные с точки зрения революционно-демократического лагеря вопросы идейности искусства, сущности реализма, народности писателя, характера современного искусства и поэзии и др. («Художественная выставка в Петербурге», «Горькая судьбина». Драма А. Писемского», «Кобзарь» Тараса Шевченка», «Стихотворения А. Н. Плещеева»).

Тесно связаны с литературно-общественной борьбой тех лет и статьи Михайлова, посвященные иностранной литературе. Шелгунов впоследствии писал: «Михайлов был ходячая библиография иностранной литературы; не было такого поэта или романиста или беллетристического сочинения, которого бы он не знал. Как Чернышевский знал все в политической, философской и экономической литературе и истории, так Михайлов чувствовал себя дома в иностранной и русской изящной литературе» (*Шелгунов*, стр. 30).

В своих статьях Михайлов знакомил читателя с наиболее значительными явлениями современной прогрессивной зарубежной литературы. Статьи «Джорж Элиот» и «Новый роман Джоржа Элиота» (*С*, 1859, № 11; 1860, №9) были посвящены лучшим произведениям этой выдающейся английской писательницы-реалистки, романам «Адам Бид» (1859) и «Мельница на Флоссе» (1860); «Американские поэты и романисты» (Там же, 1860, №№ 10, 12) — замечательному мастеру американской прозы Н. Готорну и крупнейшему американскому поэту Г. Лонгфелло; «Юмор и поэзия в Англии. Томас Гуд» — демократическому английскому поэту, изобразившему нужду и страдания пролетариата. В обозрении «Иностранная литература» (*С*, 1861, № 4) Михайлов писал о журналистской деятельности Диккенса и Теккерея, о народных рассказах немецкого демократического писателя Б. Ауэрбаха и т. д. Выдающемуся французскому поэту-романтику была посвящена статья «Последняя книга Виктора Гюго».

В этих статьях, которые сам Михайлов называл «библиографическими», он излагал содержание произведений, приводя переводы значительных отрывков из них, и давал этим произведениям свою оценку, выделяя то, что считал наиболее существенным в творчестве данного писателя. Так, в романах Элиот он подчеркивал демократическую направленность и гуманистический дух, продолжающие лучшие традиции английского критического реализма, и в то же время отмечал присущее писательнице стремление к компромиссному разрешению конфликтов; в творчестве

Готорна его привлекал пафос морального обличения буржуазного общества; отрицательно относясь к «романтическим наклонностям» Лонгфелло, Михайлов особо выделял его стихотворение «Excelsior!» и «Песни о невольничестве» — произведения, в которых слышится «строгий голос гражданского чувства». В «Русском слове» была напечатана первая статья Михайлова из цикла «Современники Шекспира» (*РС*, 1860, №8), который он намеревался написать, используя одноименный труд немецкого переводчика Ф. Боденштедта. Эта статья была посвящена творчеству драматурга английского Возрождения Джона Форда; дальнейшие статьи не появились, вероятно, в связи с прекращением сотрудничества Михайлова в «Русском слове».

К статьям о зарубежной литературе примыкает значительное число рецензий Михайлова на издания переводных произведений и сборники стихотворений поэтов-переводчиков: «Сочинения Э. И. Губера» (*РС*, 1859, № 10), «Шиллер в переводе русских писателей»; «Стихотворения Ф. Б. Миллера» (Там же, 1859, № 12), «Фауст». Трагедия Гете. Перевод Н. Грекова»; «Переводы и подражания Н. В. Берга» (Там же, 1860, № 6), две рецензии на «Песни и думы из Гейне. Перевод А. Мантейфеля» (*РС*, 1860, № 8; *С*, 1860, № 11); «Сборник стихотворений иностранных поэтов. Перевод В. Костомарова и Ф. Берга» (*С*, 1860, № 12). В некоторых из этих рецензий Михайлов разрабатывал теоретические основы переводческого искусства.

В 1859—1861 гг. Михайлов часто использовал форму рецензии и критической статьи для пропаганды передовых общественно-политических взглядов. Это особенно сказалось в рецензиях: «Записки современника с 1805 по 1819 г.» (*РС*, 1859, № 11), «Задушевная исповедь Н. Макарова», «Сочинения Д. В. Давыдова» (Там же, 1860, №№ 1, 6), и особенно в упоминавшейся статье «Последняя книга Виктора Гюго». С передовых позиций революционно-демократической этнографии и фольклористики написаны рецензии Михайлова на две книги «Пермского сборника» (*РС*, 1859, № 10; 1860, № 5) и «Песни, собранные П. В. Киреевским» (Там же, 1860, № 11).

Отдельные заметки Михайлова посвящены филологическим вопросам: текстологии — «Г-н Геннади, исправляющий Пушкина»; «Сочинения Лермонтова, привел в порядок С. С. Дудышкин» (Там же, 1860, № 5), «Заметки о Лермонтове. По поводу нового издания его сочинений» (*С*, 1861, № 2), комментированию литературных памятников — «Песни Анакреона в пер. Баженова», «Аксель. Повесть Исайи Тегнера» (Там же, 1861, № 8).

Следует отметить, что темы статей и рецензий, которые помещали Михайлов в «Русском слове» и Добролюбов в «Современнике», часто совпадали. Однако в отдельных случаях точки зрения двух критиков и их оценки расходились. Так, полемичной по отношению к рецензии Михай-

лова на книгу либерального экономиста И. Бабста «От Москвы до Лейпцига» (*РС*, 1859, № 9) была соответствующая рецензия Добролюбова (*С*, 1859, № 11). Михайлов положительно оценивал рецензируемую книгу, Добролюбов же отнесся к ней резко отрицательно, обнаружив более глубокое проникновение в сущность социально-политических явлений, большую последовательность в борьбе с либерализмом, в требовании реформ «общих и решительных». Разошлись Михайлов и Добролюбов и в оценке народной драмы Писемского «Горькая судьбина» (см. прим. к этой статье в наст. томе).

В первых трех томах «Энциклопедического словаря, составленного русскими учеными и литераторами» (СПБ 1861), Михайлов, редактировавший отдел «словесных наук», поместил 63 свои статьи; наиболее крупные из них: «Аблесимов А. О.», «Авдеев М. В.», «Автобиография», «Аддисон Джозеф», «Азбука», «Айнсворт», «Александрийская библиотека», «Аллегория», «Альгаротти Франческо». Сотрудничество Михайлова в словаре прервалось в связи с его арестом.

Статьи Михайлова, за исключением посвященных женскому вопросу, до сих пор не переиздавались. В настоящем томе сделана попытка собрать лучшие из них и показать многообразие его критико-публицистической деятельности. Все статьи печатаются по тексту первых журнальных публикаций. Случаи, когда они были подписаны полным именем автора, не оговариваются. Не оговаривается так же принадлежность Михайлову переводов в тексте статей.

Комментарии к статьям составили: М. И. Дикман (вводная заметка, «Последняя книга Виктора Гюго», «Горькая судьбина». Драма А. Писемского»), Ю. Д. Левин (вводная заметка, «Шиллер в переводе русских писателей», «Фауст». Трагедия Гете. Перевод Н. Грекова», «Юмор и поэзия в Англии. Томас Гуд», «Лондонские заметки») и П. С. Рейфман («Старые книги. Путешествие по старой русской библиотеке», «Художественная выставка в Петербурге», «Кобзарь» Тараса Шевченка», «Г-н Геннади, исправляющий Пушкина», «Стихотворения А. Н. Плещеева», «Парижские письма», «Женщины, их воспитание и значение в семье и обществе», «Из Берлина»).

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

СТАРЫЕ КНИГИ. ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СТАРОЙ РУССКОЙ БИБЛИОТЕКЕ

Печатается по «Библиотеке для чтения», 1854, № 2.

В 1850-е гг. заметно усилился интерес к библиографии. Ни одно десятилетие XIX века не выдвинуло столько выдающихся библиографов, как 50-е гг. (см. Н. В. Здобнов, История русской библиографии до начала XX века, М. 1951, стр. 254). При этом значительная часть литературоведов, занявшихся в это время библиографическими разысканиями, увлекалась библиографией старинных русских книг (П. П. Пекарский, А. Н. Афанасьев и др. Подробно о библиографии 50-х гг. см. в вышеназванной книге Здобнова).

Михайлов с библиографических обзоров начал свою литературно-критическую деятельность. В конце 40 — начале 50-х гг. он много занимался библиографическими разысканиями. В 1849 г., предлагая Погодину библиографическую статью о Пушкине, он писал:«...русская библиография принадлежит к любимым моим занятиям» (Н. Барсуков, Жизнь и труды М. П. Погодина, кн. 10, СПБ 1896, стр. 346).

Публикуемая статья — первая из трех библиографических статей «Старые книги». В двух следующих статьях Михайлов знакомил читателей с историей книгопечатания в Европе и России и давал подробный обзор книги про Ивана-Гостиного сына (см. «Библиотека для чтения», 1854, №№ 5, 9). Из неопубликованных писем Михайлова к Старчевскому (хранятся в архиве Института русской литературы АН СССР) явствует, что Михайлов написал четвертую статью «Старые книги», которая в печати не появилась, а также хотел в 1855 г. продолжить публикацию статей о старых книгах, но уже в «ином плане». Эти намерения ему выполнить не удалось.

Стр. 7. *Нодье* Шарль (1780—1844) — французский писатель и литературовед. Эпиграф взят из его книги «Mélanges tirés d'une petite bibliothèque» («Литературная смесь, извлеченная из одной маленькой библиотеки», Париж, 1825).

Стр. 8. *Пеньйо* Этьенн-Габриэль (1767—1849) —французский филолог и библиограф.

Ла-Брюйер Жан (1645—1696) — французский писатель-сатирик, автор книги «*Характеры*, или нравы этого века» (1688).

Стр. 9. *Сен-Симон* Луи (1675—1755) — писатель, политический деятель. После смерти Сен-Симона часть его рукописей была напечатана под названием «Ecrits inédits de Saint Simon» («Неизданные *записки* Сен-Симона», Париж, 1881—1893).

Стр. 10. *Расин* Жан (1639—1699) — французский драматург.

Дюма Александр (1803—1870), *Сю* Эжен (1804—1857) — французские писатели, авторы авантюрных романов для «легкого чтения».

Карамзин Н. М. (1766—1826) — писатель-сентименталист и историк, автор «*Истории государства российского*» (1803—1826).

Сопиков В. С. (1765—1818) — библиограф, автор «*Опыта российской библиографии*» — пособия по русской библиографии XVIII в.

Стр. 11. *Рашель* — сценическое имя Элизы Феликс (1821—1858), французской трагической актрисы.

Донон, *Дюссо* — петербургские рестораторы.

Beatus ille...—начало одного из стихотворений *Горация* Флакка Квинта (65—8 до н. э.), римского поэта.

Стр. 12. «*Юрий Милославский*» — псевдоисторический роман М. Н. Загоскина (1789—1852).

«*Семейство Холмских*» — роман Д. Н. Бегичева (1786—1855).

«*Непостоянная фортуна, или Похождения Мирамонда*» — роман Ф. А. *Эмина* (1735—1770).

«*Несчастный Никанор, или Приключение жизни российского дворянина Н.*» — повесть писателя XVIII в. Матвея Комарова.

Стр. 13. *Измайлов* А. Е. (1779—1831) — писатель и баснописец.

Захарьин П. М. (1750—1800), *Чулков* М. Д. (1743—1792) — писатели.

Ростопчин Ф. В. (1763—1826) — политический деятель и писатель реакционного лагеря.

«*Таинственный монах*» — псевдоисторическая повесть писателя и журналиста реакционного лагеря Р. М. *Зотова* (1795—1871).

Стр. 14. *Барбье* Антуан-Александр (1765—1825) — французский библиограф. Михайлов цитирует его заметку «Bibliographie» («Библиография») в «L'Encyclopédie moderne» («Современной энциклопедии») Куртена (1824—1833, т. 4, стр. 391—392).

Стр. 16. *Даламберт* — Д'Аламбер Жан (1717—1783) — французский философ, математик и просветитель.

Галль Франц-Иосиф (1758—1828) — австрийский врач и анатом, пытавшийся на основе изучения строения мозга сделать выводы о психических функциях его отдельных частей.

Стр. 17. *Полидор Виргилий Урбинский* (1470—1555) — итальянский ученый-богослов.

Стр. 19. *Авл Геллий* (II в.) — римский писатель.

Юлий Павл (умер ок. 222) — римский юрист.

Фабий Пиктор (родился ок. 254) — римский историк.

Шевилье Андре (1636—1700) — французский ученый, библиотекарь и библиограф, автор книги «Origine de l'imprimerie de Paris» («Возникновение книгопечатания в Париже», 1694).

Ювенал Децим Юний (I—II вв.) — римский поэт-сатирик.

Мерула Гиоргио (ок. 1431—1494)—итальянский филолог и историк.

Михаил Фернус (ум. 1513) — итальянский историк и биограф.

Пико-де-ла-Мирандола Джованни (1463—1494) — итальянский ученый эпохи Возрождения.

Стр. 20. *Беллармино* Роберто (1542—1621) — итальянский богослов.

...Ф. Гарция...его сочинение...— богослов XVI в. Имеется в виду его сочинение «Обзор учения святого Фомы».

Лэ Эдуард (1602—1671) — английский теолог.

Альд Мануций (1448—1515) — итальянский типограф.

«Комментарии» Стефана Долета.— Имеется в виду, по-видимому, книга «Commentariorum linguae latinae» («Комментарий к латинскому языку», 1536—1538) французского ученого периода Возрождения Этьенна Доле (1509—1546).

Скалигериана (Скалигерана) — две книги высказываний и бесед французского ученого, филолога и критика Жозефа-Жюста Скалигера (1540—1609), записанных и собранных его знакомыми.

Кардан — Джероламо Кардано (1501—1576), итальянский математик, философ, врач.

Васкосан Мишель (1500—1576) — французский типограф.

Будей Гильом (1467—1540) — французский ученый, автор трактата «*De asse* et partibus ejus» («О монете и ее частях»).

Стр. 21. *Малерб* Франсуа (1555—1628) — французский поэт-классицист. Цитируются строки из стансов к дю-Перрье на смерть его дочери («Consolation sur la mort de sa fille»).

Дю-Перрье (1588—1667) — французский юрист.

Стр. 22. *В альманахе, где была впервые напечатана эта баллада...*— в альманахе «Северные цветы на 1825 год»; в современных изданиях авторский текст восстановлен.

Лаланн Мари-Людовик (1815—1898) — французский библиограф и археолог. Михайлов использует его книгу «Curiosités bibliographiques» («Библиографические курьезы», Париж, 1845).

Стр. 23. *Тредиаковский* В. К. (1703—1769) — поэт, ученый, переводчик.

Эразмовы разговоры — имеются в виду изданные в 1716 г. на русском и голландском языках отрывки из книги нидерландского гуманиста Эразма Роттердамского (1466—1536) «Colloquiorum familiarum» («Дружеские разговоры», 1559).

Поликарпов Ф. П. (ум. 1731) — писатель, переводчик, общественный деятель, редактор и директор первой русской типографии в Москве.

Варениева генеральная география — книга «Geographia generalis» (Амстердам, 1650) английского ученого Бернхарда Варенуса.

Стр. 24. *Камерарий*—чиновник, стоявший во главе камеры—учреждения, ведавшего доходами короля или папы.

Вельс (Уэльс) — юго-западная часть Великобритании.

Овен Джон (1566—1622) — новолатинский поэт, живший в Уэльсе.

Вергилий Марон (70—19 до н. э.) — римский поэт, автор «Энеиды».

Стр. 25. *О регуле* — о правилах.

Цевница — музыкальный инструмент, род флейты.

Ветров вина — здесь: сведения о ветрах.

Стр. 26. *Ареопагиты* — члены ареопага, высшего судебного органа в древних Афинах.

Люструм — очистительное жертвоприношение, совершавшееся в древнем Риме раз в пять лет.

Хартия — здесь: бумага из папируса.

Пиррическое ристание — конное состязание в древней Греции.

Школа бомб — здесь: палестра, школа для физических упражнений в древней Греции.

Тавлея — игра в шашки.

Стр. 27. *Пенязь* — здесь: деньги.

Стр. 28. *Новиков* Н. И. (1744—1818) — просветитель, издатель, журналист.

Стр. 29. *Мы не считаем лишним привести...*— Михайлов цитирует Полидора Виргилия с небольшими пропусками.

Стр. 30. *Анаксагор* (ок. 500—428 до н. э.)— древнегреческий философ, непоследовательный материалист.

Пизистрат (ок. 600—527 до н. э.) — тиран в древних Афинах.

Иосиф Флавий (ок. 37 — ок. 95) — еврейский историк и военачальник, автор сочинения «*Против Аппиона*» (александрийского грамматика, обвинявшего евреев в том, что они не чтут римского императора как бога).

Халдеи — семитский народ, живший в устье Тигра и Ефрата, на северо-западном берегу Персидского залива.

Ксеркс — царь древней Персии (V в. до н. э.), предпринявший в 480 г. до н. э. неудачный поход против греков.

Селевк I Никатор (конец IV—начало III в. до н. э.)—правитель древней Сирии.

Птоломеи — династия, царствовавшая в Египте в IV—I вв. до н. э. *Александрийская библиотека* была основана Птоломеем I (IV в. до н. э.) и расширена Птоломеем II (III в. до н. э.); сильно пострадала в 47 г. до н. э. от пожара.

Страбон (ок. 63 до н. э. — 20 н. э.) — греческий географ и историк.

Аристотель (384—322 до н. э.) — греческий философ, непоследовательный материалист.

...философы сократовы, эраст и корикс...— философы школы Сократа (469—399 до н. э.), греческого философа-идеалиста.

Феофраст (Теофраст) (372—287 до н. э.) — греческий философ и естествоиспытатель, любимый ученик Аристотеля, получивший в наследство его библиотеку.

Пергам — город в Малой Азии, в III—II вв. до н. э. центр Пергамского государства.

Плиний Гай старший (23—79) — римский писатель и историк.

...асинии и поллии...— Азиний Поллион (75 до н. э.— 4 н. э.), римский поэт, историк, военачальник.

Стр. 31. *Речь посполитая* — здесь: республика.

Федерик Фелтрии — герцог Урбинский Федериго Монтефельтро (ок. 1410—1482).

Гвидо князь — герцог Урбинский Гвидо Убальдо (1472—1508).

Стр. 32. *Иоанн Гутенберг* (1400—1468) — изобретатель набора из подвижных букв, положившего начало широкому распространению книгопечатанья.

Могунция.—Майнц, город в Германии, в котором работал Гутенберг.

Конрад Свенгейм — видимо, ученик Гутенберга, основавший в середине XV в. типографию в Италии.

Николай Иенсон — один из лучших типографов второй половины XV в., француз, посланный в Майнц учиться типографскому делу, а затем основавший типографию в Венеции.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА В ПЕТЕРБУРГЕ

Печатается по *С*, 1859, № 7. Подпись: М.

Оценивая академическую художественную выставку 1859 г., Михайлов вместе с тем откликается на полемику, возникшую вокруг известной картины А. А. Иванова (1806—1858) «Явление Христа народу» («Явление Мессии»). Отход Иванова от классицистических канонов, приближение к новой, реалистической системе живописи, стремление передать сложность человеческих чувств, многообразие красок живой при-

роды — все это не было понято и должным образом оценено большей частью тогдашней художественной критики. Картина Иванова на академической выставке 1859 г. не была отмечена даже похвальным отзывом. Многие рецензенты резко осуждали Иванова за то, что якобы исполнение картины «вышло отчасти холодным, вымученным, лишенным жизни, вдохновения», что она — «только уклонение художника от самого себя» (см. В. Зотов, Иванов и его картины, «Северное сияние», 1862, т. 1; В. Толбин, О картине Иванова, «Сын отечества», 1858, № 25; Г. Д—с, Иванов и Брюллов перед судом И. С. Тургенева, «Светоч», 1861, № 9).

Революционно-демократическая критика выступила в защиту Иванова и его произведения. А. И. Герцен отмечал, что Иванов «один из лучших деятелей», писал о нем, как об «истинном художнике русском» («Колокол», 1858, № 22; А. И. Герцен, Полн. собр. соч., т. IX, П. 1919, стр. 308, 312). Высоко ценила творчество Иванова редакция «Современника». В 1858 г. в журнале (№ 11) была опубликована «Переписка Н. В. Гоголя с А. А. Ивановым», сопровождавшаяся обширными примечаниями П. А. Кулиша, весьма положительно оценивавшего творчество художника. В этом же номере «Современника» Чернышевский писал, что со смертью Иванова «мы потеряли... великого художника и одного из лучших людей» («Заметка по поводу предыдущей статьи». *Чернышевский, ПСС*, т. V, стр. 339). Таким образом, положительная оценка Михайловым картины Иванова отражает отношение к творчеству художника всей демократической критики.

Стр. 34. «*Раздался звук вечевого колокола...*»—первые строки повести «Марфа-посадница» Н. М. Карамзина (см. прим. к стр. 10), автора повестей «*Бедная Лиза*» и «*Фрол Силин*».

Стр. 35. «*Казак Луганский*» — псевдоним В. И. Даля (1801—1872), писателя и лексикографа. В его произведениях большое место занимает этнографическое описание быта народа. Такого рода отображение народной жизни подвергалось в 50-е гг. суровой критике со стороны революционных демократов, требовавших от писателей более глубокого проникновения в жизнь народа (см. напр. Н. А. Добролюбов, Народные русские сказки, 1858).

Зурбаран (Сурбаран) Франсиско (1598—1664) — испанский живописец, автор картин на религиозные сюжеты.

Жерар Доу (1613—1675), *Метсу* Габриэль (1629—1667) — голландские художники-жанристы.

Стр. 36. *Инкунабулы*—первые книги, отпечатанные с наборных форм.

Стр. 37. *Тютрюмов* Н. Л. (1821—1877) — художник-портретист, уделявший в своих картинах большое внимание изображению внешних аксессуаров.

Орлов П. Н. (1812—1864), *Бутковский* Г. Я., *Невзоров* П. И. —художники.

Хлебовский Станислав (род. 1835) — художник-жанрист. Упоминаемая Михайловым его картина была отмечена первой золотой медалью.

Ватто Жан-Антуан (1684—1721) — французский живописец, один из основоположников стиля рококо.

Худяков В. Г. (1826—1871) — художник, автор подражательных картин из итальянской жизни.

Сверчков В. Д. (1820—1888) — художник, живописец на стекле.

Стр. 38. *Миерис* Франс (1635—1681), *Каспар Нечер* (1639—1684)— голландские художники.

Зарянко С. К. (1818—1870) — живописец-портретист, развивавший традиции А. Г. Венецианова. Демократическая критика, отмечая талант художника, осуждала Зарянко за отсутствие в его картинах общественного содержания, за излишнее внимание к деталям. На выставке 1859 г. экспонировалась картина Зарянко «Портрет графа Н. Н. Строганова».

Маляренко Д. П. (1824—1860) — художник-портретист; на выставке экспонировался его «Портрет Г. Воронина».

Князь Черкасский С. П. (род. 1827), *Дмитриев-Мамонов* Э. А. (1823—1883) — художники-портретисты. Последний выставил в 1859 г. «Портрет генерала от артиллерии А. П. Ермолова» и «Портрет Н. П. Ермолова».

Стр. 39. *Хвощинская* С. Д. (1828—1865) — писательница и художница.

Попов А. А. (1832—1896) — художник-жанрист, автор талантливых картин из русского быта (в их числе и «*Внутренность харчевни*»). Побывав позднее в Западной Европе, увлекшись искусством Франции и Италии, Попов утратил свою оригинальность и характерность.

Мясоедов Г. Г. (1835—1911) — художник-реалист, активный участник и организатор выставок «передвижников». «*Пряха*» — одна из его ранних картин. Говоря о ней, Михайлов допускает неточность: на выставке 1859 г. картина была отмечена второй серебряной медалью.

Стр. 40. «*Весельчак*» — петербургский сатирический журнал (1858—1859), известный нападками на «Современник». Прекратился из-за недостатка подписчиков.

Пржецеславский К. Л. (род. 1828), *Шильдер* Н. Г. (1828—1898) — художники.

Якоби В. И. (1836—1902) — художник, автор жанровых и исторических картин. Картины Якоби и Пржецеславского были отмечены первыми серебряными медалями, картина Шильдера — второй золотой.

Стр. 41. *Ари Шеффер* (1795—1858) — французский живописец.

Корнелиус Петер (1783—1867) — немецкий художник, известный своими иллюстрациями к «Фаусту».

Каульбах Вильгельм (1805—1874) — ученик Корнелиуса, иллюстрировавший Шекспира, Шиллера, «Рейнеке Лиса» Гете.

Зотов И. Г., *Песков* М. И. (1834—1864) — художники.

Савояр — житель Савойи, области на юго-востоке Франции.

Стр. 42. *Мурильо* Бартоломе Эстеван (1617—1682) — испанский живописец; помимо картин на религиозные сюжеты, создал серию бытовых картин из жизни бедноты.

Барон Клодт фон Юргенсбург М. К. (1835—1914) — автор жанровых картин, офортов.

Дузи Козрое (1803—1859) — венецианский художник, писал портреты, картины на исторические темы. В 1839—1844 гг. работал в России.

Стр. 43. *Моллер* Ф. А. (1812—1874) — художник, автор известного портрета Н. В. Гоголя.

...нагую грацию древних Антиноев и Венер.— Антиной (ум. 130) — юноша необычайной красоты, изображения которого часто встречаются среди памятников античной пластики. Венера — богиня любви и красоты (*римск. миф.*); в античном искусстве ее образ был воплощением идеальной женской красоты.

Богомолов А. С. (1830—1867), *Лагорио* Л. Ф. (1827—1905), *Мещерский* А. И. (1834—1902) — художники-пейзажисты.

Калам Александр (1810—1864) — швейцарский художник-пейзажист.

ШИЛЛЕР В ПЕРЕВОДЕ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ, ИЗДАННЫЙ ПОД РЕДАКЦИЕЮ Н. В. ГЕРБЕЛЯ

Печатается по *РС*, 1859, № 11. Подпись: М. Л.

Издание собрания сочинений Шиллера в переводе русских писателей, осуществленное Н. В. Гербелем в 1857—1861 гг., явилось событием в культурной жизни России. Произведения Шиллера переводились на русский язык с 90-х гг. XVIII в. («Разбойники», 1793). Огромное значение имели переводы В. А. Жуковского из Шиллера (публиковались с 1807 г.), которые были высоко оценены Белинским (см. В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. VII, М. 1955, стр. 167). Жуковский перевел из Шиллера сравнительно немного: около тридцати лирических стихотворений и баллад и драматическую поэму «Орлеанская дева» (1821), но именно благодаря этим переводам Шиллер стал в России «своим поэтом, участником в умственном развитии нашем» (*Чернышевский, ПСС*, т. IV, стр. 505). После Жуковского к поэзии Шиллера стали обращаться многие русские поэты.

Гербель отобрал для издания «Шиллер в переводе русских писателей» лучшие из ранее опубликованных переводов; большинство же переводов было сделано по его заказу. Многие стихотворения Шиллера были представлены в нескольких переводах. В числе переводчиков Гербель привлек и Михайлова (см. т. I наст. изд.).Издание состояло из 9 томов: тт. I, II — «Лирические стихотворения», тт. III—VII — «Драматические сочинения», т. VIII — «Разные сочинения», т. IX — «Исторические сочинения». Впоследствии собрание сочинений Шиллера под редакцией Гербеля переиздавалось с дополнениями шесть раз (6-е и 7-е издания вышли после смерти редактора).

Выход в свет собрания сочинений Шиллера в русском переводе был встречен с одобрением критиками различных направлений. Приветствовал его и революционно-демократический «Современник». Чернышевский в своей рецензии (*С*, 1857, № 1) высоко оценивал Шиллера как поэта благородных гуманистических идеалов, протестовавшего против деспотизма во имя новой, лучшей действительности, и подчеркивал актуальное значение его творчества для современности. «Пора такой поэзии не прошла и никогда не пройдет,— писал Чернышевский,— пока человек будет стремиться к чему-нибудь лучшему, нежели окружающая его действительность» (*ПСС*, т. IV, стр. 507). Н. А. Добролюбов, также одобрявший «полезное предприятие г. Гербеля», откликнулся тремя рецензиями на выход отдельных томов издания (*С*, 1857, № 12; 1858, №№ 7, 12).

Михайлов свою рецензию посвятил главным образом проблемам перевода; в отличие от других рецензентов, он не ограничился оценкой творчества Шиллера и критическим разбором отдельных переводов его произведений, но, опираясь на конкретный материал, ставил общие вопросы теории переводческого искусства.

Впоследствии, по выходе VII и VIII томов собрания сочинений Шиллера под редакцией Гербеля, Михайлов написал вторую рецензию (*РС*, 1860, № 2), в которой разбирал содержание вышедших томов, не останавливаясь на характеристике издания в целом.

Стр. 45. *Гербель* Н. В. (1827—1883) — поэт и переводчик; переводил главным образом с немецкого, английского и польского языков. Выдающейся заслугой Гербеля явилась его организационная деятельность в области перевода. Под его редакцией были изданы собрания сочинений Шиллера, Байрона, Шекспира, Гофмана и Гете, а также антологии славянской, английской и немецкой поэзии. Кроме того, Гербель издавал сборники произведений современных ему поэтов-переводчиков, в том числе и Михайлова (1866, издание было уничтожено цензурой).

...издание романов Вальтер Скотта...— было начато в 1845 г. под

редакцией А. А. Краевского. Вышло только четыре тома вместо намечавшихся тридцати одного.

...перевод Тимковского лучших произведений испанского театра...— Издание переводов К. И. Тимковского (1814—1881) «Испанский театр» было начато в 1843 г. Вышло только два выпуска, после чего издание прекратилось.

Waверлей — «Уэверли, или Шестьдесят лет назад», первый исторический роман Вальтера Скотта, изданный анонимно в 1814 г. Последующие свои романы Скотт подписывал как «автор «Уэверли».

Кальдерон де ла Барка Педро (1600—1681), *Лопе* де Вега Феликс (1562—1635), *Тирзо* де Молина (псевдоним Габриеля Тельес, 1571—1648)— крупнейшие драматурги «золотого века» испанской литературы.

...издание в русском переводе всех сочинений Гете...— Это издание осуществлялось в 1842—1843 гг. «обществом молодых людей» (по словам В. Г. Белинского). Все переводы были прозаическими. Издание встретило резкую критику Белинского и прекратилось после третьего выпуска (см. В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. VI, М. 1955, стр. 62—63, 181—183).

Стр. 46. *...перевод драматических сочинений Шекспира, предпринятый г. Кетчером.*— Кетчер Н. X. (1809—1886) — переводчик и врач. Михайлов имеет в виду издание Кетчером восемнадцати драматических произведений Шекспира в прозаическом переводе (1841—1850). Впоследствии Кетчером был издан перевод всех драм Шекспира (1862—1879).

Стр. 47. *Шлегель* Август-Вильгельм (1767—1845), *Тик* Людвиг (1773—1853) — немецкие писатели-романтики. В 1797—1831 гг. осуществили полный стихотворный перевод драматических произведений Шекспира; этот перевод, признанный в Германии классическим, был распространен и в России.

...перевода «Гамлета» Полевого... — Полевой Н. А. (1796—1846)— журналист, драматург, беллетрист, историк и переводчик. Его перевод «Гамлета» (1837), очень неточный, но обладавший поэтическими достоинствами, приобрел широкую известность благодаря постановке шекспировской трагедии на московской сцене с знаменитым актером П. С. Мочаловым в главной роли.

Вронченко М. П. (1801—1855) — поэт-переводчик, переводил Шекспира, Байрона, Гете и Мицкевича. Его перевод «Гамлета» в действительности был впервые издан в 1828 г. (т. е. до перевода Полевого). Перевод Вронченко был точнее перевода Полевого, но менее поэтичен.

Кронеберг А. И. (ум. 1855) — критик и переводчик Шекспира. Его перевод «Гамлета» (1844) считался лучшим в XIX в. в России.

...некоторых драм Шекспира в русском переводе до сих пор вовсе нет...— Первое полное собрание драматических произведений Шек-

спира в русском переводе было издано Н. А. Некрасовым и Н. В. Гербелем в 1865—1868 гг.

Некоторое охлаждение к нему германской критики...—Михайлов, по-видимому, намекает на отношение к Шиллеру официальной немецкой критики в пору реакции в Германии после революционных событий 1848 г. В 1859 г. интерес к Шиллеру снова усилился в связи со столетием со дня его рождения.

Стр. 48. «*Вильгельм Телль*» (1804) — драма Шиллера о швейцарском народном герое.

Стр. 49. «*Ундина*».— Имеется в виду сделанное Жуковским в 1833—1836 гг. стихотворное переложение одноименной прозаической повести немецкого реакционного романтика Фридриха де Ламот Фуке (1777—1843).

Фет (Шеншин) А. А. (1820—1892) — поэт, сторонник теории «чистого искусства». Его перевод лирической пьесы «*Семела*» впервые опубликован в *ОЗ* в 1844 г.

Аксаков К. С. (1817--1860) — поэт, драматург, публицист и критик, один из основоположников славянофильства. Его перевод стихотворения «*Идеалы*» впервые опубликован в «Московском наблюдателе» в 1838 г.

Лялин В. А.— поэт-переводчик и журналист 1850-х гг. Его перевод стихотворения «*Жалоба девушки*» впервые опубликован в *ОЗ* в 1853 г.

Струговщиков А. Н. (1808—1878) — поэт-переводчик; переводил Гете и Шиллера. Его перевод стихотворения «*Друзьям*» впервые опубликован в *С* в 1847 г.

Алексеев П. Ф.— поэт 1840—1850-х гг. Его перевод баллады «*Водолаз*» впервые опубликован в *ОЗ* в 1839 г.

«*Песня рыбака*» — в переводе *Ф. И. Тютчева* (1803—1873) впервые опубликована под заглавием «Из Шиллера» в *С* в 1854 г., «*Поминки*»— в сборнике «Раут» (М. 1851).

Миллер Ф. Б. (1818—1881) — поэт-переводчик. Его перевод стихотворения «*Жалоба Цереры*» впервые опубликован в «Москвитянине» в 1853 г. В 1859 г. был издан сборник переводных стихотворений Миллера, которому Михайлов посвятил рецензию (*РС*, 1859, № 12).

Дмитриев М. А. (1796—1866)—поэт, беллетрист, переводчик и критик консервативного направления.

Глинка А. П. (1795—1863) — поэтесса-переводчица и беллетристка; сотрудничала в реакционных журналах.

Мин Д. Е. (1818—1885) — медик и поэт-переводчик. Основной труд его жизни — полный перевод «Божественной комедии» итальянского поэта *Данте* Алигьери (1265—1321). Сожалея о том, что деятельность Мина «не исключительно обращена на переводы», Михайлов имеет в виду его занятия медициной.

Крабб Джордж (1754—1832) — английский поэт, один из основоположников критического реализма в английской литературе XIX в. Во второй половине 50-х гг. Мин перевел несколько частей из поэм Крабба «Приходские списки» и «Местечко».

Стр. 50. *Крешев* И. П. (1824—1859) — поэт и переводчик.

«Герман и Доротея» (1797) — идиллия Гете, написанная гекзаметром; переведена Фетом в 1856 г.

Достоевский М. М. (1820—1864) — беллетрист и переводчик, брат Ф. М. Достоевского.

«Рейнеке Фукс» (1793) — поэма Гете, представляющая собою обработку средневековой сатирической эпопеи о хитром лисе; переведена М. Достоевским в 1848 г.

«Наль и Дамаянти» — эпизод из индийской эпической поэмы «Махабхарата» (IV в. до н. э. — IV в. н. э.).

«Одиссея» — эпическая поэма древнегреческого поэта Гомера (между XII—VIII вв. до н. э.).

«Овсяный кисель» — идиллия немецкого поэта Иоганна-Петера Гебеля (1760—1826).

Стр. 51. *«Веселую мы свадебку сыграли...»* — Строки из драмы Пушкина «Русалка», сцена «Княжеский терем» (слова Свата).

Мей Л. А. (1822—1862) — поэт, драматург и переводчик.

Курочкин В. С. (1831—1875) — сатирический поэт, переводчик и журналист демократического направления.

Стр. 52. *Бенедиктов* В. Г. (1807—1873) — поэт, эпигон романтизма.

Амплификации (от лат. amplificatio) — здесь: многословная передача в переводе сжатого и лаконичного выражения подлинника.

Перевод «Богов Греции», сделанный тоже г. Бенедиктовым, лучше другого, старого перевода... — Неточность: второй перевод стихотворения «Боги Греции», подписанный «К. К. . . . . . ъ», был также сделан для издания Гербеля и опубликован там впервые.

Стр. 53. *Шишков второй* А. А. (1799—1832) — поэт и переводчик, близкий к декабристам. Назывался «вторым» в отличие от его дяди — реакционного литератора и государственного деятеля, адмирала А. С. Шишкова.

...стихотворные переводчики, для которых считается нипочем перемахнуть за несколько присестов Шекспирова «Отелло»... — Возможно, Михайлов имеет в виду переводы: «Отелло, венецианский мавр» П. И. Вейнберга (неполный перевод, 1858), «Юлий Цезарь» А. А. Фета (1859), «Мазепа» Д. Л. Михаловского (1858) и «Манфред» Е. Зорина (1858).

Стр. 54. *Лихонин* М. Н. (1802—1864) — поэт, переводчик Шиллера и Шекспира.

Стр. 55. *Капище* — языческий храм.

Стр. 57. *«Русский вестник»* (1856—1906) — литературный и полити-

ческий журнал, издававшийся в Москве; первоначально либерального направления, впоследствии крайне реакционный.

Стр. 58. *Вицы* (от нем. Witz) — остроты.

Остерия — трактир, кабачок в Италии.

Стр. 59. *...несколько неизданных опытов Лермонтова.*— В VIII томе издания Гербеля были впервые опубликованы стихотворения Лермонтова — переводы и подражания Шиллеру: «К Нине», «Перчатка», «Дитя в люльке», «Встреча», «К *», («Делись со мною тем, что знаешь...»), «Три ведьмы», «Баллада» («Над морем красавица дева сидит...»).

«ФАУСТ». ТРАГЕДИЯ ГЕТЕ, ПЕРЕВОД Н. ГРЕКОВА

Печатается по *РС*, 1859, № 12. Подпись: М. Л.

Отрывки из «Фауста» Гете переводились в России, начиная с середины 1820-х гг. Впервые первая часть трагедии была полностью переведена в 1830-е гг. Э. И. Губером и издана в 1838 г. Выход в свет в 1859 г. «Сочинений Губера» был отмечен рецензией Михайлова (*РС*, 1859, № 10), в которой он, говоря о переводе «Фауста», отмечал, что, хотя у Губера в силу его «слишком узкого взгляда на произведение Гете» не могло быть «того проникновения духом подлинника, которое сообщает переводу характер почти оригинального, не заимствованного произведения», ему, однако, было присуще «добросовестное старание передать возможно верно каждую черту, каждое выражение» оригинала. В 1844 г. были опубликованы перевод первой части «Фауста» и изложение второй части, сделанные М. П. Вронченко. Михайлов в рецензии на «Сочинения Губера» признавал этот перевод лучшим, указывая, однако, что язык его «подчас чересчур уж дубоват и тяжел». В 1856 г. появилась первая часть «Фауста», переведенная А. Н. Струговщиковым, который работал над своим переводом с 1830-х гг. В упоминавшейся рецензии Михайлов писал, что этот перевод «безобразен до крайности», и отмечал «отсутствие в нем всякой поэзии». В 1851 г. в Риге был издан вольный перевод второй части «Фауста», сделанный некиим А. Овчинниковым; этот перевод был единодушно осужден критикой и не имел никакого значения для ознакомления русских читателей с трагедией Гете.

Следует отметить, что переводчики «Фауста» наталкивались на сильное противодействие царской цензуры, находившей в трагедии нападки на религию и монархию. Так, в 1835 г. был запрещен первоначальный перевод Губера, а опубликованный позже второй перевод содержал большое число изъятий и искажений «богохульных» и «крамольных» мест. Цензурным искажениям подверглись и переводы Вронченко и Струговщикова.

Сам Михайлов, переведший обе части «Фауста» в 1847—1849 гг., не смог за исключением одной сцены (см. т. I наст. изд.) опубликовать свой перевод из-за противодействия цензуры, особенно свирепствовавшей в годы «мрачного семилетия». Полный русский перевод обеих частей «Фауста» был впервые издан только в 1878 г. (переводчик Н. А. Холодковский).

Перевод Н. П. Грекова, который рецензировал Михайлов, содержал только первую часть трагедии и был, в отличие от предшествующих, почти свободен от цензурных искажений, но, с другой стороны, менее точен, потому что переводчик часто не переводил, а «вольно перелагал» подлинник.

В своей рецензии Михайлов не стремился дать новой трактовки трагедии Гете; основное внимание он уделил изложению принципов перевода и особенно проблеме передачи поэтической формы в переводе. Постановка этой проблемы в связи с анализом перевода «Фауста» была закономерной, поскольку, как указывал Михайлов в рецензии на «Сочинения Э. И. Губера», «и содержание, и форма слиты в ней (трагедии Гете.— *Ю. Л.*) так органически, что переводчику необходимы и глубокое понимание высоких идей, волнующих Фауста, и глубокое сочувствие к ним, и могучее слово для их выражения».

Стр. 60. *Греков* Н. П. (1810—1866) — поэт-переводчик, переводил с английского, французского, немецкого и испанского языков.

Эккерман Иоганн-Петер (1792—1854) — немецкий писатель. В 1823—1832 гг. был секретарем Гете. После смерти Гете Эккерман издал «Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens. 1822—1832» («Разговоры с Гете в последние годы его жизни. 1822—1832», 1837—1848). Приведенное высказывание Гете содержится в записи от 14 марта 1830 г.

В драматической поэме своей... он представляет нам всего себя, всю свою внутреннюю жизнь.— Взгляд на «Фауста» как на лирическую драму высказывался еще В. Г. Белинским в статьях о «Герое нашего времени» (1840) и «Разделение поэзии на роды и виды» (1841).

В средневековой легенде высказалось все тревожное...—В основе «Фауста» Гете лежала немецкая средневековая легенда о жившем в первой половине XVI в. докторе Иоганне Фаусте, чернокнижнике и астрологе. Согласно легенде, Фауст продал душу дьяволу ради приобретения великого знания и силы, и после смерти его душа была обречена на вечные мучения в аду.

Стр. 61. *Мы видим главное значение «Фауста» лишь в первой части...*— На отрицательной оценке второй части «Фауста» сходились в 1840—1850-х гг. все русские критики, независимо от их направления (в част-

ности, В. Г. Белинский, И. С. Тургенев, А. В. Дружинин, Н. Г. Чернышевский, А. А. Григорьев).

«Вертер» — «Страдания юного Вертера» (1774), роман Гете.

Губер Э. И. (1814—1847) — поэт; основной труд его жизни — перевод первой части «Фауста» Гете.

Вронченко, Струговщиков — см. прим. к стр. 47 и 49.

...нам кажется только совершенно излишнею интермедия: «Сон в Вальпургиеву ночь...» — Интермедия, представляющая собою собрание эпиграмм, была написана Гете в 1797 г. независимо от «Фауста» как продолжение «Ксений» — полемических стихотворений, направленных Гете и Шиллером против враждебных им немецких литераторов, и лишь затем включена в трагедию.

...при разборе «Сочинений Губера»...—Михайлов имеет в виду свою рецензию на это издание (*РС*, 1859, № 10).

Стр. 62. *«Король забавляется»* (1832), *«Кромвель»* (1827) — драмы Гюго.

...в размере Гейневой «Deutschland».— Поэма Гейне «Германия. Зимняя сказка» (1844) написана чередующимися четырех- и трехударными акцентными строками с перекрестной рифмовкой.

Стр. 63. *Линдпайнтнер* Петер-Йозеф (1791—1856) — немецкий композитор. Одним из лучших его произведений считалась музыка к «Фаусту» Гете.

Гейбель Эммануил (1815—1884), *Редвиц* Оскар (1823—1891) — немецкие реакционные поэты, эпигоны романтизма.

Стр. 64. *Зеккендорф* Карл-Зигмунд (1744—1785), барон — камергер при герцогском дворе в Веймаре, где с 1775 г. жил Гете; литератор и композитор-любитель, был близок к кружку Гете и написал несколько романсов на тексты его стихотворений.

Стр. 65. *Заупе* Эрнст- Юлиус (1809—1871) — немецкий историк литературы.

Стр. 66. *Шатобриан* Франсуа-Рене (1768—1848) — французский реакционный писатель-романтик и политический деятель.

Ламартин Альфонс (1790—1869) — французский поэт-романтик и политический деятель консервативного направления.

Стр. 70. *Гунгль* Йозеф (1810—1899) — венгерский композитор.

Стр. 72. *...фабричные переводы «Юлиев Цезарей»... «Конрадов Валленродов»...*— см. прим. к стр. 53. В 1858 г. были изданы два перевода поэмы Мицкевича «Конрад Валленрод» (1828) — П. Дубровского (прозаический) и И. Шершеневича (стихотворный).

Дружинин А. В. (1824—1864) — беллетрист, критик и переводчик, сторонник теории «чистого искусства». Его переводы трагедий Шекспира: «Король Лир» (1856), «Кориолан» (1858), «Ричард III» и «Король Джон» (1862) пользовались широкой популярностью.

Крабб, Мин — см. прим. к стр. 49.

«Сказка о купце Кузьме Остолопе» — название, под которым в 1840 г. была впервые опубликована с большими цензурными искажениями «Сказка о попе и его работнике Балде» Пушкина. В таком виде сказка была известна до 1882 г.

Стр. 73. *...перевод г-на Тургенева сцены в тюрьме.*— И. С. Тургенев опубликовал свой перевод последней сцены первой части «Фауста» в *ОЗ*, 1844, № 6.

Уланд Людвиг (1787—1862) — немецкий поэт-романтик. Михайлов перевел в разное время одиннадцать стихотворений Уланда, в том числе и стихотворение «Frühlingsruhe» («Весенний покой», см. т. I наст. изд.), которое здесь приводится в переводе Тютчева.

ПОСЛЕДНЯЯ КНИГА ВИКТОРА ГЮГО

Печатается по *РС*, 1860, № 1.

Статья Михайлова была первой попыткой в русской демократической критике выяснить подлинное значение Гюго-поэта.

Михайлов перевел несколько стихотворений Гюго в 1847—1848 гг. (см. т. I наст. изд.). Пребывание во Франции в 1858 г. помогло ему глубже понять и оценить поэзию Гюго, достигшую в эти годы своего расцвета. После переворота Луи Бонапарта (2 декабря 1851 г.) Гюго, по словам Герцена, «встал во весь рост»; когда сопротивление республиканцев было окончательно сломлено, поэт покинул родину и в изгнании начал непримиримую борьбу против режима произвола и порабощения, воцарившегося во Франции. Частью этой борьбы явилась его литературная деятельность.

Облик французского поэта-изгнанника, страстного патриота, борца за свободу и демократию, социальная героика его произведений, пафос служения народу, пронизывающий его творчество, не могли не произвести большого впечатления на Михайлова, вступавшего в эти годы на путь революционной борьбы. В «Парижских письмах» он цитирует стихи Гюго как образец французской гражданской поэзии.

Отмечая в рецензии неприемлемость для себя романтической поэтики Гюго, Михайлов стремится подчеркнуть, что́ в его поэзии он считает ценным: «благородный энтузиазм», то есть героический революционный дух, демократичность, общечеловеческий характер выраженных в ней мыслей и чувств, огромную силу социального воздействия. В то же время Михайлов использует творчество Гюго для пропаганды поэзии, тесно связанной с политической жизнью своего времени, утверждает необходимость единства личности поэта и его творчества, его слов и его дела.

«Легенды веков» — грандиозный цикл эпических поэм, которые, по идее Гюго, должны изображать всю жизнь человечества от сотворения Евы до страшного суда (I серия — 1859, II — 1877, III — 1883). В этом цикле особенно сказались слабые стороны политического и философского мировоззрения поэта: идеализм, отвлеченный гуманизм, абстрактность политических идеалов и т. п.; всемирная история представлена поэтом здесь как извечная борьба добра со злом, доказывающая бессилие зла перед добром и благость провидения.

Михайлов справедливо видит в оторванности замысла «Легенды веков» от живых и насущных интересов жизни, конкретных политических и социальных вопросов основную причину неудачи этого произведения. Высказанная им уверенность, что Гюго обретет прежнюю поэтическую силу, когда обратится непосредственно к жизни своей родины, к современности, оправдалась: на события франко-прусской войны и Парижской коммуны Гюго откликнулся сборником страстных политических стихотворений «Страшный год» («L'année terrible», 1872).

Стр. 74. *Перистиль* — окружающая здание крытая галерея, образуемая рядом колонн и стеною здания.

Стр. 75. *...отразился век...* — Строки из «Евгения Онегина» Пушкина (гл. VII, строфа XXII).

...эпопея Данта...— Имеется в виду «Божественная комедия» Данте (см. прим. к стр. 49).

«Песнь о Нибелунгах» — германский средневековый эпос.

Сказания Фердауси.— Имеется в виду эпическая поэма таджикско-персидского поэта *Фирдоуси* Абуль Касима (934 — ок. 1020) «Шахнаме».

Рапсодии Гомера.— Имеются в виду эпические поэмы Гомера (см. прим. к стр. 50) «Илиада» и «Одиссея».

Бесконечные поэмы Индии.— Имеется в виду древнеиндийский эпос «Махабхарата», «Рамаяна».

Стр. 76. *...как дьяк, в приказах поседелый...*— строки из «Бориса Годунова» Пушкина, сцена «Ночь. Келья в Чудовом монастыре», монолог Григория.

...«правдивых сказаний»...— «Борис Годунов», та же сцена, монолог Пимена.

Стр. 77. *...чего бы желать в настоящую минуту Франции?* — Во Франции в этот период господствовал реакционный режим Наполеона III.

...реформация, государственный переворот во Франции...— Имеются в виду антифеодальное движение XVI в. в Западной Европе, вылившееся в форму «реформации»— религиозной борьбы против католической церкви—опоры феодализма, и французская революция 1789 г.

Первая книга стихотворений, изданная им с тех пор...— Имеется в виду сборник гражданской лирики «Возмездие» («Les Châtiments»,

1853). Стихи этого сборника, страстно обличающие декабрьский переворот, превративший французскую республику в империю Наполеона III, явились одним из высших достижений революционного романтизма. По свидетельству Н. К. Крупской, их «охотно читал» В. И. Ленин (Н. К. Крупская, Что нравилось Ильичу из художественной литературы. Сб. «В. И. Ленин о литературе и искусстве», М. 1957, стр. 554).

Стр. 78. «*Созерцания*» (1856)—сборник стихотворений 1830—1856 гг., представляющий своеобразную лирическую автобиографию — дневник поэта.

«*Восточные мотивы*» — сборник стихотворений Гюго (1829), посвященных национально-освободительной борьбе греческого народа. Экзотика, красочность и рельефность образов сделали этот сборник манифестом новой романтической поэзии.

«*Осенние листья*» — сборник стихотворений (1831), куда вошли, по словам Гюго, «стихи о родной семье, о домашнем очаге, о семейной жизни».

Стр. 82. *Анакреон* (VI—нач. V в. до н. э.) — древнегреческий лирик. (Переводы Михайлова из Анакреона см. в т. I наст. изд.)

Ювенал — см. прим. к стр. 19.

Стр. 83. ...«*Народ рабский, оно делает тебя свободным...*» — Стихотворение Гюго «Искусство и народ» («L'art et le peuple»), сборник «Возмездие».

...*напрасно некоторые обвиняют поэта в изменчивости убеждений*... — Идейная эволюция Гюго от монархических взглядов к республиканизму и мелкобуржуазному утопическому социализму служила объектом многочисленных нападок враждебных ему критиков и писателей как при его жизни, так и посмертно. Спустя почти сто лет после Михайлова с защитой Гюго от подобных обвинений выступил французский поэт-коммунист Луи Арагон: «Ни с чем не сравнимое величие Виктора Гюго заключается именно в том, в чем упрекают его всякие Дюма-сыны, всякие Леоны Доде, всякие «Крапуйо», всякие «Канар Аншене» и шарлатаны безыдейной поэзии,— заявил он в своей статье «Гюго — поэт-реалист»,— оно заключается в том, что Гюго постоянно менялся, не из корысти, но в силу поразительной способности внимать голосу истории и голосу народа, делающего историю, в силу необычайно острого восприятия исторических процессов...» (Л. Арагон, Литература и искусство, М. 1957, стр. 20.)

Без меня, книга, пойдешь ты в город!—Слова из книги «Скорби» (кн. 1, элегия 1, строка 1) Публия *Овидия* Назона, римского поэта (43 г. до н. э. — 17 г. н. э.), сосланного в 8 г. н. э. императором Августом на берег Черного моря. В далеком изгнании им были написаны полные тоски по родине элегии (книги «Скорби» и «Послания с Понта»).

Стр. 85. *Мильтон* Джон (1608—1674) — английский поэт, активный участник английской революции XVII в., автор эпической поэмы

«Потерянный рай» (1660-е гг.) на библейский сюжет о грехопадении Адама и Евы.

Пан — бог природы (*греч. миф.*).

Грации — богини красоты и радости (*римск. миф.*).

Оры — богини порядка в природе, чередования времен года (*греч. миф.*).

Стр. 86. *Скиния* — походная церковь (*библ.*).

Кивот завета — ларец, где должны были храниться скрижали с начертанными на них заповедями, которые бог дал еврейскому народу (*библ.*).

Стр. 88. *Круммахер* Фридрих-Адольф (1767—1845) — немецкий дидактический писатель, профессор богословия.

Стр. 89. *Чего не чувствуешь...* — Гете, «Фауст», ч. 1, сц. 1, «Ночь», слова Фауста к его ученику Вагнеру.

Стр. 90. *...об Андрокловом льве...* — Гюго использовал рассказ из «Аттических ночей» Авла Геллия (см. прим. к стр. 19) о рабе Андрокле, бежавшем от своего господина в пустыню и встретившем там хромого льва. Андрокл вынул из лапы льва занозу. Спустя три года оба они были пойманы и перевезены в Рим. Беглый раб был брошен в цирке на растерзание льву, но тот стал к нему ласкаться: это оказался тот самый лев, с которым Андрокл подружился в пустыне.

Стр. 91. *Если я не сумею смягчить...* — Вергилий (см. прим. к стр. 24), «Энеида», песня VII, строка 312.

Песнь о Роланде — французский героический эпос XII в.

...легенды Теннисона о графине Годиве... — Имеется в виду стихотворение «Годива» («Godiva») английского поэта Альфреда Теннисона (1809—1892). Это стихотворение переведено Михайловым (см. т. I наст. изд.).

Стр. 92. *...небольшой баллады во вкусе баллад Уланда...* — Людвиг Уланд (см. прим. к стр. 73) в своих балладах обращался преимущественно к средневековью как к эпохе героических личностей и славных подвигов. Он заимствовал сюжеты и образы для своих баллад из народных преданий и песен, христианских легенд.

Стр. 93. *Ратклиф* (Радклиф) Анна (1764—1823) — английская писательница, автор готических романов «тайн и ужасов».

«Таинства Удольфского замка» (или «Удольфские тайны», 1794) — наиболее популярный роман Радклиф. Для романов Радклиф характерны благополучные развязки, в которых все фантастические и таинственные явления получают рациональное объяснение.

Стр. 95. *«Figaro»*, *«Charivari»* — парижские сатирические журналы, основанные в 1825 и 1832 гг.

Левиафан — огромное морское животное (*библ.*). Здесь: название гигантского для своего времени парохода, построенного в Англии (см. стр. 316—317).

«ГОРЬКАЯ СУДЬБИНА». ДРАМА В ЧЕТЫРЕХ ДЕЙСТВИЯХ А. ПИСЕМСКОГО.

Печатается по *РС*, 1860, № 2.

Пьеса выдающегося писателя-реалиста Алексея Феофилактовича Писемского (1820—1881) «Горькая судьбина» впервые была напечатана в журнале «Библиотека для чтения» (1859, № 11). В 1860 г. Академия наук присудила автору пьесы первую Уваровскую премию (одновременно первая премия была присуждена А. Н. Островскому за драму «Гроза»).

«Горькая судьбина», драма из крестьянской жизни, сразу привлекла внимание читателей и критики и вызвала оживленную полемику, которая велась главным образом вокруг проблемы положительного народного характера. В условиях революционной ситуации 60-х гг. вопрос, каким должен быть положительный народный характер, приобретал актуальное политическое значение. Либеральная критика высоко оценила драму и образ героя, «своеобышного» зажиточного крестьянина Анания Яковлева: критики-либералы видели в нем «идеал... основанный на коренных чертах характера, свойственного русскому народу» (Г. А. Кушелев-Безбородко—*РС*, 1860, № 11, Русск. лит., стр. 6), «черты широкой размашистой натуры! черты чисто-русские» (С. С. Дудышкин — *ОЗ*, 1860, № 1, Русск. лит., стр. 49), причем особенно подчеркивали всепрощение и смирение — ими в развязке пьесы оборачивалось «бунтарство» Анания. Общественное значение драмы эти критики ограничивали обличением крепостного произвола, который, как они надеялись, устранят правительственные преобразования.

Как попытку решить задачу создания положительного народного характера рассматривал «Горькую судьбину» и Н. А. Добролюбов, и с этой точки зрения он подверг ее резкой критике (см. статью «Луч света в темном царстве», 1860). Добролюбов обнаружил в герое, который, как он полагал, должен был бы явиться носителем народного протеста против крепостного права, черты «самодурства», и указывал, что Ананий, в сущности, является одним из представителей «темного царства». В этом Добролюбов усматривал тенденцию, объективно направленную против развертывания революционной инициативы масс. На резкость оценки повлиял и уход Писемского, ставшего в 1860 г. редактором «Библиотеки для чтения», во враждебный революционной демократии лагерь.

По иным соображениям отнеслись к драме резко отрицательно критики-славянофилы (А. С. Хомяков, К. С. Аксаков). Их смущало изображение в ней резких социальных конфликтов; автор должен был, по их мнению, сосредоточиться только на нравственных вопросах.

Михайлов в своей статье не касается вопроса о положительном народном характере, останавливаясь лишь на том, что было в драме Писемского объективно ценным — изображение крепостнических отношений, непримиримого конфликта между народом, с одной стороны, и помещиками и чиновниками, с другой. Как просветитель он использовал материал драмы для борьбы с крепостным правом и его порождениями. В отличие от либеральной критики, Михайлов, насколько это было возможно в подцензурной печати, подчеркивал необходимость полного общественного переустройства.

В безоговорочно положительной оценке драмы, в игнорировании ее слабых сторон сказалась недооценка Михайловым консервативности идейной концепции Писемского, его общественной позиции, роли, которую сыграла драма в условиях политической борьбы 60-х гг.

Стр. 97. *Повести и романы с так называемым обличительным направлением...*— В период общественного оживления, наступившего после смерти Николая I и окончания Крымской войны в 1856 г., появилось большое количество произведений, ставивших целью обличение темных сторон русской действительности, русской общественной жизни. Критицизм авторов большей части этих произведений не выходил за пределы либерального реформизма; вопрос о переустройстве общества подменялся ими борьбой с отдельными частными злоупотреблениями. Добролюбов и Чернышевский вели в 50-е гг. последовательную и непримиримую борьбу с обличительной литературой, критикуя поверхностность и мелочность «обличительства». Михайлов ограничился критикой обличительных произведений с эстетической точки зрения, причем эта критика переходит у него в критику внешней тенденциозности в литературе.

...с легкой руки Щедрина... —На М. Е. Салтыкова-Щедрина как на родоначальника обличительного направления («Губернские очерки», 1856—1857) неоднократно указывал и Н. А. Добролюбов (см. статьи «Литературные мелочи прошлого года», 1859, и «Забитые люди», 1861).

...другие пошли так далеко в противоречии дидактикам...— В критике 60-х гг. последователей теории «искусства для искусства» называли «эстетиками», а представителей гражданской тенденциозности в литературе— «дидактиками». Михайлов резко отрицательно относился ко взглядам сторонников «искусства для искусства», но в то же время в известной мере расходился с Чернышевским и Добролюбовым в воззрениях на роль и значение искусства. В их полемически заостренных утверждениях о приоритете действительности над искусством, о служебной роли литературы он видел принижение значения искусства, отрицание его огромных специфических возможностей в познании окружающего мира, недооценку эстетического содержания произведений искусства. Михай-

лов полагал, что искусство играет руководящую роль в жизни, является «независимой силой на земле», и в этом сказались присущие ему идеалистические заблуждения.

Стр. 98. *Печерский* Андрей — псевдоним русского писателя П. И. Мельникова (1819—1883); в 50-е гг. им был написан ряд повестей и рассказов, где обличались провинциальные купцы, чиновники, самодуры-помещики.

Стр. 99. *Ювенал* — см. прим. к стр. 19.

Стр. 100. *...он поет о том, чем будет мир...* —цитата из стихотворения Теннисона (см. прим. к стр. 91) «Песнь поэта» («The poet's song»).

«КОБЗАРЬ» ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Печатается по *PC*, 1860, № 4. Подпись: М. Л.

Русская демократическая критика высоко оценивала творчество великого украинского поэта-революционера Т. Г. Шевченко (1814—1861) (см. Н. А. Добролюбов «Кобзарь» Тараса Шевченка», 1860; Н. Г. Чернышевский «Национальная бестактность», «Новые периодические издания», 1861). Вернувшись в 1858 г. в Петербург после десятилетней ссылки, Шевченко сблизился с кругом «Современника».

Высоко ценил талант Шевченко, демократизм его поэзии, неразрывную связь ее с народом и Михайлов. Он переводил стихотворения Шевченко (см. т. I наст. изд.), посвятил выходу «Кобзаря» обстоятельную рецензию. Но, в отличие от Добролюбова, Михайлов не всегда умел с должной силой подчеркнуть свободолюбивый пафос поэзии Шевченко, несколько преуменьшал значение отдельных его произведений («Гайдамаков», «Гамалии», «Катерины»), отрицательно относясь к имеющимся в них элементам романтической условности.

Стр. 105. *Кобзарь* — украинский народный певец, аккомпанирующий себе на *кобзе* (старинный струнный инструмент).

«Хата» — сборник произведений украинских писателей, изданный в 1860 г. в Петербурге писателем П. А. Кулишем (1819—1897), одним из идеологов украинского буржуазного национализма. Ср. критику националистических теорий Кулиша в рецензии Добролюбова (1860) на сборник «Хата».

Квитка Г. Ф. (1778—1843) — украинский писатель, печатавшийся под псевдонимом «Грицько Основьяненко», друг Шевченко.

Марко Вовчок — псевдоним украинской писательницы М. А. Вилинской-Маркович (1834—1907).

Стр. 106. *Гребенка* Е. П. (1812—1848) — украинский писатель, принимавший участие в выкупе Шевченко.

Стр. 107. *Приєітай же, моя ненько...*— цитируется стихотворение Шевченко «Думи мої, думи мої». Здесь и дальше цитируемый текст дается в транскрипции «Кобзаря» издания 1860 г.

«Народное чтение» (1859—1862) — петербургский журнал демократического направления.

Оболонский А. А. (1825—1877) — редактор и издатель «Народного чтения».

Стр. 108. *Аксаков* С. Т. (1791—1859) — писатель, славянофил по убеждениям. В автобиографических произведениях «Семейная хроника» (1856) и «Детские годы Багрова-внука» (1858), изображая жизнь поместного дворянства, не замалчивая темных сторон патриархального помещичьего быта, писатель в целом воссоздает светлую и радостную картину своего детства. Шевченко противопоставляет этой картине свои воспоминания.

Он родился... в господском селе Кириловке... — На самом деле Шевченко родился в селе Моринцы Звенигородского уезда Киевской губернии. Семья переселилась в соседнее село Кирилловку, когда Т. Г. Шевченко было три года.

Стр. 110. *Шляхта* — польское дворянство.

Ширяев В. Г.— хозяин мастерской, в которой учился Шевченко, незаурядный художник-декоратор.

Одна заря сменить другую...— строки из поэмы Пушкина «Медный всадник» (1833), Вступление.

Стр. 111. *Сошенко* И. М. (1806—1876) — художник, принимал участие в выкупе Шевченко.

Григорович В. И. (1786—1865) — конференц-секретарь Академии художеств, принимал участие в выкупе Шевченко. Ему посвящена поэма «Гайдамаки».

К. П. Брюллов (1799—1852) — живописец.

«...Как и когда писались последовавшие за нею стихотворения.. я не чувствую охоты распространяться...» — намек Шевченко на свою ссылку.

Стр. 112. *Чалый* Савва — один из предводителей крестьянских восстаний на Украине в XVIII в.; убит своими товарищами за измену.

Горлица — шуточная плясовая песня.

Песня про Лазаря — духовные стихи на сюжет евангельской притчи о бедном Лазаре.

Сечь Запорожская — организация украинского казачества, сложившаяся с середины XVI в. в низовьях Днепра. В том же районе существовала в XVIII в. так называемая «Новая сечь», разрушенная царским правительством в 1775 г. Для украинского народа Сечь была символом казачьей вольности.

Стр. 113. *Гайдамаки* — участники казацко-крестьянских восста-

ний против польских панов на Правобережной Украине в XVIII в. В поэме Шевченко рассказывается о восстании 1768 г.—«Колиивщине».

Гамалия — имя, часто встречающееся в казачьих летописях. Шевченко использует его, чтобы создать образ казацкого атамана, руководителя одного из набегов на Стамбул.

Иван Подкова — один из предводителей, возглавлявших в XVI в. походы запорожцев против турок. Образ Подковы у Шевченко не соответствует историческому прототипу. Это — собирательный образ, символ былой казацкой вольности, величия и силы.

Тарасова ніч — так назвал народ ночь на 22 мая 1630 г., когда украинские повстанцы под предводительством гетмана Тараса Федоровича по прозвищу «Трясило» нанесли поражение польским войскам. Поэма на этот сюжет не совсем точно передает исторические события, но перекликается с народными песнями о них.

Стр. 115. *Де лягло спочити...*— строки из стихотворения «Иван Подкова».

Китайка — сорт гладкой хлопчатобумажной ткани, первоначально привозившейся из Китая.

Стр. 116. *А Катю накрыли...*— повязали голову, как замужней женщине.

Стр. 119. *Жупан* — род верхней одежды с богатой отделкой у украинцев и поляков.

Стр. 122. *С такою же простотой встречались мы...*— Эти строки свидетельствуют о знакомстве Михайлова с неопубликованными в то время произведениями Шевченко.

...почему в «Кобзаре» не нашли мы их.—Вероятно, намек на цензурные препоны, мешавшие опубликованию ряда произведений Шевченко.

...предпринимается издание стихотворений г. Шевченка...— Имеется в виду «Кобзарь» Тараса Шевченко в переводе русских поэтов», ред. Н. В. Гербеля, СПБ 1860.

Мей — см. прим. к стр. 51.

Гербель — см. прим. к стр. 45.

Плещеев А. Н. (1825—1893) — поэт, участник кружка Петрашевского.

Берг Н. В. (1824—1884)—беллетрист, журналист, поэт, переводчик.

Вот, кстати, ненапечатанный перевод...— Перевод «Ивана Подковы» сделан самим Михайловым. Более позднюю редакцию см. в I т. наст. изд.

Стр. 123. *Лиман* — затопленная морем часть долины речного устья, здесь: Днепра.

Стр. 124. *Микешин* М. О. (1836—1896) — художник, иллюстрировал произведения Пушкина, Гоголя, Некрасова, Шевченко.

Гогенфельден Е.— гравер, содержатель граверной мастерской.

Г-н ГЕННАДИ, ИСПРАВЛЯЮЩИЙ ПУШКИНА

Печатается по *С*, 1860, № 12, «Свисток», № 6, где появилась без подписи.

До недавнего времени статья приписывалась Н А. Некрасову («Лит. наследство», 49—50, 1949, стр. 309) и включалась в собрание его сочинений (т. 9, М. 1950, стр. 592—595). Авторство Михайлова доказано А. Ф. Захаркиным на основании конторских книг «Современника» (см. «Известия АН СССР», Отд. литературы и языка, т. XII, вып. 5, 1953, стр. 429—432).

Статья Михайлова направлена против «библиографического направления» в литературоведении. Представители этого направления (М. Семевский, С. Полторацкий. М. Лонгинов и др.) стремились изолировать литературоведческую науку от общественной борьбы; вместо изучения и анализа литературного процесса во всей сложности и противоречиях в их работах можно было встретить лишь объективистское комментирование отдельных его фактов. Революционно-демократическая критика вела непримиримую борьбу с «библиографами» (см., напр., статьи Добролюбова «Собеседник любителей российского слова», 1856, «Сочинения Пушкина», 1858, «Стихотворения Михаила Розенгейма», 1858, и др.).

Разыскания дилетанта-библиографа Г. Н. Геннади (1826—1880), небрежно и неумело изданные им «Сочинения А. С. Пушкина» (СПБ 1859—1860) явились ярким проявлением такого «библиографического направления» и неоднократно высмеивались на страницах «Современника» (см., напр., стихотворение Некрасова «Литературная травля, или Раздраженный библиограф», 1860).

Стр. 125. *...русского слова (не того, которое издается его сиятельством графом... Кушелевым-Безбородко, а вообще)...*— Речь идет о петербургском демократическом журнале «Русское слово», издателем которого в 1859—1862 гг. был беллетрист и меценат Г. А. Кушелев-Безбородко (1832—1870).

...я не смущаюсь толками о значении Пушкина, которыми занимались в последнее время в наших журналах разные критики, как-то: гг. Дудышкин, Де-Пуле, Аполлон Григорьев...— Имеются в виду С. С. Дудышкин (1820—1866), журналист и критик либерального направления, сторонник «чистого искусства», и его статья «Пушкин — народный поэт» (*ОЗ*, 1860, № 4), в которой отрицалась народность Пушкина, поэт объявлялся подражателем Карамзина; М. Ф. Де-Пуле (1822— 1885), либеральный критик и историк литературы, и его рассуждения о Пуш-

кине как лирическом поэте в статье «Стихотворения Ивана Никитина» (*РС*, 1860, № 4); А. А. Григорьев (1822—1864), поэт, критик реакционного направления, и его статья «Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина» (*РС*, 1859, № 2—3).

Милюков А. П. (1817—1897) — историк и литературный критик либерального направления.

Издание на толстой серой бумаге — первое посмертное издание произведений Пушкина под редакцией В. А. Жуковского, П. А. Вяземского, П. А. Плетнева (СПБ 1838—1841). Ср. отрицательный отзыв об этом издании в статье Чернышевского «Сочинения Т. Н. Грановского» (1856).

Анненков П. В. (1812—1887) — критик, мемуарист, исследователь и издатель наследия Пушкина. Редактировал «Сочинения Пушкина с приложением материалов для его биографии» (СПБ 1855).

Стр. 126. *Картуш* — прозвище Луи-Доминика Бургиньона (1693—1721), известного французского разбойника.

Григорий Книжник — псевдоним Геннади, под которым он издал старинную повесть «*Жизнь Ваньки Каина*» (СПБ 1859) и сборник «*Любовь*. Эротические стихотворения русских поэтов» (СПБ 1860). Никаких в нашем понимании эротических стихотворений в сборнике не было, не было в нем и песни «*Ванька Таньку полюбил*», но беспринципная пестрота сборника, объединившего Пушкина и Лермонтова с третьестепенными поэтами, вызвала резкий отзыв «Современника» (ср. рец. Н. А. Добролюбова на сб. «Русская лира» и «Любовь», 1860). Выступая против поэтов «чистого искусства», революционные демократы вообще весьма сдержанно относились к любовной лирике.

О жертва бедная... — эпиграмма библиографа С. А. Соболевского (1803—1870), известного острослова, друга Пушкина.

Воскобойников Н. Н. (1838—1882) — публицист. Упоминаемая Михайловым статья Воскобойникова направлена против обличительной литературы и демократической критики.

Стр. 127. *Семевский* М. И. (1837—1892) — библиограф, историк и публицист либерального направления.

Полторацкий С. Д. (1803—1884) — библиограф и библиофил.

Тихменев А.— литературовед и критик.

...в стихотворении «Роняет лес багряный свой убор» явилось несколько куплетов...— Геннади включил в текст этого стихотворения 4 восьмистишья из ранней редакции. Чернышевский в «Свистке» едко высмеял за это Геннади («Ответ на вопрос, или Освистанный вместе со всеми другими журналами «Современник», 1861).

Пора! трубят уже рога...— перефразированные начальные строки «Графа Нулина».

ЮМОР И ПОЭЗИЯ В АНГЛИИ. ТОМАС ГУД

Печатается по *С*, 1861, № 1, 8.

До опубликования статьи Михайлова Томас Гуд был почти неизвестен в России. Михайлов был также первым переводчиком стихотворений Гуда на русский язык (см. т. I наст. изд.). В работе над своей статьей Михайлов пользовался в основном сведениями, содержавшимися в «Литературных воспоминаниях» Гуда и в «Материалах для биографии Томаса Гуда», опубликованных сыном и дочерью английского поэта; из последнего издания, в частности, заимствована цитируемая переписка Гуда и его жены. Однако, используя эти источники, Михайлов иногда полемизировал с высказывавшейся в них либеральной точкой зрения и отстаивал свой взгляд на назначение поэта-гражданина. Так, он осуждал адресованное премьер-министру Р. Пилю предсмертное письмо Гуда, видя в нем измену тем идеалам, которым английский поэт служил всю свою жизнь.

Интересно отметить, что через два года в связи с выходом в Англии Собрания сочинений Гуда в «Санктпетербургских ведомостях» была опубликована статья либерального критика А. В. Дружинина (1863, № 249), внутренне полемичная по отношению к статье Михайлова. Дружинин подчеркивал христианское смирение Гуда, написавшего «Песню о рубашке», «без задора, без подстрекательства на вражду и насилие», и восхвалял проповедь классового мира, содержавшуюся в предсмертном письме поэта.

Стр. 129. *Опыт перевода «Песни о рубашке», напечатанный в прошлом году в «Современнике»...*— Михайлов пишет о своем переводе (*С*, 1860, № 9; см. т. I наст. изд.), который он цитирует ниже (стр. 184).

Стр. 131. *...сын Гуда предпринимает издание полного собрания сочинений своего отца.*— Это издание в семи томах вышло в Лондоне в 1862 г.

Стр. 133. *Так, один знакомый Гуда-отца...*— Имеется в виду издатель Гессей (см. стр. 153).

Голль Анна-Мария (1800—1881) — ирландская писательница.

Лэмб Чарльз (1775—1834) — английский писатель-романтик, поэт, прозаик и драматург.

Друри-Лэнский театр — старейший из существующих лондонских театров; основан в 1663 г.

Стр. 134. *Боуская церковь* — старинная церковь в центре Лондона; ее колокольня увенчана фигурой дракона.

Стрекоза Грешемской башни.— Гуд имеет в виду старинный флюгер

на здании Королевской биржи, получившей свое название по имени ее основателя купца Томаса Грешема (1519—1579).

Мильтон — см. прим. к стр. 85.

Грей Томас (1716—1771) — английский поэт-сентименталист.

Поп Александр (1688—1744) — поэт эпохи английского классицизма.

Стр. 135. *...очень неточно называются семи-нариями, так как в них и наполовину ничему не учат...*— В подлиннике непередаваемая игра слов, основанная на значении префикса semi- (пол-).

Минерва — богиня мудрости (*римск. миф.*).

Экстренность — здесь: приплата, добавка.

Стр. 136. *Мистрис Маль-Апроп* (мистрис Невпопад, Некстати)— персонаж из комедии «Соперники» английского драматурга Ричарда Бринсли Шеридана (1751—1816); претенциозная дама, пересыпающая свою речь многочисленными учеными терминами и иностранными словами, которые она употребляет некстати, искажая при этом их произношение.

Я не вдавался ни в еврейский язык...— видоизмененная цитата из «Соперников» (действ. I, сц. II; слова мистрис Маль-Апроп).

Антифон — вид церковного пения.

Стр. 137. *«Корреспонденция Карнеби»* — памфлет Гуда в форме переписки между купцом Карнеби, его братом, сыном и содержателем школы; памфлет осмеивает порядки, господствовавшие в английских закрытых школах.

...производят так мало «удивительных Кричтонов»?— Кричтон Джемс (1560?—1582) — шотландский ученый, проявлявший с раннего детства необычайные способности; имя Кричтона с эпитетом «замечательный, восхитительный» (admirable; у Михайлова — «удивительный») стало нарицательным.

Пиерийский источник.— Пиерия — местность в древней Македонии, где, согласно греческой мифологии, обитали музы — богини-покровительницы наук и искусств.

Стиль Ричард (1672—1729), *Аддисон* Джозеф (1672—1719) — писатели раннего английского Просвещения, создатели сатирико-нравоописательных журналов, которые во многом подготовили расцвет английского реалистического романа XVIII в.

Альфред, прозванный Философом (конец XII — начало XIII в.)— английский схоласт.

Стр. 138. *Эссекс* Роберт Деверё (1566—1601), граф — фаворит английской королевы Елизаветы. В 1601 г. пытался поднять в Лондоне восстание против королевы, но был арестован и казнен.

Стр. 139. *Виттингтон* Ричард (уменьш.— *Дик*) (ум. 1423) — лондонский купец, трижды избиравшийся мэром Лондона. Согласно

популярной легенде, Виттингтон, будучи сиротой, отправился в Лондон в поисках счастья и смог добраться до столицы только благодаря помощи извозчика, встретившегося ему по дороге.

«Поль и Виргиния» — роман французского писателя-сентименталиста Бернардена де Сен Пьера (1737—1814).

Стр. 140. *Гинекократия* — господство женщин.

Стр. 141. *...школы, в которых он «питался науками».*— Михайлов использует выражение из оды Ломоносова 1747 года:

Науки юношей питают,
Отраду старым подают...

«The child is father to the man» — ставшая пословицей 7 строка из стихотворения поэта-романтика Вильяма Вордсворта (1770—1850) «Мое сердце бьется» («My heart leaps up», 1802).

Ислингтон — в XIX в. северное предместье Лондона.

Стр. 142. *...говорит Томас Гуд в шуточном сонете...*— Цитируемый сонет входит в «Литературные воспоминания» Гуда.

...перо мое... обмакивалось в Кастальский источник — то есть писало стихи. Кастальский источник — источник на горе Парнас, близ храма Аполлона — бога солнца, покровителя искусств (*греч. миф.*).

Гогг Джемс (1770—1835), прозванный «Пастух из Эттрика» — шотландский писатель-самоучка, происходивший из крестьян.

Глин-Мильз — название крупного банка.

Галифакс — английский промышленный город.

Роджерс Самуэль (1763—1855) — английский поэт, банкир и меценат.

Певец Надежды — английский поэт Томас Кэмпбелл (1777—1844), автор поэмы «Услады Надежды» (1799).

Стр. 143. *Фактура* — вид счета на отпущенный покупателю товар.

Страна Сладких Пирогов (точнее: «страна лепешек» — Land of Cakes) — так называли Шотландию, потому что овсяные лепешки считались шотландским национальным блюдом.

Стр. 144. *...нечто вроде очень старого пансионера гринвичской богадельни...*— О гринвичской богадельне для моряков см. в «Лондонских заметках» (стр. 316).

Аллен Коннингэм (1784—1842) — шотландский писатель и собиратель фольклора.

Томас Гуд сравнивает житье свое в Шотландии с положением Телемака...— Намек на эпизод из романа французского писателя Фенелона (1651—1715) «Похождения Телемака»: сын Улисса (Одиссея) Телемак, отправившийся в сопровождении наставника Ментора на поиски отца, попадает на остров богини Калипсо, которая влюбляется в Телемака и стремится удержать его у себя.

Стр. 144—145. ...*«в пользу... той аллегорической леди, которую так мудро предпочел Геркулес...»*— Гуд имеет в виду древнегреческую басню о Геркулесе на распутье: когда юный Геркулес раздумывал, каким путем ему идти в жизни, перед ним предстали две женщины — Изнеженность и Добродетель. Первая предложила ему жизнь, полную наслаждений, вторая показала трудный путь к славе; Геркулес выбрал путь славы.

Стр. 146. *Аллен Рамсей* (1686—1758) — шотландский поэт; собирал народные песни.

Битти Джемс (1735—1803) — шотландский поэт-сентименталист.

Стр. 147. *Как окончился день и затихло село...*— первая строка из стихотворения Битти «Отшельник».

Тей — река в Шотландии, на которой стоит город Донди.

«Песня поденщика» («The Lay of the labourer», 1844).—Ниже Михайлов называет это же стихотворение «Песня работника» (см. стр. 188).

Стр. 149. *«Отрадно нам себя в печати видеть»,— пел лорд Байрон...*— «Английские барды и шотландские обозреватели» (1809), строка 51.

...продать себя, душою и телом, по немецкой моде, этому меньшему Мефистофелю, Печатному бесу! — Намек на легенду о Фаусте (см. прим. к стр. 60).

Мистер Веллер-старший — персонаж из романа Диккенса «Посмертные записки Пиквикского клуба» (1836—1837), кучер.

Элукубрация — сочинение, написанное в результате долгого и напряженного труда; вымученное произведение.

Стр. 150. *Кольридж* Самуэль Тэлор (1772—1834) — английский поэт, реакционный романтик.

Стр. 151. *Чаттертон* Томас (1752—1770) — английский поэт. Семнадцати лет Чаттертон отправился в Лондон в надежде найти литературный заработок, но потерпел неудачу, впал в крайнюю бедность и покончил с собой.

Ле-Кё Джон (1783—1846) — английский гравер; иллюстрировал главным образом книги по архитектуре.

Стр. 153. *Джон Скотт* (1783—1821) — английский журналист; основал «London magazine» в 1820 г.

Тэлор Джон (1781—1864) — лондонский издатель.

Вуллет Вильям (1735—1785) — английский рисовальщик и гравер-пейзажист; его работы получили общеевропейское признание.

Стрендж Роберт (1721—1792) — английский гравер, в конце жизни президент Королевской Академии.

Барталоцци Франческо (1727—1815) — английский гравер; итальянец по происхождению.

Гримальди Джозеф (1779—1837) — лондонский комик и мимический актер.

Газлитт Вильям (1778—1830) — английский критик и очеркист романтического направления.

Эдуард Герберт — псевдоним английского писателя Джона Гамильтона *Рейнольдса* (1796—1852).

Стр. 154. *Кэри* Генри Френсис (1772—1844) — английский поэт-переводчик; переводил «Божественную комедию» Данте и произведения античных авторов.

Проктер Брайан Уэллер (1787—1874) — английский поэт, писавший под псевдонимом «Барри Корнуол» (у Михайлова — «Корнволь»). Михайлов перевел три драматические сцены и одно стихотворение Барри Корнуола (см. т. I наст. изд.).

Бауринг Джон (1792—1872) — английский писатель и лингвист.

Бартон Бернард (1784—1849) — английский поэт.

Эльтон Чарльз Абрагэм (1778—1853) — английский литератор и переводчик античных авторов.

Гартлей Кольридж (1796—1849) — английский литератор, сын С. Т. Кольриджа (см. прим. к стр. 150).

Тальфорд Томас Нун (1795—1854) — английский писатель и юрист.

Сон Джордж (1790—1860) — английский романист, драматург и переводчик.

Горас Смит (1779—1849) — английский юмористический поэт и романист.

Пуль Джон (1786— 1872) — английский комедиограф и прозаик.

Клэр Джон (1793—1864) — английский крестьянский поэт.

Томас Бинейон — слуга Тэлора (см. прим. к стр. 153).

Разве не было в тебе таких творений, как «Потребитель опиума», как «Карлик», как «Гигант», как «Ученый ягненок», как «Зеленый человек»? — Михайлов допустил ошибку в переводе; в оригинале: «Hadn't you an Opium Eater...» («Разве не было у тебя Потребителя опиума...») В этой фразе Гуд перечислял прозвища сотрудников «London magazine»: «Потребитель опиума» — писатель-романтик Томас де Квинси (1785—1859), автор романа «Признания английского потребителя опиума» (1822); «Гигант» — А. Коннингэм; «Ученый ягненок» — Ч. Лэмб (Lamb по-английски — ягненок); «Зеленый человек» — Дж. Клэр (см. стр. 159); установить принадлежность прозвища «Карлик» не удалось.

«Озеро смерти. Отрывок» (1822) — стихотворение Гуда.

Стр. 155. *«Малая Британия»* — так называлось в XIX в. несколько кварталов в восточной части Сити.

Вашингтон Ирвинг (1783—1859) — американский писатель-романтик.

Джон Китс (1795—1821) — английский поэт-романтик.

Чарльз Вентворт Дёльк (1789—1864) — английский журналист издатель лондонского журнала «Athenaeum», а затем газеты «Dayly, news».

Стр. 155—156. ...*ароматный цветок подлинника окажется в нашем переложении «засохшей, безуханной» травой из гербария.*— Михайлов использует выражение из стихотворения А. С. Пушкина «Цветок» (1828):

Цветок засохший, безуханный,
Забытый в книге вижу я...

Стр. 157. *Броун* Томас (1605—1682) — английский врач, философ и антиквар.

Коттон Чарльз (1630—1687) — сатирический поэт и переводчик Монтеня.

Вальтон Исаак (1593—1683) — автор сочинения «Полный удильщик, или Созерцательное развлечение человека», представляющего собою серию диалогов об удовольствиях, связанных с рыбной ловлей. Продолжение «Полного удильщика» было написано Ч. Коттоном.

Стр. 158. *Бортон* Роберт (1577—1640) — английский ученый, автор трактата «Анатомия меланхолии». Прозвание «старший», по-видимому, добавлено Гудом для комического эффекта.

Кольмен-младший Джордж (1762—1836) — английский драматург и театральный директор; сын драматурга Джорджа Кольмена-старшего (1732—1794).

...*я пустился в лафатеровские соображения...*— Лафатер Иоганн-Каспар (1741—1801) — швейцарский писатель, создатель физиогномики — теории, согласно которой характер и душевная жизнь человека могут быть определены на основании строения его лица и черепа.

...*поводом к недоразумению в какой-нибудь Комедии ошибок.*— Намек на «Комедию ошибок» Шекспира, главными действующими лицами которой являются два брата-близнеца; их слуги — тоже близнецы. Сходство близнецов служит причиной многочисленных недоразумений.

Стр. 159. ...*пьеса его, в которой он с большим сочувствием заступался за нищих...*— Имеется в виду очерк Лэмба «Жалоба на упадок нищих в столице».

Стр. 163. *Бульвер*-Литтон Эдуард Джордж (1803—1873) — английский романист и драматург. Его роман «Евгений Арам» был издан в 1832 г.

Тальфорд, описывая общество, собиравшееся под гостеприимною кровлей Элии, говорит...— Михайлов цитирует книгу Т. Н. Тальфорда «Письма Чарльза Лэмба с очерком его жизни» (1837).

Борней Джемс (1750—1821) — английский морской офицер и историк мореплавания.

Кук Джемс (1728—1779) — английский мореплаватель, исследователь Тихого океана; совершил три кругосветных путешествия.

Доктор Джонсон Самуэль (1709—1784) — английский критик, поэт и ученый, составитель первого полного толкового словаря английского языка. К *кружку Джонсона* принадлежали писатель Гольдсмит, художник Рейнольдс, актер Гаррик и другие выдающиеся деятели английской культуры второй половины XVIII в.

Стр. 167. «*Понч*» — наиболее распространенный в Англии XIX в. юмористический еженедельник.

Стр. 173. *...возбужденный славным примером Вальтера Скотта, он решился... уплачивать свои долги литературным трудом.*— Вальтер Скотт принял участие в спекуляциях своих издателей и зимой 1825 — 1826 г. потерпел банкротство. Считая бесчестным объявить себя несостоятельным должником, Скотт обязался оплатить огромную сумму долга (130 000 фунтов стерлингов) за счет литературных гонораров и благодаря упорному семилетнему труду выполнил свое обязательство.

Эллиот Джон (1791—1868) — врач.

Стр. 179. *Кольборн* Генри (ум. 1855) — лондонский издатель; в 1814 г. начал издавать «New monthly magazine».

...характеристика его, появившаяся... в «Вестминстерском обозрении».— Статья о Гуде была напечатана в «Вестминстерском обозрении» (т. XXIX, 1838) за подписью «Ф. Бердитт».

Стр. 180. *...его йориковский ум блестел шутками и остротами...*— Йорик — королевский шут, «человек бесконечно остроумный, чудеснейший выдумщик», о котором рассказывает Гамлет (Шекспир, Гамлет, действ. V, сц. I).

Стр. 181. *Мартин* Джон (1789—1854) — английский живописец и гравер.

Гук Теодор Эдуард (1788—1841) — английский юмористический писатель и журналист.

Стр. 183. «*Свисток*» — сатирическое приложение к «Современнику», выходившее нерегулярно с 1859 по 1863 г. Основным автором «Свистка» был Н. А. Добролюбов. Не только реакционная, но и либеральная пресса неоднократно нападали на «Свисток», заявляя, что выпуск такого приложения недостоин серьезного журнала и представляет собою профанацию литературы.

Стр. 185. *Роберт Броунинг* (1812—1889) — английский поэт.

Джемс Джордж (1799—1860) — английский исторический романист и историк.

Монктон-Мильнз (точнее Мильнз Ричард Монктон, 1809—1885)— английский политический деятель, поэт и меценат. В 1855 г. Мильнз выступил с речью на открытии памятника Гуду.

Стр. 187. *Роберт Пиль* (1788—1850) — английский государственный деятель; в 1834—1835 и 1841—1846 гг.— премьер-министр. Первоначально принадлежал к партии консерваторов (тори). Реформы, про-

веденные Пилем в интересах промышленной буржуазии, в частности, отмена хлебных законов (см. прим. к стр. 191), вызвали раскол партии консерваторов, и Пиль с группой сторонников вошел в состав либеральной партии.

Стр. 188. *...только бы избежать стен рабочего дома...*— В рабочие (или работные) дома, согласно английскому законодательству о бедных, помещались бедняки, лишенные средств к существованию. Условия жизни в этих домах были почти такие же, как в тюрьмах.

Стр. 189. *«Я не хочу приходских денег, приходского хлеба...»*— Система общественной благотворительности в Англии предусматривала обеспечение прожиточного минимума для бедняков за счет приходских средств.

Стр. 190. *«Записки»*.— Имеются в виду «Материалы для биографии Т. Гуда» (см. стр. 130).

Стр. 191. *«...в тех снах, которые, как думал Гамлет, могут успокоивать или тревожить нас в могиле?..»*— Гуд имеет в виду слова из монолога Гамлета «Быть или не быть»:

Какие сны приснятся в смертном сне,
Когда мы сбросим этот бренный шум,—
Вот что сбивает нас...

(*«Гамлет», действ. III., сц. I; перевод М. Л. Лозинского.*)

Лига против хлебных законов — общество, организованное в Англии в 1838 г., которое первоначально добивалось отмены пошлин на ввозимую пшеницу, а затем — полной свободы торговли. Движение за отмену хлебных законов отражало интересы либеральной буржуазии, но к нему примыкали и демократические полупролетарские элементы, заинтересованные в снижении хлебных цен.

Чартизм — английское рабочее движение (с конца 30-х до начала 50-х гг.), «первое широкое, действительно массовое, политически оформленное пролетарски-революционное движение» (В. И. Ленин, Сочинения, т. 29, стр. 282); чартисты требовали демократизации государственного строя Англии.

Стр. 192. *Эбеназар Эллиот* (1781—1849) — английский поэт, сын кузнеца; Эллиот примыкал к чартистам, пока не определился пролетарский характер движения. Ниже Михайлов приводит «Песню» Эллиота.

Стр. 193. *Вильям Джонсон Фокс* (1786—1864) — английский богослов и политический деятель; активно выступал в защиту Лиги против хлебных законов.

Стр. 194. *Кобден* Ричард (1804—1865) — английский либеральный политический деятель, один из главных организаторов Лиги против хлебных законов.

...разрывая связи с партией, представляющею в Англии самую упорную задержку движения.— Имеется в виду консервативная партия (тори), политика которой выражала интересы крупных землевладельцев.

...с убийцей своего секретаря Друммонда...— Друммонд Эдуард (1792—1843) — личный секретарь Р. Пиля; был застрелен по ошибке Даниэлем Макнотеном, токарем из Глазго, который покушался на Пиля. Макнотен был признан безумным.

Стр. 198. *Мойр* Давид Макбет (1798—1851) — шотландский писатель.

«*Прощай, жизнь!..*» — Вскоре после опубликования статей о Гуде Михайлов создал стихотворный перевод «Стансов» (см. т. I наст. изд.).

Стр. 202. *Элиза Кук* (1818—1889) — английская поэтесса.

СТИХОТВОРЕНИЯ А. Н. ПЛЕЩЕЕВА

Печатается по *С*, 1861, № 3, где появилась без подписи.

До последнего времени рецензия приписывалась Н. Г. Чернышевскому и включалась в собрание его сочинений. Авторство М. Л. Михайлова установлено А. В. Кушаковым (см. *Чернышевский*, *ПСС*, т. XVI, стр. 943 и М. Михайлов, Собрание стихотворений, Л. 1953, стр. 9).

Михайлов был близко знаком с Плещеевым. Находясь в связи с участием в литературно-этнографической экспедиции (см. подробно вступительную статью к т. I наст. изд.) в Оренбурге, Михайлов посетил поэта, находившегося там в ссылке после процесса 1849 г. над петрашевцами. Как сообщила нам Л. С. Пустильник, в неопубликованном письме Плещеева от 3 апреля 1861 г. Михайлову содержится положительный отзыв поэта о статье Михайлова.

Стр. 203. ...*тогда... редакторы больших и толстых журналов вообразили, что всякая строчка с кадансом и рифмой в конце должна компрометировать их серьезность...*— Имеется в виду вытеснение поэзии прозой в журналах 40-х гг., что было связано с усилением реалистического направления в литературе.

Каданс — ритм в стихе.

Греков — см. прим. к стр. 60.

Красов В. И. (1810—1855), *Бернет* (псевдоним А. К. Жуковского, 1810—1864) — поэты 40-х гг.

Дмитриев — см. прим. к стр. 49.

Глинка Ф. Н. (1786—1880) — поэт и публицист, в 20-е гг.— участник движения декабристов, в 40—50-е гг.— реакционер, стоявший на позициях «официальной народности».

Шатров Н. М. (1765—1841) — поэт, эпигон классицизма.

Фет — см. прим. к стр. 49.

Полонский Я. П. (1819—1898), *Майков* А. Н. (1821—1897) — талантливые поэты, примыкавшие к школе «чистого искусства».

Стр. 204. *Безобразов* В. П. (1828—1889) — буржуазно-либеральный экономист и публицист.

...с демосфеновским пафосом... — Демосфен (384—322 до н. э.) — знаменитый греческий оратор.

Стр. 204—205. *Разумеется, мелодии г. Фета... не представляли... никаких практических применений в сфере интересов русского общества.* — Речь идет о стихотворениях А. А. Фета «Тихая звездная ночь», «Утром курится поляна», «Буря на небе вечернем» из цикла «Мелодии». Михайлов отрицательно относился к стихотворениям Фета, выдержанным в духе «чистого искусства», и пародировал их (см. т. I наст. изд.).

Стр. 205. *Конечно, александрийские стихи г. Майкова... не имели практического значения для русской жизни...* — Имеются в виду стихотворения А. Н. Майкова «Гезиод», «Сон», «Искусство», «Приапу».

Приап — бог плодородия, покровитель пастбищ, стад (*греч. миф.*).

Конечно, баллады г. Полонского... — Имеются в виду стихотворения «Факир», «Взятие Мемфиса».

Мемфис — древнеегипетский город, развалины которого находятся вблизи Каира.

Егунов А. Н. (1824—1897) — статистик и экономист, автор работы «О ценах на хлеб в России».

Небольсин — вероятно, Небольсин Г. П. (1811—1896), статистик.

Бенедиктов — см. прим. к стр. 52; в 50-е гг. примыкал к либерально-обличительному направлению.

Конрад Лилиеншвагер — сатирическая маска либерального поэта-«обличителя», созданная в «Свистке» Н. А. Добролюбовым.

Розенгейм М. П. (1820—1887) — поэт, журналист, представитель либерального «обличительства».

Стр. 205—206. *...русская журналистика этого времени... не могла, по известным более или менее всем обстоятельствам, проникнуться... немедленно применимым характером.* — Намек на усиление цензурных гонений в 40-е гг.

Стр. 206. *Вердеревский* Е. А., *Фон Лизандер* Д. К. (1824—1894) — поэты 40-х гг.

Платон Кусков (1834—1909), *Случевский* К. К. (1837—1904), *Тур* З. В. — поэты 60-х гг., сторонники «чистого искусства».

Под капотиком груди волна — строка из стихотворения «Соседка», высмеянного и Добролюбовым в статье «Стихотворения Михаила Розенгейма» (1858).

В это-то время появилась небольшая книжка стихотворений г. Плещеева — сборник «Стихотворения А. Плещеева», СПБ 1846.

Стр. 207. ...*с таким же пренебрежением отозвались об ней лучшие журналы.*— См., напр., рецензии в *ОЗ* (1846, № 10), в «Библиотеке для чтения» (1846, № 11), в «Финском вестнике» (1846, № 12).

Зачем переводит стихи Гейне? — См., напр., *ОЗ*, 1846, № 10. Ср. с отрицательным отзывом Белинского о переводах Плещеевым стихотворений Гейне (Белинский, Полн. собр. соч., т. 9, 1955, стр. 587).

«*Земля иссушена и уныла...*» — эпиграф к стихотворению Плещеева «Сон». Взят из произведения «Слова верующего» аббата Фелисите Робера *Ламенне* (1782—1854) — французского политического и религиозного деятеля, сторонника так называемого «христианского социализма».

Стр. 208. ...*в последнем издании стихотворений г. Плещеева...*— Рецензируемый Михайловым сборник 1861 г. В него входили новые стихотворения Плещеева, стихотворения *из предпоследнего издания* — сборника 1858 г. и часть стихотворений *из первой книжки* — сборника 1846 г., которые в сборник 1858 г. не включались («Сон», «Вперед, без страха и сомненья...» и др.).

Стр. 209. ...*прежние рецензенты г. Плещеева были особенно недовольны стихотворением или отрывком из поэмы «Сон»...*— См., напр., *ОЗ*, 1846, № 10.

Левит — здесь: пророк (*библ.*).

Стр. 210. ...*после длинного, чуть не десятилетнего перерыва...*— намек на ссылку Плещеева.

Дни скорби и тревог, дни горького сомненья...— стихотворение «Раздумье» (1855).

Стр. 211. *Перед тобой лежит широкий, новый путь...*— стихотворение Плещеева «С...у» (1856).

Стр. 212. «*Вильям Ратклиф*» (1822) — ранняя романтическая трагедия Гейне. Плещеев посвятил ее перевод Чернышевскому.

«*Книга песен*» (1827) — сборник лучших лирических стихотворений Гейне раннего периода.

Стр. 213. «*Это слово,— говорит он...*»— Цитируется предисловие Гейне к третьему изданию «Вилльяма Ратклифа» (1851).

Почтенный Том — одно из действующих лиц «Вилльяма Ратклифа», содержатель воровского притона.

Фридрих Шлегель (1772—1829) — немецкий философ и поэт романтического направления.

«*Альманзор*» (1820—1821) — юношеская драма Гейне.

«*Путевые картины*» (1826—1831) — прозаический сборник Гейне, объединяющий путевые зарисовки, размышления поэта, сатирические портреты и т. п.

«Новые стихотворения» (1844) — сборник стихотворений Гейне.

Стр. 214. *Эйхендорф* Йозеф (1788—1856) — немецкий поэт-романтик.

Оскар Редвиц — см. прим. к стр. 63.

Фрейлиграт Фердинанд (1810—1876) — немецкий революционный поэт, член «Союза коммунистов», созданного К. Марксом.

Мориц Гартман (1821—1872) — австрийский поэт, участник революции 1848 г.

Роберт Пруц (1816—1872) — поэт и писатель либерального направления, один из создателей немецкого социального романа.

Карл Бек (1817—1879) — немецкий писатель, поборник национального освобождения Венгрии.

Анастазий Грюн—псевдоним Антона-Александра Ауэрсберга (1806—1876) — австрийского поэта, автора *«Прогулок Венского поэта».*

Песня Рюккерта «Странник».— Фридрих Рюккерт (1789—1866)— немецкий поэт и переводчик восточной поэзии. В сборнике Плещеева перевод стихотворения Рюккерта о страннике помещен под названием «Из Рюккерта»; «Странник» — название оригинального стихотворения Плещеева, помещенного в том же сборнике.

Стр. 216. *Яков Хам* — сатирическая маска «австрийского поэта», реакционера и приспособленца, созданная в «Свистке» Добролюбовым.

Стр. 217. *Альфред Мейснер* (1822—1885) — писатель, участник революции 1848 г., позднее — умеренный либерал.

...несколько очень хороших переводов с польского и малороссийского— в том числе переводы восьми стихотворений Т. Г. Шевченко и его поэмы «Наймичка».

ПУБЛИЦИСТИКА

ПАРИЖСКИЕ ПИСЬМА

Печатается по *С*, 1858, №№ 9, 10, 12; 1859, № 2.

«Парижские письма» написаны Михайловым во время его пребывания во Франции в 1858 — начале 1859 г.

В июле 1858 г. Михайлов выехал за границу и прибыл в Париж, где его ожидали Шелгуновы. В начале августа Михайлов и Шелгуновы отправились в Трувиль, небольшой курортный городок на берегу Ламанша, где пробыли около месяца и где Михайлов работал над статьями по «женскому вопросу», а затем возвратились в Париж (о Трувиле и о других городах, которые посетил во время этой поездки Михайлов, он писал в третьем из «Парижских писем». *С*, 1858, № 11).

В конце февраля 1859 г. Михайлов, а вскоре и Шелгуновы выехали в Лондон, затем еще раз посетили Париж и весной вернулись в Россию.

Михайлов наблюдал жизнь Франции во время неограниченной диктатуры Наполеона III. В стране торжествовала буржуазно-клерикальная реакция. Правительство подавляло малейшие проявления свободолюбивой мысли. Многие республиканцы, боровшиеся против наполеоновского режима (Виктор Гюго, Луи Блан и др.), были вынуждены эмигрировать. Но и в период разгула реакции в Париже возникали «там и здесь очаги, если не революции, то недовольства императорским правительством» (*Шелгунов*, стр. 72). С одним из подобных «очагов» Михайлову удалось познакомиться в гостинице Мольера, в которой он остановился. «Политические убеждения компании,— вспоминал Шелгунов,— были республиканские. Наполеона ненавидели... Разговор вертелся на Наполеоне III и Прудоне. Наполеону доставалось за его императорство, а Прудону — за его нападки на женщин» (Там же, стр. 103).

«Парижские письма» проникнуты демократическими убеждениями, горячим сочувствием республиканцам Франции, боровшимся за лучшее будущее своей страны. Их пафос — в суровом осуждении деспотического режима Наполеона III. Характерной особенностью «Писем», по мнению Писарева, является то, что «изображая различные стороны французской жизни и французского общества, Михайлов с беспощадной правдивостью обнажал пороки, разъедающие его организм» (Д. И. Писарев, Полн. собр. соч., т. 1, СПБ 1897, стр. 111).

Стр. 221. *Маделена* — см. стр. 284.

Рейхгарт Генрих-Август (1751—1828) — немецкий писатель, театровед, составитель «Путеводителя путешественников» (1793), имевшего большой успех у современников; воспользовавшись этим, один из французских издателей издал под именем Рейхгарта целую серию путеводителей по Европе, один из которых, вероятно, и имеет в виду Михайлов.

Стр. 222. *Jardin Mobille, Château d'Asnières* — парижские увеселительные заведения.

Стр. 223. *Рашель* — см. прим. к стр. 11.

«Мария Стюарт» (1800) — трагедия Ф. Шиллера.

Стр. 224. *Андромаха* — здесь: героиня одноименной трагедии (1667) Жана-Батиста Расина (см. прим. к стр. 10).

Роксолана (Роксана) — героиня трагедии Расина «Баязет» (1672).

Стр. 225. *О нем я буду еще иметь случай сказать...* — О Фовети и его журнале в «Парижских письмах» больше не говорится.

Эжен Моро (1816—1876) — французский драматург и артист.

Стр. 226. *Вьярдо* (Виардо) Луи (1800—1883)—французский критик, искусствовед, переводчик.

Стр. 227. *Александр Дюма* — см. прим. к стр. 10.

Ламартин — см. прим. к стр. 66. В 1858 г. была открыта общественная подписка в пользу Ламартина, которая должна была помочь ему расплатиться с многочисленными долгами. Ряд зарубежных и французских журналов весьма отрицательно отозвались о ней. Ламартин в июле 1858 г. послал письмо в газету «L'Univers», где оправдывался в подписке, приводя в качестве примера Лафита, Дюпона, Шатобриана, семью Лафайета, которые не стыдились устраивать такого рода подписки.

Дюпон de l'Eure Жак-Шарль (1767—1855) — французский политический деятель.

Лафит Жак (1767—1844) — французский финансист и политический деятель.

Лафайет Мари-Жозеф-Поль (1757—1834) — французский генерал, политический деятель, участник борьбы за независимость Америки.

Шатобриан — см. прим. к стр. 66.

Стр. 228. *Потье* Эжен (1816—1887) — французский рабочий поэт, автор «Интернационала», крупнейший представитель поэзии Парижской коммуны.

О прекрасная непобедимая Франция!.. — строки из стихотворения «Искусство и народ» (сборник «Возмездие», см. подробно прим. к стр. 77).

Гюстав Надо (1820—1893) — французский композитор и поэт-песенник.

Стр. 229. *В одной пьеске, обращенной к Беранже...* — Речь идет о стихотворении Надо «A Béranger» («К Беранже»).

В одной из оставшихся у меня в памяти... — Речь идет о стихотворении Потье «Vieille maison à démolir» («Старый дом на слом», 1848).

Песня, говорящая о холодной зиме — стихотворение Потье «Les paroles gelées» («Замороженные слова», 1857).

...прелестная песня, называющаяся: «Жак и Марианна». — Эта песня, видимо в измененном виде, вошла в сборник стихотворений Потье под названием «Quand viendra-t-elle?» («Когда же она придет?», 1870)

Пьер Дюпон (1821—1870) — французский рабочий поэт-песенник, участник революции 1848 г.

Стр. 230. *Его возлюбленная...* — Из цензурных соображений Михайлов заменяет точками слово «республика».

Казимир Делавинь (1793—1843) — французский поэт и драматург.

Казимир Бонжур (1795—1856) — французский драматург.

Стр. 231. *Прудон* Пьер-Жозеф (1809—1865) — французский мелкобуржуазный социолог. В 1846 г. вышла в свет его «*Система экономических противоречий*, или Философия нищеты», резко раскритикованная К. Марксом в «Нищете философии» (1847). Книгу Прудона «*О справед-*

ливости...» (1858) Михайлов подробно анализирует в 5-м «Парижском письме» и в статье «Женщины, их воспитание...». За книгу «О справедливости» Прудон был привлечен к суду, приговорен к трем годам лишения свободы и эмигрировал в Бельгию.

В 1849 г. Прудон приговаривался к трем годам тюремного заключения за резкие статьи против президента Франции.

Д'Эрикур Эженни, *госпожа Л.* (Жюльетта Ламбер) — сторонницы женской эмансипации. Против них была направлена незаконченная книга Прудона «Порнократия, или Женщины в настоящее время».

Стр. 232. *Эжень* (*Эжен*) *Мирекур* — псевдоним Шарля-Жана-Батиста Жако (1812—1880), французского реакционного литератора.

Плутарх (ок. 46 — 126) — древнегреческий писатель, автор «Сравнительных жизнеописаний», биографий выдающихся греческих и римских деятелей.

Матье Жак-Мари-Сезер (1796—1875) — реакционный церковник, архиепископ Безансона.

Стр. 233. *Трактат о собственности*—брошюра Прудона «Qu'est-ce que la prорrièté?» («Что такое собственность?»), вышедшая в 1840 г.

«Автор моей мнимой биографии...» — письмо Прудона Матье цитируется по книге «О справедливости».

Стр. 234. *Франш-Конте* — провинция на востоке Франции (центр. г. Безансон).

Стр. 237. *Sainte Pelagie*— парижская тюрьма, в которой обычно отбывали наказание писатели, осужденные за нарушение законов о печати. Мирекур был приговорен к шести месяцам тюрьмы за книгу о Дюма-отце.

Принц Лудовик Наполеон (1808—1873) — племянник Наполеона I; в 1852—1870 гг. император Франции под именем Наполеона III.

Стр. 238. *Мишле* Жюль (1798—1874) — французский мелкобуржуазный историк и социолог, автор книг «Любовь» (1859) и «Женщина» (1860).

Бюсси д Амбуаз Луи (1549—1579) — один из руководителей резни во время *Варфоломеевской ночи* (на 24 августа 1572 г.), когда католики устроили истребление протестантов.

Шербурские празднества — Шербург (Шербур) — французский укрепленный порт на Ла-Манше. В августе 1858 г. Наполеон III устроил большие празднества в связи с завершением строительства порта. На торжествах присутствовала английская королева Виктория с семьей.

...я невольно вспомнил стихи Гейне...— Речь идет о стихотворении Гейне «Verkehrte Welt» («Мир навыворот», 1844).

Стр. 239. *О нем писал в «Русском вестнике» г. Рачинский...*— Имеется в виду С. А. Рачинский (1836—1902), деятель просвещения, и его статья «Институт Стоя в Иене».

Стр. 240. *«Глазки и лапки, глазки и лапки»* — слова «просто приятной дамы» из «Мертвых душ» Гоголя (т. I, глава 9).

Стр. 240—241. *Фридрих-Вильгельм III* (1770—1840), *Фридрих Великий*, или Фридрих II (1712—1786), *Фридрих-Вильгельм I* (1688—1740) — прусские короли.

Стр. 241. *Шадов* Иоганн-Готфрид (1764—1850) — немецкий скульптор.

Экстрен — скорый поезд.

...две клотовские бронзовые лошади с нашего Аничкина моста.— Клодт фон Юргенсбург П. К. (1805—1867) — русский скульптор, автор четырех бронзовых групп укротителей лошадей на Аничковом мосту в Петербурге. Отливки двух из этих групп были установлены в 40-х гг. также в Берлине.

Рауховский памятник — памятник Фридриху II работы немецкого скульптора-классициста Христиана-Даниэля Рауха (1777—1857).

Видерт Август (1823—1888) — переводчик и популяризатор русской литературы в Германии.

Стр. 242. *Один из благороднейших мыслителей нашего времени.*— Имеется в виду Прудон. Цитируется пролог его книги «О справедливости».

Стр. 243. *Тот властелин, который чувствовал, что становится полубогом* — римский император Тит Флавий Веспасиан (9—79), обоготворенный при жизни.

Сен-Марк де Жирардѐн (1801—1873) — французский литератор и политический деятель.

Веллингтон Артур-Уэлсли (1769—1852) — английский полководец и реакционный государственный деятель.

Ройе-Коляр Пьер-Поль (1763—1845) — французский политический деятель умеренно-либеральных взглядов.

Стр. 257. *Эмиль Ожье* (1820—1889), *Эдуард Фусье* (1824—1882) — французские драматурги.

Александр Дюма-сын (1824—1895) — французский драматург, автор романа и драмы «*Дама с камелиями*».

Альфред де Мюссе (1810—1857) — французский писатель-романтик. Цитируется его произведение «Rolla» («Ролла»).

Манон Леско— героиня одноименного романа французского писателя Антуана Прево (1697—1763).

Стр. 258. *Королева Помаре* Аимата (1822—1877) — королева Таити. Ее имя стало прозвищем одной из французских танцовщиц кафешантана Jardin Mobille, рано умершей от туберкулеза.

Лукреция — римлянка, обесчещенная сыном римского царя и покончившая с собой.

Лупанары — публичные дома.

«Нечего на зеркало пенять...» — неточно цитируется эпиграф к «Ревизору» Гоголя.

Икария — фантастическая страна, изображенная в утопическом романе «Путешествие в Икарию» французского социалиста Этьенна Кабе (1788—1856).

Фаланстера — дворец, в котором, согласно учению французского утопического социалиста *Шарля Фурье* (1772—1837), будут жить люди будущего социалистического общества.

Стр. 259. *Мормонитский Иерусалим.*— Согласно учению мормонов (американская религиозная секта) — идеальный город.

Поль-де-Кок (1794—1871) — французский беллетрист, автор романов фривольного содержания.

Соси — рогоносец.

Принц Наполеон — Жозеф-Шарль-Поль Бонапарт (1822—1891), двоюродный брат Наполеона III, иногда занимавший позицию либерального фрондерства по отношению к императору.

Стр. 260. *Флуран* Жан-Пьер (1794—1867) — французский естествоиспытатель.

Стр. 261. *Фульд* Ахилл (1800—1867) — французский реакционный политический деятель и финансист, бывший несколько раз министром и много занимавшийся делами театра.

Стр. 262. «*Gazette des Tribunaux*» — выходящий с 1774 г. французский журнал, освещающий вопросы юриспруденции.

Леон Гозлан (1803—1866) — французский писатель и драматург.

Стр. 264. *Людовик* XIV (1638—1715) — король Франции периода расцвета абсолютизма.

Принц Конти Франсуа-Луи (1664—1709) — французский военачальник и политический деятель.

Жан Барт (1650—1702) — моряк, герой многочисленных легенд.

Стр. 265. *Лувр* — королевский дворец в Париже, с 1893 г.— национальный художественный музей.

...история, которая так пестро намалевана на стенах Версальского дворца.—Королевский дворец в пригороде Парижа Версале, с 1837 г.— художественный музей.

Бастилия — крепость и тюрьма в Париже, взятая революционным народом 14 июля 1789 г.

Взятие Севастополя.— Имеется в виду взятие его во время русско-турецкой войны 1853—1856 гг.

Стр. 266. *Дело Мортары* — дело о похищении и тайном крещении католическим духовенством в 1858 г. еврейского ребенка.

«*La Presse*» — французская буржуазная дешевая многотиражная газета, выходившая с 1836 г.

«*L'Univers*»—французская реакционная католическая газета (1733—

1860), выходившая одно время под редакцией *Велье* (Вёльо) Луи-Франсуа (1813—1883). «L'Univers» оправдывала похитителей ребенка, доказывая, что они спасают его душу от ада.

«*Civilta cattolica*» — издание итальянских иезуитов, выходившее с 1850 г.

Площадь Grève — площадь в Париже, на которой совершались публичные казни.

Руссо Жан-Жак (1712—1778) — французский философ-просветитель.

Стр. 267. *Рабле* Франсуа (ок. 1494—1553) — французский гуманист, писатель-сатирик. Цитируется его роман «Гаргантюа и Пантагрюэль» (книга 1, глава 17).

Гаварни Поль — псевдоним Гийома Шевалье (1804—1866), французского рисовальщика, литографа, автора многочисленных бытовых зарисовок.

Квазимодо, Клод Фролло, Эсмеральда — герои романа Гюго «Собор Парижской богоматери» (1831).

Стр. 268. *Эдда* — скандинавский народный эпос.

Каппер Зигфрид (1821—1877) — немецко-чешский писатель и переводчик с славянских языков. В 1851 г. вышел его перевод сербских народных песен о *Лазаре* — последнем независимом правителе Сербии (XIV в.).

Палимпсест — античная или средневековая рукопись, написанная по стертому или соскобленному первоначальному тексту.

Новый Лувр — пристройки к зданию Лувра (см. выше); закончены в 50-х гг. при Наполеоне III.

Хрустальный дворец — дворец для всемирной промышленной выставки (1851), выстроенный в Лондоне. Позднее перенесен в пригород Лондона Сейденгем.

Дворец промышленности — здание, выстроенное в Париже для всемирной промышленной выставки 1855 г.

Стр. 269. *Винкельман* Иоганн-Иоахим (1717—1768) — немецкий историк античного искусства.

...атлантическая проволока будет же действовать... — Имеются в виду работы по прокладке подводного телеграфного кабеля между Европой и Америкой, не увенчавшиеся в 1858 г. успехом.

...как окаменела жена Лота. — Жена Лота, уходя из города Содома, пораженного божьим гневом, нарушила божественный запрет, из любопытства оглянувшись назад, и превратилась в соляной столб (*библ.*).

Стр. 270. *Абелард* Пьер (1079—1142) — французский теолог, знаменитый своей романтической несчастной любовью к *Элоизе* (1101—1164).

Стр. 271. *Шопен* Фредерик (1810—1849) — польский композитор и пианист.

Манюэль Жак-Антуан (1775—1827) — французский политический деятель-республиканец. Цитируется стихотворение Беранже «Могила Манюэля» («Le Tombeau de Manuel»).

Жирарден Эмиль (1806—1881) — французский буржуазный публицист и политический деятель.

Стр. 272. *Клопен Труйфу* — нищий, притворяющийся калекой, персонаж романа Гюго «Собор Парижской богоматери».

Монталамбер Шарль-Форб (1810—1870) — французский реакционный публицист и политический деятель; в 50-е гг. был в оппозиции режиму Наполеона III.

Стр. 273. «*Correspondant*» (основан в 1843 г.) — орган так называемой «либеральной коалиции», сторонников Бурбонов и Орлеанов (младшая ветвь династии Бурбонов), поддерживавшихся католическим духовенством.

Стр. 274. *Лукреций* — Тит Лукреций Кар (98—55 до н. э.), римский поэт и философ-материалист, автор поэмы «О природе вещей», которая цитируется Монталамбером (подстрочный перевод Ф. Петровского).

Стр. 276. *Фронда* — движение во Франции середины XVII в. против укреплявшегося абсолютизма.

Большое английское возмущение — английская буржуазная революция XVII в.

Плавт Тит Макций (254—184 до н. э.) — римский комедиограф.

...когда он, начиная свои победы на Пиренейском полуострове... — Веллингтон командовал в 1808—1813 гг. английскими войсками действовавшими на Пиренейском полуострове против армии Наполеона I.

Стр. 280. *Геркуланум* — город в Италии, вблизи Неаполя, разрушенный и засыпанный пеплом в 79 г. во время извержения Везувия.

Брокен — гора в Германии. Согласно немецкой мифологии на ней в Вальпургиеву ночь (на 1-е мая) происходит шабаш ведьм.

Дюмен Луи-Франсуа (1831—1893), *Рувьер* Альфонс (1809—1865) — французские артисты.

Г-жа Лютер — сценическое имя французской актрисы Амедины Люперже (1829—1861).

Октав Фелье (1821—1890) — французский литератор, бытописатель «высшего света» и буржуазии.

Компьен — город вблизи Парижа; Компьенский лес — место королевской охоты.

Стр. 281. *Львов* Н. М. (1821—1872) — драматург, автор «обличительных» комедий. Михайлов имеет в виду его комедию «Предубеждение, или Не место красит человека, человек — место».

Стр. 282. *Макадам* — дорога с покрытием из утрамбованного щебня.

Латинский квартал — район Парижа, в котором сосредоточены учебные заведения и живет большинство студентов.

На вербах — во время весенней ярмарки в вербную неделю.

Июльская колонна — памятник в честь Июльской революции 1830 г.

Стр. 283. ...*Александр Дюма в своих записках*...— Имеется в виду книга «De Paris à Astrakan» («От Парижа до Астрахани»).

Стр. 284. *Парфенон* — храм в древних Афинах (V в. до н. э.), памятник античного искусства.

Иена — город в Германии, *Аустерлиц* — ныне город Славков в Чехословакии. В сражениях вблизи этих городов войска Наполеона I одержали в 1805—1806 гг. крупные победы.

Людовик-Филипп.— Имеется в виду Луи Филипп (1773—1850), король (1830—1848), ставленник крупной финансовой буржуазии.

Тиртей — легендарный древнегреческий певец и оратор, вдохновлявший спартанских воинов на битвы.

Карл Барромейский, Маргарита Шотландская — католические святые.

Перистиль — см. прим. к стр. 74.

Стр. 285. *Луксорский обелиск* — памятник древнеегипетского искусства, перевезенный в Париж из развалин Луксорского храма вблизи Фив.

Прада.— Имеется в виду Жан Прадье (ок. 1790—1852), французский скульптор, представитель салонного академизма.

Булонский лес — обширный парк на западной окраине Парижа, излюбленное место прогулок парижан.

«*Le Nord*» — газета на французском языке, основанная в 1855 г. русским правительством в целях защиты его политики и, в частности, для борьбы с герценовским «Колоколом».

Стр. 286. *Вандомская колонна* — памятник в честь побед Наполеона I, отлитый из бронзы неприятельских пушек.

На нем треугольная шляпа...— Лермонтов, «Воздушный корабль» (1840).

Ришелье Луи-Франсуа-Арман Дюплесси (1696—1788) — маршал Франции. В 1757 г. командовал французскими войсками во время взятия Ганновера.

Стр. 288. *Мендельсон* Феликс (1809 — 1847) — немецкий композитор.

Мегюль Этьенн-Анри (1763—1817) — французский композитор.

Керубини Луиджи (1760—1842) — итальянский композитор, живший во Франции и сыгравший большую роль в развитии французской музыки конца XVIII в.

Боэльдье Франсуа-Адриен (1775—1834), *Обер* Даниэль (1782—1871),

Адольф Адан (1803—1856), *Галеви* Жак (1799—1862) — французские композиторы.

Мейербер — Якоб-Либман Бер (1791—1864), немецкий композитор, живший во Франции.

Клаписсон Луи (1808—1866) — французский композитор.

Монтобри Феликс (1826—1898) — французский певец.

«*Gaulois*» (1857—1861) и «*Tintamarre*» (с 1842 г.) — французские журналы.

Стр. 290. *Орфей* — певец и музыкант, спустившийся в царство мертвых за своей женой Эвридикой и очаровавший всех своею искусной игрой (*греч. миф.*).

Оффенбах Жак (1819—1880) — французский композитор.

Лафонтен Жан (1621—1695) — французский баснописец.

Стр. 292. *Титмарт* (Титмарш) — псевдоним молодого Уильяма Теккерея (1811—1863).

«*Понч*» — см. прим. к стр. 167.

Нурри Адольф (1802—1839), *Дюпре* Жильбер (1806—1896) — французские оперные певцы.

Вьярдо (Виардо) Мишель-Полина (1821—1910) — французская певица, вокальный педагог и композитор.

Гемар Луи (1822—1880), *Роже* Густав (1815—1879) — французские певцы.

Кам — псевдоним Амадея де Ноэ (1819—1879), французского художника-карикатуриста и бытописателя парижской жизни.

Арлекины, Пьерро, дебардеры — персонажы французских и итальянских маскарадов и народного театра.

Штраус Исак (1806—1888) — французский дирижер и музыкант.

Стр. 296. *Я утратил свою веселость!..*— строки из стихотворения Беранже «Ma gaité».

Стр. 297. *Потье* Шарль (1775—1838) — французский комический актер.

Зато Потье...— Неточная цитата из «Графа Нулина» (1825) Пушкина.

Скриб Огюстен-Эжен (1791—1861) — французский драматург.

Стр. 298. *Г-н и г-жа Аллан* (сценические имена Луи-Филиппа, ум. 1878, и Луизы (1810—1856) Деспро), *Дежазе Виржини* (Виргиния, 1797 —1875), *Буффе* Мари (1800—1888), *Брессан* Жан (1815—1886), *Роза Шери* (сценическое имя Розы-Марии Сизо, 1824—1861), *Вольнис* Леонтина (1811—1876) — французские артисты.

Стр. 299. *Фредерик Леметр* — сценическое имя Антуанна-Луи-Проспера Леметра (1800—1876), французского артиста, родоначальника реализма в французском театре.

Стр. 300. *Миолан-Карвало* Каролина-Феликс (1827—1895) — французская певица.

«Робер Макер» — сатирическая пьеса Фредерика Леметра.

Коломбина — персонаж итальянской народной комедии.

Стр. 301. *Фьески* Джузеппе (1790—1836) — корсиканец, совершивший в 1835 г. неудачное покушение на Луи-Филиппа.

Герой 18 брюмера — Наполеон I; 18 брюмера 1799 г. он совершил государственный переворот.

Стр. 302. *2 декабря* 1851 *г.*— государственный переворот, совершенный Луи Бонапартом.

Стр. 303. *Апраксин двор* — торговые ряды в Петербурге.

Стр. 304. *Дульцинея* — здесь: возлюбленная.

Стр. 305. ...*Китай с глупыми и безобразными мандаринами... подводный телеграф... и наконец комета* — отклики на военные действия в Китае англо-французских интервентов в конце 50-х гг., на прокладку подводного кабеля между Европой и Америкой и появление большой кометы в 1858 г.

ЛОНДОНСКИЕ ЗАМЕТКИ

Печатается по *С*, 1859, №№ 6—9.

«Лондонские заметки» были написаны Михайловым после посещения Лондона в феврале-марте 1859 г. Основной целью поездки было знакомство с Герценом и Огаревым. Михайлов выехал из Парижа 18 февраля (нов. ст.) 1859 г.; через три дня за ним поехали Шелгуновы. Михайлов и Шелгуновы поселились в пансионе, куда их приняли по рекомендации Герцена. Шелгунов писал впоследствии: «Помню, что этот Boarding-House (пансион.— *Ю. Л.*) помещался в тихой местности (хотя и в центре города), недалеко от какого-то сквера, недалеко от Британского музея, недалеко от гауптвахты с двумя неподвижными, стоявшими в нишах конными часовыми в красных мундирах...» (*Шелгунов*, стр. 105). Герцен, по словам Шелгуновой, принял их в Лондоне «как настоящий хозяин, то есть показывал все достопримечательности Лондона, ходил с мужчинами на митинг воров, в ночлежные дома, вообще был очень радушен» (Л. П. Шелгунова, Из далекого прошлого, СПБ 1901, стр. 91).

«Лондонские заметки», по-видимому, писались Михайловым уже по приезде в Петербург; это дало писателю возможность обобщить наблюдения и изложить их более систематично, чем в «Парижских письмах».

Стр. 306. *И царит бог земли — деньги.*— Шиллер, «Друзьям» (1785), строка 26.

Стр. 307. *«Альбион»* — древнее название Англии.

Стр. 309. *Чичероне* — проводник, показывающий туристам достопримечательности, музеи и т. п.

Бри — сорт сыра.

Фуляр — шелковый шейный платок.

Стр. 311. *Рампа* — здесь: перила трапа.

Стр. 312. *Тосты* — ломтики хлеба, подрумяненные на огне.

Английская миля — 1852 м.

«Левиафан»— см. прим. к стр. 95.

Стр. 314. *Соммерсетский дворец* — громадное здание, выходящее на набережную Темзы, построенное на месте дворца Соммерсета (см. прим. к стр. 324). В настоящее время в нем размещены государственные учреждения.

Вестминстер (точнее — Вестминстерское аббатство) — собор в Лондоне, основанный в 1245 г., образец английской готической архитектуры; место коронования английских королей и усыпальница королей и знаменитых людей Англии.

Стр. 315. «*Правь, Британия, морями!*» — первая строка английской песни, написанной в XVIII в. композитором Томасом Арни на слова Джемса Томсона и Дэвида Маллета. Песня получила широкое распространение и считалась выражением английской национальной гордости.

Стюарты — шотландская королевская династия. В 1603—1649 и 1660—1688 гг. Стюарты были королями Англии.

Стр. 316. *Трафальгарская битва* — морское сражение 21 октября 1805 г. между английским флотом под командой адмирала Г. Нельсона (см. прим. к стр. 348) и франко-испанским флотом; в этом сражении англичане одержали победу.

«*Erbrechen, Fluchen und Beten*» — неточная цитата из 11 стихотворения цикла «Опять на родине» (1825—1826) Гейне. Это стихотворение было переведено Михайловым («Буря поет плясовую...», см. т. I наст. изд.).

Стр. 317. *Хрустальный дворец* — см. прим. к стр. 268.

Стр. 318. *...и Феб, как говорит наш Шиллер, никогда не будет отражать в ней своего золотого лика.*— Имеется в виду отрывок из стихотворения «Друзьям» (строки 27—30).

Стр. 320. *Нью-кестльские копи.*— Близ города Нью-Кестль (северная Англия) находится крупнейший в Англии угольный бассейн.

Стр. 321. *Лондонский замок* (Tower) — средневековая крепость в центре Лондона на берегу Темзы. Первоначально — резиденция королей, затем тюрьма для особо важных преступников; в настоящее время — музей.

Стр. 322. *...удавлены дети Эдуарда.*— После смерти английского

короля Эдуарда IV (1483) его брат Ричард захватил престол, убив сыновей Эдуарда, законных наследников престола.

Джен Грей (1537—1554) — претендентка на английский престол после смерти Эдуарда VI (1553); была казнена в Тоуэре.

Генрих VI (1421—1471) — английский король. В 1461 г. был свергнут с престола и брошен в Тоуэр, где умер или, возможно, был убит.

...лилось вино... в бочке его захлебнулся брат короля Эдуарда IV.— По преданию, герцогу Георгу Кларенсу, приговоренному к смертной казни его братом королем Эдуардом IV, было разрешено самому выбрать себе род казни; Кларенс пожелал утонуть в бочке мальвазии.

Анна Болен (Болейн) (1507—1536), *Катерина Говард* (ум. 1542) — вторая и пятая жены Генриха VIII, обезглавленные в Тоуэре по обвинению в неверности.

Стр. 323. *...памятники вроде так называемого монумента в Сити...*— см. стр. 352.

Стр. 324. *...знаменитой процессии обручения венецианского дожа с морем.*— Начиная с XII в. в Венеции существовал обычай символического обручения дожа (главы Венецианской республики) с морем: при избрании дож выезжал на корабле в Адриатическое море и бросал в него золотой перстень. Этот обычай был упразднен вместе с падением Венецианской республики и упразднением звания дожа в 1797 г.

Панч — см. прим. к стр. 167.

Лорд Соммерсет Эдуард (1506—1552), герцог — протектор Англии при малолетнем короле Эдуарде VI; незадолго до своего падения (в 1549 г.) начал строительство большого дворца (см. прим. к стр. 314).

Стр. 325. *...wo vier Welten ihre Schätze tauschen...*— Шиллер, «Друзьям», строка 22.

Господи! что это — как дорог хлеб...— Стихотворный перевод Михайлова этих строк из «Песни о рубашке» см. на стр. 184.

Стр. 326. *Кавур* Камилло Бензо (1810—1861), граф — итальянский государственный деятель и дипломат в период национально-освободительной борьбы в Италии. В 1859 г. возглавлял правительство Пьемонта.

...хожу по воскресеньям в театр...— см. стр. 342—343.

Щербаков переулок — переулок в Петербурге, расположенный в центральной части города близ Невского проспекта.

Стр. 327. *Плафон* — здесь: верхняя часть балдахина.

Стр. 329. *...у огромного камина, в котором... легко бы можно было устроить классический вокальный концерт трех отроков.*— Иронический намек на библейское сказание о трех отроках, которых царь Вавилона Навуходоносор приказал сжечь за отказ поклоняться золотому тельцу; брошенные в огненную печь, они остались невредимы и пением славили бога.

«Times» — выходящая с 1788 г. в Лондоне консервативная ежедневная газета, одна из наиболее влиятельных в Англии.

Стр. 331. *Рунд* — здесь: постоянное наблюдение.

«Посылайте в Лондон философов,— говорит Гейне...» — Гейне, «Путевые картины» (Английские отрывки, гл. II — Лондон); см. подробнее прим. к стр. 213.

Стр. 332. *Джон Буль* (Джон Бык) — нарицательное наименование английской нации.

...дрянная лавчонка в Палерояле.— Имеются в виду пристройки к парижскому дворцу Пале-Рояль, в которых размещались магазины и гостиницы.

Стр. 333. *...«для прогулок подальше выбрать закоулок...»* — Грибоедов, «Горе от ума» (действ. 1, явл. 4, слова Фамусова).

Стр. 334. *Венявский* Генрик (1835—1880) — польский скрипач и композитор.

Граф Монталамбер — см. стр. 272—279.

...кабинет восковых фигур г-жи Тюссо...— паноптикум в Лондоне, где выставляются восковые фигуры знаменитых людей (как умерших, так и живых).

Стр. 336. *«Herald»*, *«Star»* — названия лондонских газет.

Св. Павел — см. стр. 345.

Пески — одна из окраин старого Петербурга.

Стр. 340. *...как это случилось с знаменитым Пикквиком.*— Имеется в виду эпизод из гл. 2 романа Диккенса «Посмертные записки Пикквикского клуба»: кучер кеба напал на м-ра Пикквика, приняв его за осведомителя.

Стр. 341. *Вперед, вперед торопливыми шагами...*— Т. Гуд, «Фабричные часы», строки 57—68.

Стр. 342. *Надо, вероятно, с детства наслушаться этих колоколов...*— Михайлов намекает на рождественский рассказ Диккенса «Колокола» (1844).

Стр. 343. *Ипокризия* — ханжество, лицемерие.

Барнум Финеас Тейлор (1810—1891) — американский антрепренер и авантюрист. В 50-е гг. выступал с лекциями об искусстве разбогатеть.

Стр. 344. *Первая французская империя* — время правления императора Наполеона I (1804—1814).

Веллингтон — см. прим. к стр. 242.

Пантеон — усыпальница выдающихся французских деятелей; высота здания около 90 м.

Стр. 345. *Римский собор Петра* — крупнейший в мире христианский собор, высотою 117 м.

...Виардо в своей прекрасной книге о лондонских музеях.— Имеются

в виду очерки Виардо (см. прим. к стр. 226) об английских музеях вошедшие в его книгу «Les Musées d'Europa» («Музеи Европы», Париж, 1855).

Стр. 346. *Парфенон* — см. прим. к стр. 284.

Неф — продольная часть западноевропейского христианского храма.

Виндзор — королевский замок в предместье Лондона, построенный в начале XV в.

Стр. 347. *Колонеум*.— Имеется в виду здание Национальной галереи (см. прим. к стр. 354).

Пантеон Агриппы — храм в древнем Риме, посвященный всем богам. Вход в Пантеон оформлен двойным рядом колонн.

Королева Анна (1665—1714) — царствовала с 1702 г.

Стр. 348. *...Венеры и Флоры нашего Летнего сада...*— Имеются в виду мраморные статуи в Летнем саду в Петербурге.

Самуил Джонсон — см. прим. к стр. 163.

Нельсон Горацио (1758—1815), адмирал — английский флотоводец; был смертельно ранен в Трафальгарской битве (см. прим. к стр. 316).

Джон Мур (1761—1809) — английский полководец, погибший во время войны в Испании против Наполеона I.

Вольф Чарльз (1791—1823) — английский поэт.

Козлов И. И. (1779 — 1840) — поэт и переводчик.

Джошуа Рейнольдс (1723—1792) — английский живописец.

Джон Говард (1726—1790) — английский общественный деятель и филантроп, инициатор реформы английских тюрем.

Стр. 349. *Сикс-пенс* — монета достоинством в шесть пенсов (половина *шиллинга*).

Стр. 352. *Рен* Кристофер (1632—1723) — английский архитектор. После большого пожара 1666 г., уничтожившего центральную часть Лондона, ему была поручена ее реконструкция.

Стр. 353. *Карл* I Стюарт (1600—1649) — английский король, казненный во время английской буржуазной революции.

Лесюёр Губерт (ум. 1670) — французский скульптор.

Луи-Наполеон Бонапарт (1808—1873) — французский император; см. также прим. к стр. 237.

Стр. 354. *...к зданию Национальной галереи, столь же скудной снаружи, как и внутри...*— Национальная галерея — английский художественный музей, основанный в 1824 г., — в середине XIX в. обладала еще малочисленным собранием картин.

Каннинг Джордж (1770—1827) — английский государственный деятель; в 1827 г. премьер-министр.

Стр. 355. *Бен Джонсон* (1573—1637) — драматург и поэт английского Возрождения.

Чосер Джеффри (1340? —1400) — английский средневековый поэт, основоположник английского литературного языка и стихосложения.

Спенсер Эдмунд (1552—1599) — английский поэт эпохи Возрождения.

Мильтон, Грей — см. прим. к стр. 85, 134.

Ботлер Самуэль (1612—1680) — английский сатирический поэт.

Конгрев Вильям (1670—1729) — английский комедиограф.

Драйден Джон (1631—1700) — английский писатель эпохи Реставрации, поэт, драматург и критик.

Поп, Аддисон — см. прим. к стр. 134 и 137.

Оливер Гольдсмит (1728—1774) — английский романист, поэт и драматург.

Томсон Джемс (1700—1748) — английский поэт-сентименталист.

Шеридан — см. прим. к стр. 136.

Давид Гаррик (1716—1779) — английский трагический актер.

Томас Парр (1483—1635) — английский крестьянин, прославившийся своим долголетием и исключительным здоровьем.

Стр. 356. *Стенгоп* Джемс (1673—1721), *Мансфильд* Вильям Марри (1705—1793) — английские государственные деятели.

Флаксман Джон (1755—1826) — английский скульптор, автор многочисленных памятников и надгробий.

Питт Вильям-младший (1759—1806) — английский государственный деятель, лидер партии тори. Премьер-министр в период войны с Наполеоном.

Фокс Чарльз Джемс (1749—1806) — английский государственный деятель, лидер партии вигов, ярый противник политики Питта.

Граф Чатам, Питт Вильям-старший (1708—1778) — английский государственный деятель.

Гомфри Дэви (1778—1829) — английский химик; с 1820 по 1827 г. президент Королевского общества.

Джемс Ватт (Уатт) (1736—1819) — английский изобретатель, создатель паровой машины.

Эдуард Исповедник (ок. 1002—1066) — последний английский король (с 1042) до завоевания Англии норманнами в 1066 г.

Генрих IV (1366—1413), *Генрих V* (1388—1422), *Эдуард I* (1239—1307), *Эдуард III* (1312—1377), *Ричард II* (1366—1399) — английские короли. *Анна* (ум. 1394) — первая жена Ричарда II.

Иаков — библейский патриарх. Согласно библейской легенде, ночуя однажды под открытым небом и положив себе под голову камень, он увидел пророческий сон, в котором бог предсказал ему судьбу его и его потомков.

Стр. 357. *Другое такое кресло понадобилось сделать для Марии, жены Вильгельма III...*— Мария II (1662—1694) и Вильгельм III Оран-

ский (1650—1702), возведенные на английский престол после государственного переворота 1688 г., царствовали совместно.

Виктория (1819—1901) — английская королева, царствовавшая во время пребывания Михайлова в Лондоне.

Генрих VII (1456—1509) — английский король.

Пиетро Торриджиано (1470—1522) — флорентийский скульптор, работавший в Англии в начале XVI в.

Орден Бани — высший английский орден, учрежденный в 1725 г.

Великая Елизавета Тюдор (1533—1603) — английская королева (с 1558). В период ее правления Англия стала наиболее сильной европейской державой.

Мария Стюарт (1542—1587) — шотландская королева, претендовавшая на английский престол и казненная Елизаветой.

Стр. 358. *Гинея* — старинная английская золотая монета, на один шиллинг превышающая стоимость *фунта* стерлингов.

...золотые портреты Виктории.— Золотые монеты с вычеканенными на них изображениями английской королевы.

Щукин и Апраксин дворы — крытые рынки в Петербурге.

Стр. 360. *Пуританизм остановил его успехи...*— Пуританизм — религиозное движение, возникшее в англиканской церкви во второй половине XVI в. и выражавшее интересы буржуазии. Пуритане выступали яростными противниками театральных зрелищ и драматургии.

Стр. 361. *Дезожье* Марк-Антуан (1772—1827) — французский поэт и драматург.

ЖЕНЩИНЫ, ИХ ВОСПИТАНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ В СЕМЬЕ И ОБЩЕСТВЕ

Печатается по *С*, 1860, №№ 4, 5, 8.

Публикуемую в настоящем издании статью о женщинах Михайлов писал в 1858 г. в Трувиле, во время пребывания во Франции. В ней отразились парижские впечатления автора, настроения кружка гостиницы Мольера (см. «Парижские письма»). Споры и рассуждения в гостинице Мольера, по словам Шелгунова, были «ближайшей причиной, заставившей Михайлова разработать женский вопрос в серьезной статье» (*Шелгунов*, стр. 104). Но содержание статей Михайлова о женщинах отнюдь не сводилось к отражению споров в кружке гостиницы Мольера и полемике с Прудоном. Требование освобождения женщин поставила на повестку дня сама русская действительность. И напрасными были все усилия реакционной публицистики доказать, что «женский вопрос» выдуман «нигилистами», что «женщина по самой природе своей назначена занимать низшую ступень в жизни», что «удел женщины в этом мире усладить жизнь мужчины... в этом должен сосредото-

читься ее земной рай и возможное благо на земле» (см. сборник «Мужчина и женщина врозь и вместе», СПБ 1859; книгу Д. Соколова «Назначение женщины по учению слова божия», СПБ 1862; статьи в журналах «Мода», 1860, № 12, «Семейный круг», 1859, № 1, «Воспитание», 1861, № 8, «Светоч», 1860, № 7).

Революционные демократы придавали большое значение борьбе за освобождение женщин. «По моим понятиям женщина занимает недостойное место в семействе. Меня возмущает всякое неравенство. Женщина должна быть равной мужчине»,— писал в «Дневнике» Чернышевский (*ПСС*, т. I, стр. 444). Идеей женской эмансипации пронизан его роман «Что делать?». О женской судьбе, о рабском положении женщины, заставляющем ее забыть, «что она такой же человек, с такими же самыми правами, как и мужчина» писал в статьях о «темном царстве» Добролюбов.

Наиболее обстоятельно об отношении демократического лагеря к женскому вопросу было рассказано в статьях Михайлова, который неоднократно выступал в «Современнике» пропагандистом освобождения женщин. Статьи Михайлова по женскому вопросу были впоследствии изданы отдельным сборником: «Женщины. Их воспитание и значение...», СПБ 1903.

Статья «Женщины...» была восторженно встречена передовыми людьми 60-х гг. «Статья читалась нарасхват,— вспоминал Шелгунов,— не смею утверждать, что именно статья Михайлова создала в России «женский вопрос», но верно то, что она его очень двинула вперед» (*Шелгунов*, стр. 31).

В рецензии Писарева на 5-е «Парижское письмо» (журнал «Рассвет», 1859, № 11) говорилось: «Уважение к личности, самостоятельности и труду женщины, сочувствие ко всему, что содействует ее развитию... вот отличительные свойства и главные достоинства статьи Михайлова... Мысли, приведенные Михайловым, должны быть распространяемы в нашем обществе... на этих мыслях должно быть воспитываемо молодое поколение; только подобные мысли, проведенные в жизнь, способны сформировать женщину, гармонически развитую, способную приносить пользу, нравственно свободную и следовательно счастливую» (Д. И. Писарев, Полн. собр. соч., т. 1, СПБ 1897, стр. 116). Эту оценку Писаревым 5-го «Парижского письма» с полным основанием можно отнести ко всем статьям Михайлова о женщинах.

Статья Михайлова подверглась нападкам реакционеров всех мастей (см., напр., «Северную пчелу», 1861, № 145).

Стр. 369. *Сийес* Эммануэль-Жозеф (1748—1836) — публицист и политический деятель французской буржуазной революции XVIII в., автор брошюры «Что такое третье сословие?».

Стр. 372. *Прудон* — см. прим. к стр. 231.

Петиметр — щеголь.

«*Книга о злонравных женах*» — русская повесть XVII в.

Стр. 373. «*Домострой*» — рукописный памятник XVI в., свод правил семейно-бытового и общественного поведения.

«*Вот я вас!*» — слова, с которыми бог моря Посейдон обращается к ветрам, желая прекратить бурю на море (*греч. миф.*).

Апофегмы — здесь: изречения.

Стр. 376. *Агассиз* Луи (1807—1873) — швейцарский естествоиспытатель, сторонник теории постоянства видов.

Стр. 379. *Бриер де-Буамон* Александр-Жак-Франсуа (1798—1881)— французский медик.

Рациборский Адам (1809—1871) — польский медик, работавший после 1831 г. во Франции.

Стр. 380. *Мишле* — см. прим. к стр. 238.

Михайлов критикует взгляды Мишле также в 5-м «Парижском письме».

Риль Вильгельм-Генрих (1823—1897) — немецкий публицист и писатель.

Стр. 381. *Ароваки* — южно-американское индейское племя.

Стр. 384. *Руссель* Пьер (1744—1802) — французский врач и физиолог.

Стр. 386. *Г-жа Сталь* Анна-Луиза (1766—1817), *Жорж Занд* (псевдоним Авроры Дюдеван, 1804—1876) — французские писательницы. Михайлов имеет в виду роман Занд «Индиана» (1832).

Фарнгаген фон Энзе, Рахель (1771—1833) — хозяйка известного литературного салона в Германии конца XVIII — начала XIX в., почитатель и популяризатор Гете, друг Гейне.

Стр. 387. *Бэкон* Фрэнсис (1561—1626) — английский философ-материалист и естествоиспытатель.

Гумбольдт Александр-Фридрих (1769—1859) — немецкий естествоиспытатель и путешественник.

Лаплас Пьер-Симон (1749—1827) — французский астроном, математик, физик.

Стр. 389. *Галилей* Галилео (1564—1642) — итальянский физик, механик, астроном.

Неккер де-Сосюр Альбертина-Адриенна (1766—1841) — французская писательница, друг г-жи де-Сталь; цитируется ее книга «L'Education proqressive» («Прогрессивное воспитание», 1828).

Стр. 390. «*Природа дала мужчине...*» — строки из ранней рецензии (1835) В. Г. Белинского на книгу «Жертва. Литературный эскиз. Сочинение г-жи Монборн».

Стр. 396. *Мерсье* Луи-Себастьен (1740—1814) — французский

писатель, автор сатирического нравоописательного произведения «Tableau de Paris» («Картина Парижа», 1781—1790).

Кабани Пьер-Жан-Жорж (1757—1808) — французский врач и философ; в упоминаемой Михайловым книге он пытался показать влияние окружающей среды на психику человека.

Стр. 398. *Гениальный германский мыслитель нашего времени* — Людвиг Фейербах (1804—1872), немецкий философ-материалист.

Стр. 399. *Адонис* — прекрасный юноша, любимец Афродиты (*греч. миф.*).

Пенелопа — жена Одиссея, оставшаяся верной своему мужу во время его двадцатилетнего отсутствия (*греч. миф.*).

Стр. 400. *Диатриба* — речь, содержащая выпады личного характера.

Поль-де-Кок — см. прим. к стр. 259.

Стр. 401. *Oh! but...* — строки из стихотворения английского поэта Томаса Гуда «Песня о рубашке». (Стихотворный перевод см. в т. I наст. изд.)

Стр. 402. *Джаядева* — индийский поэт XII в.

Подолинский А. И. (1806—1886), *Туманский* В. И. (1800—1860) — поэты-романтики.

Все другие... — строки из стихотворения Гете «Meine Göttin» («Моя богиня», 1780).

Стр. 404. *...истории Сары, Ревекки, Руфи, Вирсавии...* — Прудон имеет в виду библейские предания о Саре, жене Авраама, ставшей наложницей египетского фараона и царя герарского, о Ревекке, вышедшей замуж за незнакомого человека, о Руфи, которая после смерти первого мужа предлагает себя богачу Воозу, о Вирсавии, красота которой прельщает царя Давида и заставляет его погубить мужа Вирсавии.

Лавров П. Л. (1823—1900) — социолог и публицист, идеолог народничества. Михайлов ссылается на его «Очерк теории личности» (*ОЗ*, 1859, № 11—12).

Стр. 405. *...следовало бы прибавить... дочерей Лота...* — Дочери Лота вступили в кровосмесительную связь с своим отцом (*библ.*).

Стр. 406. *Юдифь* — еврейка, проникнувшая в лагерь осаждавших ее родной город ассирийцев, очаровавшая и убившая их предводителя Олоферна (*библ.*).

Жанна д'Арк (1412—1431) — героиня освободительной борьбы французского народа против английского нашествия.

Стр. 412. *Забелин* И. Е. (1820—1908) — историк и археолог, исследователь быта Киевской Руси и Московского государства.

Стр. 414. *Корнелий Агриппа Неттесгеймский* (1486—1535) — немецкий врач, писатель, философ, автор книги «De nobilitate et praecellentia feminei sexus» («О благоустройстве и преимуществе женского пола»).

Лотихий Петер (1528—1560) — немецкий медик и новолатинский поэт.

Стр. 415. *Платон* (427—347 до н. э.) — древнегреческий философ-идеалист. Михайлов имеет в виду его сочинение «Государство».

Руссо — см. прим. к стр. 266.

Клемм Фредерик-Густав (1802—1867) — немецкий историк и литературовед, автор «Allgemeine Kulturwissenschaft» («Всеобщая история цивилизации») и «Die Frauen» («Этюды о женщинах»).

Кафры — название юго-восточных африканских племен.

Стр. 416. *Года два-три тому назад один очень замечательный немецкий писатель издал роман...* — Имеется в виду роман немецкого писателя-реалиста Густава Фрейтага (1816—1895) «Soll und Haben» («Приход и расход», 1855).

Стр. 419. *Бональд* Луи-Габриэль (1753—1840) — французский реакционный публицист и философ.

Община Кабе в Нову — в колонии, организованной Кабе (см. прим. к стр. 258) в Америке.

Стр. 422. *Магадева* — одно из имен индийского бога Шивы.

«*Кто из вас без греха...*» — слова Христа, обращенные к толпе, хотевшей побить каменьями блудницу (*библ.*).

Стр. 423. «*Как посмотреть да посравнить...*»— Неточная цитата из комедии Грибоедова «Горе от ума» (действ. 2, явл. 2).

Стр. 424. *Фамулус* — слуга, в средневековых университетах ассистент, выполнявший задания профессора.

Стр. 425. *Милль* Джон Стюарт (1806—1873)—английский буржуазный экономист. Его статья «Освобождение женщин» (1851) была переведена Михайловым и с его примечаниями опубликована в *С* (1860, № 11).

ИЗ БЕРЛИНА

Печатается по *С*, 1861, № 5.

Статья написана во время недолгого пребывания Михайлова в Германии, когда он, весной 1861 г., отправился в Лондон для печатания там прокламации «К молодому поколению».

Стр. 432. *Греч* Н. И. (1787—1867) — реакционный публицист.

Карамзин — см. прим. к стр. 10.

Кант Иммануил (1724—1804) — немецкий философ-идеалист, автор «*Критики чистого разума*» (1781).

...толпы... идущие «под липами» ... — Имеется в виду Unter den Linden, одна из центральных улиц Берлина.

Начальный монолог Фауста — монолог Фауста из одноименной драмы Гете (см. прим. к стр. 60).

...мне хочется сказать с Гейне...— Имеется в виду стихотворение Гейне «Verlaß Berlin» («Оставь Берлин», 1824).

Стр. 433. *Фейеры и живоглоты.*— Фейер и Живоглот — персонажи «Губернских очерков» (1856) Щедрина, чиновники-взяточники.

Шверин Максимилиан (1804—1872) — немецкий реакционный политический деятель, в 1859—1862 гг.— министр внутренних дел.

Стр. 435. *«Kladderadatsch»* — немецкий иллюстрированный журнал, выходивший с 1848 г.

Пародия известного «Ночного смотра» — Имеется в виду стихотворение Йозефа-Христиана Цедлица (1790—1862), немецкого поэта-романтика.

Стр. 436. *«Новая» система.*— Имеется в виду умеренно-либеральная политика, проводившаяся на первых порах прусским правительством, пришедшим к власти в ноябре 1858 г.

...останется ли граф Шверин министром внутренних дел, а барон Цедлиц — директором полиции...— Шверин остался министром, Цедлиц же в июне 1861 г. вынужден был уйти «по собственному прошению» в бессрочный отпуск.

Стр. 437. *Кейт* Якоб (1696—1758) — прусский фельдмаршал, приближенный Фридриха II.

Финке Георг (1811—1875), *Шульце* Иоганн (1786—1859), *Рейхенштергер* Август (1808—1895) — немецкие политические деятели.

Стр. 438. *Бетман-Гольвег* Мориц-Август (1795—1877) — министр просвещения.

Рахель Фарнгаген — см. прим. к стр. 386.

Давид Фейт (1771—1814) — немецкий медик и писатель.

Фарнгаген фон Энзе Карл-Август-Людвиг (1785—1858) — муж Рахели Фарнгаген, друг Гейне, дипломат, писатель, критик, популяризатор русской литературы в Германии.

Стр. 439. *Гейбель* Эммануил (1815—1884) — немецкий поэт, сторонник «чистого искусства».

...в том смысле, как изобразил хозяйку Шиллер в своей «Песни о колоколе».— То есть как женщину-хозяйку, хранительницу семейного начала, домашнего очага, воспитательницу детей.

Стр. 440. *...«они вплетают небесные розы в земную жизнь...»* — строки из стихотворения Шиллера «Würde der Frauen» («Достоинства женщин», 1795).

Фридрих Штейнман (1801—1875) — немецкий писатель, товарищ Гейне по Боннскому университету; известен как фальсификатор наследия поэта, в особенности его переписки.

Стр. 441. *Густав Гейне* (1805—1886) — немецкий литератор, брат великого поэта.

Людмила Ассинг (1821—1880) — немецкая писательница, племянница Фарнгагена фон Энзе (см. выше).

...переписки Гумбольдта с Фарнгагеном... — Гумбольдт — см. прим. к стр. 387. Имеется в виду «Humbold Briefe an Varnhagen» («Письма Гумбольдта к Фарнгагену», 1860).

Мозер Моисей (1796—1838) — историк, один из представителей еврейского национализма в Германии. В молодости Гейне дружил с Мозером, позднее порвал с ним.

Стр. 442. *«Моисеево пятикнижие»* — первые пять книг библии.

Стр. 443. *Матильда Мира* — с 1841 г. жена Гейне.

Берне Карл-Людвиг (1786—1837) — немецкий публицист, представитель мелкобуржуазной радикальной оппозиции. Гейне резко критиковал его в книге «Людвиг Берне» (1840).

Бертольд Ауэрбах (1812—1882) — немецкий романист, автор произведений о жизни крестьян.

Стр. 444. *Штернберг* Александр (1806—1868) — немецкий беллетрист, автор романов из жизни дворянства и реакционных тенденциозных произведений о революции 1848 г.

Графиня Ида Ган-Ган (1805—1880) — немецкая романистка, проповедовавшая идеи католицизма.

Фраки, белые жилеты... — перевод стихотворения Гейне сделан Михайловым (полностью см. в т. I наст. изд.).

Стр. 445. *Отто Лудвиг* (1813—1865) — немецкий писатель, автор романов и рассказов о жизни крестьян и ремесленников.

Годфрид Келлер (1819—1890) — швейцарский прозаик, писавший на немецком языке, автор рассказов, герои которых — люди из народа.

Густав Фрейтаг — см. прим. к стр. 416.

Стр. 446. *Последним трудом Ауэрбаха, с которым мы, может быть, еще познакомим читателя...* — Весной 1861 г. Михайлов по поручению Некрасова вел в Берлине с Ауэрбахом переговоры о предоставлении «Современнику» права первой публикации его новых повестей. Эти переговоры не увенчались успехом.

⟨Записки⟩[1]

⟨Записки⟩ М. Л. Михайлова впервые были опубликованы в 1906 г. в журналах «Русское богатство» (№№ 6—9) под заглавием «Из записок М. Л. Михайлова» и «Русская старина» (№№ 8—10) под заглавием

[1] Заметка о тексте «Записок» написана Г. Ф. Коган, статья и постраничные примечания — Э. С. Виленской.

«Из дневника М. И. Михайлова». До этого содержание первых двух глав «Записок» было изложено В. Богучарским в «Материалах для истории революционного движения в России» (Париж, 1905) под заглавием «Отрывки из записок М. Л. Михайлова», содержание последующих глав — Н. Белозерским в статье «От Петербурга до Нерчинска» («Русская мысль», 1902, № 12).

Как публикация в *РСт*, так и публикация в *РБ* не являются полными. В обоих случаях, возможно по цензурным соображениям, отсутствует описание гражданской казни Михайлова, отъезда его из Петербурга и начала пути в Сибирь: в примечании редакции *РСт* по поводу этого пропуска говорится, что «в доставленной в редакцию рукописи г-жи Шелгуновой недостает одной страницы» (*РСт*, 1906, № 9, стр. 536).

Автограф «Записок» до сих пор не обнаружен. Возможно, что и в *РСт* и в *РБ* они печатались не по автографу, а по спискам.

Однако есть основание предполагать, что текст, напечатанный в *РСт*, является более близким к автографу: нумерация глав в *РСт* позволяет думать, что в автографе «Записки» делились на три части, каждая из которых имела свою нумерацию глав. В первой части описывались события, связанные с арестом Михайлова, во второй — следствие по его делу, пребывание в заключении и суд, в третьей, первые десять глав которой опущены при публикации,— гражданская казнь, дорога в Сибирь и первые месяцы жизни там. При отсутствии части текста, о которой говорилось выше, в тексте *РСт* сохранена, по-видимому, авторская нумерация глав: после главы XXVII второй части следует глава XI третьей части.

О большей близости текста *РСт* к подлиннику свидетельствуют сохранившиеся в нем обращения к Л. П. Шелгуновой и полное написание фамилий ряда лиц, причастных к революционному движению. Кроме того, в тексте *РСт* многие главы имеют развернутые подзаголовки, характерные для путевых очерков Михайлова (см. «Парижские письма» и «Из Берлина» в наст. томе).

В пользу предположения о большей близости текста *РСт* к подлиннику говорит и то, что отрывки из «Записок», цитируемые В. Богучарским и Н. Белозерским, чаще совпадают с текстом *РСт*, чем с текстом *РБ*. С текста *РСт* была сделана копия[1] для готовившегося П. В. Быковым «Полного собрания сочинений М. Л. Михайлова». П. В. Быкову, близко знавшему Михайлова и Шелгуновых, было, вероятно, известно, какая публикация полнее отражает подлинник. Наконец, в *РСт*

[1] Хранится в частном собрании Розинер. В Центральном государственном архиве литературы и искусства хранятся копии с публикаций других произведений Михайлова, сделанные той же рукой, очевидно для готовившегося П. В. Быковым издания.

имеется в примечании указание, что рукопись «Записок» была получена редакцией от Л. П. Шелгуновой (см. выше).

В тексте *РБ* обращения к Л. П. Шелгуновой большей частью опущены, вместо полного имени упоминаемых в «Записках» революционеров приводятся первые буквы их фамилий, главы не имеют развернутых подзаголовков.

В настоящем издании «Записки» печатаются по тексту *РСт* с исправлением опечаток и восполнением отдельных пропусков по тексту *РБ* и отрывкам, опубликованным в «Русской мысли». Имена, не раскрытые в тексте *РСт*, *РБ* и в издании «Записок», подготовленном А. А. Шиловым (П. 1922), расшифрованы на основе изучения архивных материалов. Так в *РСт* № 8 на стр. 452 печаталось: «Тут я видел Веню (Михаэлис), Ш...... и раз явственно слышал, как они говорили: «Это Михайлов, кажется». Несомненно, имеется в виду студент Адриан Штакеншнейдер, который был также арестован в связи с волнениями в Санктпетербургском университете и находился вместе с Евгением Михаэлисом в каземате Невской куртины (см. Центральный государственный исторический архив в Москве, ф. Третьего отделения, I эксп., № 409, «Об арестантах Санктпетербургской крепости»). Михайлов был безусловно знаком с Адрианом Штакеншнейдером, сыном известного архитектора А. А. Штакеншнейдера, в доме которого Шелгуновы и Михайлов часто бывали на литературных вечерах.

На стр. 190 *РСт* № 10 печаталось: «...переписал для отсылки к тебе сцену «Прометея». Ты, вероятно, получила ее лично, вместе с письмом от студента Р.». Как удалось установить, Р.— Рассказов, студент Санктпетербургского университета, уроженец г. Иркутска. Им, действительно, был передан перевод отрывка из «Прометея» Эсхила, напечатанный позднее в «Современнике» (см. подробно прим. к этому переводу в т. I наст. изд.). Впоследствии на допросе в связи с появлением перевода из «Прометея» в печати Михайлов не выдал Рассказова, сказав, что «вовсе его не знает».

На стр. 176 *РСт* № 10, где говорится о пребывании Михайлова в Томске, печаталось: «Это был К., с которым я познакомился в Уфе...» Очевидно, имеется в виду Кузнецов, учитель томской гимназии. О посещении им Михайлова сообщалось в донесениях гражданского губернатора Томска: «В Томске Михайлов останавливался в гостинице лишь на несколько часов... бывший жандармский штаб-офицер, г. полковник Герасимов... посетив Михайлова в квартире, застал у него преподавателя русской словесности здешней гимназии... г. Кузнецов отозвался, что, имея нужду в подкреплении средств к содержанию своего семейства, он желал заняться литературою и, зная, что Михайлов долгое время был сотрудником некоторых периодических журна-

лов, решился посетить его и просить совета, к кому можно бы обратиться в Петербурге с просьбою о принятии сотрудником...» (Центральный государственный исторический архив в Москве, дело № 274. «О разыскании виновных в распространении между народом и войском возмутительного воззвания под названием «К молодому поколению», л. 288).

Подстрочные примечания печатаются в основном по тексту *РСт.* Подстрочные переводы принадлежат Г. Ф. Коган.

«Записки» М. Л. Михайлова писались автором для любимой женщины — Людмилы Петровны Шелгуновой, как исповедь о пережитом за долгие месяцы их вынужденной разлуки. «Я рассказываю все мелочи,— пояснял Михайлов,— только для тебя и знаю, что ты не соскучишься над ними, как соскучился бы всякий другой, как соскучился бы описывать я, если бы писал не по твоему желанию и не для тебя». Этот личный элемент, привнесенный в воспоминания Михайлова, придает им отпечаток особой интимности и искренности. «С грустным чувством дописываю я свой рассказ,— заключает Михайлов свое повествование.— Я как будто прерываю беседу с тобой». Без прикрас и рисовки, ничего не утаивая из того, что можно доверить бумаге, рассказывает писатель о своих злоключениях.

Но в то же время воспоминания Михайлова не укладываются в рамки частного послания, представляющего интерес только для его адресата. Личная судьба Михайлова настолько тесно переплелась с борьбой социальных сил России начала 60-х гг. прошлого столетия, что его подробный рассказ о пребывании в тюрьме и ходе следствия, о суде и следовании в каторжные работы приобретает широкое общественное звучание и никак не может вызвать «скуки» у стороннего читателя.

Излагая факты почти с протокольной точностью, Михайлов не просто рассказывает о том, что он пережил и чему был свидетелем, но художественно воспроизводит картины событий, рисует характеры и образы встречавшихся ему людей. Полубеллетристическая форма «Записок», ставящая их в один ряд с произведениями художественной прозы, не снижает, однако, их ценности как важного документального источника, проливающего свет на одну из ярких страниц деятельности революционного подполья в эпоху падения крепостного права. От обычной мемуарной литературы их выгодно отличает то обстоятельство, что они написаны не более чем через десять месяцев после начала описываемых в них событий. Свежесть впечатлений, не успевших изгладиться из памяти за такой короткий срок, подкреплялась записями и заметками, которые, как сообщает сам автор, он вел на пути в ссылку. Сопоставление рассказа Михайлова

о его показаниях на следствии и в суде с протоколами допросов подтверждает достоверность «Записок» как документа.

Тем не менее «Записки» не могут дать полного представления о процессе Михайлова. Слабо отражены в «Записках» деятельность революционного подполья, участие в ней Михайлова и его воззрения этого времени. Адресуя «Записки» Л. П. Шелгуновой, Михайлов, естественно, не касался всего того, что ей хорошо было известно, сообщая лишь о тех фактах, о которых она не могла знать, а именно о ходе следствия и суде. На допросах же он пытался скрыть все, что было возможно, и из своей революционной деятельности и тем более из деятельности своих единомышленников, приняв ее частично на себя. Вполне понятно, что эти стороны биографии Михайлова не могли найти отражения в «Записках» и нуждаются в обращении к дополнительным документам.

Дело Михайлова было первым политическим процессом александровского царствования. До этого либеральничавшее правительство ограничивалось полицейско-административными мерами борьбы против нараставшего общественного недовольства. Революционная ситуация, сложившаяся к этому времени в России, означала, что ни «низы» не хотят больше жить по-старому, ни «верхи» не могут управлять прежними методами. Это проявлялось в стихийных крестьянских волнениях, с одной стороны, и в некотором ослаблении полицейского режима — с другой. Общественный подъем, охвативший все слои так называемого «образованного общества», отражал напряженность социальной борьбы между угнетенным классом феодального общества — крестьянством и господствующим классом помещиков, олицетворением власти которых являлось царское самодержавие. Не только революционно настроенная молодежь из среды разночинной интеллигенции, но даже сторонники весьма умеренных реформ находились в состоянии общественного брожения.

Однако в этот период совершенно ясно определилось размежевание двух исторических тенденций антифеодального освободительного движения — буржуазно-либеральной и революционно-демократической. На страницах «Современника» Чернышевский и Добролюбов вели прозрачно завуалированную пропаганду революционных идей, направленную не только против самодержавия и реакции, но и против либералов, пошедших на сговор с самодержавием в период подготовки и проведения крестьянской реформы.

Борьба революционно настроенной разночинной интеллигенции против самодержавия в это время поднялась на новый этап: к идейно-политической пропаганде революции присоединилась практически-организационная деятельность по собиранию сил. Начали возникать отдельные тайные кружки и группы, пытавшиеся охватить револю-

ционной агитацией не только образованные классы, но и народные массы. Сигналы общественного протеста становились все серьезней. В апреле 1861 г. казанские студенты устроили панихиду по Антоне Петрове и другим крестьянам, расстрелянным во время волнений в селе Бездна Спасского уезда Казанской губернии. Выступивший на панихиде профессор А. П. Щапов закончил свою речь словами: «Да здравствует демократическая конституция!» В июле в Петербурге и Москве появилась первая нелегальная прокламация — «Великорусс» № 1, а в первых числах сентября (вскоре после распространения воззвания «К молодому поколению») № 2 этого же листка, содержавшие еще весьма умеренные требования, но резко критиковавшие правительство. В июле же Третьему отделению стало известно о нелегальном литографировании в Москве студентами П. Г. Заичневским и П. Э. Аргиропуло запрещенных изданий, преимущественно Герцена. В сентябре начались широкие студенческие волнения в Петербургском университете, вызванные введением новых правил, запрещавших студенческие сходки и корпорации и повышавших плату за обучение. Вскоре эти волнения перекинулись в Москву и Казань. Правительство перешло в открытое наступление. Были арестованы Заичневский и Аргиропуло, шли интенсивные розыски авторов и распространителей «Великорусса». «Правительственные стеснения положительно становятся невыносимыми»,— писал М. Феоктистов («Русское прошлое», Сб. 2, М.—П. 1923, стр. 144).

В этой обстановке и появилась прокламация «К молодому поколению», послужившая причиной ареста и ссылки в каторжные работы М. Л. Михайлова.

Вторая по времени распространения, прокламация «К молодому поколению» существенно отличалась от первого нелегального воззвания — «Великорусс», далеко не радикального по своей программе: «К молодому поколению» — скорее программная брошюра, чем прокламация,— была горячим призывом к революционной борьбе, к собиранию сил для этой борьбы, к пропаганде революционных идей в широких народных массах, которые рассматривались как прямые участники решительной битвы с самодержавием. В своей теоретической части брошюра была написана под влиянием идей утопического «крестьянского» социализма, проповедовавшихся А. И. Герценом. В ней идеализировалась крестьянская община, в которой Герцен видел основу будущего социалистического общественного устройства, а Россия как носительница «социалистических начал» противопоставлялась странам Западной Европы, историческое развитие которых шло якобы по иному, «неприемлемому» для России пути насаждения «экономического и политического неравенства, которое привело и к пролетариату и вызвало социализм» (*Лемке*, стр. 68). Эта противоре-

чивая идеалистическая концепция, утверждавшая, что «не идеи идут за выгодами, а выгоды за идеями» (Т а м ж е, стр. 66), вместе с тем объективно отразила стремления мелких собственников деревни к самому свободному и широкому развитию капитализма («американский» путь, по определению В. И. Ленина) и одновременно их страх перед неизбежным разорением, которое он нес с собой. Наряду с проповедью неизбежности и необходимости насильственной революции, в прокламации выражались, хотя и весьма слабые, надежды на то, что царь может еще понять и предотвратить наступление революции. «Общее неудовольствие могло бы еще быть успокоено... — говорилось в воззвании.— Пусть подумает об этом правительство, время поправить беду еще не ушло; но пусть же оно не медлит» (Т а м ж е, стр. 65). Однако не это было поставлено во главу угла в прокламации. Общий тон брошюры определяли прямые революционные призывы готовиться к революции, составлять «кружки единомыслящих людей», искать вожаков и т. д., что и вызвало злобные нападки на воззвание со стороны либералов и судебное преследование со стороны правительства.

А. В. Никитенко, полагавший, что воззвание принадлежит перу Герцена, обрушился на автора со всей ненавистью либерала: «Тут, кроме пошлых революционных ругательств, которые некогда можно было слышать во всех кабаках Франции, нет ничего»,— писал он (А. В. Н и к и т е н к о, Дневник, т. II, М. 1955, стр. 209). «Прокламация «К молодому поколению» есть верх самого чудовищного безобразия,— вторил ему Е. М. Феоктистов в письме к П. А. Орлову— ...Это порождение французского безумия 1793 года...» («Русское прошлое», Сб. 2, М. — П. 1923, стр. 145).

Долгое время эта прокламация считалась принадлежащей перу М. Л. Михайлова (как показывал и сам он на допросах), и лишь с опубликованием отрывка «Из воспоминаний Н. В. Шелгунова» («Голос минувшего», 1918, № 4—6) стало известно, что прокламация была написана Н. В. Шелгуновым. Тем не менее активное участие Михайлова в напечатании и распространении прокламации говорит о том, что он всецело разделял высказанные в ней воззрения. Это подтверждается и его революционными стихами «О сердце скорбное народа...», «Смело, друзья! Не теряйте...» и другими, относящимися к 1861 г., которые идейно перекликаются с прокламацией.

На путь подпольной революционной деятельности Михайлов вступил зимой 1860/61 г. Он взял на себя организационную работу по напечатанию и распространению революционных прокламаций и именно поэтому теснее, чем его единомышленники, связался с В. Костомаровым, оказавшимся предателем.

По рассказу Н. В. Шелгунова, их первое знакомство с В. Костомаровым состоялось в конце 1860 г. К Костомарову их расположило

прежде всего не дошедшее до нас его революционное стихотворение, напечатанное в домашней типографии, которое он привез в Петербург. Костомарова «окружили таким участием и вниманием, на которое он едва ли рассчитывал». Он был введен в круг «Современника». «Больше всего нас, конечно, пленял его станок и готовность печатать, у нас же оказалась готовность писать»,— вспоминал Н. В. Шелгунов (*Шелгунов*, стр. 33), имея в виду готовность писать именно для бесцензурных, нелегальных изданий. «В ту же зиму,— продолжает Н. В. Шелгунов,— то есть в 1861 году, я написал прокламацию «К солдатам», а Чернышевский—прокламацию «К народу» (имеется в виду воззвание «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон».— *Э. В.*)... ...Я переписал прокламацию измененным почерком и, как все переговоры велись Михайловым, то я отдал прокламацию ему, а он передал Костомарову. Впрочем, Костомаров знал, что писал я» (Там же).

Той же зимой Шелгуновым была написана и прокламация «К молодому поколению», которую было решено отпечатать в лондонской типографии Герцена. И опять-таки вся организация печатания и распространения была взята на себя Михайловым.

В первой половине августа 1861 г. брат Костомарова Николай донес Третьему отделению о якобы известном ему «страшном заговоре» и приложил к доносу рукописи прокламаций Чернышевского и Шелгунова. В связи с этим в Москву был направлен подполковник Житков, встретившийся там с Н. Костомаровым. Была раскрыта тайная типография, организованная в Москве бывшим студентом, корректором типографии М. Н. Каткова П. С. Петровским-Ильенко и студентом Я. Сулиным, к деятельности которой были причастны и другие студенты Московского университета (И. Сороко, И. И. Гольц-Миллер, Л. Ященко, А. Новиков и др.), а также В. Костомаров. От Н. Костомарова узнал Житков о Михайлове. «Не подлежит никакому сомнению,— сообщал Житков в Третье отделение,— участие писателя Михайлова, его рукою писано воззвание к крестьянам и так как, быть может, оно будет нужно для сличения его руки, то я при сем его пересылаю...» (*Лемке*, стр. 9).

В эти же дни В. Костомаров, находившийся в Петербурге, показал только что вернувшемуся из-за границы Михайлову типографский оттиск прокламации «Барским крестьянам». Тогда же Михайлов познакомил Костомарова с прокламацией «К молодому поколению». В ночь на 25 августа В. Костомаров был арестован в Москве по делу студенческой типографии и тут же препровожден в Петербург, в Третье отделение.

Однако о прокламации «К молодому поколению» и о причастности к ней М. Л. Михайлова Третьему отделению ничего известно не было и после ареста В. Костомарова: до 4 сентября В. Костомаров не давал

откровенных показаний, а возможно и вовсе еще не допрашивался. Об этом свидетельствует его письмо от 4 сентября к управляющему Третьим отделением П. А. Шувалову, в котором Костомаров просил дать ему возможность способствовать всеми зависящими от него средствами «к ускорению развязки этого дела» (Т а м ж е, стр. 14). Следовательно, ранее этого числа он не мог донести о причастности Михайлова к прокламации. Из этого ясно, что при первом обыске у Михайлова (1 сентября) жандармов могли интересовать только рукописные прокламации, доставленные Н. Костомаровым. Именно поэтому они старались заручиться автографом Михайлова для сличения его с рукописными прокламациями.

Михайлов и Шелгунов также не связывали этот обыск с прокламацией «К молодому поколению», пока не узнали об аресте В. Костомарова. «Нас это кольнуло,— сообщал Шелгунов.— Мы нисколько не сомневались, что у него нашли прокламацию «К молодому поколению»[1] (*Шелгунов*, стр. 35). И тем не менее они решили как можно скорее распространить воззвание. В этом им оказали помощь, по свидетельству Н. В. Шелгунова, брат Л. П. Шелгуновой — Евгений Петрович Михаэлис («Веня» в «Записках» Михайлова), студент Петербургского университета, принявший вскоре активное участие в студенческих волнениях и высланный из Петербурга, и А. А. Серно-Соловьевич, известный революционный деятель 60-х гг. Их участие осталось нераскрытым: Михайлов, как известно, все взял на себя. Все экземпляры прокламации были распространены вечером 3 и днем 4 сентября.

«Прокламация «К молодому поколению» была распространена с большим шумом и с замечательной смелостью,— писал Н. В. Шелгунов.— В это «прокламационное время» прокламации вообще распространялись с большой смелостью и довольно открыто. Случалось встречать знакомых с оттопыренными боковыми карманами, и на вопрос: «Что это у вас?» — получался совершенно спокойный ответ: «Прокламации», точно это какое-нибудь дозволенное и даже одобренное произведение печати. Или у вас звонят. Вы отворяете дверь и видите знакомого, который, не говоря ни слова и даже делая вид, что не узнал вас, сует вам в руку пук прокламаций и торопливо уходит с таким же инкогнито. Прокламации раскладывали в театре на кресла, в виде афиш, приклеивали к стенам в концертных залах, совали, как рассказывают, даже в карманы; а про прокламацию «К молодому поколению» говорили, что какой-то господин ехал на белом рысаке по Невскому и раскидывал ее направо и налево» (*Шелгунов*, стр. 136—137).

---

[1] Шелгунов, очевидно, ошибся. Из показаний Михайлова и Костомарова не следует, что Михайлов передал Костомарову экземпляр воззвания.

Шувалов 4 сентября телеграфировал шефу жандармов В. А. Долгорукову, находившемуся вместе с Александром II в Ливадии: «В Петербурге показалось у разных лиц и в войсках возмутительное воззвание к молодому поколению, печатанное в Лондоне, шрифт «Колокола»... Принимаю все возможные меры к обнаружению». Однако и 5 сентября Шувалову не были еще известны «виновники», что видно из его письма к В. А. Долгорукову от этого числа. (См. «Политические процессы 60-х гг.», М. — П. 1923, стр. 272, 273.)

Таким образом сведения о причастности Михайлова к прокламации «К молодому поколению» могли быть сообщены В. Костомаровым Шувалову уже после ее распространения, между 5 и 14 сентября. Поскольку при втором обыске у Михайлова никаких следов прокламации обнаружить не удалось, было сфабриковано письмо В. Костомарова к преподавателю кадетского корпуса в Москве Я. А. Ростовцеву, якобы написанное перед самым арестом В. Костомарова с целью предупредить Михайлова о провале и необходимости уничтожить имеющиеся экземпляры прокламации. Этим Третье отделение старалось отвести подозрение в предательстве В. Костомарова и в то же время получало письменный документ, изобличающий Михайлова. Ненадежность такого документа была, очевидно, понятна и самому Шувалову: отрекись Михайлов от прокламации, письмо В. Костомарова не получило бы никакой силы. Вот почему Шувалов не решился покинуть следствие даже для заседания Государственного совета (см. *Лемке*, стр. 83).

Первые слухи об аресте Михайлова распространились сразу же после обыска, произведенного у него 1 сентября. Н. А. Добролюбов, незадолго до того вернувшийся из-за границы, в письме к Н. А. Некрасову от 9 сентября 1861 г., сообщая об усилении полицейских строгостей и циркулирующих в связи с ними слухах, писал: «У Михайлова был жандармский обыск с неделю тому назад; с тех пор я каждый день встречаю людей, уверяющих, что он арестован. Третьего дня вечером я видел Михайлова еще на свободе, а вчера опять уверяли меня, что он взят. Оно бы и немудрено — в течение ночи все может случиться; да ведь взять-то не за что—вот беда!..» («Русское прошлое», сб. 2, М.— П. 1923, стр. 146—147). Несомненно, осведомленный о революционных взглядах Михайлова и о его связях с тайной студенческой типографией в Москве, так как через Михайлова была передана для печатания прокламация Н. Г. Чернышевского «Барским крестьянам», Добролюбов, очевидно, был уверен в осмотрительности Михайлова.

Революционная деятельность М. Л. Михайлова была так законспирирована, что в литературных кругах его арест вызвал недоумение. «Когда распространился слух об аресте Михайлова, никто не мог

даже подозревать, чтобы он находился к ним (прокламациям.— *Э. В.*) в каком-нибудь отношении»,— писал через неделю после ареста Михайлова Е. М. Феоктистов («Русское прошлое», Сб. 2, М.—П. 1923, стр. 146).

«Виновность» Михайлова казалась невероятной как либеральным, так и демократическим кругам петербургских литераторов. На следующий же день после его ареста, как рассказывал Н. В. Шелгунов, у издателя журнала «Русское слово» графа Г. А. Кушелева-Безбородко «собрались почти все петербургские литераторы, чтобы обсудить это дело, посоветоваться и предпринять что-нибудь в пользу Михайлова. Толпа была большая, по крайней мере человек до ста» (*Шелгунов*, стр. 138). Результатом этого совещания было прошение на имя министра просвещения Е. В. Путятина, подписанное тридцатью литераторами, где говорилось: «Мы никак не можем допустить, чтобы г. Михайлов мог быть виновен в каком-либо чрезмерном преступлении». Писавшие обращались к Путятину как «к прямому и естественному защитнику русской литературы» с просьбой «принять под свою защиту дальнейшую участь г. Михайлова, как одного из лучших и благороднейших представителей литературы» и испросить его освобождения или в крайнем случае дозволения «назначить к нему в помощь» избранного литераторами «депутата для охранения его гражданских прав во все время судебно-полицейского исследования поступков, в которых он обвиняется» (А. И. Г е р ц е н, Полн. собр. соч. и писем, под ред. М. Лемке, т. XI, П. 1919, стр. 263—264). Аналогичное ходатайство было подано редакцией «Энциклопедического словаря», возглавлявшейся П. Лавровым, где сотрудничал Михайлов. Для организации подобного же адреса от московских литераторов, как свидетельствует Е. М. Феоктистов, в Москву прибыли Н. Г. Чернышевский и сотрудник либеральных «Отечественных записок» С. С. Громека. Однако под давлением С. М. Соловьева и М. Н. Каткова (у которого собрались московские писатели и публицисты) участники совещания отказались «от вмешательства в дело, никому, в сущности, не известное» (Е. М. Ф е о к т и с т о в, За кулисами политики и литературы, Л. 1929, стр. 99—100).

Слухи о том, что арест Михайлова связан с написанием и распространением прокламации «К молодому поколению», очень скоро проникли в литературные круги. 3 октября А. В. Никитенко записал в своем дневнике: «Михайлов признался, что он хотел произвести революцию» (Дневник, т. II, М. 1955, стр. 220). Агентурные донесения о настроениях петербургской интеллигенции и дошедшие до нас дневниковые записи современников говорят о сочувствии Михайлову одной части общества,— преимущественно молодежи и студентов,— и резком осуждении его другой, примыкавшей к либеральному лагерю. Так, в донесении от 5 октября сообщалось: «Вчерашнего числа, вечером, в клубах

купеческом и Немецком много толковали об участи литератора Михайлова. Говорили, что он умер вследствие сильных приемов опиума, данных ему по приказанию графа Шувалова, придумавшего этот новый образ пытки. Михайлову будто бы давали опиум в той надежде, что он, придя в беспамятство, выскажет какие-нибудь тайны. Если, говорили, граф Шувалов не прикажет анатомировать его публично, то на него падет страшное пятно» («Русское прошлое», Сб. 2, М.—П. 1923, стр. 149—150). Такого рода слухи беспокоили Третье отделение, которое, запросив Александра II, находившегося в Ливадии, о разрешении предать Михайлова уголовному суду, поясняло, что «исход этот весьма желателен в опровержение слуха, что Михайлов у нас отравлен и похоронен без вскрытия» («Политические процессы 60-х гг.», М.—П. 1923, стр. 284). На костюмированном вечере в Немецком клубе, состоявшемся 16 декабря 1861 г., как сообщало другое агентурное донесение, «всеобщее внимание... обратили на себя двое мужчин, на которых было серое арестантское платье с черными покромками, а на голове черные шапки, совершенно похожие на те, которые надевают преступникам на эшафоте» («Русское прошлое», Сб. 2, М.—П. 1923, стр. 152—153).

Из «Записок» Михайлова и «Воспоминаний» Шелгунова мы знаем о той демонстрации сочувствия, которая была устроена перед зданием Сената во время суда над Михайловым. Несомненно, не только личному обаянию, но и своему умению политически воздействовать на «низших чинов» обязан Михайлов установлением тайных связей с «волей» во время нахождения в Петропавловской крепости. Характерен в этом отношении его рассказ о том, как восприняли сопровождавшие его из Петербурга жандармы содержание прокламации «К молодому поколению».

Михайлову оказывали всевозможную поддержку самые различные люди. Ему передавали книги, папиросы, продукты. По шутливому замечанию Шелгунова, «Михайлов, конечно, во всю жизнь не ел столько рябчиков и всяких родов варенья, сколько ему теперь посылалось» (*Шелгунов*, стр. 138—139). Для облегчения его «путешествия» в Сибирь «в разных кружках пошла подписка» (Там же, стр. 139). Недаром Третье отделение так опасалось, что Михайлова по дороге отобьют у жандармов, вследствие чего и была устроена комедия с переодеванием. 2 марта 1862 г. в Петербурге был организован литературный вечер, сбор с которого, официально предназначавшийся в пользу нуждающихся студентов, фактически должен был служить помощью М. Л. Михайлову и осужденному по делу «Великорусса» В. А. Обручеву (см. «Звенья», кн. II, М. 1933, стр. 450). В Берлине в 1862 г. были выпущены стихотворения Михайлова с пометой на обложке: «Издание в пользу автора». Так передовая общественность выразила свой молчаливый протест против осуждения М. Л. Михайлова.

Публичный протест могли выразить лишь литераторы-эмигранты. Герцен откликнулся на осуждение Михайлова несколькими статьями.

Сочувствие Михайлову было выражено и на пути его следования. Скупые замечания в «Записках» о приеме, оказанном ему в Тобольске, дополняются следственным делом о привлечении к судебной ответственности официальных лиц тобольской администрации, всячески покровительствовавшей Михайлову (см. примечания к соответствующим страницам).

Стр. 449. *Кожанчиков* Д. Е. (ум. 1877) — книготорговец и издатель, около которого, по словам Г. З. Елисеева, «группировалась почти вся либеральная пресса тогдашнего времени» (*ОЗ*, 1876, № 3; Внутр. обозрение, стр. 141). Кожанчиков был в числе лиц, подписавших адрес об освобождении М. Л. Михайлова или допуске к следствию депутата от литераторов.

...Василий Яковлевич Лаврецов... — О Лаврецове упоминает Чернышевский в письме от 28 ноября 1860 г. к Добролюбову, оказывавшему материальную помощь Лаврецову в связи с его ссылкой (*Чернышевский*, *ПСС*, т. XIV, стр. 416—417).

Ракеев — жандармский полковник, позже производивший обыск у Чернышевского и арестовавший его. Благодаря случайной встрече Ракеева с Михайловым Третьему отделению стало известно, что Михайлов возвратился из-за границы, тогда как, по сведениям полиции, он считался еще отсутствующим.

Публичная библиотека Крашенинникова (бывшая Смирдинская).— Имеется в виду библиотека, основанная книготорговцем Плавильщиковым, которая в 1825 г. вместе с книжным магазином перешла к книготорговцу и издателю А. Ф. Смирдину, а в 1847 г. приобретена ранее служившим у Смирдина П. И. Крашенинниковым.

Стр. 450. *Тайная канцелярия.*— Здесь и ниже Михайлов именует так «Третье отделение собственной его императорского величества канцелярии».

...в газетах было напечатано, что кто-то (кажется, Мухин по фамилии) читал в одном трактире в Петербурге во всеуслышание «Колокол» и был за это только сослан...— Об этом сообщалось в «Ведомостях СПБ-й полиции» и немецкой газете «Allgemeine Zeitung» от 3 февраля 1858 г., а так же в «Колоколе» (л. 10, 1 марта 1858 г.) в заметке Герцена «Не стыдно ли?».

Стр. 451. *Полковник Золотницкий* — полицеймейстер, принимавший также непосредственное участие в подавлении студенческих волнений в Петербурге.

...в половину Шелгуновых.— Михайлов жил в одной квартире с семьей Шелгуновых.

Стр. 452. *Прудон* — см. прим. к стр. 231.

Луи Блан (1811—1882) — последователь утопического социализма, деятель революции 1848 г. во Франции, скатившийся на путь соглашательства с буржуазией.

...вст Пушкина есть берлинское издание.— Имеется в виду изданный в 1861 г. Р. Вагнером сборник запрещенных цензурой стихотворений А. С. Пушкина.

Стр. 453. *...«Французская революция» Карлейля.*— Имеется в виду труд английского историка Томаса Карлейля (1795—1881) «История французской революции» (1837).

...речи международного революционного комитета, изданные под заглавием «Народный сход».— Имеется в виду брошюра «27 февраля 1855 г. Народный сход в память переворота 1848 г. в St. Martin's Hall» (Лондон, 1855), посвященная состоявшемуся в этот день международному митингу эмигрантов, организованному чартистами (первой рабочей политической организацией). На митинге, в числе других ораторов, выступал А. И. Герцен.

Маневр мой был удачен относительно альбома...— Этот альбом, вместе с запиской Герцена и несколькими листами из «Былого и дум», был отобран при обыске во время ареста Михайлова.

Стр. 455. *Им, конечно, нужен был мой автограф.*— Третье отделение хотело заручиться автографом Михайлова для сличения с почерками, которыми были написаны прокламации «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон» и «Русским солдатам от их доброжелателей поклон», так как, по доносу Н. Костомарова, в первой можно было узнать руку Михайлова.

Стр. 456. *...подозрение по делу московских студентов, у которых открыта тайная типография и литография...*— Подразумевается дело московских студентов П. Э. Аргиропуло и П. Г. Заичневского (см. вводную заметку), а также присоединенное к процессу этих лиц дело о корректоре П. С. Петровском-Ильенко и студентах Я. Сулине, И. Сороко и др., организовавших в Москве тайную типографию и напечатавших запрещенную брошюру Н. П. Огарева «Разбор книги барона Корфа «14 декабря 1825 года». М. Л. Михайлов также привлекался по этому делу в связи с передачей им В. Костомарову упоминавшихся рукописей двух прокламаций.

...на сходке у Николая Курочкина по поводу Шахматного клуба...— Н. С. Курочкин (1830—1884) — брат издателя сатирического журнала «Искра» В. С. Курочкина; врач, поэт-сатирик и публицист демократического направления, близкий к революционным кругам. Шахматный клуб, открытый в Петербурге в январе 1862 г., по замыслу его орга-

низаторов должен был служить политическим центром, объединяющим прогрессивных литераторов. Деятели петербургского революционного подполья во главе с Чернышевским использовали Шахматный клуб для конспиративных встреч. В июне 1862 г. клуб был закрыт правительством.

У меня искали именно ее.— Мнение Михайлова о том, что во время обыска 1 сентября жандармы искали прокламацию «К молодому поколению», вряд ли обосновано, как свидетельствуют о том документы, приведенные в вводной заметке.

...частный пристав Путилин.— И. Д. Путилин, известный сыщик по уголовным делам; был привлечен Третьим отделением для содействия розыску лиц, распространявших первые прокламации. Им была раскрыта причастность В. А. Обручева к «Великоруссу» (см. прим. к стр. 491). Будучи в связи с делом Михайлова приставлен к В. Костомарову, Путилин завязал с Костомаровым личные дружеские и «деловые» отношения, позже вел с ним зашифрованную переписку, касавшуюся создания процесса Н. Г. Чернышевского (см. *Лемке*, стр. 205—218, 242—263 и др.).

Стр. 457. *...от цензурного глухаря, барона Медема...*— Н. В. Медем (1796—1870)— председатель Петербургского цензурного комитета в 1860—1862 гг., член Главного управления цензуры. Медем был глух, почему Михайлов и называет его «цензурным глухарем».

...нашли, что я писал то, чего никогда не писал.— Михайлов намекает на рукопись прокламации «Русским солдатам», написанную измененным почерком Шелгуновым, относительно которой на допросе 18 сентября Михайлов показал, что переписал ее с неразборчивого списка «для себя косым почерком, не похожим на... обыкновенный, и сделал потом несколько поправок и приписок уже своей рукой» (*Лемке*, стр. 89). Такие же показания по поводу рукописи «Русским солдатам» давал и В. Костомаров.

Г⟨аевский⟩ В. П.— чиновник (действительный статский советник), встречавшийся в Лондоне с Герценом. В 1862 г. привлекался по «процессу 32-х», обвинявшихся в сношениях с Герценом и Огаревым.

...я продолжал относить всю вину на человека, который был нисколько в этом не виноват...— Кого имеет в виду М. Л. Михайлов, установить не удалось.

...Костомаров, в последний приезд свой из Москвы...— 20 августа 1861 г., то есть за пять дней до ареста.

Стр. 458. *...во вкусе Конрада Валенрода...*— то есть подобно герою одноименной поэмы А. Мицкевича, вступившему в немецкий орден меченосцев, чтобы, состоя в нем, отомстить меченосцам за разорение его родины — Литвы.

Блюммер — А. П. Блюммер (в замужестве Кравцова), близкая к революционным и оппозиционным кругам; была арестована в мае 1862 г. по подозрению в хранении революционных прокламаций и в пропаганде в воскресных школах. После «внушения» выслана на родину в Воронеж на поруки отца.

Стр. 459. *...жандармского полковника Житкова!* — Жандармский подполковник Житков в июле 1861 г. производил арест П. Э. Аргиропуло и П. Г. Заичневского, вел расследование в Москве по доносу Н. Костомарова о студенческой типографии, арестовал В. Костомарова (см. *Лемке*, стр. 4, 9, 11—13).

«Вы твердо изволите писать или добро...» — Церковно-славянские названия букв *т* и *д*.

Стр. 460. *...что и они (он кивнул на кабинет), может быть, должны будут быть удалены из квартиры.* — Житков запугивал Михайлова возможностью ареста Л. П. и Н. В. Шелгуновых, рассчитывая таким путем принудить его к откровенным показаниям.

Николай Васильевич — Н. В. Шелгунов.

Стр. 462. *Зарубин* А. К. — жандармский подполковник. В февральской книжке «Русской старины» за 1905 г. был опубликован его не во всем правдоподобный рассказ о деле Чернышевского.

Стр. 467. *...в «Экспедицию».* — Экспедициями назывались отделы государственных учреждений.

Надпись над вратами Дантова ада. — Имеется в виду строка из первой части «Божественной комедии» Данте: «Оставь надежды всяк сюда входящий» — надпись над дверями ада.

Стр. 468. *Горянский* Ф. И. — чиновник Третьего отделения; приобрел известность также своими допросами во время следствия по делу М. Бейдемана (1861), бежавшего в конце 1860 г. за границу, вступившего в Италии в отряд гарибальдийцев и в 1861 г. тайно возвратившегося в Россию для осуществления своих революционных замыслов, и по делу В. Трувеллера (1862), везшего в Россию герценовские издания. Герцен в статье «Оклеветанный граф» («Колокол», л. 116, 15 декабря 1861 г.) именовал Горянского «ученым другом» Шувалова, покрывшим себя «почти преображенской славой при взятии Михайлова».

Стр. 469. *В письме... адресованном ⟨Р⟩остовцеву...* — См. вводную заметку. М. К. Лемке утверждает (*Лемке*, стр. 83), будто Я. А. Ростовцев «лицо несуществующее». Но Ростовцев упоминается в адрес-календарях 1860—1861 гг. как преподаватель кадетского корпуса и в ряде библиографических справочников, а также в переписке некоторых писателей, в частности И. С. Тургенева. (Сообщено Б. П. Козьминым.)

...одна писана рукою М. Михайлова... — В письме к Я. А. Ростовцеву В. Костомаров не сообщал, которая из двух прокламаций писана рукой Михайлова. На допросе же показал, что Михайлов переписал

прокламацию «Русским солдатам», хотя, по утверждению Н. В. Шелгунова, знал, что она принадлежала Шелгунову и им же была переписана. Позже, в 1862 г., он выдал и Шелгунова и заявил, что Михайловым была переписана прокламация «Барским крестьянам...», о чем сообщал в своих доносах и его брат Н. Костомаров в августе 1861 г.

Плещеев — см. прим. к стр. 122.

...пять строк, написанных моею рукой...— Подразумеваются строки, вписанные Михайловым в воззвание «Русским солдатам...».

Стр. 470. *...могут сопровождаться еще бо́льшими откровениями.*— Имеются в виду показания В. Костомарова, которые могут открыть авторов прокламаций «Русским солдатам...» (Н. В. Шелгунова) и «Барским крестьянам...» (Н. Г. Чернышевского). Михайлову не удалось отвести от них удар, приняв все на себя: в 1862 г. В. Костомаров выдал обоих.

Арестованы мать и сестра Костомарова.— Горянский пытался запугать Михайлова и скрыть предательство В. Костомарова. В действительности семья последнего не была арестована. Более того — в конце сентября ей было выдано «негласное пособие» от Третьего отделения в сумме 100 руб. (см. *Лемке*, стр. 14).

...взята и полковница Шелгунова.— Это сообщение также было ложным и имело целью вынудить у Михайлова откровенные показания.

...следственной комиссии, назначенной над студентами...— Имеется в виду следственная комиссия, образованная 30 августа министром внутренних дел П. А. Валуевым, в составе И. Ф. Собещанского (председатель) и А. П. Стороженко (от министерства внутренних дел), А. С. Любимова (от министерства юстиции) и И. С. Фонвизина (от управления московского генерал-губернатора) при делопроизводителе Незнамове, в помощь которому был дан Вильчевский. Она занималась расследованием дела московских студентов, обвинявшихся в тайном литографировании и печатании (см. прим. к стр. 456).

...к «графу Петру Андреевичу»...— Шувалову.

Стр. 472. *...к этому привык в полиции.*—До назначения начальником Третьего отделения П. А. Шувалов был петербургским обер-полицеймейстером.

Стр. 475. *«Русская беседа»* — славянофильский журнал, выходивший с 1856 г. в Москве. Его редактором в 1861 г. был И. С. Аксаков.

«Revue étrangère de la littérature, des sciences et des arts» («Международное обозрение литературы, наук и искусств)» —журнал, издававшийся в Петербурге в 1832—1863 гг.

...студентов Петровского и Сороки.— Михайлов показывал в комиссии Собещанского, что воззвание «Барским крестьянам...» он передал студенту Сороко, находившемуся в Петербурге и пришедшему к нему от имени В. Костомарова, а прокламацию «Русским солдатам...» —

В. Костомарову лично. Согласно показаниям И. К. Сороко, он получил от Михайлова запечатанный пакет для передачи Костомарову, не зная, что в нем содержится (см. *Лемке*, стр. 33—34). П. С. Петровский-Ильенко был приговорен к годичному заключению в смирительном доме, а затем выслан в Самарскую губернию под надзор полиции, от которого освобожден в 1870 г. Сороко оставлен в сильном подозрении «как в участии в составлении возмутительного воззвания к барским крестьянам, так и в распространении запрещенного сочинения Огарева «Разбор книги барона Корфа «14 декабря 1825 года» (Там же, стр. 48).

Стр. 476. *По их соображениям выходило (вопреки показанию Костомарова), что, напротив, прокламация к крестьянам написана моей рукой.*— См. прим. к стр. 469.

...тут-то именно и письма специальным образом подпечатываются.— После перлюстрации, то есть вскрытия и просмотра.

Оказалось, что до показания Костомарова на них и подозрения никакого не падало.— Михайлов ошибается: во втором доносе, от 18 августа 1861 г., посланном Н. Костомаровым Шувалову (после личной встречи с Житковым), И. Сороко и П.С. Петровский-Ильенко были названы в списке «заговорщиков» (см. *Лемке*, стр. 10).

Стр. 477. *На принесенные мне Горянским вопросные пункты о прокламации «К молодому поколению» я ответил то же, что и на словах...*— В своих письменных показаниях от 18 сентября 1861 г. Михайлов сообщал, что прокламацию «К молодому поколению» получил от Герцена в количестве десяти экземпляров, из которых четыре-пять экземпляров сжег, и никому, кроме Костомарова, прокламации не показывал. О рукописях воззваний «Барским крестьянам...» и «Русским солдатам...» Михайлов сообщал, что они широко ходили по рукам и он получил их в списках неизвестных почерков.

Стр. 477—478. *...рукописи, конечно, казались им не особенно важным делом.*— Михайлов не ошибался. На запрос Сената, судить ли Михайлова «отдельно за то преступление, за которое он был предан суду 1-го отделения 5-го департамента Сената, то есть за распространение воззвания «К молодому поколению», или совокупно с падающим на него обвинением в отношении сочинения воззваний к барским крестьянам и солдатам, государь император высочайше повелеть соизволил: судить Михайлова за распространение прокламации «К молодому поколению» отдельно от других падающих на него обвинений». (Из определения Сената по делу Н. Г. Чернышевского. *Лемке*, стр. 481—482.)

Стр. 478. *...вероятно, в это время держали его в Третьем отделении, дожидаясь, что я скажу.*— Е. П. Михаэлис (1841—1913) был арестован, 26 сентября 1861 г., как один из главных руководителей студенческих волнений, за выступление в качестве депутата студентов для объясне-

ния с попечителем учебного округа, а затем выслан в Петрозаводск. Его участие в распространении прокламации «К молодому поколению» осталось Третьему отделению неизвестным.

Стр. 479. ...*узнал по попавшему ко мне отдельному номеру «Русского мира», что университет закрыт.*— Имеется, очевидно, в виду сообщение в № 75 газеты «Русский мир» от 27 сентября 1861 г. Закрытие университета и прекращение доступа студентам в аудитории (где происходили их сходки) было предпринято правительством в самом начале волнений, 24 сентября.

Стр. 482. ...*кажется, Обер-Миллер фамилия.*— Михайлов, несомненно, имеет в виду И. И. Гольц-Миллера (1842—1871) — талантливого поэта, студента Московского университета, члена кружка Заичневского и Аргиропуло, у которого при обыске были найдены отлитографированные экземпляры «Колокола». Арестованный по доносу Н. Костомарова в августе 1861 г., он был приговорен к трехмесячному заключению в смирительном доме, после чего выслан под надзор полиции в Корсунь.

Обручев В. А. (1836—1912) — сотрудник «Современника»; был арестован 4 октября 1861 г. по делу о распространении прокламаций «Великорусс» (которых вышло три номера — в июле, начале и конце сентября 1861 г.), призывавших к созданию тайного общества для пропаганды конституционной монархии и подачи адреса государю с требованием созыва земского собора. В прокламациях содержалось предупреждение, что непринятие предлагаемых мер повлечет за собой крестьянское восстание. В. Обручев, не назвавший авторов «Великорусса», был приговорен к трем годам каторжных работ.

...*взят некто Перцов...*— Э. П. Перцов (1804—1873), литератор, находился под наблюдением полиции после поступившего на него анонимного доноса, где утверждалось, что он является «самым ожесточенным корреспондентом Герцена». Арестован 29 августа 1861 г., после того как были перехвачены адресованные ему пакеты из Казани от брата, содержавшие подробное описание крестьянских волнений в селе Бездна Спасского уезда Казанской губернии и предназначенные, как полагало Третье отделение, для пересылки в «Колокол». Перцов был административно подвергнут заключению в крепость на шесть месяцев, а затем выслан в Вятку (позже переведен в Новгород). Через год он был возвращен в Петербург.

...*проходил по двору Б<оков>.*— Доктор П. И. Боков (1838—1915), женатый на сестре В. А. Обручева; привлекался вместе с последним по делу о распространении «Великорусса», но за неимением прямых улик по суду был освобожден от ответственности. Был близок к Чернышевскому. В 1862—1863 гг. состоял членом тайного общества «Земля и воля».

Стр. 483. *...брату литератора, именно Серно-Соловьевичу...*— Литератор — имеется в виду Н. А. Серно-Соловьевич, сотрудник «Современника»; в 1862 г. привлекался по «процессу 32-х» и был приговорен к вечному поселению в Сибири; умер на пути в ссылку в 1866 г. Его брат— А. А. Серно-Соловьевич — участвовал в распространении воззвания «К молодому поколению» (о чем Третье отделение так и не узнало). Характеризуя А. А. Серно-Соловьевича, Н. В. Шелгунов писал: «Он был именно способен ехать среди белого дня на рысаке по Невскому и разбрасывать направо и налево прокламации» (*Шелгунов*, стр. 158), очевидно намекая, что именно Серно-Соловьевич был тем «господином», который разбрасывал прокламации «К молодому поколению» (см. вводную заметку). А. А. Серно-Соловьевич весной 1862 г. уехал для лечения за границу, где и остался в качестве политического эмигранта. Определением Сената по «делу 32-х» был лишен всех прав состояния и объявлен изгнанным навсегда из России.

...знаю ли я эту печатку.— Печатка принадлежала Л. П. Шелгуновой и была отобрана при втором обыске у Михайлова. Ею были запечатаны конверты с прокламациями «К молодому поколению».

Стр. 484. *...ответы Костомарова на предложенные ему вопросные пункты.*— Эти показания В. Костомарова были даны 20 сентября; опубликованы: *Лемке*, стр. 96.

Стр. 485. *...все, что касалось меня в вашем деле, я объяснил, хоть и со вредом для себя.*— Через полтора года, во время следствия по делу Н. Г. Чернышевского, В. Костомаров в своих показаниях писал: «Михайлов до конца вынесет на себе, вместе со своим грехом, грех других; а и в своем-то грехе он признался только из сострадания ко мне; а я, хотя и совершенно невольно, являюсь без всякой надобности обвинителем других» (*Лемке*, стр. 302).

Стр. 487. *Ты знаешь уже это показание в его позднейшей форме.*— В этом показании Михайлов сообщал, что, выехав за границу вместе с Шелгуновыми, он, оставив их в Германии, поехал один в Лондон, где по предложению Герцена написал статью. Но после ее напечатания Михайлов, как он объяснял, обнаружил, что из нескольких страниц, им написанных, в воззвании не осталось и половины. По его показаниям, он взял с собой 200 экземпляров (в действительности 600) из числа напечатанных и по возвращении в Петербург подготовил их к распространению (то есть разложил по пакетам), спеша сделать это до приезда из-за границы Шелгуновых, от которых он якобы скрывал свою деятельность. Он сообщил также, что во время первого обыска прокламации находились под золой и ненужными бумагами в печи, к которой было придвинуто кресло, и что сразу после обыска он распространил сам все экземпляры, подкинув и к дверям своей квартиры пакет с прокламациями.

Михайлов объяснял, что написанием и распространением прокламаций он хотел добиться цензурных облегчений (см. *Лемке*, стр. 102—107).

Стр. 488. *Аполлон Николаевич Майков* — см. прим. к стр. 203; в конце 40-х гг. привлекался по делу петрашевцев и до 1856 г. находился под секретным надзором полиции.

Стр. 489. *«Время»* — ежемесячный журнал, издававшийся в Петербурге в 1861—1863 гг. братьями М. М. и Ф. М. Достоевскими.

Стр. 490. *...явиться у Аларчина моста.*— У Аларчина моста находилась квартира Михайлова и Шелгуновых.

...в предпоследнюю нашу поездку за границу.— Имеется в виду поездка весной 1858 г.

...два раза или три встречал у Дружинина.— Имеется в виду А. В. Дружинин (см. прим. к стр. 72), в 1856—1860 гг. редактор «Библиотеки для чтения», где некоторое время сотрудничал Михайлов.

Стр. 491. *«Chambers».*— Имеются в виду, по-видимому «Chamber's journal of literature, science and arts»— «Чемберсовский журнал литературы, науки и искусств», выпускавшийся английским книгоиздателем Вильямом Чемберсом (1800—1883), или «Chamber's encyclopaedia» — «Энциклопедия Чемберса», его брата, Роберта Чемберса (1802—1871), литератора и ученого.

...арестованы все, кто издавал «Великорусса».— По делу о распространении «Великорусса» были арестованы, кроме В. А. Обручева и П. И. Бокова, студенты Петербургского университета Ф. Р. Данненберг (исключен из университета и выслан под надзор в отдаленный уездный город), В. Лобанов («прощен») и М. Н. Сваричевский (одновременно привлекавшийся по делу московской студенческой типографии за распространение книги Огарева).

...студенты наделали «глупостей» в университете, нагрубили начальству... многие арестованы...— 25 сентября, на следующий день после закрытия университета, студенты устроили сходку на университетском дворе и организовали шествие к дому попечителя учебного округа Филипсона. В связи с этим ночью было арестовано несколько десятков студентов, считавшихся зачинщиками (в их числе и Е. П. Михаэлис). 27 сентября студенты вновь устроили сходку перед запертыми воротами университета, требуя освобождения арестованных товарищей. То же самое повторялось и в следующие дни. Продолжались и аресты студентов. 12 октября собравшиеся у университета студенты были окружены войсками и полицией, 243 человека арестовано и заключено в Петропавловскую крепость и в Кронштадт.

Стр. 492. *...такую комиссию, как например, по делу Петрашевского.*— Для расследования дела арестованных в 1849 г. членов кружка М. В. Петрашевского была образована специальная следственная комиссия под председательством князя А. Ф. Голицына, ранее председа-

тельствовавшего в следственной комиссии по расследованию дела Герцена и Огарева. Такие комиссии создавались для расследования особо важных политических дел.

Стр. 493. *...скорого возврата князя (Долгорукова).*— В. А. Долгоруков (1803—1868) — шеф жандармов, начальник Третьего отделения. В это время он возвращался в Петербург из Ливадии, куда сопровождал Александра II.

...вместо его назначен Анненков, брат апокалиптического критика...— И. В. Анненков в это время был начальником 1-го округа корпуса жандармов (с 1862 г.— петербургский обер-полицеймейстер). Его брат — П. В. Анненков (см. прим. к стр. 125). Эпитет «апокалиптический», очевидно, результат опечатки; по предположению А. А. Шилова, имелось в виду слово «апоплексический» (П. В. Анненков отличался значительной полнотой).

...шпион генеральского чина Кранц...— Ф. Ф. Кранц в это время занимал должность управляющего Первой экспедицией, в ведении которой находились политические дела.

Стр. 494. *...правда ли... что Герцен был нынче в Гамбурге и оттуда собирался в Петербург?* — Слухи о приезде Герцена в Петербург циркулировали и позже. Так, в ноябре 1861 г. в Третье отделение поступил анонимный донос, в котором говорилось, будто Герцен жил в Петербурге более двух недель под именем Джона Чарльза Пейса и что волнения в Петербургском университете были связаны с его приездом (см. А. И. Герцен, Полн. собр. соч., под ред. М. К. Лемке, т. XI, П. 1919, стр. 353—354). Все это было вымыслом.

Рассказывают, что вас здесь, в Третьем отделении, отравили.— См. вводную заметку.

Стр. 496. *Я постарался написать покороче... и только подтвердил в нем те мотивы, которыми оправдывал распространение прокламации и в показании.*— См. прим. к стр. 487. Прошение Михайлова царю опубликовано: *Лемке*, стр. 109—110.

Стр. 497. *...оно пришло накануне или даже за день.*— Разрешение Александра II предать Михайлова суду последовало 9 октября, то есть за пять дней до того, как было написано прошение Михайлова.

Литераторы подавали адрес об освобождении вас из-под ареста.— См. вводную заметку.

Стр. 499. *Я прочитал... в «Инвалиде»... приказ по военному ведомству о предании суду и аресте Семевского, Энгельгарта и Штрандена за участие в беспорядках, производимых студентами.*— Этот приказ был напечатан в «Русском инвалиде» № 226 от 14 октября 1861 г. Поручик Энгельгардт был арестован 27 сентября, когда некоторые артиллерийские офицеры пришли на студенческую сходку к университету, чтобы пред-

отвратить выступление войск против студентов; поручик А. И. Семевский и прапорщик Штранден были арестованы 12 октября.

Стр. 502. *...сложились у меня в голове известные тебе стихи с этим припевом.*— Эти стихи до нас не дошли.

Стр. 503. *...поминая Анну Павловну, королеву нидерландскую.*— Анна Павловна — дочь царя Павла I. Описывая свое свидание с ней, Б. Н. Чичерин замечал, что Анна Павловна была известна в России тем, что «ее имя последнее провозглашалось на ектинье в те времена, когда еще диакон с амвона перечислял одних за другими нескончаемых членов царской фамилии» (Н. Барсуков, Жизнь и труды М. П. Погодина, кн. 22, СПБ 1910, стр. 17).

Стр. 507. *...довольствоваться чаем, если бы...*— Фраза не закончена. По мнению А. А. Шилова, здесь опущены какие-то места из рукописи. Но, скорее, Михайлов сознательно прервал тут повествование, давая понять Л. П. Шелгуновой, что только надежда на встречу с ней побуждала его принимать опротивевшую ему крепостную пищу.

Стр. 507—508. *...приезд Суворова, о назначении которого генерал-губернатором я еще не знал и потому думал, что это Игнатьев ко мне приехал.*— А. А. Суворов, близкий к Александру II и пользовавшийся репутацией «либерала», был назначен генерал-губернатором Петербурга вместо П. Н. Игнатьева, исполнявшего эту должность с 1854 г. Игнатьев был отставлен в связи с его действиями во время студенческих волнений (вызов войск, аресты и т. д.), вызвавшими недовольство даже в умеренно-либеральных кругах.

Стр. 508. *...раскланяться с Залесским...*— А. В. Залесский — студент Петербургского университета, участник волнений, арестованный 26 сентября 1861 г. и заключенный в Петропавловскую крепость.

Стр. 509. *И перед воротами и во дворе была толпа народу...*— Н. В. Шелгунов в своих воспоминаниях рассказывает, что «этот первый, давно уже не виденный общественный суд по политическому преступлению и над человеком известным, и в ту пору общего возбуждения, когда волновали общество еще и университетские истории, не мог не повышать впечатлительности и без того уже наэлектризованного общества. Волновалась, конечно, больше всего молодежь». В дни суда над Михайловым «у Сената толпились массы, чтобы встретить и проводить его и, если можно, так взглянуть на него. Некоторым удавалось забраться в ворота и на черную лестницу, где проводили Михайлова в заседание Сената, и счастливцы были так довольны, что видели, как он шел, сопровождаемый двумя жандармами. Михайлов тоже как будто вырос, его радовало общее внимание и, довольный, он приветливо кланялся знакомым» (*Шелгунов*, стр. 139, 31—32).

Стр. 510. *...сидело пять сенаторов...*— В состав суда над Михайловым входили: первоприсутствующий (председатель) Г. П. Митусов,

Н. М. Корнеев, К. Б. фон Венцель, А. П. Бутурлин, М. М. Карниолин-Пинский (позже первоприсутствующий на процессе Н. Г. Чернышевского и других политических процессах) и А. А. Волоцкий (находился в отпуске). Обер-прокурором был Н. А. Буцковский (позже один из деятелей судебной реформы 1864 г.), обер-секретарем — Кузнецов, его помощником — Орестов; дело докладывал секретарь Шишкин.

Стр. 512. *...из начатков христианского благочестия протоиерея Кочетова.*— Имеется в виду И. С. Кочетов (1789—1854) и его богословский труд «Начертание христианских обязанностей по учению православно-кафолической церкви» (1827).

Стр. 513. *...не могу уже припомнить, в какие именно дни были три допроса мне в Сенате.*—Первый допрос происходил 18 октября, второй— 23 и третий — 31 октября (*Лемке*, стр. 117—122).

Стр. 514. *...в этих тюремных потемках несколько отрадных минут, о которых пока я не вправе говорить.*— По-видимому, Михайлов намекает на тайную встречу с Л. П. Шелгуновой в Петропавловской крепости, устроенную кем-то из сочувствовавших ему жандармских офицеров. В пользу этого предположения говорят слова Михайлова, обращенные к Л. П. Шелгуновой: «Мы остановились перед комендантским подъездом, где я потом прощался с тобой» (см. стр. 498). В числе лиц, официально простившихся с Михайловым, ее имени не значится.

...можно было только одному удивляться, для чего было говорить о том, что именно никто не знал, кроме меня, да и знать не мог.— Михайлов и в это время не догадывался о предательстве В. Костомарова.

Стр. 515. *...вследствие глупой выходки моей...*— Речь идет о подаче прошения Александру II.

...получил я известные стихи и письмо от заключенных в крепости студентов.— Имеются в виду стихи «Из стен тюрьмы, из стен неволи...» (см. т. I наст. изд.). Письмо, присланное студентами, не разыскано.

...и тотчас же отвечал им стихами...— Имеются в виду стихи «Крепко, дружно вас в объятья...» (см. т. I наст. изд.).

Стр. 516. *...Владимир Обручев и с ним еще четверо или пятеро молодых людей и... мой знакомый доктор Боков.*— См. прим. к стр. 491.

Стр. 517. *Это были Варенька и Машенька.*— Варенька — родственница Л. П. Шелгуновой, упоминающаяся в письмах Н. В. Шелгунова и Л. П. Шелгуновой под именем «Вареньки» и «Варвары Александровны» (см. Л. П. Шелгунова, Из далекого прошлого, СПБ 1901, стр. 182). Машенька — сестра Л. П. Шелгуновой М. П. Михаэлис (по мужу Богданович); в 1864 г. она во время гражданской казни Н. Г. Чернышевского бросила на эшафот букет цветов, за что была взята под надзор полиции; в 70-х гг. вместе с мужем Н. Н. Богдановичем участвовала в пропаганде среди крестьян.

Стр. 518. *...еще в куртине узнал о смерти бедного Добролюбова, а 20 я написал стихи на его смерть...*— О безнадежном состоянии Добролюбова Михайлов знал из тайных писем к нему Шелгуновых (см. *С*, 1912, № 9, стр. 206). Стихи на смерть Добролюбова («Вечный враг всего живого...») были опубликованы без подписи в л. 119—120 «Колокола» от 5 января 1862 г. (см. т. I наст. изд.).

...познакомился... и с другим крепостным плац-адъютантом Пинкорнелли...— И. Ф. Пинкорнелли изображен на известной картине, запечатлевшей акт заковки М. Л. Михайлова в кандалы (воспроизведена: *Лемке*, между 68 и 69 стр.). Через Пинкорнелли Михайлов вел тайную переписку с Шелгуновыми.

Стр. 519. *«Всемирная история» Вебера.*— Имеется в виду «Всеобщая история» немецкого историка-идеалиста Георга Вебера (1808—1888), первые 12 томов которой были переведены на русский язык Чернышевским.

«Солдатское чтение».—По-видимому, Михайлов имеет в виду журнал «Солдатская беседа», издававшийся в 1858—1867 гг. А. Ф. Погосским.

Стр. 520. *Что было причиною внезапных строгостей...*— Возможно, что причиной усиления надзора являлись распространившиеся по Петербургу слухи о якобы готовившемся побеге Михайлова из крепости.

Стр. 521. *...страшился, что вам придется ехать из Петербурга раньше меня...*— О своем намерении ехать в ссылку за Михайловым Шелгуновы писали ему в Петропавловскую крепость. В ноябре 1861 г. Михайлов отвечал Л. П. Шелгуновой: «Голубушка Людмила Петровна, мне и отрадно слышать, что вы не покинете меня в ссылке, и горько за вас. А больше всего боюсь я, чтобы вы не вздумали ехать зимой» (*С*, 1912, № 9, стр. 207).

Стр. 522. *...в дороге мне будут предоставлены все удобства...*— Шелгунов перед отъездом Михайлова из Петербурга добился разрешения Третьего отделения на приобретение хорошего зимнего возка и теплых вещей. Друзья старались снабдить Михайлова всем необходимым в дороге. «Михайлову,— пишет Шелгунов,— был сшит ватный нагрудник, простеганный в клетку, и в каждой клетке была зашита рублевая бумажка,— их было, кажется сто; купил евангелие, в крышках переплета которого были заклеены тоже деньги. Это делалось потому, что каторжным денег иметь при себе нельзя, а нагрудник и евангелие иметь можно... Время отправления Михайлова приближалось, и хотя я и знал, что по закону дворяне от кандалов освобождаются, но для большей уверенности, что это так и будет, поехал переговорить к Суворову. Суворов никак не соглашался отправить без кандалов; сколько я ни ссылался на закон, он стоял на своем и указывал на декабристов, которые отправлены были в кандалах...» (*Шелгунов*, стр. 139—140).

...знаком ли я с ...Долгоруким...— Имеется в виду П. В. Долгоруков (1816—1868), эмигрант, представитель дворянской фронды, стремившейся к ограничению самодержавия; издавал за границей газеты «Будущность» (1861), «Правдивый» (1862), «Листок» (1863—1864).

Стр. 523. *Утром в пять часов 14 декабря...*— 14 декабря в 8 часов утра на Сытной площади в Петербурге состоялся обряд гражданской казни Михайлова. Воздвигнутый там эшафот был оцеплен эскадроном лейб-гвардии казачьего полка и петербургским батальоном внутренней стражи. Сообщение об объявлении приговора, которое должно состояться перед гражданской казнью, было напечатано лишь в день казни и только в «Ведомостях санктпетербургской полиции» и осталось никому не известным: Третье отделение опасалось скопления сочувствующих Михайлову. Агент отделения доносил: «Объявление приговора кончено благополучно. Народу было очень мало — человек до двухсот, не более, и все простой народ. Читали не очень громко, так что большинство даже не знает фамилии преступника. Студентов положительно никого. Человека три-четыре чиновника. До приезда Михайлова в толпе говорили, что казнят какого-то генерала, но за что — неизвестно. После прочтения же некоторые, не понявшие указа, болтали, что он хотел *сменить* государя и всех министров — настоящего же почти никто не слыхал. Он был очень покоен, но бледен и во все время не произнес ни слова. Его привезли в наемной карете под прикрытием трех взводов казаков; таким же образом увезли обратно в крепость рысью... По окончании толпа тотчас разошлась; часть побежала за ним, но далеко от всего кортежа отстала. Ни Шелгунова, ни других лиц, нами подозреваемых и мною виденных на похоронах Добролюбова, положительно не было. Были при этом обер-полицеймейстер и комендант. Это происходило на Сытной площади, окруженной жильем торговцев и, большей частью, рабочих, которые и собрались; до остальных же жителей Петербургской стороны весть об этом дойдет позже; с городской стороны тоже не видать было, чтобы кто-нибудь туда приехал» («Русское прошлое», Сб. 2, М.—П. 1923, стр. 152).

...приезжали все его друзья...— Разрешением проститься с М. Л. Михайловым, данным петербургским генерал-губернатором А. А. Суворовым, воспользовались Н. В. Шелгунов, Я. П. Полонский, А. Н. Пыпин, П. П. Пекарский, Н. А. Некрасов, Н. Г. Чернышевский, А. А. Серно-Соловьевич и Н. В. Гербель.

Засады нигде не оказалось.— Правительство опасалось, что Михайлова по дороге отобьют. Шелгунов сообщает, что Суворов ему говорил: «Знайте, что если будет какое-нибудь покушение, чтобы освободить Михайлова, жандармам отдано приказание его застрелить». Я понимал, что Суворов пугает, но ответил, что Михайлова никто освобождать не хочет, да и прежде, чем освобождать, нужно еще спросить, захочет ли

он, чтобы его освобождали. Но тем не менее Суворов принял меры предосторожности, и Михайлов был вывезен из Петербурга в крытых санях, и только со станции Шальдихи (за Шлиссельбургом) Михайлова повезли в его возке и обычным порядком с жандармами... Я поехал к Суворову просить его написать к местным властям, чтобы Михайлову было оказано возможное снисхождение. Суворов обещал и написал письма к соответственным властям...» (*Шелгунов*, стр. 140).

Стр. 530. *Зажор* — подснежная вода в образовавшихся на дороге выбоинах.

Стр. 532. *Вот недавно из Варшавы двух провезли.*— В 1861 г. в Польше имел место подъем национально-освободительного движения, выразившийся в уличных манифестациях и молебствиях, носивших демонстративный характер, в костелах. В связи с этим значительное число поляков, в частности ксендзов, было арестовано и выслано в отдаленные губернии Европейской России и Сибирь.

Стр. 538. *...в Нерчинском округе не осталось уже никого ни из декабристов, ни Петрашевского и сосланных с ним вместе трех его товарищей.*— Декабристы были освобождены по амнистии от 26 августа 1856 г. по случаю коронации Александра II. По той же амнистии петрашевцы были «выпущены на поселение». (В Нерчинский округ вместе с Буташевичем-Петрашевским были высланы Ф. Н. Львов (см. прим. к стр. 591), Н. П. Григорьев, Н. А. Момбелли и Н. А. Спешнев.)

...ехать прямо к губернатору...— Гражданским губернатором Тобольска был А. В. Виноградский, ничем не выразивший участия к судьбе Михайлова. Однако «за превышение и бездеятельность власти» во время пребывания Михайлова (а позже В. А. Обручева) в Тобольске Виноградский был предан суду.

Стр. 540. *...очутился передо мной смотритель замка...*— Смотритель Тобольского тюремного замка З. И. Казаков был также предан суду.

Стр. 542. *Лдпать* — одежда (*сибирск.*).

Стр. 544. *Станислав Крупский.*— Рассказ Крупского о себе близок к действительности. Авантюрист и предатель, он и позже стремился к тайной полицейской деятельности. В 1863 г. он бежал с поселения, но был задержан в Перми. Здесь Крупский подал донос на Михайлова, в котором говорилось, будто Михайлов рассказывал ему о существовании в России тайного общества и уговаривал заняться пропагандой среди солдат и арестантов. Позже Крупский признался, что все это является вымыслом. Возвращенный в Сибирь, он в 1866 г. бежал в Австрию (см. М. Л. Михайлов, Записки, М. 1922, стр. 103, прим. А. А. Шилова).

Стр. 548. *Председатель губернского правления, учитель словесности здешней гимназии, два доктора...*— Председатель губернского правле-

ния Соколов был предан суду за «послабления», оказанные Михайлову. О лицах, посещавших Михайлова в Тобольской тюрьме и увозивших его к себе домой с разрешения полицеймейстера, см.: *Лемке*, стр. 142—149.

Стр. 553. *...полицеймейстер приказал снять с меня кандалы.*— Полицеймейстер Кувичинский был также предан суду за приказ о снятии с Михайлова кандалов и широкий допуск к нему посетителей.

Стр. 554. *...вице-губернатор заезжал к вам...*— Имеется в виду председатель губернского правления, выполнявший обязанности вице-губернатора, Соколов.

Стр. 557. *...удаленные частью по последним беспорядкам, частью по истории о панихиде за Антона Петрова...*— Имеются в виду волнения студентов в Казанском университете, начавшиеся вслед за петербургскими в связи с введением новых правил министерства просвещения. 9 октября на площади перед университетом студентами была устроена демонстрация протеста, направленного против попечителя казанского учебного округа князя Вяземского как представителя министерской власти, после чего были арестованы и исключены из университета некоторые студенты. О *панихиде за Антона Петрова* см. вводную заметку.

Стр. 557—558. *...ждали генерал-губернатора Западной Сибири.*— Имеется в виду А. О. Дюгамель, назначенный в 1861 г.

Стр. 560. *...я начал в Тобольске роман, о котором говорил тебе при последнем свидании нашем у коменданта, и перевел последнюю сцену «Прометея»...*— Речь идет, вероятно, о романе «Вместе», отрывки из которого были опубликованы в журнале «Дело» в 1870 г. (№ 1). Под «Прометеем» подразумевается отрывок из трагедии Эсхила «Скованный Прометей», переведенный Михайловым и опубликованный в «Современнике» в 1863 г. (№ 1—2) под псевдонимом «Мих. Илецкий» (см. подробно т. I. наст. изд.).

Стр. 562. *Шли не мало из Казанской губернии...*— По-видимому, речь идет о крестьянах, высланных за участие в бездненских волнениях.

Шаньги — род ватрушек с различной начинкой (*сибирск.*).

Стр. 564. *В последнюю войну...*— Имеется в виду Крымская война 1853—1856 гг.

Земская полиция.— Так называлась, в отличие от городской, полиция, ведавшая судебно-полицейскими делами в уездах.

...Константину Николаевичу...— Великий князь (1827—1892), брат Александра II; в это время управлял морским министерством.

Стр. 565. *Прокурор* — Жемчужников, привлекался к следствию по делу о «послаблениях», оказанных Михайлову в Тобольске.

Стр. 568 *...чудная песня Корнеля Уейского...*— Корнелий Уейский (1823—1897) — польский поэт. Его хорал «*С дымом пожаров*» стал гимном польских повстанцев 1863 г.

Ирмосы — церковные песнопения.

Стр. 569. *Манифест о тысячелетии.*— Имеется в виду предстоявшее в сентябре 1862 г. празднование тысячелетия России, по случаю которого ожидалась амнистия, однако не состоявшаяся.

Стр. 570. *Шлык* — шапка.

Стр. 576. ...*пермский крестьянин Кокшаров, который был доверителем от пермских заводских крестьян*...— По материалам Третьего отделения, Кокшаров — беглый крестьянин княгини Бутеро, владелицы горных заводов в Пермской губернии. Назвавшись царским посланным, он именем царя запрещал крестьянам подписывать уставные грамоты (документ, определявший наделы, повинности и отношения бывших крепостных крестьян к помещикам после реформы) и убеждал их в том, что «воля», объявленная манифестом 19 февраля 1861 г., не настоящая и что им надлежит ожидать новой, настоящей воли.

Стр. 577. ...*Валуев в своих отчетах по крестьянскому делу*...— Имеются в виду «Доклады министров внутренних дел о проведении крестьянской реформы». П. А. Валуев (1816—1890) в 1861 г.— министр внутренних дел.

Стр. 577—578. ...*о ксендзе-канонике Маевском, который виноват оказался в том, что не остановил народа в Гродно*...— Иосиф Маевский был сослан в связи с демонстрацией в Гродно 15 августа 1861 г.; в 1862 г. получил разрешение возвратиться на родину.

Стр. 578. ...*не дух Гарибальди, не дух Мерославского*...— Джузеппе Гарибальди (1807—1882) — итальянский революционер, народный герой Италии, боровшийся за национальное освобождение и объединение Италии революционным путем. Людвиг Мерославский (1814—1878) — польский революционер, участник революций 1830 и 1848 гг., шляхетско-буржуазный политический деятель; во время польского восстания 1863 г. некоторое время был диктатором.

Назимов В. И. (1802—1874) — виленский военный губернатор и генерал-губернатор Северо-Западного края.

Стр. 579. *Желиговский* Эдуард (1820—1864) — литовский поэт, писавший под псевдонимом «Антоний Сова».

Стр. 583. ...*сочинили мне медицинское свидетельство.*— Тобольская врачебная управа выдала Михайлову свидетельство в том, что он «благодаря болезненному его состоянию, выразившемуся в сильном кровохаркании», не может следовать с партией пересыльных, а должен ехать за свой счет на почтовых.

Стр. 584. *Пушкин* — управляющий Комиссариатской комиссией полковник Ждан-Пушкин; был знаком Михайлову по Петербургу.

Стр. 585. *Берейтор* — объезжающий верховых лошадей и обучающий верховой езде.

Стр. 587. *Бурак, туес* — берестяной короб цилиндрической формы с крышкой (*сибирск.*).

...адресовал его через П‹екар›ского.— Опасаясь, что письмо в адрес Шелгуновой может быть перехвачено, Михайлов отправил его на имя историка П. П. Пекарского (1827—1872), своего и Шелгуновых приятеля

Стр. 589. *...чтобы видеться с Петрашевским. Он, как ты знаешь из «Колокола», попал в немилость у Муравьева за то, что говорил против скверной истории Беклемишева и — не помню, как зовут его жертву.*— Михайлов имеет в виду наделавшую много шума дуэль между Беклемишевым и Неклюдовым, чиновниками особых поручений при генерал-губернаторе Восточной Сибири Н. Н. Муравьеве-Амурском, состоявшуюся в Иркутске весной 1859 г., в результате которой Неклюдов был убит.

Петрашевский, по словам одного из современников, «принял горячее участие в волнении, произведенном в городе этим событием, а равно и в похоронах убитого Неклюдова», за что попал в немилость к Муравьеву, покровительствовавшему Беклемишеву, и был выслан в Минусинск (затем в село Шушу) замещавшим Муравьева во время его отсутствия М. С. Корсаковым (см. след. прим.). В приложении к «Колоколу» — «Под суд!» (№ 2 от 15 ноября 1859 г.) была помещена корреспонденция из Иркутска, разоблачавшая Беклемишева, написанная, как полагает редактор газеты «Амур» М. В. Загоскин, известным мемуаристом, либеральным общественным деятелем Н. А. Белоголовым (см. В. Арефьев, М. В. Буташевич-Петрашевский в Сибири. *РСт*, 1902, № 1, стр. 177—186).

...посадил на свое место невежду и глупца Корсакова...— М. С. Корсаков (1826—1871), близкий к Н. Н. Муравьеву, генерал-губернатор Восточной Сибири с 1861 по 1870 г. Как сообщает сестра М. В. Петрашевского — А. В. Семевская, Петрашевский «часто называл М. С. Корсакова почтовой лошадью, так как он шестнадцать раз ездил курьером в Европу» (А. В. Семевская, Заметка о М. В. Буташевиче-Петрашевском. *РСт*, 1901, № 2, стр. 494).

«Ваза» — «дамский журнал», выходивший в Петербурге (1830—1884) под редакцией Е. Ф. Сафоновой.

«Северный цветок» — «Журнал мод, искусства и хозяйства», выходивший в Петербурге (1857—1861) под редакцией А. Станюковича.

...капитан-лейтенант С‹ухомлин›. С его парохода или фрегата бежал Бакунин.— М. Л. Сухомлин — командир клипера «Стрелок», следовавшего в июле 1861 г. из Николаевска-на-Амуре в залив Де-Кастри. На этом клипере ехал М. В. Бакунин, находившийся в ссылке и прибывший в Николаевск для сбора сведений о торговле края. С разрешения Сухомлина Бакунин пересел на купеческое судно и отплыл в Японию (откуда через Америку эмигрировал в Лондон).

Корсаков, получивший сильную головомойку...— По поводу разрешения М. С. Корсаковым Бакунину поездки на Амур Александр II

на докладе шефа жандармов написал: «Оплошность со стороны г.-м. Корсакова непростительная, и если побег Бакунина подтвердится, то он заслуживает строжайшего выговора» (см. А. И. Герцен, Полн. собр. соч. и писем, т. XI, П. 1919, стр. 276—280).

Стр. 590. *...читанных мною в «Колоколе» официальных бумаг его...*— Имеются в виду прошение Петрашевского министру внутренних дел по поводу его незаконной высылки из Иркутска и другие с этим связанные документы, опубликованные в «Колоколе» за 1861 г. в лл. 92 и 93 от 15 февраля и 1 марта.

Стр. 591. *...Львов, в своих «Выдержках из воспоминаний ссыльнокаторжного»...*— Ф. Н. Львов (1823—1885) — член кружка Петрашевского, приговоренный к 12 годам каторги, которую он отбывал в Восточной Сибири. В 1863 г. получил разрешение возвратиться в Петербург. Речь идет о его статьях-воспоминаниях, напечатанных в *С* (1861, № 9 и 1862, № 2).

...другой Львов, автор знаменитой комедии...— См. прим. к стр. 281.

...герой соллогубовского «Чиновника».—В. А. Соллогуб (1814—1882)— беллетрист. Герой его комедии «Чиновник» Надимов утверждает, что если честные и просвещенные люди пойдут на службу в полицию, то можно будет искоренить злоупотребления, беззакония и взяточничество.

Стр. 592. *...как выразился Добролюбов: «Для блага родины страдать по пустякам».*—Н. А. Добролюбов, «Нет, мне не мил и он, наш север величавый...» (1861).

Стр. 593. *...секретного циркулярного предписания министра внутренних дел к губернаторам, от 2 декабря, не выдавать литератору Николаю Чернышевскому заграничный паспорт.*— Этот циркуляр П. А. Валуева датирован не 2 декабря, а 23 ноября 1861 г. Непосредственным поводом для этого решения Валуева послужило выступление Чернышевского на похоронах Добролюбова, в частности его слова, что «гражданская скорбь» явилась причиной гибели Добролюбова.

Стр. 594. *«Блажен, кто верует, тепло ему на свете».*— Слова Чацкого из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума», действие 1, явл. 7.

Стр. 599. *...Дадешкальяна....*— Впоследствии доктор Дадешкальян предупредил Михайлова и Шелгуновых о приезде на Казаковский прииск жандармского полковника Дувинга, посланного для ареста Шелгуновых.

Стр. 601. *...будете назначены к брату на промысел...*— Брат, у которого жил М. Л. Михайлов,— Петр Илларионович Михайлов, инженер-поручик Нерчинского горного округа.

...что я «хотел снять узду с женщин».— Имеются в виду статьи Михайлова о женском вопросе, печатавшиеся в «Современнике» и пользовавшиеся в то время большой популярностью.

Стр. 602. *...после тех свиданий в Петербурге, которые были позволены мне официально.*— См. прим. к стр. 523.

...лафатеровских способностей.— См. прим. к стр. 158.

Стр. 603. *Фоль-журнеи* — безумные празднества (от франц.— folle journee).

Стр. 605. *...показались бы Голиафами... давидовскую храбрость.*— Имеется в виду библейская легенда о исполине филистимлянине Голиафе, которого поразил из пращи отважный израильтянин Давид.

Стр. 607. *...нашего приятеля Цебрикова...*—Н. Р. Цебриков (ум. 1866)— за участие в движении декабристов был разжалован в солдаты и переведен в Кавказский корпус. Возвратившись в Петербург в 1855 г., сблизился с кружками радикально настроенной студенческой молодежи, с которой были связаны Михайлов и Е. Михаэлис (см. В. Острогорский, Из истории моего учительства, СПБ 1914, стр. 57—59).

Стр. 608. *...созданного Муравьевым, казачества.*—Амурское казачье войско было образовано в 1858 г. для защиты устья реки Амура от набегов кочевников.

...правдивые статьи Завалишина об Амуре...— Имеются в виду напечатанные в 1858—1859 гг. в «Морском сборнике» и других изданиях статьи Завалишина, «раскрывшие закулисную сторону занятия Амура», как сообщает один из современников (см. В. Арефьев, М. В. Буташевич-Петрашевский в Сибири. *РСт*, 1902, № 1).

Стр. 611. *...прямо к дому горного начальника...*— Речь идет о Нерчинском горном начальнике О. А. Дейхмане, тепло принявшем Михайлова и впоследствии смещенном за это со службы, так же как и брат Михайлова Петр Илларионович. (См. Е. О. Дубровина, Памяти Михайлова. «Беседа», 1905, № 12).

Стр. 613. *Я был при нем как «будущий».*— В подорожных свидетельствах едущим на почтовых лошадях оговаривалось право взять с собой любого попутчика, который обозначался в них в качестве «будущего».

Стр. 614. *...прекрасную немецкую песню: «Wenn ich ein Vöglein wär».* — Михайлов имеет в виду, по-видимому, стихотворение Гейне «Ich steh'auf des Berges Spitze...» («Я стою на вершине горы...») из «Книги песен» (см. прим. к стр. 212), строку из которого он цитирует.

Когда же сменится она живою беседой? — Шелгуновы приехали на Казаковский прииск в августе 1862 г. и 28 сентября того же года были арестованы в связи с доносом В. Костомарова «по подозрению в замысле об облегчении участи Михайлова». Шелгунова, ввиду болезни, до января 1863 г. проживала в соседней с промыслом слободе, а затем была переведена в Иркутск.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

имен, произведений и периодических изданий, упоминаемых в III томе

Абеллард (Абеляр) Пьер — 270, *668*.
Агассиз Луи — 376, *680*.
Агриппа Корнелий Неттесгеймский — 414, *681*.
«De nobilitate et praecellentia feminei sexus» («О благоустройстве и преимуществе женского пола») — *681*.
Адан Адольф — 288, *671*.
Аддисон Джозеф — 137, 355, *652*.
Аксаков И. С.— *700*.
Аксаков К. С.— *635*, *644*.
Переводы: «Идеалы» — 49, *635*, «An die Freude» («К Радости») — 52.
Аксаков С. Т.— 108, *647*.
«Детские годы Багрова-внука», «Семейная хроника» — 108, *647*.
Александр I—519.
Александр II — 488, 492, 496, 511, 516, 567, 577, *693*, *695*, *701*, *705*—*707*, *709*, *713*.
Алексеев П. Ф.— *636*.
«Водолаз» (перевод) —49, *635*.
Алланы — см. Деспро Луиза и Деспро Луи-Филипп.
Альд Мануций — 20, *627*.
Альфред-Философ — 137, *652*.
Анакреон — 82, *642*.
Анаксагор — 30, *628*.
Андрей («содержающий») — 568, 569.
Анна (жена Ричарда II) — 356, *677*.
Анна (королева) — 347, *676*.
Анна Павловна — 503, *706*.
Анненков И. В.— 493, *705*.
Анненков П. В.—125, 493, *650*, *705*.
Антиной — 43, *632*.
Арагон Луи.
«Гюго — поэт-реалист» — *642*.
Арам Евгений — 162, 163.
Аргиропуло П. Э.— *689*, *697*, *699*, *702*.
Арефьев В.
«М. В. Буташевич-Петрашевский в Сибири» — *713*, *715*.
Аристотель — 30, 137, *629*.
Арни Томас — *673*.
«Правь, Британия, морями!» — 315, *673*.
Аскью — 15.
Ассинг Людмила — 441, 442, *684*.
«Атеней» («Атенеум») — 155, 177, *655*.
Ауэрбах Бертольд — 443—446, *622*, *684*.
«Босоножка» — 444.
«Кум» — 445.
«Кумова шкатулка» — 446.

Иноязычные имена и названия даются в конце каждой буквы русского алфавита. Курсивом указаны страницы примечаний.

«Мони и Брози» — 444.
«Народные календари» — 445.
«Шварцвальдские деревенские повести» — 444.
«Edelweiß» («Эдельвейс») —446.
Ауэрсберг (Ауэршперг) Антон-Александр — 214, *662.*
«Прогулки венского поэта» — 216, *662.*
«Старый комедиант»— 216.
Афанасьев А. Н.— *625.*

Байрон Джордж — 134, 142, 355, *633*, *634.*
«Английские барды и шотландские обозреватели» — 149, *654.*
«Корсар» — 151.
«Мазепа» — 53, 72, *636.*
«Манфред» — 53, *636.*
Бакунин М. В.— 589, 590, 601, 604, *713*, *714.*
Бальзак Оноре — 271, 302.
«Человеческая комедия» —10.
Барбье Антуан — 14, *626.*
«Bibliographie» («Библиография») — 14, *626.*
Барнум Финеас — 343, *675.*
Барсуков Н.
«Жизнь и труды М. П. Погодина» — *619*, *625*, *706.*
Барт Жан — 264, *667.*
Барталоцци Франческо — 153, *654.*
Бартон Бернард — 154, *655.*
Бауринг Джон — 154, *655.*
Бегичев Д. Н.— *626.*
«Семейство Холмских»— 12, *626.*
Безобразов В. П.— 204, *660.*
Бейдеман М.—*699.*
Белозерский Н.
«От Петербурга до Нерчинска» — *685.*
Бек Карл — 214, *662.*
Беклемишев — 589, *713.*
Белинский В. Г.— 101, 206, *632*, *634*, *639*, *661.*
«Герой нашего времени» —*638.*
«Жертва. Литературный эскиз. Сочинение г-жи Монборн» — 390, 391, *680.*
«Разделение поэзии на роды и виды» — *638.*
Беллармино Роберто — 20, *627.*
«Прения» — 20.
«Recognitio librorum omnium Roberti Bellarmini» («Обзор сочинений Роберто Беллармино») — 20.
Белоголовый Н. А.—*713.*
Бенедиктов В. Г.— 52, 205, 216, *636*, *660.*
Переводы: «Боги Греции» —52, *636.*
«An die Freude» («К радости») — 52.
Беранже Пьер-Жан — 53, 82, 229, 228, 266, 270—272, 361.
«Les Etoiles qui filent» («Падающие звезды») — 82.
«Frétillon» («Резвушка») —82.
«Ma gaîté» («Моя веселость») — 296, *671.*
«La Mère avaugle» («Слепая мать») — 82.
«Le Tombeau de Manuel» («Могила Манюэля») — 270, *669.*
Бер Якоб-Либман — 288, *671.*
«Северная звезда» — 288.
Берг Н. В.— 122, *648.*
Бердитт Ф.— 179, *657.*
Бернарден де Сен-Пьер — *653.*
«Поль и Виргиния» — 139, *653.*
Берне Карл-Людвиг — 443, *684.*
Бернет — см. Жуковский А. К.
Берников — 584—586, 588, 594, 597, 600, 605.
Бернс Роберт — 107, 142, 144, 146, 159.
«I'm fading awa', Jean...» («Ухожу я, Джен...») — 201.
«Беседа» — *715.*
Бетман-Гольвег Мориц-Август — 438, *683.*
Бетховен Людвиг — 63, 288.
«Библиотека для чтения» — 203, 475, *618*, *620*, *621*, *625*, *644*, *661*, *704.*
Бингер — 442, 443.
Бинейон Томас — 154, *655.*
Битти Джемс — 146, *654.*
«Отшельник» — 147, *654.*
Блан Луи — 452, 455, *663*, *697.*
Блогг, братья — 142.
Блюммер А. П. (в замужестве Кравцова) — 458, *699.*
Богданович Н. Н.— *707.*
Богомолов А. С.— 43, *632.*

Богучарский В.
«Материалы для истории революционного движения в России» — *685*.
Боденштедт Фридрих — *620*.
«Современники Шекспира» — *623*.
Боккаччио Джованни — 161.
Боков П. И. — 482, 516, 517, *702*, *704*.
Болен Анна — 322, *674*.
«Болтун» — 137.
Бомарше Пьер — 301.
Бональд Луи-Габриэль — 419, *682*.
Бонжур Казимир — 230, *664*.
Борней Джемс — 163, *656*.
Бортон Роберт — *656*.
«Анатомия меланхолии» — *656*.
Ботлер Самуэль — 355, *677*.
Брессан Жан-Батист — 298, *671*.
Бриер де Буамон Александр Жак — 379, *680*.
Бродрип Фанни — 152, 156, 160, 169, 172—174, 175, 186, 187, 190, 194, 196, 197, 199—201.
«Записки» («Материалы для биографии Т. Гуда») — 130, 190, 194, *651*, *658*.
Броун Томас — 157, *657*.
Броунинг Роберт — 185, *657*.
Брюллов К. П. — 111, *647*.
Буальдье (Боэльдье) Франсуа-Адриен — *670*.
«Белая дама», «Две ночи», «Жан парижский», «Калиф багдадский» — 288.
Будей Гильом — *627*.
«De asse...» («Об монете и ее частях») — *20*, *627*.
«Будущность» — 522, *709*.
Булар — 10.
Буль Джон — 332, *675*.
Бульвер-Литтон Эдуард Джордж — 163, 186, *656*.
«Евгений Арам» — 163, *656*.
Бурбоны — *669*.
Бургиньон Луи-Доминик — 126, *650*.
Бурундуков — 524 — 530, 532, 534—539, 541, 556.
Буташевич-Петрашевский М. В. — 492, 538, 589—593, 600—604, *704*, *710*, *713*, *714*.
Бутковский Г. Я. — *631*.
«Любопытство пажа» — 37.
Бутурлин А. П. — 510, 511, *707*.
Буффе Мари — 298, *671*.
Буцковский Н. А. — 510, *707*.
Быков П. В. — *618*, *685*.
«Библиография сочинений М. Л. Михайлова», «Силуэты далекого прошлого» — *618*.
Бэкон Френсис — 387, *680*.
Бэли — 155.
Бюсси д'Амбуаз Луи — 238, *665*.

«Ваза» — 589, *713*.
Вайт Гиффорд — 189—191.
Валуев П. А. — 577, 593, *700*, *712*, *714*.
Вальтон Исаак — 157, *656*.
«Полный удильщик» — *656*.
«Ванька Таньку полюбил» — 126, *650*.
Вард — 198, 199.
Варенус Бернгард.
«Geographia generalis» («Генеральная география») — 23, *628*.
Варенька (Варвара Александровна) — 517, *707*.
Василий Непомнящий — 551—553, 561, 562, 566, 568—572, 574—576, 581.
Васкосан Мишель — 20, 22, *627*.
Ватт (Уатт) Джемс — 356, *677*.
Ватто Жан-Антуан — 37, *631*.
Вебер Георг — *708*.
«Всеобщая история» — 519, *708*.
«Ведомости санктпетербургской полиции» — *709*.
Вейнберг П. И.
«Отелло» (перевод) — *636*.
Веллингтон Артур-Уэлсли — 243, 276, 344, 352, 353, *666*, *669*.
Вёльйо (Вейе) Луи-Франсуа — 266, 267, 280, *668*.
Венецианов А. Г. — *631*.
Венцель К. Б. — 510, 512, 595, *707*.
Венявский Генрик — 334, *675*.
Вергилий Публий Марон — 24, *628*.
«Энеида» — 91, *628*, *643*.
Вердеревский Е. А. — 206, *660*.
Вернор — 131.
«Весельчак» — 40, *631*.

«Вестминстерское обозрение» — 179, *657*.
Веспасиан Тит Флавий — 242, *666*.
«Вестник» — 149.
Виардо (Вьярдо) Луи — 226, *663*.
«Les Musées d'Europa» («Музеи Европы») — 345—347, *675*.
Виардо Мишель-Полина — 292, *671*.
Видерт Август — 241, *620*, *666*.
Виктория (королева) — 357, 358, *665*, *678*.
Вилинская-Маркович М. А.— 105, 106, *646*.
«Сестра», «Украинские рассказы» — 106.
Вильгельм III Оранский—357,*677*.
Вильчевский — *700*.
Винкельман Иоганн-Иоахим—269, *668*.
Виноградский А. В.— 538, 556, 561, 579, 583, *710*.
Виргилий Полидор (Урбинский)— 24, 25, 27—29, *627*.
«Об изобретателях вещей» — 17, 18, 22—33, *628*.
«О чудесах», «История Англии»— 24.
Виттингтон Ричард (Дик) — 139, *652*.
Вовчок Марко — см. Вилинская-Маркович М. А.
Волоцкий А. А.— *707*.
Вольнис Леонтина — 298, *671*.
Вольф Чарльз — 348, *676*.
Вордсворт Вильям — *653*.
«My heart leaps up» («Мое сердце бьется вновь») — 141, *653*.
Воскобойников Н. Н.— *650*.
«Перестаньте бить и драться, господа литераторы!» — 126, *650*.
«Воспитание» — *679*.
«Время» — 489, *704*.
Вронченко М. П.— 47, 61, 66, 67, 69—72, *634*.
Переводы: «Гамлет» — 47, *634*.
«Фауст» — 61, *637*.
Вуллет Вильям — 153, *654*.
Вяземский П. А.— *650*.
Вяземский П. П.— *711*.
Вьельгорский М. Ю.— 111.
Гаварни Поль — см. Шевалье Гийом.
Гаевский В. П.— 457, *698*.
Газлитт Вильям — 158, 154, *655*.
Галеви Жак — 288, *671*.
Галилей Галилео — 889, *680*.
Галль Франц-Иосиф — 16, 17, *627*.
Ган-Ган Ида — 444, *684*.
Гарибальди Джузеппе — 578, *712*.
Гаррик Давид — 355, *657*, *677*.
Гартман Мориц — 214, 216, 217, *662*.
Гарция Ф.— 20, *627*.
«Обзор учения святого Фомы» — 20, *627*.
Гаусман — 162.
Гебель Иоганн-Петер — *636*.
«Овсяный кисель» — 50, *636*.
Гейбель Эммануил — 63, 439,*639*.
Гейне Генрих — 53, 57, 207, 212, 214, 441—443, 454, *621*, *680*, *683*, *684*.
«Альманзор» — 213, *661*.
«Вильям Ратклиф» — 212, 213, *661*. Том— *661*.
«Людвиг Берне» — 443, *684*.
«Опять на родине», стихотворение 11-е—316, *673*.
«Письма Генриха Гейне» — 440—443.
«Путевые картины» — 213, 331, 441, 444 («Пролог»), *661*, *684*.
«Buch der Lieder» («Книга песен») — 212, 213, *661*, *715*.
«Deutschland» («Германия») — 62, *639*.
«Ich steh' auf des Berges Spitze...» («Я стою на вершине горы...»)— 614, *715*.
«Neue Gedichte» («Новые стихотворения») —213, *661*.
«Verkehrte Welt» («Мир навыворот») — 238, *665*.
«Verlaß Berlin...» («Оставь Берлин...») — 432, *683*.
Гейне Густав — 441, *684*.
Геллий Авл — *627*.
«Аттические ночи» — 19, *643*; Андрокл — 90, *643*.
Гамалия — *648*.
Гемар Луи — 292, *671*.

Геннади Г. Н.— 125—128, *649*, *650*.
«Любовь. Эротические стихотворения русских поэтов» — 126, *650*.
Генрих IV—356, *677*.
Генрих V — 356, *677*.
Генрих VI — 322, *674*.
Генрих VII — 357, *678*.
Генрих VIII — 24, *674*.
Герасимов — 595, *686*.
Гербель Н. В.— 45, 46, 48—57, 59, 122, *632*, *633*, *709*.
Переводы: «Заговор Фиеско в Генуе» — 57.
«Мизантроп» — 59.
«Шиллер в переводе русских писателей» — *632*, *633*.
Герберт Эдуард — см. Рейнольдс Джон Гамильтон.
Герцен А. И.— 453, 494, 495, 522, 590, *630*, *640*, *672*, *689—691*, *694*, *696—698*, *701—703*, *705*, *714*.
«Былое и думы» — 495, *697*.
Гессей — 133, 153, *651*.
Гете Иоганн-Вольфганг — 48, 60—73, 280, 438, *680*.
«Герман и Доротея» — 50, *636*.
«Ксении» — *639*.
«Молитва» — 214.
«Рейнеке Фукс» — 50, *632*, *636*.
«Страдания юного Вертера» — 61, *639*.
«Фауст» — 41, 60—63, 65—67, 72, 73, 279, 298, 299, 439, *633*, *634*, *637—639*, *643*, *654*; Вагнер—89, 425, *643*, Гретхен (Маргарита) —63, 66, 68, 69, Марта — 68, Мефистофель — 60, 61, 63, 149, Фауст —60, 61, 68—70, 432, *683*.
«Meine Göttin» («Моя богиня»)— 402, *681*.
Глинка А. П.— 49, *635*.
Глинка Ф. Н.— 203, *659*.
Говард Джон — 348, *676*.
Говард Катерина — 322, *674*.
Гогг Джемс — 142, *653*.
Гогенфельден Е.— 124, *648*.
Гоголь Н. В.— 98, 105, 106, 226, 259, 364, *630*.
«Вечера на хуторе близ Диканьки» — 105.
«Мертвые души» — 106, 226, 434, *666*; Бетрищев—368, Манилов—281, 368, Петрушка—368, Плюшкин — 8, 364, Селифан — 368, Собакевич — 299, 364, Чичиков — 287, 595.
«Ревизор» — 106, 241, 258, *667*; Хлестаков — 106, 507.
Гозлан Леон — 262, 263, *667*.
Голицын А. Ф.— *704*.
Голль Анна-Мария — 133, 180, 181, *651*.
«Голос минувшего» — *690*.
Гольдсмит Оливер — 355, *657*, *677*.
Гольц-Миллер И. И.— 482, *691*, *702*.
Гомер — 75, 95, 109, *636*.
«Илиада» — 75, *641*.
«Одиссея» — 50, 75, 399, 530, *636*, *641*.
Гончаров А. И.— 98.
«Обломов»; Захар, Илья Ильич— 42.
Гораций Флакк Квинт — 12, *626*.
Второй эпод («Beatus ille...») — 11, 12, *626*.
Горянский Ф. И.— 468—473, 475—479, 484—488, 492, 494—497, 547, *699—701*.
Готорн Натаниэль — *622*, *623*.
Грам Джемс — 190, 191, 196.
Гребенка Е. П.— 106, *646*.
Грей Джен — 322, *674*.
Грей Томас — 134, 355, *652*.
Греков Н. П.— 61—63, 65—71, 203, *638*.
«Фауст» (перевод) — 61—63, 65—71, 73, *637*, *638*.
Греч Н. И.— *682*.
«Дорожные письма» — 432.
Грешем Томас — *652*.
Грибоедов А. С.
«Горе от ума» — 333, 511, 594, *675*, *682*, *714*; Фамусов—511.
Григорович В. И.— 111, *647*.
Григорович Д. В.
«Проселочные дороги» — *619*.
Григорьев А. А.— 125, *639*, *650*.
«Взгляд на русскую литературу по смерти Пушкина» — 125, *650*.
Григорьев Н. П.— *710*.
Гримальди Джозеф — 153, *654*.

Громека С. С.— *694*.
Грюн Анастазий — см. Ауэрсберг Антон-Александр.
Губер Э. И.— 61, 66, 72, *639*.
«Фауст» (перевод) — 61, *637*, *639*.
Гуд Джен (мисс Рейнольдс), жена поэта Т. Гуда — 155, 156, 159, 169—179, 183, 184, 186,187, 194, 197—202.
Гуд Томас (отец поэта) — 131—133, 138, 141, 143.
Гуда Томаса (отца поэта) семья: Анна — 132, 152, Джемс — 132, 138, Джесси — 132, Елизавета — 132, Катерина — 132, Сандс — 132, 138.
Гуд Томас (поэт) — 129—163, 166—202, 367, *651*, *657*.
«Бандит» — 151.
«Корреспонденция Карнеби» — 137, *652*.
«Лалла-Кро» — 152.
«Литературные воспоминания» — 130, 133—147, 149—151, 153, 156—161, 167, 173, *651*, *653*.
«Магазин Гуда» с приложением «Комической смеси»—183, 185, 196—199.
«Мисс Кильмансегг» — 182.
«Мистрис Гарденер» — 197.
«Мост вздохов» — 161, 168, 188, 202.
«На Рейне» («Up the Rhine»)— 176, 179.
«Национальные повести» —161.
«Наша семья» — 198.
«Оды и послания к великим людям» — 159.
«Озеро смерти» —154, *655*.
«Песня о рубашке» — 129, 147, 161, 165, 167, 168, 177, 183, 184, 187, 188, 192, 202, 325, 367, 401, *651*, *674*, *681*.
«Песня поденщика» («Песня работника»)—147, 188, 189, 191, 192, 196, *654*.
«Пудинг мистрисс Пекк» — 196.
«Родительская ода к моему сыну» — 172.
«Сон Евгения Арама» — 161—166, 168, 182, 202.
«Сон леди» — 187.
«Стансы» — 198, 199, *659*.
«Странности и причуды в стихах и прозе» — 131, 160, 161.
«Тильни-Голль» — 182.
«У смертного одра» — 152, 168.
«Фабричные часы» — 147, 187, 188, 192, 341, *675*.
«Центавр Лик» — 154.
«Чары летней ночи» — 161.
«Hood's own» — 177.
«I love thee — I love thee!..» («Я люблю тебя — я люблю тебя!..») — 156.
Гуд Томас (сын поэта) — 143, 161, 172—174, 176, 186, 187, 197.
Гук Теодор Эдуард — 181—183, *657*.
Гумбольдт Александр-Фридрих — 387, 389, 441, *680*.
«Humbold Briefe an Varnhagen» («Письма Гумбольдта к Фарнгагену») — 441, *684*.
Гунгль Йозеф — 70, *639*.
Гутенберг Иоганн — 32, *629*.
Гюар Адольф — 232, 236—238.
Гюгельман.
«Жан Барт» — 264.
Гюго Виктор — 62, 74 — 78, 80, 82—96, 266, 267, *640—642*, *663*.
«Кромвель» — 62, *639*.
«Легенда веков» — 74, 75, 78, 83, 84, 86, 90, 91, 95, 96, *640*, *641*.
«Совесть» — 87, 88.
«Султан Мурад» — 94.
«Храм» — 86.
«L'anneé terrible» («Страшный год») — *641*.
«L'art et le peuple» («Искусство и народ»)—83, 228, *642*, *664*.
«Aymerillot» («Эмерийо») — 91.
«Châtiments» («Возмездие») — 82, 83, 93, 228, *641*.
«La Confiance du marquis Fabrice» («Доверчивость маркиза Фабриция») — 93, 95.
«Les Contemplations» («Созерцания») — 78, 80 — 82, *642*.
«Dieu» («Бог») — 96.
«Eviradnus» («Эвирадн») — 92,95.
«Fenilles d'automne» («Осенние листья») — 78, *642*.

«La Fin de Satan» («Конец Сатаны») — 96.
«La Marriage de Roland» («Женитьба Ролланда») — 91.
«Nôtre Dame de Paris» («Собор Парижской богоматери»)—95, 267, 268, *668*; Квазимодо, Клод Фролло, Эсмеральда — 267, *668*, Клопен Труйфу — 272, *669*.
«Orientales» («Восточные мотивы») — 78, *642*.
«Le Petit Roi de Galice» («Маленький король Галисии») — 92.
«Le Roi s'amuse» («Король забавляется») — 62, *639*.
«Le Sacre de la femme» («Посвящение женщины») — 85.
«Gaulois» — 288, *671*.
«Gazette des Tribunaux» —262, *667*.
«The Gem» — 161.
«Herald» — 336, *675*.

Дадешкальян — 599, *714*.
Д'Аламбер Жан — 16, *626*.
«Энциклопедия» — 16.
Даль В. И. («Казак Луганский») — 35, *630*.
Данненберг Ф. Р. — *704*.
Данте Алигьери — 49, 72, 159, 388, *635*.
«Божественная комедия» — 75 467, *635*, *641*, *655* (перевод), *699*.
Дантес Жорж — 126.
Дежазе Виржини — 298, *671*.
Дезожье Марк-Антуан — 361, *678*.
Дейхман О. А. — 611, *715*.
Делавинь Казимир — 230, *271*, *664*.
«Дело» — *711*.
Дельк Чарльз-Вентворт — 155, 177, *655*.
Дельк (мистрисс) — 177.
Демосфен — 204, *660*.
Депнери — 279, 280.
Де-Пуле М. Ф. — 125, *649*.
«Стихотворения Ивана Никитина» — *649*, *650*.
Деспро Луи-Филипп — 297, *671*.
Деспро Луиза — 297, *671*.
Дефо Даниэль — 134.
«Робинзон Крузо» — 137.
Дешанель Э.
«Сафо и лесбосские гетеры» — *618*.
Джаядева — 402, *681*.
Джемс Джордж — 185, *657*.
Джонсон Бен — 355, *676*.
Джонсон Самуэль — 163, 348, *657*.
Диккенс Чарльз — 10, 183, 185, 343, 353, 364, *622*.
«Записки Пикквикского клуба»; Пикквик — 340, *675*, Веллер-Старший — 149, *654*.
«Колокола» — 198, 342, *675*.
Дмитриев М. А. — 49, 203, *635*.
«An die Freude» («К Радости») (перевод) — 52.
Дмитриев-Мамонов Э. А. — 38, *631*.
«Портрет генерала от артиллерии А. П. Ермолова»—38, 39, *631*.
«Портрет Н. П. Ермолова» — 39, *631*.
Добролюбов Н. А. — 205, 216, 471, 518, 592, *623*, *624*, *644—646*, *657*, *660*, *662*, *679*, *688*, *693*, *696*, *708*, *709*, *714*.
«Забитые люди» — *645*.
«Кобзарь» Тараса Шевченка» — *646*.
«Литературные мелочи прошлого года» — *645*.
«Луч света в темном царстве» — *644*.
«Народные русские сказки» — *630*.
«Нет, мне не мил и он, наш север величавый...» — 592, *714*.
«От Москвы до Лейпцига» И. Бабста» — *624*.
«Русская лира» ... «Любовь» — *650*.
«Собеседник любителей российского слова» — *649*.
«Сочинения Пушкина» — *649*.
«Стихотворения Михаила Розенгейма» — *649*, *660*.
«Хата» — *646*.
Долгоруков В. А. — 493, 511, *693*, *705*.
Долгоруков П. В. — 522, *709*.

Доле Этьен — *627.*
«Commentariorum linguae latinae» («Комментарий к латинскому языку») — 20, *627.*
«Домострой» — 373, 407, *680.*
Донон — 11, *626.*
Донской — 605, 606.
Достоевский М. М.— *636*, *704.*
Переводы: «Дон Карлос» — 54 — 56.
«Разбойники» — 56.
«Рейнеке Фукс»—50, *636.*
Достоевский Ф. М.— *704.*
Доу Жерар — 35, *630.*
Драйден Джон — 355, *677.*
Дружинин А. В.— 72, 490, *621*, *639*, *651*, *704.*
«Кориолан», «Король Джон», «Король Лир», «Ричард III» (переводы) — *639.*
Друммонд Эдуард — 194, *659.*
Дубровина Е. О.
«Памяти Михайлова» — *715.*
Дубровский П.
«Конрад Валленрод» (перевод)— *639.*
Дудышкин С. С.— 125, *644*, *649.*
«Пушкин — народный поэт» — 125, *649.*
Дузи Козрое — 42, *632.*
Дувинг — *714.*
Дэви Гомфри — 356, *677.*
Дюгамель А. О.— 557, 558, 572, *711.*
Дюдеван Аврора — 386, *680.*
«Индиана» — 387, *680.*
Дюма Александр (отец) — 10, 227, 283, *626.*
«Граф Монте-Кристо»—300.
«Ричард д'Арлингтон» — 299.
«De Paris á Astrakan» («От Парижа до Астрахани») — 282, *670.*
Дюма Александр (сын) — 257, *666.*
«La Dame aux camelias» («Дама с камелиями») — 257, *666.*
«Le Demi-monde» («Полусвет»)— 298.
Дюмен Луи-Франсуа — 280, *669.*
Дю-Перрье — 21, *627.*
Дюпон Жак-Шарль — 277, *664.*
Дюпон Пьер — 228, *664.*
Дюпре Жильбер — 292, *671.*
Дюссо — 11, *626.*
«Daily news» — *655.*

Егоров Б. Ф.— *620.*
«Критическая деятельность А.И. Рыжова» — *621.*
Егунов А. Н.— 205, *660.*
«О ценах на хлеб в России»—*660.*
Елизавета Тюдор — 357, *678.*
Елисеев Г. З.— *696.*
Ермак Тимофеевич — 539.
Ефимьев — 514.

Жако Шарль-Жан — 232, 234—238, *665.*
«Современники»—232—235, 286.
«Lettres á monsieur P.-J. Proudhon» («Письма к господину П.-Ж. Прудону») — 236, 237.
«Vérité pour tous» («Правда для всех») — 237.
Жанна д'Арк — 406, *681.*
Ждан-Пушкин — 584, *712.*
Желиговский Эдуард — 579, *712.*
Жемчужников — 565, *711.*
Жильбер — 237.
«Жизнь Ваньки Каина» — 126, *650.*
Жирарден Эмиль — 271, 272, *669.*
Житков — 459—462, 487, 488, *691*, *699*, *701.*
Жуковский А. К.— 203, *659.*
Жуковский В. А.— 48—50, 54, 63, 111, 115, 435, *632*, *650.*
Переводы: «Жалоба Цереры»— 57.
«Наль и Дамаянти», «Овсяный кисель», «Одиссея» — 50.
«Орлеанская Дева» — 50, 52, 53, *632.*
«Ундина» — 49, 50, *635.*

Забелин И. Е.— *681.*
«Женщина по понятиям старинных книжников» — 412, 413.
Завалишин Д. И.— 607—610, *715.*
Загоскин М. В.— *713.*
Загоскин М. Н.— *626.*
«Юрий Милославский» — 12, *626.*
Заичневский П. Г.— *689*, *697*, *699*, *702.*

Залесский А. В.— 508, *706*.
Занд Жорж— см. Дюдеван Аврора.
Зарубин А. К.— 462, 463, 465, 466, 479, 480, 491, 497—499, 502, *699*.
Зарянко С. К.— 38, *631*.
«Портрет графа Н. Н. Строганова» — *631*.
Заупе Эрнст-Юлиус — 65, *639*.
Захар Иванович — 554, 557, 559, 560, 566, 573, 576, 582, 584, 598.
Захаркин А. Ф.— *618*, *649*.
Захарьин П. М.— 13, *626*.
«Арфаксад» — 13.
Здобнов Н. В.
«История русской библиографии до начала XX века»—*625*.
«Зевака» — 137.
Зеккендорф Карл-Зигмунд — 64, *639*.
Золотницкий — 450—455, *696*.
Зотов В. Р.— *618*.
Зотов И. Г.— *632*.
«Отец Пимен и Лжедмитрий в келье Чудова монастыря» — 41.
Зотов Р. М.— 13, *626*.
«Таинственный монах» — 13,*626*.
«Зритель» — 137, 144.
Зурбаран (Сурбаран) Франсиско— 35, *630*.
Иван («содержающий») — 551 — 553, 561, 569, 572, 574—576.
Иванов А. А.— 39, *629*, *630*.
«Явление Христа народу» —35, 36, 39, 44, *629*, *630*.
Иванов Федор — 545—548, 574.
Игнатьев П. Н.— 507, *706*.
Иенсон Николай — 32, *629*.
«Известия АН СССР»— *618*, *649*.
Измайлов А. Е.— 13, *626*.
«Евгений, или Пагубные следствия дурного воспитания и сообщества» — 13.
«Иллюстрация» — 203, 206.
Ирвинг Вашингтон — *655*.
«Книга очерков» — 155.
«Искра» — *697*.
«Исторический вестник» — *621*.

Кабани Пьер-Жан-Жорж — 396, *681*.
«Rapports du physique et du moral de l'homme» («Взаимное отношение физических и духовных явлений в человеке»)— 396, *681*.
Кабе Этьен — *667*, *682*.
«Путешествие в Икарию» —258, *667*.
Кавур Камилло-Бензо — 326, *674*.
Казаков З. И.— 540 — 544, 551, 554, *710*.
Калам Александр — 43, *632*.
Кальдерон де ла Барка Педро — 45, *634*.
Кам — см. де Ноэ Амадей.
Каменев — 524—539, 541, 556.
Кампанус Антоний — 19.
Каннинг Джордж — 354, 356, *676*.
Кант Иммануил — 432, 439, *682*.
«Критика чистого разума» — 432.
Каппер Зигфрид — 268, *668*.
Карамзин Н. М.— 10, *626*.
«Бедная Лиза» — 34, *630*.
«История государства российского» — 10, 11, *626*.
«Марфа-посадница» — 34, *630*.
«Письма русского путешественника» — 432.
«Фрол Силин» — 34, *630*.
Кардано Иероним-Джероламо — *627*.
«De Subtilitate» («О тонкости»)— 20.
Карлейль Томас — *697*.
«История французской революции» — 453, *697*.
Карниолин-Пинский М. М.— 510, 511, 513, 516, *707*.
Картуш — см. Бургиньон Луи-Доминик.
Катков М. Н.— *691*, *694*.
Каульбах Вильгельм — 41, *632*.
Квинси Томас, де — 154, *655*.
«Признания английского потребителя опиума» — 154, *655*.
Квитка Г. Ф.— 105, 106, *646*.
Кейт Якоб — 437, *683*.
Келлер Готфрид — 445, *684*.
«Кельнская газета» — 446.
Керубини Луиджи — *670*.
«Лодоиска» — 287.
Кетчер Н. Х.— 46, *634*.
Китс Джон — 155, *655*.

Клаписсон Луи — 287, *671*.
«Три Николая» — 288, 291.
Кларенс Георг — 322, *674*.
Кларк Даниэль — 162, 163.
Клемм Фредерик-Густав — 415, *682*.
«Allgemeine Kulturwissenschaft» («Всеобщая история цивилизации») — *682*.
«Die Frauen» («Этюды о женщинах») — 415, *682*.
Клодт фон Юргенсбург М. К.— *632*.
«Больной муж» — 42.
Клодт фон Юргенсбург П. К.— *666*.
«Укротители лошадей» — 241, *666*.
Клэр Джон — 154, 159, *655*.
«К молодому поколению» — 456, 458, 468 — 470, 472, 473, 477, 483—487, 495, 496, 502, 512, 525, *682*, *689—695*, *698*, *701—703*.
«Книга о злонравных женах» — 372, *680*.
Кобден Ричард — 192, 194, *658*.
Кожанчиков Д. Е.— 449, *696*.
Козлов И. И.— 348, *676*.
«Не бил барабан перед смутным полком...» (перевод)—348.
Козьмин Б. П.— *699*.
Кокшаров — 576, 577, *712*.
«Колокол» — 451, 495, 589, 590, *693*, *696*, *699*, *702*, *708*, *713*, *714*.
Кольборн Генри — 179, 183, *657*.
Кольмен Джордж-младший —158, *656*.
Кольмен Джордж-старший — *656*.
Кольридж Гартлей — 154, *655*.
Кольридж Самуэль Тэлор — 150, 159, *654*, *655*.
Кольцов А. В.— 107, 203.
Комаров М.— *626*.
«Несчастный Никанор, или Приключение жизни российского дворянина Н.»— 12, *626*.
«Комический альманах» — 137, 166, 167, 176, 177, 179—181, 197.
«Коммерческая газета» — 128.
Конгрев Вильям — 355, *677*.
Коннингэм Аллен — 144, 153, 154, 159, 161, *653*, *655*.
Константин Николаевич — 564, *711*.
Конти Франсуа-Луи — 264, *667*.
Корикс — 30, *629*.
Корнеев Н. М.— 510, *707*.
Корнелиус Петер — 41, *632*.
Корнуол Барри — см. Проктер Брайан Уэллер.
Корсаков М. С.— 589, 595, 599, 601, 603, 604, *713*, *714*.
Костомаров В.— 456—458, 465, 469, 470, 472—478, 483 — 488, 491, 492, 496, 513, 514, *690—693*, *697—701*, *703*, *707*, *715*.
Костомаров Н.— 469, 476, 477, *691*, *692*, *697*, *699*, *701*, *702*.
Коттон Чарльз — 157, *656*.
Кочетов И. С.— 512, *707*.
«Начертание христианских обязанностей по учению православнокафолической церкви»— 512, *707*.
Крабб Джордж — 49, 72, *636*.
«Местечко», «Приходские списки» (переводы на русский язык) — *636*.
Краевский А. А.— *634*.
Кранц Ф. Ф.— 493—496, 547, 595, *705*.
Красов В. И.— 203, *659*.
Крашенинников П. И.— 449, *696*.
Крестовский В.— см. Хвощинская Н. Д.
Кретчер — 598, 599, 604, 606.
Крешев И. П.— 50, *636*.
Кричтон Джон — 137, *652*.
Кронеберг А. И.— 47, *634*.
«Гамлет» (перевод) — 47, *634*.
Круммахер Фридрих-Адольф — 88, *643*.
Крупская Н. К.
«Что нравилось Ильичу из художественной литературы» — *642*.
Крупский Станислав — 544—553, 557, 558, 560, 566—568, 573, 574, 576, 585—588, *710*.
Крылов И. А.
Басни — 106.
Ксеркс — 30, *628*.
Кувчинский — 541—543, 553, 557, 568, 575, 583, 584, *711*.
Кузнецов (обер-секретарь суда)— 509—513, 516, 517, *707*.

Кузнецов (учитель в Томске) — 588, *686*.
Кук Джемс — 163, *656*.
Кук Элиза — 202, *659*.
Кулиш П. А.— 105, 106, *630*, *646*.
Курочкин В. С.— *636*, *697*.
«Начало нового века» (перевод) — 51.
Курочкин Н. С.— 456, *697*.
Кусков Платон — 206, *660*.
Кушаков А. В.— *618*, *659*.
Кушелев-Безбородко Г. А.— 125, *644*, *649*, *694*.
Кэмпбелл Томас — 142, *653*.
«Услады Надежды» — *653*.
Кэри Генри Френсис — 154, 159, *655*.
«Божественная комедия» (перевод) — *655*.
«Le Correspondant» — 273, *669*.
«Kladderadatsch» — 435, *683*.

Ла-Брюйер Жан — 8, 9, *626*.
«Характеры» — 8.
Лаврецов В. Я.— 449, 450, *696*.
Лавров П. Л.— 404, *681*, *694*.
«Очерк теории личности»—404, *681*.
Лагорио Л. Ф.— 43, *632*.
Лазарь (король Сербии) — 268, *668*.
Лаланн Мари-Людовик — 22, *627*.
«Curiosités bibliographiques» («Библиографические курьезы») — 22, *627*.
Ламартин Альфонс — 66, 227, *639*, *664*.
Ламбер Жюльетта — 231, *665*.
Ламенне Фелисите-Робер — *661*.
«Слова верующего» — 207, *661*.
Лаплас Пьер-Симон — 387, *680*.
Лафайет Мари-Жозеф-Поль — 227, *664*.
Лафатер Иоганн-Каспар — 158, 602, *656*.
Лафит Жак — 227, *664*.
Лафонтен Жан — 290, *671*.
Ле-Кё Джон — 151, *654*.
Леметр Фредерик-Антуан-Луи-Проспер — 299, *671*.
«Робер Маккер» — 300, *672*.
Лемке М. К.
«Политические процессы в России 1860-х годов» (*Лемке*) — *690* — *693*, *698* — *701*, *703*— *705*, *707*, *708*, *711*.
Ленин В. И.— *658*, *690*.
Леон X.— 20.
Лермонтов М. Ю.— 59, 203, *650*.
«Воздушный корабль»—286, *670*.
«Казачья колыбельная песня» — 62.
«Пророк» — 209.
Переводы и подражания Шиллеру — 59, *637*.
Лесюёр Губерт — 353, *676*.
Статуя Карла I — 353.
Лизандер Л. К.— 206, *660*.
Лимарь Иона — 108.
Линдпайнтнер Петер-Йозеф — 63, *639*.
«Листок» — *709*.
«Литературная газета» — 203, *618*, *619*.
«Литературное наследство» — *618*, *649*.
Лихонин М. Н.— *636*.
«Дон Карлос» (перевод) — 54.
Лобанов В.— *704*.
Лозинский М. Л.
«Гамлет» (перевод) — *658*.
Ломоносов М. В.
«Ода 1747 года» — 141, *653*.
Лонгинов М.— *649*.
Лонгфелло Генри — *622*, *623*.
«Песни о невольничестве», «Excelsior!» — *623*.
«Лондонский магазин» — 153—156, 160, *654*, *655*.
Лопе де Вега Феликс — 45, *634*.
Лотихий Петер — 414, *682*.
Лудвиг Отто — 445, *684*.
«Между небом и землей» — 445.
Луи-Наполеон—см. Наполеон III.
Луи-Филипп — 283, *670*, *672*.
Лукреций Тит Кар — 274, *669*.
«О природе вещей» — 274, 275, *669*.
Лукреция — 258, *666*.
Львов Н. М.— 281, 591, *669*.
«Предубеждение, или Не место красит человека, человек место» — 281, 591, *669*.
Львов Ф. Н.— 591—593, 600—604, *710*, *714*.
«Выдержки из воспоминаний ссыльно - каторжного» — 591, *714*.

Лэ Эдуард — *627.*
«О религии и ее науке» — 20.
Лэмб Чарльз — 133, 134, 153, 154, 157—160, 163, *651, 655.*
«Жалоба на упадок нищих в столице» — 159, *656.*
«На смерть новорожденного дитяти» — 160.
«Mr. H.» — 133.
Любимов А. С.— 490, *700.*
Людовик XIV — 264, 298, *667.*
Люперже Амедина — 280, *669.*
Лютер, г-жа — см. Люперже Амедина.
Лялин В. А.— 53, *635.*
Переводы: «Жалоба девушки» — 49, *635.*
«Идеалы» — 51.
«Пикколомини» — 51, 53.

«Магазин Гуда» («Hood's magazine») — см. Гуд Томас (поэт).
Маевский Иосиф — 577—579, *712.*
Майков А. Н.— 203—205, 488, *660, 704.*
«Гезиод», «Искусство», «Приапу», «Сон» — 205, *660.*
Макашин С. А.— *618.*
Макнотен Даниэль — 194, *659.*
Максим (м-ль) — 222—225, 230, 231.
Максимов С.
«За А. Ф. Писемского» — *620.*
Малерб Франсуа — 21, *627.*
«Consolation sur la mort de sa fille» («Стансы на смерть его дочери») — 21, *627.*
Малиновский — 598, 599, 603, 604.
Маллет Дэвид — *673.*
«Правь, Британия, морями!» — 315, *673.*
Маляренко Д. П.— 38, *631.*
«Портрет Г. Воронина» — *631.*
Мансфильд Вильям Марри — 356, *677.*
Манюэль Жак-Антуан — 271, *669.*
Мария II — 357, *677.*
Мария Стюарт — 357, *678.*
Маркс Карл — *664.*
«Нищета философии» — *664.*
Мартин Джон — 181, *657.*
Матвеев — 510.
Матье Жак-Мари-Сезер — 232—234, 236, *665.*
«Махабхарата» — 50, 75, *636, 641.*
Мегюль Этьен-Анри — *670.*
«Иосиф» — 288.
Медем Н. В.— 457, *698.*
Мей Л. А.— 51, 53, 57, 58, 122, *636.*
Переводы: «Альпийский стрелок» — 51.
«Валенштейн» — 57.
«Граф Эдуард Грейнер», «Прощание Гектора», «Пуншевая песня для севера», «Руссо» — 51.
Мейербер — см. Бер Якоб-Либман.
Мейснер Альфред — 217, *662.*
Мельников П. И.— 98, *646.*
Мендельсон Феликс — 288, *670.*
Мерославский Людвиг — 578, *712.*
Мерсье Луи-Себастьен — 396, *680.*
«Tableau de Paris» («Картина Парижа») — 396, *681.*
Мерула Гиоргио — 19, *627.*
Метсу Габриэль — 35, *630.*
Мещерский А. И.— *632.*
«Вид части озера четырех кантонов», «Льды в Ландеке» — 43.
Миерис Франс — 38, *631.*
Микеланджело Буанаротти — 357.
Микешин М. О.— *648.*
Портрет Т. Г. Шевченко — 124.
Миллер Ф. Б.— 57, *635.*
Переводы: «Вильгельм Телль» — 54, 56.
«Жалоба Цереры» — 49, 57, *635.*
«Мессинская невеста» — 56.
«Порука», «Фридолин» — 57.
Милль Джон Стюарт — 425, *682.*
«Enfranchisement of women» («Освобождение женщин») — 425, *682.*
Мильнз Ричард Монктон — 185, *657.*
Мильтон Джон — 85, 134, 135, 142, 355, *642.*
«Потерянный рай» — 85, *642.*
Милюков А. П.— 125, *650.*
Мин Д. Е.— 49—51, 72, *635.*
«Божественная комедия» (перевод) — 49, *635.*

Миолан-Карвало Каролина-Феликс — 300, *672*.
Мира Матильда — 443, *684*.
Мирекур Эжен — см. Жако Шарль-Жан.
Митусов Г. П.— 510—513, 599, *706*.
Михайлов И. М.— 510, 511, 599.
Михайлов М. Л.— *618—625*, *629*, *630*, *633*, *637*, *638*, *640*, *642*, *645*, *646*, *648*, *649*, *651*, *653*, *655*, *659*, *660*, *662—664*, *672*, *678—680*, *682*, *685—715*.
«Аблесимов А. О.», «Авдеев М. В.», «Автобиография», «Аддисон Джозеф», «Азбука», «Айнсворт» — *624*.
«Аксель. Повесть Исайи Тегнера» — *623*.
«Александрийская библиотека», «Аллегория», «Альгаротти Франческо» — *624*.
«Американские поэты и романисты» — *622*.
«Биографические заметки о Гейне» — *621*.
«Вместе» — 560, *711*.
«Belletristische Blätter aus Rußland» («Беллетристические заметки из России») — *620*.
«Горькая судьбина». Драма А. Писемского» — *622*, *624*.
«Г-н Геннади, исправляющий Пушкина» — *619*, *623*.
«Джон Стюарт Милль об эмансипации женщин» — *621*.
«Джорж Элиот» — *622*.
«Женщины в университете» — *621*.
«Женщины, их воспитание и значение в семье и обществе» — *621*, *665*.
«Задушевная исповедь Н. Макарова» — *623*.
«Заметки о Лермонтове. По поводу нового издания его сочинений» — *623*.
«Записки» — *684—688*, *692*, *695*, *696*, *710*.
«Записки современника с 1805 по 1819 г.» — *623*.
«Из Берлина» — *621*, *685*.
«Иван Подкова» (перевод) —122, *648*.
«Иностранная литература» (*С*, 1861, № 4) — *621*, *622*.
«Иностранная литература» (*С*, 1861, № 5)—*621*.
«Камелия» — *619*.
«Кобзарь» Тараса Шевченка» — *622*.
«Крепко, дружно вас в объятья...» — 515, *707*.
«Лондонские заметки» —*621*.
«Н. Булич. Сумароков и современная ему критика» — *620*.
«Новый роман Джоржа Элиота» — *622*.
«О новых переводах с русского языка на немецкий» — *620*.
«О сердце скорбное народа!..» — *690*.
«От Москвы до Лейпцига. И. Бабста» — *624*.
«Отчет имп. Публичной библиотеки за 1853 г.» — *620*.
«Памяти Добролюбова» — 518, *708*.
«Парижские письма» — *621*, *640*, *665*, *672*, *678—680*, *685*.
«Перевод стихотворений Лермонтова на немецкий язык» — *620*.
«Переводы и подражания Н. В. Берга» — *623*.
«Пермский сборник» — *623*.
«Песни Анакреона в пер. Баженова» — *623*.
«Песни и думы из Гейне. Перевод А. Мантейфеля» — *623*.
«Песни, собранные П. В. Киреевским» — *623*.
«Песня о рубашке» (перевод) — 129, 184, *651*.
«Петербургская летопись»—*619*.
«Последняя книга Виктора Гюго» — *622*, *623*.
«Прометей» (перевод)—604, *686*.
«Путевые заметки, Повесть Т. Ч.» — *620*.
«Разные разности» — *619*.
«Сафо и лесбосские гетеры» (перевод) — *618*.
«Сборник стихотворений иностранных поэтов. Перевод Н. Костомарова и Ф. Берга» — *623*.

«Собрание сочинений В. А. Вонлярлярского» — *620*.
«Современники Шекспира» — *623*.
«Сочинения Антония Погорельского» — *620*.
«Сочинения Д. В. Давыдова» — *623*.
«Сочинения Лермонтова, привел в порядок С. С. Дудышкин» — *623*.
«Сочинения Э. И. Губера» — *623*, *637—639*.
«Стансы» (перевод) — 198, *659*.
«Старые книги. Путешествие по старой русской библиотеке»— *620*.
«Статья г. Сен Жюльена об И. А. Крылове» — *620*.
⟨«Статья о Пушкине»⟩ — *619*, *625*.
«Стихотворения А. Н. Плещеева» — *622*.
«Стихотворения Ф. Б. Миллера» — *623*.
«Страх врагам» — *621*.
«Театрал. Карманная книжка для любителей театра» — *620*.
«Уважение к женщинам» —*621*.
«Фауст» (перевод) — *638*.
«Фауст». Трагедия Гете. Перевод Н. Грекова» — *623*.
«Фраки, белые жилеты...» (перевод) — 444, *684*.
«Хроника петербургских новостей и увеселений» — *619*.
«Художественная выставка в Петербурге» — *622*.
«Шиллер в переводе русских писателей» — *623*.
«Юмор и поэзия в Англии. Томас Гуд» — *622*.
Михайлов П. И.— 601, 610—613, *714*, *715*.
Михайлов (статский советник) — 556.
Михаловский Д. Л.
«Мазепа» (перевод) — *636*.
Михаэлис Е. П.— 478, 491, 492, 520, *686*, *692*, *701*, *704*, *715*.
Михаэлис М. П. (по мужу Богданович) — 517, *707*.
Мицкевич Адам — 105, 106, *634*.
«Конрад Валленрод» — 458, 500, *698*, переводы на русский язык — 72, *634*, *639*.
Мишле Жюль — 238, 281, 380, *665*.
«Женщина» — *665*.
«Любовь» — 281, 380, 383, 391, *665*.
«Мода» — *679*.
Мозер Моисей — 441—443, *684*.
Мойр Давид Макбет — 198, *659*.
Моллер Ф. А.— *632*.
Портрет Н. В. Гоголя — *632*.
«Портрет сына художника». «Поцелуй» — 43.
Мольер Жан-Батист — 223, 266.
Момбелли Н. А. — *710*.
«Монитёр» — 36.
Монктон-Мильнз — см. Мильнз Ричард Монктон.
Монталамбер Шарль-Фобр — 272—279, 334, *669*.
«De l'Avenir politique de l'Angleterre» («О политическом будущем Англии») — 272, 274—279.
«Un débat sur l'Inde au parlement anglais» («Дебаты об Индии в английском парламенте») — 272.
«Монте-Кристо» — 227.
Монтень Мишель — *656*.
Монтефельтро Федериго — 31, *629*.
Монтобри Феликс — 288, *671*.
Мордини — 204, 205.
Моро Эжен — 225—227, *663*.
«Мертвые души» (перевод) — 225—227.
«Морской сборник» — *715*.
Мортара Эдуард — 266, *667*.
«Москвитянин» —56, 203, 206, *619*.
Моцарт Вольфганг-Амадей — 180, 388.
«Дон Жуан» — 180.
«Свадьба Фигаро» — 300.
Мочалов П. С.— *634*.
Мур Джон — 348, *676*.
Мур Томас.
«Лалла-Рук» — 152.
Муравьев Н. Н.— 589, 602, *713*.
Мурильо Бартоломе-Эстеван —42, *632*.
Мухин — 450, *696*.
Мюссе Альфред — 257, 271, *666*.
«Rolla» («Ролла») — 257, *666*.

Мясоедов Г. Г.— *631.*
«Пряха» — 39, *631.*

Надо́ Гюстав — 228, 229, *664.*
«A Béranger» («К Беранже») — 228, *664.*
Назимов В. И.— 578, *712.*
«Наль и Дамаянти» — 50, *636.*
Наполеон I — 268, 284, *669, 670, 672, 675, 676.*
Наполеон (принц) — 259, 261, *667.*
Наполеон III — 237, 265, 268, 353, *640—642, 663, 665, 667—669, 672, 676.*
«Народное чтение» — 107, *647.*
«Народный сход» — 453, *697.*
Небольсин Г. П.— 205, *660.*
Невзоров П. И.— *631.*
«Молодой ваятель» — 37.
Незнамов — *700.*
Неккер де Сосюр Альбертина-Адриенна — 389, *680.*
«L'Education progressive» («Прогрессивное воспитание») — 389, *680.*
Неклюдов — 589, *713.*
Некрасов Н. А.— 488, *635, 649, 684, 693, 709.*
«Литературная травля, или Раздраженный библиограф» — *649.*
Нельсон Горацио — 348, 352, 354, *673, 676.*
Нечер Каспер — 38, *631.*
«Нижегородские губ. ведомости»— *619.*
Никитенко А. В.
«Дневник» — *690, 694.*
Николаев — 584, 585, 588, 593, 594, 597, 600, 605.
Николай I — 492, *645.*
Ничипоренко И.— 111.
Новиков А.— *691.*
Новиков Н. И.— 28, 31, *628.*
«Новое время» — *620.*
Новоселов — 546.
Нодье Шарль — 13, *626.*
«Mélanges tirés d'une petite bibliotheque» («Литературная смесь, извлеченная из одной маленькой библиотеки»)—*626.*
Ноэ Амадей, де — 292, *671.*
Нурри Адольф — 292, *671.*
Ньютон Исаак — 356.

«New monthly magazine» — 179, 182, 183, *657.* См. также — Гуд Томас (поэт), «Магазин Гуда».
«Le Nord» — 285, 286, *670.*

Обер Даниэль — 288, *670.*
Оболонский А. А.— 107, *647.*
Обручев В. А.— 482, 516, 518, 576, *695, 698, 702, 704, 710.*
«Великорусс» — 482, 491, 516, *689, 695, 698, 702, 704.*
Овен Джон — 24, *628.*
Овидий Публий Назон — *642.*
«Скорби», элегия 1-я — 83, *642.*
Овчинников А.
«Фауст» (перевод) — *637.*
Огарев Н. П.— 204, 453, 552, *672, 698, 705.*
«Разбор книги барона Корфа» «14 декабря 1825 года» — *697, 701, 704.*
Ожье Эмиль — 257—262, 298, *666.*
«Бедные львицы» — 244—259, 261—264.
Орестов — *707.*
Орлеаны — *669.*
Орлов П. Н.— *631.*
«Раскаяние итальянского разбойника» — 37.
Основьяненко Грицко — см. Квитка Г. Ф.
Островский А. Н.— 98.
«Гроза» — *644.*
Острогорский В.
«Из истории моего учительства» — *715.*
Отвей Томас — 151.
«Отечественные записки» (*ОЗ*)—73, *618—621, 661, 681, 696.*
Оффенбах Жак — 290—292, *671.*
«Орфей в аду» — 290—291, 293.

Павел I — *706.*
Павл Юлий — 19, *627.*
Панаев И. И. (пародии) — *619.*
Панкратьев — 507—509, 514, 515, 517, 518.
Парр Томас — 355, *677.*
Пацке — 433—437.
Пекарский П. П.— 587, *619, 625, 709, 713.*
Пеньйо Этьен-Габриэль — 8, *626.*
Перцов Э. П.— 482, *702.*

Песков М. И.— *632*.
«Домик в Коломне» — 41.
«Песнь о Нибелунгах» — 75, *641*.
«Песнь о Роланде» — 91, *643*.
Петр I — 13, 23, 24, 316, 519.
Петрашевский — см. Буташевич-Петрашевский М. В.
Петров (Сидоров) Антон — 557, *689*, *711*.
Петровский Ф.
«О природе вещей» (перевод) — 274, 275, *669*.
Петровский-Ильенко П. С. — 475, 476, *691*, *697*, *700*, *701*.
Пеунова М. Н.
«Общественно-политические и философские взгляды Н. В. Шелгунова» — *621*.
Печаткин В. П.— *620*.
Печерский А.— см. Мельников П. И.
Пизистрат — 30, *628*.
Пико де ла Мирандола Джованни — 19, *627*.
Пиль Роберт — 187, 190, 191, 194—196, *651*, *657—659*.
Пинкорнелли И. Ф.— 518, 520, 522, 523, *708*.
Писарев Д. И.
«М. Л. Михайлов, Парижские письма» — *663*, *679*.
Писемский А.Ф.—98—100,*644*,*645*.
«Горькая судьбина» — 97, 100—104; Чеглов-Соковин — 101—104, Шпрингель — 101, 104, Яковлев Ананий — 101—104, *644*. Яковлева Лизавета — 102.
Питт Вильям-младший — 356, *677*.
Питт Вильям-старший (граф Чатам) — 356, *677*.
Плавильщиков В. А.— *696*.
Плавт Тит Макций — 276, *669*.
Платон — 415, *682*.
«Государство» — 415, 416, *682*.
Плетнев П. А.— *650*.
Плещеев А. Н.— 122, 203, 206—217, 469, 602, *648*, *659*, *661*.
«Ветер осенний колышет...» (перевод) — 214.
«Вильям Ратклиф» (перевод) — 212, 213, *661*.
«Возьми барабан и не бойся...» (перевод) — 213, 214.
«Вперед! без страха и сомненья...» — 208, *661*.
«Из Рюккерта» — 214, *662*.
«Люби, пока любить ты можешь...» (перевод) —215.
«Молитва» (перевод) — 214.
«Раздумье» — 210, *661*.
«Речная лилия» (перевод) —214.
«Сельские песни» (перевод) — 217.
«Сон» — 207, 209, 210, *661*.
«Старый комедиант» (перевод)— 216.
«Странник» — *662*.
«С...у» — 211, *661*.
Плиний Гай-старший — 30, *629*.
Плутарх — 232, *665*.
«Сравнительные жизнеописания» — *665*.
Погодин М. П.— *619*, *625*.
Погосский А. Ф.— *708*.
Подкова И.— *648*.
Подолинский А. И.— 402, *681*.
Полевой Н. А.— *634*.
«Гамлет» (перевод) — 47, *634*.
Полетаев К. И.— 552—560, 563, 566, 573, 577, 579—582.
Поликарпов Ф. П.— 23, *628*.
Поллион Азиний — 30, *629*.
Полонский Я. И.— 203—205, *622*, *660*, *709*.
«Взятие Мемфиса» — 205, *660*.
«Затворница», «Зимний путь»— 205.
«Факир» — 205, *660*.
Полторацкий С. Д.— 127, *649*, *650*.
Поль-де-Кок — 259, 400, *667*.
Помаре Аимата — 258, *666*.
«Понч» — 167, 183, 292, 324, 353, *657*.
Поп Александр — 134, 142, 355, *654*.
Попов А. А.— *631*.
«Внутренность харчевни» — 39, *631*.
Потье Шарль — 297, *671*.
Потье Эжен — 228—230, *664*.
«Интернационал» — *664*.
«Les paroles gelées» («Замороженные слова») — 229, *664*.
«Vieille maison à démolir» («Старый дом на слом»)—229, *664*.
«Правдивый» — *709*.

Прадье Жан — 285, *670*.
Прево Антуан — *666*.
«Манон Леско» — *666*; Манон — 257, *666*.
Пржецеславский К. Л.— *631*.
«Консультация» — 40.
Проктер Брайан Уэллер — 154, 159, 185, *655*.
Прудон Пьер-Жозеф — 231—237, 266, 281, 372, 373, 419, 452, 455, *663—666*, *678*.
«Порнократия, или Женщины в настоящее время» — *665*.
«Система экономических противоречий» — 231, *664*.
«De la Justice dans la Révolution et dans l'Eglise» («О справедливости в революции и в церкви») — 231, 233—237, 381—383, 391, 392, 396, 399, 400, 402—406, 416—419, *664—666*.
«Que'est-ce que la propriété?» («Что такое собственность?»)— 233, *665*.
Пруц Роберт — 214, 217, *662*.
Птоломеи — 30, *629*.
Пуль Джон — 154, *655*.
Пустильник Л. С.— *659*.
Путилин И. Д.— 456, 459, 471, 473, 477—479, 483—488, 491, 492, 547, *698*.
Путятин Е. В.— *694*.
Пушкин А. С.— 22, 41, 50, 98, 105, 106, 125—128, 203, 452, *648—650*, *697*.
«Барышня-крестьянка» — 519.
«Борис Годунов» — 41, 50, *639*.
«Гаврилиада» — 453.
«Граф Нулин» — 127, 297, *650*, *671*.
«Для берегов отчизны дальной...» — 126.
«Домик в коломне» — 41.
«Евгений Онегин» — 62, *641*.
«Медный всадник» — 110, *647*.
«Песнь о вещем Олеге» — 21, 22, *627*.
«Повести Белкина» — 519.
«Роняет лес багряный свой убор...» — 127, *650*.
«Русалка» — 51, *636*.
«Сказка о попе и его работнике Балде» — 72, *640*.
«Станционный смотритель» — 519.
«Цветок» — 156, *656*.
Пыпин А. Н.— *709*.
«La Presse» — 266, *667*.
Рабле Франсуа — 267, *668*.
«Гаргантюа и Пантагрюэль» — 267, *668*.
Ракеев — 449—455, *696*.
«Рамаяна» — 75, *641*.
Рамсей Аллен — 146, *654*.
Расин Жан — 10, *626*.
«Андромаха», «Bajazet» («Баязет») — 224, *663*.
«Рассвет» — *679*.
Рассказов — 604, *686*.
Ратклиф Анна — 93, *643*.
«Таинства Удольфского замка» — 93, *643*.
Раух Христиан-Даниэль — *666*.
Памятник Фридриху Великому — 241.
Рафаэль Санти — 388.
Рациборский Адам — 379, *680*.
Рачинский С. А.— 239, *665*.
«Институт Стоя в Иене» — 239, *665*.
Рашель — см. Феликс Элиза.
Редвиц Оскар — 63, 214, *639*.
Рейхенспергер Август — 437, *683*.
Рейнольдс Джон Гамильтон — 153—155, 159, *655*.
«Оды и послания к великим людям» — 159.
Рейнольдс Джошуа — 348, *657*, *676*.
Рейс Эдуард — 155.
Рейхгарт Генрих-Август — 221, *663*.
«Путеводитель путешественников» — *663*.
Рен Кристофер — 352, 353, *676*.
Риль Вильгельм-Генрих — *680*.
«Семейство» — 380, 383.
Ричард II — 356, *677*.
Ричард III — *674*.
Ришелье Луи-Франсуа-Арман, Дюплесси — 286, *670*.
Роджерс Самуэль — 142, *653*.
Роже Густав — 292, *671*.
Розенгейм М. П.— 205, 206, 216, *660*.
«Соседка» — 206, *660*.
Ройе-Коляр Пьер-Поль—243, *666*.

Ростовцев Я. А.— 469, *693*, *699*.
Ростопчин Ф. В.— 13, *626*.
Рувьер Альфонс — 280, *669*.
Руссель Пьер — *680*.
«Sistème physique et moral de la femme» («Женщина в физическом и нравственном отношениях») — 384—386.
«Русская беседа» — 475, *700*.
«Русская мысль» — *685*, *686*.
«Русская старина» *(РСт)* — *684—686*, *699*, *713*, *715*.
«Русский вестник» — 57, 239, *636*.
«Русский инвалид» — 479, 499, *705*.
«Русский мир» — 479, *702*.
«Русское богатство» *(РБ)* — *684—686*.
«Русское прошлое» — *689*, *690*, *693—695*.
«Русское слово» *(PC)* — 45, 125, *622*, *623*, *632*, *637*, *640*, *644*, *646*, *649*, *694*.
Руссо Жан-Жак — 266, 415, *668*.
Рюккерт Фридрих — 214, *662*.
«Revue étrangère» — 475, *700*.
Салтыков М. Е.— 97, 98, *645*.
«Губернские очерки» — 98, 433, *645*, *683*; Фейер и Живоглот — 433, *683*.
Самохвалов — 468, 474, 475, 480—482, 493, 497.
Сандс Роберт — 143, 151.
«Санктпетербургские ведомости» — 125, 126, 479, 599, 600, *619*, *651*.
Саржент Ипс — 131.
Сафонова Е. Ф.— *713*.
Сваричевский М. Н.— *704*.
Свенгейм Конрад — 32, *629*.
Сверчков В. Д.— *631*.
«Внутренний вид лестницы средних веков» — 37, 38.
«Чтение письма у камина» — 37.
«Светоч» — *630*, *679*.
«Свисток» — 125, 128, 183, *649*, *650*, *657*, *660*, *662*.
«Северная пчела» — 527, *679*.
«Северное сияние» — *630*.
«Северные цветы на 1825 год» — 22, *627*.
«Северный цветок» — 589, *713*.
Селевк I Никатор — 30, *629*.
Семевская А. В.— *713*.
«Заметка о М. В. Буташевиче-Петрашевском» — *713*.
Семевский А. И.— 499, *705*, *706*.
Семевский М. И.— 127, *649*, *650*.
«Семейный круг» — *679*.
Семеренко П.— 105.
Сенковский О. И.— *621*.
Сен-Марк де Жирарден — 243, *666*.
Сен-Симон Луи — 9, *626*.
«Записки» — 9, *626*; граф д'Этре — 9, 10, 15.
Серно-Соловьевич А. А.— 483, *692*, *703*, *709*.
Серно-Соловьевич Н. А.— 483, *703*.
Сизо Роза-Мария — 298, *671*.
Сийес (Сьес) Эммануэль — 369, *679*.
«Что такое третье сословие?» — *679*.
Скалигер Жозеф-Жюст — *627*.
«Скалигериана» — 20, *627*.
Скотт Вальтер — 45, 105, 144, 161, 173, 355, *633*, *634*, *657*.
«Ваверлей» — 45, *634*.
Скотт Джон — 153, *654*.
Скриб Огюстен-Эжен — 297, *671*.
«Les Trois Maupins» («Три Мопена») — 297.
Случевский К. К.— 206, *660*.
Смирдин А. Ф.— *696*.
Собещанский И. Ф.— 490, *700*.
Соболевский С. А.— *650*.
«О жертва бедная...» — 126, *650*.
Смит Горас — 154, *655*.
«Современник» *(С)* — 129, 446, 489, *618—624*, *629—631*, *633*, *646*, *649—651*, *659*, *662*, *672*, *678*, *679*, *682*, *684*, *688*, *691*, *702*, *703*, *708*, *711*, *714*.
Соколов Д.
«Назначение женщины по учению слова божия» — *679*.
Сократ — 30, 137, *629*.
«Солдатская беседа» — 519, *708*.
Солен — 16.
Соллогуб В. А.— *714*.
«Чиновник» — 591, *714*; Надимов — *714*.
Соловьев С. М.— *694*.
Соммерсет Эдуард — 314, 324, *674*.
Сон Джордж — 154, *655*.

Сопиков В. С.— 10, *626*.
«Опыт российской библиографии» — 11, *626*.
Сорокин — 499, 505—507, 514, 520, 522, 523.
Сороко И. К.— 475, 476, *691*, *697*, *700*, *701*.
Сошенко И. М.— 111, *647*.
Спенсер Эдмунд — 355, *677*.
Спешнев Н. А.— *710*.
Сталь Анна-Луиза — 386, *680*.
Станюкович А.— *713*.
Старчевский А. В.— *620*, *621*.
Стенгоп Джемс — 356, *677*.
Стиль Ричард — 137, *652*.
Стой — 239.
Стороженко А. П.— 490, 491, *700*.
Страбон — 30, *629*.
Стрендж Роберт — 153, *654*.
Струговщиков А. Н.— 61, 66, 67, *635*.
Переводы: «Друзьям» — 49, *635*.
«Фауст» — 61, *637*.
Стюарты — 315, *673*.
Суворов А. А.— 507, 508, 522, 604, *706*, *708—710*.
Суворов А. В.— 13.
Сулин Я.— *691*, *697*.
Сухомлин М. Л.— 589, *713*.
«Сын отечества» — *630*.
Сю Эжен — 10, *626*.
«Star» — 336, *675*.

Тальфорд Томас-Нун — 154, 163, *655*.
«Письма Чарльза Лэмба с очерком его жизни» — 163, *656*.
Теккерей Уильям — 292, 364, *671*.
«Ньюкомы», «Ярмарка тщеславия» — 292.
Теннисон Альфред — 100, *643*.
«Годива» — 91, *643*.
«The poet's song» («Песнь поэта») — 100, 104, *646*.
Тик Людвиг — 47, *634*.
Тимковский К. И.— *634*.
«Испанский театр» — 45, *634*.
Тинторетто Якопо — 42, 43.
Тирсо де Молина (Габриэль Тельес) — 45, *634*.
Тиртей — 284, *670*.
Тихменев А.— 127, *650*.
Толбин В.
«О картине Иванова» — *631*.
Томсон Джемс — 355, *677*.
Торриджиано Пиетро — 357, *678*.
Тредиаковский В. К.— 23, *628*.
«Разговор между чужестранным человеком и российским об ортографии старинной и новой и о всем, что принадлежит к сей материи» — 23, 24.
«Тилемахида» — 23.
Трувеллер В.— *699*.
«Трутень» — 137.
Туманский В. И.— 402, *681*.
Тур З. В.— 206, *660*.
Тургенев И. С.— 35, 98, 204, *639*, *699*.
«Записки охотника» — 35.
«Фауст» (перевод) — 73, *640*.
Тюссо, паноптикум — 334, *675*.
Тютрюмов Н. Л. — 41, *630*.
«Зарема», «Офелия» — 37, 41.
Тютчев Ф. И.
Переводы: «О, не кладите меня...» — 73.
«Песня рыбака», «Поминки» — 49, *635*.
«An die Freude» («К радости») — 52.
«Тысяча и одна ночь» — 570.
Тэлор Джон — 153, *654*, *655*.
«Times» — 184, 329, 367, *675*.
«Tintamarre» — 288, *671*.

Убальдо Гвидо — 31, *629*.
Уейский Корнелий — *711*.
«С дымом пожаров» — 568, *711*.
Уланд Людвиг — 92, *640*, *643*.
«Frühling'sruhe» («Весенний покой», перевод на русский язык) — 73, *640*.
«L'Univers» — 266, 267, 280, *664*, *667*.

Фабий Пиктор — *627*.
«Летопись» — 19.
Фарнгаген фон Энзе Карл-Август-Людвиг — 438, 441, *683*.
Фарнгаген фон Энзе Рахель—386, 438, *680*, *683*.
Федоров — 488—491.
Федорович Тарас — *648*.
Фейербах Людвиг — 398, *681*.
Фейт Давид — 438, *683*.

Феликс Элиза — 11, 223, 298, *626.*
Фелье Октав — 280, 281, *669.*
«Le Roman d'un jeune homme pauvre» («Роман бедного молодого человека») — 280, 291.
Фенелон Франсуа — *653.*
«Похождения Телемака»; Калипсо, Ментор, Телемак — 144, *653*, Уллис — *653.*
Феоктистов Е. М.— *689*, *690*, *693.*
«За кулисами политики и литературы» — *694.*
Феофраст (Теофраст) — 30, *629.*
Фердоуси Абуль-Касим — *641.*
«Шахнаме» — 75, *641.*
Фернус Михаил — 19, *627.*
Ферри — 162.
Фет (Шеншин) А. А.— 203—205, *635.*
«Буря на небе вечернем...»— 205, *660.*
«Герман и Доротея» (перевод) — 50, *636.*
«К цветам» (перевод) — 51.
«Семела» (перевод) — 49, *635.*
«Тихая звездная ночь...», «Утром курится поляна...» —205, *660.*
«Юлий Цезарь» (перевод) — *636.*
Филипсон — *704.*
Финке Георг — 437, *683.*
«Финский вестник» — *661.*
Флавий Иосиф — 30, *628.*
«Против Аппиона» — 30, *628.*
Флаксман Джон — 356, *677.*
Флобер Густав — 258.
«Мадам Бовари» — 258.
Флуран Жан-Пьер — 260, *667.*
Фоветти — 225, 227, 230, 231, *663.*
«Revue philosophique et religieuse» — 225, 231, *663.*
Фокс Вильям Джонсон — 193, *658.*
Фокс Чарльз Джемс — 356, *677.*
Фонвизин Д. И.
«Недоросль»; Простакова — 381.
Фонвизин И. С.— 490, *700.*
Форд Джон — *623.*
Франк, де — 175—179, 186.
Фрейлиграт Фердинанд — 214—216, *662.*
«Люби, пока любить ты можешь...» —215.
Фрейтаг Густав — 416, 445, *682.*
«Soll und Haben» («Приход и расход») — 416, *682.*
Фридрих II — 241, *666*, *683.*
Фридрих-Вильгельм I—241, *666.*
Фридрих Вильгельм III — 240, *666.*
Фризель — 554—556, 584.
Фуке Фридрих де Ламот — *635.*
«Ундина» (перевод на русский язык) — 49, 50, *635.*
Фульд Ахилл — 261, *667.*
Фурнье Марк — 279, 280, 299.
Фурье Шарль — 258, 271, *667.*
Фусье Эдуард — 257—260, *666.*
«Бедные львицы» — 244—264.
Фьески Джузеппе — 301, *672.*
«Figaro» — 95, *643.*
«Volkszeitung» — 433.

«Хата» — 105, 106, *646.*
Хвощинская Н. Д.
«Еще год», «Сельский учитель» — *619.*
Хвощинская С. Д.— 39, *631.*
Портрет А. А. Иванова —39.
Хлебовский Станислав — *631.*
«Императрица Екатерина II принимает депутацию запорожских казаков в царскосельском дворце» — 37.
Холодковский Н. А.
«Фауст» (перевод) — *638.*
Хомяков А. С.— *644.*
«Хроника» — 149.
Худяков В. Г.— *631.*
«Римский пастух» — 37.

Цебриков Н. Р.— 607, *715.*
Цедлиц — 434—437, *683.*
Цедлиц Йозеф-Христиан — *683.*
«Ночной смотр» — 435, *683.*
«Civilta cattolica» — 266, *668.*

Чалый Савва — 112, *647.*
Чаттертон Томас — 151, *654.*
Чемберс Вильям — *704.*
«Chamber's journal of literature, science and arts» («Чемберсовский журнал литературы, науки и искусств») — 491, *704.*
Чемберс Роберт — *704.*
«Chamber's encyclopaedia» («Эн-

циклопедия Чемберса») — 491, *704*.
Черкасский С. П.— *631*.
Портрет г-жи Аладьиной —38.
Чернышевский Н. Г.— 593, *632*, *639*, *645*, *659*, *688*, *694*, *696*, *698*, *699*, *702*, *703*, *707—709*, *714*.
«Барским крестьянам от их доброжелателей поклон» — 472, 475, 476, 491, 513, *691*, *693*, *697*, *700*, *701*.
«Дневник» — *679*.
«Заметка по поводу предыдущей статьи» — *630*.
«Национальная бестактность», «Новые периодические издания» — *646*.
«Ответ на вопрос, или Освистанный вместе со всеми другими журналами «Современник» «Сочинения Т. Н. Грановского»,—*650*.
«Что делать?» — *679*.
Чичерин Б. Н.— *706*.
Чосер Джеффри — 355, *677*.
Чулков М. Д.— *626*.
«Пригожая повариха» — 13.

Шадов Иоганн-Готфрид — *666*.
Памятник Фридриху Великому — 241.
Шарп — 131.
Шатобриан Франсуа-Рене — 66, 227, *639*, *664*.
Шатров Н. М. — 203, *660*.
«Шатун» — 137.
Шверин Максимилиан — 433, 434, 436, 437, *683*.
Шевалье Гийом — *267*, 291, *668*.
Шевилье Андре — 22, *627*.
«Origine de l'imprimerie de Paris» («Возникновение книгопечатания в Париже») — 19—22, *627*.
Шевченко Т. Г.— 105—112, 115, 117, 122, 124, *646*, *647*, *662*.
«Гайдамаки» — 113—115, *646*, *647*.
«Гамалия» — 113—115, *646*, *648*.
«До Основьяненка» — 113, 114.
«Думи мої, думи мої» — 107, *647*.
«Иван Підкова» — 113, 115, 123, 124, *648*.
«Катерина» —106, 115—120, *646*; Катерина — 116—119.
«Кобзарь» — 122, 124, *648*.
«Наймичка» — 120, 122, *662* (перевод); Ганна, Катя, Марко — 121,122, Настасья, Трофим — 120, 121.
«Перебендя» — 112.
«Причинна» («Порченая») —111.
Шекспир Вильям — 41, 46, 47, 76, 79, 105, 106, 355, 356, 360, 361, *633*, *634*.
«Гамлет» — 47, *634* (перевод); Гамлет — 191, *657*, *658*, Йорик — 180, *657*, Офелия—41.
«Комедия ошибок» — 158, *656*.
«Макбет» — 47.
«Ромео и Джульетта»— 47, 361.
Переводы: «Кориолан», «Король Джон», «Король Лир» — 639.
«Отелло» — 53, 72, *636*.
«Ричард III» — *639*.
«Юлий Цезарь» — 53, 72, *636*.
Шелгунов Н. В.— 460, *690—692*, *698*, *699*, *700*, *703*, *709*.
«Воспоминания» (*Шелгунов*) — *622*, *663*, *672*, *678*, *679*, *690—692*, *694*, *695*, *700*, *701*, *703*, *706*, *708*, *709*, *710*.
«К солдатам» — 475, 491, 513, *691*, *698*, *700*, *701*.
Шелгунова Л. П.— 369, 470, 473, 478, 498, 514, 515, 518, 523, 537, 556, 558, 560, 561, 584, 587, 588, 591, 599, 603, 604, 606, 607, *685—688*, *700*, *703*, *706—708*, *715*.
«Из далекого прошлого» —*672*, *707*.
Шелгуновы — 451, 521, 523, 525, 531, 537, *623*, *662*, *685*, *686*, *699*, *703*, *704*, *708*, *713*, *714*.
Шелехов — 594—596, 599, 603.
Шери Роза — см. Сизо Роза-Мария.
Шеридан Ричард Бринсли — 355, *652*.
«Соперники»; Маль-Апроп — 136, *652*.
Шершеневич И.
«Конрад Валленрод» (перевод на русский язык) — *639*.
Шеффер Ари — 41, *631*.

Шиллер Фридрих — 45, 47—49, 51—53, 55, 57, 59, 72, 105, *632*, *633*, *635*.
«Достоинство женщины» —440, *683*.
«Ксении» — *639*.
«Мария Стюарт» — 223, *663*.
«Песнь о колоколе» — 439, *683*.
«Разбойники»—212.
Переводы на русский язык:
«Альпийский стрелок» — 51.
«Валленштейн» (Пролог), «Валленштейнов лагерь» — 57.
«Вильгельм Телль» — 48, 49 (Песня рыбака), 54, 56, *635*.
«Водолаз» — 49, *635*.
«Граф Эдуард Грейнер» — 51.
«Группа из Тартара» — 49.
«Дмитрий Самозванец» — 59.
«Дон Карлос» — 54—56.
«Друзьям» — 49, 306, 318, 325, *672—674*.
«Духовидец» — 59.
«Жалоба девушки» — 49, *635*.
«Жалоба Цереры» — 49, 57, *635*.
«Заговор Фиеско в Генуе» —57.
«Идеалы» — 49—51, *635*.
«Индийская похоронная песня» — 49.
«Коварство и любовь» — 59.
«К цветам» — 51.
«Мария Стюарт» — 53.
«Мессинская невеста» — 56.
«Мизантроп» — 59.
«Начало нового века» — 51.
«Невольничий корабль» — 57.
«Орлеанская Дева» — 50, 52, 53, 59.
«Песнь о колоколе» — 49, 50.
«Пикколомини» —51, 53 (Макс).
«Поминки» — 49, *635*.
«Порука» — 57.
«Прогулка» — 50.
«Прощание Гектора» — 51.
«Пуншевая песня для севера» — 51.
«Разбойники» — 56, *632*.
«Руссо» — 51.
«Семела» — 49, *635*.
«Смерть Валленштейна» — 53.
«Фридолин» — 57.
«Художники» — 49.
«An die Freude» («К радости») — 52.
«Götter Griechenlands» («Боги Греции») — 52, *636*.
Шилов А. А.— *686*, *705*, *706*, *710*.
Шильдер Н. Г.— *631*.
«Ростовщик» — 40.
Ширяев В. Г.— 110, *647*.
Шишкин — *707*.
Шишков А. А.— 53, 54, *636*.
«Мария Стюарт», «Смерть Валленштейна» (переводы) — 53.
Шишков А. С.— *636*.
Шлегель Август-Вильгельм —47, *634*.
Шлегель Фридрих — 213, *661*.
Шопен Фредерик — 271, *668*.
Штакеншнейдер А.— 520, *686*.
Штакеншнейдер А. А.— *686*.
Штейнман Фридрих — 440—443, *683*.
«Война мышей и лягушек против стихотворений Генриха Гейне» — 441.
Штернберг Александр — 444, *684*.
Штранден — 499, *705*, *706*.
Штраус Исак — 292, 295, *671*.
Шувалов П. А.— 455, 456, 470—473, 477—480, 483, 487, 492, 493, 496, 547, 604, *692*, *693*, *695*, *699—701*.
Шульце Иоганн — 437, *683*.
«Charivari» — 94, *643*.
Chlesinger Max, «Wanderungen durch London» (Макс Шлезингер, «Прогулки по Лондону»)— 321.

Щапов А. П.— *689*.
Щедрин Н.— см. Салтыков М. Е.
Щербацкий — 458, 459, 595.

«Эдда» — 268, *668*.
Эдифь — 356.
Эдуард Исповедник — 356, *677*.
Эдуард I — 356, *677*.
Эдуард III — 356, *677*.
Эдуард IV — 322, *673*, *674*; его дети — 322, *674*.
Эйхгоф — 433.
Эйхендорф Йозеф — 214, *662*.
Эккерман Иоганн-Петер — 60, *638*.

«Разговоры с Гете в последние годы его жизни. 1822—1832»— *638*.
Элиот Джорж — *622*.
«Адам Бид», «Мельница на Флоссе» — *622*.
Эллиот Джон — 173, 178, 198, 200, *657*.
Эллиот Эбензер — 192, *658*.
«Песня» — 192, 193, *658*.
Элоиза — 270, *668*.
Эльтон Чарльз Абрагэм — 154, *655*.
Эмин Ф. А.— *626*.
«Непостоянная фортуна, или Похождения Мирамонда» — 12, *626*.
Энгельгардт — 499, *705*, *706*.
Эразм Роттердамский — *628*.
«Colloquiorum familiarum» («Дружеские разговоры»)—23.
Эраст — 30, *629*.
Эрикур Эженни, д'— 231, *665*.
Эссекс Роберт Деверё — 138, *652*.
Эсхил.
«Скованный Прометей» — 560, *711*.

Ювенал Децим Юний — *627*.
«Сатиры» — 19, 82, 99.

Якоби В. И.— *631*.
«Казанские татары, продавцы халатов» — 40.
Ященко Л.— *691*.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

произведений М. Л. Михайлова, вошедших в «Сочинения»

Аграфена	II	433	*557*
Адам Адамыч	II	5	*545*
«Акация цветы душистые роняет...»	I	63	*541*
Альманзор. *Гейне*	I	322	*590*
Анакреон	I	135	*563*
Анакреон	I	63	*541*
Антологические стихотворения	I	72	
Апостол. *Беранже*	I	489	*615*
Апостол Андрей	I	110	*557*
Арапская царевна. *Сербская песня*	I	520	*620*
Аррия	I	91	*550*
Архимед и ученик. *Шиллер*	I	238	*578*
Асра. *Гейне*	I	320	*590*
Аттар Фаридаддин	I	132	*562*
Афронтенбург. *Гейне*	I	303	*589*
Бабушка. *Беранже*	I	416	*603*
Байрон Джордж	I	158	*566*
Бедняки. *Беранже*	I	421	*603*
«Безбрежное море кругом...» *Гейне*	I	283	*586*
Безумцы. *Беранже*	I	486	*614*
Белое покрывало. *Гартман*	I	394	*598*
Беранже Пьер-Жан	I	411	*601*
Беспокойство	I	114	*558*
Беспредельность. *Шиллер*	I	229	*577*
Бернс Роберт	I	151	*566*
Благая часть, яже не отымется. *Лонгфелло*	I	185	*570*
Благодать. *Гете*	I	228	*576*
Благо и величие. *Шиллер*	I	239	*579*
Благочестивое предостережение. *Гейне*	I	339	*592*
Блаженная смерть. *Уланд*	I	241	*579*
Блаженство грусти. *Гете*	I	199	*573*
Близость. *Гете*	I	197	*573*
Близость милого. *Гете*	I	197	*573*

Боги Греции. *Гейне*	I	385	*596*
Богиня. *Беранже*	I	473	*613*
Богомольцы в Кевларе. *Гейне*	I	318	*590*
Бороды	I	115	*558*
«Брось свои иносказанья...» *Гейне*	I	303	*588*
«Будь у меня, Лазо...» *Сербская песня*	I	519	*620*
Буря. *Гейне*	I	371	*595*
«Буря поет плясовую...» *Гейне*	I	295	*587*
Бхартрихари	I	123	*561*
«Бывало, в беседке...»	I	73	*542*
Вадим	I	82	*545*
Валтасар. *Гейне*	I	326	*591*
Вам смешно, что часто...»	I	99	*554*
Варварийский священный союз». *Беранже*	I	454	*610*
«Ведь только строчка лишь одна...»	I	98	*554*
Великий миг. *Шиллер*	I	240	*579*
Веселая Голова. *Беранже*	I	414	*603*
Весенний покой. *Уланд*	I	243	*580*
«Вечерний ветер встал и по ущельям стонет...»	I	103	*555*
Вечерняя песня охотника. *Гете*	I	197	*573*
«Вечером душным, под черными тучами нас похоронят...»	I	102	*554*
Вечный жид. *Шубарт*	I	404	*600*
Взыскание	I	115	*558*
«Вижу ли я богомольца, от слез не могу удержаться...» *Гете*	I	201	*574*
Вилли и Маргарита. *Шотландская баллада*	I	515	*619*
«Вихорь смерчи водяные...» *Гейне*	I	282	*586*
Вицли-Пуцли. *Гейне*	I	340	*592*
В кабаке. *Петефи*	I	496	*616*
В мае. *Гейне*	I	332	*591*
«В молчанье грустном мы стояли...»	I	75	*542*
Военный гимн. *Ригас*	I	507	*618*
Волга и Вазуза	II	533	*566*
Вопросы. *Гейне*	I	387	*596*
Ворон. *Литовская песня*	I	526	*620*
«Во сне неутешно я плакал...» *Гейне*	I	280	*585*
Воспоминание. *Гейне*	I	337	*592*
«Всегда, везде ты, друг, со мной...»	I	98	*554*
«Все море, братья, в час заката...» *Гейне*	I	290	*586*
«Все, что вольно, снится мне...» *Гименс*	I	161	*567*
«Встала младая из мрака с перстами пурпурными Эос...» <Н. В. Шелгунову>	I	116	*559*
«В стихах тебе посланье шлю...» <Я. П. Полонскому>	I	116	*559*
Встреча	I	69	*542*
«Вышел срок тюремный...»	I	95	*550*
Гаральд Гарфагар. *Гейне*	I	313	*590*
Гартман Мориц	I	394	*597*
Гастингское поле. *Гейне*	I	314	*590*
«Где сверкает меч...» *Из талмуда*	I	128	*562*
Гейне Генрих	I	256	*581*
Гервег Георг	I	397	*598*

Гете Иоганн-Вольфганг	I	195	*572*
Гименс Фелиция	I	161	*566*
Гипербореи	I	109	*557*
«Глазки весны голубые...» *Гейне*	I	288	*586*
«Говорят, весна пришла...»	I	80	*544*
Годива. *Теннисон*	I	180	*569*
Голубые глазки	II	393	*557*
Гомер	I	138	*564*
Гонец. *Гейне*	I	308	*590*
Горная идиллия. *Гейне*	I	266	*583*
Горный пастух. *Уланд*	I	243	*580*
Горный поток	I	54	*538*
Горцы	I	·	*539*
«Горькая судьбина». Драма в четырех действиях А. Писемского	III	97	*644*
«Горя, шуму и досады...»	I	90	*550*
Г-н Геннади, исправляющий Пушкина	III	125	*649*
Гофман фон Фаллерслебен	I	401	*599*
Грезы. *Гейне*	I	258	*582*
Гренадеры. *Гейне*	I	307	*589*
Гроза. *Беранже*	I	464	*611*
Гроза. *Гейне*	I	378	*596*
«Груди волнуются; кудри трубчатые...» *Бхартрихари*	I	124	*561*
Груня	I	60	*541*
«Грусть ко мне в сердце назойливей просится...» . .	I	105	*555*
Гуд Томас	I	163	*567*
Гюго Виктор	I	409	*600*
«Дай ручку мне! к сердцу прижми ее, друг!..» *Гейне*	I	275	*584*
Данаиды. *Шиллер*	I	238	*578*
Два ворона. *Шотландская баллада*	I	514	*619*
Два корабля. *Гартман*	I	396	*598*
Два мороза	II	530	*565*
Две сестры милосердия. *Беранже*	I	443	*608*
«Девушка ý моря сидела...» *Сербская песня*	I	519	*619*
День поминок. *Беранже*	I	424	*604*
Деспоту	I	115	*559*
Джами Абдуррахман	I	133	*563*
«Джон Андерсон, сердечный друг!..» *Бернс*	I	151	*566*
Джон Ячменное Зерно. *Бернс*	I	155	*566*
«Дитя мое, свет глуп и слеп...» *Гейне*	I	298	*587*
Дифирамб. *Шиллер*	I	231	*577*
Добрая старушка. *Беранже*	I	458	*610*
Добрый товарищ. *Уланд*	I	244	*580*
«Дождался я светлого мая...» *Гейне*	I	287	*586*
Долг каждого. *Шиллер*	I	240	*579*
«Долиной пышной шли мы рядом...»	I	92	*550*
Дорога	I	51	*538*
Друг и враг. *Шиллер*	I	238	*579*
«Друг мой! мне довольно полуслова...»	I	108	*555*
Дума	I	53	*538*
Думы	II	528	*565*
Думы. *Гейне*	I	302	*588*
Dies irae	I	97	*553*

«Ее он безмолвно, но страстно любил...»	I	51	*538*
«Если б я вас снова встретил...»	I	59	*541*
«Если лет бесстрастный холод...»	I	90	*549*
«Есть в старых сказках золотые замки...» *Гейне*	I	339	*592*
«Еще в школе он был...»	I	59	*541*
Enfant perdu. *Гейне*	I	335	*592*
Excelsior! *Лонгфелло*	I	192	*571*
Жатва	I	72	*542*
Жена каторжного. *Корнуол*	I	179	*569*
Женщина. *Гейне*	I	310	*590*
Женщины, их воспитание и значение в семье и обществе	III	369	*678*
«Жизнью украсил язычник свои саркофаги и урны...» *Гете*	I	200	*574*
«Жить мы должны и любить. И жизнь и любовь прекратятся...» *Гете*	I	200	*574*
Завещание. *Шевченко*	I	502	*617*
«Закатилася луна...» *Сафо*	I	134	*563*
Закат солнца. *Гейне*	I	362	
Залоги. *Беранже*	I	492	*615*
〈Записки〉	III	447	*684*
За пределами истории	II	458	*559*
«Зарею обновленья...»	I	95	*550*
«Заставь горячими клещами...» *Гейне*	I	360	*594*
Зеленые глазки	II	428	*557*
Земледельцу. *Гете*	I	207	*575*
Зима	I	65	*541*
Зима. *Беранже*	I	447	*608*
«Зимние вьюги завыли...»	I	102	*554*
Злая судьба. *Бернс*	I	156	*566*
«Зловещий грезился мне сон...» *Гейне*	I	260	*582*
«Знаю, что ты память...»	I	99	*554*
Иван Подкова. *Шевченко*	I	500	*617*
«Идет за племем племя...» *Гейне*	I	301	*588*
«Идут года, но все сильней любовь...»	I	99	*554*
Из английских поэтов	I	148	
«И за стеной тюрьмы—тюремное молчанье...»	I	100	*554*
Из Берлина	III	431	*682*
Избранный утес. *Гете*	I	205	*575*
Из «Венецианских эпиграмм». *Гете*	I	200	
Изгнание. *Гуд*	I	166	*568*
Изгнанник. *Беранже*	I	461	*611*
Из корана	I	127	*561*
«Из края в край твой путь лежит...» *Гейне*	I	291	*587*
Из немецких поэтов	I	195	
Из Овидиевых Превращений. *Гофман фон Фаллерслебен*	I	401	*599*
Из поэтов Древней Греции	I	134	
Из поэтов Новой Греции	I	507	
«Из рода в род твой глас идет...» *Из корана*	I	127	*561*
«Из слез моих много, малютка...» *Гейне*	I	276	*584*

Из талмуда	I	128	*562*
Из «Фауста». *Гете*	I	202	*574*
Из «Фауста». *Марло*	I	148	*565*
Из французских поэтов	I	408	
Из «Чайльд-Гарольда». *Байрон*	I	158	*566*
Из «Четырех времен года». *Гете*	I	199	
Из «Ши-Кинг»	I	126	*561*
Илиада. *Шиллер*	I	237	*578*
Ильза. *Гейне*	I	274	*583*
Ипсиланти Александр	I	512	*619*
«И розы на щечках у милой моей...» *Гейне*	I	292	*587*
Искушение	I	108	*555*
История о Ное. *Копиш*	I	246	*580*
Истукан Изиды. *Шиллер*	I	234	*577*
«И я когда-то знал край родимый...» *Гейне*	I	263	*582*
Кабак	I	67	*542*
«Как в лес меня послали...» *Литовская песня*	I	525	*620*
«Как в ночи́ мы целовались...» *Новогреческая песня*	I	523	*620*
«Как долгой ночью ждет утра́...»	I	91	*550*
«Как из пены волн рожденная...» *Гейне*	I	297	*587*
«Как не вижу — только б увидаться...» *Бхартрихари*	I	123	*561*
«Как пришлось с тобой расстаться...» *Гейне*	I	278	*585*
«Как расстаются двое...» *Гейне*	I	291	*587*
«Как сквозь облачного дыма...» *Гейне*	I	284	*586*
«Как тень поу́тру...» *Бхартрихари*	I	124	*561*
«Как-то раз в потемках жизни...» *Гейне*	I	297	*587*
«Как трепещет, отражаясь...» *Гейне*	I	288	*586*
«Как храм без жертв и без богов...»	I	79	*544*
Камин в тюрьме. *Беранже*	I	479	*613*
«Капля дождевая пала с тучи в море...» *Саади*	I	122	*560*
Кара	II		*558*
Кватронка. *Лонгфелло*	I	189	*571*
К Вильяму Чаннингу. *Лонгфелло*	I	183	*570*
«Кедр, твоей вершины стройной...» *Джами*	I	133	*563*
Ключ. *Шиллер*	I	239	*579*
К Музе. *Шиллер*	I	239	*579*
Книга первая. 1810—1815. *Беранже*	I	411	
Книга вторая. 1816—1821. *Беранже*	I	442	
Книга третья. 1822—1828. *Беранже*	I	470	
Книга четвертая. 1829—1833. *Беранже*	I	479	
Книга пятая. 1834—1851. *Беранже*	I	487	
«Кобзарь» Тараса Шевченка	III	105	*646*
«Когда бы цветы то узнали...» *Гейне*	I	300	*588*
«Когда гляжу тебе в глаза...» *Гейне*	I	276	*584*
«Когда пройдут искуса годы?..»	I	78	*543*
«Когда-то друг друга любили мы страстно...» *Гейне*	I	278	*585*
Колумб. *Шиллер*	I	236	*578*
Кольцов	I	64	*541*
«Ко мне в трущобу ссылки...»	I	552	
Конец политике. *Беранже*	I	437	*606*
Конец стихам. *Беранже*	I	487	*615*
Конституционист	I	114	*558*
Копиш Август	I	246	*580*

«Корабль мой на черных плывет парусах...» *Гейне*	I	290	*586*
Корнуол Барри	I	168	*568*
Король Ивето́. *Беранже*	I	411	*602*
Король на башне. *Уланд*	I	242	*580*
Король Ричард. *Гейне*	I	308	*590*
Коронование. *Гейне*	I	360	*595*
К Основьяненке. *Шевченко*	I	498	*616*
Кот и петушок	II	523	*565*
К полевой мыши, разоренной моим плугом. *Бернс*	I	151	*566*
К польке-матери. *Мицкевич*	I	505	*618*
Красинский Зигмунт	I	504	*617*
«Крепко, дружно вас в объятья...»	I	87	*547*
«Крепко ударил я заступом в рыхлую землю...» *Саади*	I	122	*560*
Крушение. *Гейне*	I	379	
К срезанной плугом маргаритке. *Бернс*	I	153	*566*
К стихам А. Шенье	I	54	*538*
Кукушка	II	442	*558*
Ласточки. *Беранже*	I	474	*613*
«Лежу ли бессонною ночью...» *Гейне*	I	292	*587*
Ленау Николаус	I	392	*597*
«Лесом шла она; смотрел я...» *Бхартрихари*	I	124	*561*
«Лето жаркое алеет...» *Гейне*	I	279	*585*
Лжеученые. *Шиллер*	I	239	*579*
«Липа вся под снежным пухом...» *Гейне.*	I	293	*587*
Литовские песни	I	525	
Лодовико Сфорца. *Корнуол*	I	168	*568*
Лонгфелло Генри	I	183	*569*
Лондонские заметки	III	306	*672*
Маркиз Караба́. *Беранже*	I	448	*608*
Маркитантка. *Беранже*	I	459	*610*
Марло Кристофер	I	148	*565*
Мать и дитя. *Уланд*	I	243	*580*
Мейснер Альфред	I	399	*598*
«Месяц в тумане вставал...»	I	107	*555*
Миг. *Шиллер*	I	230	*577*
«Мидас! горька твоя участь была: в деснице дрожащей...» *Гете*	I	202	*574*
Милость муз. *Шиллер*	I	240	*579*
«Минуты горького сомненья...»	I	97	*553*
«Мир вам, почившие братья!..» *Мур*	I	194	*572*
«Мирза Шаффи! Пчелой прилежной...» *Мирза Шаффи*	I	130	*562*
Мицкевич Адам	I	505	*618*
«Мне жаль тебя... Семья жестоко...»	I	73	*542*
Мнение этих девиц. *Беранже*	I	433	*605*
«Мне снились страстные восторги и страданья...» *Гейне*	I	258	*582*
Могила Анакреона. *Гете*	I	196	*573*
Могила Сафо. *Симонид*	I	137	*564*
Мое призвание. *Беранже*	I	438	*607*
Может быть, последняя моя песня. *Беранже*	I	423	*603*

«Мой нежный друг, мой чистый гений...» . . . . . . I 108 *555*
«Мой стих умеет все так живо рисовать...» *Шенье* . I 408 *600*
Мой уголок. *Беранже* . . . . I 455 *610*
«Мой хороший, мой пригожий...» *«Из «Ши-Кинг»* . I 126 *561*
«Молодая кобылица...» *Анакреон* . . . . I 135 *563*
Молодой монах. *Новогреческая песня* . . . . I 523 *620*
Мольба . . . . I 72 *542*
Морская тишь. *Гейне* . . . . I 372
Морская тишь. *Гете* . . . . I 205 *575*
Морской призрак. *Гейне* . . . . I 373
Моя душа. *Беранже* . . . . I 453 *610*
Моя республика. *Беранже* . . . . I 450 *609*
Муза . . . . I 52 *538*
Мур Томас . . . . I 194 *572*
Муравьи. *Беранже* . . . . I 488 *615*

Навуходоносор. *Беранже* . . . . I 467 *611*
На Гарце. *Гейне* . . . . I 266 *583*
«На дальнем небосклоне...» *Гейне* . . . . I 292 *587*
Надгробие поэта. *Эллиот* . . . . I 193 *572*
Надгробие рыбаку. *Сафо* . . . . I 134 *563*
Надгробие спартанцам в Фермопилах. *Симонид* . . . I 137 *564*
Надовесская похоронная песня. *Шиллер* . . . . . . I 232 *577*
Надя . . . . I 56 *540*
На закате. *Гейне* . . . . I 380
На мельнице. *Шамиссо* . . . . I 251 *581*
«На пиру, за полной чашей...» *Анакреон* . . . . . . I 136 *563*
Напоминание. *Гете* . . . . I 205 *575*
На пути («За туманами потух...») . . . . I 80 *544*
На пути («Предо мной лежит...») . . . . I 67 *541*
Народные песни . . . . I 514 *619*
«На северном голом утесе...» *Гейне* . . . . I 278 *585*
На смертном одре. *Гейне* . . . . I 331 *591*
Натуралисты и трансцендентальные философы. *Шиллер* . . . . I 240 *579*
Наше поколение. *Шиллер* . . . . I 239 *579*
Наш священник. *Беранже* . . . . I 430 *605*
Наяда . . . . I 72 *542*
Невольник в Проклятом Болоте. *Лонгфелло* . . . . I 186 *570*
Негры и куклы. *Беранже* . . . . I 478 *613*
Недоразумение . . . . I 114 *557*
Независимый. *Беранже* . . . . I 457 *610*
Нения. *Шиллер* . . . . I 237 *578*
Неравный брак. *Гете* . . . . I 200 *573*
«Не радует вешнее солнце...» *Гейне* . . . . I 281 *585*
Несовершенство. *Гейне* . . . . I 338 *592*
«Несчастная ты,— и ропот мой молчит...» *Гейне* . . I 298 *587*
Новая любовь и новая жизнь. *Гете* . . . . I 198 *573*
Новогреческие песни . . . . I 523
Новые голоса . . . . I 96 *553*
Новый Диоген. *Беранже* . . . . I 426 *604*
Ночная песня странника. *Гете* . . . . I 199 *573*
Ночные мысли. *Гейне* . . . . I 305 *589*
«Ночь могилы тяготела...» *Гейне* . . . . I 259 *582*

Ночь на берегу. *Гейне*	I	364	*595*
Ночью в каюте. *Гейне*	I	369	
Облака	I	73	*542*
Обман. *Гете*	I	195	*573*
Оборванцы. *Гейне*	I	336	*592*
Общая участь. *Шиллер*	I	239	*579*
«Объятый туманными снами...» *Гейне*	I	283	*586*
Оглядка на прошлое. *Гейне*	I	331	*591*
Одиссей. *Шиллер*	I	236	*578*
Ожидание и исполнение. *Шиллер*	I	238	*578*
«О мой призрак далекий...»	I	107	*555*
«О, подойди ко мне! поговори со мной!..» *Гюго*	I	409	*601*
«Опустясь головкой сонной...» *Гейне*	I	277	*585*
«Опять в ночной тиши напрасно сон зову я...»	I	74	*542*
«Опять налетают роями...»	I	106	*555*
Орангутанги. *Беранже*	I	484	*614*
Осеннее чувство. *Гете*	I	206	*575*
«О сердце скорбное народа!..»	I	81	*545*
Остывший. *Гейне*	I	336	*592*
«От слез и крови мутны и черны...» *Красинский*	I	504	*617*
«Отчего это, милая, розы в цвету...» *Гейне*	I	300	*588*
Очищение. *Гейне*	I	375	
«О, я несчастный Атлас! Целый мир...» *Гейне*	I	301	*588*
«Падает звездочка с неба...» *Гейне*	I	280	*585*
Памяти Добролюбова	I	86	*546*
Парижские письма	III	221	*662*
Пастор. *Гейне*	I	321	*590*
Пастух. *Гейне*	I	273	*583*
Пастушья песня. *Уланд*	I	241	*579*
Пахарь. *Бернс*	I	154	*566*
Паяц. *Беранже*	I	451	*609*
Пенье невольника в полночь. *Лонгфелло*	I	187	*571*
Первая потеря. *Гете*	I	205	*575*
Перед судом. *Гете*	I	207	*575*
Перелетные птицы	II	123	*550*
Перепутье	I	79	*544*
Песни. *Гейне*	I	275	*583*
Песни Мирзы Шаффи	I	130	*562*
Песни о невольничестве. *Лонгфелло*	I	183	*570*
Песнь океанид. *Гейне*	I	382	*596*
Песня Клары. *Гете*	I	196	*573*
Песня Миньоны. *Гете*	I	195	*573*
Песня о рубашке. *Гуд*	I	163	*567*
Песня пловца	I	75	*542*
Петефи Шандор	I	496	*616*
«Печален по роще брожу...» *Гейне*	I	282	*585*
Печать с изображением головы Гомера. *Шиллер*	I	240	*579*
Пирушка. *Литовская песня*	I	526	*620*
Подражания восточному	I	121	
Полицейская гуманность	I	115	*559*
«Полно, сердце! что с тобою?..» *Гейне*	I	293	*587*
«Полночь немая была холодна...» *Гейне*	I	281	*585*
«Полны мои песни...» *Гейне*	I	279	*585*

‹Полонскому Я. П.› («В стихах тебе посланье шлю...»)	I	116	*559*
Помещик	I	57	*540*
«Помню я рощу зеленую...»	I	55	*540*
«Порою картины былого...» *Гейне*	I	294	*587*
«Порою мнится мне: на голове моей...» *Гете*	I	201	*574*
Порядок вещей. *Гейне*	I	335	*592*
Посейдон. *Гейне*	I	366	*595*
Послание узника	I	96	*551*
Последняя книга Виктора Гюго	III	74	*640*
«Праздник весны. Наше небо холодное...»	I	103	*555*
Преданность	I	115	*558*
Предостережение. *Лонгфелло*	I	191	*571*
«Привяжи, душа-рыбачка...» *Гейне*	I	282	*585*
Придворный кафтан. *Беранже*	I	435	*606*
Признание. *Гейне*	I	368	
Природа. *Беранже*	I	463	*611*
Пролог. *Гейне*	I	256	*582*
Прометей. *Гете*	I	209	*575*
«Проснувшись, плачет дитя больное...» *Петефи*	I	496	*616*
Простая история	I	76	*542*
Простолюдин. *Беранже*	I	439	*607*
Прощание. *Беранже*	I	491	*615*
Прощание Гектора. *Шиллер*	I	231	*577*
Прощанье. *Уланд*	I	243	*580*
Прощанье с полями. *Беранже*	I	468	*611*
Пряха. *Гете*	I	208	*575*
Птицы. *Беранже*	I	442	*608*
Птичка-изгнанница. *Ипсиланти*	I	512	*619*
«Пусть горит лампада...» *Бхартрихари*	I	123	*561*
«Пусть на землю снег валится...» *Гейне*	I	285	*586*
«Пусть сумасброд, как морского песку, набирает адептов!..» *Гете*	I	201	*574*
«Пусть твои благие...» *Бхартрихари*	I	124	*561*
Путник	I	63	*541*
Пятеро	I	88	*549*
Радость и Горе. *Гейне*	I	331	*591*
Развалины. *Уланд*	I	242	*580*
Разные стихотворения. *Гейне*	I	339	*592*
«Распахни покрывало! не прячь ты себя!..» *Мирза Шаффи*	I	130	*562*
Ратклиф. *Гейне*	I	327	*591*
Ребенок в колыбели. *Шиллер*	I	238	*579*
Ригас Константин	I	507	*618*
Романсы и баллады. *Гейне*	I	307	
Руге Арнольд	I	403	*599*
Руми Джалаладдин	I	121	*560*
Рыжая Жанна. *Беранже*	I	482	*614*
Рыцарь Олаф. *Гейне*	I	311	*590*
Рюккерт Фридрих	I	248	*580*
Саади Мушрифаддин	I	122	*560*
«Самоубийц хоронят...» *Гейне*	I	299	*587*
Сатирические стихотворения	I	106	
Сафо	I	134	*563*

«Свадебной радости полны...» *Гейне* I 299 *587*
С венгерского I 496
Свиданье и разлука. *Гете* I 227 *576*
Свидетели. *Лонгфелло* I 188
Свобода. *Беранже* I 470 *612*
Свобода печати. *Руге* I 403 *599*
Свобода слова. *Руге* I 403 *599*
«Священный союз заключили...» *Гейне* I 288 *586*
Северное море. *Гейне* I 360 *594*
  Часть первая I 360
  Часть вторая I 376
Сенатор. *Беранже* I 412 *603*
Сербские песни I 519
«Сердце мне терзали...» *Гейне* I 295 *587*
Серенада близ Везувия. *Копиш* I 246 *580*
Сеятель. *Шиллер* I 237 *578*
Сибирские очерки II 433 *557*
Симонид I 137 *563*
«Скажи мне, кто вздумал часы изобресть...» *Гейне* I 289 *586*
Сказки II 523 *564*
Скованный Прометей. *Эсхил* I 139 *564*
Скорбь вавилонская. *Гейне* I 333 *591*
Славный малый. *Беранже* I 419 *603*
Сладкие заботы. *Гете* I 207 *575*
«Слеза упоенья...» *Бхартрихари* I 123 *561*
Слепая мать. *Беранже* I 418 *603*
«Случайно со мной повстречалась...» *Гейне* I 296 *587*
«Смело, друзья! Не теряйте...» I 85 *545*
«Смерть — прохладной ночи тень...» *Гейне* I 287 *586*
Смерть Сатаны. *Беранже* I 476 *613*
Смех I 71 *542*
«Снежная изморозь, ветер...» *Гейне* I 284 *586*
«Снилась мне девушка: кудри как шелк...» *Гейне* I 258 *582*
«Снова дней весенних...» I 94 *550*
«Снова роща зеленеет...» *Гейне* I 297 *587*
Совет и желание. *Ленау* I 393 *597*
Современный гидальго I 68 *542*
Согласие. *Шиллер* I 237 *578*
Сознанное счастье. *Гете* I 206 *575*
«Солнце близко; на востоке...» *Гейне* I 274 *583*
Сон. *Мицкевич* I 505 *618*
Сон и Дремота. *Гете* I 199 *573*
Сон невольника. *Лонгфелло* I 184 *570*
Соседка I 62 *541*
«Спали, господь, своим огнем...» I 79 *544*
С персидского I 129 *562*
С польского I 504
Стансы. *Гуд* I 166 *568*
Старик бродяга. *Беранже* I 483 *614*
Старики и молодые. *Гервег* I 397 *598*
Старые русские книги. Путешествие по старой русской библиотеке III 7 *625*
Старый скрипач. *Беранже* I 440 *607*
Статуя Ниобеи. *Симонид* I 137 *564*

Стихотворения А. Н. Плещеева	III	203	*659*
«С толпой безумною не стану...» *Гейне*	I	302	*588*
«Стоят от века звезды...» *Гейне*	I	277	*584*
Странник	I	76	*542*
С украинского	I	498	
Сумерки. *Гейне*	I	361	
Сумерки богов. *Гейне*	I	263	*582*
Счастливое плавание. *Гете*	I	206	*575*
«Сядь на коня, на корабль — и Забота с тобою засядет...» *Гете*	I	200	*573*
«Та же, что листьям дубравным, чреда и людским поколеньям...» *Гомер*	I	138	*564*
«Так, как в глубоких водах, усыпленных под сенью деревьев...» *Гюго*	I	409	*601*
«Тебя умчит далеко...» *Гейне*	I	301	*588*
«Те же всё унылые картины	I	89	*549*
Теннисон Альфред	I	180	*569*
Тень Анакреона. *Беранже*	I	471	*612*
«Тень — любовь твоя и ласки...» *Гейне*	I	290	*586*
«Только до слуха коснется...» *Гейне*	I	279	*585*
«Только помыслишь о воле порой...»	I	97	*554*
«Тот же сон, что снился прежде!..» *Гейне*	I	289	*586*
Трагедия. *Гейне*	I	309	*590*
Трактат о политике для руководства Лизе. *Беранже*	I	432	*605*
Три поэта. *Мейснер*	I	399	*598*
Трое дорожных	II	534	*566*
Трое цыган. *Ленау*	I	392	*597*
«Трубят голубые гусары...» *Гейне*	I	286	*586*
«Тщетно ты веешь, Морфей, надо мной усыпительным маком...» *Гете*	I	201	*574*
«Ты, как цветок весенний...» *Гейне*	I	285	*586*
«Ты не знаешь, кому тебе верить? Верь жизни! Научит...» *Гете*	I	200	*573*
«Ты розою роскошной расцветаешь...» *Анакреон*	I	135	*563*
Triebfedern. *Шиллер*	I	238	*579*
«Убаюкай, родная, больную меня!..» *Гименс*	I	161	*567*
«Увидал Эрот, что время...» *Анакреон*	I	136	*563*
У гробовщика. *Фрейлиграт*	I	254	*581*
У дверей. *Рюккерт*	I	248	*580*
Узник. *Беранже*	I	475	*613*
Уланд Людвиг	I	241	*579*
«У меня был коник...» *Литовская песня*	I	527	*620*
Умирающие. *Гейне*	I	333	*591*
Умные звезды. *Гейне*	I	359	*594*
У пристани. *Гейне*	I	389	*597*
У смертного одра. *Гуд*	I	163	*567*
Утренний привет. *Гейне*	I	376	*595*
Ученый работник. *Шиллер*	I	239	*579*
«Факел возьми Прометеев: людей оживи ты им, Муза!..» *Гете*	I	199	*573*
«Фауст». Трагедия Гете, перевод Н. Грекова	III	60	*637*

Феникс. *Гейне*	I	388	*597*
Филомела. *Гете*	I	227	*576*
«Фраки, белые жилеты...» *Гейне*	I	266	*583*
Фрейлиграт Фердинанд	I	254	*581*
Хорошая партия	I	61	*541*
Хидгер. *Рюккерт*	I	248	*580*
Христианское законодательство	I	115	*559*
Художественная выставка в Петербурге	III	34	*629*
Ценсура. *Беранже*	I	425	*604*
«Чем эта женщина могла тебя пленить...» *Сафо*	I	134	*563*
Четырнадцатое июля. *Беранже*	I	480	*613*
«Что мое — мое...» *Из талмуда*	I	128	*562*
«Что не могу в моих стихах...» *С персидского*	I	129	*562*
«Что от врагов ты хочешь скрыть...» *Аттар*	I	132	*562*
Шамиссо Адальберт	I	251	*580*
Шевченко Тарас	I	498	*616*
<Шелгунову Н. В.> («Встала младая из мрака с перстами пурпурными Эос...»)	I	116	*559*
Шелковый платок	II	408	*557*
Шенье Андре	I	408	*600*
Шиллер в переводе русских писателей, изданный под редакциею Н. В. Гербеля	III	45	*632*
Шиллер Фридрих	I	229	*576*
Школьный учитель. *Беранже*	I	429	*605*
Шотландские баллады	I	514	
Шубарт Кристиан	I	404	*600*
Шуточные стихотворения	I	116	
«Щекою к щеке ты моей приложись...» *Гейне*	I	276	*584*
Экспромт арестованного лондонского мазурика	I	109	*556*
Эллада	I	53	*538*
Эллиот Эбензер	I	193	*572*
Эпиграмма	I	106	*555*
Эпилог. *Гейне*	I	391	*597*
Эсхил	I	139	*564*
«Эта гондола мне кажется тихо качаемой люлькой...» *Гете*	I	201	*574*
Это не Лизета. *Беранже*	I	445	*608*
Юдоль плача. *Гейне*	I	358	*594*
Юмор и поэзия в Англии. Томас Гуд	III	129	*651*
«Я видел во сне человечка...»	I	78	*543*
«Я глазки у милой моей...» *Гейне*	I	299	*587*
«Я — дикий виноград; мне явором ты будь...» *Руми*	I	121	*560*
«Я к белому плечику милой...» *Гейне*	I	286	*586*
«Я не ропщу, хоть в сердце стынет кровь...» *Гейне*	I	298	*587*
«Я при первой нашей встрече...» *Гейне*	I	286	*586*

СОДЕРЖАНИЕ

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Старые книги. Путешествие по старой русской библиотеке	7	*625*
Художественная выставка в Петербурге	34	*629*
Шиллер в переводе русских писателей, изданный под редакциею Н. В. Гербеля	45	*632*
«Фауст». Трагедия Гете, перевод Н. Грекова	60	*637*
Последняя книга Виктора Гюго	74	*640*
«Горькая судьбина». Драма в четырех действиях А. Писемского	97	*644*
«Кобзарь» Тараса Шевченка	105	*646*
Г-н Геннади, исправляющий Пушкина	125	*649*
Юмор и поэзия в Англии. Томас Гуд	129	*651*
Стихотворения А. Н. Плещеева	203	*659*

ПУБЛИЦИСТИКА

Парижские письма	221	*662*
Лондонские заметки	306	*672*
Женщины, их воспитание и значение в семье и обществе	369	*678*
Из Берлина	431	*682*
ЗАПИСКИ	447	*684*

Примечания	615
Алфавитный указатель имен	716
Алфавитный указатель произведений М. Л. Михайлова	739

МИХАИЛ ЛАРИОНОВИЧ
МИХАЙЛОВ

Сочинения в 3-х томах, т. 3

Редактор *В. Панов*

Художник *Д. Громан*

Худож. редактор *И. Жихарев*

Технич. редактор *Г Каукина*

Корректоры *Г. Сурис* и *А. Шлейфер*

*

Сдано в набор 8/X 1957 г.
Подписано к печати 10/II 1958 г.
Бумага 84×108 1/32=23,5 печ. л.
38,54 усл. печ. л. 41,38 уч.-изд. л.
Тираж 150 000. Заказ № 985.
Цена 13 р. 90 к.

Гослитиздат
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.

*

Первая Образцовая типография
имени А. А. Жданова
Московского городского Совнархоза.
Москва, Ж-54, Валовая, 28.

ОПЕЧАТКИ

Страница	Ст рока	Напечатано	Следует читать
		Том I	
580	13 сн.	1806	1866
		Том II	
553	2 св.	(гл. II)	(гл. III)
	19 св.	в XX главу	в XIX главу
555	21 св.	Стр. 162	Стр. 267

Сочинения М. Л. Михайлова в трех томах